А.И. ГЕРЦЕН

II

А. И. ГЕРЦЕН

II

АКАДЕМИЯ
НАУК
СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А.И. ГЕРЦЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1954

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

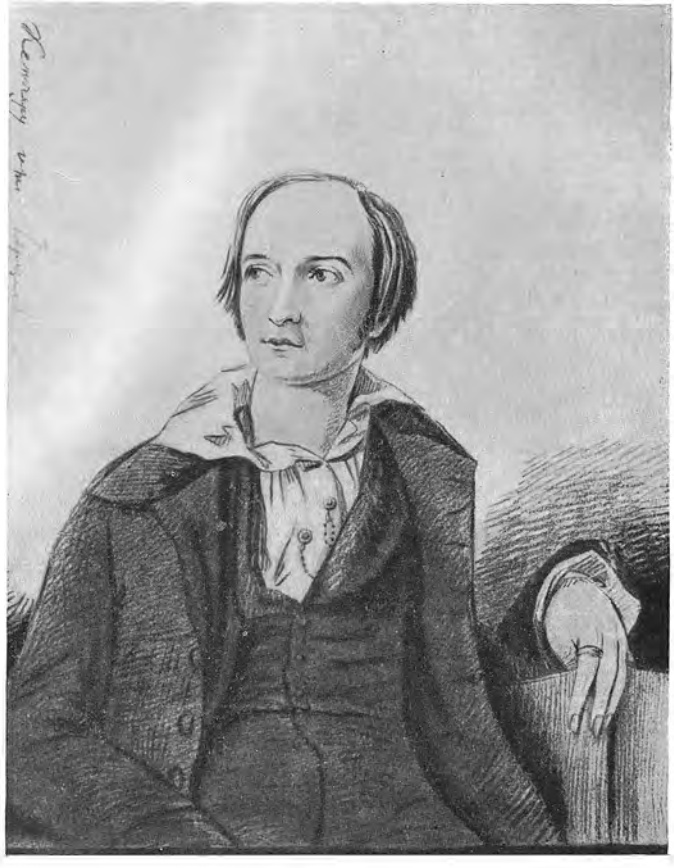
А.И. ГЕРЦЕН

ТОМ ВТОРОЙ

СТАТЬИ И ФЕЛЬЕТОНЫ
1841-1846

ДНЕВНИК
1842-1845

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1954



А. И. ГЕРЦЕН

Рисунок К. Рейхеля, 1842 г.

Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина

СТАТЬИ И ФЕЛЬЕТОНЫ

1841 – 1846

РАССКАЗЫ О ВРЕМЕНАХ МЕРОВИНГСКИХ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Известность Огюстина Тьерри, столь справедливо заслуженная новым его взглядом на события французской истории и увлекательным рассказом самих событий, давно дошла до нас; но на этом поверхностном знакомстве мы и остановились; ни одно сочинение Огюстина Тьерри не переведено еще на русский язык. Положим, что его «Письма об истории Франции», его «Десятилетние исторические труды» для нашей публики слишком специальны и отчасти лишены интереса, потому что обсуживают и разрешают вопросы, не возникавшие в ней и к которым она равнодушна; но его «Завоевание Англии норманнами» и «Рассказы о временах меровингских», изданные в прошлом году,— великие, обширные эпопеи, в которых события и индивидуальности воссоздаются с какой-то художественной рельефностью, в которых давнопрошедшие века выходят из могилы, стряхают с себя пыль и прах, обрастают плотию и снова живут перед вашими глазами; эти эпопеи имеют интерес всеобщий, как художественные реставрации Вальтера Скотта, как мрачные портреты Тацита. Желая передать в «Отечественных записках» несколько рассказов о Меровингах, мы обращаем внимание читателей на *чисто повествовательный* характер исторических сочинений Огюстина Тьерри— в этом тайна его чрезвычайного успеха, в этом свидетельство его ясного сознания французского духа и его симпатия с ним; он остался верен ему, несмотря на общее увлечение молодой школы к теоретическим мудрованиям в истории, он писал *рассказы*, а не философствования по поводу истории (как, например,

Мишле). Истинная, единая философия, философия-наука не дается еще французам, и эклектизм Кузеня — так же мало философия, как пространное опровержение его, написанное, может быть, сильнейшей спекулятивной головой, какая теперь есть налицо во Франции, Пьером Леру[1]. Где нет философии как науки, там не может быть и твердой, последовательной философии истории, как бы ярки и блестящи ни были отдельные мнения, высказанные тем или другим[2]. Тьерри, повторяем, остался верен французскому духу: он *рассказывает* былое прошедших веков, внося в рассказ свой всю живость и увлекательность француза, и, несмотря на то, что каждая строка его повествований твердо опирается на множестве цитат и ссылок, рассказы его существуют самобытно и независимо от них; все материалы сплавились в нечто органически живое, в свободное художественное произведение в мощном горниле таланта, и нигде не осталось «запаха лампы», несмотря на то, что много масла было сожжено им в продолжение двадцатилетних глубочайших изысканий и трудов. Для того, чтоб оценить всю прелесть его рассказа, поставьте рядом с ним какого-нибудь Капфига: он, в сравнении с Тьерри, вам покажется несчастной кариатидой, раздавленной множеством материалов, актов; жалким тружеником, выписывающим там и сям по странице; и как бы выписки его ни были занимательны сами в себе, весь труд мертв, все вместе — сухая компиляция. Не говоря уже о том, что одно глубочайшее изучение своего предмета, жизнь в нем могла сообщить рассказу Тьерри его одушевление и верность, надобно припомнить, что для него изучение истории имело современный, живой, общественный интерес: он принялся за древнюю Францию, чтоб уяснить себе тяжкие вопросы о новой Франции, в которой он жил и для которой жил[3]. Такое направление сообщило еще более энергии его труду,

---

[1] Réfutation de l'éclectisme, où se trouve exposée *la vraie définition* de la philosophie etc. par P. Leroux. 1839. Paris.

[2] Например, множество чрезвычайно верных и глубоких мыслей у Бюше; в статьях «Новой энциклопедии», издаваемой Леру, в прежнем «Revue Encyclopédique» и в многих других сочинениях.

[3] См. в «Dix ans d'études historiques», par A. Thierry, предисловие и в особенности статьи, писанные от 1819 до 1821 года.

и в самом направлении этом он опять находится в той области, где француз дома и полон поэзии. Но не думайте, чтоб он внес какую-нибудь arrière pensée[1], какую-нибудь свою задушевную теорийку в свои исследования (как некогда Буленвилье, Мабли и проч.),— для этого он слишком учен, слишком талантлив, слишком добросовестен.

Самая личность Тьерри занимательна. Страдалец науки, он потерял зрение в 1826 году от беспрерывных занятий; рушились все его предприятия, все замыслы; горесть начинала овладевать им, как вдруг явился юный, тогда еще безвестный помощник, заменивший ему с теплою симпатией глаза и руку; посредством его слепец *помирился с мраком*[2]; имя этого юноши впоследствии сделалось довольно громко, и бедному Тьерри пришлось плакать на его могиле: то был известный Арман Каррель. Когда историк возобновил свои занятия, болезненный организм его еще раз объявил войну духу: совершенно больной и изнеможенный, он должен был оставить Париж; но болезни не победили его. Вот что писал он в местечке Везуль 10 ноября 1834: «Если интересы науки считать наряду с великими национальными интересами, то я дал родине все, что может дать ей солдат, изувеченный на поле битвы. Какова бы ни была участь моих трудов, пример этот не должен погибнуть; пусть он будет уликой против нравственного изнеможения — этой язвы нового поколения; пусть укажет он на прямую дорогу жизни кому-нибудь из этих расслабленных, жалующихся на недостаток верований, не знающих, куда деться, где найти любовь и убеждения... Разве в науке нет убежища, пристани, надежды? С нею не так тягостно идут дурные дни, с нею жизнь употреблена благородно... Слепой и страждущий безнадежно, я могу свидетельствовать, и моему свидетельству должно дать веру: есть в мире нечто драгоценнее материальных наслаждений, богатства, самого здоровья — *любовь к науке*». И эта благородная любовь настолько восторжествовала над мраком и недугами, что в 1840 году вышли две изящные

[1] затаенную мысль (франц.).— *Ред.*

[2] «J'avais fait amitié avec les ténèbres» (<«Я подружился с мраком» — *франц.*>, говорит Тьерри. Какое умилительное, кроткое выражение! («Dix ans». Préface).

книжки «Рассказов о временах меровингских», которые Тьерри твердо намерен продолжать. Единодушные рукоплескания целой Франции встретили новый труд историка; Франция щедро наградила страждущего инвалида науки — об этом писали во всех газетах. Отрывки из «Рассказов» были напечатаны в его «Dix ans» и в «Revue de Deux Mondes»[1]. На этот раз мы предлагаем *«первый рассказ»* по исправленному и дополненному тексту вновь вышедшей книги. Сверх того, нам казалось необходимым присоединить к рассказу письмо Тьерри к издателю «Revue de Deux Mondes», чтоб разом поставить читателя на ту точку зрения относительно времен меровингских, с которой всего правильнее должен осветиться ряд следующих картин. Вот это письмо[2]:

«М. г. С давнего времени утвердилось и распространилось до пошлости мнение, что нет периода в нашей истории бесплоднее и запутаннее периода меровингского. О нем говорят наскоро, сокращают его, скользят по нем без малейшего зазрения совести. Мне кажется, в этом пренебрежении больше лени, нежели истины, и если отчасти справедливо, что история Меровингов запутана, то уж вовсе несправедливо, что она бесплодна. Напротив, это время исполнено происшествий резких, личностей выразительных, случаев драматических, так что затруднение собственно сводится на приведение в порядок огромного количества материалов. Вторая половина шестого столетия в особенности богата интересами для современных историков и читателей — потому ли, что то было время начального смешения между туземцами и победителями, запечатлевшего ее поэтическим характером, или она так оживлена для нас простосердечным летописцем своим, Георгием-Флоренцием—Григорием, известным под именем Григория Турского. В самом деле, надобно спуститься до времен Фруасара, чтоб найти повествователя, который мог бы равняться ему в искусстве

---

[1] № du 15 Décembre de 1833 et du 15 Juillet 1834 ‹№ от 15 декабря 1833 и от 15 июля 1834 — *франц.*›.

[2] № du 15 Août 1833 ‹№ от 15 августа 1833 — *франц.*›. Оно не перепечатано в его «Récits», и не было в том нужды после его пространной и прекрасной диссертации «Considérations sur l'histoire de France», служащей как бы введением к ним.

драматически выводить людей на сцену. В его рассказах, иногда забавных, иногда печальных, но всегда истинных и оживленных, выставляются перепутанными и смешанными все борьбы, все противоположности племен, сословий, состояний, вызванных в Галлию франкским завоеванием. Это галерея картин и изваяний, в беспорядке расположенных; это древние народные песнопения, случайно собранные вместе и следующие друг за другом без всякого порядка; но из них рука искусная может образовать великую поэму. Григорий Турский и его современники, одним словом, прекрасный предмет для художественного и исторического произведения

Если я не осмеливаюсь предпринять этого труда во всей его обширности, если вся поэма выше сил моих, я могу по крайней мере обещать вам несколько эпизодов, несколько отрывков, которые дадут истинное понятие о странном смешении людей и фактов, наполняющем период меровингский. Мое дело будет — собрать рассеянные, не связанные между собою случаи и подробности и составить из них *массы* повествований. Быт королевский, внутренняя жизнь их дворцов, буйство вельмож и насилия, междоусобные войны и войны частные, коварная мятежность галло-римлян и дикая необузданность варваров, дух возмущения и самоуправства, распространенный даже за стены женских монастырей,— вот картины, которые я хочу набросать по современным памятникам и которых совокупность должна восстановить Галлию шестого века. Я изучу до малейших подробностей судьбу исторических лиц, буду следовать за ними через все фазы их существования и постараюсь дать реальность и жизнь тем, которые были наиболее оставлены в тени новейшею историей. Наконец, над всеми ими будут господствовать три индивидуальности, типически выражающие свой век: Фредегонда, Еоний Муммол и сам Григорий Турский; Фредегонда — идеал первоначального варварства без всякого сознания добра и зла; Муммол — образованный человек, который по доброй воле *развращается* в варварство для того, чтоб быть своевременным; Григорий Турский — человек прошедшего, но прошедшего лучшего, нежели тягостное настоящее, верное эхо скорбных звуков, исторгавшихся у благородных сердец при виде гибнущей цивилизации!»

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ[1]

Сыновья Хлотера; их характер.— Браки.— Галесвинта.
(561 — 568)

В нескольких милях от Суассона, на берегу маленькой речки, находится деревня Брен. Она была в VI веке одною из тех обширных ферм, в которых короли франкские держали свой двор, предпочитая их лучшим городам Галлии. Королевское жилище того времени вовсе не имело воинственного вида замков средних веков; оно состояло обыкновенно из большого здания, окруженного портиками римской архитектуры, которые иногда строились из тщательно выглаженного дерева и украшались изваяниями, не вовсе лишенными красоты. Возле главного корпуса располагались в порядке жилища придворных римского и варварского происхождения — начальников дружин, которые, по германскому обычаю, отдались с своими войсками в truste короля, т. е. обреклись ему в особенное вассальство и верность. Другие домы, гораздо меньшие, были заняты многочисленными семействами ремесленников и ремесленниц, от золотых дел мастера и оружейника до ткача и веревочника, от золотошвейки до пряхи.

По большей части семейства эти были галльского происхождения: они или родились на земле, взятой королем для себя при разделе завоевания, или насильно привезены из какого-нибудь соседственного города для населения королевского владения; судя по физиономии собственных имен, были также между ими германцы и другие варвары, дети работников и прислужников, пришедших за дружинами победителей. Все эти семьи, какого бы ни были происхождения и чем бы ни занимались, состояли в одном разряде и означались одним именем liti на тевтонском языке и fiscalini (т. е. принадлежащие *фиску*) на латинском. Сверх того, в королевской ферме были разные хозяйственные заведения, конские заводы, скотные дворы, овчарни, амбары, домы земледельцев и хижины рабов;

[1] Мы сочли вовсе излишним переводить и перепечатывать здесь множество выписок, указаний на источники: все это было бы необходимо в полном издании, на русском «Рассказов» Тьерри. Ссылки и указания Тьерри поверены учеными, к которым ближе предмет этой книги. Нам уж нечего поверять их.

такая ферма была довольно похожа на древнегерманскую деревню в большом размере. В самом выборе местоположения было что-то напоминающее зарейнские виды. По большей части фермы находились на опушке, а иногда в самой глуши дремучих лесов, остаткам которых мы еще досле удивляемся.

Брен было любимое местопребывание Хлотера, последнего из сыновей Хлодовига, даже после смерти его трех братьев, доставившей ему королевскую власть над всей Галлией. Тут он берег и охранял в потаенной комнате свои сундуки с тремя запорами, где лежали его богатства, золотые монеты, сосуды и драгоценные вещи; тут совершал он главнейшие действия королевской власти; сюда собирался синод епископов из галльских городов; здесь принимал он послов чужестранных и здесь председательствовал большим собранием народа франкского, сопровождаемым празднествами, сохранившимися в народной памяти тевтонского племени,— празднествами, на которых подавались целиком зажаренные вепри и лани и где открытые бочки с вином занимали четыре угла залы. Пока Хлотера не вызывала вдаль война с саксонами, бретонами или с септиманийскими готами, он переезжал из одной фермы в другую, из Брена в Аттиньи, из Аттиньи в Компьен, из Компьена в Вербери, потребляя поочередно разные приготовленные в них запасы и занимаясь охотой, рыбной ловлей, плаваньем с своими лейдами. При этих объездах он набирал себе множество любовниц из дочерей фискалинов, и часто без малейшего затруднения любовницы делались его супругами и королевами.

Таким образом Хлотер, которого браки нелегко пересчитать по порядку, женился, между прочим, на девушке самого низкого происхождения, Ингонде, не отказываясь однако от развращенных привычек своих, которые Ингонда сносила с покорностию жены и рабыни. Он очень любил ее и жил с нею в совершенном ладу; однажды она сказала ему: «Король и господин мой взыскал меня своей милостью, призвав на разделение ложа; он довершил бы эту милость, исполнив смиренную просьбу рабы своей: у меня есть сестра Арегонда в числе королевской прислуги; выдай ее замуж за храброго и богатого человека, чтоб мне не приходилось больше краснеть за нее».

Просьба эта подстрекнула любопытство короля; он в тот же день отправился в то поместье, где жила Арегонда, занимаясь каким-нибудь женским ремеслом того времени — тканьем или крашеньем материй. Хлотер, находя ее по крайней мере не хуже сестры, взял ее с собою, водворил в королевских покоях и назвал супругой. Через несколько дней он возвратился к Ингонде и сказал ей, с видом лукавого добродушия, равно свойственного его характеру и народному характеру германцев: «Милость, которую ты испрашивала, исполнена. Я искал для твоей сестры человека богатого и мудрого, но не нашел никого лучше себя. Узнай же, что я сделал ее своей супругою, и, вероятно, это не будет тебе противно».— «Пусть воля супруга моего совершается беспрекословно,—отвечала Ингонда, не обнаруживая волнения и не теряя обычного своего терпения и самоотвержения,— лишь бы он меня, рабу свою, не лишил своих милостей».

В 561 году, после похода против одного из своих сыновей, которого восстание Хлотер наказал, приказав его сжечь с женою и детьми, он с спокойной совестью и беззаботно возвратился в свой бренский дом. Тут он занялся приготовлением большой осенней охоты, которая была некоторого рода торжеством у франков, и, наконец, отправился, окруженный толпою людей, лошадей и собак, в кюизский лес, которого бедные, жалкие остатки представляют ныне леса компьенские. Среди усиленных трудов и усталости от занятий, не свойственных его летам, он занемог лихорадкой, велел себя свезти в ближнее поместье и умер там после пятидесятилетнего царствования. Его сыновья, Гариберт, Гонтрамн, Гильперик и Сигеберт, провожали тело отца до Суассона, воспевая псалмы и неся восковые факелы.

Едва окончились похороны, как Гильперик (третий из четырех братьев) поскакал в Брен, отнял у приставов ключи от сокровищ и овладел ими. Сделавшись хозяином всех богатств, собранных отцом, он начал с того, что разделил часть их начальникам дружин и воинам, жившим в Брене и окрестностях. Воины тотчас присягнули ему, клавши руки свои в его руки, и провозгласили его *конингом* (королем), обещаясь следовать за ним повсюду. Он повел их прямо в Париж, прежнее местопре-

бывание Хлодовига I и впоследствии столицу королевства старшего сына его, Гильдеберта.

Может быть, Гильперик сопрягал мысль какого-нибудь первенства с обладанием города, в котором некогда жил победитель Галлии, а может быть, у него было только в предмете завладеть императорским дворцом, занимавшим большое пространство земли своими зданиями и садами на левом берегу Сены. Это предположение очень вероятно, потому что замыслы франкских королей никак не шли далее личной и непосредственной добычи. К тому же Гильперик, хотя и сохранил в характере своем резкие черты германского варварства, страсти необузданные, душу безжалостную, однакож имел и некоторые римские наклонности: он любил строить, любил ходить на игрища, даваемые в деревянных цирках, и, сверх всего этого, имел претензию быть грамматиком, теологом и поэтом. Его латинские стихи, в которых редко соблюдались правила просодии и метра, находили горячих поклонников между галльскими дворянами, которые, трепеща от страха, рукоплескали им, восклицая, что знаменитый сын Сикамбров победил в изяществе языка детей Ромула и что поток Вагальский превзошел славою Тибр.

Гильперик вошел в Париж без всякого сопротивления и занял своими воинами башни, которыми защищались мосты через Сену, тогда окружавшую город. Но когда весть о происшедшем дошла до его братьев, они соединились, чтоб воспротивиться слишком самовластным распоряжениям Гильперика, и быстро пошли к Парижу с силами, далеко превышавшими его силы. Гильперик не осмелился противостать им и решился подчиниться полюбовному разделу. Галлия и большая часть Германии были разделены жребием, подобно тому как было за полвека при разделении Хлодовигова наследия между его детьми. Составились четыре доли, соответствующие, с некоторыми изменениями, четырем странам, называвшимся: королевство Парижское, королевство Орлеанское, Неустрия и Аустразия.

Гариберт получил по жребию долю своего дяди Гильдеберта — королевство Парижское, простиравшееся от севера на юг и заключавшее в себе Санлис, Мелюн, Шартр, Тур,

Пуатье, Сент, Бордо и города пиренейские. Гонтрамн получил с уделом дяди Хлодомира, Орлеанским королевством, Бургундию от Саоны и Вожжь до Альпов и Провансальского моря. Удел Гильперика состоял из владений его отца — королевства Суассонского, которое франки называли *Неостер-рик* (Западное королевство) и которое имело пределами на север Эско (Шельду), на юг Лоару. Наконец, Восточное королевство, *Остер-рик*, пало на долю Сигеберта; оно заключало в себе Оверн, весь северо-восток Галлии и Германии до земель саксонских и славянских. Кажется, за основание дележа было принято число городов, потому что, независимо от странности такого территориального раздела, оно усложнено множеством чересполосных владений, в которых никак себе нельзя дать отчета. Руан и Нант принадлежали к королевству Гильперика; а Авранш и Марсель находились во владении Гариберта; Гонтрамн владел Авиньоном; наконец, Суассон, столица Неустрии, была как взаперти между городами Сенлис и Мо, Лаон и Реймсом, принадлежавшим к королевствам Парижскому и Аустразийскому.

Когда жребий назначил удел каждому, братья присягнули на святых мощах довольствоваться своими участками и не домогаться ни силой, ни хитростью захватывать чужое. Клятва эта весьма скоро была нарушена. Гильперик, пользуясь отсутствием брата Сигеберта, воевавшего в Германии, напал невзначай на Реймс, овладел им и еще некоторыми городами. Но недолго пользовался он своей победой. Сигеберт, возвратившись из-за Рейна победителем, отобрал у брата город за городом и, преследуя его до стен суассонских, разбил там и силою вошел в столицу Неустрии. Тут они примирились и снова поклялись ничего не предпринимать друг против друга; это совершенно в духе варварства: пыл бешеный, неистовый и тотчас проходящий. Эти два брата были буйны, мстительны и воинственны, в то время как старшие их братья, Гариберт и Гонтрамн, более смирные, любили покой. Вместо грубой и воинственной наружности своих подданных король Гариберт принимал спокойный и несколько тяжелый вид судей, творивших расправу по римским законам в галльских городах. У него были даже притязания на сведения в законах, и никакая лесть

не нравилась ему более похвалы его искусству разбирать запутанные судебные дела, равно как и искусству говорить свободно по-латине, несмотря на германское происхождение. В характере короля Гонтрамна, по странной противоположности, соединялись манеры кроткие и почти священнические с припадками внезапного бешенства, вполне достойного лесов Германии. Однажды, отыскивая потерянный на охоте рог, он заставил пытать множество свободных людей; другой раз он велел казнить благородного франка, подозревая, что он убил буйвола на королевской земле. В минуты хладнокровия, напротив, в нем было какое-то чувство порядка, проявлявшееся всего более в его религиозном усердии и в повиновении епископам — этим живым законам того времени.

Совсем иначе поступал король Гильперик. Полудикий вольнодумец своего рода, он повиновался только своей воле, даже в тех случаях, когда дело шло о догматах католической церкви. Власть духовенства ему казалась невыносимой, и он всегда с особенным удовольствием уничтожал завещания, сделанные в пользу монастырей или церквей. Поведение епископов было вечным предметом его насмешек. Ненависть его еще более усиливалась от беспрерывного возрастания церковных богатств и влияния епископов по городам, где к ним перешла, со владычества варваров, бóльшая часть прав прежних муниципальных властей; и тем сильнее была зависть его, что он не находил средств оттягивать себе эти права. Жалобы, вырывавшиеся иногда у него в негодовании, не без смысла. «Наш фиск беднеет,— говаривал он,— наше достояние переходит к церквам! В городах царствуют одни епископы».

Все сыновья Хлотера I, исключая меньшего, Сигеберта, были чрезвычайно невоздержны; они почти никогда не довольствовались одной супругой, покидали без малейшего угрызения совести жену, с которой только что вступили в брак, потом, по первому капризу, снова возвращали ее. Набожный Гонтрамн не реже своих братьев менял жен и имел любовниц, в числе которых была Венеранда, дочь галла, приписанного к фиску. Король Гариберт взял себе в любовницы разом двух сестер чудной красоты, находившихся в услужении его жены Ингоберги. Одна называлась Марковефа и была монахиней, другая Меро-

фледа — обе дочери ремесленника, занимавшегося выделкою шерсти, варвара происхождением и *лита* королевского владения. Ингоберга, ревнуя своего мужа, делала все возможное, чтоб отвлечь его от любовниц,— но не успела. Не смея ни притеснять, ни удалить соперниц, она выдумала хитрость для того, чтоб отвратить короля от недостойной его связи, призвала отца молодых девушек и заставила его середь двора чесать шерсть: в то время, как он, в простоте душевной, ревностно занимался своей работой, чтоб показать свое усердие, королева, стоявшая у окна, позвала мужа. «Поди сюда,— говорила она, — посмотри, какую новость я тебе покажу». Король подошел и, не видя ничего, кроме работника, чесавшего шерсть, рассердился, находя шутку глупою. Вышло жестокое объяснение между супругами, окончившееся совсем против ожидания королевы: король прогнал ее и женился на Мерофледе. Но вскоре, находя, что ему мало одной жены, он дал торжественно титул королевы и супруги какой-то Теодегильде, дочери пастуха. Через несколько лет Мерофледа умерла, и король поспешил жениться на сестре ее Марковефе, нарушая таким образом вдвойне церковные постановления, как двоеженец и как вступивший в брак с женщиною, принявшею монашеское покрывало. Святой Жермен, епископ парижский, требовал расторжения брака, но король решительно отказался от повиновения и был отлучен. Но тогда еще не наступило время, когда дикая гордость потомства завоевателей должна была склоняться пред строгой властью церкви. Гариберт, не обращая никакого внимания на отлучение, спокойно остался с двумя женами своими.

Гильперику, преимущественно перед всеми сыновьями Хлотера, приписывается современными рассказами наибольшее число королев, т. е. жен, с которыми он сочетался по французскому закону *кольцом и выкупом*. Одна из этих королев, Аудовера, имела в своем услужении молодую девушку Фредегонду, франкского происхождения и красоты столь поразительной, что король влюбился в нее при первой встрече. Любовь короля, весьма лестная для служанки, не была однакоже для нее безопасной, потому что Фредегонда находилась в полной зависимости своей госпожи, которая легко могла на ней вымещать ревность и злобу. Но Фредегонда не испугалась

этого: хитрая и самолюбивая, она начала изыскивать средства законно развести короля с Аудоверой, оставаясь по видимому в стороне. Если верить преданью, существовавшему почти век после этого времени, ей удалось исполнить свой замысл довольно странным образом — благодаря стачке с епископом и простоте королевы. Гильперик, соединившись с Сигебертом, чтоб предпринять поход за Рейн против народов саксонского союза, оставил Аудоверу беременною. До возвращения его королева родила дочь, и, не зная, крестить ее или дожидаться мужа, она советовалась с Фредегондой, которая так ловко умела скрываться, что королева нисколько не подозревала ее. «Государыня,— отвечала служанка,— когда король, наш господин, возвратится победителем, может ли он радостно увидеть дочь, не приявшую святого крещения?» Королева послушалась совета, и Фредегонда тайно начала приготовлять сети, в которые хотела поймать ее. Когда пришел назначенный день и час крестин, баптистерий был украшен тканями и гирляндами; епископ дожидался в полном облачении; но не являлась восприемница, благородная женщина франкского племени. Королева, смущенная этой помехой, не знала, что делать; тогда Фредегонда, стоявшая возле нее, сказала: «Стоит ли хлопотать о восприемнице? Разве есть кто-нибудь из благородных женщин достойнее вас держать у купели королевского младенца? Если угодно вам послушать моего совета, будьте сами восприемницею». Епископ, вероятно, прежде склоненный, совершил таинство, и королева спокойно удалилась, не понимая, какие важные последствия для нее проистекут из этого участия ее в священном обряде.

Когда король Гильперик возвратился, молодые девушки, жившие в королевской усадьбе, вышли навстречу, неся цветы и воспевая стихи, в честь ему написанные. Фредегонда, приблизившись к нему, сказала: «Хвала богу, что наш государь победил врагов; хвала богу, что он дал дочь государю! Но с кем же разделит наш господин нынче свое ложе? Ведь королева, госпожа наша, теперь кума его и крестная мать своей дочери Гильдесвинды?»

— Если она не может разделить ложа со мною,— ответил шутя король,— так я разделю его с тобою.

Под портиком дворца Гильперик встретил Аудоверу; она держала на руках младенца и с гордой радостью поднесла его отцу; но король, приняв вид горестный, сказал ей:

— Женщина, в простоте сердца ты совершила действие преступное, ты не можешь быть более моей супругой.

Как строгий исполнитель церковных уставов, король наказал ссылкой епископа, совершавшего крещение, и уговорил Аудоверу тотчас развестись с ним и принять, как бы в качестве вдовы, монашеское покрывало. Чтоб утешить ее, он подарил ей многие земли близ Манса, принадлежавшие фиску. Гильперик женился на Фредегонде, и при шумных ликованиях свадебных празднеств отправилась бедная, оставленная королева в свое уединение; там через пятнадцать лет она была умерщвлена по приказанию прежней служанки своей.

Между тем как трое старших сыновей Хлотера жили таким образом в разврате и вступали в брак с служанками, Сигеберт, меньшой сын, нисколько не следуя их примеру, смотрел на них с отвращением. Он решился иметь одну жену, и притом королевской крови. У Атанагильда, короля готского, основавшегося в Испании, были две взрослые дочери; из них меньшая, Брунегильда, слыла удивительной красавицей — на ней остановился выбор Сигеберта. Многочисленное посольство отправилось с богатыми дарами из Меца в Толеду просить у готского короля руку его дочери. Главою посольства был Гог, или, правильнее, Годегизель, дворцовый мэр аустразийский, человек искусный в переговорах всякого рода; он успешно окончил свое поручение и привез из Испании невесту королю Сигеберту. Везде, где проезжала Брунегильда, в своем продолжительном путешествии на север, привлекала к себе общее внимание, как говорят современники, прелестью обращения, благоразумными речами и приятным разговором. Сигеберт любил ее и всю жизнь сохранил к ней страстную привязанность.

В 566 году совершилось с большою пышностью их бракосочетание в королевском городе Мете Все владельцы Аустразийского королевства были приглашены королем принять участие в празднестве этого дня. В Мец съезжались со всех сторон, окруженные своими людьми и лошадьми: графы городов, начальники северных областей Галлии, патриархальные ста-

рейшины древних франкских племен, оставшихся за Рейном, герцоги аллеманов, байваров, торингов (турингцев). В этом странном собрании образованность и варварство встречались и сталкивались во всех степенях. Тут были благородные галлы, учтивые и вкрадчивые; благородные франки, надменные и грубые; были и настоящие дикари, с ног до головы в меху, равно суровые по виду и по обычаям. Свадебный пир был пышен и оживлен радостью; столы ломились под золотыми и серебряными блюдами, узорчато отделанными (плодами побед и грабежей); вино и пиво лилось беспрерывно в кубки, украшенные драгоценными каменьями, и в рога буйволов, из которых обыкновенно пили германцы. Огромные залы оглашались радостными криками, тостами, ликованьями, хохотом и всей шумливою веселостью тевтонской. За удовольствиями свадебного стола следовало увеселение более утонченное, доступное только малому числу гостей.

При дворе аустразийском находился тогда итальянец Венанций-Гонорий-Клементиан-Фортунат; он путешествовал по Галлии и был везде принимаем с чрезвычайным уважением; человек поверхностный, но любезный, он сохранил остатки римской ловкости и прелести обращения, которые почти истреблялись тогда за Альпами Покровительствуемый у короля Сигеберта теми из епископов, которые еще любили и оплакивали прошедшие образованные нравы, Фортунат был принят с щедрым гостеприимством при полуварварском дворе в Меце. Управляющие королевским фиском имели приказание отводить ему квартиру, отпускать съестные припасы и снабжать лошадьми. Чтоб показать свою признательность, он сделался придворным поэтом и посвящал королю и вельможам свои латинские стихотворения, которые, если не всегда были понимаемы, зато принимались прекрасно и всегда приносили богатое вознаграждение сочинителю. Свадебные празднества не могли остаться без эпиталамы: Венанций-Фортунат написал стихотворение в классическом вкусе и важно произнес его перед странным собранием, столпившимся около него, как будто он читал всенародно в Риме на Траяновой площади.

В его стихотворении, бледном, последнем отблеске римского остроумия, необходимые лица каждой эпиталамы,

Венера и Амур, являются с своими стрелами, факелами и розами. Амур спустил стрелу прямо в сердце короля Сигеберта и спешит сообщить свою великую победу матери. «О мать моя,— говорит он,— я окончил бой». Тогда богиня и сын ее летят по воздуху до Меца, спускаются во дворец и начинают цветами убирать брачную комнату. Тут у них возникает спор о достоинстве супругов: Амур стоит за Сигеберта, которого он называет новым Ахиллом; Венера отдает преимущество Брунегильде, и вот как она ее описывает: «О дева, которой я удивляюсь и которую обожать будет супруг! Брунегильда! Ты лучезарнее, блестящее эфирной лампы; игра драгоценных камней уступает прелести твоего лица; ты другая Венера, и твое приданое — владычество красоты. Ни одна из нереид, плавающих в морях Иберии, в источниках океана, не может сравниться с тобою; никакая Нинея не краше тебя, и нимфы потоков склоняются пред тобою! Белизна молока и яркий румянец соединены в цвете твоих ланит: лилии, перемешавшиеся с розами, пурпур, затканный золотом, ничего не имеют достойного, чтоб сравниться с ними, и, побежденные, удаляются. Побеждены также и сапфир, и алмаз, и кристалл, и изумруд, и яшма; Испания произвела новую жемчужину»[1].

Эти общие места мифологии и громкие, звучные слова, почти лишенные смысла, понравились королю Сигеберту и тем из франкских вельмож, которые сколько-нибудь понимали латинские стихи. В сущности, главные начальники варваров вовсе не имели обдуманной ненависти к образованности, они охотно принимали то, что было доступно для них; но этот наружный блеск образования встречался с такою непроницаемой массой диких привычек, необузданных нравов, жесткости

---

[1] Здесь мы считаем не лишним выписать несколько стихов, как образчик языка того времени*:

O virgo miranda mihi, placitura jugali,
Clarior aetherea, Brunechildis, lampade fulgens
Lumina gemmarum superasti lumine vultûs...
Saphirus, alba adamas, crystalla, smaragdus, iaspis,
Cedant cuncta; novam genuit Hispania gemmam!

(Venantii Fortunati Carm., lib. VI, p. 558)

характера, что не мог глубоко привиться. Сверх того, за сановниками, которых гордость или аристократический инстинкт заставляли подражать обычаям прежних дворян и искать их общества, следовала многочисленная толпа воинов, для которых грамотный человек казался всегда (если они не были убеждены в противном собственными глазами) трусом. При малейшем поводе к войне они возобновляли грабежи, как в первые времена вторжения в Галлию: похищали и сплавляли в слитки драгоценные сосуды из церквей и дорывались золота в самых могилах. В мирное время они изобретали разные уловки и хитрости, чтоб лишить собственности галльских соседей, или отправлялись на большие дороги нападать с копьями и мечами на врагов своих. Самые мирные проводили время в чищении оружия, охоте и пьянстве. Все можно было получить от них, угощая вином, даже обещание поддерживать у короля того или другого кандидата на упраздненное епископское звание.

Беспрерывно тревожимые такими гостями, вечно беспокоящиеся за свою личность и состояние, богатые туземцы теряли душевное спокойствие, без которого искусства и науки гибнут; сверх того, они сами увлекались примером варваров, следуя какому-то инстинкту дикой независимости, который не исторгается из сердца человеческого самой образованностью, бросались в варварскую жизнь, презирали все, кроме физической силы, делались сварливыми и буйными Подобно франкским воинам, они нападали по ночам на своих врагов, в их собственных домах или на дороге, и не выходили со двора без германского предохранительного кинжала, называемого *скрамасакс*. Таким образом, в продолжение полутора века, исчезло в Галлии всякое умственное образование, всякая утонченность нравов, и эта жалкая перемена не была произведением какой-нибудь зловредной воли или систематического враждования против римской цивилизации, а была приведена самим течением событий.

Бракосочетание Сигеберта, торжественность его и всего более блеск, который придавало ему звание супруги, сделали сильное впечатление на короля Гильперика. Ему казалось, что среди своих любовниц и жен, с которыми он сочетался по прежним германским обычаям, он ведет жизнь менее царскую

и доблестную, нежели его меньшой брат. Он решился последовать примеру Сигеберта, взять жену высокого происхождения, и, во всем подражая ему, отправил посольство к королю готскому просить руки старшей дочери его, Галесвинты. Но требование его встретило затруднения, не существовавшие для послов Сигеберта. Слух о развратной жизни короля Неустрии дошел до Испании. Готы, более образованные, нежели галлы, и несравненно более покорные евангельскому учению, громко говорили, что Гильперик не лучше язычника. Сверх того, старшая дочь Атанагильда, робкая, кроткая и задумчивая по характеру, трепетала при мысли, что должна ехать в такую даль и что там будет принадлежать такому человеку. Королева Гоисвинта, нежно любившая ее, разделяла ужас, отвращение и страшные предчувствия своей дочери; король был в нерешимости и откладывал день за день решительный ответ. Наконец, вынужденный посланниками, он отказался договариваться с ними, если король не обяжется под присягой удалить всех жен своих и жить с новой супругой по закону божию. Гонцы отправились в Галлию и возвратились с обязательством Гильперика покинуть всех любовниц и жен, если только получит в супружество жену, достойную его и королевскую дочь.

Двойной союз с франкскими королями, естественными соседами и врагами Атанагильда, представлял столько политических выгод готскому королю, что, получив удостоверение Гильперика, он решился и приступил к переговорам о свадебных условиях. Тут все толки и рассуждения свелись, с одной стороны, на определение приданого невесте, с другой — на утверждение удела, который невеста должна была получить от мужа после первой ночи как *утренний дар*. У всех народов германского племени был общепринятый обычай, чтоб супруг дарил жену, как только она проснется после первой ночи, в награду за ее целомудрие. Подарки эти были чрезвычайно разнообразны: они состояли то из денег, то из каких-нибудь драгоценных вещей, то из лошадей, быков, разного скота, домов или земель; но каков бы он ни был, его называли одним именем *утреннего дара*, morghen-gabe или morgane-ghiba, смотря по различным наречиям. Переговоры о браке короля Гильперика с сестрою Брунегильды, замедляемые пересылками

гонцов, продолжались до 567 года; их окончание ускорило происшествие, случившееся в Галлии.

Старший из франкских королей, Гариберт, отправился из окрестностей Парижа в свое владение близ Бордо, чтоб насладиться климатом и произведениями Южной Галлии. Там он почти скоропостижно умер; смерть его сделала необходимым новый территориальный переворот в Франкском государстве. Лишь только он закрыл глаза, одна из его жен, Теодегильда, дочь пастуха, захватила королевскую сокровищницу и, чтоб сохранить, вместе с богатством, титул королевы, послала предложить свою руку Гонтрамну. Король прекрасно принял посольство и отвечал с видом чрезвычайной искренности: «Скажите ей, чтоб она поспешила ко мне с своими сокровищами, я хочу вступить с нею в брак и возвеличить ее в глазах народов; я хочу, чтоб ее более чтили, нежели при покойном брате моем». В восторге от этого ответа, Теодегильда нагрузила несколько повозок богатствами своего мужа и отправилась в Шалонна-Саоне, местопребывание короля Гонтрамна. Когда она приехала, король, нисколько не занимаясь ею, осмотрел кладь, сосчитал повозки, велел свесить сундуки и потом, обращаясь к людям, окружавшим его, сказал: «Не лучше ли этим сокровищам принадлежать мне, нежели женщине, которая вовсе была недостойна разделять ложе моего брата?» Все были согласны с королем; богатства Гариберта спрятали в кладовые, а королеву, сделавшую против воли такой богатый подарок Гонтрамну, он велел под стражею отправить на заключение в Арльский монастырь.

Братья Гонтрамна не оспоривали его прав на владение деньгами и богатством, приобретенными обманом; им предстоял спор между собою и с ним о несравненно важнейшем предмете. Нужно было разграничить землю галльскую на три части вместо четырех и по общему согласию разделить города и области, составлявшие королевство Гариберта. Это разделение было еще страннее и беспорядочнее первого. Город Париж разбили на три части, и каждый из братьев взял себе одну часть. Чтоб избегнуть внезапных нападений, ни один из королей не должен был въезжать в город без согласия двух других, под опасением потерять не только свою долю Парижа, но

и доставшуюся ему долю Гарибертова королевства; это условие было утверждено торжественной присягой на мощах трех особенно уважаемых угодников — Гилария, Мартина и Поликвкта, и их мщение на этом и том свете долженствовало пасть на главу клятвопреступника. Санлис и Марсель так же разделили, как Париж, но только на две части, первый между Гильпериком и Сигебертом, второй между Сигебертом и Гонтрамном. Другие города вошли, без малейшего отношения к их взаимному положению, в три королевские доли; вероятно, в распределении их основывались на суммах платимых ими податей. Географическая запутанность увеличилась еще более; чересполосные владения умножились; три королевства были перепутаны друг с другом. По жребию Гонтрамну достались Мелюн, Сент, Ажан и Периге; Мо, Вандом, Авранш, Тур, Пуатье, Алби, Консеран и города нижнепиренейские пали на долю Сигеберта. Наконец, в участке Гильперика находились Лимож, Кагор, Бордо, уничтоженные ныне города Бигорр и Беарн, округи верхнепиренейские и, сверх того, несколько городов, не называемых летописцами.

В то время Восточные Пиренеи находились вне земель, составлявших владение франков; они принадлежали испанским готам, которые через них имели сообщение с землями, принадлежавшими им в Галлии от Ода до Роны. Таким образом, король Неустрии, не имевший доселе ни одного города на юг от Луары, сделался ближайшим соседом будущего тестя своего, короля готского; это взаимное положение королей дало новое основание свадебному договору и ускорило заключение его. Многие из городов, доставшихся Гильперику, находились на границе Атанагильдова королевства; другие были рассеяны по Аквитании — области, некогда отнятой Хлодовигом Великим у готов. Выговорить, чтоб эти города, потерянные его предками, поступили в удел его дочери, было весьма важно для короля готского, и, как ловкий политик, он это очень хорошо понял. Король Гильперик, по недостатку ли соображения в делах более сложных, нежели минутная выгода, по желанью ли во что бы то ни стало вступить в брак с Галесвинтой, не усомнился обещать в удел и в утренний дар новобрачной Лимож, Кагор, Бордо и города пиренейские со всею землей их. Смут-

ные понятия, господствовавшие в умах народов германских о правах территориальной собственности и верховной власти могли впоследствии, основываясь на этом, поставить эти города совершенно вне франкского владычества; но король неустразийский не глядел вдаль. Увлеченный одною мыслью, он только хлопотал выговорить за свои уступки побольше приданого серебром и драгоценными вещами; когда условились в этом, то не оставалось больше препятствий, и брак был решен.

Во все время долгих переговоров Галесвинта не переставала мучиться мрачными предчувствиями, и отвращение ее к будущему супругу не уменьшилось. Обещания, данные именем короля Гильперика франкскими посланниками, не ободряли ее. Узнавши, что судьба ее окончательно и неизменно решена, она в ужасе бросилась к своей матери, схватила ее обеими руками, как дитя, ищущее помощи, и больше часа рыдала в этом положении, не произнося ни одного слова. Посланники франкские явились в то время приветствовать нареченную невесту своего короля и спросить ее приказаний об отъезде; но, несмотря на всю грубость их нравов, они были так поражены видом этих двух женщин, рыдавших друг у друга на груди и так судорожно прижимавшихся друг к другу, как будто бы они были связаны, что не смели заикнуться о путешествии. Прошло два дня; на третий они снова явились к королеве, объявив на сей раз, что они спешат отъездом, говоря, что путь долог и нетерпение короля велико. Королева горько плакала и просила для дочери еще день отсрочки. Но когда на другой день пришли ей сказать, что все готово к отъезду, «один день еще,— отвечала она,— и я ничего больше не попрошу; знаете ли вы, что там, куда вы повезете дочь мою, не будет у нее больше матери?» Долее ждать было невозможно; Атанагильд своею властью, как король и отец, решил дело; и, несмотря на слезы королевы, Галесвинту отдали особам, имевшим поручение доставить ее к будущему супругу.

Длинный поезд всадников, повозок и фур проезжал по улицам толедским, направляясь к северным воротам. Король верхом провожал дочь до мосту, брошенного через Таго в некотором расстоянии от города; но королева не могла решиться так скоро расстаться и хотела сколько-нибудь еще проводить

свою дочь. Всякий день говорила она: «Вот с такого-то места я возвращусь» — и, достигнув этого места, ехала далее. При приближении к горам дороги сделались трудны; она не заметила этого и хотела продолжать путь. Но так как сопровождавшие ее люди, многим увеличивая поезд, умножали затруднения и опасности пути, готские вельможи решили не дозволять ехать королеве ни одной мили более. Надобно было, наконец, подвергнуться неминуемой разлуке; снова повторились грустные сцены расставанья, но спокойнее прежних. «Будь счастлива! — говорила она, — но я боюсь за тебя; берегись, дочь моя, берегись...» При этих словах, столь согласных с собственными предчувствиями Галесвинты, она, обливаясь слезами, сказала: «Богу так угодно, надобно покориться». И они расстались.

Многочисленный поезд разделился: одни всадники и повозки двинулись вперед, другие вернулись в Толеду. Готская королева, прежде нежели села в свою колесницу, стала на краю дороги и, грустная, неподвижная, смотрела, не спуская глаз, на повозку дочери до тех пор, пока она исчезла вдали в извилинах дороги. Галесвинта, печальная, но покорная судьбе своей, продолжала путь на север. Ее охрана, состоявшая из вельмож и воинов обеих наций, готов и франков, проехала Пиренеи, потом города Нарбон и Каркассон, не выезжая за пределы готских владений, простиравшихся до сих мест; наконец, они направили свой путь через Пуатье и Тур к Руану, где назначено было торжествовать бракосочетание. У ворот каждого большого города поезд останавливался и приготовлялся к торжественному въезду: всадники снимали дорожные плащи, открывали нарядную свою сбрую и вооружались щитами, висевшими на арчаках; невеста короля неустрийского оставляла тяжелую дорожную повозку и садилась в парадную колесницу, возвышавшуюся в форме башни и покрытую сплошь листовым серебром. Современный поэт[1], у которого мы почерпаем эти подробности, сам видел въезд ее в Пуатье, где она несколько дней отдыхала; он говорит, что все удивлялись пышности экипажа, но умалчивает о красоте Галесвинты.

---

[1] Венанций-Фортунат.

Между тем Гильперик, верный данному обещанию, развелся с женами и отпустил своих любовниц. Сама Фредегонда, прелестнейшая из всех, любимица короля, не избегла этой участи; она покорилась ей с видом самоотвержения и благоразумия, которые могли бы обмануть человека несравненно более хитрого, нежели Гильперик. Казалось, она вполне понимала необходимость такого развода, непрочность брака женщины ее состояния с королем и необходимость уступить королеве, достойной этого звания. Фредегонда просила только, как последнюю милость, не быть удаленной и снова вступить в среду женщин, имеющих при дворе какие-нибудь должности. Под этой личиной смирения скрывалось глубокое коварство и раздраженное женское самолюбие. Королю же неустразийскому и в голову не приходило об опасности, которой он подвергался, оставляя ее при себе. С тех пор как им овладела мысль о вступлении в брак с королевской дочерью, ему казалось, что он уже не любит Фредегонды и не замечает красоты ее; душа Хлотерова сына, как душа настоящего варвара, не обладала способностью в одно время иметь разные чувства. И потому не надобно думать, чтоб он с каким-нибудь умыслом или из слабости сердечной дозволил остаться Фредегонде в одном доме с будущей супругой; он это сделал просто по недостатку соображения.

Бракосочетание Галесвинты праздновалось с такою же пышностью и блеском, как свадьба Брунегильды, даже более; все франки неустрийские, вельможи и простые воины, присягали новобрачной в верности, как королю. Ставши в полукружие, они разом обнажили мечи и, потрясая ими, произнесли старинную языческую присягу, обрекая острию меча клятвопреступника. Потом сам король торжественно повторил свой обет в брачной верности и постоянстве: положив руку на раку с мощами, он поклялся никогда не разводиться с дочерью готского короля и не брать другой жены, пока она будет жива.

В Галесвинте заметили, в продолжение свадебных празднеств, милую доброту к гостям, которых она принимала, как старых знакомых; речи ее были кротки, ласковы, исполнены благосклонности; множество подарков было роздано ею; все наперерыв показывали ей искреннюю преданность и откровенно желали долгой и счастливой жизни. Эти желания, которые

не должны были исполниться для нее, проводили ее до брачной комнаты, а на другой день она получила *утренний дар*, со всеми обрядами, которые установлены германскими обычаями. В присутствии избранных свидетелей король Гильперик взял правой рукой руку новобрачной, а другою бросил на нее соломинку и громким голосом произнес имена пяти городов, поступавших в собственность королевы. Дарственная грамота на вечное и неотъемлемое владение была тут же написана на латинском языке, она не сохранилась; но легко себе представить ее содержание по общепринятым в тогдашнее время формам и по слогу других сохранившихся памятников времен меровингских: «Поелику бог повелел, чтоб муж оставил отца и мать и прилепился к жене, чтоб они были два в плоть едину и чтоб никто не расторгал соединенных господом, я, Гильперик, король франков, муж достославный[1], тебе, Галесвинта, жена моя возлюбленная, с которой я вступил в брак по закону салическому, солидом и динарием (dum et ego te *per solidum et denarium* secundum legem salicam visus fui sponsare), тебе дарю я ныне, побуждаемый нежной любовью, в оклад и morganeghiba города: Бордо, Кагор, Лимож, Беарн и Бигор с их землею и народонаселением. Я хочу, чтоб с сего дня ты повелевала и обладала ими как вечной собственностью, вручаю и передаю тебе их и утверждаю дачу сей грамотой, как уже сделал то соломиной и *ганделангом*»[2].

Первые месяцы после брака были для королевы если не вполне счастливы, то по крайней мере спокойны; кроткая, покорная, она с самоотвержением переносила грубую дикость, прорывавшуюся в характере мужа. Да и Гильперик точно любил ее некоторое время, сперва из гордости, радуясь, что имеет жену, ровную по рождению с женою брата; потом, когда он свыкся с этой мыслью, лестной для его самолюбия, он любил ее из корысти, за огромное количество драгоценных вещей и денег, принесенных ею в приданое. Но когда, через несколько времени, ему не доставляло более удовольствия

---

[1] Vir inluster.

[2] Комментаторы не объясняют этого слова; вероятно, оно значит *пожатие руки*.

перебирать и пересчитывать свои богатства, привязанность его к Галесвинте потухла. Нравственная красота ее, смирение и благотворительность к неимущим, конечно, не могли поддержать любовь человека, который понимал и чувствовал одну телесную красоту. Итак, наступило вскоре время, когда королю Гильперику, вопреки его собственным обетам, надоела его супруга; холодное равнодушие к ней и скука овладели им.

Этим расположением короля воспользовалась Фредегонда, давно выжидавшая удобного времени, с обыкновенной своей хитростью. Ей достаточно было встретиться, как бы случайно, с королем, чтоб воспламенить слабо потушенную самолюбивыми мечтами страсть этого чувственного человека, особенно когда он сравнит ее черты с чертами Галесвинты. Фредегонда снова была взята в любовницы и открыто хвастала своим торжеством, даже осмелилась высокомерно и с пренебрежением обращаться с несчастной королевой. Вдвойне оскорбленная — и как жена и как королева — Галесвинта сначала молча плакала; наконец, она стала жаловаться и сказала королю, что в его доме нет ей надлежащего почета, а, напротив, делаются нестерпимые обиды и оскорбления. Она просила как милости, чтоб он с нею развелся и предлагала отдать ему все, что принесла с собою, лишь бы он позволил ей возвратиться на родину.

Возможность добровольно отказаться от богатств и драгоценностей, пренебрежение к корысти из душевного величия, не помещалась в голове короля Гильперика; он не мог поверить чувствам, не существовавшим для него. Слова огорченной Галесвинты, несмотря на их искренность, поселили в нем мрачные подозрения и страх потерять, открытым разрывом, богатства, которых обладанием он очень дорожил. Обуздывая свои страсти и скрывая мысль свою с хитростью дикаря, он вдруг переменил обращение, тихим и кротким голосом уверял жену в любви, говорил о своем искреннем раскаянии, словом, обманул дочь Атанагильда. Она перестала говорить о разводе и начинала утешаться истинным раскаянием короля, как однажды ночью, по его приказанию, ввели в ее спальню преданного ему слугу— и Галесвинта была задушена спящая. Нашед тело покойницы в постели, Гильперик прикинулся удивленным, огорченным, проливал слезы и через несколько дней женился на Фредегонде.

Так погибла эта юная женщина, которой внутренний, таинственный голос предсказывал ужасную судьбу ее,— кроткий, печальный образ, пролетевший, как видение другого мира, через варварское время Меровингов. Несмотря на нравственную загрубелость этой эпохи кровавых преступлений и бедствий, нашлись души, которых глубоко поразило несчастие, так мало заслуженное, и их сочувствие приняло сообразно духу времени образы мистических поверий.

Говорили, что хрустальная лампа, повешенная возле гроба Галесвинты в день ее похорон, вдруг отвязалась сама, без прикосновения руки человеческой, и упала на мраморный пол, не разбившись и не потухнув Уверяли, для пополнения чуда, что предстоявшие видели, как мрамор уступил при падении лампы, подобно какому-нибудь мягкому веществу, отчего лампа до половины углубилась в мрамор. Подобные рассказы могут заставить улыбнуться нас, читающих о них в старых книгах, писанных людьми другого, дальнего века; но в шестом столетии, когда такие легенды предавались изустно как живое и поэтическое воплощение чувствований и верований народных, слезы лились при этих рассказах, и грустная задумчивость овладевала слушающими.

‹1841›

МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ

Печатая в первый раз небольшую статейку о Москве и Петербурге, писанную мною во время моей второй ссылки, т. е. пятнадцать лет тому назад, я исполняю желание моих друзей, между прочим того, который мне прислал ее из России. Статья эта нравилась многим и обошла всю Россию в рукописных копиях. Впоследствии (в 1846) я напечатал отрывки из нее в небольшом рассказе «Станция Едрово», но само собою разумеется, что нечего было и думать, чтобы ценсура пропустила резкие места, а они-то и составляют все достоинство этой шутки. Я во многом теперь не согласен, но оставил статью так, как она была, по какому-то чувству добросовестности к прошедшему

И вы туда же, любезные друзья, сердитесь, что я, усевшись на береге Волхова*, говорю об одном прошедшем, как будто у нас нет настоящего, как будто нам положен тайный рубеж в истории — не вести исследований позже происхождения Руси, как будто важнейшее дело и событие в нашей истории — метрическое свидетельство о рождении, после которого так скромно жили, что нечего и рассказать... Тут я вас остановлю. Я потому именно стал говорить о прошедшем, что мне кажется, мы и в нем не жили, а только кой-как существовали. Но, пожалуй, в сторону прошедшее!

Говорить о настоящем России — значит говорить о Петербурге, об этом городе без истории в ту и другую сторону, о городе настоящего, о городе, который один живет и действует в уровень современным и своеземным потребностям на огромной части планеты, называемой Россией. Москва, напротив, имеет притязания на прошедший быт, на мнимую связь с ним;

она хранит воспоминания какой-то прошедшей славы, всегда глядит назад, увлеченная петербургским движением, идет задом наперед и не видит европейских начал оттого, что касается их затылком. Жизнь Петербурга только в настоящем; ему не о чем вспоминать, кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории, да нет и будущего; он всякую осень может ждать шквала, который его потопит. Петербург — ходячая монета, без которой обойтиться нельзя; Москва — редкая, положим, замечательная для охотника нумизма, но не имеющая хода. Итак, о городе настоящего, о Петербурге.

Петербург — удивительная вещь. Я всматривался, приглядывался к нему и в академиях, и в канцеляриях, и в казармах, и в гостиных, — а мало понял. Живши без занятий, не втянутый в омут гражданских дел, ни в фронты и разводы *мирных военных занятий*, я имел досуг, отступя, так сказать, в сторону, рассматривать Петербург; видел разные слои людей: людей, которые олимпическим движением пера могут дать Станислава или отнять место; людей, беспрерывно пишущих, т. е. чиновников; людей, почти никогда не пишущих, т. е. русских литераторов; людей, не только никогда не пишущих, но и никогда не читающих, т. е. лейб-гвардии штаб- и обер-офицеров; видел львов и львиц, тигров и тигриц; видел таких людей, которые ни на какого зверя, ни даже на человека не похожи, а в Петербурге — до́ма, как рыба в воде; наконец, видел поэтов в III-отделении собственной канцелярии — и III отделение собственной канцелярии, занимающееся поэтами; но Петербург остался загадкой, как прежде. И теперь, когда он начал для меня исчезать в тумане, которым бог завешивает его круглый год, чтоб издали не видно было, что там делается, — я не нахожу средств разгадать загадочное существование города, основанного на всяких противоположностях и противоречиях, физических и нравственных... Это, впрочем, новое доказательство его современности: весь период нашей истории от Петра I — загадка, наш настоящий быт — загадка... этот разноначальный хаос взаимногложущих сил, противоположных направлений, где иной раз всплывает что-то европейское, прорезывается что-то широкое и человеческое и потом тонет или в бо-

лоте косно-страдательного славянского характера, все принимающего с апатией — кнут и книги, права и лишение их, татар и Петра — и потому, в сущности, ничего не принимающего, или в волнах диких понятий о народности исключительной,— понятий, недавно выползших из могил и не поумневших под сырой землей.

С того дня, как Петр увидел, что для России одно спасение — перестать быть русской, с того дня, как он решился двинуть нас во всемирную историю, необходимость Петербурга и ненужность Москвы определилась. Первый, неизбежный шаг для Петра было перенесение столицы из Москвы. С основания Петербурга Москва сделалась второстепенной, потеряла для России прежний смысл свой и прозябала в ничтожестве и пустоте до 1812 года. Быть может, в будущую эпоху... Мало ли что может быть, и наверно много хорошего будет в будущую эпоху,— мы говорим о прошедшем и о настоящем. Москва ничего не значила для человечества, а для России имела значение омута, втянувшего в себя все лучшие силы ее и ничего не умевшего сделать из них. Москву забыли после Петра и окружили тем уважением, теми знаками благосклонности, которыми окружают старуху-бабушку, отнимая у нее всякое участие в управлении имением. Москва служила станцией между Петербургом и тем светом для отслужившего барства как предвкушение могильной тишины. К Петербургу она не питала негодования, напротив, тянулась всегда за ним, перенимала и уродовала его моды, обычаи. Все юное поколение служило тогда в гвардии; все талантливое, появлявшееся в Москве, отправлялось в Петербург писать, служить, действовать. И вдруг эта Москва, о существовании которой забыли, замешалась с своим Кремлем в историю Европы, кстати сгорела, кстати обстроилась; ее имя попало в бюллетени великой армии, Наполеон ездил по ее улицам. Европа вспомнила об ней. Фантастические сказки о том, как обстроилась она, обошли свет. Кому не прокричали уши о прелести, в которой этот феникс воспрянул из огня? А надобно признаться, плохо обстроилась Москва; архитектура домов ее уродлива, с ужасными претензиями; домы, или, лучше, хутора ее малы, облеплены колоннами, задавлены фронтонами, огорожены

заборами... И какова же она была прежде, ежели была гораздо хуже? Нашлись добрые люди, которые подумали, что такой сильный толчок разбудит жизнь Москвы; думали, что в ней разовьется народность самобытная и образованная, а она, моя голубушка, растянулась на сорок верст от Троицы в Голенищеве до Бутырок да и почивает опять. А уж Наполеона не предвидится!

В Петербурге все люди вообще и каждый в особенности прескверные. Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России. В Москве, напротив, все люди предобрые, только с ними скука смертельная; в Москве есть своего рода полудикий, полуобразованный барский быт, стирающийся в тесноте петербургской; на него хорошо взглянуть, как на всякую особенность, но он тотчас надоест. Русское барство не знает комфорта, оно богато, но грязно; оно провинциально и напыщенно в Москве и оттого беспрерывно на иголках, тянется, догоняет нравы Петербурга, а Петербург и нравов своих не имеет. Оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет, не так, как в Москве, где все оригинально — от нелепой архитектуры Василья Блаженного до вкуса калачей. Петербург — воплощение общего, отвлеченного понятия столичного города; Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож; Москва — тем, что она вовсе не похожа ни на какой европейский город, а есть гигантское развитие русского богатого села. Петербург — parvenu[1]; у него нет веками освященных воспоминаний, нет сердечной связи с страною, которую представлять его вызвали из болот; у него есть полиция, присутственные места, купечество, река, двор, семиэтажные домы, гвардия, тротуары, по которым ходить можно, газовые фонари, действительно освещающие улицы, и он доволен своим удобным бытом, не имеющим корней и стоящим, как он сам, на сваях, вбивая которые, умерли сотни тысяч работников.

В Москве мертвая тишина; люди систематически ничего не делают, а только живут и отдыхают перед трудом; в Москве после 10 часов не найдешь извозчика, не встретишь человека

[1] выскочка (франц.).— *Ред.*

на иной улице; разъединенный быт славяно-восточный напоминается на каждом шагу. В Петербурге вечный стук *суеты сует-ствий* и все до такой степени заняты, что даже не живут. Деятельность Петербурга бессмысленна, но привычка деятельности — вещь великая. Летаргический сон Москвы придает москвичам их пекино-хухунорский характер стоячести, который навел бы уныние на самого отца Иоакинфа*. У петербуржца цели ограниченные или подлые; но он их достигает, он недоволен настоящим, он работает. Москвич, преблагороднейший в душе, никакой цели не имеет, большею частью доволен собою, а когда недоволен, то не умеет из всеобщих мыслей, неопределенных и неотчетливых, дойти до указания больного места. В Петербурге все литераторы — торгаши; там нет ни одного круга литературного, который бы имел не личность, не выгоду, а идею связью. Петербургские литераторы вдвое менее образованны московских; они удивляются, приезжая в Москву, умным вечерам и беседам в ней. А между тем вся книжная деятельность только и существует в Петербурге. Там издаются журналы, там пенсура умнее, там писал и жил Пушкин, Карамзин; даже Гоголь принадлежал более к Петербургу, чем к Москве. В Москве есть люди глубоких убеждений, но они сидят сложа руки; в Москве есть круги литературные, бескорыстно проводящие время в том, чтобы всякий день доказывать друг другу какую-нибудь полезную мысль, например, что Запад гниет, а Русь цветет. В Москве издается один журнал, да и тот «Москвитянин».

Москвич любит кресты и церемонии, петербуржец — места и деньги; москвич любит аристократические связи, петербуржец — связи с должностными людьми. Москвичу дадут Станислава на шею, а он его носит на брюхе; у петербуржца Владимир надет, как ошейник с замочком у собаки или как веревка у оборвавшегося с виселицы. В Петербурге можно прожить года два, не догадываясь, какой религии он держится; в нем даже русские церкви приняли что-то католическое. В Москве на другой день приезда вы узнаете и услышите православие и его медный голос. В Москве множество людей ходят каждый воскресный и праздничный день к обедне; есть даже такие, которые ходят и к заутрене; в Петербурге мужеского пола

никто не ходит к заутрене, а к обедне ходят одни немцы в кирку да приезжие крестьяне. В Петербурге одни и есть мощи: это домик Петра; в Москве покоятся мощи всех святых из русских, которые не поместились в Киеве, даже таких, о смерти которых доселе идет спор, например Дмитрий-царевич. Вся эта святыня бережется стенами Кремля; стены Петропавловской крепости берегут казематы и монетный двор.

Удаленная от политического движения, питаясь старыми новостями, не имея ключа к действиям правительства, ни инстинкта отгадывать их, Москва резонерствует, многим недовольна, обо многом отзывается вольно... Вдруг является Иван Александрович Хлестаков большого размера — Москва кланяется в пояс, рада посещению, дает балы и обеды и пересказывает бон-мо[1]. Петербург, в центре которого все делается, ничему не радуется, никому не радуется, ничему не удивляется: если б порохом подорвали весь Васильевский остров, это сделало бы меньше волнения, чем приезд Хозрева-мирзы в Москву. Иван Александрович в Петербурге ничего не значит, там никого не надуешь, ни силой, ни властью, там знают, где сила и в ком. В Москве до сих пор принимают всякого иностранца за великого человека, в Петербурге — каждого великого человека за иностранца. Во всю свою жизнь Петербург раз только обрадовался: он очень боялся француза, и когда Витгенштейн его спас, он бегал к нему навстречу. В добрейшей Москве можно через газеты объявить, чтоб она в такой-то день умилялась, в такой-то обрадовалась: стоит генерал-губернатору распорядиться и выставить полковую музыку или устроить крестный ход. Зато москвичи плачут о том, что в Рязани голод, а петербуржцы не плачут об этом, потому что они и не подозревают о существовании Рязани, а если и имеют темное понятие о внутренних губерниях, то наверное не знают, что там хлеб едят.

Молодой москвич не подчиняется формам, либеральничает, и именно в этих либеральных выходках виднеется закоснелый скиф. Этот либерализм проходит у москвичей тотчас, как по-

[1] остроты, от bon mot (франц.). — *Ред.*

бывают в тайной полиции. Молодой петербуржец формален, как деловая бумага, в шестнадцать лет корчит дипломата и даже немного шпиона и остается тверд в этой роли на всю жизнь. В Петербурге все делается ужасно скоро. Полевой в пятый день по приезде в Петербург сделался верноподданным*; в Москве ему было бы стыдно, и он лет пять вольнодумствовал бы еще. Вообще московские жиденькие либералы начинают в Петербурге искать мест, проклинать просвещение и благословлять разводы. Петербург, как египетская печь, только скорее развертывает скорлупу, а каков выйдет цыпленок — не его вина. Белинский, проповедовавший в Москве народность и самодержавие, через месяц по приезде в Петербург заткнул за пояс самого Анахарсиса Клоца*. Петербург, как все положительные люди, не слушает болтовни, а требует действий, оттого часто благородные московские говорители становятся подлейшими действователями. В Петербурге вообще либералов нет, а коли заведется, так в Москву не попадает; они отправляются отсюда прямо в каторжную работу или на Кавказ.

В судьбе Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное. Это любимое дитя северного великана, гиганта, в котором сосредоточена была энергия и жестокость Конвента 93 года и революционная сила его, любимое дитя царя, отрекшегося от своей страны для ее пользы и угнетавшего ее во имя европеизма и цивилизации. Небо Петербурга вечно серо; солнце, светящее на добрых и злых, не светит на один Петербург, болотистая почва испаряет влагу: сырой ветер приморский свищет по улицам. Повторяю, каждую осень он может ждать шквала, который его затопит. В судьбе Москвы есть что-то мещанское, пошлое: климат не дурен, да и не хорош; домы не низки, да и не высоки. Взгляните на москвичей под Новинским или в Сокольниках 1 мая: им и не жарко и не холодно, им очень хорошо, и они довольны балаганами, экипажами, собою. И взгляните после того в хороший день на Петербург. Торопливо бегут несчастные жители из своих нор и бросаются в экипажи, скачут на дачи, острова; они упиваются зеленью и солнцем, как арестанты в «Fidelio»*; но привычка заботы не оставляет их: они знают, что через час пойдет дождь, что завтра,

труженики канцелярии, поденщики бюрократии, они утром должны быть по местам. Человек, дрожащий от стужи и сырости, человек, живущий в вечном тумане и инее, иначе смотрит на мир; это доказывает правительство, сосредоточенное в этом инее и принявшее от него свой неприязненный и угрюмый характер. Художник, развившийся в Петербурге, избрал для кисти своей страшный образ дикой, неразумной силы, губящей людей в Помпее,— это вдохновение Петербурга!* В Москве на каждой версте прекрасный вид; плоский Петербург можно исходить с конца в конец и не найти ни одного даже посредственного вида; но, исходивши, надо воротиться на набережную Невы и сказать, что все виды Москвы — ничего перед этим. В Петербурге любят роскошь, но не любят ничего лишнего; в Москве именно одно лишнее считается роскошью; оттого у каждого московского дома колонны, а в Петербурге нет; у каждого московского жителя несколько лакеев, скверно одетых и ничего не делающих, а у петербургского один, чистый и ловкий.

Надобно сознаться, что нельзя быть противоположнее воспитану, как Петербург и Москва. Петербург во всю свою жизнь видел только серальные перевороты, низвержения и празднования и вовсе не знает нашего старинного быта. Москва, выросшая под татарским игом и овладевшая Русью не по собственному достоинству, а по недостоинству прочих частей, остановилась на последней странице кошихинских времен и только по слуху знает о последующих переворотах. В свое время приедет курьер, привезет грамотку — и Москва верит печатному, кто царь и кто не царь, верит, что Бирон — добрый человек, а потом — что он злой человек, верит, что сам бог сходил на землю, чтоб посадить Анну Иоанновну, а потом Анну Леопольдовну, а потом Иоанна Антоновича, а потом Елисавету Петровну, а потом Петра Федоровича, а потом Екатерину Алексеевну на место Петра Федоровича. Петербург очень хорошо знает, что бог не пойдет мешаться в эти темные дела; он видел оргии Летнего сада, герцогиню Бирон, валяющуюся в снегу, и Анну Леопольдовну, спящую с любовником на балконе Зимнего дворца, а потом сосланную; он видел похороны Петра III и похороны Павла I*. Он много видел и много знает.

Нигде я не предавался так часто, так много скорбным мыслям, как в Петербурге. Задавленный тяжкими сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию. Этими минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его, так, как разлюбил Москву за то, что она даже мучить, терзать не умеет. Петербург тысячу раз заставит всякого честного человека проклясть этот Вавилон; в Москве можно прожить годы и, кроме Успенского собора, нигде не услышать проклятия. Вот чем она хуже Петербурга. Петербург поддерживает физически и морально лихорадочное состояние. В Москве до такой степени здоровье усиливается, что органическая пластика заменяет все жизненные действия. В Петербурге, кроме коменданта Захаржевского, нет ни одного толстого человека, да и тот толст от контузии. Из этого ясно, что кто хочет жить телом и духом, тот не изберет ни Москвы, ни Петербурга. В Петербурге он умрет на полдороге, а в Москве из ума выживет.

«Да что, чорт возьми,— скажете вы, — говорил, говорил, а я даже не понял, кому вы отдаете преимущество». Будьте уверены, что и я не понял. Во-первых, для житья нельзя избрать в сию минуту ни Петербурга, ни Москвы; но так как есть фатум, который за нас избирает место жительства*, то это дело конченое; во-вторых, все живое имеет такое множество сторон, так удивительно спаянных в одну ткань, что всякое резкое суждение — односторонняя нелепость. Есть стороны в московской жизни, которые можно любить, есть они и в Петербурге; но гораздо более таких, которые заставляют Москву не любить, а Петербург ненавидеть. Впрочем, хорошие стороны найдутся везде, даже в Пекине и Вене: это те три человека добрых, за которых бог прощал несколько раз грехи Содома и Гоморры, но не более как прощал. Увлекаться этим не надобно: везде, где много живет людей, где давно живут люди, найдется что-нибудь человеческое, что-нибудь торжественное и поэтическое. Торжествен звон московских колоколов и процессии в Кремле; торжественны большие парады в Петербурге; торжественны сходбища буддистов на Востоке, при свете ста двенадцати факелов читающих свои святые книги. Нам мало этой поэтической стороны, нам хочется... Мало ли чего хочется.

Пророчат теперь железную дорогу между Москвой и Петербургом. Давай бог! Чрез этот канал Петербург и Москва взойдут под один уровень, и, наверно, в Петербурге будет дешевле икра, а в Москве двумя днями раньше будут узнавать, какие номера иностранных журналов запрещены. И то дело!

Новгород, 1842.

НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ И ВЛАДИМИР-НА-КЛЯЗЬМЕ[1]

Недостаточно знать Петербург и Москву; для того чтоб знать Петербург и Москву, надобно еще заглянуть на то, что делается вокруг них. Около Москвы — мирный венок шести или восьми губерний, великороссийских до конца ногтей. Москва среди их покоится, как старшая в семействе; из нее берут ее племянницы и сестрицы образование, моду, ум и глупость. Довольное спокойствие овладело этой полосой, и она находится в полудремоте, предпочитая сон отцу и матери, как говорит пословица. Старые губернаторы любят назначение в эти губернии. В них никогда не бывает ни чрезвычайных преступлений, ни беспримерной добродетели, ни волканических изверженнй, ни опасных разливов; хлеб всегда родится довольно плохо, зато редко совсем не родится; крестьяне благочестивы, жалуются на бога за бедность, на казенную палату за рекрутские наборы, а на помещиков никогда не жалуются вслух. Каждая из этих губерний имеет свой талант — стало, завидовать друг другу нечего, и они так же мирно и родственно стоят на одном месте около Москвы, как планеты ни минуты не постоят на одном месте около солнца. Калуга производит

[1] В 1841 году, во время моей ссылки в Новгород, сердясь на губернское правление и мерзкую погоду, на глупую ссылку и на глупых чиновников, я написал небольшое юмористическое письмо — «Москва и Петербург»; письмо это понравилось многим и ходило по рукам; этот успех подстрекнул меня написать другое письмо — «О Новгороде и Владимире». Рукописи первого у меня нет, второе, казалось мне, будет кстати в той книжке «Полярной звезды», в которой помещен рассказ о моей новгородской жизни*. <Примеч. 1855 г.>.

тесто, Владимир — вишни, Тула — пистолеты и самовары, Тверь извозничает, Ярославль — человек торговый.

Климат Москвы с ее присными принадлежит к тем вещам, которых вся характеристика состоит из отрицательных качеств: не холодный, не теплый; кукуруза не растет, яблони не мерзнут. После того как Петр I открыл возможность жить в сыром болоте, прилегающем к Балтийскому морю, нечего и доказывать обитаемость московской полосы. Я признаюсь откровенно в моей ограниченности,— не понимаю, как можно по доброй воле жить в климате восьми-девятимесячной зимы. Аскольд и Дир были единственные порядочные люди из всей норманской сволочи, пришедшей с Рюриком, они взяли свои лодки да и пошли с ними пешком в Киев. Игорь, Олег и tutti quanti[1], жившие на юге России, были люди со вкусом, оттого единственный период в русской истории, который читать не страшно и не скучно, — это киевский период.

Но как волка ни корми, он к лесу глядит; истинные патриоты убежали опять на север, на север Владимира-на-Клязьме и Москвы. Впоследствии и эта полоса оказалась радикалам недостаточно северной. Петр нашел север почище.

Когда едешь из Москвы в Петербург, сначала по дороге деревни напоминают близость к сердцу государства; Тверь — дальний квартал Москвы, и притом хороший квартал, Тверь на Волге и на шоссе, город с будущностью, с карьерой. Но в Новгородской губернии путника обдает тоской и ужасом; это предисловие к Петербургу: другая земля, другая природа, бесплодные пажити, болоты с болезненными испарениями, бедные деревни, бедные города, голодные жители, и что шаг — становится страшнее, сердце сжимается; тут природа с величайшим усилием, как сказал Грибоедов, производит одни веники; чувствуешь, что подъезжаешь к той полосе земного шара, которая только сделана богом для белых медведей да для равновесия, чтоб шар не свалился с орбиты. Деревья, как-то сгорбившись, болезненно стоят на сырой и тощей земле, как волосы на голове у полуплешивого. Так вы достигаете Новгорода. От Новгорода начинаются стеариновые свечи, гвардейские и вся-

[1] все прочие (итал.).— *Ред.*

ческие солдаты — видно, что Петербург близко. Остальные 180 верст — тот же пустырь ужасный, отвратительный, посыпанный кое-где солдатами. До Ижор, до Померанья можете присягнуть, что остается верст 1000 до большого города. И в углу этой-то неблагодатной полосы земли на трясине между двух вод — Петербург, Петербург блестящий, удивительный, один из самых красивых городов в мире. Петр I, по русской пословице, на обухе рожь молотил. Лишь бы мне уехать на юг, я всегда буду восхвалять как дивную победу над природой — Петербург. Три градуса вверх начинается здоровый север, три градуса вниз начинается умеренно дурная полоса, в которой Москва; промежуточные шесть градусов при приятном соседстве моря и всяких вод, речных, озерных, болотных, лечебных и ядовитых, при восточности положения, при близости Зимнего дворца, восьми министерств, трех полиций, святейшего синода и всей августейшей фамилии с немецкими сродниками, составляют полосу вечной сырости, нравственной и физической изморози, душевного и телесного тумана. Петербург, вбитый сваями не в русскую, а в финскую землю, находится между Олонецкой и Новгородской губерниями. Олонецкая губерния отстала от Иркутской, Иркутская не отстала от Новгородской. В Олонецкой губернии разбросанные по скалистой земле и между лесами деревни совершенно разобщены; есть села, к которым никаких нет дорог, кроме тропинок. Новое изобретение колес не везде известно в Олонецкой губернии, и они таскают тяжести волоком. Петрозаводск — место вроде Березова, ему дали сибирские права, чтоб заманить служащих. И все это возле Петербурга. До границы Олонецкой губернии от Петербурга верст 200, не больше. Новгородская губерния дальними уездами не далеко ушла от Олонецкой. Об ней еще нельзя судить по большой дороге. Дикость, бедность земли, которая никогда не родит достаточно хлеба для прокормления, и к тому еще военные поселения.

В Новгородской губернии есть деревни, разобщенные лужами и болотами с целым шаром земным, к ним ездят только зимой. Этими болотами и этой грязью защищались новгородцы некогда от великокняжеского и великоханского ига, теперь защищаются от великополицейского. В эти деревни поп ездит

раза три в год и за целую треть накрещивает, навенчивает, хоронит... При зимней дислокации солдат по уездам какая-то рота попалась в одну из этих моченых деревень; пришла весна — нет роты, да и деревни не могут найти, — хлопоты, переписка, съемка планов; по счастию, лето продолжается месяца три, в октябрьские утренники является рота, она была за непроходимыми топями.

Да, нечего сказать, Петербург не разлил жизни около себя и не мог, наоборот, почерпнуть жизненных соков из соседства; и в этом опять его трагический характер. Петербург все сжимается, лепится, сосредоточивается около Зимнего дворца, даже в самом городе так. Много толковали о том, что в Москве огромный дом, а возле него хижина; но надобно вспомнить, что эти домы разбросаны на сорока верстах везде. Не угодно ли в Петербурге мерою две версты отойти от Зимнего дворца по Петербургской стороне — какая пустота, нечистота! Все действие Петербурга на окружающие места ограничилось тем, что он развратил Новгород и, начавши собою новую непонятную Русь, придавил все древнее в самом месте зародыша.

Владимир относится к Москве так, как Новгород к Петербургу. Владимир был столицей, велик и славен, как можно было быть великим и славным на Руси. Задушенный татарами, он уступил Москве, пошел к ней в подмастерья, когда она села хозяйкой всяким пронырством и искательством; но он сохранил в своих воспоминаниях былую славу, помнит Андрея Боголюбского и древность своей епархии. Что-то тихое, кроткое в его чертах, осыпанных вишнями. Москва любила таких не слишком удалых соседей и помощников, и между ними завязалась искренняя, дружеская связь; что было лишней крови, Москва высосала, и отставной столичный город, как истинный философ или как грузинский царевич, довольный тем, что осталось,— хотя и ничего не осталось, кроме того, чего взять нельзя,— ничего не хочет, ничего не усовершает, строго держится православия и не заслуживает брани, может, потому, что и похвалить не за что. И Новгород был столицей, и поважнее — он был республикой, насколько можно было быть республикой на Руси. Душить его принялись мастера не татарам

чета: два Ивана Васильевича да один Алексей Андреевич*. Татары народ кочевой, ни в чем нет выдержки: придут, сожгут, оберут, разобидят, научат считать на счетах, бить кнутом, а потом и уйдут себе чорт знает куда. Нехристи и варвары. Православные Иваны Васильевичи, особенно последний, принялись за дело основательнее. Память вышиб своей *долбнею* царь Иван Васильевич из новгородцев, а долбня эта осталась и хранится в соборе; Вельтман писал книгу о «Господине нашем Новгороде Великом» и плакал от умиления, встретившись нечаянно на улице с Ярославовой башней. Я не плакал о господине-слуге, а не раз содрогался. Здания, пережившие смысл свой, наводят ужас, когда вы спросите об них новгородца, выросшего и состарившегося здесь, и он вам ответит: «Говорят, еще до Петра строено». Софийский собор стоит на том же месте, а против него губернское правление с какой-то подьячески осунувшейся фасадой. В соборе хранится, как я сказал, долбня, а в губернском правлении в золотом ковчеге — записка Аракчеева к губернатору о убийстве его любовницы*.

Как Новгород жил от Ивана Васильевича до Петербурга, никто не знает; вероятно, корни гражданственности были и не глубоки и не живучи, вероятно, сам Новгород ужаснулся греху торговать с Ганзою и не слушаться указов. Грязный, дряхлый и ненужный стоял он, пока Петербург подрастал, обстроился; но в нем не осталось ничего старинного русского и не привилось ни одной капли европейского; нравы Новгорода представляют уродливую и отвратительную пародию на петербургские. Нравы Петербурга могут быть сносны только в этом вечном вихре, шуме, стуке, треске, при новостях, театрах, пароходах, кофейных и иных увеселительных заведениях. Бедный и лишенный всяких удобств Новгород невыносимо скучен. Это большая казарма, набитая солдатами, и маленькая канцелярия, набитая чиновниками. Нет общественности, подьячие по-петербургски держат дверь на ключ и не сходятся. Немного смешное гостеприимство подмосковенных губерний имеет всегда какую-то бономию; циинческий эгоизм новгородцев поселяет отвращение. Тут в первый раз приезжающий из внутренних губерний может узнать, что такое петербургский чиновник,

species petropolina, ministerialis[1], это махровый чиновник, далеко оставляющий за собою мелких плутов, уездных и губернских.

В Новгороде каждое неосторожное слово может навлечь бедствия; Петербург научил ci-devant[2] республику наушничать. В губерниях подмосковенных говорите что хотите, разумеется, не поймут, коли дело скажете, но и не донесут: «Мы-де дворяне».

Иваны Васильевичи долбили собственно город; но как наш век желает приобщить к муниципальным выгодам и земледельцев, граф Аракчеев решился распространить благодеяния Иванов Васильевичей на всю губернию. Средство, им избранное, было гениально — военные поселения. Заставить пахать землю по темпам, уверить мирного мужика, что он грозный воин, разрушить семью и деревню и водворить казармы в целую волость, и все это легким и простым средством — засекая десятого мужика до смерти и всех остальных степенью меньше. Жаль, что смерть Анастасии помешала графу очень много, а потом немножко смерть императора Александра, окончить богоугодное дело.

Странная судьба Новгорода — в его истории два имени не забыты, оба женские: Марфа Посадница и Настасья Наложница; обе обрушили на Новгород невыразимые бедствия. Первая — жизнию, вторая — смертию. Москва радовалась смерти первой, Петербург плакал о второй!

Новгород 1842 года.

---

[1] вид петропольский, министерский (лат.).— *Ред.*

[2] прежнюю (франц.).— *Ред.*

КАПРИЗЫ И РАЗДУМЬЕ

I
ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДРАМЫ[1]

> Сердце жертвует род лицу, разум — лицо роду. Человек без сердца не имеет своего очага; семейная жизнь зиждется на сердце; разум — res publica[2] человека.
>
> Из какой-то немецкой книги[3].

Отличительная черта нашей эпохи есть grübeln[4]. Мы не хотим шага сделать, не выразумев его, мы беспрестанно останавливаемся, как Гамлет, и думаем, думаем... Некогда действовать; мы пережевываем беспрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся с нами и с другими, ищем оправданий, объяснений, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее нас подверглось пытующему взгляду критики. Это болезнь промежуточных эпох. Встарь было не так: все отношения, близкие и дальние, семейные и общественные, были определены — справедливо ли, нет ли, но определены. Оттого много думать было нечего: стоило сообразоваться с положительным законом, и совесть удовлетворялась. Все существующее казалось тогда натурально, как кровообращение, пищеварение, которых причина и развитие спрятаны за спиною сознания, но действуют своим порядком, без того, чтоб мы об них заботились,

[1] «Отечественные записки», 1842 *. <Примеч. 1862 г.>.

[2] Здесь: общественная сторона (лат.).— *Ред.*

[3] Т. е. из «Сущности христианства», Л. Фейербаха. <Примеч. 1862 г.>.

[4] раздумывать (нем.).— *Ред.*

без того, чтоб мы их понимали. На все случаи были разрешения; оставалось жить по-писанному. А если и являлись когда сомнения, их легко было разрешить; стоило спросить папу, например, или обмакнуть руку в кипяток — и истина открывалась. На всех перепутьях жизни стояли тогда разные неподвижные тени, грозные привидения для указания дороги, и люди покорно шли по их указанию. Иногда спорили, почему указана та дорога, а не другая, но никому и в голову не приходило, откуда взялись эти привидения и по какому праву распоряжаются они. Их принимали за факт, имеющий сам в себе узаконение и которого признанное бытие — непреложное ему доказательство. Ко всему привязывающийся, сварливый век наш, шатая и раскачивая все, что попадалось под руку, добрался, наконец, и до этих призраков, подточил их основание, сжег огнем критики, и они улетучились, исчезли. Стало просторно; но простор даром не достается; люди увидели, что вся ответственность, падавшая *вне их*, падает *на них;* им самим пришлось смотреть за всем и занять места привидений; упреки стали злее грызть совесть. Сделалось тоскливо и страшно, пришлось проводить сквозь горнило сознания статью за статьею прежнего кодекса; а пока этого не сделано — начали grübeln. Ясное, как дважды два — четыре, нашим дедам исполнилось мучительной трудности для нас. В событиях жизни, в науке, в искусстве нас преследуют неразрешимые вопросы, и вместо того, чтоб наслаждаться жизнию, мы мучимся. Подчас, подобно Фаусту, мы готовы отказаться от духа, вызванного нами, чувствуя, что он не по груди и не по голове нам. Но беда в том, что дух этот вызван не из ада, не с планет, а из собственной груди человека, и ему некуда исчезнуть. Куда бы человек ни отвернулся от этого духа, первое, что попадается на глаза,— это он с своими вопросами. Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu![1]*

Безотходный дух критики овладел и театром; мы его приносим с собою в партер. Сочинитель пишет пьесу для того, чтоб пояснить свое сомнение,— и, вместо того, чтоб отдохнуть от действительной жизни, глядя на воспроизведенную искус-

[1] Ты сам этого хотел, Жорж Данден! (франц.).— *Ред.*

ством, мы выходим из театра задавленные мыслями, тяжелыми и неловкими. Это понятно. Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов. Кто-то сказал, что сцена — представительная камера поэзии. Все тяготящее, занимающее известную эпоху, само собою вносится на сцену и обсуживается страшной логикой событий и действий, развертывающихся и свертывающихся перед глазами зрителей. Это обсуживание приводит к заключениям не отвлеченным, но трепещущим жизнию, неотразимым и многосторонним. Тут не лекция, не поучение, поднимающее слушателей в сферу отвлеченных всеобщностей, в бесстрастную алгебру, мало относящуюся к каждому потому именно, что она относится ко всем. На сцене жизнь схвачена во всей ее полноте, схвачена в действительном осуществлении лицами, на самом деле, en flagrant délit[1], с ее общечеловеческими началами и частно-личными случайностями, с ее ежедневною пошлостью и с ее грозной, всепожирающей страстью, скрытой под пыльной плевою мелочей, как огонь под золой Везувия. Жизнь схвачена и, между тем, не остановлена; напротив, стремительное движение продолжается, увлекает зрителя с собой, и он с прерывающимся дыханием, боясь и надеясь, несется вместе с развертывающимся событием до крайних следствий его — и вдруг остается один. Лица исчезли, погибли; он, переживая их жизнь, успел полюбить их, взойти в их интересы. Удар, разразившийся над ними, рикошетом был удар в него. Такая страстная близость зрителя и сцены делает сильную, органическую связь между ними; по сцене можно судить о партере, по партеру о сцене. Партер — не чужой сцене: он вроде хора греческой трагедии; он не вне драмы, а обнимает ее волнами жизни, атмосферой сочувствия, которая оживляет актера; и сцена, с своей стороны, — не чужая зрителю: она переносит его не дальше, как в его собственное сердце. Сцена всегда современна зрителю, она всегда отражает ту сторону жизни, которую хочет видеть партер. Нынче она участвует в трупоразъятии жизненных событий, стремится привести в сознание все проявления жизни человеческой и разбирает их, как мы, судорожной и трепетной рукой — потому,

[1] на месте преступления (франц.).— *Ред.*

что не видит, как мы, ни выхода, ни всего результата этих исследований. Она делает это, относясь к нам так, как некогда Эсхилов «Прометей» относился к внутренней жизни народа афинского или «Свадьба Фигаро» к внутренней жизни Франции перед революцией. Мы умеем восхищаться, понимать и «Прометея» и «Свадьбу Фигаро», но мы понимаем, лучше ли, хуже ли, другой вопрос,— мы понимаем *иначе*, нежели рукоплескавшие афиняне, нежели рукоплескавшие парижане 1785 года,— и того тесно жизненного сочленения нет более. Француз XIX века оценит и поймет Бомарше, но «Фигаро» не есть уже *необходимость* для него с тех пор, как его лицо воплотилось во множество лиц палаты, а граф Альмавива скончался в бедности, от преждевременной дряхлости, обыкновенной спутницы слишком разгульной юности. Самый воздух, окружающий его, не тот; густая, знойная атмосфера, пропитанная негой, сладострастием и тяжелая от предчувствия бури, так очистилась и разъяснилась от громовых ударов кровавого террора, что чахоточные боятся чрезвычайной изреженности ее. В Германии в одно и то же время были принимаемы громом рукоплесканий Коцебу и Шиллер, потому что в Германии сантиментальность и шписбюргерлихкейт[1], по странному стечению обстоятельств, были корою, за которою шевелился мощный и здоровый зародыш. Шиллер и Коцебу — полные и достойные представители: один — всего святого, человечественного, возникавшего в эту эпоху, другой — всего грязного и отвратительного, загнивавшего тогда же. У нас дают все на свете — оттого что наш партер все на свете. Мы не только в физическом, но и в нравственном отношении *всеедны*. Как последние пришельцы и наследники, мы перебираем унаследованное из всех стран и веков, смотрим на это, как на чужое и постороннее, смотрим не потому, чтоб оно было нужно нам или доставляло много удовольствия, а для того, чтоб заявить наше право и не отставать от других,— на том же основании, как некогда мы ездили в ассамблеи не для удовольствия, а по наряду и по нужде. A force de forger[2] многое принялось — од-

---

[1] обывательщина, от Spießbürgerlichkeit (нем.).— *Ред.*

[2] от постоянного упражнения (франц.). — *Ред.*

ним то, другим другое; никто ни с кем не сговаривался, всякий молодец на свой образец,— оттого потребности нашего партера, с одной стороны, очень сложны, а с другой стороны — им очень легко удовлетворить. У нас в одном ряду кресел встречаются полюсы человечества — от *небритой* бороды патриархальной, бороды an sich [1], до отращенной бороды, сознательной бороды für sich [2]; а между двумя бородами можно найти представителей главных моментов развития человечества да еще некоторых оригинальных, недостававших человечеству. Каждый говорит своим языком, каждый имеет свои потребности. Счастливее вавилонян, мы начинаем с того, чем они кончили свое столпотворение, то есть не понимаем друг друга; они, таская камни и долго работая, дошли до того, что у нас вперед идет. Каждая пьеса имеет свою публику; к ней присоединяется постоянно балласт, то есть люди, которые после семи часов бывают в театре единственно потому, что они не вне театра бывают после семи часов. Разом для всей публики у нас пьес не дается, разве за исключением «Горя от ума» и «Ревизора». Для бельэтажа—без *слов*, но с танцами и богатой постановкой; для райка—пьесы, в которых кто-нибудь кого-нибудь бьет; для статских чиновников — пьесы с пушечной пальбой, превращениями, нравственными сентенциями; для купцов — тоже с превращениями, но и с цыганскими плясками; *другие* [3] всё смотрят, но особенно же любят водевили с двусмысленными куплетами и танцы с двусмысленными движениями.

Все это бессвязно, так, как я рассказал, пришло мне в голову при выходе из театра, когда я думал о пьесе, которую видел, а содержание этой пьесы в самых коротких словах вот какое:

Драма самая простая; если вы не видали подобной у себя в доме, то наверное могли видеть у которого-нибудь из соседей. Девица 28 лет, по имени Генриета, болезненная и печальная, влюблена до безумия в юношу 20 лет, а тот, беззаботный и веселый, живет себе, не думая о ней, да, сверх того, кажется, и ни о чем другом. Доктор — друг отца Генриеты, поняв дело,

[1] в себе (нем.).— *Ред.*

[2] для себя (нем.).— *Ред.*

[3] Офицеры. ⟨Примеч. 1862 г.⟩.

захотел с патологическим благоразумием помочь и, само собою разумеется, страшно повредил. Он торжественно и таинственно рассказал юноше о любви к нему Генриеты, требуя от него, чтоб он уехал, скрылся. Весть о любви сильно отозвалась в сердце юноши; сознание быть любимым, и притом в 20 лет, обняло огнем всю грудь его — и с той минуты он сам ее любит. Она, никогда не смевшая питать надежды на взаимность, счастлива до высочайшей степени; мечта ее сбылась, осуществилась прекрасно и полно. Он просит ее руки и, несмотря на предостережения доктора, или именно подстрекаемый им, женится.

Проходит пять лет в антракте. Мы застаем нашу чету в замке. Люди богатые, они ведут пустую и праздную жизнь; детей нет. Скоро открывается, что под этой праздностью кроются разъедающие страсти. Он не любит больше Генриеты и страстно влюблен в Полину. Молодой человек благороден и честен; он понимает святость своих обязанностей, и более — он исполнен беспредельного уважения к любящей, кроткой, доброй Генриете. Но он ее не любит — он любит другую, это факт его сердца: любит, потому что любит, не любит, потому что не любит,— логика чувств и страстей коротка. Сгнетенная страсть растет; он ей не дает шага; он уничтожается, разлагается в этой борьбе, но борется. Жена догадалась, и они быстро влекут друг друга к гибели во имя любви. Генриета в отчаянии: она ничего не имеет вне мужа, ее жизнь — только любовь к нему; а он еще больше в отчаянии: он бесчестен в своих глазах, он клятвопреступник, он подлый обманщик — тут, притворяясь, что любит, там, притворяясь, что не любит. Такое натянутое положение долго не может продолжаться. Генриета решается выдать Полину за какого-то шута; та не хочет. В порыве ревности Генриета упрекает ее в разрушении семейного счастия, в любви к ней мужа, в ее любви к нему. Молодая девица, любившая втиши, не признаваясь себе, Эмиля, не подозревая его любви, этими словами вовлечена в страшную борьбу страстей. Чувство ее названо; тайна ее обличена. В первом порыве отчаяния она соглашается идти замуж. Спрашивают согласия Эмиля: Полина живет у них в доме и к тому же она родственница. Он согласен. Долг победил; но и Эмиль получил рану в грудь, вся сила его истощена на эту

победу. Он решается,— и это, может, благоразумнейшая мысль во всю его жизнь,— он решается уехать... Даль, занятия рассеют, отвлекут, исцелят; но жена, узнав это, намеревается лишить себя жизни, отказывает ему имение и исчезает. Эмиль в отчаянии.

Проходит год. Полина в монастыре; вдовец едет за ней, женится — и на обратном пути встречается с Генриетой, которая вовсе не утопилась, как все думали, а жила с убийственной грустью в душе и с злою чахоткой в груди у доктора; бедная женщина питала на дне оскорбленного, истерзанного сердца надежду, что Эмиль любит ее из сожаления, а между тем она не знала, что смерть ее была доказана трупом всплывшей женщины в день ее побега. Эмиль, отыскивая в маленьком городке врача, приходит к доктору и застает Генриету; она бросается к нему; но он, окаменелый, полумертвый, потерянный, отвечает на ее порыв новостью о своем браке. Слабой, едва живой, Генриете нельзя было вынести такого удара. Глухо закашляла она и бросилась из комнаты. Он ринулся было за нею — дверь заперта... Страшная минута тишины, невыносимая минута бездействия — он сломился под ее гнетом, он с бешенством и безумием бросился на пол, вырывая себе волосы и стеная. Дверь отворилась; доктор вышел спокойный и величественно-кротко возвестил, что она умерла, прощая его и советуя беречь Полину. И двоеженец, поверженный в прах, остается с страшными угрызениями совести, которые, вероятно, проводят его через всю жизнь. Вот и пьеса!

Когда опустился занавес, мне было невыразимо тяжело. Точно я присутствовал при инквизиторской пытке невинных. Все люди в этой драме — люди добрые, обыкновенные, даже честные и исполняющие долг свой; а между тем один из них казнен смертью, двое других — участием в этой казни. «Как вам нравится драма?» — спросил меня сосед, протирая очки... У меня есть примета не вступать в разговор с незнакомым в публичном месте, если он сам его начнет; мне все кажется, что такой человек или большой говорун, или большой *слушатель**. А потому, вместо ответа, я посмотрел на моего соседа, желая узнать, что он — говорун или слушатель; но он так добродушно и так наивно и так щуря глаза протирал очки, что

я переступил правило дипломатической гигиены и отвечал:

— Драма, кажется, обыкновенная, а между тем она глубоко задевает.

— И даже было прослезился... стыдно признаться. Этакая славная женщина, идеал... — продолжал человек кресел под № 39,— и досталась же такому мерзавцу мужу!

— Не лучше ли сказать — такому несчастному человеку?

— Какой он несчастный! Бесхарактерный эгоист, не умел ни отказаться во-время от нее, ни любить ее после, ни победить новой страсти. Неужели он прав, по-вашему?

— По-моему,— отвечал я, улыбаясь, — во-первых, все они правы, а во-вторых, все они виноваты, но, вероятно, не так, как вы полагаете.

— Очень хорошо, но... главный виновник?

— Да на что вам он? Главный виновник, как всегда, спрятался: он стоял за кулисами.

В это время к № 39 подошел какой-то знакомый, и наш разговор кончился, но продолжался во мне рядом грустных Grübeleien[1].

...Ничем люди не оскорбляются так, как неотысканием виновных; какой бы случай ни представился, люди считают себя обиженными, если некого обвинить и, следственно, бранить, наказать. Обвинять гораздо легче, чем понять. Понять событие, преступление, несчастие чрезвычайно важно и совершенно противоположно решительным сентенциям строгих судей, понять — значит, в широком смысле слова, оправдать, восстановить: дело глубоко человеческое, но трудное и неказистое. Оправдать падшего — то же, что поставить его на одну доску со мною. То ли дело с высоты своего нравственного величия упрекать и позорить его, указывая на себя, хотя в положении и нет никакого сходства и проповедник по большей части — известная мышь в голландском сыре! Оставя эту суетность, спрашиваем, для чего нам судить? Для суда и осуждения есть положительное законодательство, имеющее на это более права — силу, власть. Наше *партикулярное* дело —

---

[1] раздумий (нем.).— *Ред.*

проникать мыслью в событие, освещать его не для того, чтоб наказывать и награждать, не для того, чтоб прощать,— тут столько же гордости и еще больше оскорбления — а для того, что, внося свет в тайники, в подземельные ходы жизни, из которых вырываются иногда чудовищные события, мы из тайных делаем их явными и открытыми. Зло — темнота; оно не имеет никакой внутренней силы, чтоб противостоять свету. Оно только сильно, пока не взошло солнце разума, и мы, не видя его, придаем ему фантастические, чудовищные образы. К этой страсти искать виновных для того, чтобы их ругать и клеймить позором, присовокупляется у добрых людей наивное требование, чтоб каждый человек был мелодрамным, романически безукоризненным героем, исполнял бы с полным самоотвержением свои обязанности или, лучше, не свои обязанности, а те, которые заставляют его исполнять. И кто же эти взыскательные? Люди, которые для общей пользы не пожертвуют рюмкой водки, люди, к которым в семейную жизнь оборони бог заглянуть, милые невежды в страстях и увлечениях, потому что любили только себя и употребляли всю жизнь для успокоенья и холенья себя. Кто бывал искушаем, падал и воскресал, найдя в себе силу хранительную, кто одолел хоть раз истинно распахнувшуюся страсть, тот не будет жесток в приговоре: он помнит, чего ему стоила победа, как он, изнеможенный, сломанный, с изорванным и окровавленным сердцем, вышел из борьбы; он знает цену, которою покупаются победы над увлечениями и страстями. Жестоки непадавшие, вечно трезвые, вечно побеждающие, то есть такие, к которым страсти едва притрогиваются. Они не понимают, что такое страсть. Они благоразумны, как ньюфаундлендские собаки, и хладнокровны, как рыбы. Они редко падают и никогда не подымаются; в добре они так же воздержны, как в зле. Остановимся лучше с горестью перед лицами нашей драмы, пожалеем об них, протянем им руку не осуждая, не браня; мы не члены уголовного суда; они довольно настрадались — поговорим об них с участием, а не с укором, будем на них смотреть как на больных, а не так, как на преступников.

Герой нашей драмы — человек увлекающийся и без всякого направления; его жизнью управляет внешняя власть;

он один из тех людей, которые ложатся спать, не зная, что завтра будут делать, пойдут ли на охоту, или будут читать, или играть в карты. Он сначала любил свою жену откровенно— в этом нет сомнения, и, как все люди, не имеющие, так сказать, *задней мысли*, дающей тон всей их жизни, он не мог быть остановлен ничем в свете перед браком. Когда люди такого рода получают какое-нибудь определенное чувство, им становится хорошо; состояние бесцельного существования тягостно. Малопомалу он охладел к жене; к этому многое способствовало: всегдашняя зависимость его от впечатлений, разница лет, насмешки; потом, бездетный брак всегда ближе к тому, чтоб распасться. Несмотря на охлаждение мужа, жизнь их могла б идти довольно хорошо. Форма без содержания может долго простоять в покое, но первый толчок, и она падет. В молодой душе Эмиля была бездна сил неупотребленных; их некуда было ему деть; у домашнего очага, в пустой жизни блага неупотребленные, праздные силы всегда грозят бедой: они бродят, требуют занятия, истока. Взор его, искавший спасения от скуки, встретил живой, милый взор девицы, только что вышедшей из детской хризолиды.

«Тут он должен был остановить себя!..» Да неужели вы думаете, он полюбил ее намеренно? Эти привязанности делаются бессознательно; может, месяцы прошли прежде, чем он догадался, отчего ему приятно смотреть на ее улыбку, слушать ее песню, а когда он узнал, назвал свое чувство, страсть глубоко вкоренилась, и когда он хотел себя остановить, его бытие раскололось надвое, где с одной стороны долг и ум, а с другой — сердце, кипящее страстями; у него недостало силы найти выход. Он остался, как был, человек, подчиненный сердцу, да, сверх того, как слабый человек, и в страсти не умел идти до крайних последствий, а остановился в страшной и мучительной борьбе, не имея силы ни сердца принесть в жертву долгу, ни долга принесть в жертву сердцу. Мы его видим во втором действии с потерянным видом, жалким до слез; он тверд в натянутой роли; но подземный хор дьяволов, как в «Роберте»*, слышится глухо в его груди, и эта страшная песня раздается вопреки ему, и чувствуется, что ему не подавить этого хора.

Генриета сама ускоряет взрыв. Она точно также покорна одному сердцу — более, может, чем Эмиль; по счастию, ее сердце не в разладе с долгом; ее любовь к мужу — безумная страсть; уязвленная, она обвивается гремучей змеей около трех лиц и должна или их задушить, или погубить. Да не ненависть ли это?.. Посмотрите, как все странно в этой тесной сфере личных отношений. Кроткая, благородная, добрая женщина, в своекорыстном опьянении ревности, жертвует жизнию Полины, отдавая ее замуж за какого-то урода. Девица готова погубить себя,— юность всегда самоотверженна и безрасчетна,— готова предать себя позору брачного ложа без любви, как будто Эмиль от этого снова полюбит свою жену. Не знаю цели, с какой авторы[1] прибавили третье действие, но оно до такой степени не нужно, до такой степени несправедливо (в смысле наказанья Эмиля), что превосходно венчает всю драму. Только в этом мире могут развиваться такие катастрофы, где внутренняя случайность чувств учреждает жизнь вместе с внешней случайностью обстоятельств.

Виновных тут нет в том смысле, в котором хотят виноватых (как сознательных преступников); есть одна вина, за которую их нельзя отдать под суд, но которая была причиною всех бедствий, причиной скрытой, неизвестной им.

Нет ничего легче, после суждений обвиняющей толпы, как стоическим формализмом разрешать жизненные вопросы. Формализм, как всякая отвлеченность, берет одну сторону и прав с этой стороны, а других он знать не хочет. Несколько лет тому назад пытались, особенно в Германии, все вопросы и все сомнения разрешать путем отвлеченным, отрешая от вопроса усложняющие стороны его и делая его, следовательно, вовсе не тем вопросом, каким он есть; на широких и крепких основаниях вырастили тощие и бедные плоды, искусственно и насильственно вытянутые. Решения такого формализма безжизненны; он идет от умерщвленного данного к мертвому последствию; от его холодного дыхания все коченеет, вытягивается в угловатые формы, в которых содержанию мочи нет тесно; в нем нет ни пощады, ни милосердия — одни категории и

[1] Arnould et Fournier.

пренебрежения. Везде, где гордый формализм касается жизни, он стремится рабски подчинить страсти сердца, всю естественную сторону, все личные требования — разуму, как бы чувствуя, что он не совладает с ними, пока они на воле. Тоскуя беспрестанно о тождестве противоположностей, о примирении их в высшем единстве, об их сприсносущности и взаимной необходимости, формалисты только *на словах* принимают тождество и примирение, а на деле хотят подавить всю естественную сторону, хотят отбросить ее, как калоши, служившие только, чтоб пройти по грязи. Кто-то прекрасно заметил, что природа для идеалистов — *развратившаяся идея* (so eine liederliche Idee). Все временное, частное само собою приносится в жертву идее и всеобщему; это судьба его; но хотят у него отнять и минутное владение, единственное его благо; вместо свободной жертвы хотят вынудить насилием рабское признание своей ничтожности; *не дают себе труда устремить сердце к разумной цели*, а требуют, чтоб оно отреклось от себя, потому что оно ближе к природе. Таких требований не признает гордое сердце человека; оно сильно своими страстями и знает свою силу: оно знает — если пламя страстных увлечений поднимет голову, как бессильно, как несостоятельно обязательство жертвовать формальному долгу! Сердце знает, что наслаждение есть также право всего живущего, ищет его и манит им; за что оно им пожертвует? Формализму до этого дела нет. Держась на ледяной высоте своих всеобщностей, он пренебрегает сердцем, он его не хочет знать. Так принялся было он защищать брак, но никогда не мог дойти до христианского учения о браке, именно по недостатку любви и сердца[1]. Он допускает, что *основание* браку — любовь; это его естественная непосредственность; но после венчания любовь не нужна — вы перешли за границу естественных влечений, в сферу нравственности, где уж нет ни плача, ни воздыхания, никакой страстности, а есть скука и тупое исполнение долга, которого смысл утратился и которого внутренняя Психея отлетела. Сознание, что я жертвую всею сердечной стороной бытия для нравственной идеи брака,— вот награда. Словом, брак для брака. Самое высшее

[1] Например, диссертация Рётшера о Гётевом «Wahlverwandschaft»*

развитие такого брака будет, когда муж и жена друг друга терпеть не могут и исполняют ex officio[1] супружеские обязанности. Тут торжество брака для брака гораздо полнейшее, чем в случае равнодушия. Люди равнодушные друг к другу могут по расчету жить вместе; они не мешают друг другу[2].

Религия *устремляется* в другой мир, в котором также улетучиваются страсти земные; этот другой мир не чужд сердцу; напротив, в нем сердце находит покой и удовлетворение; сердце не отвергается им, а распускается в него; во имя его религия могла требовать жертвования естественными влечениями; в высшем мире религии личность признана, всеобщее нисходит к лицу, лицо поднимается во всеобщее, не переставая быть лицом; религия имеет собственно две категории: всемирная личность божественная и единичная личность человеческая. Формализм убивает живые личности в пользу промежуточных отвлеченных всеобщностей. Религия не становится выше любви в отношении брака; религия говорит: «Люби твою жену, потому что она богом тебе данная подруга». Религия связывает лица связью неразрушимой; здесь брак есть таинство, совершающееся под благословением божиим. Формализм рассуждает не так: «Ты, как свободно разумная воля, вступил в брак с сознанием его обязанностей, пади же жертвой этой обязанности, запутайся в цепь, которую добровольно надел на себя; плати всеми годами твоей жизни за прошедший факт, быть может, основанный на минутном увлечении. Никакой взгляд на мир, ни развитие, ни опытность ничего не помогут, потому что принесением тебя в жертву идея брака укрепляется и поднимается. Тебе как личности выхода нет; да и гибни себе, ты случайность. Необходим человек, а не ты». Формализм топчет ногами всю сторону естественной непосредственности; религия и тут его побеждает, ибо она, признавая семейную жизнь, считает ее

---

[1] по обязанности (лат.).— *Ред.*

[2] Место это написано было мною против К. С. Аксакова, который в споре поддерживал этот чисто доктринерский взгляд на брак. Тогда, т. е. в 1843 году, он был еще очень увлечен Гегелевым формализмом. Но каково же было мое удивление, когда пятнадцать лет спустя я ту же строго высказанную и диалектически развитую нелепость встретил в Прудоновой «De la Justice»!* <Примеч. 1862 г.>.

естественною непосредственностью, в свою очередь, перед жизнью в высшем мире. Да, религия снимает семейную жизнь, как и частную, во имя высшей и громко призывает к ней: «Кто любит отца своего и мать свою более меня, тот не достоин меня». Эта высшая жизнь не состоит из одного отрицания естественных влечений и сухого исполнения долга: она имеет свою положительную сферу во всеобщих интересах своих; поднимаясь в нее, личные страсти сами собою теряют важность и силу — и это единственный путь обуздания страстей, свободный и достойный человека. Сделаем опыт оглянуться на нашу драму с этой точки зрения.

Жизнь лиц, печально прошедших перед нашими глазами, была жизнь одностороннего сердца, жизнь личных преданностей, исключительной нежности. Небосклон ее тесен; нам в нем неловко дышать, человек требует больше; комнатный воздух для него нездоров. Мы чувствуем себя чужими между этими людьми и личностями, друг в друге живущими, сосредоточенными на себе и довлеющими друг другу во имя своих личностей. При таком направлении духа начала кроткого, тихого семейного счастья лежали в них; они могли бы быть счастливы,— даже некоторое время были, — и их счастье было бы делом *случая*, так же, как и их несчастие. Мир, в котором они жили,— мир случайности. Частная жизнь, не знающая ничего за порогом своего дома, как бы она ни устроилась, бедна; она похожа на обработанный сад, благоухающий цветами, вычищенный и прибранный. Сад этот может долго утешать хозяев, особенно если забор его перестанет колоть их глаза; но случись ураган— он вырвет деревья с корнями, затопит цветы, и сад будет хуже всякого дикого места. Таким хрупким счастием человек не может быть счастлив; ему надобен бесконечный океан, который волнуется ураганами, но чрез несколько мгновений бывает гладок и светел, как прежде. Судьба всего исключительно личного, не выступающего из себя, незавидна; отрицать личные несчастия нелепо; вся индивидуальная сторона человека погружена в темный лабиринт случайностей, пересекающихся, вплетающихся друг в друга; дикие физические силы, непросветленные влечения, встречи имеют голос, и из них может составиться согласный хор, но могут выйти и раздирающие

душу диссонансы. В эту темную кузницу судеб свет никогда не проникает; слепые работники бьют зря молотом налево и направо, не отвечая за следствия. Чем более человек сосредоточивается на частном, тем более голых сторон он представляет ударам случайности. Пенять не на кого: личность человека не замкнута; она имеет широкие ворота для выхода. Вся вина людей, живущих в одних сердечных, семейных и частных интересах, в том, что они не знают этих ворот, а остальное, в чем их винят,— обыкновенно дело случая.

Случайность имеет в себе нечто невыносимо противное для свободного духа: ему так оскорбительно признать неразумную власть ее, он так стремится подавить ее, что, не зная выхода, выдумывает лучше грозную судьбу и покоряется ей; хочет, чтоб бедствия, его постигающие, были предопределены, т. е. состояли бы в связи с всемирным порядком; он хочет принимать несчастия за преследования, за наказания: тогда ему есть утеха в повиновении или в ропоте; одна случайность для него невыносима, тягостна, обидна; гордость его не может вынести безразличной власти случая. Эта ненависть и стремление выйти из-под ярма указывают довольно ясно на необходимость другой области, *иного мира*, в котором враг попран, дух свободен и дома. Если б человек не имел никакого выхода, в нем не было бы и потребности выйти из мира случайности, как у животного, например. Поднимаясь, развиваясь в сферу разумную и вечную всеобщего, мы стяжаем возможность и крепость переносить удары случайности: они бьют тогда в одну долю бытия, они не так обидны. Надобно было большое совершеннолетие, большое развитие своей индивидуальности в родовое, чтоб с ясным челом сказать: «*Есть* мир; в нем мы развиваемся; какая судьба нас постигнет, все равно (да и судьбы вовсе нет); дело в том, чтоб мы *пришли в себя*, остальное безразлично». Хвала великой еврейке, сказавшей это![1]

Не отвергнуться влечений сердца, не отречься от своей индивидуальности и всего частного, не предать семейство всеобщему, но раскрыть свою душу всему человеческому, страдать и наслаждаться страданиями и наслаждениями современности,

[1] Рахель — «Briefwechsel».

работать столько же для рода, сколько для себя, словом, развить эгоистическое сердце во всех скорбящее, обобщить его разумом и в свою очередь оживить им разум... Человек без сердца — какая-то бесстрастная машина мышления, не имеющая ни семьи, ни друга, ни родины; сердце составляет прекрасную и неотъемлемую основу духовного развития, из него пробегает по жилам струя огня всесогревающего и живительного; им живое сотрясается в наслаждении, радо себе. Поднимаясь в сферу всеобщего, страстность не утрачивается, но преображается, теряя свою дикую, судорожную сторону; предмет ее выше, святее; по мере расширения интересов уменьшается сосредоточенность около своей личности, а с нею и ядовитая жгучесть страстей. В самом колебании между двумя мирами — личности и всеобщего — есть непреодолимая прелесть; человек чувствует себя живою, сознательною связью этих миров, и, теряясь, так сказать, в светлом эфире одного, он хранит себя и слезами, и восторгами, и всею страстностью другого. Человеческая жизнь — трудная статистическая задача; бесчисленные противоположности, множество борющихся элементов ринуты в одну точку и сняты ею. Природа, развиваясь, беспрестанно усложняется; проще всего камень, зато и жизнь его состоит в одном мертвом, косном покое. Человек не может отказаться безнаказанно от участия во всех обителях, в которые он призван своим временем. Человек развившийся равно не может ни исключительно жить семейною жизнию, ни отказаться от нее в пользу всеобщих интересов. Было время для каждого народа, когда семейная жизнь удовлетворяла всем требованиям; для нас, европейцев, это время миновало; мы живем шире, богаче. В патриархальный век детская простота, односложность отношений, физический труд и психическая неразвитость отстраняли всякую возможность скорбных катастроф, поражающих нежные, одухотворенные существования развитых стран. Удары случайности были те же; грудь, на которую они падают, изменилась.

Лица нашей драмы отравили друг другу жизнь, потому что они слишком близко подошли друг к другу, и, занятые единственно и исключительно своими личностями, они собственными руками разрыли пропасть, в которую низверглись;

страстность их, не имея другого выхода, сожгла их самих. Человек, строящий дом свой на одном сердце, строит его на огнедышащей горе. Люди, основывающие все благо своей жизни на семейной жизни, ставят дом на песке. Быть может, он простоит до их смерти, но обеспечения нет, и дом этот, как домы на дачах, прекрасны только во время хорошей погоды. Какое семейное счастие не раздробится смертию одного из лиц? Мне ответят: а утешение религии? Но религия есть по преимуществу выход в иной мир. А там, где религиозная и гуманическая сторона бытия слаба, где она подчинена чувствам, подчинена частному и личному, там ждите бед и горестей... В этом положении наши герои. Они сводят нас в преисподнюю, в мир сердца, разорванного с разумом, в подземный мир обезумевших естественных влечений, готовых пожрать все вокруг себя. Это страшная изнанка жизни человеческой; тут определяются личные гибели, дробятся одним ударом песчинками собранные достояния; тут раздаются глухие стоны отчаяния, яростные крики боли; тут индивидуальное доведено до последней крайности, до нелепости и царит об руку с безумным самоотвержением и с наглым эгоизмом. Тут люди сражаются с призраками, порожденными их болезненной фантазией, рвут в клочья свою грудь и грудь ближнего, беснуются, ненавидят, ревнуют, лишают себя жизни, влюбляются — все это, ни разу не давши себе отчета в том, чего хотят...

Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука? *

Если человек, попавшись во власть адским силам, найдет твердость приостановиться, подумать — он, без сомнения, засмеется и, еще вернее, покраснеет. Главное сумасшествие состоит в какой-то чудовищной важности, которую приписывают событиям, именно потому, что они не знают, что в самом деле важно. Не факты отдельные — смертные грехи, а грехи против духа и в духе. Возьмем, например, драму Бомарше «La Mère Coupable». Человек, годы целые с злою ревностию отыскивавший улики против своей жены, наконец находит их. Теперь-то он отмстит, теперь-то он бросится со всею жестокостью невинности, со всею свирепостью судии на преступную,

которая двадцать лет, не осушая слез, оплакивает свое падение. Он точно пользуется первым случаем, чтоб положить на благородное чело ее печать позора; при этом он ждет уверток, ждет горьких слов — и встречает кроткое сознание вины, и его жесткая душа мягчится, он *протрезвляется*, из мужа-мстителя делается мужем-человеком. Сердце, полное желчи и злобы, раскрывается снова любви. А между тем доказательства найдены, и то, что в подозрении он не мог вынести, он забывает при достоверности. Почти все злодейства в мире происходят от нетрезвого понимания. Бентам говорит, что всякий преступник — дурной счетчик. Если обобщить эту мысль и взять ее не в тех материальных границах, в которых она высказана им, то это будет одна из величайших истин.

Но возвратимся к нашей драме. Закулисная вина несчастия этих людей — теснота и неестественная для человека жизнь праздности; преступное отчуждение от интересов всеобщих, преступный холод ко всему человеческому вне их тесного круга, исключительное занятие собою, взаимное обоготворение. Других вин не ищите, вот больное место! Если б в них было развито *живое* религиозное чувство, если б *человечность* их не ограничилась первой ступенью, т. е. семейной жизнью, катастрофы этой, конечно, не было бы. Если б Эмиль, сверх своих личных привязанностей, имел симпатию к современности, любовь к родине, к искусству, к науке, остался ли бы он сложа руки, в ничтожной праздности, разжигая бездействием страсти, истощая силы души на противодействие несчастной любви? Может быть, эта любовь и посетила бы его сердце, как мимолетная гостья, но она не стащила бы его в преисподнюю, не нарушила бы мира с женой, потому что он был бы сильнее всею той стороной бытия, которой он не развил. Еще раз, их жизнь была бедная жизнь в сфере частной любви, выхода не имела и при неудаче лопнула. Словом *любовь* оправдывают всё. Но нынче, когда нет авторитета, под который дух критики не делал бы опыта подкопаться, можно и самую златовласую Афродиту потребовать к трибуналу, если судья только не боится ее красоты. Я, с своей стороны, готов быть лучше Антонием, нежели Октавианом, и наверное не велю по-

крыться Клеопатре, лишь бы встретиться с нею; однакож осмеливаюсь звать на правеж ее, из пены морской рожденную!

Существовать — величайшее благо; любовь раздвигает пределы индивидуального существования и приводит в сознание все блаженство бытия; любовью жизнь восхищается собою; любовь — апофеоза жизни. Лукреций всю природу называет торжественным празднеством любви, брачным пиром, для которого цветы развертывают свои прекрасные венчики, наполняют благоуханием воздух, птицы покрываются красивыми перьями и проч. Любовь человеческая — еще более апофеоза самой любви, так как вообще человеческое есть апофеоза естественного. Природа оканчивается взором юноши и девы, любящих друг друга. Этим взором она страстно понимает всю бесконечную красоту свою, им она *оценила себя;* далее она идти не может — далее другое царство; она совершила свое, подняла форму до соответствия духу, раздвоилась, и, взглянув высшими представителями своего дуализма, она поняла выразительность своей красоты; личности, в немом восторге друга от друга, в торжественном упоении взаимного созерцания, отрешились от себя. Они сняли противоположность свою любовью и между тем не совпадают, для того, чтоб наслаждаться друг другом, для того, чтоб жить друг в друге. И с этим мгновением восторга и поклонения бытию соединена великая тайна возникновения, обновления юным отжившего. Любовь — пышный, изящный цветок, венчающий и оканчивающий индивидуальную жизнь; но он, как все цветы, должен быть раскрыт одною стороной, лучшей стороной своей к небу всеобщего. Цветок питается из земли и из солнца; от этого в нем земное так чудно хорошо. Любовь — один момент, а не вся жизнь человека; любовь венчает личную жизнь в ее индивидуальном значении; но за исключительною личностью есть великие области, также принадлежащие человеку, или, лучше, которым принадлежит человек и в которых его личность, не переставая быть личностью, теряет свою исключительность. Монополию любви надобно подорвать вместе с прочими монополиями. Мы отдали ей принадлежащее, теперь скажем прямо: человек не для того только существует, чтоб *любиться;* неужели *вся* цель мужчины — обладание такою-то женщиной, *вся* цель женщины — обладание

таким-то мужчиною? — Никогда! Как неестественна такая жизнь, всего лучше доказывают герои почти всех романов. Что за жалкое, потерянное существование какого-нибудь Вертера,— чтоб указать на знаменитость; сколько сумасшедшего и эгоистического в нем, при всей блестящей стороне, которую всегда придает человеку сильная страсть! Не должно ошибаться: это блеск очей лихорадочного; он имеет в себе магнетическое, притягивающее, а между тем он выражает не огонь жизни, а пламя, разрушающее ее. При всех поэтических выходках Вертера вы видите, что эта нежная, добрая душа не может выступить из себя; что, кроме маленького мира его сердечных отношений, ничто не входит в его лиризм; у него ничего нет ни внутри, ни вне, кроме любви к Шарлотте, несмотря на то, что он почитывает Гомера и Оссиана. Жаль его! Я горькими слезами плакал над его последними письмами, над подробностями его кончины. Жаль его,— а ведь пустой малый был Вертер! Сравните его или Эдуарда и всех этих страдателей с широко развернутыми людьми, у которых субъективному кесарю отдана богатая доля, но и доля общечеловеческая не забыта; сравните их с Карлом Мором, с Максом Пикколомини, с Теллем, наконец, с этим добрым патриархальным отцом семейства, с этим энергическим освободителем своего отечества. И, чтоб не обидеть Гёте, сравните с архитектором в «Wahlverwandschaft», и вы ясно увидите, что я хочу сказать. Любовь вошла великим элементом в их жизнь, но не поглотила, не всосала в себя других элементов. Они любовью не отрезались от всеобщих интересов гражданственности, искусства, науки; напротив, они внесли все одушевление ее, весь пламень ее в эти области и, наоборот, ширину и грандиозность этих миров внесли в любовь. Оттого любовь их, счастлива или нет, но не вырождается в помешательство. Помнится, Тиссо, в известной книге своей о некоторого рода самоудовлетворении, сказал: «Природа жестоко мстит оскорбляющим ее законы; эта месть лежит в самом отступлении от бытия, в которое должен развиться организм, и есть физическое последствие его». Великая истина! Человек должен развиться в мир всеобщего; оставаясь в маленьком, частном мире, он надевает китайские башмаки,— чему дивиться, что ступать больно, что трудно держаться на

ногах, что органы уродуются? чему дивиться, что жизнь, не сообразная цели, ведет к страданиям? Самые эти страдания — громкий голос, напоминающий, что человек сбился с дороги.

Но я предвижу возражение: этот мир всеобщих интересов, эта жизнь общественная, художественная, сциентифическая,— все это для мужчины; а у бедной женщины ничего нет, кроме ее семейной жизни. Она должна жить исключительно сердцем; ее мир ограничен спальней и кухней... Странное дело! Девятнадцать столетий христианства не могли научить людей понимать в женщине человека. Кажется, гораздо мудренее понять, что земля вертится около солнца, однако поспорили да и согласились; а что женщина человек — в голову не помещается! Однакож участие женщины в высшем мире было признано религиею. «Марфа, Марфа, ты печешься о многом, а *одно* потребно,— Мария избрала *благую часть*». На женщине лежат великие семейные обязанности относительно мужа — те же самые, которые муж имеет к ней, а звание матери поднимает ее над мужем, и тут-то женщина во всем ее торжестве: женщина больше мать, чем мужчина отец; дело начального воспитания есть дело общественное, дело величайшей важности, а оно принадлежит матери. Может ли это воспитание быть полезно, если жизнь женщины ограничить спальней и кухней? Почему римляне так уважали Корнелию, мать Гракхов?.. Во-вторых, ее семейное призвание никоим образом не мешает ее общественному призванию. Мир религии, искусства, всеобщего точно так же раскрыт женщине, как нам, с тою разницей, что она во все вносит свою грацию, непреодолимую прелесть кротости и любви. Вся история Италии не совершилась ли под беспрерывным влиянием женщин? Не доказали ли они мощь гениальности своей на престоле, как Екатерина II, и на плахе, как Ролан? Нужны ли доказательства людям, которые своими глазами видели Сталь, Рахель, Беттину и теперь еще видят исполинский талант гениальной женщины?* Но в сторону эти исключительные явления: обращаю внимание на факт, известный всем, находящийся у каждого перед глазами. Откуда девицы имеют необыкновенный такт поведения, уменье себя держать, верный смысл в делах жизни? Воспитание их ограничено гаремным заключением, а между тем их быстро понимающей натуре достаточно

несколько шагов по полю жизни, чтоб выразуметь ее, чтоб приобрести esprit de conduite[1], до которого мужчина вырабатывается полжизни самым скорбным путем падений, разврата, разорений, обид, унижений и бог знает чего. Этот факт, совершенно всеобщий, доказывает ли подчиненность женщины мужчинам в отношении ума или напротив? Какое же мы имеем право отчуждать их от мира всеобщих интересов? Я скажу, как Розина, когда ей Бартоло доказывал, что муж может распечатывать письма жены: «Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne?»[2] В дикие времена феодализма (которые представляются такими поэтическими, чистыми у наших романтиков) рыцари имели обыкновение в своих поместьях выбирать маленьких девочек, обещавших красоту, и запирать в особое отделение, где за их *нравственностью* был строгий надзор; из этих рассадников брали они себе, по мере надобности, любовниц. Так рассказывает очевидец — Брантом. Нынче такого грубого и отвратительного уничижения женщины нет. А не правда ли, что-то родственное этим хозяйственным запасам осталось в воспитании девиц исключительно в невесты? Мысль, что она сама в себе никакой цели не имеет, кроме замужства, право, не нравственна и не пристойна.

Я почти все сказал, что хотел сказать по поводу одной драмы: следовало бы остановиться; но характер Grübeleien именно таков, что они до тех пор тянутся, пока внешняя причина натолкнет на что-нибудь другое или напомнит, что пора кончить. Теперь, когда следовало положить перо, мне пришло в голову еще кое-что о любви.

Любовь почти всегда поэтами поется сквозь слезы, покрытая какою-то траурною мантиею, заменившею алое покрывало. Вместо радостной улыбки у них скрежет зубов; вместо юного румянца — бледные щеки. Откуда взялся в любви, в этом торжественном, радостном чувстве, мучительно грустный, раздирающий душу характер? Это наследие мечтательности средних веков и германизма; для романтизма нет счастия выше несчастия, нет радости выше скорби и грусти; все человеческое полу-

[1] линию поведения (франц.).— *Ред.*

[2] «Но почему давать ему право совершать недостойные поступки, которого не дают никому?» (франц.).— *Ред.*

чило тогда судорожно болезненное направление: так простые южные болезни получают на севере чрезвычайно сложное нервичное, желчевое свойство. То было время убиения всего естественного и развития всего противуестественного, время вечного противоречия слов и дела; оно, мрачное, сосредоточенное, вечно обращенное на себя, занимающееся собою, раздуло в струи адского огня кроткий пламень любви. Мир действительный был в пренебрежении: жили в мечтах, отреклись от естественных влечений и воцарили вместо их новые, порожденные от беззаконной смеси крови и духа,— таково понятие чести, доведенное до безумного себябоготворения; такова платоническая любовь — натянутое одухотворение истинной любви. Словом, романтическое воззрение представляет, как телескоп, весь мир вверх ногами; внутреннее у него поставлено вдали, духовное исполнено чувственности, чувственность одухотворена. С таким настроением души, при вечном разрыве с истинною жизнью, страсти получили тем ужаснейшее развитие, что они были неестественны. Нельзя отрицать сильную увлекательность романтизма; туманность его, бегущая ясности и разума, стремление, не знающее предела и цели, искусственная чистота, восторженная нежность, речь, которая, как музыка, больше намекает, нежели высказывает,— все вместе захватывает душу, особенно юную, девственную. Романтизму шла так же хорошо платоническая, несчастная любовь, как романтизм шел средним векам. Но время его миновало, поэты-романтики знать этого не хотят. А между тем, представьте вы себе, вместо изящного образа рыцаря Тогенбурга, закованного в железо, с крестом на груди,— представьте г. Тогенбурга в пальто и резинковых калошах, проводящего жизнь где-нибудь в Париже, Лондоне, Брюсселе на улице, дожидаясь, «как стукнет окно»,— и вам сделается ужасно смешно...

Мечтательность, романтизм, платоническая любовь — все это в наше время очень хорошо при переходе из отрочества в юношество. Душа моется, расправляет крылья в этом фантастическом море, в этом упоительном полумраке. Но остаться навек мечтательно вздыхающим безнадежно *по ней*, стремящимся и возносящимся, не видя, что под ногами делается, что над головою гремит?.. Как люди, вечно занятые суетою

ежедневности, бессознательно влекомые общим движением, совершенно внешние и ограниченные, вышли с одной стороны из жизни истинно человеческой, так мечтатели, исполненные неопределенной тоски, сердечных страданий, боящиеся грубых прикосновений действительности, в другую сторону вышли из жизни. Первые возвратились в состояние животных или не дошли еще до человеческого; они довольны своею жизнию на скотном дворе. Вторые вышли из человеческой жизни в какую-то степь, по которой сколько ни пройдешь, столько же остается. Те не могут прийти в себя, эти выйти из себя не могут. Жизнь не для них; это два берега ее — она величественно течет между ними. На мечтателей часто клеплют глубину души, неизвестную нам, профанам: там «покоится не одна прекрасная жемчужина», да они ее выковырять не могут, и слов нет высказать, и звуков нет спеть... Знаете ли, что мне подчас приходит в голову? Глубина эта похожа на то, что если б выкопать колодезь до центра земли и все продолжать копать, каждый шаг глубже был бы шагом ближе к поверхности. Центр тяжести — граница глубины; еще раз, жизнь — статистическая задача: ni troppo, ni troppo poco[1]. Troppo poco — человек в толпе с низкими желаниями, безгласен; troppo — человек вне действительности, в сфере праздной и бесполезной... Возвращаюсь к любви. Мучительная любовь не есть истинная, а...

«Знаешь ли ты,— сказал мне один ученый друг, которому я читал эту тетрадь,— знаешь ли ты условие, чтоб не дурную, да и не хорошую статью прочли?» Я навострил уши. «Надобно,— продолжал он, с важностью ученого и с участием друга,— точно в статистической задаче жизни человеческой: чтоб было сказано ni troppo, ni troppo poco. В последнем ты предостерегся, я первый отдаю полную справедливость; подумай о втором, вспомни историческую воздержность Сципиона».

Подумав и вспомнив историческую воздержность Сципиона, я остановился; тем более не осмелюсь заставить благосклонного читателя (если бог пошлет его) читать продолжения бессвязных Grübeleien.

1842, октября 10-го.

---

[1] ни слишком много, ни слишком мало (итал.).— *Ред.*

II

ПО РАЗНЫМ ПОВОДАМ

Года два тому назад умер в своей подмосковной один очень странный человек. Я его несколько знавал при жизни и довольно коротко познакомился с ним после его смерти. Человек он был тяжелый; его не любили, он надоедал своим рефлектерством — рефлектерство развилось у него под конец жизни в болезнь, чуть не в помешательство. Не было того простого вопроса, над которым бы он не ломал головы. Он утратил ту врожденную сумму правил и истин, которая вперед идет у каждого человека, которую мы находим в своем сознании прежде, нежели начинаем рассуждать, так, как находим у себя нос, глаза — нисколько не трудившись приобрести их и не зная, собственно, откуда они. Чудак называл их *фуэросами** и искал иных правил — до которых не добился.

Странный человек был, сверх того, совершенно праздный человек. Не найдя никакой деятельности в среде, в которой родился, он сделался туристом; потаскавшись лет десять по Европе, он воротился усталый, не совсем юный и принялся читать. Читал днем, читал ночью, читал романы, читал ученые сочинения, читал журналы и вскоре дочитался до отвращения от книг; тогда он сложил руки и решился ничего не делать; вероятно, для этого он поселился в Москве. Мысль нельзя сложить, как руки,— она и во сне не совсем спит; деятельность мысли росла в нем тем сильнее, чем менее было всякой другой деятельности, и он дошел до своего вечного раздумья, до своего раздраженного, почти лихорадочного рефлектерства.

После его смерти попались мне в руки его бумаги; я нашел там множество заметок, мыслей, *капризов*, брошенных наскоро, но не лишенных интереса, по крайней мере патологического интереса. Посылаю два, три образчика в ваш альманах — поместите их, если найдете занимательным для читателей.

Cogitata et visa[1]

I

Легкое по видимому только легко, а трудное по видимому только трудно. Обыкновенно думают: чем мысль общее, тем она труднее,— что надобно иметь чрезвычайное глубокомыслие и сметливость, чтоб понять, например, философскую книгу; так думают не только не читающие таких книг, но и те, которые их пишут; они, единственно для облегчения мыслей само собою понятных, затемняют их до того, что они делаются совершенно непонятными. А посмотришь прямо в глаза этим головоломным истинам — снявши с них ежовую шкуру школьного изложения — ребенок поймет; труднее не понять их, нежели понять. Если мы мало видим детей, понимающих истины,— это оттого, что со дня рождения развращают естественный смысл ребенка воспитанием. Воспитание очень надолго лишает ребенка возможности понять ясное тем самым, что оно ему передает темное за ясное, подавляет авторитетом; систематически приучает детей к сумасшествию. Часть людей, свихнувши в молодости свой ум, так и остается на всю жизнь, вроде тех индейцев, которым при рождении сдавливали черепные кости; многие, потом, собственными трудами продолжают развивать в себе способность искаженного мышления и достигают нередко некоторой ловкости в этом искусстве. Человеку, понявшему ясно и основательно хоть одну ложь за правду, чрезвычайно трудно понять всякую истину; это объясняется по методе Жакото*: типы нелепых выводов остаются в голове, как законы, от которых отвязаться мудрено. Не истины науки трудны, а расчистка человеческого сознания от всего наследственного хлама, от всего осевшего ила, от принимания неестественного за естественное, непонятного за понятное.

Действительно трудное для понимания не за тридевять земель, а возле нас, так близко, что мы и не замечаем его,— частная жизнь наша, наши практические отношения к другим лицам, наши столкновения с ними. Людям все это кажется очень простым и чрезвычайно естественным, а в сущности нет

---

[1] Обдуманное и виденное (лат.).— *Ред.*

головоломнее работы, как понять все это. Кто раз, на минуту отступя в сторону, добросовестно всмотрится в ежедневную мелочь, в которой мы проводим время, да подумает об ней, тот или расхохочется до того, что сделается болен, или расплачется до того, что потеряет глаза. Мы слишком привыкли к тому, что мы делаем и что делают другие вокруг нас, нас это не поражает; привычка — великое дело, это самая толстая цепь на людских ногах; она сильнее убеждений, таланта, характера, страстей, ума. К чему нельзя привыкнуть? Итальянец, живущий на Везувии, привык спать возле кратера так же спокойно, как в свою очередь наш мужичок спокойно отдыхает в обществе нескольких тысяч тараканов. Митридат привык вместо кабула и сои приправлять кушанья всякими ядами и был очень здоров; а Фридрих II привык класть в суп асса-фетиду и находил, что его суп прекрасно пахнет. Считают, что все достойное внимания, замечательное, любопытное — где-нибудь вдали, в Египте или в Америке; добрые люди не могут убедиться, что нет такого далекого места, которое не было бы близко откуда-нибудь; что вещь, возле них стоящая со дня рождения, от этого не сделалась ни менее достойною изучения, ни понятнее. Как на смех подобным мнениям, все самое трудное, запутанное, самое сложное сосредоточивалось под крышей каждого дома, и критический, аналитический век наш, критикуя и разбирая важные исторические и всяческие вопросы — спокойно, у ног своих, дозволяет расти самой грубой, самой нелепой непосредственности, которая мешает ходить и предательски прикрывает болота и ямы; ядра, летящие на разрушение падающего здания готических предрассудков, пролетают над головою преготических затей оттого, что они под самым жерлом.

Наука, государство, искусство, промышленность идут, развиваясь во всей Европе стройно, широко; впереди великие мыслители, великие государственные люди, великие художники, предприимчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-как, основанная на воспоминаниях, привычках и внешних необходимостях; об ней в самом деле никто не думает, для нее нет ни мыслителей, ни талантов, ни поэтов,— недаром ее называют *прозой* в противоположность плаксивой жизни баллад и глупой жизни идиллий. Только лета юности обстановлены

похудожественнее; а потом за последним лирическим порывом любви — утомительное semper idem [1] закулисной жизни, ежедневной суеты, мелких хлопот, булавочных уколов и пр. Общие сферы похожи на вызолоченные гостиные и залы, на отделку которых употреблены капиталы; а частная жизнь — это тесная спальня, душная детская, грязная кухня, где гости никогда не бывают. Конечно, в последние три века много переменилось в образе жизни — впрочем, украдкой, бессознательно, даже вопреки убеждениям; меняя образ жизни, люди не признавались в этом — знамена остались те же; люди, как испанцы, хотят только сохранить *фуэросы*, несмотря на то что большая часть их не соответствует настоящему. Прислушиваясь к суждениям мудрых мира сего, дивишься, как может ум дойти до того, чтоб в одно и то же время совместить в свой нравственный кодекс стоические сентенции Сенеки и Катона, романтически восторженные выходки рыцаря средних веков, самоотверженные нравоучения благочестивых отшельников степей фиваидских* и своекорыстные правила политической экономии. Безобразие подобного смешения принесло свой плод, именно мертвую мораль,— мораль, существующую только на словах, а в самом деле недостойную управлять поступками; современная мораль не имеет никакого влияния на наши действия; это милый обман, нравственная благопристойность, одежда — не более. У каждого человека за его официальной моралью есть свой спрятанный esprit de conduite; официально он будет плакать о том, что бедный беден, официально он благородным львом вступится за честь женщины — privatim[2] он берет страшные проценты, privatim он считает себя в праве обесчестить женщину, если условился с нею в цене. Постоянная ложь, постоянное двоедушие сделали то, что меньше диких порывов и вдвое больше плутовства, что редко человек скажет другому оскорбительное слово в глаза и почти всегда очернит его за глаза; в Париже я меньше встречал шуринеров[3] и эскарпов[4],

---

[1] всегда одно и то же (лат.).— *Ред.*

[2] Здесь: в частной жизни (лат.).— *Ред.*

[3] убивающих ножом, от chourineur (франц.).— *Ред.*

[4] убийц-грабителей, от escarpe (франц.).— *Ред.*

нежели мушаров[1], потому что на первое ремесло надобно иметь откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедушие и подлость. Наполеон с содроганием говорил о гнусной привычке беспрестанно лгать. Мы лжем на словах, лжем движениями, лжем из учтивости, лжем из добродетели, лжем из порочности; лганье это, конечно, много способствует к растлению, к нравственному бессилию, в котором родятся и умирают целые поколения, в каком-то чаду и тумане проходящие по земле. Между тем и это лганье сделалось совершенно естественным, даже моральным: мы узнаем человека благовоспитанного по тому, что никогда не добьешься от него, чтоб он откровенно сказал свое мнение.

Наполеон говаривал еще, что наука до тех пор не объяснит главнейших явлений всемирной жизни, пока не бросится *в мир подробностей*. Чего желал Наполеон — исполнил микроскоп. Естествоиспытатели увидели, что не в палец толстые артерии и вены, не огромные куски мяса могут разрешить важнейшие вопросы физиологии, а волосяные сосуды, а клетчатки, волокна, их состав. Употребление микроскопа надобно ввести в нравственный мир, надобно рассмотреть нить за нитью паутину ежедневных отношений, которая опутывает самые сильные характеры, самые огненные энергии. Люди никак не могут заставить себя серьезно подумать о том, что они делают дома, с утра до ночи; они тщательно хлопочут и думают обо всем: о картах, о крестах, об абсолютном, о вариационных исчислениях, о том, когда лед пройдет на Неве,— но об ежедневных, будничных отношениях, обо всех мелочах, к которым принадлежат семейные тайны, хозяйственные дела, отношения к родным, близким, присным, слугам и пр., пр.,— об этих вещах ни за что в свете не заставишь подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говорит, что люди для того играют в карты, чтоб не оставаться никогда долго наедине с собою, чтоб не дать развиться угрызениям совести. Очень вероятно, что, руководствуясь тем же инстинктом, человек не любит рассуждать о семейных тайнах,— а не пора ли бы им на свет?

---

[1] полицейских шпионов, от mouchard (франц.).— *Ред.*

Я, как маленькие дети, боюсь темноты; мне все кажется, что в темноте сидит злой дух с рыжей бородой и с копытом. Зачем, кажется, прятать под спудом то, что не боится света; да и в сущности это все равно, прячь не прячь — все обличится; с каждым днем меньше тайн.

Was sich in dem Kämmerlein
Still und fein gesponnen,
Kommt — wie kann es anders sein? —
Endlich an die Sonnen[1]*.

Изредка какое-нибудь преступление, совершенное в этом мраке частной жизни, пугнет на день, на другой людей, стоявших возле, заставит их задуматься... для того, чтоб потом начать судить и осуждать. Добрейший человек в мире, который не найдет в душе жестокости, чтоб убить комара, с великим удовольствием растерзает доброе имя ближнего на основании морали, по которой он сам не поступает и которую прилагает к частному случаю, рассказанному во всей его непонятности. «Его жена уехала вчера от него».— «Скверная женщина!» «Отец его лишил наследства».— «Скверный отец!» Всякое судебное место снисходительнее осуждает, нежели записные филантропы и люди, сознающие себя честными и добрыми. Двести лет тому назад Спиноза доказывал, что всякий прошедший факт надобно не хвалить, не порицать, а разбирать как математическую задачу, т. е. стараться понять, — этого никак не растолкуешь. К тому же, чтоб преступление обратило на себя внимание, надобно, чтоб оно было чудовищно, громко, скандально, облито кровью. Мы в этом отношении похожи на французских классиков, которые, если шли в театр, то для того, чтоб посмотреть, как цари, герои или по крайней мере полководцы и наперсники их кровь проливают, а не для того, чтоб видеть мещански проливаемые слезы. Людям необходимы декорации, обстановка; надпись; мещанин во дворянстве очень удивился, узнавши, что он сорок лет говорит прозой*, — мы хохочем над ним; а многие лет сорок делали злодеяния и умерли лет восьми-

[1] То, что в комнатушке тихо и тонко замышлялось, выйдет в конце концов,— да и как это может быть иначе? — на свет божий (нем.).— *Ред.*

десяти, не зная этого, потому что их злодеяния не подходили ни под какой параграф кодекса, — и мы не плачем над ними.

Лафарж отравила своего мужа (т. е. положим, что отравила; следствие было сделано так неловко, что нельзя понять, Лафарж ли отравила мышьяком своего мужа, или судьи отравили юриспруденцией г-жу Лафарж*) — крик, толки. Злодейство в самом деле страшное, гнусное — в этом никто не сомневается; да что же, собственно, нового в этом убийстве? Я уверен, что в том же самом Париже, где так кричали об этом, нет большой улицы, где бы в год или в два не случилось чего-нибудь подобного, — разница в оружиях. Лафарж, как решительная преступница, дала минерального яду; а что дал, например, мой сосед, богатый откупщик, своей жене, которая вышла за него потому, что ее нежные родители стояли перед нею на коленях, умоляя спасти их именье, их честь продажей своего тела, своим бесчестием? что дал ей муж, какого яда, от которого она из ангела красоты сделалась в два года развалиной? Отчего эти ввалившиеся щеки, отчего ее глаза, сделавшиеся огромными, блестят каким-то болезненно жемчужным отливом? Орфила и сам Распайль не найдут ничего ядовитого в ее желудке, когда она умрет; и немудрено — яд у ней в мозгу. Психические отравы ускользают от химических реагенций и от тупости людских суждений. «Чего недостает этой женщине? Она утопает в роскоши»,— говорят глупейшие, не понимая, что муж, наряжающий жену не потому, что она хочет этого, а потому, что он хочет, себя наряжает; он ее наряжает потому, что она его, — на том же основании, как наряжает лакея и кучера. «Все так, — говорят умнейшие,— но, согласившись на просьбу родителей, она должна была благоразумнее переносить свою судьбу». А позвольте спросить: возможно ли *хроническое* самоотвержение? Разом пожертвовать собой — не важность: Курций бросился в пропасть* да и поминай как звали — это понятно; а беспрестанно, целые годы, каждый день приносить себя на жертву — да где же взять столько геройства или столько ослиного терпенья? Довольно, что хватило сил на первую безумную жертву, — такая жертва, само собою разумеется, не приносится ни отцу, ни матери, потому что они перестают быть отцом и матерью, если требуют таких жертв. Супруг,

вероятно, не остановился на купле, потребовал, сверх страшных жертв, от которых возмущается все человеческое достоинство, любви и, не найдя ее, начал, par dépit[1], тихое, кроткое, семейное преследование, эту известную охоту par force[2], — преследование внимательное, как самая нежная любовь, постоянное, как самая верная старуха-жена,— преследование, отравляющее каждый кусок в горле и каждую улыбку на устах. Я коротко знаком с этим преследованием; оно, как Янус, о двух лицах — одно для гостей, глупо улыбающееся, другое для домашнего употребления, тоже улыбающееся, но улыбкой гиены, сказал бы я, если б гиены улыбались: хищные звери добросовестны, они не делают медовых уст, когда хотят кусать. Умри жена— супруг воздвигнет монумент; об нем будут жалеть больше, нежели об ней; он сам обольет слезами ее гроб и, для довершения удара, слезами откровенными — он, поддавая ей психического мышьяку, вовсе и не думал, что она умрет.

Людям непременно надобны видимые знаки, несчастию немому они сочувствовать не могут. «Вот видите этого толстого мужчину с усами—он сидел год в тюрьме»,—и все: «Ах, боже мой! Бедный, что он вынес!» Ну, а какая же тюрьма в образованном государстве может сравниться с свободной жизнью этой женщины? С чего тюремщику, если он не какой-нибудь изверг, которых так же мало, как и великих людей, с чего ему ненавидеть колодника? Они оба несут две довольно тяжелые ноши, и тюремщик, исполняя свою обязанность, не смеет идти далее приказа. Конечно, заключение тяжело,— я это знаю лучше многих, — но ставить тюрьму рядом с семейными несчастиями смешно. Люди, по своему несовершеннолетию, только те несчастия считают великими, где цепи гремят, где есть кровь, синие пятна, как будто хирургические болезни сильнее нравственных.

Когда я хожу по улицам, особенно поздно вечером, когда все тихо, мрачно и только кое-где светится ночник, тухнущая лампа, догорающая свеча,— на меня находит ужас: за каждой

---

[1] с досады (франц.).— *Ред.*

[2] с помощью силы (франц.).— *Ред.*

стеной мне мерещится драма, за каждой стеной виднеются горячие слезы,— слезы, о которых никто не сведает, слезы обманутых надежд, — слезы, с которыми утекают не одни юношеские верования, но все верования человеческие, а иногда и самая жизнь. Есть, конечно, дома, в которых благоденственно едят и пьют целый день, тучнеют и спят беспробудно целую ночь, да и в таком доме найдется хоть какая-нибудь племянница, притесненная, задавленная, хоть горничная или дворник, а уж непременно кому-нибудь да солоно жить.

Отчего все это? Я полагаю, что вещество большого мозга не совсем еще выработалось в шесть тысяч лет; оно еще не готово; оттого люди и не могут сообразить, как устроить домашний быт свой.

Право так. У большей части людей мозг ребячий, — им надобны дядьки, няньки, педели, наказания, приказания, карцеры, игрушки, конфекты и прочее — дело детское!

II

Богатые люди по большей части или моты, или скупцы; на сотни выищется один, который умеет управлять своим состоянием, не впадая в крайность расточительности или скупости. Совершенно случайное сосредоточение огромных средств как-то кружит голову людям; они бросают их или не употребляют, доказывая в обоих случаях ненужность их. Впрочем, не надобно ставить расточительность и скупость на одну доску. Расточительность носит сама в себе предел: она оканчивается с последним рублем и с последним кредитом; скупость бесконечна и всегда при начале своего поприща; после десяти миллионов она с тем же оханьем начинает откладывать одиннадцатый. Расточительность поправляет сделанное стяжанием, она видит горсть золота в своих руках, неизвестно как в них попавшуюся, невыработанную, свалившуюся с неба, — и бросает ее за наслаждения, пиры, за упоение негой, за удобства роскоши. Конечно, это дурно, т. е. то дурно, что человек ставит высшим наслаждением суетное удовлетворение желаний, если и не порочных, то пустых; но вред расточительности больше отрицательный; мот мог бы лучше употребить себя и свои средства — без сомнения; но он и не

удерживает эти средства в своих руках, а отдает их другим; собственно, гнусного, преступного ничего нет в расточительности; мотовство часто сопрягается с художественной любовью изящного, с благородными порывами. Избалованный мот иногда откажет в участии, но даст денег; скупой никогда не откажет в участии, но никогда денег не даст. В моте есть что-то избалованное, прихотливое, распущенность характера гетеры, в скупце — что-то преступное, антисоциальное, он похож на шакала, он хуже его. Дидро говорит, что он знает только один порок, и этот порок — скупость.

Ревнивая привязанность к имуществу безнравственна; богатство хранимое более развращает человека, нежели богатство расточаемое; оно, как тяжелая гиря, стягивает к земле всякий порыв, всякую благородную мысль; не имущество принадлежит скупому, а скупой имуществу. Слово «недвижимое имение» значит для скупца капкан, в который пойман подвижный дух его. Деньги и богатство — страшный осколок для людей: кто на нем попробовал себя и выдержал испытание, тот смело может сказать, что он человек. Самоотвержение на поприще гражданственности, мужество на поле битвы, смелая речь, патриотизм, готовность служить другу рукой, головой — все это довольно часто встречается на белом свете; но... но до кармана касаться не советую тому, кто хочет сохранить юношеские верования. Где люди, которые не согнутся под бременем ожидаемого миллиона? А если есть такие, которые не сьоротят с прямой дороги для чужого миллиона, то, конечно. нет таких, которые не своротят, чтоб сохранить свой собственный.

Обвиняют мота в неуважении к деньгам; но они и не достойны уважения, так, как вообще все вещи, кроме художественных произведений. Человек ими пользуется, употребляет их — и вещь вполне достигает высшей цели, отдаваясь в наслаждение человеку; другого уважения она не заслуживает, другим образом человек может уважать только человека; уважать вещь — вообще бессмыслица, но уважать деньги — двойная бессмыслица: в вещи я уважаю иногда ее красоту, воспоминания, сопряженные с нею; но деньги — алгебраическая формула всякой вещи, не вещь, а представительница вещей.

Расточительность и скупость — две болезни, текущие из одного источника и приводящие различными путями к одному концу. Голодная бедность мота встречается с голодным богатством скупца — и тут они равны. Лучшего доказательства нелепости богатства быть не может.

Безнравственно быть мотом, зная, что сосед умирает с голоду, — в этом нет сомнения; придет время, будут удивляться нашему аппетиту и крепости нерв, особенно дамских; но... но есть нечто гораздо безнравственнейшее: беречь свои деньги, зная, что сосед умирает с голоду.

III

Совершеннолетие законом определяется в 21 год. В действительности, убегающей от арифметических однообразных определений, можно встретить старика лет двадцати и юношу лет в пятьдесят. Есть люди, совершенно не способные быть совершеннолетними, так, как есть люди, не способные быть юными. Знаменитая Беттина оставалась ребенком на всю жизнь, — тем самым восторженным ребенком, которого кудри ласкал олимпической рукой Гёте, никогда не бывший юношей в жизни: он отбыл, как известно, свою юность Вертером. Биографы Ньютона удивляются, что ничего не известно об его ребячестве, а сами говорят, что он в восемь лет был математиком, то есть не имел ребячества. Напротив, Лафайет в восемьдесят лет нуждался еще в гувернере — это было самое благородное и самое старое дитя обоих полушарий. Для одного юность — эпоха, для другого — целая жизнь. В юности есть нечто, долженствующее проводить до гроба, но не все: юношеские грезы и романтические затеи очень жалки в старике и очень смешны в старухе. Остановиться на юности потому скверно, что на всем останавливаться скверно, — надобно быстро нестись в жизни; оси загорятся — пускай себе, лишь бы не заржавели. Человек, способный на действительность, на совершеннолетие, имеет орган претворения всех событий, внутренних и внешних, в такую ткань, которая, беспрестанно обновляясь, сама усугубляет силу и объем взгляда; из юношеского романтизма он строит практический взгляд; он под теми же словами разумеет несравненно ширшие понятия;

старый юноша неподвижно остается при старых понятиях. В юности человек имеет непременно какую-нибудь мономанию, какой-нибудь несправедливый перевес, какую-нибудь исключительность и бездну готовых истин. Плоская натура при первой встрече с действительностию, при первом жестком толчке, плюет на прежнюю святыню души своей, ругается над своими заблуждениями и по мере надобности берет взятки, женится из денег, строит дом, два... Благородная, но нереальная натура идет наперекор событиям, не стремится понять препятствий, а сломить их, лишь бы спасти свои юношеские мечты, и обыкновенно, видя, что нет успеха, останавливается и, остановившись, повторяет всю жизнь одну и ту же ноту, как роговой музыкант. Натура действительная не так поступает: она воспитывает свои убеждения по событиям, так, как Петр I воспитывал своих воинов шведскими войнами; она не держится за старое в его буквальном смысле, она не с юношескими сентенциями отправляется на борьбу, на жизнь, а с юношеской энергией; сентенции, правила ей не нужны, у ней есть *такт*, т. е. орган импровизации, творчества; она вступает во взаимодействие с окружающей средой; ничего не может быть более удалено от твердых и закоснелых истин, как действительное воззрение; оно текуче, тягуче, оно колеблется, как вода в море,—но кто сдвинет подвижное море?

Все немецкие филистеры — по большей части бурши, не умевшие примирить юное с совершеннолетним. Самая смешная сторона филистерства именно в этом сожитии в одном и том же человеке теоретической юности с мещанским совершеннолетием. Стареться значит окостенеть; неправда, что всякий должен стареться: стареется, собственно, остановившаяся натура, она тогда в мертвенном покое оседает кристаллами; в нравственном мире то же, что в физическом: мозг сохнет, хрящ идет в кость, зубы костенеют до того, что выпадают изо рта, как камешки. Но в нравственном мире это не непременно; натура, беспрестанно обновляющаяся, беспрестанно развивающаяся, в старости молода. Натура реальная почти не имеет способности стареться — она по преимуществу душа живая. Сикст V распрямился, чтоб достать головою тиару, — старость не помешала ему.

Старый юноша имеет свои приемы, которыми он с двух слов обличает себя. Вы его узнаете по ненависти к Гёте и по пристрастию к Шиллеру, по его презрению к практической деятельности, к материальному интересу; он не любит железных дорог, положительности, индустрии, Северной Америки, Англии; он любит средние века, платоническую любовь; ему надобен эффект, фраза — и заметьте, что у него эффект и фраза вовсе не ложь, вовсе не поддельны, он за фразу пойдет и сядет на кол, если только он живет в такой образованной стране, где за фразу сажают на кол. Романтизм вообще ищет несчастий, он очищается ими, хотя мы не знаем, где он загрязнился; это особая метода лечения, Unglückskur[1], так, как есть Wasserkur, Hungerkur[2]. Старый юноша — это Эгмонт; юный старец — это Вильгельм Оранский. Дон-Карлос, маркиз Поза, Макс Пикколомини должны были умереть в юности — и образы их остались у нас неразрывны с чертами отроческой красоты, и так они хороши. История нам много завещала вечно юных лиц, начиная с представителя Греции Ахилла и до... ну хоть до Шарлотты Кордэ. Доживи Макс Пикколомини до генерал-аншефов, Дон-Карлос— до смерти Филиппа II, они пережили бы себя, они играли бы престранную роль или должны были бы переработаться, но в том-то и беда, что в них мало заметно переработывающей силы. Так, как они есть,—они высоко художественны; но для того, чтоб их оставить такими, надобно было их спасти смертной казнию. Таков наш соотечественник Владимир Ленский — и Пушкин расстрелял его. Не такова Татьяна — и она осталась, слава богу, здорова. Шекспир знал, что делал, перерывая, так сказать, на первом поцелуе нить жизни Ромео и Юлии.

⟨1845⟩

---

[1] лечение несчастьем (нем.). — *Ред.*

[2] лечение водой, лечение голодом (нем.). — *Ред.*

III
НОВЫЕ ВАРИАЦИИ НА СТАРЫЕ ТЕМЫ[1]

Некогда школа остановилась в грустном недоумении, пораженная страшными и повидимому безвыходными противоречиями, которыми Кант завершил свое учение и из-за которых вдали виднелись улыбающиеся черты его учителя, Юма*. Казалось, последняя опора человека — разум — подкосился, достоверность ведения исчезла; робкие умы, всегда предпочитающие бегство труду и ленивый покой утомительному исследованию, стали отступать в свои всегдашние зимние квартиры — в мистицизм; эмпирики иронически улыбались; а в сущности, антиномии Канта были основаны на одном формальном противоречии и на насильственном раздвоении истины; вскоре наука обличила это.

Но если мы сравним противоречия, поставленные Кантом, с противоречиями, встречающимися в сознании современного человека, то увидим, что от последних не так легко отделаться: они прокрались во все наши убеждения, исказили весь нравственный быт. Они упорны, как все явления полусознательные и, следовательно, полусостоящие в воле человека (человек действительно свободен только в том, что вполне понимает); они трудно уловимы, беспрестанно меняют платья, форму, язык, по временам до того притихают, что становятся незаметными; но преупорно остаются при своей задней или, лучше, дряхлой мысли. Тем опаснее эти противоречия, что они почти всегда скрыты за туманом внутренних чувств, что они избегают резко высказанного имени, что, наконец, знамя, выставляемое ими с величайшей добросовестностью, прикрывает совсем иное содержание. Рядом таких противоречий, утомительных, иронических, оскорбительных, проходит озабоченное человечество перед нашими глазами, льет свои слезы, льет свою кровь, мучится,

[1] Статья эта была напечатана в «Современнике» 1847 года. Случайно в моих бумагах остались рукописи этой статьи и другой, также напечатанной в «Современнике», — «Об историческом развитии чести»; сличая их, можно вполне оценить отеческое попечение цензуры того времени,— при этом не следует забывать, что от 1843 до 1848 была самая *либеральная* эпоха николаевского царствования. <Примеч. 1862 г.>.

спорит, становится с той или другой стороны, думает примирить, думает победить — не может и вместо того, чтоб наслаждаться жизнию, склоняет усталую голову под то или другое ярмо предрассудков. Но кто же ставит, кто поддерживает это ярмо? Его никто не ставит и никто не поддерживает. Заблуждения развиваются сами собою, в основе их лежит всегда что-нибудь истинное, обросшее слоями ошибочного пониманья; какая-нибудь простая житейская правда — она мало-помалу утрачивается, между прочим, потому, что выражена в форме, не свойственной ей; а веками скопившаяся ложь, седая от старости, опираясь на воспоминания, переходит из рода в род. Баратынский превосходно назвал предрассудок обломком древней правды*. Эти обломки составляют одно начало для противоречий, о которых мы говорим, по другую сторону их — отрицание, протест разума. Развалины эти поддерживаются привычкой, ленью, робостью и, наконец, младенчеством мысли, не умеющей быть последовательною и уже развращенной принятием в себя разных понятий без корня и без оправданья, рассказанных добрыми людьми и принятых на честное слово. Это совершенно противно духу мышления, но оно очень легко: вместо труда и пота — орган слуха, вместо логической наготы — готовое богатство, вместо нравственной ответственности перед самим собою — младенческая зависимость от внешнего суда.

Но не должно забывать, что и сознание, что и труд мысли имеет свою сильно увлекательную прелесть; а потому, кроме несчастной, отстраненной нуждою и работою толпы да кроме пресытившейся и утонувшей в неге другой толпы, почти никто не остается спокойно при готовых понятиях; это просто неестественно человеку, у которого мысль сколько-нибудь возбуждена; но хотеть мыслить, но любить и желать истины — еще не все; тут и открываются трагико-логические столкновения, скорбные и мучительные противоречия. Всмотритесь в нравственный быт современного человека — вы будете поражены противоречиями, глубоко и до поры до времени мирно лежащими в основе всех его дел, мыслей, чувств: это одна из самых резких, отличительных черт нашего образования. Отсюда желание сохранить разом науку, со всеми ее правами, с ее притязанием на самозаконность разума, на действительность ведения, и все роман-

тические выходки против разума, основанные на неопределенном чувстве, на темном голосе; отсюда желание воспользоваться всеми благами современного и будущего, не утрачивая ни одного блага прошедшего, несмотря на то, что сознание несправедливости последнего — единственное условие водворения первых. Следствия этой шаткости, этого колебания — те, которых надобно было ожидать: поразительная смелость в посылках и поразительная робость в силлогизме, удаль в отвлечениях и несостоятельность в приложениях. Наконец, отсюда же истекает потребность восстать всеми силами против этого немужественного, ложного, стертого направления.

Наука, выросшая вдали от жизни, за стенами аудиторий, держалась большею частию в отвлечениях, говорила свысока, языком трудным и в то же время неопределенным, которым она столько же высказывалась, сколько скрывалась; в ее распущенные, незамкнутые категории вносили всё, что хотели, придавая грубому материалу, захваченному с улицы, современный лоск и отливая его в логические формы. Такое неустройство продолжаться не может; время таких себяобольщений прошло; теперь труднее безнаказанно и шутя плавать по поверхности науки, играть ее истинами; ее основы глубоки, а глубь тянет в себя; надобно опуститься с головою или выходить подобру-поздорову на берег и оставить науку и себя в покое; оно, может быть, и лучше, кому это возможно. Блажен, говорит Пушкин,

Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге*.

Отойти еще легко; но действительно трудно становится долго продержаться Колоссом Родосским — одна нога на берегу, другая на другом: берега все более и более раздвигаются*. Да и зачем эта двойственность? «Будь то или другое»,— как говорил Иоанн*. В этом отношении скажем смело: хвала дерзкому языку, которым с некоторого времени заговорила наука нашего века. Это кончит поскорее все недоразумения. Ей не нужно скрываться, у ней совесть чиста; пора говорить просто, ясно; пора все говорить, насколько это возможно. Половина поклонников современной мысли непременно отойдет — что за

беда? Кто отойдет, тот был чужой, тот был обманут. Оставлять что-либо недоговоренным — значит оставлять возможность ложного пониманья; надобно, напротив, предупреждать всякое двусмысленное выражение — этого требует честность в науке. Таков язык Спинозы. Можно с ним ни в чем не соглашаться, но нельзя не остановиться с уважением перед этой мужественной и открытой речью, и вот разгадка, почему его вдесятеро более ненавидели, чем других мыслителей, говоривших то же, что и он.

Говорить языком откровенным может всякий благородный человек, имеющий право говорить; но говорить языком совершенно простым бывает не скажу — невозможно, но трудно при известных обстоятельствах. Современно слагающееся воззрение на жизнь сложно; взятое с боя, выработанное в мучительной борьбе, в отрицаниях и лишениях, неконченное, наконец, оно трудно уловляется в какой-нибудь маленький кодекс, в несколько общих мест, громких словами и скудных содержанием; может быть, оно трудно уловляется оттого, что его требования и выше и многостороннее требований прежних моралистов и юристов. Несмотря на это, новое воззрение имеет не только свою определенность, но и свой инстинкт, который никогда не обманет того, кто совестливо выработал себе смысл его и кто понятое оставил не в отвлечении, а принял в мозг и кровь. При всем этом можно бы было просто передавать многое, если б просто понимали; но главное препятствие в том, что каждый является с готовыми убеждениями, воспитавши в себе возможность спокойно укладывать в голове самые крутые противоречия; что делать с такими умами? Задача тут изменяется, вопрос становится не педагогический, а патологический. Кто *не все* исторгнул из груди, не оправданное разумом, тот не свободен и может дойти до того, что отвергнет *весь* разум. Беранже говорит, что его муза прекапризная: за малейший кончик галуна начинает беситься и кричать[1]. Его муза права: дело не в сажени и не в вершке галунов, а в галунах вообще.

Обернитесь куда хотите, в психическом быту нашем – вы всюду найдете эту борьбу сознания с привычкой, мысли с расска-

---

[1] Цензура пропустила: A bas la livrée! <Долой ливрею! (франц.). Примеч. 1862 г.>.

зом, логики с преданием, ума с делом, философии с историей. За примерами далеко ходить нечего.

I

Люди испокон века или, по крайней мере, с Троянской войны толкуют о нравственной независимости, о стремлении к ней, о ее достоинстве и прелестях, однако не вкушают этих прелестей, потому что они несравненно более привязаны (хоть и не хвастаются этим) к авторитетам, к внешним велениям, к указаниям, нежели к нравственной свободе. Любовь к нравственной свободе — чисто платоническая, идеальная; по ней вздыхают, о ней говорят в ученых предисловиях и в академических речах, ей поклоняются пламенные души, но на благородной дистанции. Людям страшна ответственность самобытности; любовь их к нравственной независимости удовлетворяется вечным ожиданием, вечным стремлением; они скромно рвутся, воздержно стремятся к предмету желаний и чувствительно верят, что их желания осуществятся если не в настоящем, то в будущем; такая вера утешает и мирит их с настоящим — чего же лучше? Вспомним при этом грубых и диких средневековых рыцарей, с своим гордым и воинственным видом слушающих благочестивого капеллана и его поучения о смирении, о нищете. Они слушают и глубоко горюют о том, что все это не исполняется... а если б?.. не так бы пришлось горевать им. Милая, наивная логика!

С своей стороны, любовь к умственному авторитету, вовсе не платоническая, а обыкновенная, супружеская d'un mariage de raison[1], такая любовь, в которой мечтами и поэзией пожертвовано для домашних удобств, для экономии, для порядка, для лени. Лень и привычка — два несокрушимые столба, на которых покоится авторитет. Авторитет представляет, собственно, опеку над недорослем; лень у людей так велика, что они охотно сознают себя несовершеннолетними или безумными, лишь бы их взяли под опеку и дали бы им досуг есть или умирать с голоду, а главное—не думать и заниматься вздором. Правда, люди боятся умственной неволи, особенно когда пилюля не

[1] брак по расчету (франц.).— *Ред.*

позолочена, когда она груба, нагла; но они вдвое больше боятся отсутствия авторитета, т. е. простоты, ширь, которая тогда делается; они знают, что человек слаб, того и смотри—избалуется.

Внешний авторитет несравненно удобнее: человек сделал скверный поступок — его пожурили, наказали, и он квит, будто и не делал своего поступка; он бросился на колени, он попросил прощения — его, может, и простят. Совсем другое дело, когда человек оставлен на самого себя: его мучит унижение, что он отрекся от разума, что он стал ниже своего сознания, ему предстоит труд примириться с собою не слезливым раскаянием, а мужественною победою над слабостью. Но победы эти не легки. Первое дело, за которое принимаются люди, отбросив один умственный авторитет,— принятие другого, положим, лучшего, но столько же притеснительного, а если забыть его содержание, то и не лучшего, по очень простой причине, потому что и люди сделались лучше, следовательно, отношение осталось то же. Китаец, которому дадут пятьсот бамбуков за нарушение какой-нибудь из десяти тысяч церемоний, столько же ими огорчится, сколько француз, которого драму запретят играть самым учтивейшим образом[1]. Даже такие привилегированные эманципаторы, как Вольтер, умея кощунствовать над религией, оставались просто идолопоклонниками *своих вымыслов и призраков*[2].

---

[1] «Переход от авторитета к авторитету похож на то, что делали встарь наши крестьяне: они пользовались Юрьевым днем только для того, чтоб по собственному выбору избрать барина несколько получше». <Примеч. 1862 г. >.

[2] «Какой-то естественной и пренелепой религии. Вольтер, точно так, как впоследствии Робеспьер, испугался прямого результата своих проповедей. Они лучше хотели выдумать искусственный авторитет, нежели оставить людей неподвластными. Нужно ли говорить о всей сухости, всей безнравственности всего неуважения к истине и всего презрения к людям, проглядывающей сквозь такое воззрение? Тот, кто без веры хочет поработить другого чему-нибудь, тот сам порабощен, раб и плантатор вместе. Кто дал им право скрывать истину под спудом,если они были в самом деле призваны ее свидетельствовать, и что за самоунижение сказать, что человек не должен, не может знать истины! Религия никогда не шла этим путем явного обмана». <Примеч. 1862 г.>.

Моралисты часто умилительно говорят о гибельном пороке властолюбия; властолюбие, как и все прочие страсти, доведенное до крайности, может быть смешным, печальным, вредным, смотря по кругу действий; но властолюбие само по себе вытекает из хорошего источника — из сознания своего личного достоинства; основываясь на нем, человек так бодро, так смело вступал везде в борьбу с природой и развил в себе ту гордую несгнетаемость, которая нас поражает в англичанине. К тому же в несколько устроенном обществе властолюбие как дикая страсть является так редко, что едва ли стоит о нем говорить. Совсем иное дело умалчиваемая моралистами любовь к подвластности, к авторитетам, основанная на самопрезрении, на уничтожении своего достоинства,— она так обща, так эпидемически поражает целые поколения и целые народы, что о ней стоило бы поговорить; но они молчат! Считать себя глупым, неспособным понять истины, слабым, презренным, наконец, и получающим все свое значение от чего-нибудь внешнего — неужели это добродетель? «Я теперь остался круглым сиротой, нет ни отца, ни матери»,— говорил мне один *чиновник*[1] лет пятидесяти; он, в эти лета и совершив уже общественную тягу, понимает себя без отца и матери *сиротою*, а не самобытным, на своих ногах стоящим человеком. Не смейтесь над ним: так же не самобытна большая часть самых развитых людей; вы у каждого найдете какое-нибудь карманное идолопоклонство, какое-нибудь дикое понятие, унаследованное от няньки и спокойно прожившее лет тридцать с воззрением, вовсе не свойственным нянькам, и, наконец, хоть какой-нибудь авторитет, без которого он пропал, без которого он круглая сирота. Вотяки трепещут перед палкой, к которой привязана козлиная борода,— это их шайтан. Немцы трепещут перед страшными призраками своей науки. Конечно, от грубого вотяцкого шайтана до шайтана немецкой философии большой шаг; но родственные черты немудрено раскрыть между ними. «Я вижу на твоем челе нечто такое, что меня заставляет тебя почитать царем»,— сказал Кент* безумному Лиру. А мы можем сказать многим, кичащимся своею умственною независимостию: «Я вижу на твоем челе нечто такое, что меня заставляет назвать тебя рабом!»

[1] В тексте: Бессрочно отпускной солдат. <Примеч. 1862 г.>.

II

Нет той всеобщей, истинной мысли, из которой бы, вместо расширения круга действий, человек не сплел веревку для того, чтоб ею же потом перевязать себе ноги, а если можно, то и другим, так что свободное произведение его творчества делается карательною властью над ним самим; нет того истинного, простого отношения между людьми, которого бы они не превратили во взаимное порабощение: любовь, дружба, братство, соплеменность, наконец, самая *любовь к воле* послужили неиссякаемыми источниками нравственных притеснений и неволи. Мы здесь вовсе не говорим о внешних стеснениях, а о боязливой, теоретической совести людей, о стеснениях внутренних, добровольных, отогреваемых в собственной груди, о трепете перед последствием, о боязни перед правдой. Человек стоит беспрестанно на коленях перед тем или другим — перед золотым тельцом или перед внешним долгом; всего чаще он, как известный своей рассеянностью граф Остерман, склоняется перед своим собственным изображением в зеркале, перед фатой-морганой, отражающей ему его самого. Потребность чтить, уважать так сильна у людей, что они беспрестанно что-нибудь уважают вне себя — отца и мать, поверья своей семьи, нравы своей страны, науку и идеи, перед которыми они совершенно стираются. Все это, допустим, и хорошо и необходимо, но дурно то, что им в голову не приходит, что и внутри их есть достойное уважения, что они, не краснея, вынесут сравнение со всем уважаемым; они не понимают, что человек, презирающий себя, если уважает что-либо, то уж он в прахе перед уважаемым, его раб; что он уже преступил святую заповедь: «Не сотвори себе кумира».

И между тем действительно все превращается в кумир; даже логическую истину, даже самую свойственную человеку форму жизни превращает человек себе в тяжкий долг, он заставляет себя насильственно повиноваться своему собственному побуждению — так в нем искажены все понятия[1]. Если

[1] Но этого мало; не одной покорности требуют моралисты, не одного вещественного исполнения *того, что* называют долгом (потому что содержание его до капризности многоразлично), но еще чтоб внутри души своей человек считал внешний долг, хотя и против своих убеждений, за безусловно нравственную истину. <Примеч. 1862 г.>.

долг мною сознан, то он столько же силлогизм, вывод, мысль, которая меня не теснит, как всякая истина, и которого исполнение мне не жертва, не самоотвержение, а мой естественный образ действия; мне никто не запрещал говорить, что $2 \times 2 = 5$, но я против себя не могу этого сказать. Дело все состоит в том, что моралисты главным основанием своего учения кладут глубокую истину, что человек от природы злодей и изверг, из чего и выводят, *что он должен быть добродетелен*. Отчего же ни один зверь не имеет от природы развратных побуждений, т. е. таких, которые были бы не свойственны и вредны его форме бытия? Странная была бы исключительная привилегия человека (homo sapiens![1]*) быть в противоречии с своими определениями, с своим родовым значением и притягиваться к нему на аркане. Если б это было в самом деле так, то надлежало бы заключить, что или человек нелеп или что долг нелеп, т. е. не выражает его назначения. Быть *человеком* в человеческом обществе — вовсе не тяжкая обязанность, а простое развитие внутренней потребности; никто не говорит, что на пчеле лежит священный долг делать мед; она его делает потому, что она пчела. Человек, дошедший до сознания своего достоинства, поступает человечески потому, что ему так поступать естественнее, легче, свойственнее, приятнее, разумнее; я его не похвалю даже за это — он делает свое дело, он не может иначе поступать, так, как роза не может иначе пахнуть.

«Поэтому все сознательные люди будут героями добродетели, самоотвержения и пр.?» Нисколько. Делать героические подвиги принадлежит натуре героической, так, как творить художественные произведения принадлежит поэту. Но не делать ничего противучеловеческого принадлежит всякой человеческой натуре, для этого не требуется даже много ума; никому не даю я права требовать от меня героизма, лирических поэм и пр., но всякому принадлежит право требовать, чтоб я его не оскорбил и чтоб я не оскорблял его оскорблением другого. Человек, не дошедший до сознания, — дитя, больной, неполный человек, недоросль; он вне закона нравствен-

---

[1] разумный человек! (лат.).— *Ред.*

ного, потому что он его не понимает своим законом; за это, хотя он и верен своей степени развития, покоряясь страстям больше разума, его должно силою заставить покориться на том основании, на котором приказывают детям исполнять волю старших, или, если хотите, из тех начал, по которым сажают сумасшедшего на цепь. Сомнительно, чтоб внешние меры исправили кого-нибудь, но они держат в страхе — и цель достигнута. Уголовные законы составляются в пользу общества, а не в пользу преступника[1]. Здесь дело в том, чтоб заставить лицо исполнить общую волю, и в большей части случаев развитый человек ей уступит; если не по охоте, то по расчету; он должен покориться, потому что он слабейший; имей он достаточно силы, он вышел бы на борьбу с ложным в его глазах началом, так, как Сократ. Лицо может столько же забежать против общества, сколько отстать; в обоих случаях можно обуздать, понудить лицо, по мере его деяний и их несоответственности с общепринятым, но это вовсе не выгода и прелесть общественной жизни, а необходимость ее, ее невыгода, жертва, которую лицо приносит ей, — а жертва никогда не бывает наслаждением: я, по крайней мере, не знаю радостных жертв, потому что радостная жертва вовсе не жертва. Но моралисты вздумали придать какой-то абсолютно высокий характер обыкновенным полицейским мерам, которые не более как справедливы в юридическом смысле и необходимы для столкновений в обществе. Представляя себе слишком отвлеченно и односторонно идею долга, они захотели, чтобы и в политическом мире человек предупредительно, добровольно жертвовал собою и всем своим...

---

[1] О пользе преступнику толкуют из того же лицемерия, о котором мы столько говорили. Разумеется, что этим путем общество может подавить и правого и всегда побьет слабого; впрочем, Гус был казнен, а Лютер сам казнился*.

Человек, вступающий в борьбу с обществом,— или правее его и тогда он революционер, или общество правее его и тогда он преступник и общество берет все меры, чтоб оградиться от него. <Примеч. 1862 г.>.

III[1]

Ничто в свете не поддерживает так сильно людей в искаженном понимании, как наш условный и до крайности неверный язык; мы нехотя беспрестанно лжем, мы говорим готовыми типами, и типы эти берем из двух совершенно прошедших миросозерцаний — римского и феодального; мы словами своими мешаем понимать просто и ясно свою же мысль. Это и грустно, и досадно, и смешно!

Что такое эгоизм? Сознание моей личности, ее замкнутости, ее прав? Или что-нибудь другое? Где оканчивается эгоизм и где начинается любовь? Да и действительно ли эгоизм и любовь противуположны; могут ли они быть друг без друга? Могу ли я любить кого-нибудь не для себя; могу ли я любить, если это не доставляет *мне*, именно *мне*, удовольствия? Не есть ли эгоизм одно и то же с индивидуализацией, с этим сосредоточиванием и обособлением, к которому стремится все сущее как к последней цели? Всего меньше эгоизма в камне — у зверя эгоизм сверкает в глазах; он дик и исключителен у дикого человека; не сливается ли он с высшей гуманностью у образованного?

Вы думаете, что моралисты разрешили эти вопросы? Нет, они отделываются доблестным негодованием против всего эгоистического; они знают, что эгоизм — значительный порок; им этого довольно; их беспорочная натура мещет громы на него и не унижается до понимания. Странные люди! Вместо того, чтоб именно на эгоизме, на этом в глаза бросающемся грунте всего человеческого, создать житейскую мудрость и разумные отношения людей, они стараются всеми силами уничтожить, замарать эгоизм, т. е. срыть die feste Burg [2]* человеческого достоинства и сделать из человека слезливого, сантиментального, пресного добряка, напрашивающегося на добровольное раб-

---

[1] В тексте — «Кто для кого, личность для общества или общество, государство для лица?

— Без сомнения, лицо для государства, иначе что же это будет — *эгоизм, своеволие!*

— Я совершенно, совершенно согласен с вами». <Примеч. 1862 г.>.

[2] укрепленный замок (нем.).— *Ред.*

ство. Слово *эгоизм*, как слово *любовь*, слишком общи: может быть гнусная любовь, может быть высокий эгоизм и обратно. Эгоизм развитого, мыслящего человека благороден, он-то и есть его любовь к науке, к искусству, к ближнему, к широкой жизни, к неприкосновенности и проч.; любовь ограниченного дикаря, даже любовь Отелло — высший эгоизм. Вырвать у человека из груди его эгоизм — значит вырвать живое начало его, закваску, соль его личности; по счастию, это невозможно и напоминает только того почтенного моралиста, который отучил свою лошадь от эгоистической привычки есть и очень сердился, что она умерла, как только стала отвыкать от пищи...

Что мы сказали об эгоизме, то же должно сказать о своеволии. *Минин начал своевольно великое дело восстания против чужеземного порабощения*[1]. Неужели его своеволие похоже на своеволие пьяницы, придирающегося к прохожим?[2] Я полагаю, что *разумное признание своеволия есть высшее нравственное признание человеческого достоинства*[3], что до него и домогаются все. Отчего эти недоразумения, этот смутный хаос понятий? От дурной привычки брать и понятия и слова без анализа, благо мы унаследовали их от схоластики. Жизнию люди стали выше этой унижающей точки зрения, но из учтивости и по скверной привычке остаются при старом языке; и таково странное право слов: мы чувствуем, что неладно, что не так выражаемся, но не язык отбрасываем, а принимаем превратный образ. Мы перетащили из средневекового мира натянутую, романтико-мистическую обстановку всех наипростейших истин и затемнили их. Обстановка эта всему придает, как освещение бенгальским огнем, странный и изуродованный вид. Мораль наша еще в феодальной одежде, но уже в полинялой и истасканной; ее оружья заржавели и притупились, утратили свою резкость и сделались площе. Слагающаяся новая жизнь,

---

[1] В тексте: «Вильберфорс начал своевольно хлопотать об освобождении негров и после долгих, многолетних трудов достиг желаемого». <Примеч. 1862 г.>.

[2] «Да и потом, что же за нравственная обязанность быть под авторитетом *чужеволья?*» <Примеч. 1862 г.>.

[3] «Я полагаю, что своеволие есть высшая нравственная среда, что до нее и домогаются все». <Примеч. 1862 г.>.

не признанная в сфере морали,— почва совершенно неудобная для таких семян. Она и не пустила корней. Возьмите обыкновенную светскую мораль — все это до такой степени неистинно, перемешано из разных начал, так нелепо, шатко, бедно, что жаль видеть добросовестную преданность проповедующих ее. Когда для морали был один источник — религия, тогда она была последовательна: она стройно шла из одного начала. Новый человек, этот Криспин, слуга двух господ, хочет сохранить выводы прежней морали, но источником ей поставил отвлеченный долг. Можете себе представить плоды такой логики! Отшатнувшись от твердого берега, люди испугались; им, привыкнувшим к мрачным сводам, к освещению свечами, к сырому испарению каменных стен, сделалось невыносимо тяжело на чистом поле от воздуха, от солнца, от отсутствия стен, от безграничной дали и возможности идти во все стороны. Со страху они построили на скорую руку дощатый балаган нашей морали и подумали, что это новый храм, в то время как, в сущности, этот балаган — не что другое, как временный лазарет.

Желание выйти из романтизма ощутительно, но робко покидаем мы его; нас гнетет влияние пугающих мечтаний и привычных грез, и мы равно не имеем геройства ни воротиться к средневековым воззрениям, ни пожертвовать ими; мы краснеем еще при мысли, что у нас есть тело, и не верим, что мы духи; у нас в памяти глубоко вкоренились клеветы, под влиянием которых мы думаем нашу думу, и готовые образы, от которых мысль наша отстать не может. С грустью говорил уж об этом Гегель; вот слова его: «Мы всем нашим образованием погружены в фантастические представления, которые трудно переступить. Древние мыслители были совсем не в том положении; обычные к чувственному созерцанию, они не имели ничего вперед идущего, кроме небес сверху и земли внизу. Мысль вольно ширилась и сосредоточивалась в этом мире, и сосредоточивалась свободная от всякого данного содержания: это было вольное выплывание в ширь, где ничего нет ни под нами, ни над нами, где мы остаемся наедине с собою...» (Encyclop., Tom. I)*.

С. Соколово. Июль 1846 года.

IV[1]

Есть слова, понятия опозоренные, не смеющие явиться в порядочное общество, так, как не смеет в него явиться палач, отвергаемый людьми за то, что исполняет их волю. Что подумали бы о человеке, который поднял бы, например, речь в защиту *пристрастия* и сказал бы, что пристрастие настолько выше *справедливости*, насколько любовь выше равнодушия?

Здесь опять не может быть и речи о том, что всякое пристрастие выше всякой справедливости, — главное дело в том, во *имя чего* человек пристрастен.

«Нет, все равно: для чего бы человек ни был пристрастен — он поступает бесчестно, слабодушно!»

Хорошо, что такие вещи только говорят, а делают совсем иное.

Справедливость в человеке, не увлеченном страстью, ничего не значит, довольно безразличное свойство лица, подтверждающего, что днем день, а ночью ночь. В основе всех отвлеченных, безличных суждений наших (математических, химических, физических) лежит справедливость; но в основе всего личного, любви, дружбы лежит пристрастие. Брак основан на пристрастном предпочтении одной женщины всем остальным, одного мужчины — всем прочим. Предпочтение, которое мать оказывает своему ребенку,— вопиющее пристрастие; мать, которая была бы только справедлива к детям, могла бы служить образцом сухого и бездушного существа. Семейная любовь — такое же пристрастие, не выдерживающее критики, как любовь к отечеству. Строго справедлив космополит. Справедлив человек, ничего не любящий особенно; мизантроп очень недурно выразился, сказавши: «L'ami du genre humain ne peut pas être le mien»[2]*. Разумеется, что здесь речь идет не о друге человечества, а о друге со всеми на свете, то есть ни с кем в особенности. Фанатический мечтатель Сен-Жюст пошел далее мизантропа (он вообще не останавливался перед последствиями, даже в тех случаях, когда приходилось кому-нибудь или ему самому потерять голову) и требовал, чтоб гражданина не имеющего друга

[1] Этого § вовсе не было напечатано. <Примеч. 1862 г.>.

[2] «Друг человечества не может быть моим другом» (франц.).— *Ред.*

в тридцать лет, лишать прав гражданства как человека, не имеющего способности быть пристрастным.

«Справедливость прежде всего»,— говорят французы; с этим можно согласиться, лишь бы любовь была в конце всего. Pereat mundus et fiat justitia[1], говорят по-латыни немцы, и с этими нельзя согласиться, потому что антитезис дурно выбран. Немцы — странный народ; мало того, что они имеют Афины в Берлине, Афины в Мюнхене*, они хотят еще на порожние пьедестали греческих богов поставить свои тощие метафизические привидения; греческие боги — чего нет другого — были разбитные люди, любили весело пировать, пили безмерно амброзию, собой были красивы, да и не то чтобы слишком целомудренны: сам старик Зевс завертывался иногда с волоокой Герой облаком (простодушный Гомер думает*, что это он от людей прятался, а мне кажется — просто от Ганимеда). На их-то ваканции берлинские афиняне хотят поместить свои трансцендентальные абстракции без тела и жизни, а тоже со строгостями.

«Идея всё, человек ничего». «Всеобщему надобно жертвовать частным». Если слушать и принимать все за чистые деньги, то можно подумать, что немцы — худшие террористы в мире, готовые жертвовать лицами, поколениями. На деле немец жертвует всем миром и всеми идеями в пользу тихой, семейной жизни с подругою дней и ночей, которая останется ему верна лет сорок при жизни — да лет двадцать после его смерти; в пользу вечеров в палисадничке, куда приходит ученый друг, также занимающийся филологией, читать вместе Фукидида или что-нибудь такое современное. У них подобного рода выходки до того безвредны, что им позволено их высказывать и печатать в толстых книгах; все знают, что немец скорее переведет Ротека на санскритский язык, нежели теоретическую мысль на практику; беда в том, что вся Европа стала читать по-немецки. Вот как французы примутся писать комментарии к таким идеям, того и смотри, что попадешь на фонарь, — французы народ веселый, а шутить не любят. Немцы вовсе не веселый народ, а шутят шутки нехорошие, они и не подумали, что если

[1] Пусть погибнет мир, лишь бы свершилась справедливость (лат.).— *Ред.*

mundus[1] погибнет, а justitia[2] останется,— где будет мюнхенская пинакотека* и гиссенская лаборатория?*

Люди любят декорацию, они и в истине видят одну эффектную сторону — сзади хоть трава не расти, а *истинные* истины только кубические, и все три измерения им необходимы.

Разумеется, есть отношения, по которым всеобщее важнее частного; личность, противодействующая всеобщему, попадает на глупое положение человека, бегущего с лестницы в то самое время, как густая колонна солдат подымается на нее; таковы личности тиранов, консерваторов, дураков и преступников. Но голову мне было бы жаль отрубить и злодею; расчет простой: если человеку отрубить голову, она никогда не вырастет; а всеобщее — как гидра лернская: тут срубили голову, а там две выросли.

Апостол Павел не говорит, что любовь справедлива, а говорит, что она *милосерда*, *долготерпелива*. Когда в тяжелую, в горькую минуту раскаяния я бегу к другу, я вовсе не справедливости хочу от него. Справедливость мне обязан дать квартальный, ежели он порядочный человек; от друга я жду не осуждения, не ругательства, не казни, а теплого участия и восстановления меня любовью, от него я жду, что он половину моей ноши возьмет на себя, что он скроет от меня свою чистоту.

Если я в человеке люблю только его идею, а не люблю человека, а люблю идею. Такую теоретическую симпатию можно иметь к книге, к художественному произведению; но с человеком я мало соединен общим признанием нескольких истин, тем более, что всякий несумасшедший должен признать истину. Если б достаточно было одного отвлеченного согласия мыслей, то все умные люди были бы друзья. Не только ума недостаточно для сближения, но даже гения: я могу благоговеть перед Гёте — но что бы мы с ним стали делать, если б жизнь свела нас? Не всякому дан свыше талант быть Эккерманом или Лас-Казом.

Справедливость — высшее достоинство судьи, но судья перестает быть человеком, пока он сидит на судейском стуле; он непогрешающий орган законодательства, он язык, но не

---

[1] мир (лат.).— *Ред.*

[2] справедливость (лат.).— *Ред.*

он разум, не он воля, разум — закон. Чем более он верит, что он судья, что преступник подсудимый, что в законе решено трудное уравнение прошедших событий с грядущими истязаниями, тем незыблемее должна быть его справедливость.

Когда люди не были так разборчивы, как теперь, и были полны наивной веры, они без малейшего раздумья водили на казнь во имя всякой идеи и во имя всякого убеждения. За что погибли тысячи и тысячи еретиков? За то, что одни уверяли, что 2×2 *три*, а другие твердо знали, что 2×2 *пять*, и жарили за это целыми стадами честных испанцев, немцев, голландцев, и неумытные судьи, возвращаясь домой, говорили: «Что делать: справедливость выше всего, pereat mundus et fiat justitia»,— и кротко засыпали с чистой совестью на мягких подушках, забывая запах подожженного мяса[1].

С. Соколово. Июль 1846.

---

[1] Конца нет в тетради. <Примеч. 1862 г.>.

«МОСКВИТЯНИН» О КОПЕРНИКЕ[1]

В 9 № «Москвитянина» напечатан «Голос за правду», голос благородного негодования за помещение Коперника в число Walhalla's Genossen[2]*. Гнев груди, из которой вырвался *голос за правду*, с самого начала обличает волнение, не позволяющее голосу оставаться в пределах логики, хронологии и даже приличия. Но самое это одушевление возбудило всю нашу симпатию: одни сильные чувства ничем не вяжутся. Такие голоса слушаются не умом, а сердцем: умом их не токмо не оценишь, но и не поймешь. Предупреждая злые толки, мы поднимаем наш слабый голос, чтоб объяснить некоторые резкие звуки мощного *голоса за правду* в 9 № «Москвитянина». *Голос*, мало-помалу одушевляясь, возвещает, в лирическом пафосе, как в Кракове Коперник духовно сочетался с великими мировыми именами Галилея, Кеплера, Ньютона, *по следам которых шел и которых оставил далеко за собою*... Холодные люди засмеются, холодные люди скажут, что это из рук вон, и присовокупят, что Коперник умер в 1543 г., Галилей в 1642, Кеплер в 1630, а Ньютон в 1727? А у нас слезы навернулись на глазах от этих строк; как чисто сохранился «Голос за правду» (ультраславянский) от греховной науки Запада, от нечестивой истории его![3] Неужели Коперник не мог идти по следам и духовно сочетаться с ге-

[1] «Отеч. зап.», 1843 г., № 11, отд. VIII, стр. 56. ⟨Примеч. 1862 г.⟩.

[2] товарищей по Валгалле (нем.).— *Ред.*

[3] «Голос» так твердо уверен, что в Европе XVII век был прежде XVI, что, не ограничиваясь вышесказанным местом, говорит: «К счастию, *миновало то время*, когда Галилей томился в темнице за те же самые истины, которые всенародно объявлял Коперник».

ниями, которые жили после него, даже обогнать их, только оттого, что умер прежде их? Это материализм! Случайное время рождения и жизни будто может иметь влияние на сочетание духовное? Ведь это не телесное сочетание! Конечно, холодным разумом этого не поймешь; но будто человек понимает одним разумом? Это западный софизм. Как же бы понимали люди, лишенные разума? Наконец, не надобно забывать, что «Голос за правду» — голос, трепещущий от гнева. До хронологии ли раздраженному человеку? Он говорит, как пифия на треножнике, сам не зная что. Итак, голоса винить нечего. Можно бы, конечно, заметить, что редакторы «Москвитянина» могли бы похладнокровнее слушать «Голос» и поправить ошибки; но, впрочем, в условиях, требуемых законом, не сказано, чтоб редакторы знали, когда телесно жили великие люди: какое же право имеем мы от них требовать этого? Эти вздоры обыкновенно знают люди холодного разума, жалкие: им надобно чем-нибудь наполнить пустоту души; это знают нечестивые дети нашего века,— века, который скоро заставит траву и каменья поднять голос и заставил уже недавно вдохновенного юношу *молниеносным* словом брякнуть на лире:

О век! Аравии бесплодная равнина,
Египта сладких мяс лишь алчная чета![1]

Знание — это *сладкое мясо* египетское; история и хронология — это Тифоном обглоданные кости египетского мяса, а история европейской цивилизации — это просто «лишь алчная чета».

Что за дело, кто прежде кого жил? Дело в корнесловии фамилии. Тут «Голос» дома. Мы и прежде никогда не сомневались, что Коперник был поляк; но доказательства на это были бедны: родился в Польше от поляков, имевших чисто славянскую фамилию. «Голос» идет гораздо далее; он доказывает филологически не только польское происхождение Коперника, но и выводит самое объяснение его планетного движения из корнесловия его фамилии. Не смейтесь, а слушайте. Коперник,

[1] 9 № «Москвитянина». Прекрасное стихотворение г. Лихонина! Видно, что это еще первые опыты; язык как-то не поддается, но надежды большие.

Копырник — это трава; у этой травы корни — во первых, в земле, во-вторых, в богемских словах kopřnět, trpnut, strnut[1] и в польских pokorniеć, cierpnąć, ścierpnąć[2]. (Ну, гг. немцы, родственны ли вам эти звуки? Нет!). Мало-помалу наша трава превращается в добродетель, и из *жербжицы* делается *Покорник*. Итак, Коперник, proprie sic dictum[3],— Покорник. Слово, которое могло бы быть и русским, замечает «Голос», если б было принято. Это совершенно справедливо! Но «Голос» не ограничивается этим, а тотчас же усвоивает его русскому языку для того, чтоб доказать милым каламбуром, что Коперник потому и был гениальный астроном, что он был Покорник. «В Копернике,— говорит «Голос»,— мы не столько удивляемся беспредельной мысли, сколько религиозной *покоре*, которая дала ему средства и силы постигнуть тайну мировращения». Странно, конечно, покажется многим, как Галилей, живший после Коперника, сидел (по «Голосу», прежде рождения Коперника) в тюрьме именно за ту же *покору* и как учение Коперника было объявлено нерелигиозным; но вы опять забываете, что все это можно узнать из костей сладкого египетского мяса. Странно и то, отчего же никто из доминиканцев, базилианцев, например хоть Заремба, который принимал Коперника в духовное звание, не дошел покорой до движения земной планеты,—все они были люди препокорные и *прекопырные*. Странно только с первого взгляда; со второго вы усмотрите, что Коперник был покорник в квадрате: раз по жизни да раз по фамилии,— как же ему было не добраться до объяснения солнечной системы? Это ясно, как дважды два четыре. Приобретение русскому языку слова *покоры* очень важно, и на нем останавливаться нечего; мы знаем многих, решившихся идти далее и подписываться «*копырнейшими* слугами».

Филолого-мистическое изыскание есть только пьедестал, с которого «Голос» начинает свой выговор Германии вообще, Баварии и Швабии в частности. Можно себе представить, как «Голос», после всех gtrpnut, krpnet, в справедливом гневе трак-

---

[1] цепенеть, терпеть, застыть (чешск.).— *Ред.*

[2] быть смиренным, страдать, одеревенеть (польск.).— *Ред.*

[3] собственно говоря (лат.).— *Ред.*

тует неуместную дерзость германцев поставить памятник славянину! Он называет современное состояние Германии (а может, и всего Запада) «временем игрищ безумных». Поделом! Что, у германцев мало, что ли, великих людей? Три века тому назад завелся как-то у соседей, и то чудом, *покорой*, гений, опередивший самого Ньютона, умершего сто с чем-то лет тому назад,— и того давай! Это ни на что не похоже! Ведь мы не ставим памятников Гёте или Шиллеру. Коперник писал не для немцев, писал для соотечественников: это ясно из того, что он писал по-латыни и посвящал папе римскому великие творения свои. Разве не довольно Европе, что она унаследовала, поняла, развила великую мысль, более отгаданную гением, нежели изложенную наукообразно? Разве не довольно ей, что она же поставила гения в возможность сделать свое открытие предшествовавшим развитием астрономии, подав ему «Альмагесту» Птоломея и все последующие труды до XVI века? Мало ей памятники воздвигать... Нет, *копырнейшие слуги*, много будет! Мы можем читать и не читать Коперника; можем думать, что он дальше повел *науку* Ньютона, *основанную* на Копернике; мы можем ему ставить памятники и не ставить,— нам он свой человек; с своим человеком что за церемония? А немцы не приставай! Мы всегда с негодованием смотрели, как какие-нибудь французы ставят памятники корсиканцам, женевцам, швабам... A propos, Бавария виновата — пусть несет кару; а бедные швабы — ни телом, ни душой, даже нам стало немного жаль их. Какой-то из редакторов «Conversation's Lexicon» написал, что Коперник происхождения швабского: конечно, ошибка непростительная, хотя и менее грубая, нежели сделал «Голос», считая Коперника последователем Ньютона. Не знать, где и от кого родился Коперник, не мешает знать его *великое деяние*, а думать, что Коперник открыл движение земли, имея перед собою *теорию тяготения* Ньютона, показывает совершенное незнание предмета. По несчастию, «Голос за правду» узнал о жалкой ошибке «Conversation's Lexicon» в самое то время, когда гнев его достиг высшей степени. «Как,— говорит он,— поляка Коперника производить от т... швабов». «Голос», задыхаясь от гнева, заикнулся на т... Жаль, что редакторы не доглядели этого т... Мы уверены, что крепкое словцо, начинающееся с т..., вовсе

не обидно; но поле толкования широко: мало ли прилагательных с т? — таврический, темный, тупой, толстый, трогательный и проч. Шваб Шиллер не был ни толст, ни туп. Фихте и Гегеля, может, и считают редакторы «Москвитянина» тупыми и толстыми, но зато, наверное, согласятся, что они не таврические...

После этой выходки «Голос» слабеет; перелом совершился, он становится нежен, добродушен, близок к милому лепету детей. Он рассказывает нам, что великий астроном Коперник знал механику. Каков был Коперник? Да не знал ли он и геометрии? «Тихо-Браге написал стихи в честь его инструменту, названному paralacticum; искусство его в живописи доказывает портрет его, снятый им самим». Каков сюрприз после точки с запятой!* Наконец, «Голос», утихая, говорит, как бы выводом и последним словом своим, следующие красноречивые строки: «Заключим воспоминание о знаменитом Копернике свидетельством Мостлина, по мнению которого день кончины его был 19 января, а не 15 или 24 мая, не 19 февраля и 1 июня».

После этого трогательного места «Голос» умолкает. Последние строки убедительны: конечно, если Коперник умер 19 января, то во все прочие дни и месяцы того года он не умирал[1].

〈1843〉

---

[1] Хотя в 10 № «Москвитянина» и сделана оговорка, что «в статье о Копернике Регенсбург переставлен с Дуная на Рейн, а Коперник послан по следам Галилея, Кеплера и Ньютона, между тем как он им предшествовал, благодаря излишнему усердию г. корректора», но такая остроумная поправка показалась так забавною моему корректору, что я никак не мог отказать ему в просьбе напечатать эту статью.— *Ред.* 〈«Отечественных записок»〉*.

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ г. ВЁДРИНА[1]

Один неизвестный литератор, впрочем, очень почтенный человек, г. Вёдрин, объехавший с большой пользой многие страны, намерен издать в весьма непродолжительном времени свои «Путевые записки» — как для покрытия издержек, неминуемых при путешествиях, так отчасти для пользы и удовольствия читателей. Спешим познакомить публику с этими записками небольшим отрывком, в котором живо описывает г. Вёдрин выезд из Москвы. К путешествию присовокупится особо напечатанная на веленевой бумаге расходная книжка, в которой можно будет ясно видеть и всю воздержность почтенного Вёдрина и все пренебрежение его к благам мира сего. Но вот отрывок, отдаем его на суд читателей.

«28. Клопы не дали спать всю ночь. Скверное насекомое! Говорят, на Дербеновке грузин продает кавказский порошок, уничтожающий клопов; да страшно дорого, рубль серебром фунт — а там выдохнется, перестанет действовать. Но все к лучшему. Вскочил в 5, умылся и — в Рогожскую искать товарища. Долго толкался. Что за лихой народ извозчики! Борода, кушак... Размечтался и вспомнил Кеппена брошюру о курганах. Товарищ попался, купец из Нижнего, с брюшком, говорит на *о*. Потолковали — сладили — через час едем. Домой за чемоданом — даль страшная — хотел взять извозчика, очень стали дороги, 25 сер., меньше ни один взять не хотел... Идучи, проголодался, перехватил. Нельзя не отдать справедливости цивилизации, когда дело идет об удобствах, — кабы не

[1] «Отечеств. записки», 1843 г., № 11, отд. VIII, стр. 58. ‹Примеч. 1862 г.›.

вред нравам! Только не завязывай туго кошелька: цивилизация требует за все деньги; но за этот презренный металл окружает человека такими предупредительными удобствами, что менее жаль денег. Я бегу домой... верст пять — проголодался, в животе ворчит: а цивилизация тут; так аппетитно бросила в открытые лавки печенку; вынул грош; отляпали кусок в две ладони, соль даром — разумеется, у них свой расчет. Заметил, что жевавши дорога кажется короче. Гастрический обман! Встретился мальчишка обтерханный, продает голенища, стянул где-нибудь; посмотрел, немецкая работа, поторговал было — дорого просит — мимо!

Выехали в 11 часов.

На заставе солдат с медалью и с усами. Люблю медаль и усы у воина; молодец! Нынче на заставах дают контрамарку с №. Получил — отдал, шлагбаум вверх — тррр... едем. Товарищ — человек тихий, занимает три четверти повозки, платит половину. Он дома поел пирога с луком. Странно: запах сивухи — ничего, лука — даже хорош, а эти два запаха вместе — препротивные. Пусть объясняют химики — не наше дело.

Места более плоски, нежели гористы; справа виднеется река — волны смалтово-серебристо-платинистые. Чудный вид! Что перед ним хваленая Италия! Деревни и села, и притом всё русские деревни и села... Мужички работают так усердно. Люблю земледельческие классы: не они нам, мы им должны завидовать; в простоте душевной они работают, не зная бурь и тревог, напиханных в нашу душу, ни роскоши, вытягивающей мнимые избытки.

Село — церковь, довольно большая, византийской архитектуры.

Станция. Ехали на вольных. Постоялый двор с резными украшениями. У ворот хозяин с рыжей бородой, на лице написано корыстолюбие; не пойду: слупит чорт знает что! Остался в повозке. Пока лошадей — наблюдать нравы. На улице мужик тузит какую-то бабу, вероятно, жену; это развеселило меня, хохотал; нищие помешали досмотреть. Отвратительная привычка у нищих — просить у проезжего: проезжему мелкие деньги нужны, не крупных же дать. Надоели, притворился сонным, помешали и тут: ямщик разбудил, требуя на водку,—

еще скверный обычай! Что у них за служения мамону! Дал 3 коп. сер. (что составляет на асс. десять с половиной). Жалел. Пошел дождь — промочил до костей. Скучно.

Поскакали. До второй станции ничего особенного. Купец вылезал из повозки, так, ненадолго; это было к сумеркам, я дрожал, сидя один с ямщиком; я родился не воином — признаюсь. Приехали, вышел на постоялый двор, закатил сивухи с перцем, славно! А всего стоит 17 коп. с половиной асс. Сапоги долой, всё долой — растянулся.

29. Чем свет разбудил товарищ и предложил выпить чаю (он возит свой чай, маюкон, не цветочный, но хороший; это умно, гораздо дешевле; платишь только за самовар). Я не отказался: я люблю пить чай с кем-нибудь. Да и ему почти все равно, я же пью сквозь кусочек».

Очень сожалеем, что на первый раз г. Вёдрин не мог дать нам более отрывков из своих «Путевых записок»; но в скором времени надеемся получить от него еще несколько отрывков, и тотчас же поделимся ими с нашими читателями.

<1843>

ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ г. ГРАНОВСКОГО

(Письмо в Петербург)

I

Нового в нашем литературно-ученом мире немного. Предвижу вашу улыбку при этом слове.— «В Москве ленятся, в Москве отдыхают перед трудом».— Так и нет. Правда, в Москве говорят больше, нежели пишут, думают больше, нежели работают, в Москве иногда лучше любят ничего не делать, нежели *делать ничего*. Правда и то, что иной раз сквозь видимую апатию прорывается вдруг какое-нибудь явление прекрасное и глубоко знаменательное, труд разумный и отчетливый, не механический продукт фабрично-искусственной деятельности, а деяние поэтическое и свободное. К таким явлениям отношу я публичный курс истории средних веков г. Грановского. В самом событии этого курса есть что-то чрезвычайно поэтическое: в то время, когда трудный вопрос об истинном отношении западной цивилизации к нашему историческому развитию занимает всех мыслящих и разрешается противуположно, является один из молодых преподавателей нашего университета на кафедре, чтоб передать живым словом историю того оконченного отдела судеб мира германо-католического, которого самобытно развивающаяся Россия не имела. Г-н Грановский, года три тому назад оставивший скамьи лучших германских университетов*, посвятивший жизнь свою глубокому изучению европейской истории, выходит перед московским обществом не как адвокат средних веков, а как заявитель великого ряда событий, в их органической связи с судьбами всего человечества; его чтения не могут быть разрешением вопроса, но должны

внести в него новые данные; он вправе требовать, чтоб, желая осуждать и отталкивать целую фазу жизни человечества, выслушали по крайней мере симпатический рассказ о ней. Благородную симпатию к своему предмету мы видели, глубоко тронутые, в первых прекрасных словах, которыми открыл г. Грановский курс свой. Эта симпатия — великое дело: в наше время глубокое уважение к народности не изъято характера реакции против иноземного; многие смотрят на европейское как на чужое, почти как на враждебное, многие боятся в общечеловеческом утратить русское. Генезис такого воззрения понятен, но и неправда его очевидна. Человек, любящий другого, не перестает быть самим собою, а расширяется всем бытием другого; человек, уважающий и признающий права ближнего, не лишается своих прав, а незыблемо укрепляет их. Мы должны уважить и оценить скорбное и трудное развитие Европы, которая так много дает нам теперь; мы должны постигнуть то великое единство развития рода человеческого, которое раскрывает в мнимом враге — брата, в расторжении — мир: одно сознание этого единства уже дает нам святое право на плод, выработанный, потом и кровью, Западом; это сознание с нашей стороны есть вместе мысль и любовь — оттого оно так легко; логика и симпатия всего менее теснят человека: человек создан, чтоб думать и любить. Первые слова Грановского, проникнутые любовью, проникнутые мыслию, заставили меня ожидать многого от его чтений! И какою блестящей аудиторией окружила Москва человека, обещавшего ей передать величавую эпопею феодализма, суровую и гордую поэму католицизма и рыцарства, церкви и замка — этих каменных представителей замкнутой в себе и оконченной эпохи. Да, московское общество самым лестным образом оценило приглашение доцента: благороднейшие представители этого общества (мы говорим о дамах образованнейшего круга) сели на скамьях студентов и слушали,— и слушали в самом деле, мы видели это. И после этого говорите, что всеобщие интересы не имеют глубоких корней в публике: она с необыкновенным тактом оценила всю современность живой, всенародной речи об истории. В наше время история поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное пытанье прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует,

что, устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперед. Дух, понимая свое достоинство, хочет оправдать свою биографию, осветить ее восходящим солнцем мысли, освободить от могильного тлена бессмертную душу прошедшего, как то наследие его, которое не точится молью. История — если не страшный суд человечества, то страшное оправдание, всехскорбящее прощение его. История — чистилище, в котором мало-помалу временное и случайное воскресает вечным и необходимым, тело смертное преображается в тело бессмертное. Память человечества есть память поэта и мыслителя, в которой прошедшее живет как художественное произведение. — Но что же нового скажет г. Грановский? Разве мало писано об истории средних веков, начиная с французов XVIII столетия, не понимавших прошедшего, и до Лео, который не понимает настоящего? Человечество в разные эпохи, в разных странах, оглядываясь назад, видит прошедшее, но самым образом воспринимания и отражения его раскрывает само себя. Чтоб привести первый пример, попавший в голову вспомните, каким рядом метемпсихоз гомерические и софокловские герои перешли сквозь душу Сенеки, Расина, Альфиери, Гёте. Сам Грановский сказал, что ни в чем так ярко не выражается характер народа, как в понимании истории; я совершенно согласен с ним и потому именно придаю такое значение его чтениям. Для нас века готические не имеют того смысла, как для западного европейца: архитектура огивы не напоминает нам ни отчего дома, ни храма божья; рыцарские поэмы и западные легенды не похожи на наши колыбельные песни; для нас средние века имеют иной интерес, чисто человеческий, бескорыстный, отрешенный от всякой непосредственности. Мы породнились с Европой, когда феодализм, последовательный и неумолимый в консеквентности, своими ногами стал себе на грудь, своим языком громогласно отрекся от своих родителей и, забыв свое сердце, положил краеугольным камнем нового здания свою голову, поседелую от мысли. Мы сначала узнали новую Европу, а потом справились о ее происхождении. Оттого наш взгляд на прошедшее Европы не может быть взглядом старших европейцев. Западноевропейский историк — судья и тяжущийся вместе, в нем не умерли семейные ненависти и распри, он человек какой-

нибудь стороны — иначе он апатический эгоист; он слишком врос в последнюю страницу истории европейской, чтоб не иметь непосредственного сочувствия с первою страницей и со всеми остальными. Нет положения объективнее относительно западной истории, как положение русского. Насколько Грановский в своих чтениях удовлетворит тем ожиданиям, которые я предъявляю, увидим впоследствии; но первая лекция — ключ к курсу; он благородно и прямо указал основания, на которых будет читать: они широки, современны и проникнуты любовью.

Первая лекция была посвящена изложению развития науки истории; г. Грановский остановился, кажется, на Фихте. Два частные замечания я сделал бы ему: он слишком скудно определил влияние Канта на историю и все еще, по старой привычке, слишком много приписывает Гердеру. Гердер был прекрасное явление в германской беллетристике, симпатический человек, открытый всем интересам искусства и науки, всему сочувствовавший и ничего не знавший основательно; окруженный толпою немецких педантов и цеховых ученых того времени, он мог сосредоточить на себе любовь современников и даже заставить их поверить в свое глубокомыслие, но он мыслил фантазией, он был поэт и дилетант в науке — и оттого не был двигателем. Что же касается до Канта, то дело совсем не в том, что он писал об истории, но какой он дал мощный толчок всему разумению человеческому; кантианизм отразился во всех сферах мысли — и во всех сделал переворот. История не могла быть изъята, и действительно, Шиллер пошел от кантианизма и развил его до своих «Писем об эстетическом воспитании человечества». А эта диссертация в письмах — колоссальный шаг в развитии идеи истории.

Но на сей раз довольно. Если что-нибудь не воспрепятствует, я доставлю вам общий обзор лекций и несколько частных замечаний. Надеюсь, что г. Грановский не подаст на меня в суд челобитную, как Шеллинг на Паулуса *. Мы, русские, как-то не привыкли свою мысль, свое слово считать товаром, личной собственностью.— Г-н Грановский читает довольно тихо, орган его беден, но как богато искупается этот физический недостаток прекрасным языком, огнем связующим его речь,

полнотою мысли и полнотою любви, которые очевидны не только в словах, но и в самой благородной наружности доцента! В слабом голосе его есть нечто проникающее в душу, вызывающее внимание. В его речи много поэзии и ни малейшей изысканности, ничего для эффекта; на его задумчивом лице видна внутренняя добросовестная работа. Вот все, что я могу вам сообщить.

Рама, назначенная г. Грановским, обширна: он хочет прочесть историю средних веков до конца, то есть до того времени, как католицизм развился в Лютера, феодальная раздробленность — в самодержавную централизацию и Европа стала до того тесна вновь развивающемуся миру, что великий генуэзец * отправился искать Новый свет. Прощайте! Жду известия о ваших университетских и литературных событиях.

<1843>

УМ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ[1]

В особенности лучше для издания журнала. Наиболее читаемые и уважаемые журналы издавались у нас всегда парою литераторов: «Северная пчела», «Маяк», «Москвитянин». Г-н Сенковский знал это и, за неимением alter ego[2], он сам раздвоился, как Гофманов Медардус, и издавал «Библиотеку для чтения» с бароном Брамбеусом,— время славы и величия этого журнала было временем товарищества с Брамбеусом. «Маяк» явным образом стал тускнуть с тех пор, как издается одним г. Бурачком*; даже признаки бешенства, прорывавшиеся в его литературных обзорах, мне кажется, происходят от одиночества. Но на верху литературной славы теперь, как и прежде,— два журнальные брака: Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин — в Петербурге, С. П. Шевырев и М. П. Погодин — в Москве. Московская чета, впрочем, еще не так известна, как наши добрые и любимые Филемон и Бавкида петербургской журналистики, и потому подробное рассмотрение той и другой пары не лишено занимательности. Плутарх любит сравнивать один на один великих людей; мы, во всем опередившие древний мир, можем сравнивать их попарно. Конечно, наши пары, при всем авторском пристрастии к предмету, не совсем плутарховские герои. Один из четырех уважаемых нами литераторов может иметь на это притязание и даже неотъемлемое право — это Фаддей Венедиктович. В его жизни есть что-то античное: он, как Сократ, знаком не токмо с нравственною философиею, но

---

[1] Не была напечатана. <Примеч. 1862 г.>.

[2] двойника (лат.).— *Ред.*

и с мечом,— не токмо с одним, но и с двумя... но это выходит из круга нашей параллели.

Начнем с главного: четыре героя, составляющие две пары,— люди вселенской известности. Г-на Булгарина переводит г. Мецофанти, г. Гёте упоминает о г. Шевыреве *, г. Шеллинг спрашивает о философских статьях г. Погодина *, г. Греч усердно кланяется г. Гизо. Но в их отношениях к Европе найдутся оттенки, которые необходимо уловить. Греч и Погодин обтекают часто разные страны, Булгарин и Шевырев обтекли их и успокоились. Греч, по прекрасному выражению «Москвитянина», рассматривает Европу в полицейском отношении*, обращая всего более внимания на чистоту и порядок. Погодин ее же рассматривает с экономической точки зрения, в отношении дешевизны и дороговизны предметов, нужных путешественнику. Булгарин любит вспоминать (точно маршал Сульт), как он был в Испании, а Шевырев никогда не забывает, как он был в Италии. Европу все четверо не любят, но каждый по-своему; в этих точках пересечения легко измерить всю необъятную противоположность их; самые средства, которыми они хотят отвратить добрых людей от Запада, разны: так, г. Греч останавливает вас, обращая внимание на слабое полицейское устройство, на нечистоту улиц; г. Погодин стремится застращать дороговизной и издержками; г. Шевырев с ужасом указывает на разврат мышления, на порок логики, овладевшей Европою; г. Булгарин своим собственным примером, патриотизмом «Северной пчелы» заставляет любить и предпочитать Петербург всему миру.

При этом каждый из них милует на Западе какую-нибудь страну. Степан Петрович любит Италию, поющую октавы,* Фаддей Венедиктович и Николай Иванович *нравственную* семейную Германию, Михаил Петрович — *западных* славян, потому что он их считает *восточными* *.

Так же, как Европу, они не любят и современную науку и не токмо не любят, но и не знают ее,— да и зачем же знать то, чего не любишь. Греч и Погодин не бранят науку, потому что они считают себя выше ее; они на нее смотрят, как мы смотрим на азбуку,— несколько с улыбкой, и в этой улыбке видно гордое сознание: «Мы-де знаем, что там написано, нас не

проведешь», — они развили в себе высшие взгляды, перед которыми интересы науки — ребячество. Греч иногда даже защищает науку: отдавать справедливость врагам — свидетельство сердца, полного благородством, откровенностию и прямодушием,— качества, всегда отличавшие греческую историю и «Историю» Н. И. Греча *. Степан Петрович не таков: он хорошего слова о западной науке не скажет; у него есть своя «словенская» наука, неписанная, несуществующая, а словенская. В ее-то пользу он готов выдать за общество фальшивых монетчиков и зажигателей всех последователей презренной писанной науки. Гнев г. Шевырева какой-то католический; он обучался ему в Италии. Фаддей Венедиктович — это петербургский Сковорода, невский Коцебу*; его наука — практическая мораль; о теории, методе, системе не надобно и спрашивать; он редко говорит о науке: она слишком безлична, чтобы сердить его; а когда ругнет ее,— то наскоро, имея в виду нравственную цель.

Греч и Шевырев — филологи и грамматики; Шевырев — первый профессор *елоквенции* после Тредьяковского; он читал в Москве публичные лекции о русской словесности *, преимущественно того времени, когда ничего не писали, и его лекции были какою-то детскою песнею, петой чистым soprano, напоминающим папские дисканты в Риме. Греч публично читал в Петербурге поэзию грамматики* и тронул всех, доказывая, как счастлив должен быть тот язык, который так хорошо, как мы, спрягает глаголы.

Погодин и Булгарин — историки, но с разных концов: один идет от происхождения Руси до X века*, другой — от нашего благодатного времени до 1810 г. и даже до аустерлицкой битвы. Погодин, впрочем, не токмо не участвовал в рюриковскую эпоху, но издавал, больше *общинно*, исторические труды*; а Ф. В. участвовал сам в важнейших событиях нашего века, он сперва *сделал* современную историю и потом начал писать об ней.

Главная цель знаменитых литераторов, о которых идет речь,— ознакомить мир с Россией; если им и не удается, то намерение похвально. С этою целью Греч издал формулярные списки всех русских авторов*, Булгарин составил книгу

о России*, которую вряд ли читал сам Греч; Погодин приобрел известность своими неизданными трудами; Шевырев восстановляет Русь, которой не было и, слава богу, не будет.

Союз г. Погодина с г. Шевыревым — matrimonium secretum[1]; союз г. Булгарина с г. Гречем — открытый конкубинат. Нет ни одного человека в Москве, который бы умел врознь понять Минина и Пожарского, так, как нет ни одного человека в Петербурге, который бы умел понять врознь Булгарина и Греча,— хотя бы один жил для удовольствия и нравственных *наблюдений* в Париже, а другой для нравственных *наблюдений* и для удовольствия в Дерпте. Г-н Шевырев как-то было охладел к брачному ложу, т. е. к «Москвитянину»,— сейчас начали выходить уроды, двойни, но новая программа утешила всех. Степан Петрович оттого не занимался, что увлекся своим красноречием и стал записывать свои слова (собою восхищаться запрещает Тассо); теперь он опять готов исполнять свои брачно-литературные обязанности.

Греч и Булгарин издают с примерным мужеством и самоотвержением «Северную пчелу» для того только, чтобы в ней высказывать те сильные убеждения, которые легли краеугольным камнем их нравственно-сатирического существования. Степан и Михаил Петровичи с еще более примерным упорством и бескорыстием издают «Москвитянин», не обращая ни малейшего внимания на то, что читатели подписываются на другие журналы; в этом «Москвитянин» так же, как и во всем прочем, похож на «Маяка», как на родного брата. Что делать, любовь к истине и ненависть к «Отечественным запискам» — страсть сих четырех сердец и одного «Маяка». Страсть к истине доводит их до неблагоразумия.

Я всякий раз со слезами читаю, как иногда Ф. В., друг Платона, друг Аристотеля, друг Греча, а еще более друг правды, всенародно журит Николая Ивановича. Он забывает тут узы, связующие его с Гречем, делается страшен, делается отрывист. «И ты, братец,— говорит, — стыдно, братец,— говорит,— что ты, мальчик, что ли? Не слыхал, что ли?»— говорит... И пойдет, и пойдет. Николай Иванович действительно иногда

---

[1] тайный брак (лат.).— *Ред.*

заслуживает порицания: то за радикальный образ мыслей, то за либерализм. Зачем, говорит, Бонапарте сделался Наполеоном, зачем во Франции пишут об алжирской войне, зачем не заведут там цензуры, зачем во Франции нет телесных наказаний? — Так, кажется, и сделал бы революцию во всей Европе. А главное — Наполеон. Ф. В. за Наполеона всегда горой; он считает Наполеона своим товарищем по службе и никогда не выдает — черта прекрасная! Искренность Ф. В-ча разве может быть побеждена только правдивостью Мих. П-ча. Погодин до того откровенен, что напечатал такую исповедь о себе самом (под вымышленным именем «Путевых записок»), что исповеди Руссо и Кардана ничего не значат в сравнении с его исповедью; все рассказал: и как платье покупал на бульваре, и как... и все это без всякой нужды, по одному благородному побуждению сердца. Греч скрытен, напротив; он в сердце *доносит* до поры до времени и зло и добро и не станет попусту болтать.

Вообще у гг. Булгарина и Погодина осталось бездна детского, наивного; люблю я радушное приветствие Ф. В.-ча пирожнику*, открывающему лавочку, портному, начинающему шить платье,— точно он в первый раз кушает пирожок и в первый раз затягивает подтяжку. Люблю ребячий взгляд Михаила Петровича на Европу,— взгляд милого ребенка,— хорош он у 50-летнего старика; им всегда отличались автор «Марфы Посадницы» и автор «Димитрия Самозванца».

1843.

О ПУБЛИЧНЫХ ЧТЕНИЯХ г-на ГРАНОВСКОГО

(Письмо второе)

Публичные чтения Грановского кончились; в ушах моих еще раздается дрожащий от внутреннего волнения, глубоко потрясенный от сильного чувства голос, которым он благодарил слушателей, и дружный, громкий, продолжительный ответ, которым аудитория прогремела ему свою благодарность.— «Благодарю еще раз, благодарю тех, которые, сочувствуя мне, разделили добросовестность моих ученых убеждений, благодарю и тех, которые, не разделяя их, с открытым челом, прямо и благородно высказывали мне свою противуположность!» Этими прекрасными словами заключил Грановский свой курс. Вы помните, что, после первого чтения, я решился назвать событием замечательным этот курс,— теперь я имею некоторое право сказать, что не ошибся. Участие к чтениям г-на Грановского беспрерывно возрастало; его кафедра была постоянно окружена тройным венком дам, и заметьте, доцент читал свой предмет со всею важностью науки, не рассыпая ненужных цветов, не жертвуя глубиною для *приятной легкости*. Мне кажется, ничем не мог он более выразить своего уважения и благодарности слушательницам, посещавшим его чтения,— и они были ему признательны. Слава богу, проходит время того оскорбительного внимания к женщине, когда для нее, рядом с дельным изложением науки, излагали предмет намеренно искаженным образом, считая один мужеский ум способным к глубокомыслию.

Московское общество узнало, сидя на университетских скамьях, новое увлекательное и сильно занимающее наслаждение,

преподавателям открылась очевидная возможность нового действования и указан путь, по которому достигается сочувствие. Я уверен, что с легкой руки Грановского начнутся в нашем университете публичные чтения о предметах, равно исполненных общего интереса,— новое сближение города с университетом. У нас не может быть науки, разъединенной с жизнию: это противно нашему характеру; потому всякое сближение университета с обществом имеет значение и важно для обоих. Преподавание, для приобретения сочувствия, должно очиститься от школьного формализма, оно должно из холодной замкнутости сухих односторонностей выйти в жизнь действительности, взволноваться ее вопросами, устремиться к ее стремлениям. Общество должно забыть суету ежедневности и подняться в среду общих интересов для того, чтоб слушать преподавание. Оно готово это сделать. Такт общества верен: все живое и сочувствующее ему находит в нем неминуемое признание — курс Грановского лучшее доказательство. У нас публичные чтения в таком роде — новость. Весьма может быть, что часть публики сначала явилась полушутя, ради новости; но после первых трех, четырех чтений аудитория была совершенно симпатично настроена, внимание деятельное, напряженное виделось на всех лицах; это сочувствие сильно отразилось на преподавании. Между слушателями и преподавателем (если в самом деле одни слушают, а другой преподает) образуется необходимо магнетическая связь, с обеих сторон деятельная; сначала они будто чужие ⟨друг⟩ другу, но мало-помалу между ними устанавливается уровень, и когда он приходит в сознание обоих, тогда взаимнодействие растет быстро, слова увлекают слушателей, и аудитория, срастающаяся в одно нравственное лицо, увлекает говорящего. Скажу прямо — и знаю, что Грановский не обидится этим: он видимо развивался, читая; он рос, крепнул на кафедре. Слушатели не отстали от него, аудитория и доцент расстались друзьями; глубоко тронутые, глубоко уважающие друг друга, они расстались со слезами на глазах.

Главный характер чтений Грановского: чрезвычайно развитая человечность, сочувствие, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному,— сочувствие, готовое на все отозваться;

любовь широкая и многообъемлющая, любовь к возникающему, которое он радостно приветствует, и любовь к умирающему, которое он хоронит со слезами. Нигде ничему не вырвалось слова ненависти в его чтениях; он проходил мимо гробов, вскрывал их — но не оскорбил усопших. Дерзкая мысль поправлять царственное течение жизни человечества далека была от его наукообразного взгляда, он везде покорялся объективному значению событий и стремился только раскрыть смысл их. Мне кажется, что именно этот характер преподавания возбудил такое сильное участие общества к чтениям Грановского. Уметь во все века, у всех народов, во всех проявлениях найти с любовию родное, человеческое, не отказаться от братий, в каком бы они рубище ни были, в каком бы неразумном возрасте мы их ни застали, видеть, сквозь туманные испарения временного, просвечивание вечного начала, т. е. вечной цели,— великое дело для историка. Много раз, когда я слушал Грановского, живо представлялся мне Горацио, с стесненным сердцем повествующий повесть о Гамлете, возле помоста, на котором покоится тело его. В Горацио и мысли нет воскресить принца, смерть Гамлета для него событие, он сам сквозь слезы указывает на юного Фортинбраса, которому завещана кровавая порфира, но он не может отказать в грусти падшему*; так и в сочувствии Грановского к средним векам не было ничего вспять текущего, обращающего назад Любовь и сочувствие к побежденному — верх победы. Неподвижные тени, забытые отшедшим миром на почве нового, всего менее могут устоять против теплого дыхания любви; они распускаются в светлую влагу, отдавая себя на утоление жажды новых поколений. Но эта любовь не легко достигается. Русский историк стоит на почве, которая ему чрезвычайно облегчает объективное симпатическое воззрение на западную историю. Незакупленная мысль наша может, освещая средневековые события, сохранить высокий характер кротости и милосердия, явиться примиряющею и вселюбящей: мы были чужды феодальной жизни Европы, мы ни наследий не стяжали от этого времени, ни родовых болезней. Мы целовальники, взятые из другого края, у которых не может быть личностей ни против кого, ни за кого. Не так для германца: он в борьбе с своим воспоминанием, он чувствует

родственную любовь и родственную ненависть к нему, он или падет под бременем богатого наследия, или должен отречься от отца с матерью. Былое Европы для него еще живо: он, выходя на арену, не может сохранить спокойствие судьи; вместо благотворной теплоты в душе его является пристрастие или пожирающий пламень критики, беспощадный и неотступный. Ошибаться не надобно: этот гнев, эта критика — тоже любовь, но любовь, доведенная до крайности, ревнивая, карающая, оскорбленная. Страстная односторонность в истории Запада простительна западному человеку и была бы странна в русском. Откуда взять увлеченному в омут событий, в самом круговороте их, ровное и мудрое беспристрастие зрителя? Не будет ли это ниже или выше достоинства человеческого, не надобно ли для этого сделаться Талейраном или Гёте?— Sine ira et studio![1] Неужели вы верите, что Тацит писал sine ira? Повторяю сказанное в первом письме: нет положения объективнее относительно прошедшего Европы, как положение русского. Конечно, чтоб воспользоваться им, недостаточно быть русским, а надобно достигнуть общечеловеческого развития, надобно именно не быть исключительно русским, т. е. понимать себя не противуположным Западной Европе, а братственным. Понятие братства не поглощает самобытности братий, но и самобытность их как лиц не противуполагает их друг другу врагами, что уничтожило бы братство. Отталкивающее противуположение себя чему-нибудь не может достигнуть объяснительной точки; вражда в основе своей субъективна; быть в противуположности — значит отказаться от пониманья противуположного, потому что пониманье есть именно снятие противуположности. Доколе мысль ревниво отталкивает противуположное, она ограничена им как чуждым, и это чуждое делается камнем преткновения, брошенным на всех путях ее. В «Уложении» сказано: «А буде который судья истцу будет недруг, а ответчику друг, и тех истца и ответчика тому судье не судить». Нам чрезвычайно легко достигнуть этой юридической состоятельности: стоит хотеть и уметь воспользоваться нашим положением. Прошедшее Европы не тревожит нас ни как утрата,

[1] Без гнева и пристрастия! (лат.).— *Ред.*

ни как угрызение совести: оно имеет для нас иной великий интерес.

Dich stört nicht im Innern,
Zu lebendiger Zeit,
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit [1]*.

Грановский (несмотря на упреки, деланные ему в начале курса) прекрасно понял, каков должен быть русский язык о западном деле. Он ни разу не внес в катакомбы чужих праотцев ни одного слова, ни одного намека из сегодняшних споров их наследников; не для того взята была им в руки запыленная хартия средних веков, чтобы в ней сыскать опору себе, своему образу мыслей; ему не нужна средневековая инвеститура, он стоит на иной почве. От этого его преподавание получило тот характер искренности и добросовестности, ту многостороннюю полноту и пластичность, которая так редко встречается в истории; события, не сгнетаемые никакой личной теорией, являлись в его рассказе совершенно ожившими. Мне случалось много раз слышать нелепые вопросы, почему он не высказывается яснее, что он хочет доказать, какая цель его? Он и любит феодализм и рад его падению и пр. Все эти вопросы, впрочем, последовательнее, нежели думают: все живое чрезвычайно трудно условимо, именно потому, что в нем скипелось бесчисленное множество элементов и сторон в один движущийся процесс; живое приводится в сознание только спекуляцией или созерцанием, а благоразумная рассудочность видит в нем один беспорядок, жизнь ускользает от ее грубых рук. Многосторонность живого наводит страх и уныние на односторонних людей, они требуют du positif![2] Так полипы, лишенные собственного движения, липнут всю жизнь на одной стороне камня и гложут мох, его покрывающий. Этим *беспозвоночным* умам легче было бы в десять раз понять историю, подтасованную с какой бы то ни было точки зрения; но Грановский слишком историк в душе, чтобы впасть в ненужную односторонность

[1] Тебе, живущей в настоящем, не тревожат душу ни напрасные воспоминания, ни бесполезные споры (нем.).— *Ред.*

[2] положительного (франц.).— *Ред.*

и не воспользоваться прекрасным положением. История очень легко делается орудием партии. События былые немы и темны, люди настоящего освещают их как хотят; прошедшее, чтоб получить гласность, переходит через гортань настоящего поколения, а оно часто хочет быть не просто органом чужой речи, а суфлером; оно заставляет прошедшее лжесвидетельствовать в пользу своих интересов. Такое вызывание прошедшего из могилы унизительно, но есть возможность извинить эти чернокнижные попытки при известных обстоятельствах: феодализм, папская власть, аристократия, среднее состояние и проч. не просто предметы изучения и науки для Запада, а знамена партий, вопросы на жизнь и смерть. Умерший порядок дел имеет в Европе своих поверенных, продолжающих тяжбу; но к этой тяжбе мы менее, гораздо менее прикосновенны, нежели даже Северо-Американские штаты. Это не наши споры и не наша вражда: мы вступаем в общение с Европой не во имя ее частных и прошедших интересов, а во имя великой общечеловеческой среды, к которой стремится она и мы; наше сочувствие есть, собственно, предчувствие грядущего, которое равно распустит в себе все исключительное, романо-германское ли или славянское оно.

Грановский миновал другой подводный камень, опаснейший, нежели пристрастие в воззрении на феодальные события. Знакомый с писаниями великих германских мыслителей, он остался независим. Он прекрасно определил современное состояние философии истории во втором чтении, но не подчинил живого развития никакой оцепеняющей формуле; Грановский смотрит на современное состояние жизни как на великий исторический момент, которого не знать, которого миновать безнаказанно нельзя, так, как нельзя и остаться в нем навеки, не окоченевши. Чтоб очевидно указать глубокий исторический смысл нашего доцента, достаточно сказать, что, принимая историю за правильно развивающийся организм, он нигде не подчинил событий формальному закону необходимости и искусственным граням. Необходимость являлась в его рассказе какою-то сокровенной мыслью эпохи; она ощущалась издали, как некий Deus implicitus[1], предоставляющий полную волю и полный разгул

[1] связанный бог (лат.).— *Ред.*

жизни. Величайшие мыслители Германии не миновали соблазна насильственного построения истории, основанного на недостаточных документах и односторонних теориях,— это понятно: сторона спекулятивного мышления была ближе их душе, нежели живое историческое воззрение. Их теоретическая и тягостная необходимость явилась доведенною до нелепости в сочинениях некогда очень известного Кузеня. В Кузене я вижу Немезиду, мстящую немцам за их любовь к отвлеченности, к сухому формализму. Немцы должны были сами расхохотаться, читая, куда они завели доброго и бесхитростного галла, ввери́вшегося им. Он таким внешним образом понял необходимость, что чуть не выводил из общей формулы развития человечества кривую шею Александра Македонского. Это была реакция вольтеровскому воззрению, которое, наоборот, приводило судьбы мира в зависимость от очертания носа у Клеопатры.

Грановский обещает напечатать свои чтения*; тогда, посылая вам книгу, я попытаюсь разобрать самый курс, поговорить об нем подробно. Теперь позвольте кончить — надеюсь, что вы против этого ничего не имеете.

⟨1844⟩

ИСТИННАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ЭМАНЦИПАЦИЯ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОТ ЗЛЕЙШИХ ВРАГОВ ЕГО

Книгопечатание, открытие Нового света, железные дороги и пароходы сделали все, что только можно было, для беспокойства человеческого рода; пора что-нибудь сделать для спокойствия, пора людей приблизить к великому отдохновению на лаврах!

Но можно ли, при современном состоянии цивилизации, все равно на чем бы то ни было отдыхать — на лаврах или на миртах! Целый мир небольших врагов везде ждет человека и делает ему большие неприятности, отравляет его существование, наводит на меланхолические мысли, мешает философствовать и смотреть сновидения до конца; эти ожесточенные враги обрекли себя, с постоянством, достойным лучшей цели, на беспрерывное, многостороннее огорчение человека. Доселе историки мало ценили важное влияние тайных врагов на события; многое казалось необъяснимым в биографиях великих людей от опущения такого важного элемента. Цицерон, после своего знаменитого *они жили*, жаловался беспрерывно на блох, которые мешали ему спать, и бранился с своей женой и дочерью, к которым писал такие скучные письма из Брундузиума. Вот причина, отчего он так вяло рассуждает о «натуре богов» и как сквозь сон разбирал академиков. Но оставим историю и обратимся к частной жизни; сколько скрежета зубов, сколько взглядов отчаяния, сколько стону вызывали свирепые враги! Этот скрежет, этот вопль никто не слыхал, потому что они раздавались во тьме ночной и исчезали в ней... Кто из нас не был сам унижен, раздражен среди гордых помыслов нежданными преследованиями тайных врагов? Где средства спасения?

«Коня мне, коня,— полцарства за коня!»* Но на каком коне я могу ускакать от них?.. Осмелюсь ли я дерзким пером дотронуться до свежих ран вашего сердца и напомнить еще не забытые вами жгучие страдания; например, представить, как вы, которого я так уважаю,— как вы пишете стихи «к ней»; восторг в ваших очах; стих льется плавно, огонь и запах розы... но вот вам на нос села муха и прогуливается по нем; вы ее согнали — она на лбу; вы ее согнали — она в ухе; вы ее согнали — она опять на носу и сучит ногами... И вот вы бросаете перо, и у вас завязывается упорный и отчаянный бой; может, вы и победите, но, увы, где ваш восторг, где вечное слово любви, о котором вы писали? Все вяло, не клеится, вы в апатии оттого, что все силы души употребили на борьбу с мухой. Или — вы смертельно устали с дороги, вы десять верст мечтали под дождем о ночлеге, добрались... слава богу, тепло и, кажется, довольно чисто, вы бросаетесь на постель, сон уж смыкает глаза... а тут маленькая компания черных акробатов делает уже в тиши salti mortali[1] и торопится обидеть вас и, что хуже обиды, лишить покоя и, что хуже беспокойства и обиды, уничтожить ваше человеческое достоинство... Извините, эти акробаты принимают вас за съестной припас для них; вы огромное блюдо, в превосходстве которого они не сомневаются,— но все же блюдо. Счастье ваше, если в это время ваша память так занята, что вы забыли микроскопическое изображение блохи, выставленное для поучения детей в книжной лавке,— этот страшный хобот, выходящий из-под черного забрала, лоснящегося, как сапог... Может, вы и поймаете одну, две, et ils crèveront comme des critiques[2]. Но что значат две, три, когда их сотни?.. И вот, вместо восстановительного сна, вы вертитесь со стороны на сторону — и на той стороне встречается смиренный и нескачущий товарищ акробатов, с задумчивым видом квакера и с небольшой семьей, которую он любит от души и которую привел из-под подушки попотчевать вами... Если вы прибавите дух, в котором воспитаны эти квакеры, то картина готова. Данте в del inferno[3] пропустил это ужасное наказание. Но вот вы

[1] сальто мортале, головокружительные прыжки (итал.).— *Ред.*

[2] и они подохнут как критики (франц.).— *Ред.*

[3] аду (итал.).— *Ред.*

в досаде, в бешенстве зажигаете свечу... Только этого и недоставало: тараканы вообразили, что вы им даете иллюминацию, и пошли из щелей на стол, а через стол к вам на подушку. Тут попадутся и русские тараканы, капитальные, основательные, идущие мирно и тихо, и жалкие прусаки, рыженькие, побегут сломя голову... Конечно, они не так вредны, как boa constrictor[1], но те только практически вредны, а тараканы хуже: они нравственно вредны — обижают взгляд, наводят уныние. Наконец, рассвет подтверждает вам горестную истину, что ночь прошла, что через час придет вас будить слуга, на которого заспанные глаза вы бросите взгляд шакала... Но, может, вы еще уснете; я, ей богу, буду очень рад: при рассвете тараканы пойдут по щелям; они — как ночные извозчики в Петербурге: только видны, когда ничего не видать; будьте уверены, они уйдут в самое то время, как батальон мух, отдыхавший всю ночь, отправится по всем направлениям,— а между ними есть с каким-то шилом между глаз... Я не оканчиваю страшной картины. А после ваши друзья удивляются на досуге, отчего вы воротились грустны, исчезли светлые надежды, приветливость — так, как в ваше отсутствие исчезли волосы на вашей шубе от молей. Но утешьтесь! Великое совершено: на высотах Кавказа, возле самой Персии, растет один цветок, происхождение которого никому неизвестно, кроме меня,— а я вам расскажу его. Однажды в Персии было очень много блох; Камбиз не мог спать да и только; много переказнил он людей, определенных в совет о предохранении сына солнца от дочерей блох; ничто не помогало; он рассердился и пошел разорять Египет. Счастие ему улыбалось, победа была его, и он однажды, довольно наевшись крокодиловых яиц всмятку, курил пахитос в Мемфисском храме; вдруг его укусила блоха... «Как! — вскричал уязвленный Камбиз.— Здесь та же непокорность? Нет, этого не потерплю, клянусь Ормуздом и Зендавестой!» И тут же отдал приказ сломать до основания храм, потом весь Мемфис; но, справедливо полагая, что этого будет недостаточно, он велел кстати предать огню и мечу весь Египет по ту и другую сторону Нила; даже если найдется третья сторона у реки,

[1] удав обыкновенный (лат.).— *Ред.*

разорить и ту. Но перед ним предстал маститый жрец; его все уважали; он до того был умен, что сорок лет молчал и ел одни хвостики фараоновой мыши. Старец бросился к ногам Камбиза и сказал: «Сын солнца, гармония мира, представитель Ормузда, брат быка Аписа и нареченный жених фараоновой мыши, близкий родственник Ибиса» и пр., и пр. Его речь была очень длинна. Коротко сказать, он ему открыл тайну — растение, уничтожающее блох и всех их приятелей, и тут же поднес ему фунт порошка. Камбиз сомневался и велел при себе сделать опыт над тремя любимцами своими — собакой и двумя сатрапами. Сатрапы набрали поскорее у собаки блох, чтоб оправдать доверие Ормуздова сродственника — и — о восторг! — опыт удался! Камбиз тут же велел старика сковать и отослать по этапам в Персию, чтоб он там посеял Pyrethrum. Тогда в персидских ведомостях были помещены прекрасные стихи, воспевавшие Ормуздову попечительность Камбиза; вся Персия плакала от умиления и, освободившись от блох, никогда не хотела никакого другого освобождения. Ей показалось этого довольно. Так успокоительно действие порошка!

Недавно второй Камбиз, из Ревеля, г. Зонненберг, нашел потерянное сокровище; лет десять он усиливался взойти на утесы Кавказа, несколько раз срывался, падал на 2800 футов, тонул, замерзал, таял от жара — но любовь к ближнему и высокая мысль эманципации все превозмогли — он набрал Pyrethrum. Когда он сорвал первый цветок, тень молчаливого старца явилась в воздухе и благословила его на поход против мух, комаров, блох и проч.

Спешите к кондитеру Перу; там есть еще несколько картузов этой травы; посыпьте ее везде и скажите: «Теперь я свободен, теперь побледнеют враги мои!»

Некоторые предосторожности надобно брать при употреблении порошка; один наш знакомый посыпал его по столам и потом запер комнату; на другой день — представьте его удивление: он не мог найти только что вышедший из типографии нумер журнала, оставленный им по небрежности в той комнате...

〈1844〉

ПИСЬМО ПЕРВОЕ
О «МОСКВИТЯНИНЕ» 1845 ГОДА[1]

Еще не выходил. Chi va piano, va sano[2].

20 января 1845 г.
Москва.

---

[1] Один из наших московских корреспондентов взял на себя обязанность доставлять в «Отечественные записки» ежемесячно сведения о новостях московской журналистики, вообще мало известной в Петербурге. Так как до сих пор в Москве издается только один литературный журнал— «Москвитянин», то и известия нашего корреспондента должны пока ограничиться им одним. На днях мы получили от него следующее письмо, которое, для полноты его отчетов, считаем нужным также напечатать ⟨Ред. «Отечественных записок»⟩.

[2] Тише едешь, дальше будешь (итал.).— *Ред.*

«МОСКВИТЯНИН» И ВСЕЛЕННАЯ

Западное государство можно выразить такою дробью 10/10, а наше десятичною*.

(Погодин. 1 № «Москвитянина» за 1845)

В то время, как солнечная система, ничего не предчувствуя, спокойно продолжала свои однообразные занятия, а народы Запада, увлеченные со времен Фалеса в пути нехорошие, еще менее что-либо подозревая, продолжали свои разнообразные дела, совершилось втиши событие решительное: редакция «Москвитянина» сообщила публике, что на следующий год она будет выписывать иностранные журналы, приобретать *важнейшие* книги, что у ней будут новые сотрудники, «которые не токмо будут участвовать, но и примут меры»... Из этого можно было бы подумать, что до реформы журналы не выписывались, книги приобретались неважные и меры брались не сотрудниками, а подписчиками... Спустя несколько времени редакция успокоила умы насчет своего направления, удостоверяя, что оно останется то же, которое приобрело ее журналу такое значительное количество почитателей... Впрочем, арифметическая сумма читателей никогда не занимала «Москвитянина»; цель его была совсем не та: он имел высшую, вселенскую цель — он собою заложил магазин обновительных мыслей и оживительных идей для будущих поколений Европы, Азии, Америки и Австралии, он приготовил втиши якорь спасения погибающему Западу. Гибнущая Европа, нося в груди своей черные пророчества А. С. Хомякова, утопая в бесстыдстве знания, в алчном себялюбии, заставляющем европейцев жертвовать собою науке, идеям, человечеству, ищет помощи, совета... и нет его внутри ее немецкого сердца, в нем одни слова — аутономия,

социальные интересы — и слова, как видите, все иностранные. Но придет время, кто-нибудь укажет на дальнем финском берегу лучезарный «Маяк»... Тогда народы всего земного шара побегут к «Маяку» и он им скажет: «Идите на Тверскую, в дом Попова, против дома военного генерал-губернатора: там готово для вас исцеление, там лежат девственные, непочатые запасы в конторе «Москвитянина»...И народы придут на Тверскую и увидят, что против дома военного генерал-губернатора никакой конторы нет, а что она сбоку, подпишутся на «Москвитянина», узнают много, оживут и потолстеют.

Когда я получил новую книжку «Москвитянина» и увидел другую обертку с изящным видом Кремля, понял я, что редакция не шутя говорила о перемене... И — как слаб человек! — мне смерть стало жаль старого «Москвитянина». Что будет в новом, думалось мне, кто знает? Сотрудники не токмо будут участвовать, но и возьмут меры... А бывало, ждешь с нетерпением как-нибудь в феврале декабрьской книжки, и знаешь наперед: будет чем душу отвести; верно, будет отрывок из «путевого дневника» г. Погодина. . энергические фразы, изрубленные в куски: читаешь, и кажется, будто сам едешь осенью по фашиннику. Детски милое, наивное воззрение г. Погодина на Европу казалось нам иногда странным, но не надобно забывать: он, как кажется, имел в виду дикие племена Африки и Австралии—для них нельзя писать другим языком. Ну вот, например, шлегелевски глубокомысленные, основанные на глубоком изучении Данта, критики г. Шевырева не имели в тех странах далеко такого успеха, в них и Западу доставалось... а все не то! Бывало, королева Помара (как ее называет «Северная пчела»)[1], как получит вселенскую книжку, только и спрашивает: «Есть ли дневник?»— «Есть!»— Она, моя голубушка, так и катается по полу (в Отаити это значит восторг) и посылает к Причарду за коньяком — выпить за здоровье редакции. Оно, кажется безделица, а ведь это главная причина раздора между Причардом и капитаном Брюа*. Брюа — моряк и думал, что еще более вселенский журнал «Маяк», а Причард наклонен к пузеизму*—словом, симпатизирует во многом с «Москвитянином»...

[1] Вместо Помарэ.

Впрочем, все это было в газетах, и Гизо насчет этого успокоил Пиля: Помарэ согласилась кататься по полу и от «Маяка». В сторону политику — бог с ней! Обратимся к «Москвитянину». «Все ли прежние сотрудники останутся?— продолжал я думать, глядя на обертку с изящным видом Кремля.— Останется ли г. Лихонин, переводивший Шиллерова „Дона-Карлоса", кажется, прямо с испанского и переводивший прекрасные стихи графини Сарры Толстой на вовсе не существующий язык*— по крайней мере в земной юдоли? Останется ли главный сотрудник, дух праведного негодования против европейской цивилизации и индустрии?[1] А ведь одному „Маяку" не справиться со всем этим. „Москвитянин-père"[2], что ни говорите, журнал был хороший: если б был кто-нибудь, кто его читал не в Отаити, а на Руси, тот согласился бы с нами. Чья вина? Кто ж не велит читать?» Издатель «Маяка» математически доказал в своем несравненном отчете* за пятилетнее управление современным просвещением: во-первых, что со всяким годом у него подписчиков меньше и меньше, так что за 1844 год язык не повернулся признаться в цифре; во-вторых, что это очень стыдно читателям, а не журналу. Еще раз, жаль прежнего «Москвитянина». Господа! помните, как он вдохновенно объявил, что мы спим, а он не спит за нас (иные думали, что мы именно потому и спим, что он не спит!)? Разумеется, в этом сторожевом положении иногда говорил он что попало, чтоб разогнать дремоту,— человек слаб есть! Теперь его черед: пожелаем ему доброй ночи; пусть он спит легким сном: его не потревожат частые воспоминания. Воздав должную честь покойному «Москвитянину-père», обратимся к новорожденному «Москвитянину-fils»[3] (живой о живом и думает)[4].

Светская часть начинается стихами; тут вы встречаете имена Жуковского, М. Дмитриева, Языкова (какое-то предчувствие говорит нам, что в следующей книжке будут стихи г. Ф. Глинки

---

[1] С чувством увидели мы потом в оглавлении именно двух прежних сподвижников «Москвитянина»: поэта М. Дмитриева и философа Стурдзу.

[2] отец (франц.).— *Ред.*

[3] сыну (франц.).— *Ред.*

[4] Мы считаем обязанностию отделить от прочих частей «Москвитянина» теологическую его часть * — она не входит в обзор наш.

и г. А. Хомякова). Рассказ г. Языкова* о капитане Сурмине трогателен и поучителен; кажется, успокоившаяся от сует муза г. Языкова решительно посвящает некогда забубенное перо свое поэзии исправительной и обличительной. Это истинная цель искусства; пора поэзии сделаться трибуналом de la poésie correctionnelle[1]. Мы имели случай читать еще поэтические произведения того же исправительного направления, ждем их в печати; это гром и молния; озлобленный поэт не остается в абстракциях; он указует негодующим перстом *лица* — при полном издании можно приложить адресы!.. Исправлять нравы![2] Что может быть выше этой цели? Разве не ее имел в виду самоотверженный Коцебу и автор «Выжигиных» и других нравственно-сатирических романов?

Замечательнейшие статьи принадлежат гг. Погодину и Киреевскому. Статья г. Погодина «Параллель русской истории с историей западных государств» написана ясно, резко и довольно верно, даже в ней было бы много нового, если б она была напечатана лет двадцать пять назад. Все же она не лишена большого интереса. Если бы г. Погодин чаще писал такие статьи, его литературные труды ценились бы больше. Главная мысль г. Погодина состоит в том, что основания государственного быта в Европе с самого начала были иные, нежели у нас; история развила эти различия,— он показывает, в чем они состоят, и ведет к тому результату, что Западу (т. е. односторонне-му европеизму) на Востоке (т. е. в славянском мире) не бывать. Но в том-то и дело, что и на Западе этой односторонности больше не бывать: сам г. Погодин очень верно изложил, как новая жизнь побеждала в Европе феодальную форму, и даже заглянул в будущее*. Если б автор не затемнил своей статьи поясняющими сравнениями, большею частию математическими, своими 10/10 и 0,00001, примером о шарах*, свидетельствующим какое-то оригинальное понятие о механике, о линии и о бильярдной игре вообще, то она была бы очень недурна. Несмотря на славянизм, истина пробивается у г. Погодина сквозь

---

[1] исправительной поэзии (франц.).— *Ред.*

[2] Об этом стихотворении говорится в V части «Былое и думы» *. ‹Примеч. 1862 г.›.

личные мнения, и сторона, которую ему хочется поднять, не то, чтоб в авантаже была... Это — надобно согласиться — делает большую честь автору: «Шел в комнату — попал в другую», но попал, увлекаемый истиною. Честь тому, кто может быть ею увлечен за пределы личных предрассудков.

Другая статья принадлежит г. Киреевскому: «Обозрение современного состояния словесности». Даровитость автора никому не нова. Мы узнали бы его статью без подписи по благородной речи, по поэтическому складу ее; конечно, во всем «Москвитянине» не было подобной статьи. Согласиться с ней однакож невозможно: ее результат почти противуположен выводу г. Погодина. Г-н Погодин доказывает, что два государства, развивающиеся на разных началах, не привьют друг к другу оснований своей жизни; г. Киреевский стремится доказать, напротив, что славянский мир может обновить Европу своими началами. После живого, энергического рассказа современного состояния умов в Европе, после картины, набросанной смелой кистью таланта, местами страшно верной, местами слишком отражающей личные мнения,— вывод бедный, странный и ниоткуда не следующий! Европа поняла, что она далее идти не может, сохраняя германо-романский быт; следовательно, она не имеет другого выхода, как принятие в себя основ жизни словено-русской? Это в самом деле так по исторической арифметике г. Погодина, что 10/10 не поместятся в 0,000001, а 0,000001 в 10/10 в случае нужды всегда поместится. Надобно быть слепым, чтоб не понимать великого значения славянского мира, и не столько его, как России; но отчего же Европа должна посылать к нам за какими-то неизвестными основаниями нашего быта — так, как мы некогда посылали к ней за варяжскими князьями? Петр I, обращаясь к Европе, знал, видел, за чем обращается; но с чего же Европа, оживившая нас своею богатой, полной жизнию, пойдет к нам искать для себя построяющую идею, и какая это идея, принадлежащая нам национально и с тем вместе всеобще-человеческая? Г-н Киреевский говорит, что теперь вопрос об отношении Европы к славянскому миру обратил на себя внимание Запада; да где же все это? Правда, что несколько брошюр появилось в Австрии и инде, но они так же мало занимают Европу, как пиетистические контроверсы

протестантских теологов, о которых с подробностию говорит автор. Самое сильное влияние славянского мира на Европу состоит в распространении польки: танцуют-то они по-словенски, да ходят-то по-европейски. Такого патриотизма я не понимаю, и особенно в том человеке, который за несколько страниц высказал эту превосходную мысль: «Общее стремление умов к событиям действительности, к интересам дня имеет источником своим не одни личные выгоды или корыстные цели, как думают некоторые. По большей части это просто интерес сочувствия. Ум разбужен и направлен в эту сторону. Мысль человека срослась с мыслию о человечестве — *это стремление любви, а не выгоды*», и проч. Какое глубокое пониманье! Вот когда бы истые славяне умели подобным образом понимать явления, тогда хульные слова на Европу не так легко произносились бы ими! Славянизм —мода, которая скоро надоест; перенесенный из Европы и переложенный на наши нравы, он не имеет в себе ничего национального; это явление отвлеченное, книжное, литературное — оно так же иссякнет, как отвлеченные школы националистов в Германии, разбудившие славянизм.

Скажу вкратце о содержании остальной части журнала. Целый отдел посвящен апологическим разборам публичных чтений г. Шевырева* в виде писем к иногородным, к г. Шевыреву, к самому себе, подписанных фамильями, буквами, цифрами; иные из них напечатаны в первый раз, другие (именно лирическое письмо, подписанное цифрами*) мы уже имели удовольствие читать в «Московских губернских ведомостях» (№ 2, января 13). Вообще, во всех статьях доказывается, что чтения г. Шевырева имеют космическое значение, что это зуб мудрости, прорезавшийся в челюстях нашего исторического самопознания. За этим отделом все идет по порядку, как можно было ждать a priori: статья о «Слове о полку Игореве», догадка о происхождении Киева, путешествие по Черногории и тому подобные живые, современные интересы; статья о сельском хозяйстве, может быть, и хороша, но что-то очень длинна для чтения. Из западных пришлецов, составляющих *немецкую слободу* «Москвитянина»,— статья о Стефенсе* (он родился уж очень в холодной полосе и потому роднее нам) и интерес-

ная «Хроника русского в Париже»*. Историческая новость о том, как пытали и сожгли какую-то колдунью в Германии в 1670 году (уж этот инквизиционный, аутодафежный Запад!), точно будто взята из Кошихина или Желябужского.

Не ограничиваясь настоящим, «Москвитянин» пророчит нам две новости; из них одна очень утешительна... Первая состоит в том, что профессор Гейман *скоро* издаст химию, а вторая — что пастор Зедергольм очень *долго* не издаст второй части своей «Истории философии»*.

Кажется, довольно. Журнал будет выходить около 20 чисел месяца. Я ищу теперь в археографических актах ключа к этому и так занят, что кладу перо.

〈1845〉

ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ г-на ПРОФЕССОРА РУЛЬЕ

Незнание природы — величайшая неблагодарность.

Плиний Ст.

Одна из главных потребностей нашего времени — обобщение истинных, дельных сведений об естествознании. Их много в науке — их мало в обществе; надобно втолкнуть их в поток общественного сознания, надобно их сделать доступными, надобно дать им форму живую, как жива природа, надобно дать им язык откровенный, простой, как ее собственный язык, которым она развертывает бесконечное богатство своей сущности в величественной и стройной простоте. Нам кажется почти невозможным без естествоведения воспитать действительное, мощное умственное развитие; никакая отрасль знаний не приучает так ума к твердому, положительному шагу, к смирению перед истиной, к добросовестному труду и, что еще важнее, к добросовестному принятию последствий *такими, какими они выйдут*, как изучение природы; им бы мы начинали воспитание для того, чтоб очистить отроческий ум от предрассудков, дать ему возмужать на этой здоровой пище и потом уже раскрыть для него, окрепнувшего и вооруженного, мир человеческий, мир истории, из которого двери отворяются прямо в деятельность, в собственное участие в современных вопросах. Мысль эта, конечно, не нова. Рабле, очень живо понимавший страшный вред схоластики на развитие ума, положил в основу воспитания Гаргантуа естественные науки; Бэкон хотел их положить в основу воспитания всего человечества: Instauratio magna[1]

[1] Великое возобновление (лат.).— *Ред.*

основана на возвращении ума к природе, к наблюдению; исключительным предпочтением естествоведения стремился Бэкон восстановить нормальное отправление мышления, забитого средневековой метафизикой,— он не видал иного средства для очищения современных умов от ложных образов и предрассудков, наслоенных веками, как обращая внимание на природу с ее непреложными законами, с ее непокорностью схоластическим приемам и с ее готовностью раскрываться логическому мышлению. Ученый мир, особенно в Англии и Франции, понял вызов лорда Верулама, и с него начинается непрерывный ряд великих деятелей, разработавших во всех направлениях обширное поле естествоведения. Но плоды этого изучения, результаты долгих и великих трудов не перешли академических стен, не принесли той *ортопедической* пользы свихнутому пониманию, которой можно было ожидать[1]. Воспитание образованных сословий во всей Европе мало захватило из естественных наук; оно осталось попрежнему под влиянием какой-то риторико-филологической (в самом тесном смысле слова) выучки; оно осталось воспитанием памяти, более нежели разума, воспитанием слов, а не понятий, воспитанием слога — а не мысли, воспитанием авторитетами — а не самодеятельностию; риторика и формализм попрежнему вытесняют природу. Такое развитие ведет почти всегда к надменности ума, к презрению всего естественного, здорового и к предпочтению всего лихорадочного, натянутого; мысли, суждения попрежнему прививаются, как оспа, во время духовной неразвитости; приходя в сознание, человек находит след раны на руке, находит сумму готовых истин и, отправляясь с ними в путь, добродушно принимает и то и другое за событие, за дело конченное. Против этого-то ложного и вредного в своей односторонности образования нет средства сильнее всеобщего распространения естествоведения с той точки зрения, до которой оно выработалось теперь; но, по несчастию, великие истины, великие открытия, следующие быстро друг за другом в естественных науках, не переходят в общий поток кругообращающихся истин, а если

[1] Само собою разумеется, что здесь вовсе нет речи о технических приложениях.

доля их и получает гласность, то в такой бедной и в такой не правильной форме, что люди и эти выработанные для них истины принимают такими же втесненными в память событиями, как и все остальное схоластическое достояние. Французы сделали больше всех для популяризации естественных наук, но их усилия постоянно разбивались об толстую кору предрассудков; полного успеха не было, между прочим, потому, что большая часть опытов популярного изложения исполнены уступок, риторики, фраз и дурного языка.

Предрассудки, с которыми мы выросли, образ выражения, образ понимания, самые слова подкладывают нам представления не токмо неточные, но прямо противуположные делу. Наше воображение так развращено и так напитано метафизикой, что мы утратили возможность бесхитростно и просто выражать события мира физического, не вводя самым выражением, и совершенно бессознательно, ложных представлений,— принимая метафору за самое дело, разделяя словами то, что соединено действительностию Этот ложный язык приняла сама наука: оттого так трудно и запутанно все, что она рассказывает. Но науке язык этот не так вреден, весь вред достается обществу; ученый принимает глоссологию за знак, под которым он, как математик под условной буквой, сжимает целый ряд явлений, вопросов; общество имеет слепую доверенность к слову — и в этом свидетельство прекрасного доверия к речи, так что человек и при злоупотреблении слова полон веры к нему — и полон веры к науке, принимая высказываемое ею не за косноязычный намек, а за выражение, вполне исчерпывающее событие. Для примера вспомним, что всякий порядок физических явлений, которых причина неизвестна, наука принимает за проявление особой силы и, по схоластической диалектике, олицетворяет ее до такой самобытности, что она совершенно распадается с веществом (такова модная метаболическая сила, каталитическая). Математик поставил бы тут добросовестно x, и всякий знал бы, что это искомое, а новая сила дает подозревать, что оно *сыскано*, и, для полного смешения понятий, к этим ложным выражениям присоединяются еще ложные сентенции, повторяемые из века в век без анализа, без критики и которые представляют все предметы под совершенно

неправильным освещением. Позвольте для ясности прибегнуть к примеру. Линней, великий человек в полном значении слова, но находившийся, как все великие и невеликие люди, под влиянием своего века, сделал две противуположные ошибки, увлекаемый двумя схоластическими предрассудками. Он определил человека как вид рода *обезьян* и возле него поставил нетопыря: последнее — непростительная зоогностическая ошибка*, первое — еще более непростительная логическая ошибка. Линней, как мы сейчас увидим, и не думал унизить человека родством с обезьяной; он, под влиянием схоластики, до того отделял человека от его тела, что ему казалось возможным беспощадно обращаться с формою и наружностию человека; поставив человека по телу на одну доску с летучими мышами, Линней восклицает: «Как презрителен был бы человек, если б он не стал выше *всего человеческого!*»... Это уже не Эпиктетов «Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Эта фраза Линнея, как все фразы вообще, когда они *только* фразы, могла бы преспокойно быть забыта, задвинутая великими заслугами его, но, по несчастию, она совершенно сообразна с схоластико-романтическим воззрением: она и темна, и непонятна, и спиритуальна, а потому-то именно и повторяется из рода в род, и не далее еще как в прошедшем году один из известных французских профессоров — Флуран — приходил в восторг от патетической выходки Линнея и говорил, что одной этой фразы достаточно, чтоб признать Линнея величайшим гением. Мы признаемся откровенно, что видели в этой фразе только угрызение совести и желание загладить вину грубого материализма грубым спиритуализмом; но два противуположные заблуждения, оставленные непримиренными, далеки от того, чтобы составить истину. Без всякого сомнения, человек должен отбросить все *человеческое*, если человеческое ничего другого не значит, как отличительную особность обезьяны двурукой, бесхвостой, называемой homo[1]; но кто же дал Линнею право человека сделать животным потому только, что у него *есть все, что у животного?* Зачем он, назвавши его sapiens[2], не

[1] человек (лат.).— *Ред.*

[2] разумный (лат.).— *Ред.*

отделил его во имя *того, чего нет* у животного, а есть у человека? И что за ребячья логика! Если человек, чтоб быть тем, чем может быть, должен оставить все *человеческое*, что же человеческого в этом оставляемом? Тут или ошибка, или невозможность: то, что должно оставить, вероятно, не человеческое, а животное, и как подняться над самим собою? Это что-то вроде того, как приподнять самого себя, чтоб быть выше ростом.

Сентенция Линнея взята нами случайно из тысячи подобных и худших; все они пробрались в наукообразное изложение и повторяются как будто по обязанности или из учтивости, мешая ясному и прямому пониманию исторической фантасмагорией. Совокупность подобных суждений и предрассудков составляет целую теорию нелепого понимания природы и ее явлений. Обыкновенные опыты популяризации, вместо того чтобы на каждом шагу обличать нелепость этих понятий, подделываются к ним, так, как необразованные няньки говорят с детьми ломаным языком. Но всему этому приближается конец: недаром А. Гумбольдт, как некогда Плиний, издает оглавление к оконченному тому под названием «Космос».

Если мы хоть издали несколько присмотримся к тому, что делается теперь в естественных науках, нас поразит веяние какого-то нового, отчетливого, глубокомысленного духа, равно далекого от нелепого материализма, как и от мечтательного спиритуализма. Рассказ общедоступный нового воззрения на жизнь, на природу чрезвычайно важен: вот почему нам пришло желание поговорить о публичных чтениях г. Рулье, к которым теперь и обращаемся.

Г-н Рулье избрал предметом своих публичных чтений *образ жизни и нравы животных*, т. е., как он сам выразился, *психологию животных*. Зоология в высшем своем развитии должна непременно перейти в психологию. Главный, отличительный, существенный характер животного царства состоит в развитии психических способностей, сознания, произвола. Нужно ли говорить о высокой занимательности рассказа последовательных и разнообразных проявлений внутреннего начала жизни, от грубого, необходимого инстинкта, от темного влечения к отыскиванию пищи и невольного чувства самосохранения до

низшей степени рассудка, до соображения средств с целию, до некоторого сознания и наслаждения собою? При этом рассказе сами собою отовсюду теснятся и просятся интереснейшие вопросы, наблюдения, исследования, глубочайшие истины естествоведения и даже философии. Выбор такого предмета свидетельствует живое понимание науки и большую смелость: здесь надобно часто прокладывать новую дорогу; психология животных несравненно менее обращала на себя внимание ученых естествоиспытателей, нежели их форма. Животная психология должна завершить, увенчать сравнительную анатомию и физиологию; она должна представить дочеловеческую феноменологию развертывающегося сознания; ее конец — при начале психологии человека, в которую она вливается, как венозная кровь в легкие для того, чтоб одухотвориться и сделаться алою кровью, текущею в артериях истории. Прогресс животного — прогресс его тела, его история — пластическое развитие органов от полипа до обезьяны; прогресс человека — прогресс содержания мысли, а не тела: тело дальше идти не может. Но вряд возможно ли наукообразное изложение психологии животных при современном состоянии естествознания; тем более должно уважить всякую попытку, особенно если она так хорошо выполнена, как чтения г. Рулье.

Зоология преимущественно занималась системой, формой, внешностью, признаками, распределением животных; классификация — дело важное, но далеко не главное. Соблазнительный пример страшного успеха Линнеевой ботанической классификации увлек зоологию и остановил, по превосходному замечанию Кювье[1], успехи ее обращением всего внимания, всех трудов на описание признаков и на искусственные системы. Против этого мертвого и чисто формального направления восстал Бюффон. Бюффон имел огромное преимущество перед большею частию современных ему натуралистов — он вовсе не знал естественных наук. Сделавшись начальником Jardin des Plantes[2], он сперва страстно полюбил природу, а потом стал изучать ее *по-своему*, внося глубокую думу в исследование фактов,—

[1] G. Cuvier. «His. des Sc. Nat.», T. I, page 301.

[2] Ботанического сада (франц.).— *Ред.*

думу живую и совершенно независимую от школьных предрассудков, притупляющих мысль и мешающих рутиной — успеху. Бюффон до излишества боялся классификации и систематики; предметом его изучения были животные со всей полнотою жизненных проявлений, с их анатомией и образом жизни, с их наружностью и страстями; для такого изучения животных мало было идти в музей, сличать формы, смотреть на одни следы жизни, подмечать их различия и сходства; надобно было идти в зверинец, в конюшню, на птичий двор, надобно было идти в лес, в поле, сделаться рыбаком,— словом надобно было сделать то, что сделал для американской орнитологии Одюбон. Бюффону не представлялось никакой возможности свои изучения природы привести в наукообразный вид: материал был недостаточен, да и склад его гения вовсе не был методологический; оттого, быть может, после него наука пошла не его дорогой, хотя пошла и по пути, им указанному. Бюффон натолкнул Добантона на анатомию животных — и сравнительная анатомия поглотила все внимание. Десяти лет не прошло после смерти Бюффона, как зоология простилась с ним и с Линнеем. Неизвестный, молодой естествоиспытатель напал, 21 флореаля III года Республики, на Линнееву систему в заседании института; что-то мощное, твердое, обдуманное и резкое звучало в словах молодого человека; мысль о четырех типах[1] животного царства и об основании разделения не на одном порядке признаков, а на совокупном рассматривании всех систем и всех органов поразила слушавших. Этому человеку было суждено сильно двинуть вперед зоологию. Он требовал анатомии, сличения частей, раскрытия их соответственности; труды его были многочисленны, невероятная проницательность помогала ему, каждое замечание его было новая мысль, каждое сличение двух параллельных органов раскрывало более и более возможность общей теории «правильного анализа», посредством которого можно по твердо определенным *условиям бытия* (так называет Кювье конечные причины) доходить до форм, до их отправлений[2]. Первый гениальный опыт практического

[1] Позвоночные, моллюски, суставчатые и звездчатые.

[2] Règne animal. Introduction.

осуществления этих начал привел Кювье от возможности восстановления целого животного по одной косточке к действительному восстановлению мира ископаемого; воскрешение допотопных животных было верхом торжества сравнительной анатомии. Мечты Кампера начали сбываться, сравнительная анатомия становилась *наукой*. Кювье говорит в своей «Палеонтографии» (стр. 90): «Органическое существо составляет целую, замкнутую в себе систему, которой части непременно соответствуют друг другу и содействуют одна другой в достижении общей цели; отсюда понятно, что каждая часть, отдельно взятая, служит представителем всех остальных частей. Если пищеварительные органы так устроены, что они назначены переваривать исключительно свежее мясо, то и челюсти должны быть устроены особым образом, и длинные когти необходимы, чтоб уцепиться и разорвать свою жертву, и острые зубы, и сильное мышечное развитие ног для бега, и чуткость обоняния и зрения; даже самый мозг хищного зверя должен быть особенно развит, потому что зверь способен на хитрость» и пр.[1] Какая ширина взгляда и какое торжество бэконовского наведения! Тем не менее исключительно анатомическое направление принесло свои неудобства — гениальность Кювье сглаживала их, у многих последователей его они обличились. Анатомия приучает нас рассматривать несущийся поток, стремительный процесс — остановившимся, приучает смотреть не на живое существо, а на его тело как на нечто страдательное, как на оконченный результат,— а оконченный результат значит на языке жизни *умерший:* жизнь — деятельность, беспрерывная деятельность, «вихрь, круговорот», как назвал ее Кювье. Сверх того, анатомическое, т. е. описательное, изучение тела животного — не что иное, как более развитое изучение наружных признаков: внутренность животного — *другая сторона его наружности* — это не игра слов. Наружность животного,

[1] Аристотель занимался очень много сравнительной анатомией— но отрывочно, целого не вышло из его трудов. Древние, впрочем, очень хорошо понимали соответствие формы с содержанием в организме. Ксенофонт в своих Ἀπομνημονεύματα, кн. I, гл. IV, говорит: «Что человеческое мог бы сделать дух человеческий в теле быка, и что сделал бы бык, если б у него были руки».

лицевая сторона его[1] — обнаруженная внутренность; но и все внутренние его части — точно такие же обнаружения чего-то еще более внутреннего, а это внутреннее начало и есть сама жизнь, сама деятельность, для которой части, вне и внутри находящиеся, равно органы. Дело в том, что ни изучение одной наружности, ни изучение анатомии не дает полного знания животного. Великий Гёте первый внес элемент движения в сравнительную анатомию: он показал возможность проследить архитектонику организма в его возникновении и постепенном развитии; законы, раскрытые им,— о превращении частей зерна в семенные доли, ствол, почки, листья и о видоизменении потом листа во все части цветка — прямо вели к опыту генетического развития частей животного тела. Гёте сам много трудился над остеологией; занятый этим предметом, он, гуляя в Италии по разрытому кладбищу и натолкнувшись на череп, лежавший возле своих позвонков, был поражен мыслию, которая впоследствии получила полное право гражданства в остеологии,— мыслию, что голова — не что иное, как особое развитие нескольких позвонков*. Но и гётевское воззрение оставалось *морфологией;* рассуждая, так сказать, о геометрическом развитии форм, Гёте не думал о содержании, о материале, развивающемся и непрерывно изменяющемся с переменою формы. Если б пределы этой статьи дозволили нам, мы остановились бы перед двумя другими великими попытками, оставившими длинный след за собою: мы говорим о Жоффруа Сент-Илере и об Окене. Учение о едином типе, эмбриология и тератология первого, опыт глубокой классификации другого*— приблизили зоологию к тому, к чему она стремилась,— к переходу из морфологии в физиологию — в это море, зовущее в себя все отдельные ветви науки об органических телах, для того чтоб свести их на химию, физику и механику или, проще, на физиологию

[1] Наружная физиогномия животного (habitus) до того резка, что при одном взгляде можно узнать характер и степень развития рода, к которому оно принадлежит; вспомните, например, выражение тигра и верблюда — такой резкой характеристики внутренние части не имеют по очень простой причине: наружность животного — его вывеска, природа стремится высказать как можно яснее все, что есть за душою, и именно теми частями, которыми предмет обращен к внешнему миру.

неорудной природы. «Тому достанется пальма в естествоведении,— говорит Бэр,— кто сведет на всеобщие мировые силы все явления возникающего животного организма. Но дерево, из которого сделают колыбель этого человека, не взошло еще».[1] Мы полагаем, напротив, что не токмо дерево выросло, но что и колыбель уж сделана. Сильная деятельность кипит во всех сферах естествоведения: с одной стороны, Дюма, Либих, Распайль[2], с другой — Валентин, Вагнер, Мажанди сообщили новый характер естественным наукам, какой-то глубокий, реалистический, отчетливый, верно ставящий вопрос; каждый журнал, каждая брошюра свидетельствует о кипящей работе; все это отрывочно, частно, но уже само собой связуется единством направления, единством духа, веющего во всех дельных трудах. Но если задача физиологии действительно состоит в том, чтоб узнать в органическом процессе высшее развитие химизма, а в химизме — низшую степень жизни, если она не может сойти с химико-физической почвы, то верхними ветвями своими она переходит в совершенно иной мир: мозг как орган высших способностей, рассматриваемый при отправлении своей деятельности, прямо ведет к изучению отношения нравственной стороны к физической и таким образом к психологии. Здесь могут явиться вопросы, которых не осилит ни физика, ни химия, которые могут *только* разрешиться при посредстве философского мышления.

Г-н Рулье, вполне понимая, что наукообразно изложить психологию животных при современном состоянии естествоведения невозможно, избрал манеру бюффоновского рассказа; рассказ его об инстинкте и рассудке, о сметливости животных и их нравах был жив, нов и опирался на богатые сведения г. профессора, известного своими важными заслугами по части

---

[1] К. Е. Бэр. Entwicklungsgeschichte der Tiere, p. XXII.

[2] Недавно в одной петербургской газете мы с удивлением прочли грубую брань против Распайля*. Не можно думать, *чтоб тут* была личность, однакож и не *химическое* было причиною разномыслия: судя по статье, трудно заподозрить писавшего в знании химии. Заслуги Распайля по части органической химии, микроскопических исследований, по части физиологии известны всем образованным людям и уважаются даже теми, которые не согласны с его гипотезами и теориями.

московской палеонтологии*; в его словах, в его постоянной защите животного нам приятно было видеть какое-то восстановление достоинства существ, оскорбляемых гордостью человека даже в теории. В одной из следующих статей* мы попросим дозволения сказать наше мнение о теориях и воззрении г. Рульe, теперь ограничимся мы изложением одного желания, приходившего нам в голову несколько раз, когда мы слушали увлекательный рассказ ученого. Целость всего сказанного ускользает; нам кажется, что это происходит от порядка, избранного г. профессором. Если б вместо того, чтоб последовательно переходить от одной психической стороны животной жизни к другой, г. профессор развертывал психическую деятельность животного царства в генетическом порядке, в том порядке, в котором она развивается от низших классов до млекопитающих, было бы больше целости, и сама собою складывалась бы в уме слушателей история психического прогресса в ее прямом соотношении с формою; к тому же это дало бы случай г. профессору познакомить своих слушателей с этими формами, с этими орудиями психической жизни, которые, беспрерывно развиваясь во все стороны, тысячью путями стремятся к одной цели, всегда сохраняя правильную соответственность между степенью развития психической деятельности, органом и средою.

〈1845〉

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЧЕСТИ

(«Современник» 1848*)

Noblesse oblige![1]

Западная поговорка

Il me serait bien difficile de te faire sentir ce que c'est (*le point d'honneur*), car nous n'en avons point précisement l'idée.

Usbeck à Ibben[2].

«Восточные письма» Монтескье*

Часто споры бывают поводом к поединку; недавно случилось противоположное: какой-то поединок подал повод к бесконечным спорам. Одни горячо защищали поединки, другие предавали их проклятию. «Дерзкое самоуправство»,— говорили одни. «Но кто же лучше меня самого управится в собственном деле?» — отвечали другие. — «Убийство», — говорили одни.— «Война»,— отвечали другие. Между этими противоположными воззрениями образовалась благоразумная средина, которая находила, что теоретически оправдать дуэль так же невозможно, как практически избежать ее, основываясь на премудром правиле, что «так должно быть» противоположно с «тем, что есть на самом деле». Разумеется, что все эти споры кончились, как всегда, совершенным затемнением вопроса и ожесточенной упорностью каждого в своих мнениях.

---

[1] Положение обязывает! (франц.).— *Ред.*

[2] Мне трудно объяснить тебе, что это такое (*вопрос чести*), потому что у нас нет соответствующего понятия. Узбек — Иббену (франц.).— *Ред.*

Главный порицатель дуэлей до того разгорячился, что чуть не вызвал рыцарственного защитника их.

Возвратившись домой после горячего прения и вспоминая на досуге все слышанное и говоренное, я увидел, что вопрос этот несравненно глубже и сложнее и что его не разрешишь ни панегириком, ни порицаньем.

Новое законодательство всех европейских государств осудило поединки, поставило их почти рядом с убийством, но поединки не искоренились. Несмотря на запрещения Густава-Адольфа, дрались под виселицей; несмотря на меры Ришелье, дрались перед плахой. Судьи твердые и нелицеприятные во всех случаях бывают снисходительны к дуэлистам, общественное мнение за них; человек, защитивший честь свою поединком, уважается. Все мыслящие люди отказывают не только отдельному лицу, но и целому обществу в праве убийства, и большая часть утверждает, что дуэль — неизбежное зло, единое возможное ограждение неприкосновенности лица от оскорбления. Такое противоречие законодательства с общественным мнением, практического приложения с теоретическим понятием прямо ведет к вопросу: «На каком основании держится поединок в образованнейших странах Европы?»

Много было писано о поединках, начиная с Брантома*; но их рассматривали так, как наши милые спорщики, с произвольных точек зрения и под влиянием незыблемых предрассудков или готовых понятий. Бранили поединки на основании неприлагаемой, мечтательной морали и, вместо обсуживания дела, высказывали холодные риторические фразы о смиренном прощении; бранили их на основании юридическом, которое требует, чтоб дело обиды было решено не обиженным, а судьей; осуждали их с точки зрения римского права, не отстранив предварительно феодального понятия о личности, твердо стоящей за свои права. Вопрос о том, почему римское понятие о государстве единственно истинно и почему феодальное понятие о личности, о ее наследственных, семейных и политических правах, развитое средними веками, неизменно, не был решаем даже в такое время, которое, повидимому, отрекалось от всего феодального,— во время переворотов. Лучшее доказательство, что человек остался при своем прежнем понятии

о себе и о государстве. Современный человек думает, что средние века далеко от него, а они в нем: он тот же рыцарь, но переложенный на другие нравы.

Не имея возможности, по многим причинам, предоставить историческую монографию о поединках, я хотел сколько-нибудь способствовать уяснению вопроса, занимавшего споривших приятелей, и с этой целью написал сжатый исторический очерк развития чести, предоставляя им выводить последствия какие угодно. Я нигде не защищаю дуэли и нигде не браню ее.

Бранить или хвалить какой-нибудь всеобщий исторический факт — дело совершенно праздное, извиняемое только благородным увлечением, в силу которого вырываются речи негодования или восторга. Доверие к роду человеческому требует настолько уважения к вековым явлениям, чтоб, и отрешаясь от них, не порицать их: в порицании много суетности и легкомыслия; дикие с честью хоронят умерших, а не ругаются над трупами. Кто бранится, тот не выше бранимого: бранятся там, где недостает доказательств. И какая цель подобных разглагольствований? Исправление нравов разве? Я думаю, выросшего человека мудрено исправить педагогическими средствами и благородным негодованием, когда он плохо исправляется уголовными средствами и негодованием палача. Достигайте, чтоб он понял истину,— это будет вернее; идти далее, хвалить или порицать показывает неуважение к его смыслу. Сказать, что поединок — зло, нелепость, преступление, легко и справедливо, но недостаточно; неужели же нет причин, почему это *зло*, эта *нелепость* сохранилась до сих пор? Если же, вместо порицания и одностороннего суждения, мы разберем и внутреннюю сторону предмета, тогда мы узнаем общие основания, на которых опирался поединок, и легко, может быть, найдем связь его с другими явлениями, их круговую поруку; такой разбор может нас привести в свою очередь — как бы в вознаграждение за то, что мы узнали историческое основание факта, отвергаемого нами,— к раскрытию неразумности фактов, незыблемо признаваемых нами; et c'est autant de pris sur le diable[1], как говорят французы. Резкость односторонних суждений на

[1] и это уже будет какой-то победой над дьяволом (франц.).— *Ред.*

первую минуту ослепляет; в них больше характерного, определенного; но если вглядеться им прямо в глаза, тощесть их тотчас открывается. «Всего резче видят одну сторону,— сказал Аристотель,— те, которые видят мало сторон».

I

У человека, вместе с сознанием, развивается потребность *нечто свое* спасти из вихря случайностей, поставить неприкосновенным и святым, почтить себя уважением его, поставить его выше жизни своей. Пристально вглядываясь в длинный ряд превращений чтимого, мы увидим, что основа ему не что иное, как чувство собственного достоинства и стремление сохранить нравственную самобытность своей личности,— и то и другое сначала в формах детских, потом отроческих, как во всяком человеческом развитии. Сначала это чувство выражается в семейных отношениях, в фанатической привязанности к роду, племени, обычаю, преданию, к *своим* богам в противоположность соседским. Потом оно является свято уважаемым *общим делом* (res publica); государство, город поглощает еще человека, но уже он силен своим гражданским значением. Не удовлетворенный однакож общим делом, человек ищет свое дело, обращается внутрь себя, в груди своей начинает открывать нечто твердое и незыблемое, в себе находит мерило своего достоинства и хладнокровно смотрит на племя, на город, на государство; тогда быстро развивается в нем понятие *чести и собственного достоинства*. Но это еще не все. Перенося в грудь свою свое чтимое, человек переносит его на истинную почву; но какова эта грудь? Может быть, он понимает себя не таким, каким он действительно есть,— ниже и выше, духовнее и животнее, затерянным в общине или одиноким в себе самом; наконец, может быть, его грудь, в которую он переносит кивот свой, не *его* грудь; может быть, свободный от прежних уз, он перевязан новыми; а каким он себя понимает, так понимает он и свою честь. «Основа чести может быть нравственна и необходима, может быть случайна и бессмысленна»*, но всегда и вечно она есть «отражение человеком своей самобытности»[1] сообразно

[1] Hegel, Aesthetik. T. II.

тому, как он ее понимает или, вернее, как ее понимает его эпоха.

Три великие эпохи жизни человечества представляют нам те три разные пониманья человеческого достоинства, до которых мы коснулись. Восток представляет низшую ступень древнего понятия о личности; она почти затеряна в племени, в царстве. Греко-римский мир с своими гражданами — высшее его развитие. Основа человеческого достоинства обоими была понята вне человека. Наконец, средние века обернули вопрос: существенным сделалась личность, несущественным — res publica. Самая эта исключительность указывает на необходимую односторонность последствий. Жизнь общественная — такое же естественное определение человека, как достоинство его личности. Без сомнения, личность — действительная вершина исторического мира: к ней все примыкает, ею все живет; всеобщее без личности — пустое отвлечение; но личность только и имеет полную действительность по той мере, по которой она в обществе. Аристотель превосходно назвал человека «*зоон политикон*». Истинное понятие о личности равно не может определиться ни в том случае, когда личность будет пожертвована государству, как в Риме, ни когда государство будет пожертвовано личности, как в средние века. Одно разумное, сознательное сочетание личности и государства приведет к истинному понятию о лице вообще, а с тем вместе к истинному понятию о чести. Сочетание это — труднейшая задача, поставленная современным мышлением; перед нею остановились, пораженные несостоятельностью разрешений, самые смелые умы, самые отважные пересоздатели общественного порядка, грустно задумались и почти ничего не сказали. Мы не беремся дотрогиваться до нее, но думаем однако, что она не разрешена механическими опытами сочетать феодальную личность с римским понятием государства; это — одно перемирье, т. е. такое соединение враждебных начал, при котором каждый остается при своей неприязни, но, уступая внешним обстоятельствам, не дерется, а протягивает руку врагу. Конечно, жизнь, несмотря на все учения о политике и о праве, делает свое дело, роется кротом и везде прорывается к свету; в этом нет сомнения, иначе мы не дошли бы не только до решений,

но и до положения вопросов, а это дело важное; правильно понятый вопрос — пол-ответа. Однако нельзя не сознаться, что в самой философии права, в самих утопиях разных толков господствуют одни отжившие или отживающие понятия о государстве и о личности. Впрочем, нам не нужно разрешения этой задачи,— цель наша ограниченнее: мы имеем только в предмете указать круговую поруку поединка с попиманьем прав личности, от восточной непосредственности до щепетильного point d'honneur'a[1] французского дворянина.

II

Людям надобно было все детское доверие и всю беззаботность животного, всю настойчивость и упорность естественного побуждения, чтобы своими разрастающимися семьями обжить землю. Жизнь семьями обусловила возможность всего человеческого развития. Конечно, семьи не оттого не расходились, что была при этом какая-нибудь мысль; разум еще дремал тогда у человека, и ему достаточно было той низшей степени рассудка, которая совпадает с самим органическим процессом, в силу которой, например, новорожденный ищет пищу ртом в первый день своего рождения. Люди жили семьями, руководствуясь тем же инстинктом, которым руководствуются животные породы, скитающиеся стадами, собирающиеся в рои. Забытый и неизвестный труд дикого человека был тягостен, он облегчался одною грубостью обреченного на этот труд. Веками и веками усилий приладился человек к грозной, беспощадной среде и ее приладил к себе: казалось, стихии ежеминутно могут мощным бесстрастием своим, непреодолимой силой уничтожить бесследно это слабое существо, и, вероятно, не одна тысяча легла, подавленная невнимательной природой, строго исполнявшей законы свои возле них; но это слабое существо имело перед окружавшей его природою большое преимущество — преимущество хитрости, уловок, которыми развитое животное достигает своих целей, а среда не имела ничего враждебного против его работы. Тысячи темных и неизвестных нам поколений удобрили костями своими землю прежде, нежели

[1] вопроса чести (франц.).— *Ред.*

сознание настолько развилось, что стало помнить свое былое, что это *былое* сделалось достойно памяти, и тут, через эти тысячелетия, каким мы встречаем человека? Он еще не может прийти в себя, опомниться; он победил, но с робостью в душе, но с сознанием силы природы и своего бессилия; он еще с ужасом смотрел на стихии, подкладывая им злобные мысли, повергался в прах перед их грозной и враждебной мощью и просил пощады; дикая молитва его была воплем страха, в котором еще не звучали титановские ноты Прометея.

Один оплот, один отдых, одна надежда для человека была семья, племя, эта кучка, сросшаяся от единства интересов и единства опасностей, отстоявшая себя против стихий, зверей и врагов, начавшая хранить свое предание и свой обычай. Далекий от сознания своей самобытности, человек поглощался племенем, семьею; все чтимое им было вне его. То были неведомые силы природы, которым он начал придавать человеческие свойства в уродливых размерах, и патриархальные отношения к семье, в которой личность была ничтожна, а род неприкосновенен, свят. На этих-то началах развились колоссальные азиатские монархии. В самом высшем гражданском развитии своем азиатец считал себя несовершеннолетним сыном, рабом; понятие раба его не унижало, скорее его унизило бы название *вольного* человека: ему бы показалось, что это слово значит *бродяга*, *бездомовник*, изгнанный Измаил*, не принятый ни в какое племя; и что же он в самом деле один? Но как бы то ни было, признавая себя рабом, несовершеннолетним сыном, он не мог развить в себе понятия о человеческой личности; раб — вещь; истинная личность его в господине, которого он член, орган. Рабу трудно нанести оскорбление: он или не дорос до того, чтоб понять его, или перенес уже безусловное оскорбление утратою всех человеческих прав и примирением с этой утратой. Однако мог ли восточный человек оставаться без всякого понятия о чести? Ни под каким видом. Это так же невозможно для человека, живущего в гражданском обществе, как невозможно бы было себе представить действительное понятие о достоинстве человека у азиатца. На Востоке не могли развиться поединки в нашем смысле; но тем страшнее и злобнее развилась месть, всего чаще не за собственную обиду, а за обиду семьи, обычая;

в Японии оскорбленный разрезывает свой живот — новое доказательство, что у них не развито ни тени истинного понятия о бесконечном достоинстве человеческом; японец не находит в себе средства очищения, он не находит того места, которое выше обиды, которое примирится уничтожением оскорбителя: он может смыть обиду только самоубийством. Притом азиатцы мелочно раздражительны, у них казуистика чести развилась не хуже средневекового, но все это — один пустой формализм, что-то условное; так в азиатских царствах дошли до смешного внешние знаки почести, учтивости, т. е. все негодное или по крайней мере пустое, сопровождающее понятие о личном достоинстве, без истинного смысла его[1].

Личность азиатских властелинов[2] была единая человеческая личность на Востоке, и действительно одни они в Азии понимали честь и вступались за нее. Высоко поставленную личность их было трудно оскорбить; рабами она обидеться не могла: обида существует собственно между личностями, признающими взаимные права; цари могли оскорблять друг друга, и в этих редких случаях царства дрались, опустошались,— вот поединок Востока. Отсутствие сознания личного достоинства, неотрешенность от физических определений, несчастия, неразрывные с детством, погубили Азию. Взгляните на эти чудовищные царства, возникающие с притязанием на покорение вселенной и удивляющие сперва страшной силой, потом страшной слабостью; они сходят с поприща истории, дряхлые в юности, или остаются в жалкой дремоте: без нравственной личности нет движения, прочности, развития. Смутное понятие чести выражалось у азиатца слепой преданностью семье, племени, касте. Помните ли вы, как Ксеркс подвергался опасности на море и кормчий объявил, что корабль грузен? Царедворцы не задумались погибнуть для спасения Ксеркса: медленно выходил

---

[1] К подобным явлениям принадлежало наше местничество, основанное на патриархальной породистости, а вовсе не на понятии своего достоинства. Замечательно, что с совершеннейшей потерей всех человеческих понятий о достоинстве и о чести — в восточной империи точно также вырос уродливый, вычурный и смешной формализм почестей, заменивший честь *действительную*. <Примеч. 1862 г.>.

[2] В тексте: *царей* (проп. цензурой). <Примеч. 1862 г.>.

каждый из рядов, приближался к царю, склонялся перед ним, потом твердыми шагами шел к борту и кидался в море. Это восточные Термопилы; царедворцы поступили совершенно последовательно. Любимец Дария Истаспа, видя, что он хочет снять осаду Вавилона, обрубил себе уши и нос и в этом жалком виде передался вавилонянам, прося отмщения и говоря, что его изуродовал Дарий. Вавилоняне сделали его военачальником, и он предательски отдал их город Дарию Истаспу. Сколько тут самоотвержения! Это восточный Баярд.

Понятие о личности является сознанным в отношении к государству в мире греко-римском. Личность неразрывна с понятием гражданина, она не свободна еще в отношении к себе: восточное поглощение всех личностей одною повторяется и здесь, но место случайного лица занимает нравственное, мифическое лицо города. Каждый гражданин сознавал в самом себе долю идеальной, царящей личности города или отечества, и эта доля была неприкосновенная, святая святых его души. Патриотизм грека и римлянина был раздражителен и не выносил никакой обиды; в нем заключался древний point d'honneur. Фемистокл, сказавший: «Бей, но дай высказать», тем ярче выражает греческое понятие о чести, что оно в этом случае прямо противоположно средневековому понятию. Но *общее*, чтимое, святое было понято опять под определением непосредственности и внешности; личность человека и его достоинство поглощались достоинством гражданина, а значение гражданина было основано на случайности месторождения, его права были права монополии; свободы в древнем мире не было; свободен был Рим, Афины, а не люди. «Граждане древнего мира,— сказал, не помню, какой-то историк,— потому считали себя свободными, что все участвовали в правлении, лишавшем их свободы». Уважение к себе как к гражданину было недостаточно; оно не помешало ни клиентизму, ни обоготворению цезарей. Римский гражданин, глубоко развращенный невольничеством, привычкой считать, сверх невольников, всех иностранцев полулюдьми, врагами, варварами, не нашел в душе своей никакой нравственной опоры, когда Рим стал падать, да и Рим, с своей стороны, не нашел опоры в своих гражданах. Катон и множество других республиканцев-консерваторов, увидавши,

что Рим падет, лишили себя жизни и поступили совершенно последовательно римскому понятию о чести. Что оставалось в их жизни? Разве она имела значение, независимое от Рима, значение не национальное, человеческое? Нет. Правда, Сенека стал поговаривать о неотъемлемом достоинстве человека, присущем ему потому, что он человек, но Сенека родился после смерти республики и в то время, как иной дух начал веять в самом Риме.

Так как истинные личности были в греко-римском мире — города, то и поединки могли быть, в некотором смысле, только между городами или республиками; Афины и Спарта всю жизнь провели в дуэлях. Между частными людьми в Риме поединка не могло быть потому, что дела чести решались цензурой. Государство имело право отнять все нравственное значение гражданина. Если и случалось что-нибудь вроде поединков, то основа их была непременно патриотическая: такова дуэль между Горациями и Куриациями*. Греческая философия и римская цивилизация приготовили переход к тем понятиям о личности, которая возвестилась людям евангелием, и если Аристотель был настолько грек, что делил натуру человеческую на свободную и рабскую, то Юлий Цезарь был настолько человек нового мира, что жалел рабов и гладиаторов; очень понятно, почему первый пример гуманности представляет именно тот человек, который нанес смертельный удар республике. Неблагопристойные ругательства Цицерона, в полном заседании Сената, против Антония, которого он обвиняет, между прочим, в том, что он пьяный бегал без всякой одежды по улицам, вызвали ответ одного сенатора, который так же обругал Цицерона и заключил, что если Цицерон носит длинную тогу, то это для прикрытия своих отвратительных ног. Пример этот показывает, что уважение к личности мало было развито в Риме, что всего ярче выразилось в отвратительном отношении патроната и клиентизма.

III

Личность христианина отрешается от древнего гражданского определения. Спаситель зовет мытарей и женщин, отворяет царство божие разбойнику, бесщадно казненному зако-

ном гражданским. Слово «невольник», «раб» становится богохульством, нищета — достоинством, национальность теряет смысл в отношении к единственной пастве, к единой церкви: любовь к отечеству уступает первенство любви к ближнему. Личность христианина не только освобождалась от своего гражданского и исключительно национального определения — она стремилась и от всего земного; она совлекла с себя старого Адама, т. е. всю сторону непосредственную, телесную, земную любовь, земное семейство, земные страсти, земную мудрость, земное богатство, даже земное тело. Но братственная община, о которой говорит евангелист Лука в «Деяниях»*, не знавшая права собственности, имевшая одну душу и одно сердце, распространяясь, встретилась с государством. Ничего не могло быть противуположнее христианским началам, как понятие о государстве, развившееся в римской империи того времени. Диоклециан, первый *восточный царь* римский, заметил противоречие азиатско-римского понятия о государстве с христианским, он с свирепостью человека, не понимающего дух времени, гнал огнем и мечом юную церковь. Но делать было нечего; им надобно было помириться. Государство было необходимо для христиан: это была доля кесаря, которую надобно было предоставить кесарю. При таком противоречии совести с гражданским порядком, частного с общим, нельзя было развиваться,— можно было остановиться, потерять всякую силу и строение и держаться потому только, что еще падение не совершилось. Это доказывает та часть Римской империи, которая осталась верною древнему государству и которая разлагалась до XV столетия. Действительное примирение вышло инде.

С своей стороны, ничего не может быть противоположнее не только восточному рабу, теряющемуся в племени, но и римскому гражданину, поглощенному своим государственным значением, как германец, боящийся всякой централизации и предпочитающий дикую независимость удобствам гражданской жизни. Германцы жили кучками, общинами, знаменами или дружинами; они почти не принадлежали земле, на которой родились, носили родину с собой и везде были дома. Когда хаотическое брожение переселений, завоеваний, первого устройства успокоилось, когда германцы приняли христианство,

когда весь этот новый мир начал слагаться, принимая в себя и остатки древней цивилизации и новую религию, развивая ими свою собственную сущность, тогда первым полным и органическим следствием взаимного проникновения этих элементов является *рыцарство*. Рыцарством вооруженная ватага кондотьеров, наездников, необузданных воинов поднялась из мира грабежей и насилия в феодальное благоустройство. Ключом свода этого готического братства, этих военных граждан, единственных правоверных людей того времени, была беспредельная самоуверенность в достоинстве своей личности и личности ближнего, разумеется, признанного равным по феодальным понятиям. Это было нечто совершенно новое. Не только каждый клочок земли захотел самобытности после того, как весь мир жил одним Римом, но каждый непобежденный человек понимал себя независимым, своевольным. Феодализм — апотеоза личности воина, монадология в гражданском развитии; в нем нет действительного центра.

Понятие о государстве, о городе как о едином действительном, к которому отнесен человек, пало; человек как воин-защитник, как рыцарь начал понимать себя собственным средоточием; понявши это, он должен был высоко поставить свою честь, свою самобытность — гордую и независимую. Не массы сознали эту мысль о достоинстве личности: массы были побежденные, массы были отсталые горожане, люди римских понятий, массы были несчастные земледельцы, для которых час сознания еще не наставал; ее поняли доблестнейшие из воинов, ее поняли духовные. Ничего не может быть пагубнее для истории, как вносить современные вопросы симпатий и антипатий в разбор былых событий; если в некоторых странах позволяют людям судиться *пэрами*, то какое же право мы имеем судить прошедшее не по его понятиям, а по понятиям иного времени? Мы привыкли сопрягать с словом «рыцарство» понятие угнетения, несправедливости, касты; но с тем самым словом мы вправе сопрягать смысл совершенно противоположный. Мы теперь смотрим на рыцарство как на прошедший институт; его слабые стороны для нас раскрыты; нас оскорбляет его гордое чувство бесконечного достоинства, основанное на бесконечном унижении привязанного к земле; оно пало от своей

односторонности, оно наказано; оно до того умерло, наконец, что пора ему отдать полную справедливость.

Взгляните на рыцарство, отступивши в VII, VIII столетие,— и оно представится передовой фалангой человечества; оцените внутреннюю мысль его о достоинстве человеческой личности, о святой неприкосновенности ее, о строгой чистоте — и вы поймете великое начало, внесенное им в историю. Оттого мы рыцарей можем принять за высших представителей средних веков; истинные представители эпохи — не арифметическое большинство, не золотая посредственность, а те, которые достигли полного развития, энергические и сильные деятельностью; другие были в ребячестве или в дряхлости. *Человек научился уважать человека* в рыцаре; этого мы им не забудем. Гордое требование признания рыцарских прав было почвою, на которой выросло сознание права и достоинства человека вообще. Рыцарь далеко не был ниже римского гражданина. Римский гражданин имеет перед ним то преимущество, что он *развил* свое понятие; но то, чего домогался рыцарь, было выше того, чего достигнул римлянин. Сущность гражданина — вне его, случайность рождения определяет права его; сущность рыцаря — в нем самом, и он становится рыцарем, а не родится. Его право не принадлежит его личности как случайной, а принадлежит ему по развитии в случайной личности ее родового значения (разумеется так, как оно понималось в те времена). Никто не был признаваем христианином по одному физическому рождению; никто не родился рыцарем; для первого надобно было духовное рождение крещением, для второго — искус и торжественное признание посвящением. Рыцари были единственные свободные люди в средних веках; они составляли между собой братство, рассеянное по всему католическому миру и сочувствовавшее между собою; их соединяло единство обычаев, единство понятий о своем достоинстве, единство предрассудков; каждый рыцарь сознавал неприкосновенное величие своей личности и готов был доказывать его мечом. Но можно ли назвать братством учреждение, при котором массы были угнетены? А как же древние республики называются республиками, когда в них одни граждане имели права? Низшие классы в средних веках не только не были признаны высшими, но и

собою не были признаны; их признавала одна церковь и перед алтарем они были равны; человек признается человеком настолько, насколько он сам себя признает человеком. Кровавые события времен Жакри* выразили иные потребности со стороны народа и обнаружили иное сознание, и рыцари всеми ужасами и свирепостями того времени не могли ничего сделать. То же в городах: по мере того, как коммуны начинали сознавать свои права, рыцари со скрежетом зубов должны были уступать; сознание это росло, а рыцарство дряхлело. В 1614 году оно еще протестовало против смелости среднего состояния*, дерзнувшего назваться братом рыцарства, а в 1787 году Сиэс издал свою брошюру* du tiers-état[1] и уверял, что среднее состояние *всё*,— мнение, в которое теперь никто не верит.

Права личности у рыцарей доказывались и поддерживались оружием; мир феодальный был дик и груб; кроме оружия и материальной силы, человек не находил себе другого оплота. Рыцарь был прежде всего воин, победитель; подозрение в трусости и неумении владеть мечом было высшим оскорблением. Рыцарство и тут в мир вечной войны и резни внесло свое благотворное влияние: свирепое и необузданное насилие облагораживается; враги не бросаются друг на друга, как звери, а выходят торжественно на поединок — благородно, открыто, с равным оружием. Поединок был совершенно на месте у этого военного братства. Кто судья над рыцарем, как не он сам, как не равный ему противник? Для горожанина, для простолюдина существует судебное место; но разве рыцарь подсудим кому-нибудь в деле чести, и что государство и его закон за мерило, за возмездник его оскорблению? Он сам себе достанет право — копьем, мечом. Он признавал *самоуправство* естественным, неотъемлемым правом. Зачем он, оскорбленный, пойдет искать юридической расправы, когда он не верит в ее возможность восстановить честь? Он ищет собственной опасностью, смертью свой суд и в нем оправдания себя в чужих глазах и своих: казнь виновного согласна с решением небесным. Конечно, храбрость и ловкость в управлении оружием — самый жалкий критериум истины, хотя, заметим мимоходом, трусость — вечный ошейник

[1] о третьем сословии (франц.).— *Ред.*

рабства. В наше время странно было бы доказывать истину тем, чтоб проткнуть копьем того, кто вздумает возражать или кто не согласен с нами в мнении. Самое требование признания моей личности так, как *я хочу*, несправедливо; но во время рыцарства, когда чувство чести и самобытности было так ново и одушевляло грубые и с тем вместе полудетские натуры, понятно и деспотическое требование признания и готовность оружьем дать вес своему требованию. Не надобно забывать, сверх того, что тогда человек детски веровал, что небо поможет правому; самые судьи не находили тогда лучшего средства к раскрытию истины, как суд божий, как поединок. Поединок имел религиозную основу и нравственную. Нравственный принцип поединка состоит в том, что *истина дороже жизни*, что за истину, мною сознанную, я готов умереть и не признаю прав на жизнь отвергающего ее. Мало сознавать достоинство своей личности: надобно, сверх того, понимать, что с утратою его бытие становится ничтожно; надобно быть готовым испустить дух за свою истину — тогда ее уважат, в этом нет сомнения. Человек, всегда готовый принесть себя на жертву за свое убеждение, человек, который не может жить, если до его нравственной основы коснулись оскорбительно, найдет признание.

Гражданин древнего мира имел всю святую святых в объективном понятии своего отечества, он трепетал за его честь. Рыцарь, беспрестанно сосредоточенный на самом себе, при всяком событии думал прежде всего о своем достоинстве; его ни во сне, ни наяву не оставляла мысль о его неприкосновенности; ревнивое и раздражительное чувство чести было беспрерывно, лихорадочно возбуждено. Жизнь, имеющая такую основу, должна была принять характер угрюмый, восторженный, пренебрегающий суетами и в то же время страстный, необузданный. С одной стороны католицизм освобождал человека на том условии, чтоб он отрекся от всего человеческого; с другой — рыцарство давало ему копье и ставило его вечным стражем своей чести. И он был величествен — этот страж! Да, этот человек с поднятым челом, опертый на копье, величаво и гордо встречающий всякого, уверенный в своей самостоятельности по силе, которую ощущает в груди, ничего не боящийся, потому что презирает жизнь, был высок и полон поэзии. Вся самобытность рыцаря

в нем самом, это бедуин, окруженный степью; он едва принадлежит какой-нибудь стране, он воин всего мира католического, он почти чужд патриотизма,— где его отечество? Это монада, сознающая себя самобытным средоточием, сознающая все царственное величие своей личности; он беспредельно верен своей присяге, его честь — залог его верности, его верность — свободный дар; он не может изменить, потому что мог не отдаваться; он не понимает восточного, хвастливого самоунижения. Греки смеялись над невежеством крестоносцев; быть человеком казалось грубостью для византийцев. Необразованные воины эти, покрытые железом, готовы были за тень оскорбления лечь костьми; греки считали это предрассудком, они, в случае нужды, подмешивали яду, делали доносы... их воспитания были совершенно розны.

Но как ни было сильно развитие рыцарства, как оно ни было ярко и поэтично, оно носило в себе причину быстрой дряхлости; она очевидна.

Мы упомянули, что христиане первых веков приняли как неотразимое событие римское государство; истинного сочувствия между древним порядком вообще и новой религией не могло быть. Монастыри показывали разом внутреннюю, социальную мысль христиан того времени и их отвращение от языческого устройства. Мы видели такую же несвойственность германского характера с римским понятием государства. Тацит в свое время уже заметил, что германцы любят жизнь вразбивку. Шлегель думал уколоть германцев, говоря: «Der Deutschen wahre Verfassung ist Anarchie»[1], и высказал невзначай мысль, которой глубины не предвидел. Рыцарь — германец и христианин вместе. Он осуществил этот протест личности против поглощающего государственного единства — так, как другой протест, смиренный и безоружный, являлся в католическом монахе, отвергавшем гражданские определения. Мечта Карла Великого о сильной империи не могла осуществиться: папа, рыцарство и монашеские ордена составляли оппозицию. Церковь признавала одно единство — единство паствы под жезлом одного пастыря; феодализм хотел жить на каждой точке земли; высасы-

[1] Естественное состояние немцев — анархия (нем.).— *Ред.*

вание всех соков одним городом было для него противно, он был слишком завистлив, чтоб помогать централизации, у него везде был свой центр; кто же бы его понудил уступить монополию одному городу? Польза, происходящая от сосредоточения, от единства управления, мало согласовалась с его понятием самобытности каждого местечка и уважения ко всем федеральным обычаям его. Эту независимую личность германскую рыцарство выразило энергически. Но во имя чего же был этот протест? Во имя чего освобождалась личность рыцаря? Зачем она так ревниво отстаивала себя против государства? По странному сочетанию противоположностей, составляющему чуть ли не отличительную черту всего средневекового, рыцарь, человек, развивший в себе чувство самобытности до высшей степени, оставался нравственным рабом; этот храбрый и непреклонный воин, отважный завоеватель, гордый защитник своей личности, был с тем вместе трус, и если короли и горожане боялись его, то он сам боялся очень многого. Великий шаг против древнего мира был тем сделан, что чтимое, неприкосновенное, святое поняли внутри своей груди, а не в городе; но для полного развития личности человеческой недоставало нравственной самобытности: она была совершенно неизвестна в средних веках. Тогда все было несвободно; даже point d'honneur, хранитель личных прав, был часто самым тяжким игом; так федерализм отстаивал самобытность частей государства для того, чтоб доставить торжество своим провинциальным обычаям, нередко подавлявшим личную волю вдвое больше.

Логика событий неумолима. Рыцарь, свободная личность в отношении к государству и раб внутри, развил односторонность свою до нелепости; он с каждым днем делался более и более Дон-Кихотом; не имея действительного критериума чести, он весь зависел от обычая и мнения; он, вместо живого и широкого понятия человеческого достоинства, разработал жалкую и мелочную казуистику оскорблений и поединков. Рыцарство пало жертвою своей односторонности, оно пало жертвою противоречия, только формально примиренного в его уме. Но наследие, им завещанное, было велико; оно искупает и его односторонность и весь временный вред, нанесенный им; лучшего наследия никто не завещал людям, ни Афины, ни Рим,—

понятие о неприкосновенности личности, о ее достоинстве — словом, *о чести*. Честь скоро сделалась неписанной хартией германо-романских народов. «Возле гражданского суда учреждается свой трибунал, трибунал чести»[1], восполняющий недостаток юридической расправы. С человеком, который ставит свою честь выше жизни, с человеком, идущим добровольно на смерть, нечего делать: он *неисправимо человек*. Уважение к личности, унаследованное от рыцарей, мало-помалу распространившееся по всем сословиям, трепет за ее чистоту спасли Европу во время революционного противодействия феодализму со стороны ожившей идеи государства и централизации; они помешали, по превосходному выражению Монтескье, «чиновнику сделаться лакеем и солдату — палачом». Людвиг XI, Генрих VIII и сам Филипп II знали очень хорошо, что стнетаемость лица простирается до известной степени, что его можно ограбить, убить, запутать в сети, сжечь на auto da fe, подавить общими мерами, но трудно и опасно оскорбить, нанести личную обиду; они знали, что горе дотрогивающемуся до чести; и то же самое верование чести сделалось опорою престола европейских монархий. Ее нет во всех богдыханствах, деспотиях и султанатах Востока[2].

По мере падения рыцарства и самого католицизма возникают в Западной Европе и укрепляются монархии с своими горожанами, постоянными войсками, с своими судами и придворными, с своей религией — протестантизмом, англиканской и галликанской церквями. Римская идея государства является снова, но уже не как *общее дело*, а как дело правительства, как общественная польза, как поземельная неприко-

---

[1] Montesquieu. «Esprit des Lois».

[2] Придется исключить один Багдадский халифат во время его цветения и мавров вообще. Это составляет исключение, какое-то mezzo-termine ‹среднее—*итал.*› между Востоком и Европой. Зачем Монтескье отделил честь от добродетели? Они расходятся только в крайностях; например, добродетель, доводящая смирение до позволения бить себя палкой, распадется с честью, так, как казуистика бретера или d'un raffiné ‹утонченного человека — *франц.*› распадается с добродетелью. ‹Примеч. 1848 г.›.

Разве под добродетелью Монтескье понимает именно ту цивическую virtus ‹добродетель — *лат.*›, которая была основою древних республик? ‹Примеч. 1862 г.›.

сновенность. Непреклонная, независимая личность феодала приносится на жертву государству; напрасно прячется она в своих замках и лесах — новый порядок бьет ее везде. Понятие политической государственной самобытности развивается в этом мире... но на какой-то холодной основе мелкого эгоизма, личность жертвуется не отечеству, не государству, а спокойствию и материальным удобствам. Настойчивый в своих правах горожанин, хитрый легист не развили в себе того благородного и открытого характера, как рыцарь; гордость, с которой феодалы смотрели на них, понятна. Поле брани, привычка к оружию, к опасности удивительно воспитывает человека; он привыкает пренебрегать мелочами, к которым привязывает оседлая и спокойная жизнь; у него складывается какой-то односторонний, но энергический взгляд на вещи, и в то же время взгляд наивно детский; он будет грабить, но не будет хитрить; он будет насиловать, но не будет подыскиваться; он свирепо убьет, но не из-за угла. Совсем не так был воспитан горожанин: он был умнее, дельнее, ученее рыцаря; но он был рабом, привык к скрытности, к проискам, к уклончивости; он силен в корпорации — и ничтожен один; он силен, опираясь на положительный закон; опереться на себя ему и в голову не приходило; словом, в нем не было той откровенности, которая присуща действительному сознанию личности. Этой откровенности вообще не было во всем перевороте против феодализма. Он сделался исподволь; союзники, соединившиеся против феодализма, были заклятые враги (Людвиг XI и чернь). Главнейшие деятели его скрывали свои противоборствующие идеи, не только идучи на бой, но и после победы (например, Ришелье). Наружно они сохраняли старые формы, наружно они выдавали себя не только за консерваторов, но и за историческую всегдашность, призывали лжесвидетельствовать в свою пользу историю, обманывали, коварством побеждали врага и только наружно хранили вид чести и доблести[1].

---

[1] Людвиг XIV первый снял маску — l'Etat c'est moi ⟨государство это я — *франц.*⟩ сделало бы честь откровенности Тимура или Чингисхана; глядя на него, и горожанин ее снял, наконец,— в зале Jeu de Paume* ⟨для игры в мяч — *франц.*⟩. Тогда началось второе действие великой драмы. ⟨Примеч. 1862 г.⟩.

IV[1]

Стремительно развивающийся дух европейских народов быстро *изжил* романтико-феодальное содержание; он вырос из средневековых форм, час феодального мира наступал; он делался тесен для мысли и действия; переворот за переворотом громят его с XV столетия. Эта способность развития, эта возможность покидать старое и усвоивать новое — одно из главных отличительных свойств европейского характера; западные народы не коченеют в объятиях трупов, хотя бы это были трупы их отцов, не вянут в тоске; они с похорон возвращаются полными свежих сил; обновляются смертью и, вечно юные между могил, облитых горячими слезами, они строят из их развалин новые приюты жизни. Держаться за одни и те же формы как за единственный якорь спасения — лучшее доказательство слабости и внутренней бедности; скучный Китай может служить примером. Но, несмотря на эту внутреннюю готовность переходить к новым формам, исторические элементы имеют свои права, хоть и не те, которые им приписывают Нибур или Савиньи, и быт народный не снимается так легко, как черное белье; «natura, — говорили древние, — abhorret saltus»[2].

Иная жизнь, манившая лучшие умы того времени, была вовсе не иная, а та же жизнь, несколько исправленная. Не новый мир водворялся, а старый переделывался. Обе стороны уступали, делили грех пополам, закоснелые привычки мирились с неопределенными отвлечениями; но что это за мир? Грустный протестант, одетый в траур, как бы предвидел, что в груди его лежит зародыш страшных столкновений, он был печален после победы,— очень дурной признак. Резкий средневековый характер стирается с Вестфальского мира, монархическая революция победила, гонимая личность рыцаря прячется: вообще личности человеческой не видно более на публичной сцене, она только не погибла в кабинете ученого; наступило

---

[1] IV отделение все не пропущено цензурой и отмечено точками. ⟨Примеч. 1862 г.⟩.

[2] «природа ненавидит скачки» (лат.).— *Ред.*

время, богатое внутренней работой — работой мысли; мыслящая личность явилась на смену военной, вооруженная анализом, отрицанием, смелостью исследования. Если вы хотите узнать все величье этого времени, отвернитесь от мира политического, т. е. от мира дипломатии и несправедливых войн: в тиши кабинетов, в мастерской артистов жила тогда новая мысль и росла новая мощь. Это гамлетовский период истории. Tatenarm und gedankenvoll[1], как сказал Гелдерлин о Германии. Рыцарская личность, утратившая свое феодальное значение, едва поддерживалась дворянством; в дворянстве сохранилось по преданию, по привычке, по внушению с молодых лет понятие личной чести, и несмотря на то, что, увлеченные обстоятельствами, они домогались мест и придворного значения, отдадим им справедливость, что в отношении чести они стояли выше горожан и готовы были всегда своею кровью искупить оскорбление. Горожане долго были довольны неприкосновенностию прав сословий, общин; торговля их была защищена и гражданские права признаны; их воспитала зависть и унижение в хитрых легистов. Что же касается до крестьян, до неимущих, об них никто не справлялся, их все забывали, даже революция забыла их при сборе Национального собрания, их, собственно, никто не представлял. Народный голос, раздавшийся еще в Реформацию, совершенно умолк; изнуренная войнами грудь народа онемела, да и язык, которым стали теперь говорить правительства, был для него непонятен; все делалось для общественной пользы, для общественного благосостояния, для блага народа, а ему все становилось хуже; явились безнравственные теории du coup d'état[2], дипломатических уловок; обман и ложь были введены в теорию. Совет республиканца Макиавелли был исполнен; иронию его приняли за чистые деньги.

Политика какого-нибудь Чезаре Борджиа сделалась всеобщей: стремились религию сделать административным средством, постоянные войска превращались в полицейские команды Это был золотой век искусственной дипломатии, она решала

---

[1] Бедный делами и богатый мыслями (нем.).— *Ред.*

[2] государственного переворота (франц.).— *Ред.*

судьбы народов и государств... там, где-то, съезжались посвященные в таинства, писали длинные бумаги тяжелым канцелярским слогом, уступали, приобретали, оканчивали дело и для формы объявляли народу, стреляя в него, если он не тотчас понимал пользу и справедливость новых мер. И все это вовсе не сказка, а печальная быль политической истории Европы от Вестфальского мира до конца XVIII столетия; читая сказания о том времени, наглазно меряем, насколько мы подвинулись вперед в сто лет. Читайте историю *великого* царствования Людвига XIV, а всего лучше читайте историю тогдашней Германии и ее печального настроения — и вам сделается страшно, и вы с радостным трепетом сердца встретите в этом омуте пороков, гнусностей, безнравственности, среди слабодушных развратников, окруженных грязными лакеями, строгое и полное энергии лицо северного путешественника и его толстый преображенский мундир, так не похожий на изнеженные кафтаны тех господ. Кажется, что он идет на смену дряхлому порядку вещей, что он идет утешить людей вестью о свежей почве. Но тот худо знает характер европейца, кто думает, что ему нужно обновление извне... на краю гибели он всего ближе к выходу. Людвиг XIV был уверен в прочности здания, завещанного им своим преемникам. Но когда после его смерти потянуло из Англии скептицизмом и ее политическими учениями, поддельный мрамор, из которого строил великий король, стал быстро выветриваться. Оргии регентства не мешали слышать раскаты приближающегося грома,— раскаты, которые раздавались, как на Альпийских горах... где-то под ногами. Франклин ввел в моду скромный кафтан мещанина; требования среднего состояния во время революции имели целью не одни материальные права и их ограждение, они требовали почета как сословие и как лицо — верный признак совершеннолетия. Другой признак, еще более важный, был высказан громким требованием подвергнуть суду разума весь непосредственный, привычный, обстоятельствами сложенный быт свой — и отречься от всего, что он не оправдает. Общественный договор и права человека были две оси, около которых обращались все вопросы того времени. Напрасно историческая школа в Германии, 20 лет спустя после того, как мысль о договоре потрясла всю

Европу, так кичилась своим открытием, что contrat social[1] — абстракция, что государство не устроивается по теоретическому плану, хотя бы он и был так геометрически правилен, как пирамида Сиэса. Само собою разумеется, что мысль об общественном договоре была отвлеченна, но именно в то время нужна была такая абстракция. «Abstractionen in der Wirklichkeit gelten machen,— говорит Гегель,— heißt die Wirklichkeit zerstören»[2]. Исторические школы никогда не умеют вполне понять исторического смысла логических, отвлеченных понятий, им они все сдаются какими-то тенями иного мира. Между тем все перевороты начинаются с идеала, с мечты, с утопии, с абстракции. Консерватизм называет всякий прогресс, всякое нововведение отвлеченным — он прав: они отвлеченны, как все наступающее, как все юное, но для полноты разумения он должен назвать отвлеченьем и свое охраняемое; несмотря ни на исторические, ни на практические права его, оно отвлеченно как отходящее, как дряхлое. Само собою разумеется, что не токмо Францию, но даже колонию нельзя устроить чисто a priori,— старая Англия и старая Европа умели перебраться и в Пенсильванию и Колумбию. Жизнь народа — так, как жизнь человека,— имеет период бессознательный, в котором она подлежит влияниям роковым, органическим,— принимаемым безотчетно, слагающимся из обстоятельств и вырванных им взаимнодействий и реакций; потребность отчета возникает, когда организм настолько сложился a posteriori, что его не переделаешь a priori,— он *есть*, он образован, у него мозг выработался и развился по-своему,— факт нравственный и физиологический вместе. Дело холодной рассудительности состояло в том, чтоб, понявши свою историческую особность, идти вперед, пользуясь обстоятельствами и стараясь исподволь приводить в сознательную форму данные начала. История вообще далека от такого благоразумного пути. Начало сознания является страстно, оно с тем вместе разъедающее отрицание, злая борьба; религиозная сторона отрицания состоит именно

---

[1] общественный договор (франц.).— *Ред.*

[2] «Считаться с абстракциями в действительности — значит разрушать действительность» (нем.).— *Ред.*

в верованиии искоренения старого и водворения нового; отсюда источник энергии и вдохновенья, которое охватывает огнем людей в эти эпохи. Отрицание берет все свои силы из того, что отрицает, из прошедшего; оно не может ни пощадить его из благодарности, ни уничтожить из ненависти; оно, как огонь, сожигает твердыни существующего, но само обусловлено именно существованием сожигаемого, и так, как в физическом горении сгораемое ничего не утрачивает, так и в деле отрицания прошедшее не утрачивается, несмотря на сильно произнесенное стремление дотла уничтожить его; оно делается иным, сознанным, превращается из ноши, положенной чуждой рукой на плечи, в свое бремя, которое не тяготит, но во всяком случае оно остается как основные черты физиологии, как национальность, сохранять которую столько стараются добрые люди, забывая, что ее утратить при жизни невозможно.

Революция впала во все крайности своей точки зрения, но не отделалась от прошедшего даже в теории: в решения важнейших вопросов ее, исполненных пророчеством, проникли воспоминания и былое. «Общественный договор» имел основою права человека — отношение личности к обществу; ее значение делается существенным и главным вопросом, но вопрос решился под влиянием прежнего миросозерцания. Революция признает своей точкой отправления неприкосновенную святость лица и во всех случаях ставит выше и святее лица республику; для блага и спасения республики, для жертвы большинству она снимает с человека те права, которые так торжественно провозгласила неотъемлемыми. Достоинство человека измеряется его участием в общем деле, значение его — чисто гражданское в древнем смысле. Революция требовала самоотвержения, себяпожертвования одной и нераздельной республике. Она хотела средневекового аскетизма и античной преданности отечеству. Призрак Вечного города, гнетущего другие города, снова восстал из могилы, разум и свободу поставили на упраздненные пьедестали — так еще мало был разумен и свободен человек. Фанатизм этот спас отечество, но не мог спасти личности, потому что в нем было много идолопоклонства. Понятия о цивизме, об обязанностях гражданина, о равенстве,

братстве, свободе сделались едиными спасающими догматами отечества, и salus populi[1] заменило идеальную заприродность романтизма цивической *заприродностью* (eine diesseitige Jenseitlichkeit[2]). Все покорялось новым идеалам до тех пор, пока явилась личность настолько смелая, что не приняла внешнего определения, своевольно поставила себя рядом с государством и короновалась императором. Целость государства, его слава, его единство, его величие, победа над врагом — все это ставилось выше личности; Наполеон поймал на слове французов, и они увидели, что всего этого мало, что человек действительно успокоится, когда его личность будет чтима и признана, когда ей будет свободно и широко, когда ее сознают совершеннолетней. В революцию такого признания и быть не могло, революция была борьбою, это осадное положение, война, да и внутри ее совести было сознание, что она не решила вопросов, которых решение предпослала себе как программу,— отсюда доля ее тревожного озлобления. За ее односторонность явился Наполеон, лучшее возражение со стороны личности против поглощающего государства. Борьба после Наполеона превратилась в глухой бой оппозиции, люди жили в беспрерывном споре, в отстаивании своих прав, в раздоре и раздражении, в хлопотах об устройстве... как будто человеку только и занятий, что учреждаться, как будто удовлетворительно всю жизнь строить свой дом.— Байрон задохнулся в этом мире.

Блестящее время оппозиции, парламентских дебатов миновало; современный человек является каким-то усталым и безучастным... его не уверишь, что все счастие его около семейного очага, но не уверишь и в том, что сно исключительно на форуме; у него нет в душе античной веры, что он — для Рима; но он не смеет сознаться, что Рим — для него. Благо отечества ему дорого,— потому что это его благо, но он не может забыть свое нравственное достоинство для родины, но он не уступит ни чести, ни истины для нее. Древний гражданин протягивал руку согражданину, где бы ни встречал его; мы протягиваем

---

[1] благо народа (лат.).— *Ред.*

[2] посюсторонняя потусторонность (нем.).— *Ред.*

ее сочувствующему человеку, какой бы стране он ни принадлежал. Но мы всё это делаем больше, чем говорим, согласны более, нежели высказываем. Робкая совесть наша боится признаться, что эгоизм и гуманность лишают нас половины цивических добродетелей и делают нас *вдвое больше людьми*.

Предчувствую, что здесь надобно остановиться и пояснить сказанное. Мы это сделаем в следующем отделе нашей статьи.

(Окончания нет).

С. Соколово, сентябрь 1846 года.

СТАНЦИЯ ЕДРОВО

В 1842 году в Новегороде я написал две статьи, сильно ходившие по рукам: «Москва и Петербург»[1] и «Владимир и Новгород»[2]. Ни та, ни другая не были напечатаны в России. В 1845—46 споры о Москве и Петербурге повторялись ежедневно или, лучше, еженочно. Даже в театре пели какие-то петербургоубийственные куплеты К. С. Аксакова в водевиле, в котором была представлена встреча москвичей с петербургцами на большой дороге.

В. Драшусов собирался в 1846 издавать «Московский городской листок» и просил у нас статей. У меня ничего не было, я предложил ему переделать, особенно в *видах цензуры*, мою статью о «Москве и Петербурге». «Я вам сделаю из нее встречу вроде аксаковской!» Редактор был доволен и торопил меня.

— Я так вдохновился вашим почтовым куплетом,— сказал я Константину Сергеевичу,— что сам для «Листка» написал станцию.

— Надеюсь однако, вы не *за*...

— Нет, нет, *против*.

— Я так и ждал, что вы против.

— Да, да, только ведь притом против *обоих!*

Станция Едрово.
От С.-Петербурга 334 $^{3}/_{4}$ вер.
От Москвы... 342 $^{3}/_{4}$ вер.

<I>

Nel mezzo del camin[3]*... Здесь Дант сбился с дороги: Едрово именно mezzo del camin между Москвой и Петербургом.

[1] Во 2 листе «Колокола» — 1 августа 1857. <Примеч. 1862 г.>.

[2] В 1 кн. «Полярной звезды». <Примеч. 1862 г.>

[3] На середине пути (итал.).— *Ред.*

Конечно, в XIII столетии немудрено было сбиться с дороги, и я очень верю, что Дант обрадовался, встретившись подальше с Виргилием. В одиночестве как-то невесело по такой дороге, особенно за 500 лет прежде, нежели она была проложена. Совершенно без заботы насчет пути я, с своей стороны, сидел нынешней осенью в этой безразличной точке между двух великих центров, из которых один в середине, а другой с краю*, и с душевною кротостью ожидал, пока мне сварят — что вы думаете?

— Soupe à la tortue?[1]

— Нет, не отгадали. Шину на колесе.

Делать было нечего, я вспомнил Шиллерову резигнацию*, спросил себе порцию кофе, вынул из мешка сигары, томик «Мартина Чазельвита»* и, как ожидать надобно было, не развертывал его. Порядочный человек может читать только у себя в комнате, где все предметы ему надоели; оттого добродетельные отцы семейств читают вслух многолетним подругам жизни и малолетним детям своим. Есть ли какая-нибудь возможность не-немцу читать на станции? Тут все развлекает... картинная галерея на стене, ямщики перед окном, толстая трактирщица, худощавая горничная... и, наконец, объявление о ценах кушаний, которых нет, и «правила, как себя вести приезжим». Не успел я обозреть все эти интересные предметы, одни и те же во всех гостиницах и притом совершенно различные, как подъехала с петербургской стороны и с гласом трубным *почтовая карета*. На сей раз она везла не подсвечники отвлеченных мнений, не милые куплеты, к которым едва приклеены поющие их люди, а просто живых людей. Сначала явился человек лет 30, в пальто с поднятым воротником, повязанный пестрейшим в мире кашне, с сигарой в зубах и с маленьким дорожным саком на ремне. Он вошел в шляпе, употребил большие усилия, чтобы не заметить меня, подошел к зеркалу и тут снял шляпу — увидевши в стекле знакомые и уважаемые черты свои, потом достал лорнет, вставил его, как двойную раму, в глаз и начал с презрительной миной рассматривать все вещи в комнате, в том числе и меня. Я ему, должно быть, не понравился: бросив два-три взгляда как-то подозрительно исподлобья, он почув-

[1] Суп из черепахи? (франц.).— *Ред.*

ствовал ко мне такое отвращение, что сел в обратные три четверти. За ним явился в теплом сертуке оскорбительно коричневого цвета седенький старичок, с черными зубами и с натуральными волосами, до того похожими на парик, что никто не купил бы себе парика из них. Я тотчас заподозрил, что он лет десять... нет, лет двадцать столоначальником и что в отличном порядке ведет дела своего стола, сам черновые пишет, раньше всех приходит и позже всех уходит; теперь он, должно быть, едет осматривать именье: директор хочет купить, просил съездить... отчего же не съездить?.. Эта краткая биография пришла мне в голову, как только я увидел почтенного бюрократа. Столоначальник смотрел не с тем презрением, как господин в пальто, однакож не без страха: я начал думать, что трактирщик сделал глупую шутку и уверил их, что я имею привычку после кофе кусаться. Вместе с столоначальником вошел купец с бородой, перекрестился, поклонился мне и начал расчесывать густую окладистую бороду свою. Кондуктор заметил, что «здесь следует пить чай», и вышел.

— Мальчик!— закричал господин в пальто девке, которая стояла в буфете.

— Чего изволите?— спросила девка в должности мальчика.

— Рюмку коньяку и бутерброд.

— Коньяку нет.

— Ну, рюмку джину.

— И таких напитков нет.

— Ну, рюмку кирша.

Девка не отвечала, уверенная в том, что путешественник ее дурачит и что такого напитка нет во всей солнечной системе.

— Экая гостиница! Да что ж у вас есть?

— Есть горькая и есть анисовая.

— Ну, дай анисовой.

— И порцию чаю, голубушка,— прибавил купец.

Столоначальник ничего не спрашивал: он верил в чай купца, и вера его оправдалась. Купец велел дать два стакана; столоначальник отказался — и сел пить.

— Да перед чаем-то не выпить ли по рюмочке?— спросил купец, вынимая фляжку и серебряную чарку.

— Нет-с, не беспокойтесь,— отвечал столоначальник.

Купец налил, подал своему соседу, тот выпил, он налил другую... и, несколько колеблясь, обратился к господину в пальто с вопросом:

— Не позволите ли вас, государь мой, просить нашим православным, т. е. практическим: оно здоровее-с сладкой.

— А что это у вас за практическое?— сказал пальто, благосклонно улыбаясь и с видом покровителя.

— Пенничек-с — очищенный.

— Нет-с, благодарю покорно. Я когда ноги мою себе простым вином, и то запах так противен, что душистой бумажкой курю весь день.

— Была бы-с честь приложена-с,— ответил купец и так зло-лукаво улыбнулся, как будто он сомневался в том, моет ли тот ноги чем-нибудь, не только пенным вином.

Столоначальник в благодарность за хлеб и соль, состоявшие из чаю и сивухи, начал вполголоса какой-то рассказ купцу... Я не мог слышать всего, но до меня долетали следующие слова: «Я и говорю: ваше превосходительство! вы, примером будучи, отец чиновника... конечно, маленький человек есть червь... наш-то генерал — ведь это умница... вот-с, прихожу в канцелярию... только экзекутор... ну, и лиссабонского как следует...»

На самом этом португальском названии, не торопясь и покачиваясь со стороны на сторону, подъехал белокурый дилижанс первоначального заведения из Москвы; наверху торчали утесы поклажи, из окон высовывались подушки. Дилижанс был крупного калибра, и через минуту обе комнаты гостиницы наполнились народонаселением этого ковчега: тут были старики и дворовые люди, дети и комнатные собаки. Впереди всех явился толстый господин в енотовой шубе, с огромными усами, с крестом на шее и в огромных меховых сапогах. Входя, он втащил с собою 50 кубических футов холодного воздуха. Он так сбросил свою шубу, что накрыл ею полкомнаты и правую ногу господина в пальто; господин в пальто с поспешностью спас свои сигары и с чрезвычайно недовольным видом вытащил свою ногу; в то же время рукав шубы как-то коснулся затылка столоначальника, который в ту же минуту привстал и извинился.

— Здравствуйте, господа!— сказал новый гость, очутившийся в черном бархатном архалуке.— Эй, малый! Приготовь

где-нибудь умыться. Не могу ни чаю пить, ни трубки курить не умывшись... Да и чаю живо!

Пока господин в архалуке отдавал приказ, тащился в черной бархатной шапке и в синей медвежьей шубе, подпоясанный шарфом, в валяных сапогах серого цвета, человек очень пожилой и с ним юноша лет 20, упитанный, краснощекий, с дерзким и смущенным видом, который приобретают баричи в патриархальной жизни по селам своих родителей. Пока я рассматривал его, с господином в синей шубе сделалось престранное превращение: человек в нагольном тулупе развязал ему шарф, стащил с него шубу и, представьте наше удивление, он очутился в шелковом стеганом халате, точно он не то что два дня в дороге, а года два не выходил из комнаты; в этом костюме вид у него был до того московский, что я был уверен, что он едет из Тулы или Рязани.

Господин в архалуке отправился умываться. Дамы не взошли. Одна только старуха приходила в буфет, требуя самовара, с присовокуплением, что чай и сахар возит свои.

— А что будет стоить самовар?

— Двадцать копеек серебром,— отвечала горничная.

— Двадцать копеек серебром!— повторила барыня, и никто еще не говорил с таким нежно дрожащим и в то же время исполненным негодования голосом о двугривенном.

— Точно так.

— Вы точно нехристи — двадцать копеек серебром!.. За что? За простую воду... слыханное ли это дело?.. Вода — дар божий, для всех течет — и двадцать копеек серебром!

После этого замечания, зараженного коммунизмом, она пошла с ворчанием в другие комнаты. Но потеря ее вознаградилась московским купцом, точно так же перекрестившимся и раскланявшимся со всеми, точно так же спросившим себе чаю. Через минуту оба бородача говорили между собою, как старые знакомые, в то время как остальные проезжие рассматривали друг друга, как иностранцы.

— Что, батюшка, из Москвы или из Питера?— спросил петербургский купец юношу с патриархальным видом.

— Да,— отвечал молодой человек, которому смерть хотелось выдать себя за юнкера; он с этой целью беспрестанно

крутил слабые и пушистые намеки на будущие усы,— мы едем в Петербург.

— Изволили прежде в Питере бывать?

— Да, как же!— отвечал молодой человек, покрасневший до ушей: юная совесть угрызала его за то, что он еще не был в Петербурге, и за то, что солгал.

Господин в архалуке возвратился с лицом, украшенным каплями воды, и с полотенцем в руке:

— Трубку! Да скажи моему человеку, чтоб мой чубук принесли, не могу курить из ваших. А где же чай?

— Готов,— сказал трактирщик, возымевший особенное уважение к человеку в архалуке, и указал ему на стол возле господина в пальто. Господин в архалуке бросил сахар в стакан и следующий вопрос в соседа:

— Вы из Петербурга изволите?

— Из Петербурга,— отвечал тот с гордым видом.

— Что дорога?

— Очень хороша.

— Славу богу! А то что-то кости сказываются, лета... Бывало, я по этой дороге на тройке, на перекладной, для двух-трех балов московских за каким-нибудь вздором лечу... да еще хорошо зимой, а осенью — шоссе не было — по фашиннику дую, и горя мало. Шоссе-то не было, да здоровье было. Вот скоро восемь лет, как не был в Петербурге, да и нынче бы не поехал. Семейные дела, племянница выходит замуж: пишет: «Дядюшка, приезжай, да дядюшка, приезжай», хоть, по правде, они бы и без меня обделали это дело; ну да как не потешить девку,— она же после покойного отца своего воспитывалась у меня в доме, своих детей нет.— Подай лимону.— А позвольте спросить, изволите служить?

— Служу...— сказал петербуржец.

— При министре?— спросил дядюшка своей племянницы.

— При министре,— сказал петербуржец.

— По особым поручениям?

— Да, то есть при самой особе министра; знаете — при самой особе... У нас есть эдак несколько..

— Вы, может, видали мою племянницу, коли живете постоянно в Петербурге? Княжна Анна С.

— Как же-с! Кто же из бывавших в обществе не знает княжны?.. — отвечал петербуржец, несколько сконфуженный и очень смягченный аристократической фамилией княжны.

— Очень рад! Так вы знакомы с Алиной?

— То есть, извольте видеть, я не смею так сказать: я никогда не имел чести быть представлен княжне; где же ей вспомнить в толпе черных фраков... Я ее только встречал на вечерах у нашего министра, у графини Z... имел случай сказать несколько слов, танцевать. Знакомство салона, знакомство паркета, забытое на следующий день.

— Это для меня новость: я и не знал, что Алина знакома с графиней Z...

Петербуржец молчал, но видно было, что внутри его совершается что-то не совсем приятное; он раздавил сигару и прочистил голос для того, чтоб ничего не сказать, а сосед его предобродушно посмотрел на него и стал наливать второй стакан чаю.

— Позвольте спросить вашу фамилию?

— Чандр-н, — произнес скороговоркой господин в пальто.

— Как-с?

— Чандрыкин-с,— повторил господин в пальто с приметным волнением.

— Никогда не слыхал... никогда... не случалось.

Между тем помещик, до того московский, что ехал из Тулы, пришел в себя и, сделавши три-четыре вовсе излишние исправительные замечания своему человеку, возымел непреодолимое желание вступить в разговор и для этого вынул золотую табакерку вроде аттестата и непреложного права на участие в обществе, понюхал из нее и обратился к петербуржцу, который внутри проклинал отца и мать, что они пустили его на свет с такой немузыкальной фамильей, да еще с такой, которую не случалось слышать дяде княжны Алины.

— А позвольте спросить,— спросил несколько в нос помещик,— каков у вас хлеб нынешний год?

— Превосходный,— отвечал чиновник.

— Давай бог, давай бог, а у нас червь много попортил...

— Надобно правду сказать, что хлеб стал лучше и больше с тех пор, как учрежден порядок по этой части.

— У нас, нечего греха таить, плох, вот уж который год,— продолжал помещик, не заметивший, что г. Чандрыкин говорит о печеном хлебе.— Доходы бедные, а расходы так-таки ежегодно и увеличиваются; а тут, как на смех, тащись полторы тысячи верст... Тяжебное дело, да вот сынишку в полк определить.

— А где у вас дело?

— В —м департаменте.

— В —м? Я очень знаком с обер-прокурором — прекраснейший человек!— заметил чиновник, начавший забывать княжну Алину: так натура бывает сильна.

Помещик глубоко вздохнул.

— Ох, уж лучше б вы не говорили; а то, ей богу, так вот и подмывает попросить письмецо — так бы несколько строчек, да не смею и просить; я, конечно, не имею никаких прав на ваше благорасположение... а знакомых нет почти никого; без рекомендации куда сунешься, сами изволите знать...

При этом помещик придал невероятно жалкое и подобострастное выражение своему лицу,— выражение, вероятно, редко виденное на гумне и в усадьбе.

— Мне очень жаль — но другое дело, если б я был сам в Петербурге, я бы мог переговорить; ну, а писать письмо — это не водится между нами. Впрочем, г. Z такой прекраснейший человек, к которому не нужны рекомендации; если ваше дело право — ступайте смело, прямо... и вы увидите.

— Мое дело-с... ясно, как день (пословица, выдуманная не в Новгородской губернии и вообще не в этом краю: день в тот день, как почти во все прочие, был туманный). Вот, извольте видеть, в 1818 году умер у меня дядя... человек был солидный, известный... Ну, а духовную написал такую, что вот до сих пор процесс длится у меня с сестрами... Я не умею ясно изложить вам обстоятельства дела... позвольте мне прочесть последнюю апелляционную жалобу... Эй, Никитка, подай из кареты несессер!

— Сделайте одолжение,— сказал чиновник, несколько успокоившийся от кондукторской трубы,— он очень хорошо предвидел, что Никитка не успеет принести несессера, как их уже позовут... Так и случилось.

— Господа почтовой кареты и брика!— возвестил кондуктор.

— Идем, идем!— раздалось с трех мест.

Чиновник поспешно вскочил и, сказавши «очень жаль!» помещику и «bon voyage, messieurs!»[1] остающимся, побежал в карету, напевая Карлушу из «Булочной»*. Вероятно, разговор о хлебе напомнил ему эти куплеты, пением которых он засвидетельствовал о своих усердных посещениях Александринского театра.

Не проехала почтовая карета версты, как Никитка подал помещику несессер.

— Ты бы, дурак, завтра принес, экой увалень! Вы не можете себе представить, сколько он во мне крови портит: дома пойдет, размазня, обедать... час жди; посылай другого в людскую, чтобы гнал оттуда осла. И что у него на уме, не понимаю? Сыт, одет, женил дурака в прошлом году— все не помогает. Ну, что ты надо мной сделал? Два часа копался?.. Долго ли взять да и принесть?.. Неси назад несессер.

— А вы и поверили этому фертику?— сказал господин в архалуке.— Все врет!.. Малый, спроси у моего человека рому к чаю.

— Дилижанс готов,— доложил кондуктор.

— Да мы-то, братец, не готовы,— возразил господин в архалуке.

— Помилуйте! На всякой станции теряем время.

— Что ты ко мне пристал? Видишь, никто не допил чая. Я оттого и не поехал в почтовой карете: не дадут ног распрямить.

— И я еще не кончил чай,— заметил помещик.

Купец, разумеется, тоже не кончил, но так как его никто не спрашивал, он ничего и не сказал, а обтер полотенцем рот, да и стал из большого чайника подливать кипяток в маленький.

В это время взошел ямщик, спрашивая:

— Кому шину варили?

— Мне,— отвечал я.

— Пожалуй, что готова, и лошадей закладам... да уж на чаек-то, барин: от кузницы как бежал — уморился, чтоб вашей-то милости поскорее сказать.

Я начал собираться, собрался и уехал прежде, нежели москвичи кончили чай.

---

[1] «счастливого пути, господа!» (франц.).— *Ред.*

II

Резкая противуположность пассажиров почтовой кареты с жителями дилижанса поневоле настроила меня на ряд летучих мыслей о Москве и о Петербурге. Говорить о сходствах и несходствах Москвы и Петербурга сделалось пошло, потому что об этом чрезвычайно много говорили умного; оно, сверх того, сделалось скучно, потому что еще более об этом говорили пошлого. А я все-таки имею смелость передать несколько заметок из целой вереницы их, занимавшей меня беспрерывно от Едрова до Торжка, где я так занялся котлетами, что на время забыл la grande question[1].

Как не быть различиям между Москвой и Петербургом? Разное происхождение, разное воспитание, разное значение, разное прохождение службы... Петербург родился в 1703 году после Р. Х. Конечно, человек такого возраста был бы очень не молод, ну а город 144 лет просто jeune premier[2]. Москва скоро перейдет в восьмую сотню, она так стара, что лета свои (как геологические перевороты) вела от сотворения мира, что было очень давно. Москва цвела от татар до кошихинского времени. Петр I опустил паруса ее, видя, что по этому прекрасному пути далее идти некуда; Петербургу Петр I поднял паруса, и он идет вперед до нынешнего дня. Москва лет пятьсот кряду отстроивалась, и все ничего не вышло, кроме Кремля, а если что вышло, то после французов; Петербург выстроился лет в пятьдесят с громадностию, о которой Москве не снилось. Москва почти вся сгорела в 1812 году; Петербург чуть не утонул в 1824 году. Совершенно разный характер: в Петербурге русское начало переработывается в европейское, в Москве — европейское начало в русское... Но, несмотря на это различие, они не ссорятся; антагонизм между Москвой и Петербургом — чистейший вымысел; его нет: это болезнь нескольких воображений, факт исключительный. Я сам видал людей, которые думают, что всякое доброе слово о Петербурге — оскорбление Москве. Они думают — если вы похвалите калач московский, это значит, что вы браните невскую воду. Просто страх берет

[1] великий вопрос (франц.).— *Ред.*

[2] первый любовник (франц.).— *Ред.*

что-нибудь сказать при них; молвишь, что то-то не очень хорошо на Невском — а тебя тотчас обвинят, что ты находишь все прекрасным в Москве. Это напоминает ту милую и наивную эпоху критики, когда доброе слово о Шиллере сопровождалось проклятиями Гёте и наоборот. Гёте, возмущенный однажды глубокомыслием подобных суждений, скромно заметил Эккерману: «Вместо того чтоб благодарить судьбу за то, что она дала им нас обоих, они хотят непременно пожертвовать одного другому». Что за необходимость порицать Москву? Будто нет там и тут хорошего, не говоря уж о дурном? Будто грудь человека так узка, что она не может с восторгом остановиться перед удивительной панорамой Замоскворечья, стелющегося у ног Кремля, если она когда-нибудь высоко поднималась, глядя на Неву, с ее гранитными берегами, с дворцами, стоящими над водами ее?

К тому же, если с точки зрения различий легко указать резкие противуположности, то не надобно забывать, что много Москвы в Петербурге и что много Петербурга в Москве. Петербург не оставил Москвы в покое последние сто лет; у нее, кроме нескольких старых зданий, кроме исторических воспоминаний, ничего не осталось прежнего. С своей стороны, Москва и окольные ее губернии, переезжая в Петербург, привезли с собою *самих себя,* и отчего же им было вдруг утратить свою особность? Странная была бы национальность наша, если бы достаточно было проехать семьсот верст, чтоб сделаться другим человеком — иностранцем. Конечно, весь образ современной жизни, все удобства цивилизации: и великий Московский университет, и знаменитый Английский клуб, и дворянское собрание, и Тверской бульвар, и Кузнецкий мост — все это принадлежит не кошихинским временам, а влиянию петербургской эпохи. «Может быть, Москва без петербургского влияния развилась бы еще лучше». Может быть... так, как не токмо может быть, но весьма вероятно, если б царь Иван Васильевич вместо Казани взял Лиссабон, то в Португалии было бы теперь что-нибудь другое; только это ни к чему не ведет. Не то важно в истории, чего не было, а то, что было. А было то, что в последний век Москва состояла под влиянием Петербурга и сама многое доставляла ему; он вызвал наружу ее сильную производительность; беспрерывный обмен, беспрерывное сношение

поддерживали живую связь обоих городов. В иных случаях перевезенное совершенно усвоивалось, в других особенности еще сильнее развились на иной почве, так что можно изучать Петербург в Москве и Москву в Петербурге.

От Петра I до Наполеона Москва жила тихо, незаметно; на Петербург она не косилась, особенно после первых неприятностей remue-ménage[1] и негодующего удивления, что часть ее переехала на Неву-реку с Москвы-реки, что другая часть вместо красивой бороды показала голый подбородок, вместо русых волос — пудреные пукли. Случалось ей хмурить брови, обижаться всеми нововведениями, но соперничать ей в голову не приходило; она поняла, что время сильных преследований не только за употребление телятины, но даже табака прошло...

И перед младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Как перед новою царицей
Порфирородная вдова*.

Москва помнила, быть может, что и она в свою очередь была Петербургом, что и она некогда была новым городом, надменно поднявшим свою голову над старыми городами, опираясь на слабость их и на ордынскую поддержку. Старые города обиделись: они хотели высокомерно не знать Москвы... Но она шла своим путем. «Посмотрим, посмотрим!— говорили старые города,— что-то она сделает с Тверью, как-то совладает с Псковом, как-то сладит с Новым городом!» Посмотрели, увидели как, да и склонились. Между Москвой и Петербургом ничего подобного не было. Петербург, как едукованный юноша, афишировал решпект и атенцию Москве, окружал ее знаком величайшего внимания; а она, как добрая русская помещица, готовая всех угостить и послать всякие гостинцы, любила иногда пожурить Петербург — так, как бабушки журят внучат-юнкеров, приезжающих в отпуск, зачем трубку курят и постных дней не соблюдают... Но, пожуривши, Москва отправляла в Петербург свое молодое поколение служить в гвардию, окружать двор, даже литераторы перебирались туда писать и вдохновляться; сердечная связь у этих переселенцев с Москвою нисколько не

[1] суматохи (франц.).— *Ред.*

перерывалась: при всякой невзгоде, при устали и грусти вспоминалась родная столица. Маститые вельможи и государственные люди приезжали в Москву отдыхать, провести остаток дней своих в величавом покое, повествуя жизнь свою и прислушиваясь издали к быстро несущимся событиям петербургской жизни.

Так, вихорь дел забыв для муз и неги праздной,
В тени порфирных бань и мраморных палат,
Вельможи римские встречали свой закат;
И к ним издалека то воин, то оратор,
То консул молодой, то сумрачный диктатор
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься в путь*.

Среди этих мирных и дружных отношений наступил 1812 год. Не знаю, был ли Наполеон ученик Пинетти или Калиостро, но он был величайший фокусник в мире. Он сделал сперва из г. Мортье тревизского герцога, а потом сделал тревизского герцога московским военным генерал-губернатором, а маршала Нея просто московским князем. Москва попала с орфографической ошибкой в бюльтени великой армии. Наполеон переехал из Тьюльри в Кремлевский дворец. Вся Русь, задерживая дыхание, устремила свое внимание на Москву, вся Европа ее вспомнила в первый раз после Маржерета, Поссевина, Флетчера и других. Влияние ее, утраченное целым веком, вполне восстановилось несколькими днями великого пожара. В добровольном несчастии Москвы было что-то захватывающее душу; она сделалась интересна с своими обгорелыми домами, она взошла в моду с своими улицами, на которых стояли одни черные трубы, одни задымленные стены. Эта горестная година миновала Петербург; князь Витгенштейн не пустил к нему неприятеля; спокойствие его не было возмущено ни на один день. Все это прекрасно, все это слава богу, но не имеет интереса: моды всего более интересуются несчастиями. Рассказы о Москве носились по всему свету. Нет человека не только в Калифорнии и Полинезии, но в южной Италии, где ничего не знают, который бы не слыхал о том, как дивно, как громадно, как удивительно, как быстро обстроилась Москва. Келейно можно сказать — слухи эти не без увеличения: не то чтоб в самом деле обстройка эта была так сказочно хороша, домы обклеены колоннами,

фронтонами с страшными претензиями, каждый стоит на свой салтык, огороженный каким-то уродливым забором. И что же Москва была прежде, если была гораздо хуже? Это тайна, которую она запечатлела великим пожаром. Оставим ее под историческими углями.

После 1812 уважение к Москве было безусловно: вся Русь, весь Петербург брали в ней живейшее участие; костер, зажженный собственными руками, поразил своей героической решительностью все уцелевшие города. Войска возвращались, осыпанные крестами и медалями, офицеры летели в Москву отдохнуть с родными, вспомнить семейную жизнь, которая так же хороша после лагеря, как лагерь хорош после семейной жизни; нигде не было и тени соперничества, вражды, никто не предполагал, не предвидел, что в это время торжеств и мира зарождалась втиши та высокая и мощная теория, которой назначено было явиться грозным Маяком *. Шаг, сделанный ею для нашего развития, необъятен. Что значит в самом деле перед нею весь ряд побед 1812 и 13 годов, переход по Европе, русские гвардейцы на биваках перед Тьюльрийским дворцом? Кем сделаны эти победы? Людьми, любившими европейское образование, любившими Париж и французов, любившими говорить по-французски,— людьми, которые чрезвычайно удивились бы, услышав о том, что истинный русский должен ненавидеть немца, презирать француза, что патриотизм состоит не столько из любви к отечеству, сколько из ненависти ко всему, вне отечества находящемуся, и тому подобные правила любви и братства. Храбрые воины, актеры великой эпохи, думали, что достаточно грудью стать против неприятеля и мужественно отразить его; они не знали, что, сверх того, необходимо день и ночь у себя в комнате бранить немцев и гниющую цивилизацию Европы; эти воины мечтали, что они с приобретением образования не утратили достоинства русского. Какой предрассудок! Оттого-то они и уменьшили славу своих побед кротостью, с которой они обращались с побежденными. Но извиним их: тогда еще не были брошены в судьбы всемирной истории исследования о происхождении Руси; тогда пел суетный Пушкин, который в своей поэтической распущенности бросил по нескольку стихов Петербургу и Москве, в которых оба города дивно отразились; но зачем же не один?

Довольно, впрочем, о важных материях; займемтесь лучше маленькими различиями петербургских и московских нравов — это гораздо веселее и не так сильно потрясает нервы, как маячные теории. В Москве все шло медленно — в Петербурге все шло через пень-колоду; оттого житель Петербурга привык к деятельности, он хлопочет, он домогается, ему некогда, он занят, он рассеян, он озабочен, он опоздал, ему пора! . Житель Москвы привык к бездействию: ему досужно, он еще погодит, ему еще хочется спать, он на все смотрит с точки зрения вечности; сегодня не поспеет, завтра будет, а и завтра не последний день. Москвич только живет и насилу может отдохнуть после обеда, петербуржец и не живет за суетой суетствий и так мало обедает, что даже ночью не стоит отдыхать. У петербуржца цели часто ограниченные, не всегда безусловно чистые; но он их достигает, он все силы свои устремляет к одной цели, — это чрезвычайно воспитывает способность труда, гибкость ума, настойчивость; москвич — почти всегда преблагороднейший в душе — ничего не достигает, потому что и цели не имеет, а живет в свое удовольствие и в горесть лошадям, на которых без нужды ездит с Разгуляя на Девичье поле. Москвич, как бы ни был занят, скрост это и будет от души рад, что ему помешали; петербуржец, как бы ни был свободен от дел, никогда не признается в этом. В Петербурге на каждом шагу встретите представителей всех военных чинов и четырнадцати соответствующих классов статской службы; в Москве — отставных из всех чинов военной и статской службы: из военной — знаменитых людей венгерок и усов, трубок и карт, из статских — вечных обедателей Английского клуба, людей золотых табакерок и карт. Их почти совсем не найдешь в Петербурге, зато я и в Петербурге между львами, тиграми и прочими злокачественными знаменитостями встречал таких людей, которые ни на какого зверя, даже на человека, не похожи, а в Петербурге до́ма — как рыба в воде. Московские писатели ничего не пишут, мало читают — и очень много говорят; петербургские ничего не читают, мало говорят — и очень много пишут. Московские чиновники заходят всякий день (кроме праздничных и воскресных дней) на службу; петербургские — заходят всякий день со службы домой; они даже в праздничный день, хоть на минуту, а заглянут

в департамент. В Петербурге того и смотри умрешь на полдороге, в Москве из ума выживешь; в Петербурге исхудаешь, в Москве растолстеешь — совершенно противуположное миросозерцание.

Москвич любит от души Москву, нигде не может жить, как в Москве, ему неловко в Петербурге, он всюду опаздывает, он чувствует себя там не дома: и квартиры тесны, и лестницы высоки, и обедают поздно, и Кремля нет, и икра паюсная хуже Но, возвратясь в Москву, он начинает хвастать Петербургом, он показывает в образец фрак, сшитый на Невском, подражает петербургским модам, приказывает людям из домашнего сукна сшить штиблеты с оловянными пуговками, привозит бездну ненужных вещей, сделанных в Москве, и уверяет, что таких в Москве ни за какие деньги не найдешь. Петербуржец не так сильно страдает тоскою по родине: он вообще привык себя считать выше тоски; но в Москве на все смотрит свысока: на низкие дома, на тусклые фонари, на узкие тротуары — и ни за что в свете не сознается, что в «Дрездене» нумера лучше, нежели в петербургских гостиницах, и что у Шевалье можно обедать не хуже, чем у Леграна и Сен-Жоржа. Ему смерть не хочется ехать в Петербург; но он показывает вид, что стремится вырваться из провинциального города,— так, как москвич показывает из себя отчаяннейшего петербуржца и большого любителя петербургских нравов. Воротившись, петербуржец карабкается на свой четвертый этаж и, отдыхая среди запаха кухни в маленькой лачуге, смеется над московским простором.

Вообще я слышал от многих, что Петербургу вменяют в достоинство эти сплошные домы о пятистах окнах, а Москве вменяют в недостаток, что домы ее удобнее, что никто там друг другу не мешает, что московская постройка способствует чистоте воздуха. Я ужасно люблю старинные московские дома, окруженные полями, лесами, озерами, парками, скверами, саваннами, пустынями и степями, по которым едва протоптаны дорожки от дома к погребу и на которых если не найдете дворника, то зато встретите стадо диких собак. Замечательно, что в Москве дом окружен двором, а в Петербурге двор — домом: это имеет тоже свою прелесть... Мне часто приходило в голову: если б в Петербурге случилась теплая погода и светило бы солнце, какую прекрасную тень можно б было находить на дворе!

Но возвратимся от домов опять к людям. В Петербурге ужасно любят роскошь, но терпеть не могут ничего лишнего; в Москве только лишнее и считается роскошью, оттого в Москве почти у каждого дома колонны, а в Петербурге ни у одного; оттого петербургское гостеприимство стремится изящным образом насытить ваш голод и вашу жажду и на этом останавливается, а московское только тут и начинается; оно молчит, пока вам хочется пить и есть, и начинает свое преследование, когда видит, что вам невозможно ни пить, ни есть. Потому же у каждого московского барина множество слуг в передней, дурно одетых и более приученных к отъезжему полю, нежели к мирным комнатам; а в Петербурге один слуга, много двое, чисто одетых и ловких, но не умеющих травить гончими, что и не очень нужно за порядочным ужином, где даже и жареных зайцев не подают. Москвич непременно закладывает четыре лошади в карету — не для легкости и скорости, а из уважения к собственному достоинству; петербуржец катится в маленькой колясочке вдвое быстрее москвича. Москвич любит внешние знаки отличия и церемонии, петербуржец предпочитает места и материальные выгоды; москвич любит аристократические связи, петербуржец — связи с должностными людьми. В Москве до сих пор всякого иностранца принимают за великого человека, в Петербурге — каждого великого человека за иностранца: там долго никто не верил, что Брюллов — русский. Других иностранцев собственно в Петербурге и нет; там так много иностранцев, что они сделались туземцами. Одна из отличительных черт Петербурга от прочих новых городов всей Европы состоит в том, что он на все похож, тогда как Москва ни на какой не похожа — ни в Европе, ни в Азии...

— Неужели это Торжок?— спросил я, перерывая глубокомысленные рассуждения о Москве и Петербурге.

— Пожалуй что и Торжок,— отвечал ямщик.

— Ступай к большой гостинице, направо-то.

— Знаем, знаем!— отвечал несколько пикированный ямщик.

Ноябрь 1846 года.

НЕЗАКОНЧЕННОЕ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ «ЗА РУССКУЮ СТАРИНУ»

«Не тратя лишних слов!» Я люблю лапидарный слог г. Погодина и так же, как он, терпеть не могу лишних трат, а потому и скажу, «не тратя лишних слов», что несколько выражений в статье г. Погодина «За русскую старину» показались мне несправедливыми и диктованными больше односторонним и пристрастным увлечением, чем духом неподкупной правдивости, за которую недавно так усердно похвалили г. Погодина в «Отечественных записках». Я должен сделать небольшую предварительную трату слов, для того чтоб сказать, что я ни прямо, ни косвенно не участвовал ни в присоединении Бретани ко Франции при Франциске I, ни в статье о Бретани, которая возбудила юношеский гнев в почтенном редакторе «Москвитянина», кроме того, что я прочел ее с истинным удовольствием, хотя и не с большим, как многие другие статьи в «Московских ведомостях» (ex. gr.[1] с нею вместе помещенная статья об янтаре). Видимое улучшение этой газеты, расходящейся по всей России и читаемой во всех углах Москвы, разумеется, равно приятно для всякого образованного русского, но еще более для «Москвитянина», потому что «Московские ведомости» издаются в Москве. Во-вторых, мне надобно пояснить, почему я решился мое возражение послать в редакцию «Москвитянина». Знакомые мне журналы так тронуты элементом любви, принадлежащим, как известно, исключи-

[1] например (лат.).— *Ред.*

Несколько слов по поводу статьи «За русскую старину».
Первый лист рукописи (черновой автограф Герцена)

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР

тельно славянам, и особенно русским и преимущественно живущим в Москве, что неохотно помещают полемические статьи, а когда и помещают, то статьи появляются в печати в том жалком состоянии, в котором выпускают медведей на травлях в амфитеатре, что за Рогожской заставой,— без когтей и зубов. Сверх того, я моим возражением нисколько не разрушаю принятый порядок в «Москвитянине». «Москвитянин» любит помещать письмы и ответы, положения и возражения на них, даже в одном и том же нумере.

Любовь Элизы и Армана
Иль переписка двух семей*.

Итак, я вправе надеяться, что мои строки найдут место, хоть где-нибудь возле обертки.

Главная причина, разгневившая М. П.,— подстрочное замечание*, что у нас не было средних веков.

Вскипел Бульон и в рать потек.
(«Освоб. Иерусал.» Тассо, пер. Мерзлякова).

Что же за вещь наша история, если она не имеет середины? Все на свете имеет середину, а наша история не имеет середины...

А ведь средневековой-то эпохи в самом деле не было. Средняя история потому так называется, что она представляет промежуточное звено между двумя мирами, связанными ею и в которых мы деятельно не участвовали до начала XVIII столетия. Средние века — принадлежность народов германо-романских, феодализма и католицизма; если угодно, наши средние века начались с реформы Петра I; иначе где же предшествующее, отрезанное от середины не летоисчислением, а всею жизнию, основами воззрения, бытом, которое ею связуется с чем-то третьим? И что за необходимость в средних веках? В чем дурное, что у нас их не было?

Сам г. Погодин так резко и так замечательно характеризовал противуположность нашей истории с западным феодализмом, что ему, *наверное*, никто не будет возражать на его смелую параллель: «у нас,— говорит весьма основательно почтенный автор „Марфы Посадницы“,— не было рабства, пролетариев, не было ненависти, не было гордости, не было инквизиции,

не было феодального тиранства, зато было отеческое управление, патриархальная свобода, было семейное равенство, было общее владение...» Словом, было все то, о чем едва мечтает Европа; из этого именно и видно, что средних веков у нас не было, да и бог с ними совсем, когда были вместо средних веков века конечного благополучия. Нет, г. Погодину мало, он непременно хочет,чтоб у нас были хоть очень плохие, но средние века; он полагает — если отнять у нас средние века, то это значит отрицать вообще существование времени в России до Петра. Воля ваша, а это напоминает ту добрую женщину, которая во время ненастья утешала себя тем, что все же лучше дурная погода, нежели как совсем бы не было погоды,— или того доброго гасконца... ну, да не хочу западного примера.

Замечание о средних веках дает М. П. повод начать строгий выговор своим противникам. Кто эти противники? Сначала мне показалось, что это дети или племянники г. Погодина, потому что с посторонними таким наставительным тоном, как известно, не говорят. Г-н Погодин был так взволнован, что даже уснастил свою речь кой-каким крепким словцом, как известный капитан-исправник в «Мертвых душах». Я истинно обрадовался, когда увидел под конец статьи, что все это милая мистификация, что сам автор признался, что до 31 страницы и 4 строки все это была шутка*. С этой роковой 4 строки начинается дело — оно состоит из какого-то profession de foi г. Погодина и, вероятно, очень почтенных, но неизвестных нам друзей его — и вместе с тем гонка противникам и *клеветникам* г. Погодина и его друзей. Заступаться за друзей — свидетельство нежного сердца, не скупого на трату *чувств*. Тут, по счастию, мне уяснилось, кто эти противники.— Просто сумасшедшие, и если они не сидят в доме умалишенных, то это так, упущение. Представьте себе, что эти клеветники всякое занятие историей называют желанием воскрешать трупы, нечестивым поклонением старине... чего даже не делают немцы, как замечает г. Погодин, с теми, которые занимаются эфиопскими древностями (видно уж, эти древности самые скверные — чего же и ждать от эфиопов). Охота с такими людьми, лишенными рассудка, говорить мужу, имевшему честь возражать самому г. Гизо — в приличном случае и в русском

журнале, пятнадцать лет тому назад. Помилуйте, господа противники, nec non[1] клеветники, да такое обвинение можно сделать не историкам, а именно людям, не знающим истории, таким людям, которые не умеют разобрать, что прошедшее, что настоящее, откуда идут и куда идут, которые бы стремились отречься от настоящего в пользу прошедшего, которые сказали бы какой-нибудь стране: «Забудь последний период твоей жизни, забудь труды, забудь кровь, которая проливалась в них, забудь славу, которой они осенили тебя, забудь мысль, выработавшуюся и этой кровью и этой славой, и возвратись к понятиям тесной исключительности, начни с ненавистью говорить о твоем соседе, перерви начатую связь любви с окружающим миром и пр.»... Не историков, а только таких людей можно было бы упрекнуть так, как это делают «*бессмысленные* пляшущие на могилах противники» и клеветники г. Погодина и его друзей, очень почтенных, вероятно. Но ведь и эти господа были бы такие же сумасшедшие, как противники; в них нет ничего общего с людьми, занимающимися историей. Неужели каждый историк должен сделаться маньяком и думать о воскресении былого? Ну, да эти господа, занимающиеся Эфиопией в Германии, они не предлагают немцам ни эфиопских понятий, ни эфиопских шапок, а занимаются с бескорыстной любовью своим делом, без пены у рта, без проклятий настоящему и европейскому.

Подражая во всем Михайлу Петровичу — особенно в стилистике — и я поставлю теперь свое «оставя шутки». Я не хочу и не считаю себя вправе употреблять гнусное слово «клевета», а полагаю, что в словах г. Погодина и «Москвитянина» есть или недоразумение, или неловкость: где в образованном круге эти пошлые поклонники Запада? Где в наше время эти враги всего отечественного, преимущественно древнего? Если и есть люди, так мастерски представленные г. Майковым в лице графа*, то, право, они не стоят возражения. Я уверен притом, что «Москвитянин» все это очень хорошо знает,— знает, что в числе людей, не делящих его славяноманию, есть люди, горячо любящие Россию, знает, что они, раскрытые многому европей-

[1] и конечно (лат.).— *Ред.*

скому, не закрыты многому отечественному, знает, наконец, что вопрос о современности чрезвычайно труден, что (говорю смело) сам «Москвитянин» и все любители древней Руси не вполне решили себе этот вопрос, как многие другие, добросовестно искавшие иных решений. Для чего обвинение? Для чего же эта шутка непониманья? Для чего же тонкий намек на кошихинский прогресс и эти выразительные точки потом?[1]

<1845 г.>

---

[1] Кошихин — изменник России, казненный за преступления в Стокгольме!!!!!

ДНЕВНИК

1842–1845

ДНЕВНИК

с 25 марта 1842

Новгород.

1842 г.

25 м а р т а. Тридцать лет! Половина жизни. Двенадцать лет ребячества, четыре школьничества, шесть юности и восемь лет гонений, преследований, ссылок. И хорошо и грустно смотреть назад. Дружба, любовь и внутренняя жизнь искупают многое. Но, признаюсь, беспрерывные гонения и оскорбления нашли средство причинять ужасную боль, и при слове 30 лет становится страшно,— пора, пора отдохнуть. Я наверно отслужил свои 15 лет, могу идти в бессрочно отпускные. Даже и 25, если считать годы вдвое, как у моряков за кампанию.

26. Вчера получил весть о кончине Михайла Федоровича Орлова*. Горе и пуще бездейственная косность подъедает геркулесовские силы, он, верно, прожил бы еще лет 25 при других обстоятельствах. Жаль его. Эта новость, пришедшая в день моего рождения aviso[1]. Memento mori[2] в одном отношении и vivere memento[3] в другом. Пример перед глазами.

Я никогда не считал Михайла Федоровича ни великим политиком, ни истинно опасным демагогом, ни даже человеком тех огромных способностей, как о нем была fama[4]. Но он имел в себе много привлекательного, благородного, начиная с наружности до обращения и пр. Он был *человек* между московскими

[1] как предупреждение (итал.) — *Ред.*

[2] Помни о смерти (лат.).— *Ред.*

[3] помни о жизни (лат.).— *Ред.*

[4] молва (лат.).— *Ред.*

аристократами, исполненный предрассудков, отсталый от нового поколения, упорно державшийся теорий репрезентативности[1], как они были постановлены в конце прошлого и начале нынешнего века, и выдумывавший свои теории, дивившие своей неосновательностью. Молодое поколение кланялось ему, но шло мимо, и он с горестию замечал это. Я был лет 19, познакомившись с ним. Тогда он еще был красавец, «чело, как череп голый»*, античная голова, оживленные черты и высокий рост придавали ему истинно что-то мощное. Именно с такой наружностию можно увлекать людей. Возвращенный из ссылки, но непрощенный, он был в очень затруднительном положении в Москве. Снедаемый самолюбием и жаждой деятельности, он был похож на льва, сидящего в клетке и не смевшего даже рычать; faute de mieux[2] он окружил себя небольшим кругом знакомых и проповедовал там свои теории; главное лицо по талантам и странностям занимал в этом кругу Чаадаев. Подавленное честолюбие, глубокая уверенность, что он мог бы действовать с блеском на высших правительственных местах, и воспоминание прошедшего, желание сохранить его как нечто святое ставило Орлова в беспрерывное колебание. «Стереть прошедшее» и явиться кающейся Магдалиной,— говорил один голос; «не сходить с величественного пьедестала, который дан ему прошедшим интересом и оставаться окруженным ореолой оппозиционности»,— говорил другой голос. От этого Орлов делал беспрерывные ошибки. Вовсе без нужды и без пользы, громогласно иной раз унижался — и приобретал один стыд. Ибо те, перед которыми он это делал, не доверяли ему, а те, которые были свидетелями, теряли уважение. Правительство смотрело на него как на закоснелого либерала и притом как на бесхарактерного человека; а либералы — как на изменника своим правилам, даже легкое наказание его, в сравнении с другими декабристами, не нравилось. И в самом деле, неприятно было видеть на московских гуляньях и балах Михайла Федоровича в то время, как все его товарищи ныли и уничтожались на каторге. Орлов не умел носить траур, который ему

---

[1] представительности, от représentatif (франц.).— *Ред.*

[2] за отсутствием лучшего (франц.).— *Ред.*

повелевала благопристойность высшая. При всем том обе стороны судили его пристрастно, он отнюдь не был ни Мирабо, ни Сиэс для петербургской аутократии, также не заслужил насмешек либералов. Главная вина его — *человкость*. В сущности, он сохранял много рыцарски доблестного до конца жизни, в нем было бездна гуманного, доброго. За это мы должны его простить. В 1834 я оставил его в цвете лет и сил, моральных и физических. Пришел мой черед ссылки; возвратившись, наконец, в 1840, я видел его мельком в 41, он на меня сделал ужасное влияние, что-то руинное, убитое было в нем; работавши 7 лет и все попустому, чтоб получить поприще, он убедился, что *там* никогда не простят, что ни делай, ужасное обвинение: он смел думать о правах — анафема нестирающаяся. А юное поколение далеко ушло и с снисхождением (а не с увлечением) смотрело на старика. Он все это чувствовал и глубоко мучился, занимался отделкой дома, стеклянным заводом, чтоб заглушить внутренний голос. Но не выдержал. С моей стороны я посылаю за ним в могилу искренний и горький вздох; несчастное существование оттого только, что случай хотел, чтоб он родился в эту эпоху и в этой стране. Аминь.

28. Два удара пиетизму и католицизму. Архиерей Шартрский восстал в Париже против германской философии, пугал падением католицизма etc.— но правительство, созданное доктринерами, взяло сторону мысли против авторитета. И подобное же повторилось в Стутгарде, где министр в камере решительно вышел лицом к лицу сражаться с католическим духовенством. В Вятке жил сосланный грузинский князь*, он не выдержал сурового климата и впал в злейшую чахотку, я посетил его за несколько дней до смерти, он был едва жив, но с видом глубокого убеждения сказал: «Лишь бы весной не было хуже, а то, пожалуй, сделается чахотка». Вот как умирающие не понимают своего положения, то же о католицизме и пиетизме.

Временный налог Пиля делает эпоху*.

Апрель месяц.

2. Получил весть о кончине Карла Ивановича Кало* 27 марта в университетской больнице. Ему легко было закрыть

глаза,— один из честнейших, благороднейших людей, несмотря на свое звание. Он инстинктивно как-то любил меня, с самого детства. Что это как быстро уносит могила прежнее поколение! «И тебя уже не стало!..»

Завтра подаю в отставку. Одна четверть желаний исполнится; хоть волю употребления времени приобрету.

4. Господи, какие невыносимо тяжелые часы грусти* разъедают меня! Слабость ли это? Или последствие того развития, которое приняла душа моя, или, наконец, мое законное право, образ отражения во мне окружающего? Неужели считать мне свою жизнь оконченною, неужели все волнующее, занимающее меня, всю готовность труда, всю необходимость обнаружения схоронить, держать под тяжелым камнем, пока приучусь к немоте, пока заглохнут потребности,— и тогда начать жизнь пустоты, роскоши? Да, только последнее возможно, когда оно естественно течет из сущности известного рода плоскости духа, в этот мир чужой не взойдет. Есть другая жизнь, прекрасная и высокая, чисто инсентивная, с единой целью внутреннего просветления,— но я чувствую, что середь тихих занятий кабинета подчас является ужасная тоска. Я должен обнаруживаться, ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой пищит сверчок.

Гёте говорит:

Gut verloren — etwas verloren!
Ehre verloren — viel verloren!
Mußt Ruhm gewinnen,
Da werden die Leute sich anders besinnen.
Mut verloren — alles verloren,
Da wär'es besser nicht geboren [1]*.

Это величайшая истина, и потому-то, когда я сознаю совершенную потерю духа, я паду. Но еще, кажется, я далек от этого. Счастливы детски религиозные люди, им жить чрезвы-

---

[1] Добро потеряешь — немного потеряешь! Честь потеряешь — много потеряешь! Завоюй славу, тогда люди изменят свое мнение. Мужество потеряешь — все потеряешь, лучше бы тогда совсем не родиться (нем.).— *Ред.*

чайно легко. Но будто возможно из совершеннолетия перейти в ребячество иначе, как через безумие. Одна мать, потерявшая всех детей своих*, говорила мне с веселым видом: «Я не жалею их, я их хорошо поместила», и она вставала по ночам к заутрене, держала строгий пост и была счастлива. Я даже завидовать не могу, хотя удивляюсь великой тайне врачевания безвыходного горя — субъективным мечтательным убеждением. У ней несчастие переполнило душу — и обратилось в безумное блаженство. Но мои плечи ломятся, но еще несут. И ужасная мысль, что еще годы надобно таскать эту тяжесть, разливает мрак, и судорожное негодование щемит душу.

6. Теперь все пугают меня ужасными последствиями отставки, но так и быть, лучше год лишний ссылки, но спокойное употребление времени. Один большой плут предлагает выпутаться деньгами,— быть может, оно и так, деньги у нас всемогущи. Самодержавие, ограниченное взятками так, как во Франции была некогда монархия, limitée par des chansons[1]*. Вот состояние! Одно желание силы, силы перенесть еще... сколько — ну, наверное, три года этих свирепых гонений.

8. Писал к Дубельту, чтоб уведомить его об отставке*. Я не думаю, чтоб он или г. Бенкендорф имели что-нибудь против меня лично, не думаю даже, чтобы тот или другой по охоте или по симпатии делали зло. Но боюсь всего от равнодушия; у нас почти нет инквизиции из убеждений (разве таков был Мордвинов, предместник Дубельта). Как бы то ни было, я дам себе слово многое сделать, в многом уступить, чтоб добраться до свободы. Я склонил голову,— там нет борьбы, где с одной стороны никаких прав, никакой силы. Понимаю, что, подавая в отставку, я отдаляю несколько счастливые шансы. Но жертвовать всем временем — это потеря существенная. Я считал год лишний удаления за отставку и нахожу, что выгода перевешивает.— Написавши такое письмо, я всякий раз делаюсь болен,— усталь, дрожь, бессилие и волнение. Вероятно, это то самое чувство, которое испытывают публичные женщины, первые раза продавая себя за деньги — хотя и

[1] ограниченная песенками (франц.).— *Ред.*

защищаясь нуждой etc. Полного отпущения сознательному греху нет. L'homme se sent flétri [1]. Да может, я этим спасу свою индивидуальность. А тут вопрос: да нужна ли индивидуальность моя для чего б то ни было, или нужна ли на что-нибудь индивидуальность, спасаемая таким образом? Где же внутренняя жизнь, если человек не может покориться обстоятельствам, как бы они скверны ни были, с гордым сознанием правоты? Эгмонт и Оранский! Эгмонт рыцарской доблестью купил плаху. Но надобно *быть Оранским*, чтоб стяжать право поступать, как он. Спасая себя хитрыми уступками, он спасал страну. А я — спасая себя? Но неужели моя жизнь кончена, неужели всё это вздор? Nein, das sind keine leere Träume [2]*.

Я не могу долго пробыть в моем положении, я задохнусь, и как бы ни вынырнуть — вынырнуть.

12. Вот что значит подать в отставку. Мне стало как-то легче; явились свежие силы и туман несколько рассеяли. Из двух чудовищ, стоящих подле меня с вечно подъятой дубиной, одно исчезло. И как будто с выходом в отставку я обязан работать — ибо досуг мой, время мое. И буду работать. А между тем еще не знаю, чем разрешится, какие последствия принесет этот шаг.

Хочется написать пропедевтическое слово желающим приняться за философию, но сбивающимся в цели, праве, средстве науки. По дороге тут следует указать весь вред добрых людей, *любящих* пофилософствовать. Враги науки не так опасны, как все полупиетисты, полурационалисты. Начав, что будет, не знаю*.

13. Продолжаю в свободное время лекции Вильмена*. И это мне очень полезно, мы забыли XVIII век, тут он оживает, переносимся снова в те времена Вольтера, Бюффона,— и, что ни говори, великие имена. Замечательно следить, как в начале своей карьеры Вольтер дивит, поражает смелостью своих религиозных мнений, и через два десятка лет Гольбах, Дидро; он отстал; материализм распахнулся во всей силе. «Le patriarche ne veut pas se départir de son rémunérateur vengeur; il

[1] Человек чувствует себя запятнанным (франц.).— *Ред.*

[2] Нет, это не пустые мечты (нем.).— *Ред.*

raisonne là dessus comme un enfant»[1]*,—пишет Гримм. А также смело и дерзко выказывает свою голову и попирает ногами нравственность. Тут видишь das Werden[2] 93 года. Дидро импровизирует:

> Et mes mains ourdiraient les entrailles du prêtre
> A defaut d'un cordon pour étrangler les rois[3] *.

При всем том эта ступень развития чрезвычайно важна и сделала существенную пользу. Ошибка их состояла в том, что они, понявши генезис духа во временном, конечном, приняли его за произведение материи, за материю. Генезис отчасти верен у них; даже если бы несколько шагов они пробились бы дальше, то они сами поняли бы, что они со словом материя сопрягают еще что-то обладающее ею, призывающее ее к жизни, что-то вечное, бесконечное, имеющее целью проявление и прочие атрибуты, не идущие страдательной материи. Так, как Спиноза был истинен на той точке, на которой стоял, и эта точка была необходимой степенью, так и их. Что касается до атеизма, он последовательнее, нежели робкий деизм Вольтера и Руссо. Впрочем, Руссо случайно натыкался на истинный путь богопознания, т. е. развития духа своего до созерцания бога. Этот их творец, геометр des Jenseits[4], неучаствующий, праздный, которого мы не можем знать и пред которым благоговеем, не удовлетворит ни горечи придыхания религиозного ума, ни строгость логического. Отрицание бога было шагом к истинному разумению его, отрицание его, как Иеговы, как Юпитера, как чуждого земли, сидящего где-то, совлекало с него последнюю конечность, приданную религиозными представлениями, и последнюю абстракцию философии. Для них, с точки зрения анализа и raison naturelle[5], бог только существовал как природа, как вселенная, как вечный мир, о котором

---

[1] «Патриарх не хочет отказаться от своего вознаграждающего мстителя; он рассуждает об этом, как ребенок» (франц.).— *Ред.*

[2] становление (нем.).— *Ред.*

[3] И мои руки сплели бы кишки попа за отсутствием веревки, чтобы давить царей (франц.).— *Ред.*

[4] потустороннего мира (нем.).— *Ред.*

[5] естественного разума (франц.).— *Ред.*

Плиний говорит: Aeternus, immensus, totus in toto, immo vero ipse totum, тотальность деятельности замкнутой, idemque rerum naturae *opus* et rerum ipsa *natura*[1]. Надобно оставить перебродить эту материю творца и творение вместе, и она должна сама выработаться из лукрециевской тенденции в направление современной духовной философии. Это движение сильнее разума. Это его феноменология. Но уже после Гольбахов, Дидро et C^nie невозможно чувственно-католическое представление, вдохновлявшее глубокие умы гораздо выше материализма, потому что они умели оторваться (бессознательно) от буквы и переноситься в сферы абсолютной спекуляции,— но служившие идолопоклонствам масс.

Что за огромное здание воздвигнула философия XVIII века, у одной двери которого блестящий, язвительный Вольтер как переход от двора Людвига XIV к царству разума и у другой мрачный Руссо, полубезумный, наконец, но полный любви, и остроты которого не выражали ни остроумия резкого, ни родства с grand siècle[2], а предсказывали остроты de la Montagne[3], С.-Жюста и Робеспьера. Вольтер с омерзением прочел в «Эмиле»: «И если сын короля полюбит истинно дочь палача, отец не должен ему препятствовать». Вот réhabilitation de l'homme[4] чисто демократическая. Масса читала не так, как Вольтер. Шутки, полуслова действуют — но гордый язык лицом к лицу с властью должен был поразить у Руссо. Мы привыкли.

И все деятели того века были люди жизни в Англии и во Франции: Монтескье, Бюффон и пр. Германия выдвинула потом свою мысль, свое искусство — обширное и великое, но выращенное в кабинете. Биографий германских читать нельзя. Первый человек у них — Шиллер. Да разве Лессинг еще. Чему же дивиться, что Фридрих II, человек практический, не мог сродниться с своим отечественным направлением. Для

---

[1] Вечный, безмерный, весь во всем и даже сам — всё... и *дело* природы вещей, и сама *природа* вещей (лат.).— *Ред.*

[2] великим веком (франц.).— *Ред.*

[3] «Горы» (франц.).— *Ред.*

[4] реабилитация человека (франц.).— *Ред.*

того, чтобы симпатизировать с ним, надобно было показать ему всю мощь свою (Гёте, Гегель).

15. Апреля 2 вышел указ*, дозволяющий помещикам делать условия с крестьянами, которые остаются при земле, но уже делаются в среднем положении между крепостными и помещичьими, под названием обязанных. Причина, сказано, чтоб земли не выходили из дворянских родов,— но есть ли это ограничение права отпуска в свободные хлебопашцы, ясно не видать. Силы обязательной указ не имеет, это предложение тем, кто хотят. Побудительной причины хотеть не предвидится. Состояние крестьян мнимо улучшится. Это ex-attachés à la glèbe[1] средних веков, la gent corvéable et taillable[2]. Замечателен циркуляр министра внутренних дел, объявляющий, что в этом указе (который давно был ожидаем) ничего нового нет, что он относится к желающим и чтоб не смели *подразумевать* иной смысл, *мнимое* освобождение крестьян etc., etc. Ne réveillez pas le chat qui dort![3]

26. Дней пять занимался статьей о «дилетантизме в науке»*. Я доволен,— кажется, удачно обрисована эта болезнь, общая нашим pseudo-философам.

Крестил у Рейхеля*.

29. Урок от Германа*. Я поступил не вовсе осторожно, однако очень извинительно, мне отвечали письмом, полным если не дерзости, то желания показать оскорбление и принести оскорбление. Мне было больно. Старик, оказывавший мне в коротенькое знакомство учтивость и доброе расположение, вдруг поставил в такое странное положение. Я писал и извинился, потому что считаю неосторожность виною; другой сатисфакции не могло быть и полнее не могло. Но когда же люди перестанут быть китайцами, когда они не будут приводить в зависимость от щепетильного самолюбия все прекраснейшие отношения? И какая готовность при тени не обиды, а подозрения в забвении условного поклонения, которым взаимно люди обманывают друг друга, прервать все связи, доставлявшие удовольствие etc.! Тяжело убеждаться, что записные эгоисты

[1] бывшие крепостные (франц.).— *Ред.*

[2] народ, подлежащий повинности и налогу (франц.).— *Ред.*

[3] Не будите спящего кота! (франц.).— *Ред.*

изобрели себе лучший esprit de conduite[1]. Надобно совершенную симпатию, единство образа мыслей, много сходного в прошедшем и тогда еще несколько лет близкого знакомства, шпионства друг за другом, чтоб дерзнуть откровенно поступать. Я проучен этими встречами, в которых за тень симпатии я простирал откровенно объятия и оставался в дураках. От этого мне тошно, грустно в том месте, где нет никого близкого; а этих любезных незнакомцев хочется ежедневно менять, они надоедают.

Теперь еще вопрос: что он сделает, получивши мое письмо? Что скажет? Я с полным сознанием, что не хотел оскорбить, извинился. Ложный стыд может заставить его поддержать и после того мысль, что я поступил дурно. Но истинное благородство требует не того.

30. Самые жесткие, неумолимые из всех людей, склонные к ненависти, преследованию etc.,— это ультрарелигиозники — из них веет святой Германдадой*. Оттого, что они чрезвычайно внешние натуры, глубина их ложная, они *в другую сторону* вышли вон из глубокой и прекрасной среды жизни, в которой живет все благородное и доброе. Их обуял формализм и, сверх всего, они поврежденные. Да, сверх того, они играют отчаянную игру в XIX веке.

Май месяц.

4. Странное сближение, читал на днях «Прометея» Эсхилова и «Двое Фоскари» Байрона. Если сравнить греков с иудеями, например, удивительно, насколько греки *больше* люди, они не могли склониться ни под какое иго. Что за громкий, энергический протест этот прикованный Титан, пренебрегающий Зевса, ругающийся над ним, и этот хор океанид, верный Титану даже после угроз! Сколько человечески прекрасного в молчании Прометея, когда его приковывают, и в отказе Юпитеру объяснить пророчество о низвержении его с престола! Э. Кине воспользовался этим пророчеством и на нем основал поэму*, прекрасно придуманную, но плохо и слабо выполнен-

---

[1] линию поведения (франц.).— *Ред.*

ную,— в самом деле, post factum[1] слова Прометея кажутся предсказанием Христа. Гёте представил *того* Прометея, Эсхилова*. И эта пьеса давалась в Афинах, а в Париже в 1842 в к⟨амере⟩ депутатов какой-то глупец с ужасом требовал закона, чтоб отвратить на театрах появление лиц в платьях католического духовенства. Народ, победивший Ксеркса, рукоплескал свободному и гордому голосу Титана, несмотря что этот голос направлен против Зевса!

Два лица остаются глубоко впечатленными в душе после чтения «Фоскари» — дож и Марина. В мрачных, конвульсивных созданиях Байрона старик Фоскари святой, доблестный, спокойный и великий, а она южная по натуре, необузданная в страстях и сильная именно по-южному. Ответы дожа председателю десяти и вся последняя сцена удивительно хороши.

Как относится Эсхилов Прометей к Каину Байрона и его ангелам и девам? Тут измерить расстояние и различие Греции и XIX века.

9. Вот и опять девятое мая. Но уже одного из героев этого дня нет. Бедный Астраков* под сырой землей. Четыре года — да, что это, много времени или мало? Кажется, все это было три недели, месяц тому назад. А много прошло. Худшее — это болезненное состояние Наташи в продолжение последних двух лет. Вся жизнь ее до свадьбы была мученье, два года счастья и потом новые мученья — физические. Как же быть довольным жизнию? Ее болезнь и преследования — две черные нити, глубоко вплетенные в нашу жизнь. С каким мучительным чувством я вижу последовательное ослабление существа, так молодого летами! И она много способствует сама болезни, принимая все впечатления с чрезвычайной силой и скрывая часто действия их. Хотелось бы скакать на юг, на европейскую почву — рассеяние, климат, люди помогли бы ей. А на ногах цепь. И тут становится досадно, зачем как на смех есть средства и не велено пользоваться. Какую светлую, прекрасную жизнь мы могли бы вести, нет желанья роскоши, нет желанья знатности, симпатический круг людей, умственная,

---

[1] после свершившегося (лат.).— *Ред.*

артистическая деятельность и свобода. Давно отказался я от других мечтаний. Но будущее грозит худшим.

Есть благо, которого власть отнять не может,— это воспоминания, разве догадаются поить дурманом или наливать какой-нибудь состав в мозг. Что это за светлые дни были 8 и 9 мая 1838!* Тут-то раздается грудь, и человек бесконечен в своем блаженстве. Но в этой среде долго нельзя удерживаться, жизнь утягивает в свою прозаическую диалектику, хочет непременно поставить изнанку возле лицевой стороны. Будем нести изнанку за лицевую сторону — и с богом в дальнюю дорогу*.

17. Писал эти дни вторую статью о дилетантизме*. Мне самому уясняется мысль, писавши. Вероятно, это скорее недостаток, нежели достоинство.

20. Semper idem[1]. Одно чувство всплывает над всеми, тягостное и ужасное. Чувство моего положения. Переписывался с Денном о здоровье жены*. Денн — как и здравый смысл — советует ехать в Москву для основательного лечения под хорошим руководством. И никаких средств. Ехать на неделю, на две одной Н⟨аташе⟩ вряд будет ли полезно; надолго она меня не хочет оставить. Речь идет о жизни человека; двоих детей я уже лишился по милости гонений*. Неужели правдоподобно это? Поверят ли счастливые страны в возможность таких насилий? Через сто лет здесь не поверят. И между тем это истина, я должен быть немым зрителем, как слабеет, разрушается, быть может, это прекрасное существо, и не могу употребить такого простого средства, как ехать лечиться в Москву, а уже что и думать о чужих краях.

Да где же вина? Что сделано мною?

Когда человек в 30 лет смотрит вперед, как я, и видит туман и мрак, то он должен благословить судьбу, если она дала ему характер настолько светлый, настолько независимый, что он не предается отчаянию. Начать новую жизнь поздно. Продолжать старую невозможно. Великий искус, надобно обречься на совершеннейшую ничтожность. Тогда, быть может, оставят в покое.

---

[1] Всегда то же (лат.).— *Ред.*

Это моя великая надежда, ею я живу. У нас ни в чем нет многолетней последовательности. Перестанут, наконец, гнать. И настанут годы — спокойной пустоты, тупой боли и пассивной бездеятельности.

23. Как невыносимо грустно и тягостно жить подчас! Книга выпадает из рук, перо также. Хочется жить, деятельности, движения, и одно... одно немое, тупое, глупое положение сосланного в пустой городишко. Подчас я изнемогаю. Стыдно делается потом, но что же делать, я человек, не плутарховский герой, не лицо из жития святых. Больно, унизительно, оскорбительно и существенно убивственно, если взять в расчет время. И умереть, быть может, в этом положении... Фи!

Июнь месяц.

10. Сегодня уехал Огарев; после 11 дней. Прекрасно проведенные дни, дни жизни, т. е. когда человек живет в настоящем; хотя не со всех сторон светло; но мы давно не встречались так спокойны и веселы. Он намерен разойтись с нею*. Дай бог, но вряд найдет ли достаточно силы. Она хитростью, притворством может еще овладеть его тихой и благородной душой. Может, еще и настанут светлые дни со стороны частной жизни.

Он говорил и о других надеждах, но я так отвык от них, что едва сердце бьется при словах, удивление, похожее на то, когда бы мы увидели усопшего нам близкого... а веры нет.

Итак, он в Рим, Париж, а я — все здесь и с цепью на ногах. Писал к Дубельту; 1 июля серебряная свадьба*. Я чувствую психическую необходимость ехать в большой город, надобны люди, я вяну, во мне бродит какая-то неупотребленная масса возможностей, которая, не находя истока, поднимает со дна души всякую дрянь мелочи, нечистые страсти. Если б можно было уловить и рассказать все, что проскользает в иную минуту бездействия,— как бы гадок, развратен показался человек. Мне одиночество в кругу зверей вредно. Моя натура по превосходству социабельная. Я назначен собственно для трибуны, форума, так, как рыба для воды. Тихий уголок, полный гармонии и счастия семейной жизни, не наполняет всего, и именно в ненаполненной доле души, за неимением другого, бродит целый мир — бесплодно и как-то судорожно.

11. Он привез «Мертвые души» Гоголя*,— удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную сил национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле, и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее; но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование ins Blaue[1], а имеет реалистическую основу, кровь как-то хорошо обращается у русского в груди. Я часто смотрю из окна на бурлаков, особенно в праздничный день, когда, подгулявши, с бубнами и пением, они едут на лодке; крик, свист, шум. Немцу во сне не пригрезится такого гулянья; и потом в бурю — какая дерзость, смелость, летит себе, а что будет, то будет. Взглянул бы на тебя, дитя, — юношею, но мне не дождаться, благословлю же тебя хоть из могилы. Но все это ни одной йотой не уменьшает горечь жизни. Сверх всего повторенного много раз, отдельность, несимпатия со всех сторон тягостна; барству, чиновничеству мы не хотим протянуть руки, да и они на нашего брата смотрят, как на безумного, а православный народ, которому, для которого, за который всякий благородный человек готов бог знает что сделать,— если не в открытой войне, в которой он нас опутывает сетью мошенничества, то он молчит и не доверяет, нисколько не доверяет; я это испытываю очень часто; когда он видит простой расчет, дело другое, но когда не из расчета, а просто из доброжелательства что-нибудь сделаешь, он качает головой и боится быть обманутым.

12. Не у всех страсти тухнут с летами, с обстоятельствами, есть организации, у которых с летами и страсти окрепают и принимают какой-то странный характер прочности. Вообще человек должен быть очень осторожен, радуясь, что он миновал бурный период: он может возвратиться вовсе нежданно. И тут решается спор — разум или сердце возьмет верх. Выше, свободнее, нравственнее — когда разум; но в самом огне, увле-

[1] ввысь (нем.).— *Ред.*

ченье есть прелесть, живешь вдесятеро. А после — раскаяние, упреки. Я всегда проповедовал против Naturgewalt[1]; но гуманность моя идет до того, что я прощаю ей, если только в силу этой Naturgewalt не отрекается человек сам от всего человеческого. Это редко и бывает, почти только при помешательстве, в каком бы то ни было отношении. Ибо сама страсть влечет к чему-нибудь человеческому, хотя часто и не лучшим путем. Наслаждение, например, есть по превосходству право живущего etc., etc. Все это решительно недоступно пиетистам, вообще в пиетизме нет ничего гуманного, несмотря на то, что христианство по превосходству гуманно. Они, заморившие в себе все, называемое ими земное, не имеют никакой снисходительности, они жестки, даже свирепы. Любви в них нет, их любовь подложна, ein Sollen[2], по приказу. Наш брат, просто человек, напротив: чем шире раздается его круг, тем больше отпущает,— да и то́ подчас кажется ненужным, потому что и отпускать нечего (кроме уголовных дел, и то не всех).

16. Продолжаю. Тот, кто нашел в себе силу хранительную и победил распахнувшуюся страсть, не будет жесток в осуждении ближнего, не выдержавшего напора, увлекшегося, оттого, что он помнит, чего ему стоила победа, как он изнеможенный, сломанный вышел из борьбы. Жестоки легко побеждающие, т. е. такие, к которым страсти едва притрогиваются, узкие натуры, эгоисты и абстрактно добродетельные люди. Но вот еще вопрос, сюда же относящийся. Бесспорно всякая победа есть освобождение от внешнего, но не приходится ли людям часто бороться с фантомами, ими придуманными? Чтоб привести совершенно очевидный пример, я не могу приписать достоинство особенно замечательное глупому человеку, отказывающемуся, при желании есть, от скоромной пищи в постный день. Борьба нелепа, разве для упражнения себя в самообуздании. Оттого человек кажется рабом страстей более, нежели он есть, что его не выпускают из смешного рабства sui generis[3] предрассудки, например, монашеские обеты. Пример перед

---

[1] силы природы (нем.).— *Ред.*

[2] какой-то долг (нем.)— *Ред.*

[3] своего рода (лат.).— *Ред.*

глазами. Огарев понимает ясно, когда брак есть что-нибудь и когда он делается нелепой формой, взаимным рабством, отвратительным соединением гетерогенного, такой брак in facto[1] уже распался, если нет детей, он — бесследно прошедшее. Он именно в этом случае — а не смеет разойтиться. Боится общественного мнения, говорит он; но тут есть и другая боязнь — от совести timorée[2].

17. Вчера гонец из Петербурга от Огарева*. Дубельт не находит возможным делать представление, находя бесполезным, ибо по всем прочим обо мне государь отказал (вероятно ли??!), и предлагает последнее средство: писать Наташе к императрице, и притом с тем же нарочным. Прислали черновую*. Нат⟨аша⟩ переписала, подписала и отправили. Просьбу берется доставить Соллогуб*, много хлопотавший в этом. И все вместе оскорбительно до невероятной степени; достоинство моей человеческой личности, а вместе и всех личностей замято в грязь этим бесправием.

20. Чудеса! письмо от Дубельта, и вновь отказ*. Для чего же просьба? Невероятно, невероятно! Неужели решиться на совершенную утрату жизни? Как ужасно искупается душа, осмеливающаяся становиться выше толпы! Через четыре дня будет 8 лет*. Тут нет слов. Лишь бы не подломились плечи под тяжестию креста.

Проезжал Фролов с больной сестрой. Вчера.

Мне благотворны все эти проезды, я смываю провинциализм ими — набираю силы. Оттого я и хочу переехать в Тверь, чтоб быть опять на большой дороге.

27. Две замечательные случайности, несколько противуречащие сказанному за две страницы о простом народе. Мне нужны были деньги, один из здешних купцов сам мне привез, дал без расписки и ни под каким видом не хотел (и не взял) процентов. Казалось, что он рад был, что мог меня одолжить*. Or donc[3] я никогда положительно ничего для него не сделал, а так как я теперь отставной, то, вероятно, и не могу вперед

---

[1] по существу (лат.).— *Ред.*

[2] трусливой (франц.).— *Ред.*

[3] Между тем (франц.).— *Ред.*

ничего сделать. Они оценили разницу между мною и прочими чиновниками, и за это спасибо. Второе. Буфетчик здешней гостиницы совещался со мною насчет своего сына, он третий год в гимназии. «Да уж мне бы хотелось его после в университет, чтоб был человеком». Мальчик приходил ко мне, живой. Я ему дал книгу и подстрекнул заниматься. Совстую идти по медицинскому факультету. Отец чей-то вольноотпущенный. In potentia[1] много в русской душе. Недавно еще рассказывал инженер о боровицких лоцманах, что за удаль! что за бесконечный stimulus[2], который развертывает в них эту потребность песней, вина и удали!..

28. Вчера, поздно вечером или, вернее, ночью, сидел я у окна с Н⟨аташей⟩, было тепло и чрезвычайно хорошо. Тишина мертвая. Волхов сверкал, тихо и гладко тек он, ни листок не шелохнется, весла шумели правильно, ритмом разделяя время, на другом берегу пел мужик какую-то бесконечную песню,— мы слушали его с восторгом, как дай бог, чтоб слушали Росси и Пасту. Время шло, а он пел да пел — грустно, уныло. Что заставляет его петь? Ведь это дух, вырывающийся на волю из душной прозаической сферы пролетариата, этой песнью он бессознательно входит в царство божие, в мир бесконечного, изящного. Дух, выработавшийся до человечности, звучит так, как цветок благоухает, но звучит и для себя; за трепетом жизни, за неопределенной радостью бытия животного следует экспансивность человека, он наполняет своею песнью окружающее, единится ею с другими и удовлетворяет свою жажду. Если глубоко всмотреться в жизнь, конечно, высшее благо есть само существование — какие бы внешние обстановки ни были. Когда это поймут — поймут и, что в мире нет ничего глупее, как пренебрегать настоящим в пользу грядущего. Настоящее есть реальная сфера бытия. Каждую минуту, каждое наслаждение должно ловить, душа беспрерывно должна быть раскрыта, наполняться, всасывать все окружающее и разливать в него свое. Цель жизни — жизнь. Жизнь в этой форме, в том развитии, в котором поставлено существо, т. е. цель человека —

---

[1] Потенциально (лат.). — *Ред.*

[2] стимул (лат.).— *Ред.*

жизнь человеческая. Читаю Лукреция: «De rerum natura». Какой взрослый и в многих отношениях здоровый взгляд! (Разумеется, надобно простить метафизические ошибки, физические etc.). Да, древний мир умел лучше даже нашего любить и ценить космос, великое Всё, Природу.

Июль месяц.

1. Вчера была ужасная гроза, и гром ударил в церковь, шагов сто от нашего сада. Мы сидели на террасе, удар был оглушителен. Стало как-то неловко и страшно. Ну, если убьет меня, нас! Гроза миновала, но мне было грустно. Где время веры в будущее, в жизнь, в ее необходимость, в хранение ее, в ее важную связь с всемирным, с всеобщим, с человечеством? Knabengedanken![1] Когда тонул дощаник на Волге*, я твердо смотрел на опасность. Я верил в индивидуальность. И теперь думаю, что естественная смерть не придет, пока человек имеет что-нибудь выразить. Но случай внешний ударит, и никому, ничему и дела нет.

6. Таков ли был я, расцветая?
Скажи, фонтан Бакчи-Сарая*.

Я с странным чувством обращаюсь иногда назад, далеко назад, к ребячеству. Как богато хотела развернуться душа, и что же вышло, какое-то неудачное существование, переломленное при первом шаге. Но где же внутренняя сила, если внешнее могло ее сломить? Стало, и без внешнего не много бы вышло. А между тем, как всегда грудь была полна чувств, голова — мыслей! Зачем, или что препятствует их проявлению?

9. Письмо от графа Бенкендорфа к моей жене*, извещает о разрешении ехать в Москву — с тем, чтоб я не приезжал в Петербург. Все сделано графом Вьельгорским. Недаром он магнетически как-то понравился мне при первой встрече. И граф Соллогуб много хлопотал. Оно не все — но лучше. Я не ждал. Ровно 8 лет взятию Огарева 9 июля 1834. В Москве будут и неприятности, но не так заглохнешь. И опять фатум, фатум!

---

[1] Ребяческие мысли! (нем.). — *Ред.*

25 июля. Двенадцать дней, как мы оставили Новгород. Но встреча с Москвою не была вполне радостна, из близких людей почти никого нет. Отца я застал в разрушающемся состоянии, он стал впадать в какую-то старческую апатию, занимается исключительно мелочами и пр., а потом он страдает неизлечимой болезнью, и вся обстановка становится lugubre[1]. И самое положение не лишено неприятности, предписано иметь надзор, опять шпионы окружат, опять sur le qui vive[2]. Два, три человека и средства заниматься искупают, с другой стороны.

29. Ничего не делаю, а внутри сделалось и делается много. Я увлекался*, не мог остановиться — и после ахнул. Но в самом раскаянии есть что-то защищающее меня передо мною. Не те ли единственно удерживаются, которые не имеют сильных увлечений? И почему мое увлечение было полно упоения, безумного bien-être[3], на которое обращаясь, я не могу его проклясть? Подл не факт — подл обман. Оскорбления, обиды нет. Это я понимаю до ясности. Ригоризм не может дать абсолюцию, да я и сам далек от того, чтоб дать ее себе, но человеческий суд должен молчать, снисходить, реабилитировать. В этом великое призвание нашего века. Пусть положительное законодательство назначает плети и цепи; мы не будем с ним заодно, мы должны с иной точки взглянуть на падения, на искушения. Христос не бросил камня.

Много толковал о подобных предметах с Боткиным. Да, люди (т. е. развившиеся до современности) не хотят, чтоб что-нибудь вперед шло без сознательных уступок мнению, положительному законодательству, преданию etc. Всё хотят провести сквозь горнило сознания; с этим вместе детские верования, готовые понятия о добре и зле уничтожаются. Человек ищет полной свободы не для своеволья, а для разумно-нравственного бытия. Многое теперь сковывает людей, подобно, например, соблюдению постов. Оскоромившегося угрызала совесть, он мучился проглоченным куском. Зачем? Затем, что преступил внешнее веление и пр.

[1] мрачной (франц.).— *Ред.*

[2] настороженность (франц.).— *Ред.*

[3] блаженства (франц.).— *Ред.*

Был у Чаадаева. Подробности о смерти Михайла Федоровича. Он умер спокойно, величаво. Все путное в Москве показало участие к больному, даже незнакомые. Оценили, поняли, благословили в путь. Толпа народу была на отпевании и проводила его. Виталий делает бюст. После его смерти полиция опечатала бумаги и отослала в Петербург.

Толки о «Мертвых душах». Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это апотеоза Руси, Илиада наша, и хвалят, след., другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси и за то ругают. Обратно тоже раздвоились антиславянисты. Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда. Видеть апотеозу смешно, видеть одну анафему несправедливо. Есть слова примирения, есть предчувствия и надежды будущего полного и торжественного, но это не мешает настоящему отражаться во всей отвратительной действительности. Тут, переходя от Собакевичей к Плюшкиным, обдает ужас, с каждым шагом вязнете, тонете глубже. Лирическое место вдруг оживит, осветит и сейчас заменяется опять картиной, напоминающей еще яснее, в каком *рву* ада находимся, и как Дант хотел бы перестать видеть и слышать — а смешные слова *веселого* автора раздаются. «Мертвые души» — поэма глубоко выстраданная. «Мертвые души». Это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские — мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti[1] — вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу. Где интересы общие, живые, в которых живут все вокруг нас дышащие мертвые души? Не все ли мы после юности, так или иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев? Один остается при маниловской тупой мечтательности, другой буйствует à la Nosdreff, третий Плюшкин и пр. Один деятельный человек Чичиков, и тот ограниченный плут. Зачем он не встретил нравственного помещика *добросерда*, *стародума*... да откуда попался бы в этот омут человек столько абнормальный, и как он мог бы быть типом? Пушкин в «Онегине» представил отрадное, человеческое явление в Влади-

[1] все им подобные (итал.).— *Ред.*

мире Ленском — да и расстрелял его, и за дело: что ему оставалось еще, как не умереть, чтоб остаться благородным, прекрасным явлением? Через десять лет он отучнел бы, ⟨стал бы⟩ умнее, но все был бы Манилов. Да и в самой жизни у нас так, все выходящее из обыкновенного порядка гибнет — Пушкин, Лермонтов впереди, а потом от A до Z многое множество, оттого, что они не дома в мире мертвых душ.

С славянофилами столько же мало можно говорить, и они так же нелепы и вредны, как пиетисты. Решительно нет места речи и слову. Религиозные люди, например, часто прибегают к уловке: «Да, по разуму-то так, да разум-то спотыкается». Так и славянофилы: «Да, все это по-европейски так, а по-нашему нет». Вредны они до чрезвычайности. Причина очевидна. Marmier в Москве. Они принялись было его образовывать в славянофильство, предложили ему исследовать все превосходство православия над католицизмом (Marmier, вероятно, после школы впервые услышал о важном прении). Затаскали его до того, что ему, наконец, опротивели монахи, похвалы древнего быта и т. п. Православие — их знамя.

В Германии молодые гегелисты* отрекаются торжественно от всякой положительной религии, сопряженной с формализмом ритуалов etc.

Август месяц.

2. Вчера был в Перове. Первый раз посетил те места, где 8 мая 1838 встретился с Natalie и откуда мы поехали в Владимир. С той встречи мы не разлучались, и четыре года с половиной, лучшую без малейшей тени сторону моего бытия, составило это беспрерывное присутствие существа благородного, высокого и поэтического. Мало-помалу все окружавшее меня сошло с пьедесталей, на которые его подняло юношество и увлечения. Но она осталась на своем, поднялась еще выше. Мы сидели в той самой комнатке, где ждали коляску, и я чувствовал себя хорошо. Нет, отдельные факты падений несостоятельны против истинного чувства, одно — мимолетное состояние души, другое — Grundton[1] ее.

---

[1] основной тон (нем.).— *Ред.*

Дома печально. Состояние отца ужасно. К существенной болезни у него, всегда мнительного, присоединяется раздраженное воображение о ее важности. Он мучит себя сам, мешает всем пособиям и проводит дни в каком-то страшном состоянии abattement[1]. Морально он никогда так не падал. Он начал на все смотреть с каким-то полнейшим равнодушием и заниматься только своей болезнию и мелочами. Можно ли желать, если его болезнь неизлечима, продолжения таких страданий? Хотя большая часть их воображаемая, но от этого не легче ему.

Статья о дилетантизме нравится и очень нравится. Повесть — нет*. Повесть не мой удел, это я знаю и должен отказаться от повестей. Мне трудно писать повести, сцены (как Трензинской в «Отечественных записках»*) выйдут хороши, но целое, но все не имеет выдержанности. В таких статьях, как дилетантизм, я дома и пишу их с увлечением и свободой.

13. Наказание идет рядом с проступком, оно есть одно из естественных последствий, а у кого душа так свихнута, что проступок не развивается в наказание, для него положительное законодательство имеет тюрьмы, штрафы, etc., etc. Страшный суд переехал вместе со всем заприродным на землю, он — как царство небесное внутри человека. Какие минуты ужаснейших страданий я перенес некогда за М!* Какие угрызения, унижения за последнюю глупость, а она — глупость, увлечение мгновенное — а между тем я страдаю.

С жадностью пробежал я «Horace» G. Sand, великое произведение, вполне художественное и глубокое по значению. Горас — лицо чисто современное нам, жертва века больше, нежели организации. Он всегда был бы ниже сильных страстей, глубоких и непреходящих убеждений, всегда был бы мелок и эгоист. Но переходное время борения двух миров, растравившее все раны, провозгласившее все права личности, указавши бесконечную мощь и власть, и дало эгоизму несравненно блистательнейшую арену, и притом романическую. А потом скептическое состояние умов, особенно во Франции, развило еще более жажду сильных потрясений за дешевую цену. Таков Горас. Он не может выйти из себя, он не способен к сильной

---

[1] упадка духа (франц.).— *Ред.*

страсти, потому что не способен жить для другого, в другом, он натягивает в себе страсть для того, чтоб упиться одуряющим, огненным соком ее, а между тем она не дает ему жданного блаженства, потому что il y a du louche là-dedans[1]. Эгоизм — один он истинен. Кто его обвинит за увлечение Марты,— даже ревность, если б она выражалась не так грубо, не так гадко, нашла бы отпущение. Нет, не тут, ни даже в своей ничтожности, в мелочах, в придирках к ней, в охлаждении,— во всей красе он является гигантом эгоизма, узнавши о беременности. Я дивлюсь всему снисхождению ла-Равиньера.

А между тем многие ли, сойдя в глубину души, не найдут в себе много горасовского? Хвастовство чувствами, которых нет; страдания для народа, желание сильных страстей, громких дел и полная несостоятельность, как дойдет до дела. А слабость раскаиваться, просить прощенья и на другой день впадать снова в порок. Это я испытал на себе. Господи, как себя рядит в герои человек, сидя в кабинете, и вот как герой втолкнут в жизнь, кругом все кипит, несется, страсти раздуваются, как паяльной трубкой, и он остается при своем удельном весе. Горькие минуты разочарования, но счастье тому, кто их имел, хуже всего, когда все окружающее догадается прежде самого.

15. «Deutsche Jahrbücher». Им философия германская выступает из аудитории в жизнь, становится социальна, революционна, получает плоть и, след., прямое действие в мире событий. Тут видны, ясны большие шаги в политическом воспитании, и немцы являются почти свободны от обвинений, обыкновенно налагаемых на них. В статье, в которой они говорят об отречении от положительной религии со всем формализмом ее, благородство удивительное. «А что (в конце статьи) сделает государство? Или оно оставит нас в покое и признает тогда церковь за общество, сущее рядом и по одинаковому праву с другими обществами. Или оно будет последовательно характеру, взятому им прежде, неразрывно с церковью, и тогда оно вправе нас гнать. Тогда нас ждет ссылка. И мы пойдем в нее. И для того говорим, чтоб предупредить слабых, чтоб они знали, что такой шаг может влечь за собой такие последствия, и

[1] в этом чувствуется фальшь (франц.).— *Ред.*

остереглись бы. Сами мы не так думаем»*. «Кто отца или мать возлюбил более Христа, тот не достоин быть Христов». Давно ли немцы стали говорить этим языком, давно ли сердце забилось у них от таких реальных причин, и не пророчит ли это многое в будущем и то есть в будущем близком, которое мы увидим? Se muove, se muove![1]*

Одна из статей оканчивается прямо: надобно решиться, и однажды навсегда: «Христианство и Монархия или Философия и Республика!» И вот Германия, lancée[2] в эмансипацию политическую и с своим характером твердой мысли, глубины и притом квиетизма, так, как противуположны характеры Германии и Франции в деле эмансипации — ясно, следя, например «Deutsche Jahrbücher» и «Revue Indépendante». В «Revue» сколько жизни, огня, слов таких, которые сейчас соберут кружки на бульварах, и притом какая плоскость пониманья истин независимо от современных интересов! Философски-политические статьи просто смешны; фр⟨анцузы⟩ двумя веками отстали в спекуляции от немцев, так, как немцы пятью от французов в приложении идеи права к действительности.

21. Бесследно не может пролететь испытание, на которое тратилось души много, при котором были страдания и упоения, как бы, впрочем, для поверхностных людей ничтожны сами факты ни показались.

23. Странно и оскорбительно участие большей части людей, даже любящих нас. Человек пал, потерялся, ищет выхода, страдает и в бессилье обращается к людям, уверенным в любви к нему и в его любви. Они тотчас оскорбляют его, заставляют его привязать себя к позорному столбу, рассказывая подробности, самым ужасным образом (сожалея и прощая) выскажут глубину падения, которую он знал. Они не могут удержаться от суда, ибо они любили не человека, а свой идеал. Потом начинается история помощи. Не спрашивая, сообразно ли, нет ли с характером, с настоящим болезненным состоянием человека, дают советы и требуют исполнения так, как они хотят. А если он не может так поступить — радуются его неудачам, упре-

---

[1] Она движется, она движется! (итал.).— *Ред.*

[2] бросившаяся (франц.).— *Ред.*

кают ими, терзают. Себя, свою гордость, тень того, что люди разумеют под честью, не компрометируют они для помощи; тут эгоизм развертывается с тою же нахальностью, как у скупца, когда у него просит знакомый помощи денежной. Мелкие, мелкие люди! А к ним принадлежим больше или меньше и мы, говорящие. Однако не совсем. Любовь и симпатия полная (например, в истории Огарева) окружила его какой-то атмосферой — что-то глупо выразился — à la Selin*. Что он ни делал, он не мог выйти из любви и дружбы, хотя и были произносимы слова жесткие etc., etc.

29. Мое теперешнее состояние похоже на похмелье, какое-то усталое, ленивое сознание чего-то wüstes[1], неясная память дурачеств сделанных, на которые тратилась энергия,— энергия пьяная и глупая. Это хорошо как средство смирения, как memento слабости. А между тем я добровольно загрязнился.

Сентябрь месяц.

2. Случайно попалась на глаза «Manon Lescaut». Когда-то я читал, и с большой любовью, этот роман. Причина очевидна: коллизия истинная, великая и полная глубокого интереса и патоса. Легкий взгляд XVIII столетия не умел разглядеть во всю ширину и бездонность ужас любви к такому существу, как Manon, хотя понял трагическую сторону, превосходно выразившуюся в окончании. Я его оправдываю. Надобно вообще дойти до высокой степени разврата, чтоб без любви (какая бы она ни была), без увлеченья, холодно и расчетливо заводить интриги,— интриги легкие, которые при первом неудобстве бросаются и о которых совсем не вспоминают или вспоминают так, как о вчерашних котлетах. Для меня этот систематический разврат отвратителен. В публичном доме человек отрекается от своего достоинства и остается чисто животным; но в расчетливой интриге он падает ниже животного, именно потому, что животный акт убит человеческим размышлением, но человеческим не сделался. Одного физического желания мало для человека, он делает тотчас требование высшего порядка — красоту. Эта нравящаяся красота должна его

---

[1] Здесь: нечистого (нем.).— *Ред.*

увлечь своим магнетизмом. Ну, как же поверить, чтоб под этими изящными чертами крылся разврат, обман, или, и узнавши его, как не поверить, что весь этот обман, разврат — случайное падение, отклонение от истинной, благородной сущности бытия в форме столь грациозной? Богатства души передают свой избыток ей, заблудшей, несчастной, и между тем узы скрепляются самим обладанием, близостью. Есть что-то отвратительное в том, чтоб, раскрывая объятия женщины, не отдаться ей, презирать ее, в таком случае лучше ее не надобно, тут нет ни увлечения, ни огня. Быть обманутым лучше. Состояние илотизма, в котором держали женщин, произвело тот ужасный разврат, который именно гадок по его скрытности, по обманчивости своей. Повесть о Manon будет всегда прекрасным произведением.

10. Иногда без всякого внешнего побуждения, без всякой причины со дна души поднимается какая-то давящая грусть, которая растет, растет, и вдруг сделается немая, жестокая боль и так станет ясно все дурное, трагическое нашей жизни; готов бы умереть, кажется. Суета последнего времени долго заглушала этот голос; приезд в Москву, эпизод о торге, досада на себя и материальные хлопоты не давали ему места. Лишь только стало поспокойнее и лучше, вечный голос скорби, вопль негодования, вопль духа, рвущегося к форме жизни полной, человеческой, свободной,— снова раздался. Судьба решена; половина жизни прошла в боли и борьбе, эта половина незаменяема, вторая вряд будет ли радостнее.

Спор с Чаадаевым о католицизме и современности; при всем большом уме, при всей начитанности и ловкости в изложении и развитии своей мысли он ужасно отстал. Даже мне было жаль употреблять все средства, в нем как-то благородно воплотилась разумная сторона католицизма. Он в ней нашел примирение и ответ, и притом не путем мистики и пиетизма, а социально-политическим воззрением. Но тем не менее и это голос из гроба,— голос из страны смерти и уничтожения. Нам странен этот голос. Истинного оправдания нет им, что они не понимают живого голоса современности.

11. Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования,— а между тем

наши страдания — почка, из которой разовьется их счастие. Поймут ли они, отчего мы лентяи, отчего ищем всяких наслаждений, пьем вино... и пр.? Отчего руки не подымаются на большой труд? Отчего в минуту восторга не забываем тоски?.. О, пусть они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы уснем, мы заслужили их грусть. Была ли такая эпоха для какой-нибудь страны? Рим в последние века существования — и то нет. Там были святые воспоминания, было прошедшее, наконец, оскорбленный состоянием родины мог успокоиться в лоне юной религии, являвшейся во всей чистоте и поэзии. Нас убивает пустота и беспорядок в прошедшем, как в настоящем отсутствие всяких общих интересов. Правы утверждающие, что наша история развивается самобытно, genus originale[1], надобно сознаться.

13. Сцена, как выразился кто-то, есть парламент литературы, трибуна, пожалуй, церковь искусства и сознания. Ею могут разрешаться живые вопросы современности, по крайней мере обсуживаться, а *реальность* этого обсуживанья в действии чрезвычайна. Это не лекция, не проповедь, а жизнь, развернутая на самом деле со всеми подробностями, с всеобщим интересом и семейственностью, с страстями и ежедневностью. На днях испытал я это на себе. Небольшая драма заставила меня думать и думать*. Юноша влюбился в девицу старее себя. Она его любит, и они женились. Прошло пять лет, молодой человек влюбляется в другую, и начинается тот ужасный бой, который так удивительно выразил Гёте в «Wahlverwandschaft». Муж — человек честный, благородный, он понимает свою обязанность относительно жены, уважает ее высокие достоинства, но не любит ее и скрывает. Жена, необыкновенно благородное создание, любит мужа до безумия, и все понимает, в страданиях. Она решается умертвиться. Муж в отчаянии. Проходит год, она осталась в живых, но ее считают умершей, и первый он убежден в этом. Он женится на другой и встречает на дороге свою первую жену. Женатый от живой жены! Ему кажется, что он сделал что-то чудовищное. Жена (первая)

---

[1] своеобразный народ (лат.).— *Ред.*

умирает, он хочет убить себя. Но его друг заставляет его жить для второй жены etc. Вот что тут ужасно: *все правы*. Молодой человек откровенно поступил, женившись на девушке старше его,— но это была неосторожность, в ней заключалось адское семя, из которого должно, могло по крайней мере, вырасти то несчастие, которое выросло. Но за неосторожность развитие жизни наказывает его вдесятеро против всякого уголовного преступника. А жена — добродетельная, отдававшаяся ему так самоотверженно и вовсе,— что ей делать? Отойти прочь, оставить его. Да где эти герои, гиганты, или, лучше, эгоисты? Она и прежде могла бы *расчесть*. Но бог с ними, с хорошими счетчиками, они не бывают несчастны — но и блаженство жизни и полнота ее не для них. Женщина убита, она ничего не имеет вне мужа. Муж убит, он бесчестен в своих глазах, он обманщик в обе стороны, он раб. Они влекут быстро друг друга к могиле, слабейший падет прежде, второй спасен. Не тут-то было, угрызение совести навеки стало набрасывать траур. Эдакая безвыходность! Брак, когда от него отлетит дух,— позорнейшая и нелепейшая цепь. Как, на каких условиях дозволяется ее бросить,— трудный вопрос, которому фактическое разрешение дадут грядущие поколения. Но я замечу вот что. Да неужели для человека только и дано в удел, что *любиться*, и неужели одна любовь дает Grundton всей жизни,— на все есть время. Зачем этот человек не раскрыл свою душу общим человеческим интересам, зачем он не дорос до них? Зачем и женщина эта построила весь храм своей жизни на таком песчаном грунте? Как можно иметь единым якорем спасения индивидуальность чью-нибудь? Все оттого, что мы дети, дети и дети.

Древний мир вовсе не знал той трагической стороны семейной жизни, которая развилась в сени феодально-христианского мира. Древний мир был односторонен, он не признал права женщины; но мы можем перестать быть Вертерами и Тогенбургами, не впадая в его односторонность. Какой фазис в жизни занимает любовь, потом семейство? Какой бы ни занимало, но исключительно человек не должен себя погружать в одно индивидуальное чувство. У него якорь спасения в идее, в мире общих интересов; дух человека носится между этими двумя

мирами. Пренебреги он сердцем, индивидуальным, он был бы урод,— обратно — то же.

Встарь религиозные люди находили примирение и выход в религии — она тоже всеобща. Выход был мнимый — но врачевал.

22. Высочайшее произведение русской живописи, разумеется, «Последний день Помпеи»*. Странно, предмет ее переходит черту трагического, самая борьба невозможна. Дикая, необузданная Naturgewalt, с одной стороны, и безвыходно трагическая гибель всем предстоящим. Мало воображение дополняет и видит ту же гибель за рамами картины. Что против этой силы сделает черноволосый Плиний, что христианин? Почему русского художника вдохновил именно этот предмет?

Наоборот. На фронтоне Исаакиевской церкви будет барельеф, представляющий Исаакия Далматского, гордо не покоряющегося императору, бесящемуся и досадующему на него*. Надобно думать, что ценсура не пропустит этого барельефа!

Геройство консеквентности, самоотвержение принятия последствий так трудно, что величайшие люди останавливались перед очевидными результатами своих же принципов. Таков Гегель, развитие юного гегельянизма, развитие его начал; но Гегель бы отрекся от них, он любил, уважал das Bestehende[1], он видел, что оно не вынесет удара,— и не хотел ударить, ему казалось, на первый случай и того довольно, что он дошел до своих начал. Юное поколение с них начало, шаг вперед был именно тот удар, который должен был глубоко поразить das Bestehende. Гегель бы отрекся от них; но вот в чем дело: они *вернее* были бы ему, нежели он сам. Т. е. ему, мыслителю, отрешенному от его случайной личности, эпохи и пр., Шеллинг — живой пример, как можно отстать от собственной своей мысли, когда мыслитель остановится на половинной дороге ее развития, не имея, впрочем, силы остановить им же данного движения. Положение Шеллинга истинно трагическое, как выразился Руге*. Всякая остановка, половинность не годится,

[1] существующее (нем.).— *Ред.*

когда развитие идет вперед. Жиронда явным образом положила голову на плаху, ставши между якобинцами и монархистами. Ежели б королевская партия одолела, их всё бы казнили. Таково ныне положение правой стороны гегельянизма. Маргейнеке поступил с доброй целью для Бруно Бауэра престранно, он хотел попасть в juste milieu[1] и попал между двух стульев на пол*. И прусское правительство и юная гегельянская школа его обругали.

Будь горяч или холоден! А главное будь консеквентен. умей subir[2] истину во весь объем.

30. Продолжая, вот еще что следует заметить. Не должно обвинять Гегеля в хитрости, в лицемерстве. Новое воззрение так далеко отрезывало от прежнего, что он не смел себе *признаться* во всех следствиях своих начал, оттого неминуемое последствие — *неясность* в многих практических выводах. Он хочет не истинного, естественного, само собою текущего результата, но еще чтоб он был в ладу с существующим. Ему страшно было говорить так, как страшно б было другим слушать. Юная школа могла высказать больше, для нее не шло вперед то уважение к окружающему фактическому миру, которое было у Гегеля; но не должно забывать, что не шло именно потому, что Гегель поставил юное поколение на высокую точку, с которой они могли разом увидеть то, что он вырабатывал и что ему открывалось, как вид входящему на гору. Когда он взошел, ему не видать было больше горы, он испугался этого, она слишком была связана со всеми испытаниями, судьбами, которые он пережил. Таково всегда было развитие во времени идеи. А потому величайшая справедливость должна быть в приговорах деятелям. И Лютер, и Мирабо, и Платон были перейдены, т. е. развиты.

Критика делается исполненною высокой страстности, она делается религиозна, наконец. Самое отрицание, конечно, вместе и положение. Ее знает свобода так, как знала философия самопознание. Свобода, т. е. освобождение от внешнего, мертвого ограничения, от цепей былого, не признанного за вечное

---

[1] золотую середину (франц.).— *Ред.*

[2] переносить (франц.).— *Ред.*

самопознанием, свобода действования по разумению, мышление, изложение мысли etc.

Христианство удивительно приготовило индивидуальность к настоящему. Углубление в себя, признание бесконечности в себе. очищенный и вместе доведенный до высочайшей степени эгоизм и, след., развитие собственного достоинства. А с другой стороны, мысль самопожертвования для всеобщего, любовь и пр. Эта борьба сама по себе развила все богатство духа человеческого. А с другой стороны, борьба с материальным, временным. Эта *вечная ложь* феодальных веков, говорящих о уничтожении страстей, о пренебрежении землей и поступающих совсем иначе, — сколько должна была развить практического и теоретического. Современность, ставящая реальнейшей сущностью государство (именно царство божие на земле, по религиозному выражению), разом уничтожает ложь, ибо государство имеет и свою временную сторону и свою вечную, любовь и эгоизм, развитие себя и отдание себя, всеобщее в каждом и каждый, втекающий, снимающийся всеобщим, которому царь — Разум. Тут истинное осуществление темно провиденного христианством и всему отзыв etc.

Читал на днях комедию Бомарше. Нет сомнения, что «Свадьба Фигаро» — гениальное произведение и единственное на французской сцене. В ней все живо, трепещет, пышет огнем, умом, критикой и, след., оппозицией. Мысль его ясна в Фигаро, хотя от этого само лицо не приобрело особенной действительности, для меня chef d'oeuvre — его Сусанна, Херубим и графиня.

Вопрос о семейной жизни, об отношениях брака его очень занимал; это главная тема почти всех комедий его. В «La mère coupable» он взялся лицом к лицу с своей задачей. Пьеса немного резонерствующая, писанная в его старости, но он сам говорит, что она для него результат долгих медитаций и что до нее он доходил «Севильским цирюльником» и «Свадьбой Фигаро». Тема глубока. Граф Альмавива, бесившийся несколько лет от ревности, ненавидящий сына своего по подозрению, что он не от него родился, добивается доказательств и между тем берет меры уничтожить именье, передать и пр. Наконец, доказательства пришли. Он сын Херубима. Граф

жестоко, свирепо упрекает жену. Ангельское, самоотверженное существо, павшее давно, случайно, будучи оставлена мужем, увлеченная безумной страстью Херубима, она проводила время свое в глубоком раскаянии. Упреки ей приняты как наказание, но под тяжестию их она ломается. Человеческое чувство побеждает в графе романтизм ревности. Он просит прощения у жены, от души обнимает, признает Леона, так, как его жена уже прежде признала его побочную дочь, и гармоническое счастие водворяется на место дикого борения страстей, которыми, быть может, слишком искупились невинная вина графини и легкомыслие (несравненно виновнейшего) графа. Действие пьесы хорошо, человечески примиряющее. Радуешься, видя графа, выходящего из заколдованного круга предрассудков и фанатизма.

Мысль реабилитации женщины — одна из любимых и ярко прорезывается везде у Бомарше рядом с негодованием, насмешкой против аристократии и тогдашнего состояния. Уже в «Barbier de Séville» притесненная Розина имеет все его симпатии, и он заставляет ее сказать, когда Бартоло говорит, что муж имеет право читать письма жены: «Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne?» (Acte II. Sc. XV)[1]. В «Свадьбе Фигаро» женщина торжествует безусловно: во-первых, в этой неуловимой, острой милой Сусанне, которая победила самого Фигаро, победила торжественно,— потому что он не умел стать выше подозрения, потому что и в нем выражалась тиранская натура мужчины. Во-вторых, в графине. Муж-волокита смеет, имеет право (и доселе) теснить жену ревностью, он ее мучит за взгляды, шутки, он ее готов опозорить, предать общественному поруганию за поступок, который он сейчас готов был совершить и который, если б совершил, извлек бы улыбку у всех, кроме Фигаро. Эту *неправду*, эту дикую неправду и выставил Бомарше, и он, конечно, был из первых, понявших илотское состояние женщины.

---

[1] «Но почему давать ему право совершать недостойные поступки, которого не дают никому?» (Действие II, явление XV) (франц.).— *Ред.*

И все эти бешеные страсти ревности, мщения и пр. казались так справедливо текущими из самых естественных отношений мужа и жены. Между тем, глядя им в глаза прямо и трезво, видишь, что это всё привидения, не имеющие действительности. А сколько слез, сколько крови пролилось во имя их!

Октябрь месяц.

7. «De la Prusse par un inconnu, 1842». Автор выдается за француза. Католик à la mode[1], то есть с демократическими выходками; но книга исполнена интереса, несмотря на односторонность. Пруссия должна была, если не вся, то правительством, покраснеть до ушей. Скрытный, обманчивый, безэнергичный и тупой деспотизм, облеченный в формы германо-quasi-европейские. Как странно сделается на душе, когда видишь все бедное развитие права где-нибудь в Пруссии, вдруг взглянешь домой — и Пруссия покажется раем земным.

16. Пересматривал и поправлял статью «Grübeln[2], по поводу одной драмы»*, т. е. развитие мысли, записанной после бенефиса Самойлова* (8 лет старше),— статья вышла недурна. Она назначается в альманах Грановского* вместо «Дилетантизма», отнятого для «Отечественных записок». A propos, в последнем № повесть известного графа Ф. В. Ростопчина*. Много юмора, остроты и меткого взгляда.

22. День рождения Н⟨аташи⟩ — 25 лет. Страшно идет время. Вчера я смотрел долго на два портрета мои Витберговой работы*. Один делан в конце 1835, другой в половине 1836, оба были похожи, особенно первый. И мне стало грустно, первый раз я испытал чувство человека, не токмо вышедшего из юности, но и отдалившегося от нее. Где эти черты, где это выражение, где мягкость, нежность, грация? Семь лет, и какая перемена! Я перенесся в то время. Это был период романтизма в моей жизни, мистический идеализм, полный поэзии, любовь — всепоглощающее и всенаправлявшее чувство. Одиночество, первый год ссылки, несколко месяцев после тюрьмы. Это был

---

[1] по современной моде (франц.).— *Ред.*

[2] Раздумье (нем.).— *Ред.*

период der Gemütlichkeit[1], но у меня никогда не было жизни, так сосредоточенной в личных отношениях, чтоб хоть на время забыть всеобщие интересы; напротив, я со всем огнем любви жил в сфере общечеловеческих, современных вопросов, придавая им субъективно-мечтательный цвет. Наконец, в 1838 году, жизнь достигла до той высшей степени целого развития, далее которой идти нельзя. Надобно объяснить. С 1838 шел ли я назад, или вперед? Сомненья нет, что вперед, взгляд стал шире, основательнее, ближе к истине, я отделался от тысячи предрассудков с тех пор, много занимался etc. Но для меня как для лица — лучшего, полнейшего периода жизни не может быть, как от половины 1838 до половины 1839. Сторона мысли, разума взяла верх над страстностью (и должна была); но с тем вместе потухли множество наслаждений. Тот год тем важен, что тогда все было уравновешено и развернуто в пышный цвет, стройный, согласный концерт всех элементов. Такой период в истории человечества была греческая жизнь. Человечество гораздо дальше двинулось в христианском и современном мире, но того юношеского, стройного согласия внутреннего и внешнего нет, одна сторона пожертвована другой. Тот год был лучшим годом для наших индивидуальностей. Испив всю чашу наслажденья индивидуального бытия, надобно продолжать службу роду человеческому, хотя бы она была и нелегка. Да зачем же переживается такой прекрасный период, зачем он так скоро проходит? Он не проходит, а изменяется. Да и, сверх того, все индивидуальное подчинено времени, хотя, с другой стороны, полнота наслаждения вне всякого времени, она заключает бесконечность в настоящем и есть достойная цель индивидуального бытия. A propos...

Часто говорят, земной шар, как индивидуум, имеющий органическое развитие, имел (какое бы оно ни было) временное начало и, след., будет иметь конец (недавно еще говорил мне об этом M. Gros, philosophe franco-germanique[2*]), а с ним и человечество. Словом, судьба планеты — судьба индивидуального. Для чего все развитие, к чему и пр.? Вопрос трудный.

---

[1] Здесь: лиризма (нем.).— *Ред.*

[2] г-н Гро, франко-германский философ (франц.).— *Ред.*

Физически не знаю, как отвечать на самую гипотезу гибели планеты. Но этим, если хотят (как Gros) доказать личность бога или бессмертие души, не много возьмут. Да самое развитие ist Lohn, der reichlich lohnet[1]*,— вечность не в числе лет от рождения до ∞, а в развитии в себе божественного, духа, не имеющего зависимости от времени.

26. Вчера в восьмом часу утра умер Вадим*. Он был болен с месяц. Последнюю ночь я провел у его кровати, и он окончил жизнь при мне. Мы последние годы волею и неволею видались редко. Он жил в южных губерниях, я в северных, он в Москве — я в Петербурге; к этому присоединялась разница в образе воззрения на предмет — слишком яркая, чтоб можно было примириться, забыв ее, и недостаточно развитая, чтоб именно по самой противуположности мнений найти друг в друге особый интерес. Он от славянофильства дошел до ортодоксности и даже до ненависти к Западу; таким образом ему пришлось отвергнуть все историческое развитие человечества, всю науку, философию, всю мысль нашего века,— на это сил не было, осталось das vornehme Ignorieren[2] и защита места, тут надобно дойти до безумия, чтоб сделаться интересным, т. е. как Морошкин. Но при всем этом и несмотря на другие личные отношения, я ценил в этом человеке всегда высокое благородство души, чистоту жизни, с которой он проламывался сквозь ужасные несчастия и недостатки. Год тому назад он еще был полон сил, предприятий, даже когда я приехал в Москву в июле, он был здоров или жаловался на общее расстройство; в августе и именно 26, в именины Наташи, он был у меня и говорил, что простужен, что надобно поберечься. Потом я его с месяц не видал, он жил на даче; приехавши, я застал его очень похудевшим, в ипохондрии; в начале октября развилась чахотка, и вчера я присутствовал при великой тайне смерти, и вся эта δύναμις[3], вся потенция, энергия, как угодно,— исчезла, уничтожилась, оставя после себя след на веществе уже гниющем и на костях, которые долго не сгниют — но сгниют же.

[1] щедрая награда (нем.).— *Ред.*

[2] высокомерное презрение (нем.).— *Ред.*

[3] сила (греч.).— *Ред.*

Дней пять перед смертью меня ужаснула не худоба его, не кашель, а заметная тупость умственных способностей и чрезвычайная ограниченность даже, это потуханье интеллектуальной стороны шло возрастая; за день до смерти, за два он только занимался болезнию, говорил о лекарствах, о их действиях. В два часа ночи (с 24 на 25) он проснулся, ему было полегче, однако жена догадалась, что не перед добром, привела детей, он улыбнулся. Жена сказала ему, чтоб перекрестил их, он сделал вид, что спать ⟨?⟩ хочет, потом закрыл глаза и уснул. Прислали за мной. Я пришел в начале четвертого, он спал спокойно, изредка только издавая легкий стон, и, не просыпаясь, не раскрывая глаз, не взойдя ни на минуту в сознание, умер. В 7 часов утра дыхание стало реже, прерывистее, он раза два продолжительно застонал, и дыхание прекратилось, и в ту же минуту лицо его приняло спокойный вид. Через два часа мы его уже переносили на стол, а еще через два часа мальчик от Кампиони снимал маску, заливши алебастром лицо. Тайна, и грозная, страшная тайна. А как наглазно видно тут, что Jenseits[1] — мечта, что дух без тела невозможен, что он только в нем и с ним что-нибудь! — «Мы увидимся, скоро увидимся!», — говорила жена,— теплое, облегчающее верование, мое последнее верование, за которое я держался всеми силами. Нет, и тебя я принес на жертву истине. А горько расставаться с тобою было, романтическое упование новой жизни.

Когда я вышел из их дома, чтоб послать им людей и сделать часть распоряжений, солнце светило, морозный день был северно хорош, на улице движенье, жизнь. Жизнь вечна; жизнь идет своим чередом, она производит для себя и уничтожает, испортивши, износивши формы, не жалея об них. Я приехал к Кампиони. Никого нет в первой зале, я в другую: статуи, картины, роскошные, грациозные формы жизни поразили меня после того, как я так пристально вгляделся в угловатые, ужасные формы смерти. А в другой комнате девочка лет 15 пела веселую итальянскую песню. Говоря об этом дне, я не должен пропустить лицо, поразившее меня изяществом всего существа своего. Черткова (Елизавета

[1] потусторонний мир (нем.). — *Ред.*

Григорьевна, урожденная графиня Чернышева, т. е. Чернышевых в самом деле, а не военного министра*), сначала она поразила меня удивительно благородной и выразительной наружностью, в ней видна аристократическая кровь, это одна из героинь Вальтера Скотта, высокая, худая, не в первой молодости, грандиозная и hehr[1], как говорят немцы. Но потом она меня удивила образом участия: ни беспрерывных слез, ни банальных утешений, ни перешептыванья, ни жестов, ничего,— спокойное, глубокое участие, без слов, но ясно звучащее в этой группе, составленной из мертвеца и его приятелей, хлопочущих около него, и жены в отчаянии, и детей испуганных. Эта женщина была похожа на те явленные образа богородицы, которые виделись прежними святыми и которые сходили примирительной голубицей между богом и человеком. Эта женщина была артистическая необходимость в этой группе, без нее картина была бы surchargée[2] черного и безнадежного. Вот и моя дань аристократии, в ней именно важнейшую долю изящной формы и изящных форм надо отнести чистой, благородной крови и нравам истинной аристократии. Проведя весь этот день и все сутки в натянуто напряженном состоянии, в котором одно сильное чувство сменялось другим,— скорбь, тяжкие мысли и пр.,— когда я вечером поздно остался дома, один с Наташей, возле спал малютка, тишина,— тогда мне стало чрезвычайно легко, я взошел опять в среду истинной жизни, ибо судорожные экстатические минуты составляют крайность.

А давно ли Вадим, только что выпущенный из университета кандидатом, в преизбытке сил, с необузданным самолюбием, с русской удалью делил все мечты, все увлеченья наши, это было с конца 1831 до начала 1834. 11 лет, впрочем! После женитьбы он много изменился, а может, не он, а мы двинулись вперед, а он остался на старом месте. Попавши в славянизм, он даже и на старом месте не остался, а пошел иным путем назад; все общие человеческие интересы, все современные вопросы занимали его только по мере их причастности к славянскому миру, а тут надобно заметить, что именно им-то они вовсе и не

---

[1] возвышенная (нем.). — *Ред.*

[2] перегружена (франц.) — *Ред.*

занимаются. Мы расстались довольно холодно. В 1840 году мы встретились в Петербурге, расстояние между нами было непереходимое; но я тогда в нем оценил прекрасного семейного человека, и мы сблизились опять и так остались до его кончины. В последнее время его финансовое положение начало было поправляться, но несчастье за несчастьем лишало возможности улучшить жизнь, работой он был завален, может, он касался, наконец, до спокойствия в материальном отношении,— но жизнь порвалась.

И она давно ли, кажется, жила у нас в доме, приезжая из Корчевы, Темира, девица беззаботная и un peu pédante[1]. А теперь вдова, в крайности, с двумя детьми и с третьим нерожденным. Будущность ее ужасна, не представляется ни пристанища, ни куска хлеба. Конечно, найдутся люди, но хлеб милостыни, что ни говори,— с песком. Вот еще семейство в счет Астраковых, Медведевых, Витберга и многих, многих. Страшно вспомнить, всем помочь сил нет. А кого же обойти?

29. Вчера схоронили Вадима в Симонове*. Похороны были торжественны по истинному участию людей, окружавших гроб. Жена твердо шла за гробом, стояла возле, и, когда привинтили крышку, она облокотилась на гроб. Никто не смел ни двинуть гроб, ни прервать этой немой горести. Она долго стояла, слез не было, но взгляд ее был невыносим, кругом все рыдало; в ее взгляде было видно что-то беспредельно отчаянное и убитое и вместе недоумение, вопрос, упрек. В Симонове покойника встретил сам архимандрит (Мелхиседек), бывший приятелем с Вадимом, и эта дань уважения была хороша. Жена стала возле могилы, ее уже закапывали, так же страшно молча и без слез. Архимандрит подошел к ней и сказал: «Довольно, это не наше, в церковь, за мной, молиться богу». И мы взошли в церковь уже без покойника, уже он стал совершенно прошедшее. Вот где крепость религии, в эти минуты человек готов все сделать, чтоб найти выход и примирение. Религия врачует все. Когда мыслитель, гражданин говорит о подчинении индивидуального всеобщему, на них смотрят как на людей без сердца, когда художник или ученый скажет, что звук его лиры,

---

[1] немного педантичная (франц.).— *Ред.*

его кисть — утешительница в его горести, назовут эгоистом. А когда религия грозно говорит: «Оставь, это мое, идем молиться, покоряйся безропотно», тогда все покоряется и склоняет колена, без рассуждений, повинуясь слепо.

Ноябрь месяц.

1. Дух человеческий роет себе да роет внутри, он делает свое как в роде, так и в лице. Жена Вадима, которая первые дни своего несчастия была в полнейшей вере, вдруг со вчерашнего дня начинает сомневаться и беспрестанно колеблется между детским признанием и полным отрицанием. Она называет это падением, молится о подкреплении, но молитва не исполняется; тут ясно видно благородное, человеческое направление, не дозволяющее обольщать себя, и, с другой стороны, видно, как слабо действует при современном состоянии развития духа религиозная положительность.

2. Письмо от Сатина из Ганау*. Огарев опять наделал глупостей в отношении к жене, снова сошелся с нею, поступал слабо, обманывал, унижался и опять сошелся. После всего бывшего! Вот что я писал к Огареву*: «Бедный, бедный Огарев — я грущу о твоем положении, но ни слова, когда дружба истощила безуспешно все, чтоб предупредить, отвратить, ее дело остаться верною в любви. Дай руку, как бы ты ни поступил, не хочу быть судьей твоим, хочу быть твоим другом, я отворачиваюсь от темной стороны твоей жизни и знаю всю полноту прекрасного и высокого, заключенного в ней. У тебя широкие вороты для выхода из личных отношений — искусство, мир всеобщего, я хочу не знать жалкой борьбы, от которой раны, конечно, будут не на груди». Я откровенно делю с ним его несчастие, понимаю его слабость (как его, ибо во мне есть возможность падений, увлечений, но такой слабости нет и тени), не могу простить его поступка, но далек и от жестокого приговора. У К.* сильная способность любить, но он жесток на словах, скор в приговорах, это его недостаток, его ограниченность. Для хладнокровного наблюдателя это психологический феномен, достойный изучения. Чем эта ограниченная, неблагородная, некрасивая, наконец, женщина, противуположная ему во всех смыслах, держит его в илотизме? Любовью — он

не любит ее, даже не уважает, абстрактной идеей брака — он давно не признает власть его. Чем же? Отталкивающее ее существо так сильно, что все, приближающееся к ней, ненавидит ее,— везде, на Кавказе, в Москве, в Неаполе, Париже она возбудила смех и негодование. Сожаление и слабость, беспредельная слабость — вот что затягивает цепь, которую должно было сбросить, так далеко зашел ее эгоистический, дерзкий нрав. Такая ли будущность ждала Огарева? И в таком-то омуте теряет он силы на глупую борьбу, теряет здоровье, жизнь. Это ужасно. Но теперь-то ему и нужна дружба!

6. Отвратительная тягость нашей эпохи тем ужаснее, что людям мыслящим приходится бороться не с одними людьми силы и власти, а еще с долею литераторов. Славянофильство приносит ежедневно пышные плоды, открытая ненависть к Западу есть открытая ненависть ко всему процессу развития рода человеческого, ибо Запад, как преемник древнего мира, как результат всего движения и всех движений,— все прошлое и настоящее человечество (ибо не арифметическая цифра, счет племен или людей — человечество). Or donc[1] вместе с ненавистью и пренебрежением к Западу — ненависть и пренебрежение к свободе мысли, к праву, ко всем гарантиям, ко всей цивилизации. Таким образом, славянофилы само собою становятся со стороны правительства, и на этом не останавливаются, идут далее. Правительство теснит бессмысленно, оно имеет шпионов, которые доносят вздор, оно за вздор бьет казнями и ссылками, но нет настолько образованных шпионов, чтоб указывать всякую мысль, сказанную из свободной души, чтоб понимать в ученой статье направление и пр. Славянофилы взялись за это. Отвратительные доносы Булгарина не оскорбляют, потому что от Булгарина нечего ждать другого, но доносы «Москвитянина» повергают в тоску*. Булгарин работает из одного гроша, а эти господа? Из убеждения. Каково же убеждение, дозволяющее прямо делать доносы на лица, подвергая их всем бедствиям деспотического наказания? Правительство, по счастью, безграмотно, не читает журналы. И что за дикие мнения проповедуются ими! А возражать нельзя. Москва — центр

[1] Итак (франц.).— *Ред.*

всех этих скопищ. Горько и подчас нельзя не сознаться, что Петербург как бы то ни было, а выше Москвы. Цензура здесь вдесятеро строже — привязчива, подла, притеснительна, а между тем цензор Крылов — профессор с либеральной renommée[1]. То, что в «Отечественных записках» печатается, то здесь страшно говорить при многих. Слава Петру, отрекшемуся от Москвы! Он видел в ней зимующие корни узкой народности, которая будет противудействовать европеизму и стараться снова оторгнуть Русь от человечества.

Для Пассекова альманаха* я изготовил было свою статью «К характеристике неоромантизма»*. Да помилуйте, этого цензура не пропустит, это будет обидно для пиетистов, надо так изменить, так скрыть мысль. Боже праведный! В образованных государствах каждый, чувствующий призвание писать, старается раскрыть свою мысль, употребляя на то талант свой, у нас весь талант должен быть употреблен на то, чтоб закрыть свою мысль под рабски вымышленными, условными словами и оборотами. И какую мысль? Пусть бы революционную, возмутительную. Нет, мысль теоретическую, которая до пошлости повторялась в Пруссии и в других монархиях. Может, правительство и промолчало бы — патриоты укажут, растолкуют, перетолкуют! Ужасное, безвыходное состояние!

Анекдот с графом Про*, которого выслали за границу, напомнил, между прочим, разговор Конарского с кн. Долгоруким за час до смертной казни*.

10. Вчера сосед мой в театре* рассказывал, что оперу Россини «Вильгельм Телль» дают у нас под названием «Карл Смелый»*. Я еще этой глупости не знал,— и смешно, и досадно, и отвратительно.

14. Scène de la vie privée[2]*, горькое объяснение с отцом. Странное дело, как живущ эгоизм и как он растет с летами, до какой бесчувственности доводит он. После смерти Льва Алексеевича он был испуган, поражен, и с год явно был кротче, но теперь с каждым месяцем я вижу, что он глубже и глубже падает в какую-то жизнь скупца и эгоиста, для которого в мире ничего не существует, кроме капризов. Страшно видеть

[1] репутацией (франц.).— *Ред.*

[2] Сцена из частной жизни (франц.).— *Ред.*

человека 74 лет, вблизи гроба, ведущего такую жизнь, отрешенную от всех человеческих интересов, и страшно то, что нет возможности поставить себя так, чтоб или молча быть зрителем, или удерживаться в границах при всяком оскорблении.

Я без хвастовства могу сказать, что я прожил собственным опытом и до дна все фазы семейной жизни и увидел всю непрочность связей крови; они крепки, когда их поддерживает духовная связь (то есть когда их не нужно), а без них держатся до первого толчка. Vanitas! Vanitas![1]

Письмо от Белинского*. Фанатик, человек экстремы[2], но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть, середины нет. Я истинно его люблю. Тип этой породы людей — Робеспьер. Человек для них ничего, убеждение — всё.

18. А. И. Тургенев — милый болтун; весело видеть, как он, несмотря на седую голову и лета, горячо интересуется всем человеческим, сколько жизни и деятельности! А потом приятно слушать его всесветные рассказы, знакомства со всеми знаменитостями Европы. Тургенев — европейская кумушка, человек au courant[3] всех сплетней разных земель и стран и всё рассказывает, и всё описывает, острит, хохочет, пишет письма, ездит спать на вечера и faire l'aimable[4] везде.

Был на днях у Елагиной — матери если не Гракхов, то Киреевских. Видел второго Киреевского. Мать чрезвычайно умная женщина, без *цитат*, просто и свободно. Она грустит о славянобесии сыновей. Между тем оно растет и растет в Москве. Чем кончится это безумное направление, становящееся костью в течении образования? Оно принимает вид фанатизма мрачного, нетерпящего. Может, хорошо, что возможность таких убеждений обнаруживается, а с ними вместе обнаруживается вся нелепость их.

«Может ли, имеет ли право человек менять краеугольные убеждения свои?» — «Если может, где же незыблемые основы нравственного и умственного бытия человека?» В самом деле, с

---

[1] Суета! Суета! (лат.).— *Ред.*

[2] крайностей, от extrême (франц.).— *Ред.*

[3] в курсе (франц.).— *Ред.*

[4] любезничать (франц.).— *Ред.*

первого взгляда кажется что-то страшное, пустое в душе человека, меняющего свои убеждения. Но это неправда. (Здесь не идет речь о тех плоско-импрессионабельных натурах, которые без причины принимают и без причины бросают свои мнения). Человек развивается, истина раскрывается, насколько он вмещает ее в себя, в конце развития, а не с самого начала, она имеет свои степени развития, на которых она иначе понимается под известным углом,— но человек не должен останавливаться на абстракции. Человечество достигает истины, краеугольные основы его бытия нравственного лежат в нем (an sich), но ясны ему могут быть на конце развития, а не при начале, не в прошедшем. Всею истиной прошедшее никогда не обладало. Да и это фундаментальное, истинное есть всеобщее, идея, бог, и притом бог, понятый не jenseitlich [1], не фантастически образно, а в имманенции и присущей ей трансценденции (мир мышления, нравственности, идеи, уничтожающей, снимающей все временное, как трансценденция самой природы и человека). Важно не слово, а понятие, смысл. Конечно, добродетель вечна и всегда должна была быть нормою действования. Но как определилась и понималась добродетель в данные эпохи? Мир эллинский, юдаический, христианский разумели совсем разное. Все течет и текуче, но бояться нечего, человек идет к фундаментальному, идет к объективной идее, к абсолютному, к полному самопознанию, знанию истины и действованию, сообразному знанию, т. е. к божественному разуму и божественной воле. Выдерживать свое частное мнение против истины — ограниченность, эгоизм, гордость. Случай, когда лицо правее века, почти невозможен или возможен при эксцентрических обстоятельствах.

Розенкранца статья о жизни Гегеля в Прутцовом альманахе на 1842*. Вот что там очень хорошо: «Der Gedanke, aus welchem sein (Hegels) ganzes System emporkeimte, war der der Liebe. Die Anschauung aber, an welcher er sich als Charakter orientierte, war die des Gottmenschen. Schon in der Tübinger Periode sprach er die Analogie der Liebe mit der Vernunft aus und stellte sie, obwohl sie nur ein empirisches Prinzip sei, unendlich

[1] потусторонне (нем.).— *Ред.*

hoch. Die Bewegung der Liebe, aus sich in ein Anderes als in sich selbst überzugehen, in dem Andern bei sich zu sein und sich nur zurückzukehren, um sich seiner von Neuem zu entäußern, wurde ihm der Weg zu seiner dialektischen Methode»[1]. Хотя Розенкранц вообще очень недальний понимать и формалист большой руки, но это не мешает отдать ему справедливость — что единственно так надобно уметь понимать Гегеля; и тогда сделается смешно от глупых сентенций о сухости ума, об импсибельности[2] его etc..

Там же: «Glauben ist die Art, wie das, wodurch eine Antinomie vereinigt ist, in unserer Vorstellung vorhanden ist. Die Vereinigung ist die Tätigkeit. Diese Tätigkeit, reflectiert als Object, ist das Geglaubte»[3] (Гегель. Теологическое рассуждение, писанное в 1794).

Понятие о любви к женщине, согласное с высказываемым нынче левой стороной; он заставляет рыцаря рассказывать о своей нежной страсти Аристиду.

23. Вчера провел вечер у Елагиной. Были оба Киреевские, Дмитриев и вздор. Иван Киреевский, конечно, замечательный человек; он фанатик своего убеждения так, как Белинский своего. Таких людей нельзя не уважать, хотя бы с ними и был диаметрально противуположен в воззрении; ненавистны те люди, которые не умеют резко стоять в своей экстреме, которые хитро отступают, боятся высказаться, стыдятся своего убеждения и остаются при нем. Киреевский coeur et âme[4]⟨отстаивает⟩

---

[1] «Мыслью, из которой возникла вся его (Гегеля) система, была мысль о любви. Взгляд же на вещи, которого он как личность держался, был взглядом богочеловека. Уже в тюбингский период он проводил аналогию между любовью и разумом и ставил ее — хотя она и является лишь эмпирическим принципом — бесконечно высоко. Стремление любви самозабвенно погружаться в нечто другое, не в себя, оставаться в этом другом самой собою и снова уходить в себя лишь для того, чтобы снова отрекаться себя,— это стремление было тем путем, который привел Гегеля к его диалектическому методу» (нем.).— *Ред.*

[2] неспособности, от impossibillité (франц.).— *Ред.*

[3] «Вера — вот в каком виде то, что соединяет принципиально противоречивое, существует в нашем представлении. Соединение же есть деятельность. Эта деятельность, рассматриваемая как объект, есть предмет веры» (нем.).— *Ред.*

[4] сердцем и душой (франц.).— *Ред.*

свое убеждение, он нетерпящ, он грубо и дерзко возражает, верно своим началам и, разумеется, односторонно. Человек этот глубоко перестрадал вопрос о современности Руси, слезами и кровью окупил разрешение,—разрешение нелепое, однако не так отвратительное, как квиетический оптимизм Аксакова. Он верит в славянский мир — но знает гнусность настоящего. Он страдает — и знает, что страдает, и хочет страдать, не считая в праве снять крест тяжелый и черный, положенный фатумом на него. Таков он показался мне. Натура сильная и держащаяся всегда в какой-то экзальтации, которая, полагаю, должна быть неразрывна с фанатической односторонностию, в таких убеждениях страсти участвуют наравне с разумом, а страсти не дают величавого спокойствия мысли. М. Дмитриев — другого рода человек — во-первых, как родной брат похож на Краевского, умеренно либерал, умеренно остер, романтик à la Casimir Delavigne, говорун и обер-прокурор. Толкует о Европе, о жандармах и полиции и печатает доносы в стихах. Дошла речь до «Отечественных записок», т. е. до Белинского. Киреевский отозвался с негодующим презрением, Дмитриев с остротою. Речь шла о какой-то неважной статье, я вдруг бросил им свое мнение также резко в пользу «Отечественных записок». Сделалось молчание. Переменили разговор тотчас. Точно середь гимна богу поднял речь атеист. Одна Елагина была с моей стороны. А смешно Дмитриев бранит (с умеренностью) все — и недоволен, что Белинский не имеет достаточного уважения к тому, к чему он сам не имеет уважения.

Был у графа С. Г. Строганова и провел у него часа два. Может, я ошибаюсь, может, он имеет особый дар fasciner[1] людей— но я уважаю и люблю его. Доселе из всех аристократов, известных мне, я в нем одном встретил много человеческого. Говорили с ним опять о современном состоянии науки в Германии. «Да,— заметил граф,— борьба великая и решительная; и страшное положение людей критики, они должны были принесть на жертву все святейшие убеждения, все верования, всё облегчающее нашу жизнь, и для чего?» — «Для истины, для истины»,— сказал я.— «Истина их не для нас, мы не на той

[1] очаровывать (франц.).— *Ред.*

степени развития, зачем нам забегать?» — «В этом нельзя не согласиться; но что делать тем, которые развились до современности?» — «Несчастие для них; но, конечно, нельзя идти назад. Впрочем, можно заниматься иным, полезнейшим, своевременнейшим». Строганов отзывается об Белинском с признанием его достоинств (вот насколько он выше славянобесых). Он понимает значение «Отечественных записок», понимает единство их духа. Бранил Францию и «Москвитянина». И кончил тем, что самым любезным образом пригласил приходить к нему по вечерам, поспорить и потолковать. Много неосновательного в том, что он говорит, но, во-первых, он *не всю* свою мысль высказывает, во-вторых, не надобно забывать, что есть уже значительная разница в летах и что он провел свою жизнь в военном стане и в высшей аристократии нашей, которая не отличается особенной современностью образования.

Анекдот. Пастор Зедергольм, ограниченный человек и вовсе не знающий философии, хотя и занимается ею лет 30, вздумал за деньги прочесть несколько лекций хорошо знакомым людям. На второй лекции кто-то вздумал подшутить над Зедергольмом dans le genre russe[1]: является некто, вызывает пастора в другую комнату и уведомляет его, что eine hohe Person[2] предупреждает его, чтоб он прекратил свои лекции под опасением великих неприятностей. Ужас овладевает гостями и пастором. Жена его в отчаянии, гости бегут в смятении, и пастор, уничтоженный, убитый, мученик науки, доселе не может прийти в себя. Шутка была глупа, негуманна. А положение, в котором такая шутка может так удаться, еще в тысячу раз глупее и негуманнее.

29. Писал статью о специализме в науке*. Ряд этих статеек идет удачно.

В альманахе Прутца между разными выписками из гегелевских бумаг замечательна нота его о смертной казни. Он начинает с замечания Монтескье, что жестокие и частые казни ожесточают народ и делают равнодушнее и к наказанию и к преступлению. Гегель делает вопрос, почему ожесточает зрелище казней,— если привыкают видеть смерть, то войско видит и

---

[1] в русском стиле (франц.).— *Ред.*

[2] высокопоставленное лицо (нем.).— *Ред.*

вдесятеро более. Что же в казни поражает нас? «Ein wehrloser Mensch ist es, der uns in die Augen fällt, der gebunden, von einer zahlreichen Wache umgeben, von ehrlosen Henkersknechten gehalten, hinausgeführt und da ganz wehrlos, unter dem Zuruf und Gebet der Geistlichen, die der Missetäter nachschreiet, um das Bewußtsein des gegenwärtigen Augenblicks zu übertäuben. So stirbt er»[1]. Солдат, сраженный пулей, не производит того страшного чувства: он имеет право защиты, были шансы в его пользу; у преступника отнято право защиты. «Die empörende Empfindung einen Wehrlosen von einer, noch dazu überlegenen Anzahl Bewaffneter hinrichten zu sehen, wird bei den Zuschauern nur dadurch nicht in Wut verwandelt, daß ihnen der Ausspruch des Gesetzes heilig ist. Wenn die Hencker schon Diener der Gerechtigkeit sind, so hat doch diese bloße Vorstellung die allgemeine Empfindung nicht zu unterdrücken vermocht, welche das Handwerk oder den Stand dieser Menschen, die hier in Angesicht des ganzen Volks mit kaltem Blut einen Wehrlosen tödten können, die hier ganz als blinde Werkzeuge, so wie die wilden Tiere, denen man ehemals die Verbrecher vorwarf, ihren Dienst verrichten, mit dem Brandmal der Ehrlosigkeit stempelte»[2].

Далее он замечает, что палачи всегда бывают очень тихие и скромные люди, желая спасти свою личность от позора звания etc.

А в «Московских ведомостях» высочайшее повеление об учреждении особой ценсуры при III отделении; было прежде

---

[1] «Беззащитный человек — вот что нам бросается в глаза; его выводят связанного, окруженного многочисленной стражей, его держат подлые палачи, совершенно беззащитного, при восклицаниях и молитвах священников, громко повторяемых преступником, чтобы заглушить в себе сознание данной минуты. Так он умирает» (нем.).— *Ред.*

[2] «Чувство возмущения при виде того, как беззащитного казнят вооруженные люди, превосходящие его еще и числом, не превращается у зрителей в ярость только потому, что приговор закона для них священен... И если уж палачи — слуги справедливости, то сознание этого само по себе не в силах подавить того чувства, которое клеймит позором ремесло и сословие людей, способных перед лицом всего народа хладнокровно убить беззащитного,—людей, действующих как совершенно слепые орудия, подобно диким зверям, которым когда-то бросали преступников на растерзание» (нем.).— *Ред.*

только для театра, теперь для всех литературных произведений, вероятно. Еще шаг! Боже, боже — неужели нет предела? На днях было *17 лет* этой мрачной, страшной странице нашей истории.

В Барселоне провозгласили республику*.

Декабрь месяц.

9. Как будто в этот промежуток ничего и не было. Все по-прежнему. Саша бегает, шумит, Natalie в своей комнате. Я за письменным столом. А между тем мрачная, гадкая страница прожита нами. В ночь с 29 на 30 родился малютка, вечером 5 умер*. Третий. Какой non-sens[1], какая оскорбительная власть случайности! Дитя родилось легко, здоровое, потом утром 30-го начались судороги, и все пособия оказались ничтожными, шесть дней оно страдало, мучилось, на седьмой остался изнуренный труп. 5-го ему стало легче, надежды явились не токмо у меня, но у самого Рихтера,— от этого весть о его смерти ударила больно. Прежде я не надеялся. А бедная мать, третий раз обманутая, удивленная, так сказать, наглостью беспорядка, задавленная горем. Мне пришло в голову: хорошо, что мы Persönlichkeit Gottes, übergreifende Subjectivität[2] принимаем не в том смысле, как добрые люди,— а то, признаться, не в похвалу лицу были бы эти бессмысленные удары.

Кетчер, благородный Кетчер жил у нас все эти дни, не спал ночи, сам пеленал, помогал купать, смотрел за всем, касающимся больных, утешал, хлопотал и в самом деле успел; половину тягости он снял на свою грудь с нашей.

М. В. Рихтер — замечательнейший из всех виденных мною докторов, он идет к делу с обширным взглядом, с обдуманностью и занимается, как фактом науки, больным, с усердием и глубокомыслием. Он все сделал, что только мог. Когда малютка умер, он предложил мне разрешить аутопсию; польза была очевидна, ибо третий подобный случай заставлял употребить все средства для дознания истинной причины. Я согласился. Однако странно щемящее чувство душило меня все

---

[1] бессмыслица (франц.).— *Ред.*

[2] личность бога, перехватывающую личность (нем.).— *Ред.*

время аутопсии, я было отворил дверь, взошел в комнату, где производилась она, но мне было очень нехорошо, и я тотчас ушел. Есть какой-то Pietät[1] к близко умершему и какая-то профанация в разоблачении тайн. Вот результат. Часть мозга слишком мягка, другая груба, вода в мозгу, неправильно сильная оссификация[2]. Итак, причина смерти hydrocephalus[3], и от абнормального состояния мозга зависели все нервные явления, спазмы, конвульсии etc. Остальное образовано совершенно хорошо. Но тут-то медицина и в жалком положении: она не умеет отвечать на вопрос, как предотвратить в фетальном[4] состоянии hydrocephalus? еще менее — в какой же зависимости и от каких причин третий раз от довольно здоровых родителей родятся дети с такой болезнью, в то время как первый ребенок, предшествовавший, был совершенно здоров? Они ссылаются на слабые нервы жены, на ее нежное сложение вообще, однако эта слабость далеко от обмороков и других признаков болезненного расслабления нервов; говорят (и это мое собственное убеждение), что в первом случае, бывшем в Петербурге, испуг, причиненный присылкою за мной из тайной полиции (belli frutti![5]), обусловил болезнь младенца. А второй, а третий случаи — да натура взяла pli[6],— да почему же она взяла pli? — chi lo sa[7].

Рихтер советует ехать в теплый край, брать морские ванны. Хорошо, очень хорошо было бы. Да куда, в чужие края — пустят ли? Опять chi lo sa. Тяжкое, не представляющее выхода состояние. Несчастия с одной стороны, гонения с другой, даже отношения к отцу столь же тяжелы, как и гонения, все вместе давит свинцовыми ногами в грудь.

13. Иногда такая злоба наполняет всю душу мою, что я готов кусать себя. И частное, и общее — все глупо, досадно. Я мучился, когда стонало бедное дитя, теперь хотел бы еще

---

[1] пиетет (нем.).— *Ред.*

[2] окостенение, от ossification (франц.).— *Ред.*

[3] головная водянка (лат.).— *Ред.*

[4] зародышевом, от fœtal (франц.).— *Ред.*

[5] хорошенькие плоды! (итал.).— *Ред.*

[6] привычку (франц.).— *Ред.*

[7] кто его знает! (итал.).— *Ред.*

слушать этот стон. Стон все же бытие. А это тупое, немое молчание трупа, могилы. Я мучился прежде, что не имею права ездить в Москву,— а теперь тем, что в Москве. Этот город мне противен. Я в последнее время не мог ни разу взойти в старый дом* без судорожного щемления. Вид, жизнь отца приводит меня в ужас, он мало-помалу утратил все следы благородных чувств, с каждым днем растет в нем мелочная скупость, привязчивость и страшный холод и безучастие ко всему близкому и дальнему. Не могу верить, чтоб всякий старец оканчивал так страшно свою жизнь. Нет, это горькое наказание за жизнь. Да зачем я-то поставлен зрителем и судьею? О, жизнь, жизнь, какая гиря! Но выбора нет. Вперед!

21. Вчера продолжительный спор у меня с Хомяковым о современной философии. Удивительный дар логической фасцинации[1], быстрота соображения, память чрезвычайная, объем пониманья широк, верен себе, не теряет ни на минуту arrière-pensée[2], к которой идет. Необыкновенная способность. Я рад был этому спору, я мог некоторым образом изведать силы свои, с таким бойцом помериться стоит всякого ученья, и мы разошлись, каждый при своем, не уступивши йоты. Консеквентность его во многом выше формалистов гегельянских, он прямо говорит, что из Гегелевых начал на Persönlichkeit Gottes, die Transcendenz[3] вывести нельзя, не сделавши великой ошибки, что из нее необходимо Immanenz[4] и жизнь — inneres Gähren[5], приходящая в себя к идее. Но, говорит он, так как этот результат нелеп, след., последнее слово философии — нелепость.

Опровергая Гегеля, Хомяков не держится в всеобщих замечаниях, в результатах,— нет, зная свою изворотливость, он идет в самую глубь, в самое сердце, то есть в развитие логической идеи. Но его недостаток главный — невозможность перехода, след., полного понимания, мысли в факт, к факту. Что факт логический не может *вполне* знать факта реального, и это вот почему. Одна из сторон факта случайна, от нее мысль

---

[1] от fascination (франц.)— околдование— *Ред.*

[2] задней мысли (франц.).— *Ред.*

[3] личность бога, трансцендентность (нем.).— *Ред.*

[4] имманентность (нем.).— *Ред.*

[5] внутреннее брожение (нем.).— *Ред.*

отвлекает; он ее признает, но оставляет, берет необходимое, закон, реинтегрирует понятие факта во всей чистоте его всеобщего, т. е. абстрактного бытия, но факт des Daseins[1] имеет *необходимо* и сторону случайности и, след., как конкрет не может быть воссоздан, а только как абстракция; отсюда недостаток жизни в логическом движении. Оставление случайности возможно в теории, на деле не так (все это мнение его). Человек в фетальном состоянии должен развиться в человека совершеннолетнего, необходимость лежит в понятии embryon[2]; но случайность отрезывает нить жизни, и факта нет. А потому случайность существенна факту, а мыслью принята за несущественное.

Далее. Философия ведет к имманенции, но если самопознание, субъективность развертывается погруженная в мир реальный, а мир реальный idealiter[3] должен развиться в самопознание, но может gehemmt sein[4] на дороге случайностью, стало, можно предположить такую эпоху вселенной, в которой субъективности сознания вовсе нет, а есть dumpfes, unklares für sich[5] брожение,— а если планета такая же индивидуальность, как индивидуальность человека, то и развившись до сознания, она может погибнуть — и с ней весь побежденный процесс, который должен бы был продолжаться на всех точках вселенной. Но из них каждое также зависит от случайности — отсюда хаотическое, страшное воззрение. Я сказал ему, что это свирепейшая односторонность имманенции, и доказывал кругом ограниченные влияния случайности etc., etc. Результат его: Гегель и гегельяне представляют высший момент философии, совершенно последовательный и необходимый из всего предшествовавшего развития, но этот результат доводит до построения идеального, параллельного реальному — но не реального, доводит в последнем слове до имманенции и распадающегося хаотического атомизма. След., до нелепости. Но эта нелепость не есть субъективная ошибка лица или школы,

---

[1] бытия (нем.).— *Ред.*

[2] зародыша (греч.).— *Ред.*

[3] умозрительно (лат.).— *Ред.*

[4] быть задержан (нем.). — *Ред.*

[5] глухое, неясное самому себе (нем.).— *Ред.*

а логическое, необходимое последствие всего движения науки. След., наука в последнем результате своем уничтожает себя и доказывает, что живой факт может только в абстракции быть знаем мыслью, построяем ею, но как конкрет он выпадает из нее. Итак, логическим путем одним нельзя знать истину. Она воплощается в самой жизни — отсюда религиозный путь.

По дороге были еще тысячи отступлений и частных соприкосновенных вопросов между весьма оригинальными замечаниями Хомякова. Вот пример. Христианская партия в Германии упрекает гегельян вообще в том, что личность бога у них не выходит в замкнутости обыкновенной Persönlichkeit[1]. А те защищаются в этом. Между тем, если бы такая Persönlichkeit выходила по логическому пути, то в самой Persönlichkeit было бы полнейшее отрицание второго лица и, след., отрицание возможности христианства. Остается принятие безличного бога, cela n'arrange pas les affaires[2] пиетистов, но можно эманировать христианство. Belle alternative[3]. Греция никогда не знала никакого бога, кроме человека; Персия, Индия выше ее, поклонялись хоть абстрактным, но всеобщим идеям. Буддизм хотел свободы, хотя бы насчет бытия. В этом безумии есть высокое направление. И пр., и пр.

Долго говоривши, наконец, я хотел узнать решительно его построение, его внутреннюю мысль, ибо такого рода негация не есть положение чего бы то ни было. Но он отделался и ничего не сказал. Сперва он употребил выражение *бытие есть бог*, потом сказал *бог вне мира*. «Но как же,— спросил я,— бытие отдельно от сущего?» — «Разумеется,— заметил он,— не отдельно». Но для себя дальнейшего развития и, главное, христианского он не сделал Да и было уже поздно. Да я думаю — и нет ничего готового.

22. Так, как в прошлый раз, так и теперь Наташа, видимо, перенесла спокойно ужасный удар, плакала, но держалась в пределах самоотвержения и грусти — а не отчаивалась. Эта умеренность и власть над собою, кажется, мнимые.

---

[1] индивидуальности (нем.).— *Ред.*

[2] это не удовлетворяет (франц.).— *Ред.*

[3] Хорош выбор (франц.).— *Ред.*

Теперь когда прошли недели, более и более видны опустошения, сделанные новым ударом в этом нежном и нервном существе.

Иногда ее безвыходно печальный взор мне невыносим, он для меня тягостнее всякого креста. Доля, конечно, должна относиться к болезненному состоянию; всякая маленькая шероховатость, ничтожное обстоятельство ее оскорбляет глубочайшим образом, и она скрывает это, но выражение боли и грусти вырезывается на благородном челе до такой яркой степени, что их нельзя не видать. Я виню себя в том, что не умею окружить ее жизнь со всех сторон сферой высшего порядка, в которую не входили бы маленькие мелочи. С другой стороны, вред слишком затворнической жизни также очевиден, надобно движенья, рассеянности. Но разве всякие люди могут рассеять, а где же взять иных? Странное устройство жизни. Мы нашли полную гармонию, полное соответствование. Я теперь, как пять лет и шесть тому назад, готов huldigen [1] высокому прекрасному существу. Тупая случайность смутила наше благородно-гармоническое существование. Три гробика; три колыбели заменились вдруг тремя гробиками. Это страшно. Да, нет предопределения — отсутствие разума в управлении индивидуальной жизнию очевидно.

27. Я иногда задыхаюсь от какого-то сокрушительного огня в крови. Потребность всяческих потрясений, впечатлений, потребность беспрерывной деятельности и невозможность сосредоточиться на одной книжной заставляет дух беспокойно бросаться на все без разбора, без разума. А после je me sens flétri, flétri doublement par le repentir même, repentir d'homme faible, qui a toute la possibilité de tomber demain encore plus profondément [2]. Этот беспокойный дух, кажется, свидетельствует не более, как неустоявшийся нрав,— есть жидкости, вечно бродящие и киснущие потом, когда перебродят.

Вчера Гр. говорил о своих семейных отношениях — тоже недурны*. Хлопочет о разводе в браке, а не следует ли

[1] поклоняться (нем.).— *Ред.*

[2] я чувствую себя запятнанным, запятнанным вдвойне самим раскаянием слабого человека, который может завтра пасть еще ниже (франц.).— *Ред.*

допустить разводы всех уз родства, не исключая уз родительских? Одно физическое рождение не связывает неразрывно, и если родство не родилось в духе — его нет, оно цепь, натяжка. И будто человек не может иными действиями отречься от физического рождения? Должна ли в самом деле в грядущих веках семейственность подавлять, или как она изменится? В современных отношениях нет развития, нет будущего. Половина энергии пропадает на бесплодную борьбу внутри семейств, и сколько нежных, благородных душ гибнут безвозвратно, жертвою нелепых предрассудков. А если и эту цепь снять? Посмотрите тогда на животного,— да и цепи оттого, что люди всё еще животные.

«Diplomatische Geschichte der Polnischen Emigration von 1831»*. Собрание довольно любопытных документов о Польше унесенной, безземельной. Вообще действие этой брошюры щемящее и тяжелое. Самая надежда, которую они хранят, не оживляет, не облегчает, потому что она похожа на надежду чахоточного. Демократическая партия совершенно отделилась от аристократов и предала их позору, обличив, сколько они ускорили катастрофу.

Язык их манифеста 1840 тверд*. Некоторые подробности о событиях, покрытых непроницаемой завесой после революции. О детях, эмиссарах etc., etc. А мы толкуем о утопиях — в то время как возле, около... ну, да что об этом и говорить! Грустно... и с этим грустным чувством, давно знакомым, мы проводим и этот год

Окончил этим днем статью об ученых. Многие ее находят лучшей из моих статей. Окончил и о романтизме для альманаха. Пора снова приняться за серьезное чтение; 1842 проведен со стороны занятий прерывисто, хоть не бесполезно. Сначала усердное чтение Гегеля, пониманье и воспроизвожденье живое его ученья, тогда же и первая статья о дилетантизме; потом с 1 июня месяца четыре dolce far niente[1], и в конце несколько исправился. Но все не мог наладить систематического труда. А состарился я много в этот год и покидаю его не вовсе довольным собою.

---

[1] сладкого безделья (итал.).— *Ред.*

29. Хомяков в изложенном споре, между прочим, бросил следующее замечание: древний мир, оканчиваясь, умирая, выразился двумя индивидуальностями — Пилатом и Брутом,— Брутом, который, проведя всю жизнь в стоическом поклонении добродетели, преследуя ее, жертвуя ей, окончил тем, что усомнился в ней. И Пилат, который знал, что делает неправое, сделал его и вымыл руки.

ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ СОРОК ТРЕТИЙ ГОД

Москва, 1 января.

Январь месяц.

1. Встретились мы с 1843 годом под счастливым созвездием,— девять лет я не встречал новый год в Москве. Шумно и весело, с пенящимися бокалами и искренними объятиями друзей перешли мы в него. И было чрезвычайно весело, что редко посещает нас; на минуту скорбное отлетело, мы были довольны, что вместе, после долгих и скорбных лет. Огарева недоставало*; но он был с нами в воспоминанье и в портрете.

7. «Deutsche Jahrbücher» запрещены в Саксонии*. Ввоз лейпцигской газеты запрещен в Пруссии, за крупные слова между королем прусским и Гервегом*. А как все еще смешно, жалко! В Петербурге Клейнмихель, министр инженерный, велел посадить двух цензоров на гауптвахту*, и они были посажены, а потом кто-то велел их выпустить, и их выпустили. После этого просто по улицам ходить опасно, первый генерал вздумает посадить, велит дать 500 палок, потом извинится.

Об «Deutsche Jahrbücher» жалеть особенно нечего, потому что полные энергии издатели не сядут сложа руки, а так, как переехали из Галля в Лейпциг, так переедут в Цюрих, Женеву, пожалуй, в Бельгию*. В одном из последних № была статья француза Jules Elysard о современном духе реакции в Германии*. Художественно-превосходная статья. И это чуть ли не первый француз (которого я знаю), понявший Гегеля и германское мышление. Это громкий, открытый, торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый обла-

40 41

1843. год

Январь мѣсяц.

1. Встрѣтились мы съ 1843 годомъ подъ счастливыми сочетаніями, девять лѣтъ въ ихъ встрѣчахъ и новый годъ въ Москвѣ. Шумно и весело, съ [illegible] бокалами, и искренними объятіями друзей пришли мы въ него. И было чрезвычайно весело, что рядомъ послѣдуетъ нам; на минуту скорбное отлетѣло, мы были довольны что вмѣстѣ послѣ долгихъ и скорбныхъ лѣтъ. Нарочно не доставало; — но отъ былъ скажи въ воспоминаніи и въ портретѣ. —

У Дѣйствія Іезуитовъ запрещены въ Саксоніи. Квачъ Лейпцигскій газетъ запрещенъ въ Пруссіи, за прусскіе слова между Королемъ Пруссіи и Гервеговъ. А нам всё еще смѣшно-жалко! Въ Петербургѣ Клейнмихель Министръ Народной Земли погадить двухъ ассистентовъ на Гауптвахту, и они были посажены, а потомъ кто то велѣлъ не выпустить и ихъ выпустили. Послѣ этого просто по улицамъ ходить опасно, первой генералъ, вздумаетъ погадить, велитъ дать 500 палокъ; потомъ извинится. — Объ Д. Іез. скажетъ особенно нечего потому что полные о нерѣ. издатели не сядутъ сказа руки, а тамъ хотя переѣхали изъ Галлеевъ Лейпцигъ, тамъ переѣдутъ въ Цюрихъ, Женеву, [illegible] въ Бельгію.

Дневник. Страница рукописи (автограф Герцена)

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР

данием симпатий в настоящем и всего мира в будущем; он протягивает руку консерватистам, как имеющий власть, раскрывает им с неимоверной ясностью *смысл* их анахронистического стремления и зовет в человечество. Вся статья от доски до доски замечательна. Когда французы примутся обобщать и популяризировать германскую науку, разумеется поняв ее, тогда наступит великая фаза der Betätigung[1]. У немца нет еще языка на это В этом деле, может, и мы можем вложить лепту.

8. Аксаков, кн. Гагарин и др. Когда настает эпоха совершенного развития, разумного и сознательного для народа, мыслящие проникнуты единым духом, увлечены одной всеобщей мыслью, религией. Возможно еще противудействие религии — своя религия прошедшего. Но когда народ ощущает один темный трепет призвания, одно брожение чего-то неясного, но влекущего его в сферу шири, тогда мыслящие, не имея общей связи, начинают метаться во все стороны. Страшное сознание гнусной действительности, борьбы — заставляет искать примирения во что б ни стало, примирения во всякой нелепости, себяобольщения — лишь бы была деятельность мысли, лишь бы оторваться от действительности и найти причину, почему она так гадка. Вот причина этого множества партий, самых непонятных в Москве. Общая связь одна — все убеждены в тягости настоящего, но выход находит каждый молодец на свой образец. Партия католиков всех дальше в нелепости. Она нелепа во Франции, ибо католицизм имел торжественный момент развития и столько же торжественный момент признания дряхлости, бессилия. О его воскрешении смешно думать на Западе,— ну, да французы — католики par métier[2], а каково же в наш век сделаться католиком par affinité élective[3], сделаться иезуитским пропагандистом! Жаль откровенность, с которой бросаются в эти мертвые путы. Таков князь Гагарин, он считает Чаадаева *отсталым*. Понять можно,— аристократ, вероятно, не получивший серьезного образования, ни сильного таланта,— между тем ум и горячее сердце, бог

---

[1] деятельности (нем.).— *Ред.*

[2] по ремеслу (франц.).— *Ред.*

[3] по влечению (франц.).— *Ред.*

привел взглянуть на Францию, на Европу. Дома-то черно, страшно. Путь человечества неизвестен. Основные, краеугольные начала современного взгляда, аутономия разума, история — terra incognita[1]. А тут случайная встреча с иезуитом, с безумным католиком; перед непривычным глазом развертывается в первый раз учение, мощно развитое из своих начал (которые вперед втесняет своим авторитетом),— и удивленный человек предается вымершему принципу*. Таланты Чаадаева делают его более ответственным. Vice versa[2]. Партия православных, Киреевский en tête[3], а потом и Шевырев — дилетанты религии, и славянофилы, и русофилы, и Аксаков — полугегельянец и полуправославный. Они перед католиками имеют важный шаг вперед тем, что они родились в православии, связаны воспитанием, народными воспоминаниями etc. Сверх того, православие никогда не имело такого торжественного финала, как реформация; оно покойное, никогда не шло ни вперед, ни назад, и потому это безжизненное, но и не мертвое бытие в самом деле имеет нечто проблематическое, о чем мечтать можно. Почем знать, чем оно разовьется, так как можно ждать еще развития византийского зодчества, а уж готического нельзя. Я говорил долго с Аксаковым, желая посмотреть, как он примирит свое православие с своим гегельянизмом, но он и не примиряет, он признает религию и философию разными областями и позволяет им ⟨жить⟩ как-то вместе, это конкубинат sui generis. Другие, как Киреевский, отвергают все западное, не хотят даже знать, боятся знать, т. е. боятся углубиться в себя, чтоб не найти там зародышей скептицизма. Споры между католиками и православными пресмешные — так и переносишься в блаженной памяти средние века. Тип этих споров один: «Откуда ведьмы — из Киева или из Чернигова?» Для людей, не верящих в ведьм, остается зевать и жалеть расточения сил. Эти господа делали преспециальные изучения истории церкви, знают подробности ненужные и мелочные, дающие пищу их контроверзе, и совершенно незнакомы с краеуголь-

---

[1] неизвестная земля (лат.).— *Ред.*

[2] И наоборот (лат.).— *Ред.*

[3] во главе (франц.).— *Ред.*

ными истинами исторического движения. До смешного. Князь Гагарин однажды доказывал, что в XVI, что ли то, веке было незаконное избрание русского патриарха, и отсюда выводил заключение о мере законности постановлений и пр.; но разве греко-рос⟨сийская⟩ церковь не есть событие, которое требует только признания, и что поможет доказательство, что она не имеет в таком-то смысле такого-то оправдания? Тут еще не все. Есть и протестанты, улыбающиеся над теми и другими как над отсталыми, смеющиеся над невеждами, утверждающими, что ведьмы из Киева или из Чернигова, а сами они знают наверное, что ведьмы идут из Житомира. Их положение тем незавидно, что их бьют со всех сторон религиозных и совсем не религиозных; куда они ни обернутся, это чужая собака, пристающая к грызущимся. И грызущиеся тотчас обращаются на чужую, оставляя свой раздор.

И на это расточается большая деятельность, хотя плода ждать нельзя,— но, как бы то ни было, нельзя не признать, что самая деятельность эта утешительна, без нее Москва была бы гроб; привычка заниматься всеобщим, переносить свои интересы в сферу вопросов религиозных — хороша. Привычка собираться для споров, излагать, защищать свое profession de foi постановляет в люди ⟨*2 нрзб.*⟩ безличных рабов. Итак, спасибо и на том!

Вчера явился ко мне знакомиться профессор Казанского университета Григорович,— отрадно уж самое юношески благородное желание изъявить свою симпатию людям — как сказать — людям движенья. Но еще отраднее видеть профессора славянских языков в Казани, твердо смотрящего на свой предмет с точки зрения современной науки. Мне дорого было и его внимание, и узнать, что за Волгой есть такой благородный представитель гуманизма.

Разговор с Гр⟨ановским⟩ о личном положении моем, нашем всегда оставляет мрачное расположение. А впрочем, подчас кипят надежды. Nein, nein, es sind keine leere Träume![1] Нет достаточно веры, оттого нет достаточно резигнации. Хочется насладиться жизнию, отдохнуть от прошлых ударов,

---

[1] Нет, нет, это не пустые мечты! (нем.).— *Ред.*

в то время как следовало бы самоотверженно исполнить долг. Конечно, мы приносим хоть малую, но приносим пользу.

14. Правительство подыскивается и приготовляет ловушки славянофилам. Оно само поставило знаменем народность, но оно и тут не позволяет идти дальше себя: о чем бы ни думали, как бы ни думали — нехорошо. Надобно слуг и солдат, которых вся жизнь проходит в случайных интересах и которые принимают за патриотизм дисциплину. Перед рождеством Клейнмихель велел посадить на гауптвахту двух цензоров* за не понравившееся ему выражение об офицерах. Вряд поймут ли, сообразят ли европейцы этот случай. Министр инженерный, который только начальник публичных работ, военный, приказал арестовать чиновников, служащих по иному ведомству и для которых, как для всех, есть же законный суд, вследствие которого можно наказать. Вроде осадного положения. Мы всё глубже и глубже погрязаем в какое-то дикое состояние военного деспотизма и бесправия. Утешает одно — все это зиждется на одной материальной силе,— нравственной, исторической основы никакой.

16. Опять тяжелый разговор с Natalie, точно в прошедшем году после ее болезни; Отчасти все эти Grübelei [1] именно следствие болезни; но есть корни и глубже, в ее характере, в ее воспитании. Главная вина моя — что я не умел осторожно, нежно вырвать их. Несколько дней я заставал ее в слезах, с лицом печальным,— сначала я молчал, но не мог скрыть и свою грусть, это удвоило ее печаль, наконец, я не находил более сил, à la lettre [2] не находил сил вынести этот вид; я от него приходил в какое-то горячечное состояние, уходил с какою-то тяжестью в груди, в голове; за что это благородное, высокое создание страдает, уничтожает себя, имея всю возможность счастья, возмущенного только воспоминанием трех гробиков, воспоминанием ужасным, но которое одно не могло бы привести к таким следствиям? Я просил, наконец, объяснить, и снова явились решительно ни на чем не основанные Grübelei. «Я тебе не нужна, напротив, всегда больная, страждущая, я тебе порчу жизнь, лучше было бы избавить от себя,— ты меня любишь,

[1] раздумья (нем.).— *Ред.*

[2] буквально (франц.).— *Ред.*

я знаю, удар тебе был бы болен, но потом было бы спокойнее», и пр., и пр. Я просил, умолял, требовал, наконец, разумом разобрать всю нашу жизнь, чтоб убедиться, что все это тени, призраки. Она плакала ужасно — и признавалась, что с первого дня нашей жизни вместе ее эти мысли не покидают, что она только их скрывала, что они уже развиты с самой первой встречи, что она поняла, как моя натура должна была иметь иную натуру в соответственность, более энергическую и пр., и пр., и все это с видом существенного, сильного горя. Наконец, часа через два я уговорил ее самое разобрать похладнокровнее. Тогда начались новые слезы, извинения, доказательства, что самый этот факт подтверждает. Что за причина заставляет мучиться ее? Чрезвычайная нежность и сюссептибельность[1], чрезвычайная любовь. Но зачем же болезненное выражение такого препростого начала? Привычка сосредоточиваться, обвиваться около мыслей скорбных. Если я в этом отношении могу себя винить, то это в рассеянье, в возможности предаваться предметам занятий и поглощаться ими. Это понято ею как нельзя лучше, и мысли никогда не приходило ей в этом видеть дурное,— но она много остается одна. *Беспечность, врожденная* мне, кажется, подчас, невниманием. И я не умею поправить себя, потому что я живу чрезвычайно просто, поступаю совершенно натурально. Но самое ужасное, самое оскорбительное для меня — это невысказываемое, но понятное обвинение в недостатке любви,— оно оскорбительно по ложности. В то время как душа моя склоняется, huldigt[2] с умилением ее прекрасной, высокой душе, в то время как ее личность обнимает мою каким-то благоуханием любви, в то время как я только в нее и верю,— недоверие! Я гордился прежде ригоризмом своим, но опыт доказал, что я могу падать, увлеченный минутным порывом знойной страсти,— но от моего падения до Grundton всей жизни моей нет перехода. Моя любовь к Natalie — моя святая святых, высшее, существеннейшее отношение к моей частной жизни, становящееся рядом с моим гуманизмом. Я так сросся с моей любовью, что мне страшным, чудовищным кажется

---

[1] восприимчивость, от susceptibilité (франц.).— *Ред.*

[2] поклоняется (нем.).— *Ред.*

всякое сомнение. Ну, не нелепость ли, что мы мучим друг друга без всяких достаточных причин?

18. Странное состояние духа растет у Natalie и подавляет ее. Ее характер принадлежит к таким, с которыми нет средств, на нее ничто не действует, кроме внутреннего голоса. А он ей подсказывает сомнение и мрачные вещи. Неужели я довел ее до этого ужасного состояния недостатком любви, пустотою?.. Да что же я после этого?.. У *ней нет* веры в меня. Все это составляет какой-то узел в жизни, от которого будем считать новую эру. А тяжело мне, ужасно тяжело. Кара это, что ли? Конечно — но да мимоидет скорее чаша сия. Неделю тому назад жизнь была еще спокойна, и вдруг без причины разверзлись какие-то пропасти под ногами,— лишь бы удержаться на краю. Я виноват, много виноват, глубоко падал — но любовь моя была всегда святою святых, я минутами забывал ее — мог забывать,— и вот чудовищное действие. Я отравил жизнь — страшно сказать, волосы становятся дыбом — я испортил жизнь тому существу, которое любил и люблю больше всех. Несчастный нрав! Я мелок, загрязнен — но что ж в ней нет милосердия? Я заслужил крест, лежащий на мне, но колени гнутся под тяжестью его. А я думал, что мои падения с рук сойдут,— низкое упованье! Жалкая душа, и тем более жалкая, что она вооружена талантами. Я поднимусь — ну, а рубцы-то, нанесенные мною? Впрочем, я не хотел никогда ни даже темной минуты доставить ей, я всегда готов был всем пожертвовать для нее. Но при всем этом чувствую, как справедлив крест,— бесконечная любовь ее имеет в себе бесконечную гордость, эта гордость пренебрегает милосердием — простым прощением. Она стирает, отбрасывает факты, но остается при горести и оплакивании утраченного счастья. Облегченье, облегченье ей и мне. Grâce, grâce — grâce pour toi-même[1]*.

19. Что делается со мною? Все покрывается каким-то туманом. И в груди трепет, должно быть, вроде того, который ощущает колодник, приговоренный к кнуту, перед наказанием; все мучит меня. Неужели я заслужил? Не мне вешать меру наказания. Высочайшая любовь к лицу есть эгоизм! Высочайшее

---

[1] Пощады, пощады — пощады для тебя самой (франц.).— *Ред.*

смирение — гордость! А чувствовать себя неправым, носить угрызения, видеть терзание невинного, святого существа ежеминутно перед глазами! О, лучше ослепнуть!

21. И во всех случаях она побеждает меня. Это единственная индивидуальность, которая просто порабощает меня,— может, именно потому, что всякая мысль порабощения далека от ее благородной, прекрасной души. Вчера мы долго, долго и скорбно говорили. Я раскрывал все раны, все угрызения, нанесенные минутами падения... мало-помалу становилось на душе светлее, светлее; я как-то вырастал, ощущал всю мощь свою, всю любовь свою и всю ее любовь, обнявшую нимбом существо мое. И мы провели минуты высокого блаженства, все прошедшее было забыто—мы были хороши, как в день свадьбы. Благословенье этому вечеру.

22. Истинное, глубокое раскаяние очищает не токмо от события, в котором раскаивается человек, но вообще очищает от всей пыли и дряни, наносимой жизнию. Небрежность людская позволяет насесть пыли, паутине на святейшие струны души, гордость не дозволяет видеть,— паденье — и тотчас раскаяние (если натура не утратила благородства), человек восстановляется, но гордости нет, нет сухости, в нем трогательная грусть — он стыдится и просит милосердия, он делается симпатичен падшему.

Все эти дни решительно ничего не делал. Минутами душа так переполнялась, что из каждого пальца, кажется, готова была струиться сила, я — может, впервые в жизни — глубоко жалел, что я не музыкант, то, что мне хотелось сказать, только можно было бы сказать звуками. Минутами овладевала апатия — тягостная, сонная. Впрочем, читал Мицкевича. Много прекрасного, высоко художественного в этом плаче поэта. Боже мой, как хороша у него картина русской дороги зимой, бесконечная пустыня, белая, холодная. Море, не раскрывающее груди своей ветру,— ветру, который метет эту степь, от полюса до Черного моря! Дороги, пересекающие ту степь, вызваны не торговлей, не народной нуждой, а проведены по приказу царя, и пр., и пр. Замечательно в той же поэме место о памятнике Петра. Мицкевич сравнивает его (и влагает это в уста Пушкина) со спокойной позой Марка Аврелия в Риме. Тут лошадь несет,

она стала на дыбы на краю пропасти и остановилась, как замерзнувшая каскада, еще шаг — и седок разбился бы вдребезги. Взойдет солнце свободы, подует ветер западный, и растает каскада*.

В второй части «Дзядов» еще дух отрицанья сильный, истинно байроновский, борется с католическим воззрением. Но оно с каждым шагом берет верх. Для образца его поэзии:

A une mère polonaise*.

Le Christ à Nazareth aux jours de son enfance
Jouait avec la croix, symbole de sa mort:
Mère du Polonais! qu'il apprenne d'avance
A combattre et braver les outrages du sort.

Accoutume ses mains à la chaîne pesante:
Qu'il apprenne à traîner l'immonde tombereau,
A mépriser la mort sous la hache sanglante,
A toucher sans rougir la corde du bourreau.

Car ton fils n'ira point sur les tours de Solyme,
Comme ses fiers aïeux, detrôner le croissant,
Ni comme le Gaulois, planter l'arbre sublime
De la liberté sainte, et l'arroser de sang.

Il lui faudra combattre un tribunal parjure,
Recevoir le défi par un agent secret,
Pour témoin le bourreau dans la caverne impure,
Un ennemi pour juge et la mort pour decret.

La mort!.. Pour monument et pour gloires funèbres
Il aura d'un gibet les horribles débris,
Quelques pleurs d'une femme — et parmi les ténèbres
Les mornes entretiens de quelques vieux amis[1].

Сколько бедствий лежит позади этой колыбельной песни!

---

[1] Польской матери.

Христос в Назарете в дни детства играл с крестом, символом своей смерти: мать поляка! пусть он заранее научится сражаться и преодолевать обиды судьбы.

Приучи его руки к тяжелой цепи: пусть он научится катить гнусную тачку, презирать смерть под кровавым топором и прикасаться, не краснея, к веревке палача.

28. Весть об Jules Elysard*. Он смывает прежние грехи свои, я совершенно примирился с ним.

31. Начал статью о формализме* — будет хороша. Вчера «Die Jüdin» оставила меня под каким-то тягостно хорошим чувством. Мне, просто, чрезвычайно нравится libretto*. Много и много навевает дум,— притом музыка — как море, обтекающее, томящее и примиряющее бесконечными волнами звуков.

Февраль месяц.

4. Боткин назвал начало статьи о философии symphonia eroica[1]. Я принимаю эту хвалу — оно написалось в самом деле с огнем и вдохновением. Тут моя поэзия, у меня вопрос науки сочленен со всеми социальными вопросами. Я иными словами могу высказывать тут, чем грудь полна.

14. Тихо проведенное время. Граф Строганов обещал написать к Б⟨енкендорфу⟩* и узнать, можно ли ехать на короткое время в чужие краи. Если — боже мой, я не соображу, что через шесть месяцев я могу сидеть где бы то ни было, не боясь жандармов. Но надежды опереть не на чем. Лучше не думать об этом.

Из людей видел одного, да и тот женщина, т. е. Павлова,— ее голос неприятен, ее вид также не вовсе в ее пользу, но ум и таланты не подлежат сомнению. Больше на первый случай ничего не могу сказать.

15. Письмо от Огарева*. На него только можно сердиться и негодовать, когда ни его нет, ни письма нет. Достоинство

Ибо твой сын не пойдет на башни Солима, подобно своим гордым предкам, свергать власть полумесяца, и не будет, как галл, сажать торжественное дерево святой свободы и орошать его кровью.

Ему придется сражаться с клятвопреступным судом, получать вызов тайного агента, иметь свидетелем палача в смрадном подземелье, врага в лице судьи и смерть как решение.

Смерть!.. Памятником и погребальными почестями для него будут ужасные обломки виселицы, несколько слез женщины — и во тьме мрачные беседы некоторых старых друзей (франц.).— *Ред.*

[1] героическая симфония (лат.). — *Ред.*

сирены: стал говорить, и симпатичная всему прекрасному и высокому душа все поправила, примирила, восстановила. Письмы от J. Elysard'a и от Белинского*. Один умом дошел до того, чтоб выйти из ⟨*1 нрзб.*⟩, в котором сидел, другой* страдает, глубоко страдает, беспокойный дух его мечется, ломает себя,— и когда же он дойдет до светлого, гармонического развития? Или есть натуры, которых вся жизнь в том и состоит, что они ломаются? Впрочем, много и внешних обстоятельств имеют влияние на него. Не деньги, а недостаток симпатий, недостаток близких людей, одиночество, на которое его обрек Петербург.

18. В «Siècle»* между прочим с чрезвычайным хладнокровием рассказан следующий случай, бывший, помнится, в Лионе. Какой-то работник, не имея некоторое время занятий, пришел в ужасную крайность. На его руках больная жена, оба очень молоды. Они жили на чердаке и, не имея в один день хлеба и видов что-нибудь достать, он украл в нижнем этаже какую-то безделицу для того, чтоб, продавши ее, купить хлеба и лекарства жене. Воровство было сделано так неловко, что тотчас открыли, кто виновник Работник, до того слывший порядочным человеком и понявший, что потерял последнее благо, ожидая жандармов, грустил, грустил с женою — да и решились *повеситься*. Оба привели в действие предположение, но жандармы успели отрезать веревки. Теперь будет судопроизводство. Оно в высшей степени замечательно. Надобно заметить, что французское jury[1] смертоубийство легче и снисходительнее обсуживает, нежели *воровство!* Подобные случаи выставляют разом во всей гнусности современное общественное состояние. Не может человечество идти далее в этих путях незакония. Но как выйти? Тут-то весь вопрос, но на него не может быть полного теоретического ответа. События покажут форму, плоть и силу реформации. Но общий смысл понятен. Общественное управление собственностями и капиталами, артельное житье, организация работ и возмездий и право собственности, поставленное на иных началах. Не совершенное уничтожение личной собственности, а такая инвеститура обществом, которая государству дает право общих мер, направлений. Фурьеризм, конечно,

[1] суд присяжных (франц.).— *Ред.*

всех глубже раскрыл вопрос о социализме, он дал такие основания, такие начала, на которых можно построить более фаланги и фаланстера. Подобные анекдоты оправдывают злобный характер Прудоновых брошюр*.

20. Говорят, Уваров общий отчет за управление министерства просвещения за десятилетие заключает предложением расширить свободу книгопечатания* и, след., изменить цензурные учреждения. Конечно, это делается для славы, для того, чтоб даже в Европе поговорили, но, тем не менее, что за путаница хорошего и дурного во всем управлении, в каждом государственном лице? Нет определенных воззрений, нет определенных целей — и вечный тип Хлестакова, повторяющийся от волостного писаря до царя. Дух подражания европейцам нас не оставил, мы всё еще, как мещанин в дворянстве, хвастаемся, что мы образованны, и стараемся заявить, что имеем либеральные идеи. Между тем их нет, так как нет образования. Но и вражды против идей нет. Оттого выходит, что такой-то с спокойной совестью говорит и делает в трех разных смыслах, нисколько не замечая того. Разумеется, этот недостаток всего заметнее в значительных людях. Наши вельможи не умеют себя держать ни относительно нас, ни относительно служащих, всего менее относительно иностранцев: или troppo или troppo poco[1], или дерзко, или фамильярно, или грубо, или унизительно учтиво. Они не свободны в своих манерах, потому что они играют роль, а не в самом деле аристократы. Один из самых лучших магнатов, граф Строганов, исполненный личного благородства и пр., со всем тем впадает иногда в страшные нелепости, желая à propos de bottes[2] вдруг представить из себя лорда тори и забывая, что полчаса перед тем он посмеялся над английским торизмом и излагал вещи человеческие без всяких предрассудков касты. Таковы все, и князь Дмитрий Владимирович Голицын, слывущий либералом и как premier gentilhomme de l'empire[3]. Ein gutes Herz, verwirrte Fantasie; das heißt auf Deutsch:

---

[1] чересчур или недостаточно (итал.).— *Ред.*

[2] ни с того ни с сего (буквально: по поводу сапог) (франц.).— *Ред.*

[3] первый дворянин империи (франц.).— *Ред.*

ein Narr war Lamettrie[1]*. А не выражает ли все это вместе, что мы не устоялись? Брожение странное, уродливое гетерогенных элементов.

Ал. Ал. Тучков чрезвычайно интересный человек, с необыкновенно развитым практическим умом. У нас это большая редкость,— мы или животные или идеологи, как и аз грешный. Ничем не занимаемся или занимаемся всем на свете. Еще более интересный потому, что очевидец и долею актер в трагедии следствия по 14 декабря,— актер, как подсудимый, разумеется. Характеристические подробности! Рассказы об этом времени — наша genesis[2], эпопея. Когда-нибудь надобно записать подробности.

28. Завтра выйдет в Петербурге 3 № «Отечественных записок», в котором моя статья о романтизме*. Я пробежал ее. Или цензура ее изуродует, или эта статья может принести последствия. Может, третью ссылку. Горько будет, но я готов. Я окреп и возмужал в последнее время, мне нужен досуг, и я теперь более, нежели когда-либо, надеюсь на огромную силу души Natalie. Странная жизнь! Но жребий брошен, я не могу жить иначе, нечто похожее на призвание заставляет поднимать голос, а они не могут вынести человеческого голоса. Влияние, которое делает мой голос, убеждает всем жертвовать, ибо, кроме его, я ни к чему не призван. Ссылка заставит смолкнуть. Надобно предпринять труд продолжительный. А любимая мечта, последнее желание личное — путешествие! И вдруг вместо ссылки дозволение ехать. И счастье и несчастье, втесняемые внешней неразумной силой, противны и оскорбительны. В обоих случаях личность человека подавлена.

Март месяц.

4. Еще ужасное и тяжелое объяснение с Н⟨аташей⟩,— я думал, все окончено, давно окончено; но в сердце женщины не скоро пропадает такое оскорбление. Она плакала, отчаянно, горько плакала, я уничтожал себя; сострадание, любовь, мучительное угрызение, бешенство, безумие — все разом терзало

---

[1] Доброе сердце, путаная фантазия; по-немецки говоря: дурак был Ламеттри (нем.).— *Ред.*

[2] Здесь: история происхождения (лат.).— *Ред.*

меня. Сегодня я проснулся в ознобе, весь больной, в какой-то ломоте во всем теле. Если б была молитва! В какую пропасть стащил я ее, которая не могла представить себе возможность такого падения. Гнусно, отвратительно! Когда я смотрю пристально на себя и разоблачаю все гадкое, мне является потребность сильная идти ко всем любящим меня и сказать: «Прежде посмотрите, вот ваш друг!» Да, и это из самолюбия, мне больнее всего их неправая оценка. Еще пять, шесть таких сцен, и я сойду с ума, а она не переживет. Ночь, ночь, темно, скверно, тяжело. Но что же ей, когда я так чисто покаялся, когда это уже давнопрошедший факт? Зачем подрываться под другого? Зачем? Глупо, и тут любовь, но в другом виде, любовь-Немезида. Чтоб довершить все, чтоб дать последний удар в самую грудь, я вспомнил, что вчера было 3 марта. 3 марта 1838 года я не был раскаивающимся и гадким, она не была убитая и невольно карающая. Тогда мы увиделись впервые после разлуки. Все было светло, свято, прекрасно. Жизнь сулила одно блаженство. Зачем же я допустил змеиное жало? Где мне прибрать черное слово, которым бы я мог выразить мое состояние?

10. Кажется, живешь себе так, ничего важного не делаешь, semper idem ежедневности, а как только пройдет порядочное количество дней, недель, месяцев — видишь огромную разницу воззрения. Доселе я тридцать лет не останавливался. Рост продолжается, да, вероятно, и не остановится. Последнее время я пережил целую жизнь, и все мрачное переработается во мне в ткань светлую, лишь бы *она* не страдала, лишь бы она умела примириться, забыть. Мне так страшны ее страдания,— за что она, бедная, за всю высоту, чистоту купила слезы? — Но неужели любовь не врачует? Неужели моя любовь слаба?

13. Ее страдания, ее сомнения уничтожают меня. Я пал, je suis flétri[1] в ее глазах, ее мучит это, она сама унижена в моем унижении, полное доверие потрясено! Время, моя беспредельная любовь уврачуют, быть может. Я понимаю, что раскаянием, слезами я очистился. Мы вместе оплачем, вместе погрустим, но теперь она часто хуже, нежели грустит. Вчера мне было ужасно тяжело. И в такие минуты я, долго изнемогая, дохожу до

---

[1] запятнан (франц.).— *Ред.*

мыслей слабых. Мне бы хотелось уехать одному из Москвы, не видать, не знать и отдохнуть так. Мне становится страшно в комнате,— мне больно смотреть на игру Сашн, он так беззаботен, весел. Да чья же грудь не найдет в себе полного примирения за такое полное раскаяние? Ее страдания, ее сомнения тем страшнее, что вся религиозная сторона упования, успокоения в ней. Иной религии я не знаю. Вера в человечество, вера в всеобщее слишком широка, слишком безлична; она свята мне, но я говорю об индивидуальном веровании, об частном возношении и спокойствии.

Вторая статья* также принята с рукоплесканием. Меня, если б знали во всех изгибах, поставили бы, может, на одну доску с Бакуниным, т. е. талант и дрянной характер. La nature ne fait jamais un pas qui ne soit en tous sens (Buffon)[1].

14. Когда человек с глубоким сознанием своей вины, с полным раскаянием и отречением от прошедшего просит, чтоб его судили, распяли — он не возмутится никаким приговором. Он вынесет всякое наказание,— поверженный в прахе, слезами раскаяния, мучительными угрызениями, он смирён и понимает, что наказание должно быть, что это справедливость. Еще более он тут же подозревает, что ему легче будет по ту сторону наказания, что казнь примиряет, замыкает, отрезывает прошедшее от грядущего. Да, он не возмутится, а кротко примет казнь. Но сила карающая должна на том и остановиться; если она будет продолжать карать, если она беспрестанно будет ему напоминать всю гнусность его поступка — по страшному реактивному действию падший возмутится, он себя сам начнет реабилитировать. Отчасти это понятно, что он прибавит к своему раскаянию? Чем ему иначе примириться? Невинный имеет перед виноватым такой страшный шаг вперед, что он не может быть довольно снисходителен. Дело человеческое — посадить виновного (если его раскаяние чисто) возле, погрустить о его падении и показать ему же, что он все еще обладает всеми силами уничтожить сделанное раскаянием, что достоинство человеческое в нем не подавлено. Человек, которого удостоверят, что он

---

[1] Природа не делает ни одного шага, который не был бы направлен во все стороны (Бюффон) (франц.).— *Ред.*

сделал смертный грех, которому нет прощенья, должен зарезаться или глубже погрязнуть в пороки, иного выхода ему нет.

17. Жизнь, жизнь! Середь тумана и грусти, середь болезненных предчувствий и настоящей боли — вдруг засияет солнце, и так светло на душе, ясно, беспредельно хорошо. Вчера весь день прошел так, мы были как 3 марта, как 9 мая. Мы теснее соединились, выстрадав друг друга, намучившись. Волна жизни делается шире, полнее — лишь бы она лишилась едко соленых свойств.

Высокая, святая женщина! Я не встречал человека, в котором бы благородпее, чище и глубже был взгляд. Но она беспрерывно себя разлагает, поддерживая себя беспрерывно в восторженном состоянии, ей нравится эта полнота жизни, но тело ее, болезненное и слабое, не может вынести яркого огня, которым пылает ум и сердце. За такие минуты, как вчера, можно пожертвовать годами. И странно начало этому обновленью, этой гласности любви. Не было мгновения, не токмо времени, в котором бы я не любил ее со всем глубоким чувством, благоговением, но она мучилась и подозревала какую-то холодность, которой не было и не было. Между тем в минуту физического, нечистого увлечения я сделал поступок, в котором она вовсе меня не подозревала. Я был чист и прав в том, в чем ее болезненное воображение обвинило. Я никогда не придал бы огромной важности гадкому, но бесследному поступку, если б он не прибавил ей страданий. Она никогда не поймет, никогда не сообразит, что может быть чисто физическое увлеченье, минута буйного кипенья крови, минута воображения, разожженного образами нечистыми, словом, страсть, которая вовсе не переводима на язык любви и непонятная для нее, страсть полуживотная, грязная и не благословенная тем знамением, которым любовь освящает физический акт. Мы глубже почувствовали благо нашей жизни! Но я трепещу, что ее Grübelei опять возвратятся и будут мучить. А между тем ее здоровье разрушается наглазно, она тлеет,— одна надежда у меня на лето и на путешествие. Это, наконец, какая-то ядовитая ирония жертвовать телом за развитие духа. Как широко-прекрасно текла бы жизнь наша, если б каплю сил прибавить ей! Болезнь развивает Grübelei, а Grübelei помогают болезни.

19. Четыре года тому назад, 19 марта, уехал Огарев из Владимира, после первого свиданья. Как все тогда было светло! Не прошло года после свадьбы; тихая, спокойная, прекрасная идиллия владимирской жизни. Недоставало только друга — и он явился, радостный и упоенный своим счастием. Все улыбалось. Ни одного диссонанса не было видно. Мы были чрезвычайно счастливы, юно счастливы. Любовь, дружба, преданность всеобщим интересам, сознание блаженства — это был блестящий эпилог юности, точка поворота, к которой все собралось в праздничной одежде. Давши эту награду за прошлое, этот залог будущему, судьба повлекла нас быстро по железной дороге. Сколько переменилось в эти четыре года, сколько испытаний! Главное цело, все цело: и дружба, и любовь, и преданность общим интересам,— но освещение не то, алый свет юности заменился северным, ясным, но холодным солнцем реального пониманья. Чище, совершеннолетнее пониманье, но нет нимба, окружавшего все для нас. Период романтизма исчез, тяжелые удары и годы убили его. Мы, не останавливаясь, шли вперед, многого достигли, но юные формы приняли мускулезный и похудевший вид путника усталого, сожженного солнцем, искусившегося всеми тягостями пути, знающего теперь все препятствия и пр. Первый удар был страшен, потому что разом потряс самые нежные струны. Это ссора с Марией Львовной — а четыре года тому назад мы расстались, как брат с сестрою. Ее раздор с мужем, его слабость — и целая история, отвратительная и мучительная. А потом вторая ссылка... и многое. Мне кажется, наступает теперь новая эпоха — успокоения совершеннолетнего и деятельности более развитой. А впрочем, поживем — увидим. Теперь одна цель, одно желание — поправить здоровье Natalie и ехать, ехать на юг, в степь, если нельзя в Италию.

23. Тихое счастие домашнее снова начинает кротко согревать мое беспокойное существование. Здоровье Нат⟨аши⟩ получше, дух ее распространил опять свои крылья во всем спокойном, благородном характере. Бурные дни эти доказали мне всю великую необходимость для меня в ней. Все святейшие корни бытия сплетены с нею неразрывно. Лишь бы как-нибудь устроить ее здоровье.

Что за прекрасная, сильная личность Ивана Киреевского! Сколько погибло в нем, и притом развитого! Он сломался так, как может сломаться дуб. Жаль его, ужасно жаль. Он чахнет, борьба в нем продолжается глухо и подрывает его. Он один искупает всю партию славянофилов.

25 марта.

Год, как начат этот журнал, тридцать один год мне. Этот год был с излишеством богат опытом, толчками по плюсу и по минусу,— в новый вступили весело в кругу друзей и знакомых.

27. Не могу не заметить остроту уморительную. На днях за ужином я сказал, что наш девиз — taceamus[1]. Хомяков прибавил: taceamus igitur[2]. А А. И. Тургенев тотчас спел. Taceamus igitur, Russi dum sumus, post Mongolam servitutem, post Polonam (не упомню) — nos habebit humus!..[3]* Да, помолчим!·

В Германии яростные гонения на свободу книгопечатания. Прусский король является без маски*, баварский выдерживает роль, которую играл всю жизнь*,— претенциозной тупости. Когда он издал свою глупую книжонку, написанную исковерканным языком: «Walhalla's Genossen»[4] *, которую в Лейпциге назвали Walfischhalle's Gunsten*, в одном из лейпцигских журналов было сказано от имени Людвига Баварца: «Mein Bruder in der Wart der ist redselig, ich aber bin schreibselig»[5]. Хороши эти литераторы и говоруны!

30. Едва прошло несколько спокойных дней — Саша занемог, и очень круто. Неужели вся жизнь должна быть пыткой и мученьем, сменяемым для отдыха только и для того, чтоб не уничтожился человек,— покоем? Грустно, тяжело и томно тем, что ничего не можешь делать, как быть зрителем. Человек

---

[1] будем молчать (лат.).—*Ред.*

[2] итак, помолчим (лат.).— *Ред.*

[3] Итак, помолчим, пока мы еще русские, после монгольского рабства, после польского... нас примет земля! (лат.).— *Ред.*

[4] «Товарищи по Валгалле» (нем.).— *Ред.*

[5] «Мой брат любит поговорить, а я люблю пописывать» (нем.).— *Ред.*

по песчинке, несчетным трудом, потом и кровью копит, а случай хватит и одним глупым ударом разрушает выстраданное. Едва теперь удалось несколько поправить расстроенное здоровье Наташи, спокойствие, внимание, гармония кругом едва начали возвращать силы. Вот новый толчок. И кто его знает, каков он будет,— и весна, кровью полна голова, и гадко.

Апрель месяц.

5. Длинный разговор о философии с Ив. Киреевским. Глубокая, сильная, энергическая до фанатизма личность. Наука, по его мнению,— чистый формализм, самое мышление — способность формальная, оттого огромная сторона истины, ее субстанциальность, является в науке только формально и, след., абстрактно, не истинно или бедно истинно. Философия не может решить свою задачу, не достигнет примирения и истины, потому что ее путь недостаточен etc., etc. Слово есть также формальное выражение, не исчерпывающее то, что хочешь сказать, а передающее односторонно. Конечно, наука par droit de naissance[1] абстрактна и, пожалуй, формальна; но в полном развитии своем ее формализм — диалектическое развитие, составляющее органическое тело истины, ее форму — но такую, в которую утянуто само содержание. Содержание животного — не члены его, взятые как члены, но и не вне членов, оно само ставит органы и расчленяется. Конечно, та же наука имеет результатом негацию и переходит себя, ибо философия каждой эпохи есть фактический, исторический мир той эпохи, схваченный в мышлении. Переходя себя, она переходит необходимо в *новый* положительный мир, уничтожив все незыблемо твердое старого. А Киреевский хочет спасения старого во имя несостоятельности науки. Так легко критика не засыпает.

A propos. В 1 № «Revue des Deux Mondes» статья какого-то Lèbre о Гегеле и Шеллинге*. Очень умно и проницательно написана. Честь французу. Все ловко и живо схвачено, многое понято верно и горячо. Жаль, что сжатые рамки не позволили ему высказаться. Он говорит о реакции Шеллинга как о неудачной попытке положительной философии, вне логики (и между

[1] Здесь: по своей природе (франц.).— *Ред.*

тем на разуме) опертой и пр. Все то, что я заметил из нескольких лекций, прочтенных мною. Поэтически возвышенное стремление, разбивающееся об форму несвойственную, мистические обеты, видения. Но в гостях хорошо, а дома лучше. Греч подавал донос на «Отечественные записки», и III отделение собственной канцелярии, отвергнув его с презрением, написало ему полный ответ. Литератор, уничтоженный, замятый в грязь Дубельтом — во имя гуманности!

10. Невольно вспоминается, что было в эти дни 8 лет тому назад. Меня отправили в Пермь,— день был такой же солнечный, но теплее. Как юн я тогда был, девятимесячная тюрьма только прибавила экзальтации. 9 апреля я простился и виделся с Наташей; тут впервые мысль любви к ней, благоговения, einer Huldigung[1] явились в голове — и я был весь под влиянием свиданья. Выезд был странно тяжел. В Перове я часа два ждал Кетчера, он не приехал — и я с растерзанным сердцем поскакал. Поскакал в жизнь. Да, лишь с этого дня считается практическая жизнь — и, господи, сколько прожито и *нажито* в эти 8 лет! Будто бы в пристани,— но это не так, это станция, une halte[2], вчера так тихо, мирно сидели мы вечер у Грановского, мы, они, Кетчер и Боткин,— какая благородная кучка людей, какой любовью перевязанная! В настоящем много прекрасного; ловить, ловить, все ловить и всем упиваться: дружбой, вином, любовью, искусством. Это значит жить. Вперед смотреть отрадно и страшно, тучи, волканические гибели — и хорошая погода после туч, да, может, солнце этих ведренных дней посветит на могилы наши. А это скверно. Нет столько самоотвержения, чтоб отказаться от участия в награде, когда не отказываешься ни от какого труда. И частно то грядущее, и отрадно, и страшно. Болезнь Наташи не уменьшается.

И что за странное устройство людское! Нам хорошо теперь, окруженные удивительной симпатией, благороднейшими лицами, с которыми давно не видались, которых видеть люблю. А между тем мне бы хотелось в даль, в глушь, где бы было тепло, где бы было море и где бы мы остались только вдвоем.

---

[1] поклонения (нем.).— *Ред.*

[2] остановка (франц.).— *Ред.*

Сегодня я читал какую-то статью о «Мертвых душах»* в «Отечественных записках», там приложены отрывки. Между прочим, русский пейзаж (зимняя и летняя дорога), перечитывание этих строк задушило меня какой-то безвыходной грустью, эта степь — Русь так живо представилась мне, современный вопрос так болезненно повторялся, что я готов был рыдать. Долог сон, тяжел. За что мы рано проснулись — спать бы себе, как всё около.— Довольно!

13. Боже мой, какими глубокими мучениями учит жизнь, лета и события, только они могут совершить становление в жизнь, ни талант, ни гений! В мышлении все мое. Тут что-то ускользнуло, растет независимо и вырастает в чудовище. Мне так тяжело было вчера и сегодня. Я становлюсь в жизни скептиком и себя презираю за этот скептицизм. Где сила любви? Я мог, любя, нанести оскорбление, пасть мелко, гнусно. Она, еще более любя, не может стереть этого падения с меня, не может принести мне на жертву мучительного Grübelei оскорблений; что ж может человек для человека? Сделать жертву в том случае, когда ему приятнее жертвовать, нежели не жертвовать. Страшно, лучшие, святейшие отношения, индивидуализируясь и углубляясь в одном личном, грозят страшными ударами. Что замешало в мою жизнь этот звук, страшно раздирающий душу? А бывают минуты, в которые жизнь просто становится противна и отвратительна.

15. Письмо от Огарева*, письмо от Белинского и длинный разговор с Кетчером и Наташей. Странная вещь, до какой степени каждый человек — он сам и ни в каком случае не может выйти из себя или подняться в такую сферу, в которой бы в самом деле поглощались его личные особенности, Eigentümlichkeiten[1] характера и пр. Как опыт и навык к верному взгляду беспрестанно открывает в жизни, в людях новое и как по большей части тягостно трезвое воззрение,— нимба нет, которым все окружалось. Мы удивляемся великим самопожертвованиям потому, что меряем все на свой аршин. Все дело в том, что чем человек жертвует, то не есть его существенный интерес, или наслаждение самопожертвования превышает его. Всякое

[1] своеобразные черты (нем.).— *Ред.*

«я» тянет к себе, даже в любви и дружбе. Эгоизм сосредоточенный есть только болезненное, исключительное, сумасшедшее проявление ячности, которая имеет сильный, резкий голос во всех начинаниях людских. Сознание — не вовсе признанная власть над личным влечением. Огарев понимает, что он свое положение делает безвыходным именно по нерешительности, и не делает однако ни шагу потому, что самая тягость его положения для него легче, нежели решиться на что-нибудь... И все-таки как прекрасны люди, как Огарев, в другом роде — как Белинский! Какой любовью и каким приветом мы окружены!

Граф Строганов писал еще к гр. Бенкендорфу* и просил доложить государю о моем путешествии... О боже, неужели так близко совершение мечты, упования самого заповедного,— мне страшно вздумать, что в июле, быть может, проведу месяц с Огаревым на Lago Maggiore[1]*, я поюнею, это одно из последних требований чисто личных.

18. Как бы не так! Письмо от Строганова*, которым извещает об отказе. Какое постоянное, упорное, злое гонение! И за что? Какие тут причины? Фридрих II говорил, что он с одним Салтыковым не мог воевать и что тот его всегда приводил в замешательство своими движениями, потому что они были лишены всякой причины и всякого смысла. Не всему можно искать причин! Еще мечта, одна из предпоследних, убита. Тяжела шапка рабства, состояние бесправия душит, и никакого конца не предвидится. И ее положение не изменяется, все то же болезненное настроение, та же грусть. Один я как-то безобразно здоров физически, а внутри иногда бывает хорошо, а часто ночь ночью — как-то холодно в груди, давящая тоска, убийственная, разлагающая мозг не костей, а духа.

Друзья, друзья, они много делают, мы ими окружены, как прелестным венком,— но мне надобно быть без всякой задней мысли, чтоб отдаваться им, а когда сквозь их и свой смех я вижу слезы ее, я кажусь беглецом с поля битвы, и радость меркнет. Путешествие, Италия излечили бы ее и меня; какое страшное насилие, через поколение никто не поверит, что люди могли, не повесившись с отчаяния, жить под таким гнетом.

---

[1] озере Маджоре (итал.).— *Ред.*

Гибель, потуханье где-нибудь в холодных, снеговых полянах, без участья, без отзыва — хороша будущность! Одно осталось — заниматься. Итак, опять за книги — и затаить все живое в душе, и обмануть себя схоластикой.— Abomination![1]

21. Спорили, спорили и, как всегда, кончили ничем, холодными речами и остротами. Наше состояние безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей и наше дело — отчаянное страдание. Страдание бессимпатичное, не оценяемое и, конечно, полезное для будущего, но нам не дающее никакого личного вознаграждения; жить отвлеченной идеей самопожертвования неестественно, даже религиозные фанатики имели награду личную в уповании. Стоицизм есть тоже отчаянное положение.

22. Ужасно проведенный вечер и ночь. Ее грусть принимает вид безвыходного отчаяния. Бывало, за слезами следовали светлые слова. Я не знаю, что мне делать. Ни моя любовь, ни молитва к ней — ничего не помогает. Я гибну, нравственно униженный, флетрированный[2]. Каплю елея на раны, каплю воды на алканье... изнемогаю. Я шутя, бессознательно, буйствуя, развязал руки низкой натуре своей, разбил здание всей жизни, я не умел сохранить, потому что слишком много дано было. Теперь нет помощи, что укажет время — не знаю; я надеялся, я предвидел, что все это пройдет, что ужасное положение пройдет, как катастрофа, но светлое то прошло. Она бывает жестка, беспощадна со мной,— много надобно было, чтоб довести до этого ангельскую доброту. Она не слушает более слов моей любви, а все же, подчас мне кажется, я не заслужил этого; я так много люблю, так искренно раскаиваюсь. Жизнь ужасно тяжела — подчас мне (и это первый раз, как себя запомню) кажется, хорошо умереть, «глупую сказку, как говорит Макбет, рассказанную дураком», закрыть — и да здравствует небытие! Страшно, земля под ногами колеблется. Нет точки, на которую опереться. А мои мечты... мечты! Иногда хотелось бы броситься на грудь кого-нибудь близкого, и говорить, и стонать,

---

[1] Мерзость! (франц.).— *Ред.*

[2] запятнанный, от flétrir (франц.).— *Ред.*

а иногда так пошлы кажутся все эти друзья; не нужно их, все они ничего не понимают.

У меня не осталось ничего святого, одна она — она и бог, и бессмертье, и искупленье, и перед ней я святотатец. Она хочет и не может отпустить мне. Ночь, ночь!!

28. Она сказала на концерте Листа *новость**. Господи, что будет, то будет. Может, это выход, представляемый судьбою. Все взволновалось во мне, и какое-то чувство радостное переплелось с тысячью других чувств. О, если б любовь могла творить чудеса, я совершил бы их. Надежда и страх.

Май месяц.

1. На прошлой неделе слушал несколько раз Листа. Когда столько и столько накричат, ждешь бог весть чего, и часто обманываешься — именно потому, что ожидания сверхъестественны, неисполнимы. Однако истинные таланты не теряют ничего от крика фамы[1]. Такова Тальони, на которую я смотрел иногда сквозь слезы, таков и Лист, которого слушая, иногда навертывается слеза. Поразительный талант!

Вчера дикий концерт цыган. Для Листа это было ново, и он увлекся. Музыка цыган, их пение не есть просто пение, а драма, в которой солист увлекает хор — безгранично и буйно. Понять легко, почему на вакханалиях цыгане делают такой эффект.

6. Я беспрестанно строю, строю вновь храм домашнего счастия, и он мне кажется опять незыблемым — а через день все рушится, как прах. Какая страшная казнь мне! Все, что я делаю для того, чтоб исправить, оказывается недостаточным, я святотатственными руками коснулся дерзко и грубо до святых отношений, я мог забыть их, я оправдывал себя — и обрушил страшные несчастия на голову свою. Хотя бы... да в том-то и дело, что не мне выбор. Я, привязанный внутренно к позорному столбу, должен страдать; я играл всеми благами жизни — проиграл, это естественно. Но я понимаю, что это не так, что во мне таилась всегда основа святая и чистая. Да зачем же она не удержала меня? О, если после всех этих мучений должно усугубиться мое несчастие, если... страшно сказать... что

[1] славы, от fama (лат.).— *Ред.*

тогда будет? Есть выход. Да уж веры нет в свою силу. Я нравственно запятнан. Тяжело, бесконечно тяжело, и тем тяжеле, что я, как ребенок, хватаюсь за каждую тень надежды и, по прежней светлости характера — открываю душу радостным упованиям, а время обличает неосновательность их.

Прием Листа у Павлова* выразил как-то всю юность нашего общества и весь характер его. Литераторы и шпионы, все выказывающее себя. Мне было грустно. А Лист мил и умен.

9. Пять лет после моей свадьбы. Этот пятый год был тяжел, он раздавил последние цветы юности, последние упования — и был прав: налегать, играть своим счастием — значит оправдать бедствия, накликать их. Одно осталось цело, свято, как было: это она, она, изнуренная, склонившаяся под бремснем жизни,— под бременем, которое я не умел сделать легче. Я вгляделся в себя и в жизнь. У меня характер ничтожный, легкомысленный,— людям нравится во мне широкий взгляд, человеческие симпатии, теплая дружба, доброта, и они не видят, что fond[1] всему — слабый характер, не в том смысле, как у Огарева,— инертивно слабый, а суетливо слабый, и, как такой, склонный к прекрасным порывам и гнуснейшим поступкам. После гнусного поступка я понимаю всю отвратительность его, то есть слишком поздно, а твердой хранительной силы нет. И эти падения повергают меня в скептицизм страшный, убийственный, повязка падает за повязкой, мечта за мечтой, и простота результатов, до которых доходишь этим путем, страшна, хуже всякого отчаяния именно по наглой наготе своей. Вчера говорил об этом с ближайшими людьми, но и они не хотят понять, один ум становится ими во что-нибудь и благородная *поступь*, так сказать. Мне больно принимать их любовь, зная, что они ее дурно поместили. Да, да, последние листы облетели — будет ли весна и новый лист, могучий по возрасту, кто скажет? И призвание общее и частное призвание — все оказалось мечтою, и страшные, раздирающие сомнения царят в душе — слезы о веке, слезы о стране, и о друзьях, и об ней. Чаша эта горька! А пять-то лет тому назад — как все было светло и ясно; это был предел, далее которого индивидуальное

[1] основа (франц.).— *Ред.*

счастие не идет. Шаг далее — шаг вон. Шаг вон значило для нее шаг к могиле. Страшная логика у жизни. Иногда, кажется, для того можно лишить себя жизни, чтоб испортить развитие этих корольларий[1], чтоб сделать насмешку.

На днях читал я Киреевскому и Хомякову чертвертую статью*— большой эффект и рукоплескания. Третья статья* напечатана в «Отечественных записках» и тоже производит говор,— но прежде я более бы вкусил эти рукоплескания, упился бы ими от души, теперь для меня существует одно упоение — via humida[2], т. е. вином.

13. Барон Якстгаузен и Козегартен — путешественники из Пруссии, занимающиеся исследованиями славянских племен и в особенности бытом и состоянием крестьян в Европе. Я имел случай говорить с Якстгаузеном; меня удивил ясный взгляд на быт наших мужиков, на помещичью власть, земскую полицию и управление вообще. Он находит важным элементом, сохранившимся из глубокой древности, общинность, его-то надобно развивать, сообразно требованиям времени etc.; индивидуальное освобождение с землею и без земли он не считает полезным, оно противупоставляет единичную, слабую семью всем страшным притеснениям земской полиции, das Beamtenwesen ist gräßlich in Rußland[3]. «Зачем у вас судейская власть не поставлена самобытно относительно других властей? Зачем дворяне не умеют пользоваться выборами и избирать на уездные места порядочных людей?» — Мало ли зачем! Затем, что правительство не вынесет никакой самобытной власти, затем, что исправник трактуется как лакей, затем, что в уездных городах жить нельзя — нет ни лекарей, ни средств воспитать детей, ни общества, ни удобств жизни! Он хотел, чтоб ему сказали нормальное отношение помещичьих крестьян к господину, например, в Московской губ., алгебраическую формулу, так сказать. Но это вздор: если б отношение общины сельской к помещику изменялось с ее величиною, с количеством земель или иных условий жизни, тогда можно бы понять какую-нибудь норму. Это не так. Состояние общины NN зависит от того, что

[1] последствий, от corollaire (франц.).— *Ред.*

[2] мокрый путь (лат.).— *Ред.*

[3] чиновничество ужасно в России (нем.).— *Ред.*

помещик ее богат или беден, служит или не служит, живет в Петербурге или в деревне, управляет сам или приказчиком. Вот это-то и есть жалкая и беспорядочная случайность, подавляющая собою развитие. Между прочим, говоря о дворовых людях и мастеровых, барон Якстгаузен заметил: «Il y a des principes d'un saint-simonisme renversé (à chacun selon ses talents)»[1], т. е. что чем талантливее, тем больше дуют с него оброка. Демократическая нивелировка.

15. Скоро будет Белинский*, жду, очень жду его, я мало имел близких отношений по внешности с ним, но мы много понимаем друг друга. И я люблю его резкую односторонность, всегда полную энергии и бесстрашную. Потом, он по-своему симпатичен. Мне надобны эти обновления, как свежие примочки воспаленному месту; я как-то быстро изнашиваю жизнь. Он пишет о моем счастии, а я ему хочу высказать, как я не умел понять его, как я забылся, зазнался. Он меня осудит,— и мне останется, покраснея и затаив слезу, слушать. То же будет, когда явится Огарев! Одно, одно, лишь бы новые силы помогли ей; мне страшно жить так: я стою со всем благом моей жизни, с моим руном на весеннем льде, и эти минуты внутреннего трепета — их ничем ничто не вознаградит. Страшный скептицизм остается результатом всего этого, и ни занятия, ничто не мощно победить боли.

26. Одиннадцать дней не дотрогивался до журнала, ну что же в них — ничего, жадное стремление к какой-то полной жизни и скептицизм, всё мутящий. Всякий день уносит что-нибудь. Я быстро отдвел и отживаю теперь свою осень, за которой не будет весны. Шиллер бесконечно прав, говоря, что Irrtum — Leben[2]*; Медузины взгляды скептицизма убили черты, оживленные мечтами, и пр. Я смотрю около — всё дети, умные, полные благородства, высоких симпатий и веры, детской веры, всё они могут делать, потому что они игру принимают за дело. Дитя потому con amore[3] дергает шнурок, что он твердо убежден в лошади на конце шнурка. На днях говорили

[1] «Вот принципы сен-симонизма наизнанку (каждому по его талантам)» (франц.).— *Ред.*

[2] заблуждение — это жизнь (нем.).— *Ред.*

[3] с увлечением (итал.).— *Ред.*

о бессмертии. Я не верил в бессмертие, но желал его, этот раз я с ужасом заметил, что мне все равно и что мысль уничтожения даже сладка в иную минуту; выдохнуться под прекрасным небом, среди людей свободных, пышных растений, благословляя детей, друзей, лишь бы не увидать упрека на чьем-либо лице.

Зачем женщина вообще не отдается столько живым общим интересам, а ведет жизнь исключительно личную? Зачем они терзаются личным и счастливы личным? Социализм какую перемену внесет в этом отношении.

29. Я забывался, падал и очистился, как христианин, кровью невинного. Но эта кровь вопиет, я изнемогаю, теряю все силы. Ее слова, ее уничтоженье, горесть. Нет, я не так пал, не падшему пощада,— если б у меня был характер, я зарезался бы. Кроме эгоизма, есть натяжки у людей, гипостазия эгоизма, он начало и конец всего, плюс гордость и желание наслаждений. Жить иную минуту легко, а всегда — тяжело, бесконечно тяжело. Я ослабел как-то.

31. Сегодня или вчера год, как приехал Огарев в Новгород. Этот год страшно обширен по внутренним событиям, в нем я отстрадался за все благо моей прошлой жизни. Последний безотчетно светлый миг — был миг, в который мы проводили его. Вслед за тем нечистые волнения, тоска душного состояния ссылки, переезд, дурачество — и горестное, раздирающее душу сознание, что я, дурачась, не смотрел на существо, близ меня стоящее, что я поколебал ее веру, отнял основу нравственного быта, убил, разрушил. Когда я опомнился, я бросился на колени, я рыдал, я умолял — но было поздно. Есть страшные развития души, которые не имеют прошедшего,— для них прошедшее вечно живо, они не гнутся, а ломятся,— они падают падением другого и не могут сладить с собою. Вчера вечером наш разговор об этом был кроток, меня посетило опять давно не известное чувство гармонии, и я плакал от радостного чувства. О, если б она знала все, что делается в душе моей, она увидела бы, что никогда я не был достойнее блага ее любви, я стал чище, выше всею глубиной моего падения.

Размышления по поводу «Записки об Станкине»*. Дружба и любовь должны бежать холодной, юридической справедливости.

Любовь с основания пристрастна, лицеприятна, в этом ее характер. Такт, уважение, деликатность на всех степенях сношения людей друг с другом; близость, пренебрегающая этим, близка к шероховатости. Уважение, вера — вот база истинной симпатии.

Июнь месяц.

4. «Histoire de X ans», L. Blanc. Чрезвычайно замечательное явление по взгляду, по изложению и по ревеляциям[1]. В революции 30 июля вся Франция и вся первая половина XIX века имеют представителей en bien и en mal[2]. Франция величественно и торжественно восстает, оскорбленная глупыми ордонансами, противудействие геройское, но которое, умевши победить, не имело выдержки и позволило себя глупо обмануть. Скептический, не дошедший до формулирования своей мысли, XIX век не имел ничего готового. Демократия была бессистемная, социализм — едва родившийся. С первых дней революции провидишь, чья победа: робкая, трусливая, корыстолюбивая и переменчивая bourgeoisie[3] завладеет всем, и в центре ее, окруженный неблагородными лицами и несколькими обманутыми, как Казимир, хитрый Лудвиг-Филипп, человек прозаический, далекий от всякой гениальности, царь во имя посредственности и для нее. Камера — грязное болото, в котором исчезает великий поток революции,— боясь народа более, нежели Бурбонов, спешила сделать короля. А король ее разом обманул мошеннически Карла X, и Камеру, и народ. Отъезжающий старик, окруженный своей семьей, верный этикетам и рыцарски преданный идее, которой уже нет, примиряет с собою, его жаль, он окружен каким-то поэтическим отблеском прошедших веков. Лудвиг-Филипп, принимающий без штанов депутации, представляет какую-то циническую фигуру, поселяющую отвращение.

14. *Покровское*. Странно идет наша жизнь. Возле каждой минуты блага и счастия какая-то безотходная ирония ставит

---

[1] разоблачениям, от révélation (франц.).— *Ред.*

[2] и в хорошем и в плохом (франц.).— *Ред.*

[3] буржуазия (франц.).— *Ред.*

страшные привидения. Третьего дня мы приехали сюда, и я давно не был в таком светло-радостном расположении; вид полей меня обмыл, мне было хорошо, очень хорошо... тишина кругом, спокойствие, все расположило душу к ряду впечатлений безотчетно гармонических. А сегодня утром в нескольких шагах от дому утонул Матвей*. Я любил его, он был для меня более, нежели слуга, я в нем воспитал благородные свойства, и они принялись; он мальчиком вступил в мой дом и с летами приобрел истинно человеческие достоинства. Он развился более, нежели надобно, avec une précocité[1], которая начинала его мучить неравномерностью своей. Он тяготился своим состоянием, часто бывал небрежен, но всегда благороден, он искупал целый класс людей в моих глазах. И вдруг погибнуть так глупо, так бессмысленно случайно, 22 лет — это страшно. Какой скептицизм навевают такие примеры! Вчера он упал было с плотины. Саша со слезами бросился к нему и сказал: «Я тебя люблю, не утони»,— это последняя сладкая минута его. Я советовал не купаться за плотиной — он не послушался, сегодня утром пошел и заплатил жизнию за неосторожность. Может, для него смерть благо, жизнь ему сулила страшные удары; с нежной душой, он был все же слуга, у него не было будущего. Но страшно быть свидетелем такого спасения от будущего.

Когда я прибежал на берег, его искали и полчаса не могли найти в глубине, я велел спустить плотину, его поймали неводом и вытащили. Боже, этот цветущий силами, молодой человек, который вчера вечером пребеззаботно говорил со мною, который не думал, конечно, о смерти, теперь посинелый труп с открытыми глазами. Что думал он, как шел вдвоем купаться, они дурачились в реке: что думал он, протянувши руки и не найдя тотчас помощи? Еще раз страшно!

Грустное впечатление этого случая надолго отравит нашу деревенскую жизнь, а она было началась так благотворно. Бедный Матвей! Писал к его матери*.

Вчера деревенские мальчики приходили играть к Саше, мне грустно было смотреть на них. С каким радушием наперерыв они

---

[1] Здесь: с быстротой (франц.).— *Ред.*

старались чем-нибудь потешить Сашу! Низшие классы ужасно оклеветаны. Посмотрите, как добр, как весь предается ласке — простолюдин (разумеется, исключая дворовых), стоит с ним обходиться по-человечески. Грубые приемы наши ставят его en garde[1]; самая привычка подозревать, что его хотят обидеть, насторожила их. Но когда он уверится, что к нему подходят с любовью, он встрепенется и рад жизнь положить за всякого. Горе людям, пользующимся властью, чтоб еще более втаптывать в грязь народ, и стыд им за клевету подлую и низкую на них — они клевещут, чтоб оправдаться. А те, бедные, не имеют этой последовательности ненависти к истинно враждебному стану.

16. Вчера хоронили его. Кетчер и я несли гроб. Мир его памяти. Как живое быстро минует, переходит, пораженное смертью! Жизнь, как поток, тотчас находит свое русло и течет.

Уединение сельской жизни, близость с природой и даль от людей чрезвычайно хороши. Человек должен по временам отходить в сторону, чтоб собраться. Внешнее однообразие жизни деревенской дает простор внутренним процессам.

Каждая безделица в этом доме и в окольных местах напоминает мне меня в разные эпохи моей жизни; я нашел надпись, сделанную мною в 1827 году, и другую — в 1838. Какая поэма, роман, какой ряд событий и видоизменений между этими годами! Стремлюсь побывать в Васильевском, там я долее живал, и лучшие воспоминания детства и отрочества связаны с горами, видами этой деревни. Лета развития не прибавляют груз, а, напротив, потребляют массу мечтаний и верований юношеских; становится все легче, плечи многих довлеют нести тяжести, но ничего не нести надобно иметь вдесятеро более сил. Думать, что судьба человека, например, таинственно предопределена, стараться разгадать эту тайну, узнать нечто грозное легче, нежели знать, что никакого секрета нет спрятанного о жизни каждого человека. До большей легкости ноши достиг я рядом бурных испытаний, но мне грустнее. В 1827 я был пятнадцати лет, идеи древнего республиканизма бродили в голове, я верил непреложно, что «взойдет заря пленительного счастья»; тут, в этой комнатке, лежа на этом диване, я читал Плутарха, и свежее, отро-

[1] настороже (франц.).— *Ред.*

ческое сердце билось. В 1838 я приезжал из ссылки, через несколько месяцев после свадьбы, мне было двадцать шесть лет, и жизнь раскрыла все прелести и упоения. Теперь, в 1843, измученный многим, с скептицизмом в душе, я ищу у тех же полей участия. А юности уже нет, а верований нет — только что-то похожее волнует подчас кровь.

18. 2 том L. Blanc, 1831 год. Отличительная черта французского правления после революции 30 года — ограниченность, коварство и старание мошенническими штуками скрыть своекорыстные и жалкие виды. Дома, в Камере, в сношениях с государями и с народами — то же самое. Талейран доказал, наконец, что плутовство не значит гениальность. Король потерял всякое уважение,— Dupont de l'Eure уличил его в лжи. Л⟨юдвиг⟩ Ф⟨илипп⟩ взбесился и сказал, что он обнародует его грубость. «Почем знать,— отвечал министр,— кому поверят, вам или Dupont de l'Eure». Король смирился. Обиднее всего тупость тогдашнего управления, Франции выпадала гегемония всей либеральной Европы — а она загрязнилась в дипломатических сделках, выдавала, продавала своих приверженцев. Орлеанская эпоха не смоет этих пятен. Бельгия, Испания, Италия и Польша уличают ее в эгоизме и трусости. В противуположность ей карлисты получают благородный свет. Одно объяснение — неразвитость демократической партии; политические перевороты без социального сделались невозможны. А царство среднего сословия было все же продолжение феодального социализма ⟨?⟩, которого высшее развитие в Америке, остановившейся на односторонней тенденции. Северная Америка — nec plus ultra[1] феодального развития, так, как оно должно было явиться в мире реформационном.

20. А как взглянешь около себя... Бедный, бедный русский мужик. И что досаднее всего видеть — средство поправить его состояние по большей части под руками, алчность помещиков и неустройство государственных крестьян повергает их в это положение. Глядя на их жизнь, кажется чем-то чудовищно преступным жить в роскоши; обыкновенно мужик здешней полосы никогда не ест мяса, у него едва хватает хлеба; коли

[1] высшая ступень (лат.).— *Ред.*

побогаче, ест капусту; он каждый день с своей семьею отыгрывается от голодной смерти. О запасах думать нечего; умри лошадь, корова — он пошел ко дну. У кого много работников в семье, те живут получше; но много ли таких? Возле их бедных полей богатые поля помещика, обработанные его руками, скирды хлеба, копны сена — какое ангельское самоотвержение! Сегодня приходили к окну нищие из соседней деревни; помещик выгоняет их ежедневно на работу поголовно — у них хлеба нет, это бросается в глаза, а если есть только хлеб, то совесть помещика чиста, чего же им более, они сыты. Мы дивимся гладиаторам,— а разве через век не будут дивиться нам, нашей свирепой жестокости, отсутствию человеколюбия в нас? Чем мы лучше суринамских колонистов, англичан в Индии? Нет, мы хуже, потому что крестьяне наши лучше диких,— кротко, грустно несут они тяжелый крест жизни, черно проводят ее, имея в перспективе розги, голод и барщину, если оброчный — рекрутство, взятие во двор. Наши славянофилы толкуют об общинном начале, о том, что у нас нет пролетариев, о разделе полей — все это хорошие зародыши, и долею они основаны на неразвитости. Так, у бедуинов право собственности не имеет эгоистичного характера европейского; но они забывают, с другой стороны, отсутствие всякого уважения к себе, глупую выносливость всяких притеснений, словом, возможность жить при таком порядке дел. Мудрено ли, что у нашего крестьянина не развилось право собственности в смысле личного владения, когда его полоса не его полоса, когда даже его жена, дочь, сын — не его? Какая собственность у раба; он хуже пролетария — он res[1], орудие для обрабатывания полей. Барин не может убить его — так же, как не мог при Петре в известных местах срубить дуб,— дайте ему права суда, тогда только он будет человеком. Двенадцать миллионов людей hors la loi[2]. Carmen horrendum[3].

23. Дочитал первые три тома L. Blanc. Как поэтически явился сен-симонизм, как геройски явилась республиканская партия и как вдруг уничтожились одни и обессилели другие! Но

[1] вещь (лат.).— *Ред.*

[2] вне закона (франц.).— *Ред.*

[3] Страшный закон (лат.).— *Ред.*

если они видимо уничтожились и ослабли, то в нравах, в общем мнении осталось очень-очень много. У них не было полной отгадки. Между тем необходимость социального переворота теперь стала очевидна, враги развития, как Гизо, понимают и трепещут. Изменение права собственности, коммунальная жизнь, организация работ — вопросы, занимающие всех, видящих далее носа, нелепость случайного и нелепого распределения такого важного орудия, как богатство, нелепость гражданского порядка, приносящего на жертву огромное большинство, невозможность равенства при таком устройстве — все это стало очевидно,— а давно ли? Возражения со стороны консерватистов проникнуты, сознательно или бессознательно, эгоизмом и своекорыстием привилегированных каст. Теперь, например, толкуют, что при организации равного воспитания отец не может дать того воспитания, которое он считает лучшим, а забывают, что теперь все отцы низших классов не могут дать никакого воспитания своим детям. Конечно, при лучшем общественном устройстве многие не будут иметь возможности тратить деньги, как теперь, они стеснятся, но никто не будет мереть с голоду. А разве при развитии идеи права не стесняется самодержавная воля деспота, разве ему не хуже, например, в Англии, нежели в России? Франции принадлежит великая инициатива этого переворота. Она ему положила начало Конвентом. Болезненно достигает она до осуществления. Достигнет ли, когда? — Все равно человечество ей не забудет первый шаг. Удивляюсь, как славянобеснующиеся не понимают истории, не понимают европейского развития,— это помешательство. Славяне в будущем, вероятно, призваны ко многому, но что же они сделали в прошедшем со своим стоячим православием и чуждостью от всего человеческого?

30. Гостили Белинский, Боткин, Грановские. История Боткина* отравила почти все время, она поселила неловкость между нами и покрыла чем-то тяжелым все время. Конечно, он не прав, как смешно слабый характер, как человек, приучившийся рефлектировать там, где должно действовать, наконец, как человек, ставящий эгоистически выше всего какое-то себепотворство, обоготворяющий маленькие удобства и боящийся поднести чашу жизни к устам, потому что тяжело

держать ее. Все это так; более, мы только тех людей можем уважать, которые, решивши в сердце и в голове вопрос, ломят все препятствия, пренебрегают ранами, словом, имеют храбрость поступка и всех последствий его, доросли до действительной жизни. Но, с другой стороны, нельзя не видеть, что слабость Боткина испугалась в самом деле страшного. Он содрогнулся от слова брак, истинная любовь не содрогнулась бы, но все же брак страшен, контрактование себя, кабала, цепь. Брак не есть истинный результат любви, а христианский результат ее, он обрушивает страшную ответственность воспитания детей, семейной жизни etc., etc. Мне семейная жизнь легка с этой стороны,— но это случайность, и именно потому я имею голос. Между свободным счастием человека и его осуществлением везде путы и препятствия прежнего религиозного воззрения. В будущую эпоху нет брака, жена освободится от рабства, да и что за слово жена? Женщина до того унижена, что, как животное, называется именем хозяина. Свободное отношение полов, публичное воспитание и организация собственности. Нравственность, совесть, а не полиция, общественное мнение определят подробности сношений.

Глубоко грустные стоны издаются и теперь еще по временам из болезненной души Н⟨аташи⟩. Ей судьба привила дар страданий; история Боткина опять потрясла ее и растравила старое, причина все одна; мы не можем свободно и широко взглянуть на отношения людей между собою, христианские призраки мешают. Они были необходимы в свое время — теперь их не нужно. Христианский брак был нужен для того, чтоб приучить людей в жене уважать женщину,—ревнивая любовь средних веков, идеализация девицы окружили женщину светлым кругом, и он останется и будет тем светлее, чем далее разовьется нравственность.

Христианское общество, как всякое одностороннее, имеет всегда в себе самом обратную сторону. Неразрывный брак, с одной стороны, и, с другой — публичные домы, где женщина брошена в грязный разврат, поставлена ниже животного. Но как примирить, как устроить? Сен-симонисты дали великий пример смирения, они ждали голоса женщины, чтоб решить вопрос; но с тех пор, разве голос G. Sand не заявлял мнение женщины?

Белинский не переменился ни на волос, вечно в экстреме; но глубоко вникающий и симпатичный с одной стороны, резкий до цинизма в словах, но верный в смелости и не трус, конечно, в консеквентности. Я люблю его речь и недовольный вид и даже ругательство.

Июль месяц.

4. «Révolution d'Angleterre. Charles I» par Guizot. Для того, чтоб дойти до вселенского переворота конца XVIII столетия, надобно было испытать частные эманципационные перевороты. Реформация торжественно заключается английской революцией. Она далеко от всеобъемлющего характера французской, она боится инициативы, старается каждому требованию придать историческую основу, она предъявляет только такие права, на которые она имеет исторические антецеденты, она двигается вперед, но спиною — беспрестанно смотря на прошедшее и боясь, особенно в первую половину, сознаться, что идет по вовсе не разработанной земле и новой. Между тем все вопросы первой важности обсуживаются с трибуны и в брошюрах. Республиканское устройство пресвитерианской церкви, разноголосица независимых, нижний парламент, в глазах народа захватывающий власть, внедряют великие идеи о праве народа, о самодержавии народа; массы воспитываются. Полковник Кромвель, вербуя себе солдат, говорил им: «Знайте вперед, я не хочу лицемерить, не говорю — беру вас защищать короля и парламент; нет, если б король стоял передо мной, я первый пустил бы ему пулю в лоб» и пр. При начале революции массы отступили бы с ужасом от человека, который бы дерзнул произнести слова эти. Кромвель знал, с кем говорит, все энергические из слушателей шли под его знамя. В Англии, как тут, так и до наших дней, удивляет нас, привыкнувших к восточному деспотизму, глубокое, твердое, величаво-спокойное сознание прав своих и прав благородства, достоинства человека вообще. Гизо приводит в pièces justificatives[1] пример допроса лорда при Елизавете, говорившего в парламенте очень смело против нее. С какою доблестью отвечает он и с какою

[1] в качестве оправдательных документов (франц.).— *Ред.*

доблестью члены верховного суда понимают правоту его! Права свободно разумной личности признаны с тою же неколебимостью, с какою у нас, например, они все отвергнуты. Во время первой войны король и парламент пленным ни с той, ни с другой стороны не делали обид, и общественное мнение громко восстало, когда король для унижения пленников велел им дефилировать перед собою, а в его глазах они были государственные преступники. Вот этого-то воспитания в правомерное состояние у нас вовсе нет; даже мы не уважаем и ту законность, которая дается нашим сводом. Оттого свод беспрестанно нарушается внизу массой подлых агентов и самим народом, для выгод которого сделан закон. С другой стороны, высшей властью, которая не видит в нем закона, а распоряжения, указы, состоящие до нового указа. Отсюда этот хаос неопределенных прав, где иной раз власть старается об развитии элективного начала или коллегиального управления, а массы противудействуют ему; а другой раз малейшее поползновение приобрести гражданские права со стороны лиц, особенно же заявление своих прав, сознание их, принимается за бунт и также властью наказывается кнутом и всем на свете.

Расстояние наше с Европой во всем неизмеримо. В Европе самодержавие было болезнь одного века, от которой сама власть тотчас стремилась отречься (скрывая цель под личиною общественной пользы), у нас в заключение всей истории нашей, не имевшей никакого знамени, в XIX веке водрузили хоругвь, на которой просто и ясно говорится, что цель наша, слово эпохи — самодержавие. Народ — только поддержка самодержавия. Представьте европейские государства: Сардинию, Неаполь, Австрию, где бы цинизм деспотизма дошел до того, чтоб на знамени написать «абсолютизм — самовольство власти...»

6. Обыкновенно восстают против делопроизводства процессов Людвига XVI и Карла I. Политические преступники во время переворота всегда судятся вне обыкновенных форм, цель этого рода процессов вовсе не раскрытие истины, виновности, а обвинение, победа принципа. Людвиг XVI и Карл I положили головы для торжества идеи революционной и для спасения самой революции, обстоятельства Англии и Франции сверх фанатизма привели к трагической катастрофе. Не гораздо ли стран-

нее и гнуснее видеть, как в монархиях в спокойное время, когда ничего не боятся, судят исключительными судами и инквизиторскими порядками не токмо политических преступников, но людей неосторожных, авторов эпиграммы или остроты за чашей вина? Зачем всегда указывать на бурное время, когда в штиль, без нужды, делают то же? Да, жалостно прощанье Карла I с детьми. А разве все погибающие в Спилберге, Сибири, Бобруйске, Динабурге, Петропавловской крепости бездетны? Да, может, они и не прощались с ними; да, может, их дети пошли по миру. Люди до сих пор не могут поверить, что они не токмо перед богом, но и перед людьми равны.

Перечитывали наши письма 1835—36 годов. Хороши все эти звуки и песни любви, как давно неслыханная национальная песня, а уж сколько прожито с тех пор! Эта восторженная любовь, полная юности и романтизма, перешла в иную форму, более истинную и действительную, но не так радужно и ярко светлую. Читая, навертывается улыбка — переносишься в те времена, завидуешь им и чувствуешь, что теперь совершеннолетнее. Эти шаги в совершеннолетие считаются потерями душами нежными. Трезвый взгляд очень труден, так же, как консеквентность своим началам. И истинно тяжело, кого судьба наградила страшной логикой и когда у него нет недвижимого имения, куда он не пускает мысль.

9. «Histoire de la contre-révolution en Angleterre» par Ar. Carrel. XVI век начал в границах реформации эманципацию Европы от христианства, нельзя было миру феодальному и католическому без боя уступить, тем более, что и сами реформаторы и все секты противупапские, кроме малых исключений, не отделались от феодализма. Распутный Карл II и отвратительно ограниченный Яков II были органами этого прошедшего, ищущего себе места в мире, явно отрекшемся от него. Разница притеснений и ужасов Якова с нашим состоянием огромная, там есть партия за него, у нас только повиновение из невежества и выгоды. У нас власть не имеет партии proprie sic dictum[1]. Абсолютизм в Европе хотел обоготворить историческое начало монархической власти, у нас императорство одной стороной в

[1] в собственном смысле слова (лат.).— *Ред.*

противуположности с историей, оно эманципационно по петровскому элементу и притеснительно во имя силы, на которую опирается, во имя грубой материальной силы. Яков II прямо боролся, и с ним боролись, там были права на борьбу, ему бог знает каких трудов стоило сделать судебную власть подлою, у нас понятия нет о праве вне произвола. Там насилие, революция, абнормальность — у нас обыкновенный порядок дел; оттого там человек шел на плаху невинно, но мог высказать это, у нас молча и немо казнили бы его, у нас не усомнились бы в том, что он казнен по праву. Карель замечает, что республика была невозможна для Англии при ее разделении на классы,— бессомненно. Оттого-то и во Франции не провозглашается республика. Государство разделенное должно иметь центр, связующий его,— государя, иначе будет охлократия или régime de terreur[1]. Самая власть Кромвеля опиралась на консервативных интересах одного класса так, как власть Людвига-Филиппа.

10. Феодальный быт и управление развились органически из элементов народных и исторических, и развились во всей силе и красе с чрезвычайной многосторонностью и последовательностью. В нем и им развиты католицизм и рыцарство, романтизм и общины. Но стремительно развивающийся дух Европы в несколько веков *изжил* романтико-феодальное содержание, остались формы, да и те должны были ждать видоизменений — час христиано-германского мира наступал; он делался тесен для вновь развивавшихся идей — революция за революцией начинают с XV столетия громить феодальное statu quo[2]. Реформация начала освобождение от католицизма и вместе с тем от христианства. Считают после Реформации одну политическую революцию, состоящую в освобождении народов от власти, приобретении прав и пр.,— но параллельно с нею шла другая революция, ниспровергавшая с другого конца все феодальное устройство — развитие центральной власти, абсолютизма; абсолютизм, для прикрытия своей новизны, революционности, назвал себя историческим, повел свое начало от времен

[1] режим террора (франц.).— *Ред.*

[2] Здесь: строй (лат.).— *Ред.*

доисторических, но это чистая ложь. Абсолютизм центральной власти относительно феодального устройства так же революционен, как либерализм, и политический характер деспотизма Людвига XIV не имеет той религиозной связи с народом, с государством, как власть королей в средние века.

После Вестфальского мира разработался новый элемент, сделавшийся преобладающим до французской революции,— это дипломатия и политика, основанием их — эгоизм и плутовство; все делалось, как у игроков с подтасованными картами, народный голос становился не нужен, самый голос чести, сильный в средние века, умолк. Народы управлялись дворами. Там гнездились торгаши народной крови и благосостояния делили земли, присоединяли чужое, отчуждали свое полицейскими распоряжениями, поддерживая их в случае нужды армиями. Постоянные армии (учреждение антифеодальное) сделались величайшей опорой централизации и всех увеличений королевской власти. Но, разъединенная с народом, власть эта становилась более и более оскорбительною и должна была, пройдя грязным периодом публичной безнравственности и разврата, пасть, если не везде фактически, то везде во мнении. Миновало с дипломатией и дворами то величавое, видневшееся на челе царей средних веков, о чем Шекспир так прекрасно сказал: «И океан не смоет елея с чела моего»*. Цари, окруженные непреклонными, гордыми герцогами и вассалами, — тогда они были необходимы и в них веровали, и они веровали в себя (какие бы индивидуальные отступления ни были). Рыцари стали дворовыми людьми, челядью королей. Обман и ложь считались не пороком для власти; а рядом реформация подталкивала детские верования, уму, мысли дано было уважение. Французская революция является совершенно последовательным вторым отрицанием феодализма. Центральная власть отреклась от народа и аристократов, оставя божественность короля в пользу его. Французская революция была тем же действием со стороны масс, она доказала небожественность власти и замкнула приготовительную эру перехода в новый мир. В наше время фактически, по старой памяти, многое стоит — но дряхлое, оглупевшее, как Талейран в последние годы, представитель этого былого. Плутовство в дипломатии осталось мерзкой привычкой —

оно невозможно. Это изнашивание форм, некогда прекрасных, есть признак сильной жизни, это, говоря языком философии, та великая трансценденция der übergreifenden Subjectivität[1] человечества, из которой состоит история. Народы, слабые внутренними началами, бедные жизнию и мыслию, как Китай, Персия, века живут под одной формой, и им она довлеет.

11. XVIII век начался в мраке страшных событий, которыми оканчивался христианский мир. Людвиг XIV давил полстолетия почти всю Европу, он уже совершил отрицание былого бессознательно и был просто деспот, тиран. Его назвали великим, потому что современники его, за исключением Вильгельма III, были малы и низки. Читая об нем, меришь наглазно, сколько мы подвинулись; для Европы теперь все это невозможно, у нас хотя возможно, но уже дико. Гонение гугенотов, уничтожение целых городов, обманы и пронырство в сношениях с союзниками — это величие. Хороша и Германия того века. Одна Англия и Голландия искупали тогда человечество, и ими успокоивается взгляд, останавливаясь на Вильгельме III. Англия велика своим предварением в политическом воспитании всех народов. Около Людвига составилась атмосфера подлости, все в ней было подло: Боссюэт и Кольбер, литература и церковь, войско и парламент — всё были лакеи, едва кое-где вырезывается величественная в своей кроткой простоте фигура Фенелона. Вильгельм III был не тори и не виг. Наполеон еще более был вне всех партий. В этом свидетельство их превосходства над современниками, они глядели обширнее, они вышли из пробитых полей на свежую дорогу. Сверх того, в этом глубокий такт действительности. Партии сердятся на таких людей, они кажутся изменниками с обеих сторон, чаще всего они бывают правее обеих сторон и именно потому не могут принять à cœur[2] все увлечения которой-нибудь. Есть другого рода люди, которые потому не принадлежат к партии, что или это не сурьезно, что они ниже всеобщих интересов,— например, Талейран,— или гнусно ячны и подчиняют подлому расчету интересы общие — например, Фуше. Но мы говорим об истинных деятелях

---

[1] перехватывающей личности* (нем.).— *Ред.*

[2] близко к сердцу (франц.).— *Ред*

в истории. Иметь свою теорию, свои твердые, однажды оконченные стремления и цели — так же негодно в политической деятельности, как в науке. Кромвель говорил: «В перевороте всех дальше уйдет тот, кто не знает, куда идет». Он на себе доказал истину этих слов. Само собою разумеется, что есть краеугольные начала, общие тенденции, очень сознательные и очень сознанные,— но лишь бы не было требования осуществить их по субъективному мнению, надобно дать волю обстоятельствам и, выразумев их указание, стать во главе их, покоряясь им — покорить их себе; это принесение на жертву мнения, не говоря о прочем, совершенно законно уже потому, что я смотрю на предмет с известной точки, а событие, развивая его, развивается вследствие всех сторон. Самый трогательный пример вреда от настроений — Лафайет. Это идеализм в политике. Человек жизни идет до конца, до последних следствий. Человек рефлексии и теорий не идет дальше грани, поставленной им самим, и тут всегда, при благороднейшем стремлении, при безусловной чистоте, при таланте, он тормозит ход происшествий, а так как гора крута, его расшибает, как Жиронду Ни Робеспьер, ни Наполеон не могли иметь предварительно определенного плана действий; они были живые органы, отдавшиеся событиям, участникам и развивателям их, и, наоборот, развивались ими. Наполеон раз в жизни был с arrière-pensée[1], противуположной духу обстоятельств, он, по собственным словам его, понял, что надобно надеть республиканскую шапку, а вместо ее он надел ток с перьями Карла Великого — Ватерлоо было ответом на эту ошибку. Но нелегко уразуметь, сродниться с своим временем так, чтоб понимать его, следить за ним, забегать и не потерять ни своего, ни того, что видоизменяет его. После легко обсуживать ошибки, — события прошедшие,— как труп рассеченный ясно показывает, где причина смерти; но когда они живы — одному острому глазу доступно внутреннее строение из-за цвета и пара страстей и односторонности.

13. Нет скорбнее и грустнее чувства, как несчастно верный взгляд на вещи, снимающий с них наружный покров, удовлетворяющий других в том случае, когда не токмо нет

[1] задней мыслью (франц.).— *Ред.*

возможности действовать на вещи, но даже нет средства показать другим, что они заблуждаются. Это особое положение, неверие в то, чему верят другие, неразрывная с ними горькая ирония и досада давят душу, живую и раскрытую. Взгляд этот от общего переходит к лицам, и тут еще хуже, он безжалостно вскрывает их, указывает неподложные точки помешательства их, к которым они приросли,— и становится больно за современного человека. Как мало целых, трезвых натур! Иной и трезвее других разумом, эстетическим чувством, да характеру ни на грош. Не признак ли это несовершеннолетия?

Читал «Von der ästhetischen Erziehung der Menschheit» Шиллера. Великое и пророческое творение, оно, как Лессингово воспитание человечества*, предупредило многим свое время. Шиллеру не отдавали в последнее время достодолжного; письма эти писаны в 1795 или около — тогда едва начинал писать Шеллинг. Шиллер пошел с точки зрения Канта, а какие сочные, жизненно прекрасные плоды,— он далеко перешел взгляд критической школы. Тут, как в некоторых страницах Гёте, первые аккорды, поэтические и звучные, новой науки (Фихте он изучал, ссылается на него).

16. Schlosser, «Geschichte des XVIII Jahrhunderts». Великий XVIII век начался с такой же крайности, как окончился, но вовсе в противуположном смысле. Самодержавие, достигнувши полного развития, взяло на себя показать немыслящим массам всю нечеловечность свою, оно обезумело и в каком-то буйном опьянении, по горло в крови, развратное и наглое, показало, чего можно ждать от нелепого переноса всех прав на одно лицо, которому нет преград. Оно разорило народы, не умея защитить их, оно поглотило несметные богатства, не сделав улучшений; оно пировало, плахой и цепями останавливая голодный крик страждущей толпы. Толпа заслуживала такого воспитания. Что может лучше характеризовать этот период, как война за испанское престолонаследие и потом за австрийское? Около десяти лет Европа облита кровью, государства разорены, города уничтожены, армии погублены — из чего, где интересы бойцов? Из того, чтоб втеснить народу полубезумного меланхолика, чуждого по нравам и по происхождению, в короли, нисколько не заботясь, хочет ли его или нет народ.

Чтоб увенчать тупость подобной войны, судьба сшутила, призвав его соперника — лицо, столь же ничтожное,— смертью брата на другой трон. С какою наглостью делят и переделивают кровавые куски испанской монархии, какое право, какой смысл? Идея законности наследия одна выдвигается вперед, это неблагородный бой у гроба о достоянии покойника, миллионы людей составляют это достояние, а с ними обращаются, как с стадами. Вот к чему пришел христианский мир, вечно стремившийся к недосягаемому идеалу, невозможному и мечтательному. А массы — массы смотрели, оцепенелые от ужаса, и не могли в себе победить застарелую болезнь ума, привязывавшую их к династиям. Жалкая Германия выпила всю горечь позора и бедствий, ее династы валялись в грязи, нанимаясь к Людвигу XIV или императору; опозоренные, они утопали в разврате и пили по капле кровь глупых народов, не умевших даже негодовать. Династы занимались церемониалами и дипломатией, никогда не подумавши о том, что делается у них под ногами. Может, этот remue-ménage[1] пригодился для будущего, растолкал народы, занес зародыши человеческих идей в косные классы — живой организм европейский все претворил и переработал,— но из этого нельзя ни йотой уменьшить печать позора абсолютической эпохе. И не умели видеть народы возле стоявшую Англию, возле стоявшую Голландию — слепота несовершеннолетия, детского взгляда только излечивается временем. Северная война не лучше. Собственно цель, интерес был у Петра I, и Петр I тут, как Фридрих II после, не принадлежит к стае самодержцев начала XVIII века. Во-первых, они революционеры, во-вторых, гениальные люди; они шли своей дорогой, во многом впадали в ошибки, но имели интересы великие,— результаты, до которых достигли, гигантские. Петр, с наружностью и с духом полуварвара, но гениальный и незыблемый в великом намерении приобщить к человеческому развитию ⟨*1 прзб.*⟩ страну свою, очень странен в дикой грубости своей, возле изнеженных и утонченных Августов* et Cnie. Человек, отрекшийся от всего былого страны своей,

---

[1] суматоха (франц.).— *Ред.*

покрасневший за нее и кровью водворявший новый порядок, имеет в себе что-то революционное, хотя и на троне, и в самом деле в нем даже нет требований на феодальное поклонение, на церемонность и пр., общую всем в то время. Он схватил европеизм в Голландии — лучший источник того времени, он принадлежал новой Европе, внедрял ее, как варвар, но правительство втолкнул в колею, вовсе не похожую на европейских династов, хуже и лучше, наверное, не так же. Материальный, положительный гнет, не опирающийся на прошедшем, революционный и тиранический, опережающий страну — для того, чтоб не давать ей развиваться вольно, а из-под кнута, европеизм в наружности и совершенное отсутствие человечности внутри — таков характер современный, идущий от Петра. Тем не менее лицо его велико в этом веке, и мысль его велика, она еще не совсем исполнилась, но, вероятно, будет и ей осуществление. Петр, как только почувствовал силу, замешался в большую часть европейских интриг, принял участие, подал голос, посылал войска, справедливо и нет, но Европа приучилась к имени России, и Россия была втолкнута в семью европейских народов. Россия и Пруссия — два свежие элемента для развития, Пруссия — королевство послереформационное, ей в основе не феодальная мысль, но нельзя не согласиться, что в ее начальном развитии ужасная прозаичность и ее гений — прозаик Фридрих II. Странно видеть, как капральской палкой и мещанским понятием об экономии в Пруссии, кнутом и топором в России вселяется гуманизм. Дурные средства непременно должны были отразиться в результатах. Пруссия бездушна и zu nüchtern[1]. Германия вообще, потратившись всю силу на бой за религию, на Тридцатилетнюю войну, ниже всей Европы в развитии гуманном. Как согласить такую почву с литературой, вскоре имевшей Лессинга, Гёте и Шиллера?

21. Посещение Фил.*,— оно мне было дорого сверх личных отношений, потому что показывает жажду людей сообщаться, обновляться, передавать свое; сто верст скверной дороги и три дня — жертва, которую даром не делают, особенно люди, делающие это не от пустоты и скуки. Такие вещи иногда если не

[1] слишком трезва (нем.).— *Ред.*

мирят, то укрощают мою нелюбовь к нашему обществу. Письмо от Огарева* из Bagni di Lucca*— и хорошо. Главное, в нем *не видать горизонта*. Ничего не может быть страшнее когда в человеке виден горизонт,— с ним нет полной свободы, нет той бесконечности симпатии.

23. В начале XVIII столетия твердо и мощно стоит мир христиано-самодержавный, феодально-монархический. Внизу бессознательная толпа за все страдает и плотит, вверху власть par la grâce de Dieu [1], поддерживаемая дворянством и войском. Он не боится, да и где его состоятельные враги, неужели несколько литераторов? А между тем червь гробовой уже точит этот мир; страшное дуновение Англии, два раза освобожденной и, наконец, вышедшей лучшими умами из религиозной односторонности, веяло скептицизмом и рассудочным движением на Францию и вызывало людей, далеко ушедших вперед с легкой руки английской пропаганды — Монтескье, Вольтера etc., etc. Как слаб был этот твердый существующий порядок! Его сила и мощь были призрачны; так сгнивший пень стоит, будто силен и здоров, сгнивши и превратившись в землю внутри Замечательно, что антихристианская пропаганда развивалась вместе с рядом либеральных идей в Англии и Франции в аристократии, которой сила только и зависела от того же феодально-религиозного воззрения, которое подрывалось И возможно ли было мечтать, что после этих ударов христианство и феодализм еще живы? Толпы тогда были изъяты движения, но Руссо дал иное направление развитию.

27. Судьбы Германии жалки и пошлы в XVIII веке. Ее аристократы — всё-таки мещане, cela n'est pas du comme il faut [2], нет грации, нет благородства. И отвратительные кретины, царствовавшие, не занимаясь, разоряя, уничтожая в глупой роскоши свои народы, заставляют дивиться, откуда взялись целые поколения дураков и мерзавцев на троне и около, и еще более дивиться этой кошачьей живучести немцев, которых разоряют, разоряют — и войной, и войсками, и налогами, и фаль-

---

[1] божьей милостью (франц.).— *Ред.*

[2] они не принадлежат к порядочному обществу (франц.).— *Ред.*

шивыми деньгами, и таксами, и всем на свете,— а они всё с голоду не мрут. Вот великие результаты картофельной экономии. Безнравственность в Германии доходила до высшего предела, ни малейшей тени человеческого достоинства. Крепости набиты арестантами, гонения за религию, гонения за стихи, гонения за дерзкое слово об министре — все это тихо, без шума, и народ ничего. Были и в других землях ужасы в половине XVIII века, например, английский парламент страшно наказал шотландское восстание, но там это абнормальность, а тут все это в порядке вещей. Ученые и духовенство — первые клевреты власти. Французы, сгнетенные деспотизмом Люд⟨вига⟩ XV, гнушались немецкой подлостью. Во Франции чувствуется веяние нового духа в каждом литературном произведении, там читаешь, улыбаясь, видя, как эти люди пляшут на шаг от пропасти, по другую сторону которой Франция обновляется. В Германии нет ни одного луча света, там один либерал — Фридрих II, самодержец Пруссии. И как подумаешь, что едва 75 лет прошло, как Европа спала в унижении, едва пробуждаемая благовестом водворителей нового мира, и взглянешь на современное ее состояние, далекое от достижения, но тем не менее развитое потребностию,— невольно благоговейный трепет уважения к человечеству обнимает душу. Велика французская революция. Она первая возвестила миру, удивленным народам и царям, что мир новый родился — и старому нет места.

30. Блестящая, острая и аристократическая оппозиция Вольтера и общества Гольбахов не видала всего результата своих начал, они думали разрушать старое в известном кругу; смелые в отрицании, в построении своей системы материализма, они держались вдали от масс. Появление Руссо должно было поразить их. Руссо был монтаньяр между ними, жирондистами. Руссо имел иные симпатии и другое провидение. Их идеал была Англия, ее поставил целью Монтескье. Руссо в учреждениях Англии видел тот же феодализм. Легкая и смелая в словах, оппозиция приняла у Руссо характер плача и проклятия. Руссо мечтал — хотя и превратно — о новом мире, он подкапывал не одни учреждения, а все здание общественное старого мира; его поняли только в революцию. Шлоссер говорит, между прочим, что в половине XVIII века добрые немецкие теологи еще

толковали, подкрепляясь ужасной начитанностию, о том, кто писал заповеди Моисея — бог или Христос. Добрые немцы!

31. А в 1770—80 Лессинг и Базедов были в полном цвете, в полной деятельности, и огромная потребность света обличилась в Германии, и наставало время Шиллеровых драм, поэм Гёте; Гердер уже писал.

Противудействие галломании было, бессомненно, полезно, но эпоха галломании была весьма необходима, чтоб очеловечить немцев. Удивительное развитие: где и как прозябали зародыши, распустившиеся вдруг, откуда столько сил у Германии, изнуренной войнами. Как просвещение коснулось масс в столь короткое время? etc.

Август месяц.

8. На днях исполнил давнишнее желание, ездил в Васильевское. Последний раз я был там 1830 года. По дороге туда услышал весть об июльской революции — итак, 13 лет. Васильевское тесно связано с ребячеством и отрочеством, с 1822 всякое лето или через лето я проводил там месяцы. В Москве ученье, товарищи, детская суета — в Васильевское я приезжал будто для отдыха, для отчета, и потому память об этом месте вплетена во все воспоминания. У меня пробежало какое-то странное чувство, когда я увидел и узнал давно знакомые места, мне хотелось и смеяться и заплакать. И помимо всего — прелестное место. Жаль, что оно продано*. Я понимаю аристократическое чувство привязанности к обладанию местом. Разные фазы жизни живо промелькнули: вот дерево, где я сиживал ребенком, вот дорога, по которой юношей я хаживал к сельской красавице и тратил на легкую интригу огромную энергию, неоцененную, разумеется. Встретил горбатую работницу священника, которая во время оно была уже лет семидесяти; один мужик узнал меня. Та же река, гористые берега, обширные виды — мне жаль было ехать, я только при этой реке, при этих липовых аллеях могу ярко перенестись в те времена, когда вся жизнь лежала впереди и на душе все было пестро и зелено.

Omnia idola constanti et solenni decreto sunt abneganda et renuntianda et intellectus ab iis omnino liberandus est et

expurgandus, ut non alius fere sit aditus ad Regnum Hominis, quod fundatur in scientiis, quam ad Regnum Coelorum, in quod nisi sub persona infantis intrare non datur.— *Baco, ab Ver⟨ulamo⟩*[1]*.

Метод Бэкона — *вовсе не* эмпирия в том смысле, в котором поняли ее некоторые из французских и английских естествоиспытателей. Он за истину ведения и цель принимал форму как всеобщее, как идею, но не абстрактную, а внутренно определенную и снимая одной другую, возвышаясь к всеобщности, искал *единство*.

16. Был в Москве. Москва на меня наводит глубокое уныние, я не мог дождаться часа отъезда. Тоска от окружающего и тоска оттого, что был один, я привык, вжился в мою маленькую семейную жизнь, мне необходимы и слова Наташи и смех Саши. Потребность воротиться была мучительно сильна.

18. Брошюра Фрауенштедта о Шеллинге. Нет дела более неблагодарного, как то, что делает Шеллинг,— подтасовка и прилаживание философского мышления к данному неподвижному, прошедшему воззрению. Это схоластика и с тем вместе ложь. Сколько поэтического дара и остроумия истощено на объяснение мифов, и между тем объяснения эти оставляют какое-то неприятное чувство; чувствуется, что все придумано после. Положение Шеллинга понятно; понятно, как его платоническому духу болезненно видеть негацию, одну негацию, но как понять, что он удовлетворился жалким мистико-философским, натянутым и худо склеенным воззрением? Он начинает с пантеизма и приходит вдруг к юдаизму, и этот юдаизм называет положительной философией. По мере того, как он развивает свою положительную науку, становится тягостнее и неловче; чувствуешь, что его решения не разрешают, что все покрыто туманом, не свободно. Мало-помалу он совершенно оставляет наукообразный путь и теряется в самом эксцентрическом мистицизме, объясняет сатану, чудеса, воскресение, сошествие духа

[1] Нужно отречься и отказаться от всяких призраков твердым и торжественным решением и разум должен быть совершенно освобожден и очищен от них, поскольку нет иного пути в царство человека, основанное на науках; тогда как в небесное царство нельзя войти иначе, чем в образе младенца.— Бэкон Веруламский (лат.).— *Ред.*

au pied de la lettre[1]. Не веришь, что это писано в XIX веке, кажется, это слова схоластика XIV века или теолога первых лет Реформации. Язык и воззрения Бэкона понятнее для нас и современнее. Новое доказательство, как германский ум всегда готов свихнуться в область туманных фантазий и тратить талант и гений на пустую работу,— лишь бы вне практических сфер, лишь бы вне тех сфер, в которые человек призван. А после Канта могли бы идти путем трезвых. Впрочем, Шеллинг нанес удар страшный христианству, его философия обличила, наконец, всю нелепость христианской философии, он своим именем, своей ссорой с Гегелем заставил обернуться на себя всю ученую Германию и подумать о своем бреде. Есть вещи, для которых гласность, обличение, обследование — смерть.

Шеллинг сделался кверх ногами поставленный Яков Бем. Тот, полный мистического созерцания во все стороны, выходил к глубокому философскому воззрению, а Шеллинг из глубокого философского воззрения опустился в детский мистицизм. Бем, заключенный в мистическую терминологию, живши в начале XVII столетия, имел твердость не останавливаться на букве, имел мужество принимать страшные консеквенции для боязливой совести того века, он действовал разумом, и мистицизм окрылял его разум. У Шеллинга везде видна покорность разума и устремление всех сил подчиниться теизму и преданию — без истинно наивной веры. Простая вера не станет употреблять его Spitzfindigkeiten[2].

25. Завтра утром едем в Москву. Меня душит тоска, уж не предчувствие ли? С каким-то отвращением еду я — мне ужасно хотелось бы еще пожить в Покровском. Здесь тихо, вдали от людей, от сплетен, от гнусностей Да и этот простой, добрый народ — я полюбил его. И славный народ — сколько надежды на эти умные, развязные, бойкие физиономии!

Сентябрь.

9. С 26 в Москве. Время сует, внешних занятий, почти потерянное, если б не было *занимательных* эпизодов; наконец, все успокоивается, и я могу надеяться на покой и мою обычную жизнь. Эпизод свадьбы страшен*. И что за уродливое и вместе

[1] в буквальном смысле (франц.).— *Ред.*

[2] ухищрения (нем.).— *Ред.*

высоко благородное, поражающее лицо несчастного Егора Ивановича! В ту минуту, когда их венчали, он, убитый и оскорбленный, читал молитвы об них. Он прислал образ благословить их. И откуда эта девушка взяла столько коварной хитрости, чтоб обманывать всех,— и, уличенная, она не раскаялась и пошла к венцу легко и свободно, осыпаемая горькими упреками. L'une vaut l'autre[1]. Но мне их стало жаль, когда они стояли под венцом и священник клал страшные чары, из которых им не выпутаться. А они думали, кажется, о постороннем, не зная, что и зачем, а между тем всё придумали и устроили сами, во имя любви. То была обоюдная афера, и оба ошиблись.

18. Бэкон и Декарт представляют генезис философии как науки, без методы того и другого она никогда не развилась бы в наукообразной форме. Яков Бем, более глубокий и мощный силою гениальной интуиции, поднялся до величайших истин, но это путь гения, путь индивидуальной мощи. Но генезис не есть еще сама философия. Ни признание факта Бэкона не покорило ему вполне природу, ни идеализм Декарта не покорил ему духа. Семя, брошенное Декартом, возросло в Спинозе. Спиноза — истинный и всесторонний отец новой философии. «Ego,— говорит он,— non praesumo, me optimam invenisse Philos⟨ophiam⟩, sed veram me intelligere scio»[2]*. Это сознание почерпнуто из глубокого созерцания, и оно истинно. Высота Спинозы поразительна. И какое полное жизни мышление! Он дал основу, из которой могла развиться германская философия, одна сторона была им исчерпана (дух как субстанция), и он первый не взял ничего внешнего, не прибегнул к религиозным или традиционным средствам. Спиноза был враг формализма, несмотря на схоластические формы, в которых излагает свое учение,— это недостаток века. Например, требование доказательств искусственных, неясное само по себе, ему противно. И немудрено: он мышление почитал высшим актом любви, целью духа, его жизнию. Не говоря о целом учении его, замечу, какие молнии гения беспрестанно прорываются у него, например: «Homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat, et

[1] Одна стоит другого (франц.).— *Ред.*

[2] «Я не утверждаю, что я открыл наилучшую философию, но я знаю, что постигаю истинную» (лат.).— *Ред.*

ejus sapientia non mortis, sed vitae meditatio est»*. «Beatitudo non est virtutis praemium, sed ipsa virtus»[1]*. Его взгляд на временное sub specie aeternitatis[2]*, всецелость разнообразия вечно живет в его разуме, оставляет далеко за ним его предшественников. Для него мышление было делом высоко религиозным и чисто нравственным. А как его принял век? И должно ли дивиться этому нам? Он умер в 1677 году.

22. Спор о дуэли*. Что значит отсутствие всеобъемлющих религиозных убеждений? Каждый человек по-своему принимает за путеводную нравственность остатки старых убеждений, начатки новых, и все это сосуществует в хаотическом беспорядке. Старый мир имеет сильные корни в нашей душе и, несмотря на то, что его характер во всем аристократичен, монашествен, противуестествен, бездна его самых существенных мнений перешла в наш век, развивающийся под знаменем демократии, реальности и самозаконности разума.

Кто осмелится говорить против дуэли, против щепетильной дворянской чести и point d'honneur[3],— а между тем нелепость дуэли очевидна. Человек смелее дотронулся рукою до бога, до всего общего, но до частного, личного не смеет коснуться. Честь, честь — и никогда не дать себе отчета, что именно честно и что оскорбительно, и какое удовлетворение, каким образом исправляет. Дуэль есть смертная казнь, сопряженная с опасностью палача, дуэль есть акт дикой, кровавой мести, на которую не токмо отдельное лицо, но и общество не имеет никакого права. Феодальные века доказали всю случайность содержания чести, но тогда личность должна была требовать бесконечного признания, иначе не развилось бы понятие о достоинстве человека. А теперь!..

25. Новость об покушении в Польше* и другая в «Journal des Débats» об арестовании 3000 человек. Мученическая страна, опять следственные комиссии, опять каторга, Сибирь.— Грустно, тяжело грустно. Страшное время, и ни-

[1] «Свободный человек менее всего думает о смерти, и его мудрость основана на размышлениях не о смерти, а о жизни». «Блаженство не есть награда за добродетель, но сама добродетель» (лат.).— *Ред.*

[2] с точки зрения вечности (лат.).— *Ред.*

[3] вопроса чести (франц.).— *Ред.*

чего впереди. Конечно, пройдут века... Старая песня,— разумеется, так, но видеть около, возле и всю жизнь быть только страдальным зрителем... Какую грудь, какие плечи надобно иметь!

30. XVIII век имел что-то революционное в костях и мясе. Во имя абсолютизма такие люди, как Помбаль, Аранда, приобщали целые страны к новому порядку идей. Или Струензе в Дании. Когда наступает время, дух находит себе место в самом вражеском стану. Теории открытого эгоизма и себялюбия дали последний удар христиано-феодальной нравственности. Отсутствие нравственности — отличительный характер тогдашней политики. Фридрих и Екатерина равно не гнушались всеми средствами.

Не говоря уже о разделении Польши, достаточно вспомнить все оскорбительное тиранство косвенных налогов, перенятых Фридрихом II у Франции, но развитых в какой-то грязно гнусной форме, до которой они никогда не достигали во Франции (например, акциз на жженый кофе и пр.).

Октябрь.

6. Schlosser приводит место, в котором Рейнгольд, будучи юношей и учеником иезуитов, писал к отцу: «Ein so eifriger Christ, wie Sie, mein bester Papa, weiß beinahe so gut als ein Geistlicher, daß es heiligere Bande gibt, als jene der sündhaften Natur, und daß ein Mensch, der dem Fleische abgestorben ist, eigentlich keinen andern Vater mehr haben könne, als den himmlischen, keine andere Mutter, als seinen Orden, keine andere Verwandte, als seine Brüder in Christo und kein anderes Vaterland, als den Himmel. Die Anhänglichkeit an Fleisch und Blut ist eine von den stärksten Ketten, mit denen ins Satan fest an die Erde schmieden will»[1]*. Писано 13 сентября 1773.

[1] «Столь ревностный христианин, как Вы, мой дорогой папа, знает почти так же хорошо, как священник, что существуют более святые братские узы, чем узы грешной природы, и что человек, умертвивший свою плоть, не имеет, в сущности, другого отца, кроме небесного, другой матери, кроме своего ордена, других родных, кроме своих братьев во Христе, и другого отечества, кроме неба. Привязанность к своей плоти и крови — одна из крепчайших цепей, которыми сатана стремится приковать нас к земле» (нем.).— *Ред.*

Но за что же Шлоссер так негодует на иезуитов, притом и выставляет это место как документ превратного учения? Да это просто логическая консеквенция христианского учения, начало этого воззрения — в самом евангелии. Да они, сверх того, не истинны только по супранатуральному устремлению духа к Jenseits; воззрение это широко и глубоко человечественно. Без сомнения, естественные связи ниже духовных etc.

9. 3 сентября в Афинах* и движение в Италии*. Итак, юг Европы не спит. В Италии будут казни. В Греции — бог знает что. Правительство Людвига-Филиппа против — оно не хочет понять своего призвания в борьбе двух начал и укрепляет Париж. Без крови не развяжутся эти узлы. Отходящее начало судорожно выдерживает свое место и, лишенное всяких чувств, готово всеми нечеловеческими средствами отстаивать себя. А нам, славянам, предстоит молчание или слово вне отечества, как сказал Мицкевич, начиная нынешний курс свой* Но и везде несовершеннолетие поразительное; в Англии, например, радикалы хотят требовать, чтоб не платящие земледельцы владельцу земли наемной суммы были судимы и наказываемы на общих установлениях о долгах. Это они догадались в 1843 году.

24. Вчера проводили Кетчера в Петербург*,— ему более, нежели кому-либо, нужны друзья и симпатический круг, он только в нем и живет, в Петербурге у него нет ни друзей, ни близких. Такая жизнь ему будет тяжела; но собственно для его развития петербургская жизнь для него важная фаза. Москва располагает к квиетическому и мечтательному взгляду, он в Москве начинал принимать свой pli[1] и состарился бы в нем, там взойдут новые элементы в жизнь.

26. Разговор с П. В. Киреевским. Их воззрение странно до поразительности, оно, без сомнения, не изъято поэзии, хотя односторонность очевидна. Религиозное воззрение имеет необходимо долю ложную, но их воззрение есть еще частно религиозное, именно греко-российское христианство, они отвергают

[1] склад (франц.).— *Ред.*

все западное христианство; история как движение человечества к освобождению и себяпознанию, к сознательному деянию для них не существует, их взгляд на историю приближается к взгляду скептицизма и материализма с противуположной стороны. Вся жизнь человечества — болезненное, абнормальное явление. В этом есть сумасшедшая консеквенция принять грехопадение, то есть осуществление развития перед ними должно ввести страшный беспорядок и перекувырнуть смысл истории. Они принимают за истинную церковь, за единую дверь к благодати, остальное все нечестиво, сбилось с дороги etc. И с тем вместе признают, что и греческая церковь подавлена, никуда не годна у нас. Что же остается? И для кого искупление рода человеческого? Неужели христианство, в начале имевшее 12 апостолов, через 1800 лет оканчивается двумя или тремя лицами, знающими какую-то, под спудом хранящуюся, истину в церкви, живущей, по их сознанию, во лжи? Деятельность и стремительное движение европейское они называют мелочной хлопотливостью и находят единым идеалом квиетическое спокойствие какой-то созерцательной жизни на индийский манер. Внутренний страх, что их мысль не признана, делает их фанатически нетерпимыми, в них, как во всех фанатиках, недостает любви. Они на Запад смотрят с ненавистью. Это так же пошло и нелепо, как воображать, что все наше национальное гнусно и отвратительно. Оттого, что Руси общечеловеческое начали прививать неестественно, насильственно, они ополчились против общечеловеческой цивилизации Европы, считая ее одним блеском, пустым и ложным. Присутствуя при прививке форм, они проглядели, что долго на родной почве в этих формах обитала прекрасная сущность. В одном французском водевиле кто-то кричит: «Ma voiture, ma voiture, 50 fr. pour ma voiture!»[1]. В переложении на русские нравы того же водевиля актер кричит: «Карету, карету — или 50 палок». Виноват ли европеизм! Да, нам тяжело от этого искусственного периода. А зачем же мы представляли несколько веков стоячее болото? Да в этой-то стоячести вся прелесть созерцательной жизни. Против этого говорить нечего, разные

[1] «Карету, карету, 50 франков за карету!» (франц.).— *Ред.*

критериумы — надобно идти врозь или замолчать. Петр Киреевский выражает собою, в числе самых отчаянных славянофилов, ультраславяниста; разумеется, что, при всем уродливом взгляде, он человек талантливый, восторженный и благородный, он, может, во многом должен будет уступить брату, но далеко оставляет за собой многих одномышленников. С своей точки зрения они очень консеквентны*. А опору точки зрения не подвергают анализу, даже минуют ее высказать. Это верование и как верование имеет корень в субъективном чувстве. Киреевские последовательнее Аксакова и Самарина: те хотят на основаниях современной науки построить здание славяно-византийское, они по Гегелю доходят до православия и по западной науке до отвержения западной истории; они принимают прогресс, смотрят нашими глазами на будущность человечества, оттого у них потеряна необходимая консеквентность. П⟨етр⟩ В⟨асильевич⟩ обращен на одно прошедшее Руси, он смотрит на будущее без веры; народ как индивидуальность, как случайная личность носит в груди возможность гибели, но прожитое им — его руно, которое он стремится восстановить для Руси.

Пробежал IV том Кюстина*. Без сомнения, это самая занимательная и умная книга, писанная о России иностранцем. Есть ошибки, много поверхностного, но есть истинный талант путешественника, наблюдателя, глубокий взгляд, умеющий ловить на лету, умеющий по нескольким образчикам догадаться о массе. Всего лучше он схватил искусственность, поражающую на всяком шагу, и хвастовство теми элементами европейской жизни, которые только и есть у нас для показа. Есть выражения поразительной верности: «Un empire de facades... la Russie est policée, non civilisée...»[1] и др.; он глубоко подловил характер общества, описывая иронию и грусть его, подавленность и своеволье, он оценил национальный характер — это большое достоинство. Он умел в грубой, дикой и рабством искаженной физиономии разглядеть черты высоких свойств, прекрасных надежд и намеков. Горько улыбаешься, читая,

[1] «Империя фасадов... Россия — государство полицейское, но не цивилизованное» (франц.).— *Ред.*

как на француза действовала беспредельная власть и ничтожность личности перед нею; как он прятал свои бумаги, боялся фельдъегеря и т. д. Он, проезжий, чужой, чуть не ускакал от удушья,— у нас грудь крепче организована. Мы привыкаем жить, как поселяне возле огнедышащего кратера. Ложь, притворство, связанность речи в обществе также не могли не броситься в глаза французу. Теплое начало его души и добросовестность сделало особенно важной эту книгу, она вовсе не враждебна России, напротив, он более с любовью изучал нас и, любя, не мог не бичевать многого, что нас бичует. На Петра он смотрит с точки зрения славянофилов — судит слишком резко, во многом справедливо, но без глубокого исторического смысла,— такие события, как петровский переворот, должно брать шире и общее. Царствование Екатерины он называет длинной комедией, которой она обманывала Европу. Ловко и к месту припомнил он слово Александра* Mme de Staël: «Je ne suis qu'un heureux accident pour la Russie»[1].

Арест и беззаконное взятие француза Pernet* сильно подействовали на Кюстина, они наполнили его знакомым чувством негодования, но он не по-русски,— не затаил в душе и слово и слезу, он дал волю своей речи, и к концу он одушевляется и сильной речью отбрасывает всю ответственность народных бедствий страны, населенной прекрасным племенем, правительству. Слова его язвят и попадают метко, он называет правительство le mensonge couronné[2]. Полный грусти, летит он за границу, и в Тильзите свободном грудь его вздохнула свободно, гора свалилась с плеч. Он приехал в Россию с arrière-pensée[3], враждебной европейскому либерализму, а уехал примирившись. Он советует недовольного француза прислать посмотреть Россию для излечения. Тягостно влияние этой книги на русского, голова склоняется к груди, и руки опускаются; и тягостно оттого, что чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся до больного

---

[1] мадам де Сталь: «Я для России только счастливая случайность» (франц.).— *Ред.*

[2] коронованной ложью (франц.).— *Ред.*

[3] задней мыслью (франц.).— *Ред.*

места, и миришься с ним за многое, и более всего за любовь к народу.

29. Вчера «Fenella», которую видел и прежде, увлекла меня сильнее обыкновенного*. Голанд очень хороший актер,— не имея голоса, он игрой выкупает многое. Что за гениальная несообразность на русской сцене «Фенелла»! Бельги с представления «Фенеллы» пошли на площадь, парижане бесновались и с коленопреклонением заставляли петь «Марсельезу».

Что ни говори записные музыканты, а libretto, а сама драма, развиваемая в опере, очень важное дело; тогда музыка действует не отвлеченно, а захватывает вместе с драмой всего человека, и действие ее не ослаблено, а увеличено. Libretti «Жидовки», «Вильгельма Телля»*, «Фенеллы»— наши, современные. Есть места в «Вильгельме Телле», при которых кровь кипит, слезы на ресницах, и между тем музыкой все это обнимается какою-то примиряющей средой.

Ноябрь.

3. Письмо из Ганау*, и еще несколько писем, теплых симпатичных, воскрешающих много хорошего из былого Я всегда и везде встречал людей, готовых любить.

4. «Die Kommunisten in der Schweiz. Wörtlicher Abdruck des Kommissionalberichts an die Regierung v. Zürich»*. Первое, что удивило в этой книге,— это фамилия Бакунина, названного не токмо в числе коммунистов, но упомянутого как один из menin⟨s⟩[1]. Они были захвачены, след., и он. Странная судьба этого человека. Пока он был в России, этого конца предсказать было нельзя. Jules Elysard указал великую перемену — его консеквентность не могла остановиться. Что с ним будет? Коммунистское движение в Швейцарии имело представителем своим Вейтлинга, прежде портного, потом энергического писателя и пропагандиста. Места из его писаний, приведенные комиссией, красноречивы и сильны. Распространение коммунизма шло очень быстро между работниками швейцарскими и германскими. Начала их известны: Eine vollkommene Gesellschaft hat keine Regierung, sondern eine

[1] Здесь — руководителей (франц.).— *Ред.*

Verwaltung[1] — организация работ, равенство in facto, война собственности etc., etc. Много одушевления, слова Вейтлинга иногда поднимаются до апостольской проповеди; прекрасно определяют они свое отношение к либералам. Есть нелепости (например, теория воровства), но есть зато резкая истина.

Болтовня де-Санглена имеет свой интерес, как живая хроника за 50 последних лет. Поверхностный и малообъемлющий ум, но большая живость, своего рода острота и бездна фактов интересных. Некоторые подробности о смерти Павла, множество анекдотов об александровских временах, которые он имел случай хорошо знать en qualité[2] начальника тайной полиции, о Барклае (он был генерал-полицмейстером I армии в 1812). Конечно, незавидное время было тогда — но какая разница! Что-то гуманное, кроткое, хранившее благопристойность было в правительстве. Нынче маска не считается нужной. Нет любви, нет связи с народом. Беспощадность и деспотизм сделался привычкой последнего из полицейских служителей, равно как характер всего управления.

Недавно секли инженерных юнкеров и потом — на 6 лет в солдаты за какую-то детскую шалость*. Боже мой!

10. Кетчерово письмо*, проникнутое любовью и нежностью. Как в нем странно спаялись его демократическая угловатость, грубость внешняя с детской нежностью и свежестью души! Он долго в Петербурге не проживет.

Длинный и презанимательный разговор с Самариным. Он согласен, что ясно не может развить логически свою мысль о имманентном сосуществовании религии с наукой, что das Aufheben[3] наукой оставляет церковь во всей ее действительности. Они согласны, что расторженность человека, который мышлением разрушает то, что принимает фантазией и сердцем, и, с другой стороны, усыпляя мышление, снова дает место представлению, непримирима. Но они требуют это, хотят etc.

Требование это вместе с славянизмом делается религией. Они говорят, что плод европейской жизни созреет в славянском

---

[1] В совершенном обществе нет правительства, существует только управление (нем.).— *Ред.*

[2] в качестве (франц.).— *Ред.*

[3] снятие (нем.).— *Ред.*

мире, что Европа, достигнув науки, негации существующего, наконец, провидения будущего в вопросах социализма и коммунизма, совершила свое и что славянский мир — почва симпатического, органического развития будущего. Это мысль не токмо их, но и западных славян, например, Мицкевича, но у наших важное различие. У них славянизм неразделен с греческой религией. Церковь одна, это наша церковь; они ждут, что католицизм и протестантизм равно признают истинность ее, и это самая отчаянная гипотеза из всех. Такое созерцание будущего, без сомнения, религия, и может дойти до фанатизма.

Читал 1 том Кюстина. Книга эта действует на меня, как пытка, как камень, привалённый к груди; я не смотрю на его промахи, основа воззрения верна, и это страшное общество, и эта страна — Россия. Его взгляд оскорбительно много видит. Как верно сказал он: «La penseé inutile s'envenime dans l'âme qu'elle empoisonne faute d'autre emploi»[1]. Славянофилы, веря в мечтаемую будущность, хотя и понимают настоящее, но, радуясь будущему, мирятся с ним. Их счастие!

16. Замечательно, что византийская архитектура, иконопись, церковная музыка и ваяние не имеют в смысле художественном высокого развития. С одной стороны, это подтверждает мысль славянофилов, что восточная церковь *чище* и вернее христианству, с другой — свидетельствует об несовместимости христианства со всякой живой сферой, так и с искусством. Католическая церковь, имевшая сама в себе негацию и, след., развитие, не могла не найти стиля и высокого развития. Живопись была эманципацией из-под власти исключительности религиозной, и в этом великое достоинство католицизма, не понимаемое православными. Они не понимают, что абстрактное, не выходящее в жизнь существование церкви потому именно и *чисто* (употребляя их выражение), что оно отделено от жизни,— да в этом собственно определен недостаток, а не достоинство. Верность буквальная христианству должна была привести к квиетико-созерцательному покою и к мертвой церкви с пассивным характером. Католицизм есть само христианство

[1] «Бесполезная мысль, запавшая в душу, становится ядовитою и разъедает ее за отсутствием другого применения» (франц.).— *Ред.*

развивающееся; оно есть действительное христианство, а восточная — eine schlechte Möglichkeit, ein incommensurable Problem[1]. Восточная церковь,— скажут теперь, когда католицизм изжил свои формы,— явится, как высшая религиозная форма, и с ней сочетаются идеи социализма и коммунизма. Да на чем же это основано? Во-первых, человечество не может определиться в религиозном отношении византизмом, потому что византизм не может удовлетворить развитию самомышления, возникшего на развалинах католицизма; добросовестно никто не может сказать, чтоб была адекватность между учением восточной церкви и требованиями духа времени. Человечество перешло ее, и так для нее времени полного развития не было, теперь поздно, тогда рано. Мудрено ли после этого, что вся ее жизнь выражает недействительность ее? Она не признает государства, а государство теснит ее, она ограничивается жизнию монастырской, постом и молитвой, а жизнь развивается возле, вне ее влияния, она считает искусство чуждым себе, науку — игнорирует, все временное — давит. И всю жизнь была давима всем временным и попираема.

24. Вчера Грановский начал свои публичные лекции. Превосходно. Какой благородный, прекрасный язык, потому именно, что выражает благородные и прекрасные мысли. Я очень доволен. Его лекции в самом деле событие, как говорит Чаадаев; слыханное ли дело, чтоб на лекции, без опытов физических или химических, сошлось множество людей, из которых 50 заплатили за вход по 50 рублей? И как современны они, какой камень в голову узким националистам! Писал сегодня статейку об них для «Московских ведомостей»*, повезу ее завтра к графу Строганову,— кажется, недурно. Множество дам; разумеется, они не слушать ездят, а казать себя — но все это хорошо и, впрочем, в самом деле есть желание интересов всеобщих.

А между тем дома опять тучи. Удивительная вещь, только что все успокоится, только покажется, что пришло время гармонии,— новый удар в самую грудь напомнит всю наготу ее и ломкость. Саша очень болен. Страшные опыты меня сделали почти трусом.— И теперь именно, когда Наташе так нужен по-

[1] плохая возможность, неизмеримая проблема (нем. и франц.).—*Ред.*

кой. Я верю, почти убежден, что без чего-нибудь нового болезнь его минует благополучно; но у меня, т. е. у мужчины и притом вовсе не нервного, сердце надрывается видеть страдания ребенка. А она — страшно! Для меня есть минуты еще больше горькие, нежели самые болезненные припадки коклюша, это — когда в промежутке сильных припадков он начинает играть и говорить вздор, так видна тут слабость, какое-то невыразимо тяжкое состояние вызывает болезненный вид ребенка, беспечно играющего, не зная, что с ним делается и какие страдания его ждут через минуту.

Что тут придумает человечество? Чем укрепит оно себя от страшных ударов случайности? Тут страховые общества не помогут, on a beau dire[1] о мире всеобщем; разумеется, человеку, имеющему широкие интересы, несколько легче, нежели сосредоточенному на одном личном и семейном, но легче не значит легко. Легко одним эгоистам, те истинные цари жизни.

26. Вчера возил графу Строганову первую статью о лекциях Грановского. Он согласился, чтоб она была напечатана в «Московских ведомостях», но чтоб имя Гегеля не было произнесено. Откуда эта гегелефобия? Потом длинный разговор об «Отечественных записках», Белинском, Боткине etc., он знает множество подробностей. Странно, какое внимание обращено на меня и на всех. Предостережения, советы. В графе Строганове бездна рыцарски благородного. Длинный, замечательный разговор.

28. Вчерашняя лекция Грановского была превосходна. Какое благородство языка, смелое, открытое изложение! Были минуты, в которые его речь подымалась до вдохновения. Речь шла о философии истории; есть некоторые неясности, от которых люди отделываются словами, которым придают какое-то страстное по содержанию значение, ими себя уверяют, что вопрос уяснен, а он только переведен на другой язык. Читая Гегеля и находясь весь еще под его самодержавной властью, я сам в многих случаях разрешал логическими штуками или логической поэзией не так-то легко разрешимое. С такими вещами я встретился и у Грановского,— он, не имея твердости сделаться свирепым имманентом (как выражается Хомяков) и удерживая своего

[1] что бы ни говорили (франц.).— *Ред.*

рода идеализм, необходимо наталкивается на антиномии, которые приходится разрешать поэзией, антропоморфизмом всеобщего etc. Он прекрасно защитил философию в обвинении, что она всегда за сильного, и объяснил нам... Словом, ничего подобного в Москве никогда не было читано всенародно. И публика была внимательна, даже увлечена. Статья моя об его лекциях напечатана вчера. Сюрприз удался вполне, он и не подозревал; утром Корш ему прислал №. Грановский был так тронут, что не мог сразу всё прочесть. Когда кончилась лекция, все порядочное в аудитории с восторгом изъявляло свою благодарность профессору. Это один из лучших дней в жизни Грановского. И как счастлива, вся с горящим лицом и со слезами на глазах, сидела его жена! Публичные чтения удивительно заманчивы, кабы позволили. Статья сделала эффект, все довольны, славянофилы не яростные тоже довольны. Пора приниматься за вторую статью*.

Декабрь.

1. Вчера Грановского встретили страшными рукоплесканиями — он не ждал и смешался. Долго не мог прийти в себя. Лекции его делают фурор; мода ли, скука ли — что б ни вело большинство в аудиторию, польза очевидная, эти люди приучаются слушать. Публичные чтения пойдут в ход, sui generis публичность. Можно было бы радоваться и мечтать, если б можно было забыть, что в то же время розгами засекают до полусмерти юношей. А такое воспоминание представляет такими жалкими, такими ничтожными все наши усилия, дела.

6. Анненков и письмо из Петербурга*. Белинский женился*, кажется, в мире нет человека, менее способного к семейной жизни, несмотря на то, что в груди его гигантская способность любви и даже самоотвержения. Кетчер предлагает приехать, — удивительный человек, сколько высокой любви помещается в нем, и притом любви деятельной, готовой на пожертвования; меня глубоко трогает его дружба. Не скверно ли, что мы всё доброе и благородное считаем жертвой, какой-то абнормальной натяжкой.

Перечитал введение в Гегелеву философию истории. Чем более мы зреем, тем заметнее решительный идеализм великого

замыкателя христианства и Колумба для философии и человечественности; что за странные два концентрические круга, которыми он определяет дух человечества: история — это поприще духа, одействотворение его, его истина, его полное бытие; потом дух сам по себе, в своей области,— эти круги то имеют одинакий радиус — и тогда один круг, то радиус духа самого по себе получает какую-то бесконечную величину — и тогда опять круг один, а он в обоих случаях считает два круга. Человечество знает дух — так, как дух себя знает,— во всем этом есть таутологическая бифуркация[1], затрудняющая смысл истины для того, чтоб ее высказать глоссологией века.

11. Неблагородство славянофилов «Москвитянина» велико, они добровольные помощники жандармов. Они негодуют на Грановского за то, что он не читает о России (читая о средних веках в Европе), не толкует о православии, негодуют, что он стоит со стороны западной науки (когда восточной вовсе нет) и что будто бы мало говорит о христианстве вообще. Все это было бы их дело; но они кричат об этом так, что и Филарет начал толковать, хотят печатать в «Москвитянине», что он читает по Гегелю etc. Публика, дамы за него. Живое участие к его чтениям растет, все это придает хоть несколько жизненности обществу — а между тем того и смотри закроют лекции. Главный характер нашего периода у нас — это хаос, анархия, толку не найдешь ни в чем. В «Отечественных записках» напечатана моя четвертая статья почти вся*. Я со всяким днем нахожу вероятным, что над всеми нами опять разразится гром,— а между тем истинно, никто ничего не делает такого, что бы выходило из пределов; полуслова, абстракции. Что за жизнь!

17. Вторую статью о лекциях Грановского граф Строганов отказал поместить в «Московских ведомостях»,— может, он прав: боязнь крика, попов, доносов справедлива. Я долго был у него, расстались, кажется, довольные друг другом; странный он человек, но я уважаю многое из его качеств, и, без сомнения, он очень важен для московского университета, a partant de là[2] и для просвещения всей России. «Москвитянина» нет еще.

---

[1] раздвоение, от bifurcation (франц.).— *Ред.*

[2] тем самым (франц.).— *Ред.*

Доселе в Петербурге говорят и говорят о страшном беззаконии наказания инженерных юнкеров. Даже Петербург ужаснулся и смел показать негодование на Клейнмихеля. Подробности этой истории поразительны — ни покрывала, ни стыда. Такими ударами они разбудят хоть кого. Их друзья, кроме шпионов и отъявленных мерзавцев, не могут переварить этого. Да не сказка ли это из 1743 года? Верить ли, что в 1843 г. она была??

21. Вчера Грановский публично с кафедры оправдывался в гнусных обвинениях, рассеваемых Шевыревым и Погодиным и, наконец, напечатанных в «Москвитянине»*. Окончив чтение, он сказал: «Я считаю необходимым оправдаться перед вами в некоторых обвинениях на мой курс. Обвиняют, что я пристрастен к Западу,— я взялся читать часть его истории, я это делаю с любовью и не вижу, почему мне должно бы читать ее с ненавистью. Запад кровавым потом выработал свою историю, плод ее нам достается почти даром, какое же право не любить его? Если б я взялся читать нашу историю, я уверен, что и в нее принес бы ту же любовь. Далее, меня обвиняют в пристрастии к каким-то системам; лучше было бы сказать, что я имею мои ученые убеждения; да, я их имею, и только во имя их я и явился на этой кафедре, рассказывать голый ряд событий и анекдотов не было моею целью. Проникнуть их мыслию...» И тут еще несколько слов, которые я не разобрал. Гром рукоплесканий и неистовое bravo, bravo окончило его речь, с невыразимым чувством одушевления был сделан этот аплодисмент, проводивший Грановского до самых дверей аудитории. На этот раз публика была достойна профессора. И какая плюха доносчикам! Такие проявления, сколь они ни бедны, как они ни редки — радуют. Глядя на гам и шум, у меня сердце билось и кровь стучала в голову, есть-таки симпатии. Может, после этого, власть наложит свою лапу, закроют курс, но дело сделано, указан новый образ действия университета на публику, указана возможность открыто, благородно защищаться перед публикой в обвинениях щекотливых, и подтверждена возможность единодушной оценки такого подвига, возможность возбудить симпатию.

Что за великое дело публичность! Именно как Proudhon говорит,— что работникам плотят каждому отдельно, а не ценят

новую силу, происходящую из совокупности их*. Да, множество людей представляет не арифметическую сумму сил их, а несравненно сильнейшую мощь, происходящую от поглощения их воедино — каждый сильнее всего мощью всех.

Читаю IV том L. Blanc*. Как подл и отвратителен Людвиг-Филипп и его правительство в истории с герцогиней Беррийской!* Вот что значит отсутствие того голоса в сердце, который громко вопиет против всего нечистого, сального. Не говоря о том, что воспользоваться беременностью женщины, чтоб опозорить ее, подло, особенно когда (по их же понятиям) эта женщина свое пятно бросает и на идею королевской власти и на свою семью, которая есть семья Людвига-Филиппа,— но и это можно бы простить,— страшны средства, употребленные для доказательства. Ей, женщине, послать сказать, чтоб она встала и прошла по комнате для того, чтоб ее живот был виден, подписка, допросы в самое время родов, 18 свидетелей, пушечные выстрелы. Низко и грязно, к тому же и несправедливо. Это только наше варварское понятие о женщине могло поставить в важное обвинение женщине, что она, будучи несколько лет вдовою, нашла себе друга, любовника, мужа. Вообще историю этого времени читать грустно, все так мелко, пошло... разумеется, прорываются громадные деяния и громадные характеры, но это исключение. Таков книгопродавец и типограф Бот, в первых днях июльской революции, отдельные сцены в истории Cloître de St-Méry[1]*, Родде, идущий продавать афишку, рыцарь-демократ Ар. Карель, итальянец Бонаротти, старец карбонаризма, великая, святая личность и огненная натура Маццини. И... и вся бесполезность их усилий. Это опять отбрасывает во все ужасы скептицизма.— На днях пробежал я 1 № «Европейца»*. Статьи Ив. Киреевского удивительны; они предупредили современное направление в самой Европе,— какая здоровая, сильная голова, какой талант, слог... и что вышло из него. Деспотизм его жал, жал, и он сломился, наконец. Сломился, как благородная натура,— он не изменил своему направлению, а бросился в самый темный лес мистицизма и там ищет спасенья Бедные жертвы и великие жертвы, приносимые Молоху.

---

[1] монастыря Сен-Мери (франц.).— *Ред.*

24. Приезжал Беляев из Вятки. Удивительно, до чего безумие и опьянение власти доходит: в Вятской губ., в Нолинском уезде крестьяне за ослушание чинов<ников> палаты государственных имуществ были усмиряемы губернатором вооруженной рукой; они стояли в толпе и не делали никаких насилий, а ждали объяснения, в них стреляли картечью, и 60 человек убито. Они бросились на колени, и их передрали плетьми. Губернатор этот — знаменитый шпион Мордвинов, управлявший несколько лет III отделением. Были мерами толь отеческими недовольны, и его повысили в директоры одного из департаментов министерства финансов. Вторая история в 1842 году в Казани, где, отнявши у мужиков картофель, велели его сеять, потом освободили их за деньги, потом опять велели сеять,— выведенные из себя крестьяне взбунтовались и были усмиряемы пулями и тесаками, целые семьи бежали в леса и месяцы не смели возвратиться. Кто-нибудь должен проснуться — или правительство, или народ. О первом так же трудно поверить, как о другом,— впрочем, министр Киселев проезжал по Козьмодемьянску, где была военно-судная комиссия по этому делу, и даже не озаботился спросить о нем. И этот господин хочет быть Umwälzungsmann [1]—misère, misère [2]. Разумеется, они могут быть стимулусами, теми толчками в лицо спящего, от которых тот вскочит,— но быть великими деятелями — для этого надобна любовь к идее, любовь к народу.

> На генерала Киселева не положу моих надежд.
> Он мил,— о том ни слова! —

сказал Пушкин*.

С 29 на 30, ночь .. Ни веры нет, ни надежды... я себя что-то ненавижу... хотелось бы, чтоб тут был Грановский и вино бы хотел пить,— этого не должно бы быть. Время тащится тихо, может, вопрос нескольких существований решается теперь. Тупая сила, глупая сила... Ну, что же, смертный приговор или милость.— Случай.

30. Вечер. В час без 10 минут родился мальчик*— доселе

---

[1] человеком, который произведет переворот (нем.).— *Ред.*

[2] ничтожество, ничтожество (франц.).— *Ред.*

все счастливо, но я еще не смею, боюсь надеяться. Страшные опыты проучили.

31. Вечер. Полтора суток прошло и rien d'alarmant[1], дитя мал и не из крепких; но доселе болезненного ничего не видать, и грудь берет. Для Наташи неистощимое благо, если это дитя будет живо, это ее морально и физически успокоит.

Дружба, любовь окружает нас прекрасным венком, сколько симпатии горячей, полной, благородной! Это наше великое благо в жизни, награда и пр. Грановский, получивши записку, не мог ее читать от волнения и передал другому. Утром, когда еще ожидали, он молился. Я не могу этого делать. В решительных минутах я, наконец, нахожу силу и стою, будто на барьере во время дуэли,— жду, что пуля — мимо или в грудь... Жду мрачно, собравши всю твердость. Середь ожидания является рефлексия, и я иду и на гору и под гору с дикой, свирепой последовательностию, не отгоняю страшного, а всматриваюсь в него. Всякий по-своему.

Через час наступит и новый год. В прошлом не было страшных внешних толчков, но страшные внутренние события. Я с содроганием вспоминаю весну. Да покроет могила 1843 многое слышанное и сказанное тогда! Но рубец остался неизгладим, но *выжитое* всем этим осталось.

---

[1] ничего тревожного (франц.).— *Ред.*

ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ СОРОК ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

1 января. Москва.

Январь.

2. Трое суток прошло — и все идет хорошо. Я начинаю убеждаться, хотя и с робостью, со страхом, что на этот раз не предвидится такой катастрофы, как в прошлый.

7. Вчера Грановский окрестил новорожденного, все было весело и торжественно, напомнило рождение Саши. Огарев считает себя крестным отцом Саши; Сатин и Кетчер крестили несчастных малюток умерших, а Грановский вновь начинает с перелома. Сегодня девятый день, и все исправно.

Был на днях у графа Строганова, интриганты из профессоров сбивают его, видимо; он любит и желает просвещения, он любит Европу и все благородное, но боится резко и решительно объявить себя против диких славянофилов, а они, пользуясь его шаткостью, пугают, лгут, чернят и получают место в его убеждениях. «Я,— говорил он,— всеми мерами буду противудействовать гегелизму и немецкой философии. Она противуречит нашему богословию; на что нам раздвоенность, два разные догмата—догмат откровения и догмат науки? Я даже не приму того направления, которое афиширует примирение науки с религией: религия в основе». На это я сказал ему, что очень хорошо не принимать людей, толкующих о соглашении и примирении, потому что они лжецы и трусы. Примирения нет в том смысле, в каком его понимают, и наука не имеет нужды ни в мире, ни в войне. В заключение граф сказал, что если он не успеет другим образом, то готов или оставить свое управление, или закрыть несколько кафедр: «Вы, вероятно, с другими назовете тогда меня варваром, вандалом». Я опустил

глаза и промолчал. Разговор стал слабеть и скоро кончился. Не жаль ли, что эта доблестно рыцарская натура падает под нерешительностью? И как будто есть две науки в самом деле: останавливать современную науку — значит убивать вообще развитие науки и сводить преподавание на сухие исторические, филологические, естествознательные, математические сведения, не связанные единою мыслию.

8. Как шатко, страшно шатко все в жизни, кроме мысли, которая собственно уже и есть снятие жизни индивидуальной — единственно полной! Как спокойны мы были, а сегодня опять страшный день, и едва теперь я несколько стал спокойнее, а днем намучился и настрадался, особенно вечером. Н⟨аташа⟩ сильно занемогла, вчера немного неосторожно понадеялась она на свои силы и может дорого еще заплатить за это; я боялся, что разовьется воспаление; но, кажется, еще нет и не будет, сильные спазмы, боли нестерпимые — воспаление поставит на край гроба. От этой мысли делается какая-то лихорадка. Теперь 2 часа, она спит — что-то будет завтра? А мы последние дни были спустя рукава. Случай этот разразился так нежданно — колена мои подгибались. Хорошо, что Елизавета Богдановна у нас, она облегчила меня, без близкого человека страшно в такие минуты, убийственно. К тому же я так неловок, когда ухаживаю за больными. Да мимоидет чаша сия!

11. И прошла. А душа — как корабль: что ни побежденная буря, то ближе к разрушению. Матросы становятся лучше, а дерево хуже.

Странная вещь: в «Börsenhalle» — новость об определении бывшего дерптского профессора Мадай к Нассаускому герцогу, по рекомендации великой княгини Елены Павловны. Мадай — это тот благородный профессор, который, после дикой и отвратительной истории с Ульманом и Бунге, напечатал спустя некоторое время статью в «Allgemeine Zeitung» обо всем деле, изложил всю закулисную историю драмы, грубое и несправедливое окончание ее отрешением Ульмана и Бунге за принятие одним Ständchen[1] и за то, что другой сказал, что нет закона, препятствующего студентам таким образом

[1] серенады (нем.).— *Ред.*

изъявлять свою симпатию. Статью эту Мадай подписал. Ясное дело, что после этого он должен был оставить Дерпт — не знаю, как сошло ему с рук так легко, у нас не очень смотрят на права иностранцев*. Мадай всю гадкую часть интригующего приписывает Уварову. Or donc[1] в «Börsenhalle» написано, что Мадай определен герцогом по рекомендации великой княгини, засвидетельствовавшей, что Мадай прекрасный человек и оставил службу по личным отношениям с министром просвещения. Кто в состоянии что-нибудь понять в этой галиматье нашего управления? В других государствах как бы скверно правительство ни было, какие бы раздоры внутри совета ни были, наружно министры держатся заодно, идут под одним знаменем, с одною мыслью, которая есть с тем вместе мысль правительства. Примеры такие, как недавно с Олозагой или некогда с Фоксом, когда дело шло об Индийской компании и где король подкапывал министра через пэров, редки и ненормальны. У нас, напротив, министерство не связуется никакою мыслью, в нем нет даже формального единства, даже благопристойности. Меншиков отпускает злые колкости над Канкриным, Клейнмихелем etc. публично, Киселев идет своей дорогой, Перов〈ский〉 — своей. Наконец, члены императорской фамилии не считают нужным стоять заодно с своей прислугой. Разумеется, голос великой княгини в этом деле благородное дело, честь ей. Уваров пользовался прежде ее расположением. Может. слетит, лучше ли это, хуже ли? Как сказать? Он человек дрянной, мелкий и ячный, а пользы наделал бездну. Строганов благороден, рыцарь и тоже очень полезен округу, а сделают министром — не знаю, что будет, и трудно сказать, вперед это или назад. Вот истинно вавилонское столпотворение!

14. Крик и гам об лекциях Грановского. Он имел разговор с графом Строгановым, и он боится, а сначала таким жарким защитником был. Майендорф — милый тип важной глупости, боится ездить. Страх заметно разливается.

18. Наступил год мрачным дням, страшным страданиям, которыми я думал искупить всё и, может, в самом деле искупил какую-нибудь долю. Вечно доверчивый, я думал что все тем-

---

[1] Однако (франц.).— *Ред.*

ное забыто; но достаточно было воскреснуть в памяти по поводу числа миновавшим образам и мыслям, чтоб снова повергнуть ее во всю безумную грусть. Какая доля слабым нервам и какая память оскорбления! И что ей делать, если нет сил и средств забыть, примириться истинно, простить бесследно? Всякий раз подобное нежданно и разом выталкивает меня из той сферы жизни, которая мне свойственна, и я себе кажусь как-то жалко гадок. Лишь бы не возвратились прошлогодние сцены*. Жизнь последнего малютки, думал я, все уврачует.

Самарин возвратился*, он с ужасом начинает разглядывать невозможность удержаться на их точке ортодоксно-философской. Благородное устройство его головы не дозволяет ему остановиться на формальном, внешнем сосуществовании или, лучше, на юкстапозиции[1]. Его поразил в Казани лама, уверенный, спокойный в своей ортодоксии. Но он грустен, процесс совершается круто, и я знаю по себе, как тяжело расставаться с некоторыми мечтами, хотя я в них и не так вжился, как он. Недавно «Allgemeine Zeitung» à propos de bottes цитировала удивительное место из Гёте об Америке* (хотя оно и не вовсе к ней идет):

Dich stört nicht im Innern,
Zu lebendiger Zeit,
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit[2].

Пора начать и человечеству забывать ненужное из былого, то есть помнить о нем как о былом, а не как о сущем.

Филарет поручил Голубинскому опровергнуть Гегеля, Голубинский отвечал, что ему не совладать с берлинским великаном и что он не может его безусловно отвергнуть. Филарет требовал, чтоб он по крайней мере против тех сторон восстал, с которыми не согласен. Но Голубинский опять отозвался тем, что он так последователен, что можно или все отвергать или все принимать. Итак, крот прокапывает и в духовную академию. Строганов совсем растерялся, ему хочется и свободу преподавания и чтоб оно не выходило из границ, им выдуманных; он боится резко принять ту или другую сторону и качается в

---

[1] совмещении, положении рядом, от juxta positio (лат.).— *Ред.*

[2] Перевод см. на стр. 124.— *Ред.*

неприятном и жалком положении. Им всем хотелось бы дать все права науке на условии, чтоб она не пользовалась ни одним. Вроде того, как Екатерина II сзывала депутатов или как испанские гранды снимали шляпу перед королем, но он должен был всякий раз остановить.

24. Беспрерывные споры и разговоры с славянами много способствовали, с прошлого года, к уяснению вопроса, и добросовестность обеих сторон сделала большие уступки, образовавшие мнение более основательное, нежели чистая мечтательность славян и гордое презрение ультраоксидентных.

Gottes ist der Orient,
Gottes ist der Occident! [1]*

Главная ошибка их, что, веря (и не без основания) в огромное будущее славян как того племени, которое имеет призвание своею непосредственностию соответствовать высшему, логическо-историческому вопросу, выработанному Европой, они хотят и в самом младенчестве его видеть что-то высшее европейского развития, как будто возможность будущего значит превосходство над действительностию развитою и осуществившей свое призвание. Впрочем, я собираюсь об этом писать целую статью*. Движенье умственное, беспокойное, ищущее разрешений, говорящее в Москве, усиливается очевидно. Страшно думать, что, когда эту деятельность хорошенько разглядят, развеют опять по лицу России всех порядочных людей.

25. Террор. Какая-то страшная туча собирается над головами людей, вышедших из толпы. Страшно подумать; люди совершенно невинные, не имеющие ни практической прямой цели, не принадлежащие ни к какой ассоциации, могут быть уничтожены, раздавлены, казнены за какой-то образ мыслей, которого они не знают, который иметь или не иметь не состоит в воле человека и который остановить они не могут.

Противники мысли об экспатриации советуют ехать подобру да поздорову. Строганов, испуганный, преследует порядочных профессоров требованием иначе читать, они хотят бе-

---

[1] Богу подвластен Восток, богу подвластен Запад! (нем.).—*Ред.*

жать из Москвы, искать службы в других университетах. Что-то будет? Удар не минует моей головы, меня знают они давно. Впрочем, я на все готов. А кажется, в самом деле лучше бы ехать, только не тогда, когда другие ждут цепей,— félonie![1]

Февраль

1. Письмо от Кетчера*. Булгарин писал к князю Волконскому*, что со времени его попечительства в литературе показывается вредная тенденция, что «Отечественные записки» подрывают православие, самодержавие и народность, что должно назначить комиссию для разбора этого журнала, что он туда явится присяжным доносителем, и грозит Волконскому, буде он не сделает никаких распоряжений, довести все это до сведения государя через прусского короля. Волконский ничего не мог сделать против подлого шпиона, цензуру стеснили, тем пока и окончилось. Итак, всего аристократического положения Волконскому недостаточно было, чтоб подавить донос, это бросает важный свет. Еще шаг — и «Отечественные записки» рухнули бы со всеми участниками. Чем более мерзости, тем ближе к концу, но в данном случае близкого конца нигде не видать. За их покой, за их жизнь в будущем веке, за их праздность в настоящем нет полной симпатии к славян<офилам>.

1 января в Париже, где теперь Греч, были во все домы, куда он ездит, разосланы визитные карточки: «N. de Gretch, mouchard de La Majesté russe»[2]. Говорят, в «La Presse» статья русского, он пишет о положении нашем относительно шпионства, что не токмо в России, но в Париже русский в 1000 раз более откровенен с французом, нежели с соотечественником, потому что из 800 русских множество шпионов, сообщающих всякое слово, и малейшая неосторожность, то есть не рабская скрытность, может навлечь страшные и едва вообразимые для чужих краев гонения Итак, мы являемся позорнее и позорнее перед Европой, покров за покровом падает, и вместо сильного народа является коленопреклоненная толпа и палач. А славяно-

[1] измена! (франц.).— *Ред.*

[2] «Н. Греч, шпион русского царя» (франц.).— *Ред.*

филы за надежды, за возможности смотрят с пренебрежением на европейцев, с гордостью. Детское заблуждение. В этом, как и во многом, останутся резкие преграды между нами.

3. Чего и чего не случается в жизни: за минуту нельзя предвидеть, какая новая нелепость случайности хватит в голову. Вчера мы преспокойно сидели, смеялись, вдруг Саша зацепился за ножку трюмо и об противуположную рассек глубоко себе лоб, кровь полилась рекою,—что делать, какие меры, как велико повреждение, цела ли кость? К тому же слабость Наташи, ее страшный испуг. Положили компресс из холодной воды с уксусом; явная недостаточность этих средств, страх употребить другие. Я послал за Альфонским и за Варвинским. Он ушибся во втором часу, Альфонский приехал в 8, склеил рану, и, кажется, все сойдет с рук. Но что же это за страшное бытие наше — беспрестанно и с физической и с нравственной стороны ждешь ударов, или и не ждешь, но поражаешься ими.

6. Читаю письма Форстера*, знаменитого майнцкого депутата при Конвенте 93 года. Удивительная натура: всесторонняя гуманность, пламенное желание практической деятельности, энергия его резко отличают от германцев того времени. Как в его юношеских письмах все понятно и близко душе! Первый высокий человек, с которым он встретился, был Якоби; до того молодой Форстер, чрезвычайно рано развитый, ездил круг света, потом жил в Лондоне и между людьми, которые не могли сильно действовать на него. Истинно глубокой симпатии не могло быть между Якоби и Форстером,— но как юношески ринулся он к нему, как любил его горячо, подчинялся ему, принимал религиозные фантазии,— он, по преимуществу реалист. Когда вспомню я, как, переламывая тяжелую скуку, я заставлял себя читать переписку Гёте с Шиллером, где иногда проблескивают мысли гениальные, затерянные в филистерские и гелертерские подробности, с поглощающим интересом этих писем, становится странно. Жизнь полная выше гениальной односторонности.

Форстер никак не мог сдружиться с жалкой жизнию немецких ученых, он истинную симпатию нашел в одном Лихтенберге. Они были прямые продолжатели Лессинга. Тяжело было им жить в совершенно не сочувствующем обществе, но какая

широкая, ученая деятельность, академическая, и с каким уважением эта деятельность признана самим правительством! Наше страшное состояние им не было известно, в Европе всегда уважались лица, у нас именно лицо (как в Азии) и считается за ничтожность.

A propos. Киевский генерал-губернатор Бибиков донес на Редкина «Юридические записки», что в них была помещена статья о Литовском статуте, апологическая ему, в то время как он заменяется русским законодательством. Статья эта напечатана года два. Министр, Бенкендорф тотчас начали переписку, запросы, вопросы, и, если б не хотел того Строганов, дело кончилось бы хуже замечания. В то же время и через того же Бибикова Маркевич, сочинитель истории Малороссии, и с ним сорок человек малороссов, подали донос на Сенковского, что он оскорбительно отзывался о Малороссии в «Библиотеке для чтения», что он называл их беглыми холопами польскими, и для того чтоб доказать, что они не холопы, а свободные люди, они подают донос баринову управляющему немцу, прося защитить народность. Истинно, через десять лет закроют III отделение собственной канцелярии, потому что оно, а равно и шпионы будут ненужны*, донос будет обыкновенное дело, знак преданности отечеству и государю, acte de dévouement[1]. Не прав ли кн. Козловский, говоривший Кюстину, что в России есть des dilettanti de bassesse[2]? В прежнее время они скрывались, теперь, ободренные правительством, они, поднявши голову и вытянувши уши, ходят между нами и, добрые, щадят нас еще, ибо в их руках судьба нас и наших семейств.

9. Продолжаю читать Форстера. Удивительно полная, реальная, ясно и глубоковидящая натура. Его переписка начинается собственно с 1778 года; вскоре знакомится он с Якоби и подчиняется его влиянию, но долго он не мог живую душу свою пеленать в романтическую философию, и с 1783 года настает решительная реакция и полное развитие сил и самосознания, и тут Форстер появляется лицом великим, достигающим колоссальности в 1791, 92, 93 годах. Эпоха его переворота,

---

[1] доказательством преданности (франц.).— *Ред.*

[2] любители низости (итал. и франц.).— *Ред.*

от религиозных мечтаний к трезвому сознанию, бесконечно занимательна. Чем более он отходит от мечтаний, тем ярче начинает он понимать социальное положение человека, тем глубже разумеет жизнь и природу; ему несколько тяжел сначала разлагающий скептицизм, но истина ему дороже всего, и он тотчас мирится с потерею, тотчас видит пользу и благо истины, хотя она и не так пестра, как ложь. Конечно, по слову Пушкина:

Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге*.

Но истинно благородная душа не может довольствоваться благом, основанным на опьянении, купленном ценою свободы. Для суетной гордости, для поверхностного примирения, разумеется, религия выше науки, разума. Это Форстер прекрасно оценил,— она удовлетворяет страшно самолюбие, сближая человека с богом так, что он садится торжественно в центр управления миром и видит все сокровенное в природе и видит все под ногами своими. Отделываясь от религиозных бредней с другой стороны, всесторонне гуманная натура Форстера не скрывает ни великого развивательного свойства этих мечтаний, ни глубоко человеческого смысла вообще. Глядя в Вене на толпу молельщиков, коленопреклоненных на улице перед капуцинской церковью, в которой продают индульгенции, например, Форстер видит не одно слепое и глупое, напротив: «Der Mensch ist ein weichherziges Tier, Versöhnung und Frieden sucht er so gern, und ist so froh, wenn er sie erlangt zu haben glaubt!»[1] Отступая от искусственной экзальтации, обыкновенно сопутствующей аскетизм религиозный, Форстер начинает тотчас давать место и чувству и самой чувственности, слово наслаждение уже не равнозначительно для него со словом порок, падение и пр. Напротив, логическая натура его указывает ему на другое, на признание страсти, на такой гармонический быт, в ко-

[1] «Человек — мягкосердечное животное, он охотно ищет примирения и покоя и так доволен, когда ему кажется, что он их достиг!» (нем.).— *Ред.*

тором и страсть будет иметь место, но уже не разрушительное. Он пишет к Зёммерингу: «...ich bin sinnlicher wie du, und bin es mehr als jemals, seitdem ich der Schwärmerei auf immer Adieu gesagt habe, daß es Torheit sei, um des ungewissen Zukünftigen willen das sichere Gegenwärtige zu verscherzen... Ich werde nicht wieder glauben, daß wir der Süßigkeit angenehmer Empfindungen empfänglich gemacht worden sind, bloß um den Schmerz zu fühlen, sie uns selbst versagt zu haben... Empfinden war immer meine erste Wollust, Wissen nur die zweite, und wie viel Überwindung es mir gekostet hat in den Zeiten der traurigen Schwärmerei und Bigotterie mein Gefühl zu kreuzigen, ist mir selbst in der Erinnerung entsetzlich»[1].

Поразительнее всего у Форстера необыкновенный такт понимания жизни и действительности; он принадлежит к тем редким практическим натурам, которые равно далеки от идеализма, как от животности. Нежнейшие движения души понятны ему, но все они отражаются в ясном, светлом взгляде. Этот ясный взгляд и симпатия ко всему человеческому, энергическому раскрыл ему тайну французской революции среди ужасов 93 года, которых он был очевидец.

12. Лекции Мицкевича au Collège de France 1840—1842. Мицкевич — славянофил, вроде Хомякова и C^nie, со всею той разницей, которую ему дает то, что он поляк, а не москаль, что он живет в Европе, а не в Москве, что он толкует не об одной Руси, но о чехах, иллирийцах и пр., и пр. Нет никакого сомнения, в славянизме есть истинная и прекрасная сторона; эта прекрасная сторона верования в будущее всего прекраснее у поляка,— у поляков, бежавших от ужасов и казней и носящих с собою свою родину. Но с этим прекрасным характером надежды

---

[1] «... я чувственнее тебя и более чувственен, чем когда-либо с тех пор, как я навсегда распростился с мечтательностью, сказав себе, что глупо лишаться реального настоящего ради неизвестного будущего... Я никогда более не поверю, что мы были созданы способными испытывать сладостность приятных ощущений только для того, чтобы почувствовать боль, лишив себя их... Ощущение всегда было первым моим наслаждением, знание — лишь вторым, и мне даже вспомнить страшно, каких усилий мне стоило распять свое чувство во времена меланхолической мечтательности и ханжества» (нем.).—*Ред.*

у славян всегда является какое-то самодовольство, jactance[1], которое тем страннее, чем очевиднее ужас современного положения. Славяне везде рабы, везде холопы — смирные, пассивные холопы. Демократический элемент, на который они опираются, утрачен, крепостное состояние — достаточное доказательство. И когда цвело это общинное устройство? В период величайшей неразвитости. Бедуины — демократы, и патриархализм имеет в себе своего рода семейно-общинное начало. Конечно, славяне имели более внешних препятствий к развитию, нежели романо-германские народы; одни физические препятствия очень важны (которыми никак не должно пренебрегать, как это делают идеалисты): климат большею частию сырой и холодный, переменчивый и суровый, плоскость, недостаток водяных сообщений и ужасные расстояния. Тут, впрочем, и могла развиться *деревня*, но всякая централизация должна была встретить большие препятствия, города не могли получить важного значения, а деревни были впоследствии подавлены. Демократический элемент не мог выработаться, лучшее доказательство — псевдоаристократия, крепостное состояние и странно нелепый факт, что лишение прав большей части населения шло, увеличиваясь от Бориса Годунова до нашего времени.

17. Мицкевич говорит, что разгадка судеб мира славянского лежит сокрытая в будущем. Это говорят все славянофилы, но они не имеют геройства последовательности, они всё же хотят отыскать отгадки в прошедшем. Прошедшее христианство принадлежит Европе романо-германской, католицизму, феодализму и их разложению. Во всем этом славяне не участвовали. Разумеется, и Византия и Русь имели жизнь, и жизнь более близкую к Европе, нежели Китай etc.; но для них их история не была полным осуществлением всей скрытой в них мысли. Византия замирала в чиновничьей, мертвой централизации, мудрствовала о догматах и развивала их в теологические тонкости. Русь по какому-то глубокому провидению взяла, сложившись, гербом византийского орла, двуглавого, врозь смотрящего. Истинно полного слития государства с народом никогда не

[1] самохвальство (франц.).— *Ред.*

было; народ спокойно, покорно, но безучастно прозябал в своих деревнях, будто ожидая чего-то. Великий смысл былой истории государства — это тихое гигантское развитие его, несмотря на все препятствия. Еще менее верно воззрение, что Польша представила своим былым самую развитую фазу славянского мира. Конечно, самую развитую, но не славянскую,— это было совершенно ложное направление для славянского народа, и тем хуже, что оно глубоко проникло в высшие классы. Мицкевич сравнивает поэмы и летописи чехов, руссов, поляков и пр.; безучастие и простота Нестора ему не понравились, а между тем Галлус — сколок с западных летописцев; дух, веющий в нем, не чисто славянский, как, например, в «Слове о полку Игореве» или как в сербских отрывках, им приведенных. Сербы были всего менее под влиянием Запада. Образец высшего развития славянской общины — черногорцы. Русское правительство сделало в 1834 опыт развратить их, надавало денег владыке, посоветовало завести сенат,— все это не удалось — у них полнейшая демократия, патриархально дикая, но энергическая и сильная. Европа более и более обращает внимание свое на этот немой мир, который называет себя словенами. Много, много удивительного в этом мире,— например, у нас, при самом безжалостном, свирепом деспотизме, при управлении не национальном, бездушном, инквизиционном, с каждым десятилетием виден шаг вперед. Оппозиционность растет, все боятся и все говорят, мы менее всех, потому что мы сознаем себя оппозицией, а другие бессознательно; по счастию, они не умеют следить ни за литературой, ни за чем,— нет умно учрежденного шпионства, оно более подло и оскорбительно устроено, нежели сообразно цели. Если бы теперь сколько-нибудь не так зверски терзали всякую свободную мысль, доходящую до них, мы вдруг шагнули бы ужасно. Но я полагаю, что для настоящего поколения только и будут одни слезы и плаха, теперь всего боящееся правительство вместе с увеличением трусости увеличит страшные меры, пример перед глазами — Польша. Запрещено в московских газетах печатать отрывки из отчета полицмейстера о Петербурге — c'est significatif[1]; они боятся гласности,

[1] это знаменательно (франц.).— *Ред.*

говорящих фактов об безобразии этого города, где все искусственно, где на 4 мужчины падает одна женщина, где число солдат страшно, где сотни умирают от венерической болезни и пр. Итак, они стыдятся его закулисной жизни. Вавилон, может, необходимый некогда, полезный даже теперь, но у которого нет никакой будущности.

21. По поводу книги Штура «Untergang der Naturstaaten» пришло опять в голову о славянах и германцах или, лучше, европейцах. Азия не умела выйти в сознательно деятельную жизнь из непосредственной, оттого ее государства или дробились внешнею силой, или замирали в формализме, в стоячести внеисторической жизни. Греция и Рим уже имели потребность отрешиться от естественных определений, но не могли вынести в своей односторонности такого отрешения. Противоборствующий плебей был олицетворением отрицания патрициатского, жречески-аристократического государства, тяготевшего во имя предания. Рим и Греция пали сами от себя, и в этой борьбе естественного, непосредственного порядка с демократией, религии с философией развились и их смертные болезни и их высокое человеческое значение для всемирной истории. Германец с первого появления является с характером, несравненно более освобожденным от всего непосредственного, от почвы, от поколения, даже от семьи; личность — вот идея, которую он вносит в мир; и, исчерпав все необъятное содержание своей мысли, он, будто оканчивая свое призвание, как завещание будущему, оставляет Déclaration des droits de l'homme[1]. Но имели ли мы право сказать, что грядущая эпоха, которая на знамени своем поставит не личность, а общину, не свободу, а братство, не абстрактное равенство, а органическое распределение труда, не принадлежит Европе? В этом весь вопрос. Славяне ли, оплодотворясь Европой, одействотворят идеал ее и приобщат к своей жизни дряхлую Европу, или она нас приобщит к поюневшей жизни своей? Славянофилы разрешают этого рода вопросы скоро, как будто дело давно решенное. Есть указания, но далеко нет полного решения. В германцах с первого шага ясна идея, которую они внесут в мир. Я недавно читал

[1] Декларацию прав человека (франц.).— *Ред.*

Тацита о герм⟨анских⟩ нр⟨авах⟩.— Они, говорит он, любят жить поодиночке, рассеиваться на большом пространстве, не любят хлебопашества и пр. Закон их предоставляет местью вступаться за обиды, связь их между собой свободна, дружба к герцогу, верность, преданность свободная, высокое понятие о чести, особого рода уважение к женщине, к целомудрию,— все вместе говорит и предсказывает монадную жизнь феодализма и развитие личности. Католицизм является великою мощью освобождения от национальных непосредственностей и единою связью разноплеменных. Путь развития славянского мира совсем не так ясен. Они говорят, что всякая односторонность ярче бросается в глаза и легче удоболовима, но где же, в самом деле, в истории славян всесторонность? Она лежит только в инстинкте и нигде не проявлялась до нашего периода, который ими именно и отвергается. Они говорят, что судорожное движение болезни заметнее органическо-нормального развития, но это фразы, не имеющие смысла, ибо органическое развитие всемирной истории, совершившееся вне славянского мира, очевидно,— так же, как каменная жизнь славян, ограничившаяся до Петра I гигантской кристаллизацией. Славянский мир, которого мощный и полнейший представитель — Русь, из чисто непосредственной жизни в Киевский период переходит в сознательно государственный период с перенесением столицы в Москву; но сил его хватило только на рост; выросши, Русь начинала впадать, несмотря на юность, в маразм и ее ждало или разложение, или искупление извне. Это искупление принес с собою с запада Петр I и сунул его жесткой рукой бунтовщика, который был вместе с тем и царем. Народ собственно мало участвовал во всей истории, он пробуждался иногда, являлся с энергией как в 1612, так и в 1812, никогда не показывал ни малейшего построяющего, зиждущего начала и удалялся пахать землю. Эта даль и безучастие народа есть, может, великое пророчество, но его прежде надобно признать как факт,— этого славянофилы не хотят. С другой стороны, не надобно никак забывать, что какое бы двойство между народом и правительством ни было, однако правительство принадлежит к народу, а до Петра оно вместе с церковью было совершенно русское,— между тем, чуждое всякого развития и прогресса,

оно дошло до того, что первый гениальный царь, попавшийся на престол, отбросил ржавые рычаги патриархально-помещичьего управления огромной страной и, желая привить ей европеизм, начал с учреждения страшного, высшего деспотизма и инквизиционно-канцелярского управления. Эта расторженность спасла Россию, ей мы обязаны тем развитием, которое теперь по частным случаям дает нам право делать высокие заключения о будущем призвании. В сторону все предрассудки, с которыми по преданию смотрят самые философы! Например, ставят в первое достоинство воинственность народа, богатство городов и пр., в то же время как проповедуют уничтожение войны и неестественность больших городов; количество земли занимаемой ставится до сих пор в достоинство, расширение границ принимают за успешное развитие etc. Я не этих условий ищу у былой жизни славян (хотя надобно сознаться, что завоевание, богатство и проч. свидетельствует в пользу энергии и богатства не пришедшей в ясность мысли), а ищу того сочленения, того намека на будущее, как у древнего германца времен Тацита; намеки эти едва видны в быте, в направлении хлебопашеском, в деревнях и равнодушной негации всего прочего. История же скучна, бедна, она не вовлекала всех сил народа в свою ткань, она оставляла его почвой — и не более.

24. Мицкевич приводит, между прочими черногорскими песнями и легендами их и сербов, одну прекрасную и исполненную грации. Три брата строили крепость, но она все не строилась; наконец, какое-то видение сказало им, что надобно закласть в стену первую особу, которая на другой день принесет им завтрак. Они согласились и дали друг другу слово молчать. Но старшие братья предупредили своих жен. Меньшой смолчал. На другой день жена его кормила грудью ребенка, и мать ее предложила ей идти за нее нести завтрак, но она остановила старуху, дала ей нянчить младенца и пошла. Муж обнял ее с горькими слезами и отдал каменщикам; начали закладывать бедную женщину, она сначала думала, что с нею шутят, потом, испуганная, начала молить, просить — все от нее убежали, тогда она стала молить каменщиков оставить два окошечка,— одно для груди, чтоб покормить своего милого ребенка, другое для глаз, чтоб взглянуть на него. Так жила

она год, потом окаменела, и остались окошечки, и из обоих льются два вечных ручья,— один из ее груди, другой ручей слез из ее глаз. Чрезвычайно поэтический образ. Поэма о свадьбе Зерноевича на дочери венецианского дожа, вероятно, славяноф⟨илам⟩ не понравится, она вся сплетена из обманов, лжей, коварных убийств и, наконец, ренегатства. Максим делается Скандербегом. Замечательно удивление славян, когда венецианка заговорила о своих правах; они не привыкли, чтоб жены их говорили против воли мужей. Сравнить с этой поэмой, например, лангобардские рассказы Павла-диакона, в которых видна вся сентиментальность, чистота нравов и уважение к женщине германцев. И притом надобно вспомнить, что Павел жил в VIII веке, а славянская поэма писана не ранее XV.

Март месяц.

5. Чаадаев превосходно заметил однажды, что один из величайших характеров христианского воззрения есть поднятие надежды в добродетель и постановление ее с верою и любовью. Я с ним совершенно согласен. Эту сторону упования в горести, твердой надежды в, повидимому, безвыходном положении должны по преимуществу осуществить мы. Вера в будущее своего народа есть одно из условий одействотворения будущего. Былое сердцу нашему говорит, что оно не напрасно, оно это доказывает тем глубоко трагическим характером, которым дышит каждая страница нашей истории. Польша имела свои светлые годы при Ягеллонах, свою блестящую жизнь при Сигизмунде-Августе, свои упоения славой при Стефане Батории, при Яне Собесском. Она жила, жила аристократией, как и вся Европа тогдашняя. Русь в это время переходила от скорби к скорби, и первые самобытные, государственные шаги ее делает царь Иоанн Васильевич Грозный, самое трагическое лицо в истории человечества,— великий ум, сердце гиены и ирония, почерпнутая из глубокого презрения людей и своего народа, развитая византийско-схоластической софистикой. И от него Русь унаследовалась Петру. И с положением первого камня на балтийском берегу начался новый акт трагедии, его характер — открытое расторжение народа на две части: одну немую, другую посторонною народу, бесхарактерную. Бесхарактерность

высших классов у нас до того велика, что они, как дворяне, принимают весь характер царствующего лица. Патология и характеристика Екатерины, Павла, Александра — единственный ключ к пониманию русской истории нового времени.

6. Гречева защита государя против Кюстина факт поразительный*, — она обвиняет правительство гораздо хуже Кюстина тоном апологии и то, что она хвалит. Явная ложь, наглые, презрительные ссылки на дела, всем известные и представленные совсем иначе, рабский, холопский взгляд и дерзкая фамильярность, для того выставляемая, чтоб показать нашу удивительную патриархальность относительно государя. Он его трактует comme un des ses amis[1]. Есть страницы, поражающие цинизмом раба, потерявшего всякое уважение к человеческому достоинству. Он полагает, например, что человек, не находящий правительство сообразным с своим понятием о праве и недовольный им, *должен* ежеминутно трепетать, ибо он знает, что достоит Сибири. Нигде не защищает он России, он говорит только о лице государя, оправдывает его и, говоря о секретных делах, всякий раз уверяет, что он знает их из достоверного источника. Так как Греч — орган правительства, то по его брошюре разом измеряется все расстояние между народом и Петербургом. Если б была симпатия, этим ли путем, этими ли устами защитилось бы правительство? Греч предал на позор дело, за которое поднял подлую речь. Лабинский показал более такту*— он не смел с презрением говорить о Трубецкой и пр., что цензура учреждена не для правительства, а для народа, что благороднейшая часть народонаселения фурнирует полицейских чиновников, что в Петербурге можно так же свободно говорить, как в Лондоне и Париже. Наконец, отрицая факты всем известные, Греч усугубляет вдвое силу диатрибы. Например, он говорит, что это ложь, что государь значительную часть времени проводит на разводах, парадах и поездках,—а ⟨не⟩ в кабинете; что насильственное и тяжкое производство работ в Зимнем дворце — ложь. Такое оправдание — кара, кара за неуважение к национальному перу, кара за боязнь замешать мысль в оправдание, кара за свою разобщенность. Вглядываясь в общий дух

[1] как одного из своих друзей (франц.).— *Ред.*

воззрения гречеправительственного, хочется произнесть анафему на все эти громкие улучшения, о которых толкуют с Петра Великого и которые вносятся на конце штыка или привязанные к кнуту. Не надобно благодеяний, когда они даются с презрением и с целью задушить ими облагодетельствованных.

7. Умер Юшневский, один из главных членов Южного общества, некогда генерал-интендант II армии, отправленный в 26 году в каторжную работу. Он умер на поселении. Друг его, с которым он вместе жил, Вадковский, умер за три дни, Юшневский нес гроб его, и в церкви, когда священник стал читать евангелие, колена его погнулись, голова опустилась,— подошли к нему и нашли один труп. Тут все колоссально и страшно. И 19 прошедших лет, и безвыходность, и смерть этих лиц — последнее торжество, которое они могут дать власти. Быстро идут они в могилу, и ни один радостный луч не посветит им при переходе на тот свет. Vae victis![1]

Грановский заключил последнюю лекцию превосходными словами,— рассказав, как французский король губил тамплиеров, он прибавил: «Необходимость гибели их, их виновность даже ясны, но средства употребленные гнусны; так и в новейшей истории мы часто видим необходимость победы, но не можем отказать ни в симпатии к побежденным, ни в презрении к победителю». И неужели эта аудитория, принимающая его слова, особенно такие слова, с ужаснейшими рукоплесканиями, забудет их? Забыть она их, впрочем, имеет право, но неужели они пройдут бесследно, не возбудив ни одной мысли, ни одного вопроса, ни одного сомнения? Кто на это ответит? Страшно сказать «нет», и «да» страшно сказать.

10. Перечитал речь об «Уложении», Морошкина. Из всего, что я читал, писанного славянофилами, это, без сомнения, и лучшее и талантливейшее сочинение. Он глубоко понял русскую юридическую жизнь. «Уложение» представляло возможность органического развития, а не петровского столпотворения, помутившего новыми началами старые, старыми — новые. Время приведет все в порядок, но в петровский период внесена бездна зла: аристократия, инквизиционный процесс, военный

[1] Горе побежденным! (лат.).— *Ред.*

деспотизм, разделение сословий, произвольные нововведения, составлявшие иллогизмы. Они имели поползновение внести аристократический элемент в духовенство, они убили остатки славянского судопроизводства и сельское маклерство. Но что было делать для вывода России из косного положения кошихинских времен? Нам хорошо теперь задним умом рассуждать. Удивительная задача в истории — развитие России.

14. Петровский период важен именно как разрыв, как критика и отрицание. Русь не выступала из уз семейно-патриархальных. Царь Алексей Михайлович был помещик. Петр разрушил в правительстве единство с народом, он отвлеченные понятия поставил вместо косных, непосредственных понятий. Он вызвал полярность, противупоставил одни элементы другим, — родные братья, вовлеченные в борьбу, не узнавали друг друга, и тут их вина более, нежели переворота, они бессознательно были братья, и потому инстинкт не устоял против революции. Правительство заняло относительно народа совсем другое место, оно не его мысль выражало, а мысль европеизма и отвлеченной централизации; оно сочло себя, за одно желание образования, образованным и смотрело на народ как на стадо. Реформа мало касалась народа, реформированною толпою сделалось дворянство — его обрили, дали право не быть сеченым и пр. Теперь реформа приближается к деревне. Все вместе дало те начатки движения и жизни, которые мы видим своими глазами.

Перелистывал Балланша «Palingénésie sociale», ум слоя морошкинского, пластический, чувственно логический и не способный к диалектике, но множество *предчувствий* истинных, симпатий и придыханий к будущему. Его появление, вскоре после начала рестаурации, должно было сделать большое влияние, он гораздо далее смотрел, нежели Шатобриан или Местр. Его язык темен, фантазия мешает и помогает ему, он объясняется мифами, и, кажется, сам чувствует недостаток ясности, этот недостаток он думает вознаградить повторениями и многословностью. Но имя его не должно забывать ни в развитии философии истории, ни в истории социализма.

17. Дочитал Мицкевича лекции*. Много прекрасного, много пророческого, но он далек от отгадки; напротив, грустно видеть,

на чем он основывает надежду Польши и славянского мира. В его надежде, если ее принять за надежду всех поляков, полный приговор Польше. Нет, не католицизм спасет славянский мир и воззовет его к жизни, и (истина заставляет признаться) не поляк поймет будущность. Мицкевич сам цитовал стихи своего соотечественника, который говорит: «Гений в тысяче голосах, его окружающих, умеет понять истинный, вслушаться в него и потом смело броситься в колесницу и лететь на совершение»*. Мицкевич не узнал этого голоса. Он далек от ненависти к России — напротив, он хвалит ее,— но не понимает, до того не понимает, что иной раз лучшие ее стороны его приводят в отчаяние: так, в Петре он понял одну отрицательную сторону, равно и в Пушкине, а он был дружен с ним; и как же его душе поэта было не понять Пушкина? Литературное движение после Пушкина вовсе не существует для него. Во всем веет трагический дух графа в «Comédie internale»*; но Польша будет спасена помимо мессианизма и папизма.

19. Превосходные рассказы Михайла Семеновича* о своих былых годах и, между прочим, о мелком чиновничестве, «о протоколисте Котельникове», имя которого не должно изгладиться из истории бюрократии. Во всех этих рассказах пробивается какая-то sui generis струя демократии и иронии. Люди эти, ненавидимые народом и презираемые властию, с злою улыбкой смотрят вниз и вверх и побеждают умом, безнравственной казуистикой, которая с тем вместе свидетельствует о чрезвычайном развитии юридической способности. Мелкие чиновники — не худшее сословие в России, пора перестать исключительную стрельбу по маленьким взяточникам, довольно ругали титулярных советников и канцелярских, пора иронию возвести в чин; правда, разврат их и цинизм глубоки, но сквозь гнусные испарения мне виднеется важный элемент: религиозно-гражданского чувства, консервативного, преданности у них нет. Котельников говорил, что «он ездил на 11 исправниках, ведь всякие бывают, к иному подойти страшно, точно бешеный жеребец, и фыркает и бьет, а смотришь — в езде куда хорош». И посмотришь на этого сального протоколиста, который кланяется в ноги исправнику, стоит дрожа перед губернатором, — ведь это одна комедия: он равно смеется в душе над исправником, как над

губернатором, он обманывает их подлостью, и они не имеют средств миновать; он понимает свое превосходство над ними, свою необходимость, ведь для практического и истинного исполнения ни один закон, ни одно распоряжение не минует мелкого чиновника, а он-то и обрежет крылья министерской фантазии.

У нас понятие о вине и правоте подсудимого для судьи лишнее, он знает, что подсудимый подошел под такую-то статью, и судья всегда жалеет *о неосторожности* и готов указать возможность миновать статью.

24. Gfrörer, «Geschichte der christlichen Kirche», I T. Поразительное сходство современного состояния человечества с предшествующими Христу годами придает удвоенную важность истории развития церкви и времени, предварившего евангельское учение. С одной стороны, древний мир был весь собран в один узел, в один царящий орган, с другой — в самом этом средоточии обличилась ярко необходимость возрождения. Между тем вдали от центра разработывались, бродили неустроенные и приходили в органический порядок смутные идеи нового порядка дел, мира возникающего. Окаменелое учение саддукеев, несколько принявшее в себя чуждых начал учения фарисеев, дряхлеет; терапевты и ессениане выступают из иудаического мира в иной, в котором неоплатонизм, александрийская мистика дают совершенно новое направление. Главнейшие истины христианской теодицеи и христианская нравственность проявляются отрывочно в новых учениях. Ессениане учреждаются точно так, как после апостолы, по свидетельству е⟨вангелиста⟩ Луки. Иосиф говорит, что «у них каждый вступавший в орден приносил свое имущество, которым распоряжалось общество, бедных не было — так, как и богатых, собственность была слитная, братству принадлежащая». Чистота нравов, доведенная до монашеского аскетизма и плотьумерщвления, свидетельствует ясно, что они так же, как Христос, принимают плоть за зло и умерщвлять ее считают святейшим делом. Они отрекаются от кровавых жертв. Наконец, у них, как у мистических неоплатоников, слагается учение о единичной тройственности бога; от основной нравственности берут смирение, веру и любовь, — все веет евангелием, и во всем чего-то недостает,—

того властного слова, той конкреции, той молнии, которая единым учением, полным и соответственным выразить, осуществит бродящие и несочлененные части, предсуществующие ему.

Неопределенное чувство этой неполноты выражается упованием мессии. В наше время социализм и коммунизм находятся совершенно в том же положении, они предтечи нового мира общественного, в них рассеянно существуют membra disjecta[1] будущей великой формулы, но ни в одном опыте нет полного лозунга. Без всякого сомнения, у сен-симонистов и у фурьеристов высказаны величайшие пророчества будущего, но *чего-то* недостает. У Фурье убийственная прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальном основании, — счастье, что ученики его задвинули его сочинения своими. У сенсимонистов ученики погубили учителя. Народы будут холодны, пока проповедь пойдет этим путем; но учения эти велики тем, что они возбудят, наконец, истинно народное слово, как евангелие. Доселе с народом можно говорить только через священное писание и, надобно заметить, социальная сторона христианства всего менее развита; евангелие должно взойти в жизнь, оно должно дать ту индивидуальность, которая готова на братство. Коммунизм, конечно, ближе к массам, но доселе он является более как негация, как та громовая туча, которая чревата молниями, разобьющими существующий нелепый общественный быт, если люди не покаются, видя пред собою суд божий. «Искупление, примирение, παλιγγενεσία и ἀποκατάστασις πάντων»[2] — слова, произносимые тогда и теперь. Обновление неминуемо. Принесется ли оно вдохновенной личностью одного или вдохновением целых ассоциаций пропагандистов — собственно, все равно; разумеется и то, что пути эти вовсе не противуположны. Христианство не заключается в Христе, а в Христе и апостолах, в апостолах и их учениках, в живой среде их оно развивалось и становилось тем, чем человечеству надобно было.

27. Жизнь человека — беспрерывная, злая борьба; лишь только, с одной стороны, побеждены препятствия, улажен мир,

---

[1] разъединенные члены (лат.).— *Ред.*

[2] возрождение и приведение всего в первоначальное состояние (греч.).— *Ред.*

с другой — восстают из-под земли, падают с неба враги, нарушающие спокойное пользование жизнию, гармонию ее развития. Настоящим надобно чрезвычайно дорожить, а мы с ним поступаем неглиже и жертвуем его мечтам о будущем, которое никогда не устроится по нашим мыслям, а как придется, давая сверх ожидания и попирая ногами справедливейшие надежды. Только было наша внутренняя жизнь пошла поспокойнее, страшная болезнь малютки повергла опять в судорожное состояние людей, ожидающих сентенцию капризного царя,— снова слезы, разрушение едва восстановленных сил ее и темная ночь. Беспрерывный стон младенца имеет в себе что-то уничтожающее для всякого уха (человеческого). А для матери! И это беспрестанное присутствие с невозможностию помощи, с ненужностью пособий. Кто главный виновник этих страданий, неразрывных с семейным бытом? Устройство ли семейства? Или при всяком сожитии людей не отстранятся эти удары? Отвернуться от них можно. Избыток эгоизма и сосредоточенности на себе или совершенная преданность всеобщим интересам облегчает крест частной жизни. Но для всех ли? Фурье разрубил вопрос, но не развязал узла кровных сношений; Фурье не понял женщины, не понял любви — ему беспрестанно мерещились развратные браки, негодные женщины, скверные отцы и ложная наружность, которой все это прикрыто лицемерной внешностью, и кто не согласится, что легальное, юридическое определение брака, родства etc., сходное с католическим и феодальным воззрением, несостоятельно? Но внутреннее венчание любовью, истинные отношения мужчины к женщине, обоих к детям не улаживаются так легко словом «общественное воспитание». Напротив, при совершенной свободе отношений вся ответственность падет на самого человека. Брака не будет — любовь останется, наследства не будет — дети будут. Отстранить мать от воспитания детей можно только тогда, когда она хочет этого. Но та мать, которая этого хочет, и в теперешнем устройстве не много страдает от детей, — речь не о ней, речь о матери любящей. Силой отнять детей — варварство и противуречие с системой, дающей всякой страсти развитие. И жизнь снова утянута в жизнь детей, истощена ими, и она, исходя любовью, исходит силами. Но такое несчастное положение не лучше ли

довольства? Но среди этих борений не являются ли минуты, о свете которых другие и понятия иметь не могут?

28. Конечно, любящая мать будет страдать от случайностей, которым подвержено существование детей. Но в общинной жизни, развитой на широких основаниях, женщина будет более причастна общим интересам, ее нравственно укрепит воспитание, она не будет так односторонно прикреплена к семейству, и тогда удары будут выносимее. В прошлом быте также было утешение в отрыванье себя от частного возношением к богу, в молитве.

Личность Иисуса, лишенная своей сверхъестественной стороны, выступает у Гфререра недосягаемо прекрасна,— великое помазание всемирного призвания, самоотвержение, бесконечная любовь, наконец, самопожертвование для запечатления истины, для торжества идеи. Г⟨фререр⟩ очень хорошо рассматривает отношение Иисуса к Иоанну, к положительной религии и к положительному праву. Враждебные начала христианству должны были привиться с первого шага апостольской пропаганды,— конечно, Христос не хотел церкви с окаменелыми институтами, целиком взятыми от левит, но как без наружной церкви могла возрасти внутренняя идея? Первая христианская община была ессейски-иудаическая, она не оторвалась от преданий и от нравов израильских, она делила с фарисеями веру второго для нее, первого для них, пришествия. Она мало сообщалась с язычниками. Апостол Павел словом и разорение Иерусалима событием оторвало христианство от иудаизма. Иерусалим не мог уже быть средоточием новой религии, и учение Христа приняло свой вселенский характер. Запутанное в иудейские формы, оно не могло бы быстро перейти в другие народы.

30. Никто ранее 25 лет не может ехать за границу, пошлины 700 рублей в год, паспорты выдаются только в Петербурге, жена без мужа не может ехать*. Я желаю прочесть этот указ печатный, чтоб иметь материальное доказательство такого беззакония и безобразия, совершающегося около половины XIX века. Все эти оскорбительные, исполненные презрения всех прав меры возрастают — времена Бирона и безумных мер Павла очью совершаются и, вероятно, долго продлятся. Какие плечи надобно иметь, чтоб не сломиться!

3. Пастор Reuter в Гессен-Дармштадте был взят под стражу за политические мнения и при допросе пытаем ужаснейшими средствами: ему набивали кольцо цепи на кость руки, секли его etc. Приведенный в отчаяние и бешенство, старик хотел перерезать себе горло стеклом, и, как разумеется, не мог, однако его нашли мертвым. Доктора нашли, что смерть причинена не разрезом стекла, а другими острыми орудиями (которых в тюрьме не было). Вот плод инквизиционного процесса и прекрасный материал к истории современных германских правительств. Судья, пьяница и делатель фальшивых документов, осыпан крестами etc.

Разные анекдоты о Петре I Странное сочетание гениальности с натурой тигра. Страшен процесс, которым страна могла дойти до необходимости появления такого врача, до возможности его и до того, что она могла вынести такое царствование. Возмущенные стрельцы говорили, что Петр не сын царя Алексея Михайловича, а Ягужинского. Однажды, середь оргии, Петр стал приставать к Ягужинскому, отец ли он его. Тот, удивленный, отпирался, Петр велел его поднять на дыбу и допрашивать; тогда взбешенный Ягужинский отвечал: «Чорт тебя знает, чей ты сын, у твоей матери были разом три любовника, и я в их числе». В Пскове он такие неистовства наделал в церкви, что его народ чуть не убил. Он страшно переказнил священника и бросившихся на него. Их распяли, и он сам перестрелял их потом. Марат, Робеспьер и Фукье Тенвиль вместе. Понять, оправдать. отдать не токмо справедливость, но склониться пред грозными явлениями Конвента и Петра — долг. Более, в самих гнусностях их не должно терять явного признака величия. Но не всех актеров 93 года можно любить, также и Петра.

5. Итак, указ о путешествиях не пуф, в нем есть какое-то величие безобразия и цинизма, это язык плантатора с неграми; тени уважения к подлым рабам, которым писан фирман, нет; власть не унизилась, чтоб сыскать какой-нибудь резон, хотя ложный, но благовидный, она попирает святейшие права, потому что презирает; она нагла нашей низостью. Усовершаться в художествах и ремеслах позволено, но не в науках! Страшное

время: силы истощаются на бесплодную борьбу, жизнь утекает, и ни капли отрадной, ни близкой надежды — ничего.

10. В Тамбовской губ. было возмущение крестьян одной волости. Характер дела (по рассказам) довольно замечателен. Крестьяне жаловались, что с них берут лишние поборы. Министр государственных имуществ велел им дать расчет, что они должны платить, но с них, несмотря на то, стали требовать гораздо более. Тогда они втиши наделали кистеней, пик и отказались от платежа. Явилась земская полиция и начальство п⟨алаты⟩ государственных имуществ. Они их прогнали. Привели роту солдат, солдаты не хотели стрелять,— чуть ли не первый случай после Петра. Разумеется, наконец их усмирили и, вероятно, часть перебита, а десятого после кнута отправят в каторжную работу. Все мужики этой волости молокане; перед ними шла девушка, певшая псалмы. И так из раскольничьих скитов вырываются такие звуки среди общей немоты крестьян.

14. Замечательная статья в 3 последних №№ «Московских ведомостей» об освобождении негров*. Приложение прямое, и в официальной газете.

Читал Гегелеву философию природы (Encyclopedie, II Т.). Везде гигант, многое едва набросано, очеркнуто, но ширина и объем колоссален. Какой огромный шаг в освобождении от абстрактных сил, в введении в свои рамы категории величины, которой подавляли все земное, и какой перевес качеству, конкреции; он освобождает в полном развитии человека от его материального определения, от его теллурической[1] жизни, адекватностию его формы понятия (чем беднее его развитие, тем более он зависим от природы). Дух вечен, материя — всегдашняя форма его инобытия. Лишь только форма способна, лишь только она может выразить дух,— она и выражает его. Здесь там, везде, где условия органического возникновения собрались — одействотворились. Как началась индивидуализация земной планеты, солнечной системы, что было прежде etc., etc. — на все это очень трудно отвечать, главное — всякий раз попадешь в ту ли, в другую ли сторону in die schlechte Unendlichkeit[2].

---

[1] земной, от tellurien (франц.).— *Ред.*

[2] в дурную бесконечность (нем.).— *Ред.*

Инобытие, чем полнее одна внешность, чем далее от адекватности с понятием, тем упрямее оно в своей материальности, тем естественнее оно удерживается от разрешения в мысль и, схваченное в односторонности, представляет именно die schlechte Unendlichkeit вещества. Рассудком не выйдешь из этих логических кругов, так как рассудком никогда не поймешь жизнь органическую, ибо жизнь сама в себе, an sich, спекулятивна. Рассудочная истина формально до оконченности ясна, но плоска, и истинного примирения в ней нет. Спекулятивная, повидимому, смутна, но она глубока.

19. Конечно, Гегель в отношении естествоведения дал более огромную раму, нежели выполнил, но coup de grâce[1] естественным наукам в их настоящем положении окончательно нанесен. Признают ли ученые это или нет — все равно, тупое Vornehmtuerei des Ignorierens[2] ничего не значит. Гегель ясно развил требование естественной науки и ясно показал всю жалкую путаницу физики и химии, — не отрицая, разумеется, частных заслуг. Им сделан первый опыт понять жизнь природы в ее диалектическом развитии от вещества, самоопределяющегося в планетном отношении, до индивидуализации в известном теле, до субъективности, не вводя никакой агенции[3], кроме логического движения понятия. Шеллинг предупредил его, но Шеллинг не удовлетворил наукообразности. Сам Гегель не может (в чем его упрекает Тренделенбург) держаться беспрестанно в изреженной среде абстракций, и действительность жизненно, со всем огнем, врывается представлениями, фантазиями, поэтическими образами (за что Гегель заслуживает большую похвалу), но он верен и неумолимо строг в общем развитии; Шеллинг провидел требования, но слишком легкой дорогой удовлетворился ими.

24. 22 окончился курс Грановского. Этот курс — событие,— событие, имеющее большое значение. Сверх внутреннего своего достоинства, он имеет внешнюю важность тем, что теперь начнутся публичные курсы; публика узнала новое, сильное, вол-

---

[1] смертельный удар (франц.).— *Ред.*

[2] высокомерное игнорирование (нем.).— *Ред.*

[3] действующей причины, от agentia (лат.). — *Ред.*

нующее наслаждение всенародной, энергической речи. Доценты увидели, какою аудиторией может Москва окружить их. Симпатия к Грановскому далеко превосходит все, что можно себе представить; публика была удивлена, поражена благородством, откровенностью и любовью; Грановский прямо касался самых волнующих душу вопросов и нигде не явился трибуном, демагогом, а везде светлым и чистым представителем всего гуманного. На последней лекции аудитория была битком набита. Когда он в заключение начал говорить о славянском мире, какой-то трепет пробежал по аудитории, слезы были на глазах, и лица у всех облагородились. Наконец, он встал и начал благодарить слушателей — просто, светлыми, прекрасными словами, слезы были у него ⟨на⟩ глазах, щеки горели, он дрожал. «Благодарю тех,— так кончил он,— которые с симпатией слушали меня и разделяли добросовестность тона ученых убеждений, благодарю и тех, которые, не разделяя их, с открытым челом, прямо и благородно высказывали мне свою противуположность. Еще раз благодарю вас». Он молчал и кланялся. Безумный, буйный восторг увлек аудиторию, — крики, рукоплескания, шум, слезы, какой-то торжественный беспорядок, несколько шапок было брошено на воздух. Дамы бросились к доценту, жали его руку, я вышел из аудитории в лихорадке. Слава доценту и слава аудитории! Литераторы, товарищи, друзья приготовили обед*; влияние последних слов было так сильно и так живо, что все противуположные воззрения примирились в дружеском торжестве и самые противуположные натуры искали друг друга, чтоб заявить свое различие и уважение. Весело, шумно и, наконец, пьяно окончился этот день. Его отметят многие, он многим вспомянется как прекрасный праздник любви и симпатии.

27. Спор университета и церкви развивается и далек от конца. Современное состояние истинно удручает неуловимостью своей, видом всесовершеннейшего беспорядка. В былое время вопрос современной жизни разрешался односторонно, но в силу его жали⟨?⟩ Непримиримость элементов резко кидается теперь в глаза и не дозволяет трезво мыслящему удовлетвориться частным решением. Давно забытые элементы жизни, вызванные с дна могил невыносимой тоскою ожидания, в буйном брожении смешались с новым и младенчествующим, осадок и пена равно увлеклись

брожением. Это последнее явление, пред новым пришествием истины и мертвые подали свой голос и заявили свои права, чтоб не быть забытыми при воскресении. Но как тяжело с этими мертвецами, и тяжело потому, что, не будучи слепыми, мы не можем отрицать в них остаток жизненности, а в противуположном зачаток смерти. Именно это-то и страшно и давит. Человек 93 года знал знамя, к которому стать и которое вполне соответствовало ему. А тут, например, вам равно не хочется ни с доктринерами защищать полицейскими мерами университет, ни с иезуитами, усилившимися тем, что полиция их толкает. Так и наши ультраславянофилы: чувствуешь все делящее от них и чувствуешь симпатию, и понимаешь, как они пришли к своему воззрению и как противуположное воззрение при неосторожности переходит в петербургский взгляд, в то время как западно-либеральные головы считают национализм подпорою правительства. Что тут делать? Ждать ли, пока вырастет уже родившийся мессия, о котором проповедуют Товианский и Вронский, или броситься à corps perdu[1] в односторонность, или широко гуманным взглядом обнять все эти односторонности и понять их приготовленными буквами святого глагола, который раздастся? Или сложить руки и лечь спать?

Май месяц.

4. Нет ничего забавнее и досаднее, как juste milieu[2] во всяком деле; это безразличная точка в магните, это статическая задача, употребляющая все силы на поддержание равновесия и не имеющая после сил в остатке для какого-нибудь действования, это австрийская политика. Храбрость последовательности — великое дело. Вчера я душевно смеялся на старание Редкина вывести личного бога и христианство путем чистого мышления. Логика доводит до идеи, до безличного духа, который личен в человеке и через человека себя познающ; далее не выведешь ничего, кроме непростительной таутологии, которой угощали берлинские философы Германию. Раз дух — как всеобщий дух человечества, которому оно необходимо,— другой дух —

---

[1] очертя голову (франц.).— *Ред.*

[2] золотая середина (франц.).— *Ред.*

личный, экстрамундальный; но дух без мира, an sich, есть логическая абстракция, стало, и тот дух имеет свою объективность, свое außer sich sein[1] — и опять schlechte Unendlichkeit. В логике слова: Gott, Geist, übergreifende Subjectivität[2] — вовсе не значит eine bestimmte Persönlichkeit, eine Individualität[3]; индивидуальность подчинена категории времени, она употребляет эти слова как persona moralis[4], как дух такого-то народа, такой-то эпохи. А этим господам страшно, они имеют голос в груди, препятствующий идти до этих результатов. Хорошо: ну, так принять, что путь, который привел к нелепости, ложен, и надобно отбросить науку — опять трусость и непоследовательность. Да мы примирим, уладим и науку и религию. Религия примет ли такое примирение, она отречется во имя церкви так, как наука отречется во имя логики. Бакунин горько выразился, говоря, что люди du juste milieu похожи на польских жидов, которых и Россия и Польша вешали*.

12. Наши праздники 8 и 9 были хороши нежданным приездом для них старого друга*, участника на первом плане тогдашних дней. Обстановка в прошлом году была страшнее, теперь фактически черного мало, но таков рубец, оставляемый от зажавших ран, такова его жизнь в памяти, что того полного доверия простосердечного нет; однажды обожженный молнией боится каждой грозы, он свои силы на противудействие истощил,— напрасно думают, что силы развиваются в муках.

Хомяков писал к Ивану Васильевичу, предлагая «Москвитянина» и стращая его, что их противники хотят купить «Галатею»*; все это продолжалось в то время, как Хомяков торжественно мирился и примирял. Иван Васильевич отклонил предложение и спрашивает, кто эти противники, не Грановский ли с друзьями, что в таком случае он к ним чувствует более симпатии, нежели ко всем славянофилам. Черта истинно московско-русская в Хомякове,— это лукавство, прикрытое

---

[1] бытие вне себя (нем.).— *Ред.*

[2] бог, дух, перехватывающая личность* (нем.).— *Ред.*

[3] определенная личность, индивидуальность (нем.).— *Ред.*

[4] нравственная личность (лат.).— *Ред.*

бономией[1]. Истинного сближения между их воззрением и моим не могло быть, но могло быть доверие и уважение, которое и есть между другими,— например, между нами и Киреевскими. С полной гуманностью, подвергаясь упрекам со стороны всех друзей, протягивал я им руку, желал их узнать, оценил хорошее в их воззрении. Но они фанатики и нетерпящие люди. Они создали мир химер и оправдывают его двумя-тремя порядочными мыслями, на которых они выстроили не то здание, которое следовало. Всех ближе из них к общечеловеческому взгляду Самарин, но и у того еще много твердо и исключительно славянского. Аксаков во веки веков останется благородным, но и не поднимется дальше москвофилии.

17. Огромное письмо, вроде диссертации, от Белинского*. Возражение на мое, писанное с Ив. Павл.*, — энергия и невозможность дела сломили его. Возможность внутренняя и невозможность внешняя превращают силы в яд, отравляющий жизнь, они загнивают в организме, бродят и разлагают, отсюда взгляд гнева и желчи, односторонность в самом мышлении. Белинский пишет: «Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу»; он страдает и за свои страдания хочет ненавидеть и ругать филистимлян, которые вовсе не виноваты в его страданиях. Филистимляне для него славянофилы; я сам не согласен с ними, но Белинский не хочет понять истину в fatras[2] их нелепостей. Он не понимает славянский мир; он смотрит на него с отчаянием, и неправ, он не умеет *чаять жизни будущего века*. А это чаяние есть начало возникновения будущего. Отчаяние — умерщвление плода в чреве матери. Буду писать к нему такое же длинное письмо. Странное положение мое, какое-то невольное juste milieu в славянском вопросе: перед ними я человек Запада, перед их врагами человек Востока. Из этого следует, что для нашего времени эти односторонние определения не годятся.

19. Какой-то пилигрим рассказывал о Соловецком монастыре. Монахи истязают там арестантов ужаснейшим образом; они их секут, вынуждая требовать денег, заставляя в трескучие

---

[1] добродушием, от bonhomie (франц.).— *Ред.*

[2] в ворохе (франц.).— *Ред.*

морозы полуодетых работать и пр. Этими сечениями предводительствует настоятель; секут в трапезе, на техническом языке это называется «лозами смирять гордыню». Ну, в этом, я полагаю, славянофилам не обвинить петровскую реформу. Это так и веет Русью царя Ивана Васильевича и прежними нравами ее.

27. У нас до того все элементы перепутаны, что никак нельзя указать, с которой стороны враждебный стан; быть может, это и хорошее начало, указующее, что все стороны, отдельно взятые в европейском быте,— отдельно взятые, не могут служить определением, разве только отчасти. Конечно, подобное совершается теперь в Европе, этому лучшее свидетельство — упадок либерализма, конституционной оппозиции, вигизма,— так, например, теперь возникают вопросы в парламенте (Эшлея предложение* и др.), в которых голоса делятся по другим началам и доля вигов с долею тори против такой же помеси. Зато там правительство всегда понятно, с какой стороны. У нас и этого нет. Новые постановления об экзаменах* и получении степеней ученых идут из совершенно иного источника, нежели закон о паспортах. Никакой системы, никакой единой мысли,— это — чего нет другого — придает интерес сюрприза.

30. Вчера проводили Кетчера. Время идет да идет. Мы разлучаемся, снова сталкиваемся, и все в том же элементе бездействия, пустоты и духоты. Иногда мне кажется, что старость возле носа, что она нас застигнет и нам останутся одни воспоминания стремлений, надежд, и лень еще более западет в душу... Право, от этого более нежели близко, и что-то так тягостно, страшно начнет делаться. Писал к Белинскому, утешал его, а в сущности я вовсе не так далек от многих воззрений его.

Июнь месяц.

2. Дочитал вторую часть Гегелевой «Энциклопедии». Конечно, это не такое оконченное и полное здание, как его «Эстетика», но великий мыслитель не изменил себе в философии природы,— гениальные мысли, заставляющие трепетать, поразительные простотою, поэзией и глубиной, рассеяны везде. Зоологический отдел и органика вообще превосходны (не вступая в мелочи и дробные рассматривания каждого параграфа); я не знаю никого,

кто бы так вполне понял жизнь и так умел сказать понятое, разве Гёте. В деревне перечитаю еще и составлю записки.

4. Вчера Самарин защищал свою диссертацию*. Непонятно сочетание высоких диалектических способностей этого человека с жалкими православными теориями и с утрированным славянизмом; в нем противуречие это бросается особенно в глаза потому, что у него решительно логика преобладает надо всем. Он, правда, и сам видит шаткость своей фантастической основы, но не отступает от нее. Может, юность, всегда готовая предаваться отвлеченным теориям, виною этого направления, недостаток фактических сведений и неуменье покоряться историческому элементу. Вообще диссертация и защита ее произвела какое-то грустное чувство. Во всем этом есть что-то ретроградное, негуманное, узкое, как и во всей партии национальной. Как с ними ни ладь в некоторых вопросах — остается страшный овраг, делящий и непереходимый. В них бездна детской суетности,— так, вчера Хомяков восторгался фразами о православии, на которые никто не смел возражать. Католик мог точно так же из своих начал хвалить католицизм. Это был бы разговор двух поврежденных.

Продолжал читать давно оставленного Gfrörer'a. Явление гностических школ чрезвычайно важно, здесь все фазы древнего миросозерцания сделали опыт соединиться с философией новой религии. Они проглядели главное — практический характер и простоту христианства, но требования их были справедливы, они хотели догмат превратить по-своему в мысль,— в мысль ученую, *аристократическую*, но этим самым они и были еретиками, потому что христианство имело именно значение как религия, как откровение. Гностицизм некоторым образом привился к греческой церкви, оттого она беспрерывно занималась теодицеей, а западная церковь жизнию. Западная церковь осталась верною апостолу Петру — а Петр был весь в предании иудаизма, иерархии, храма иерусалимского. Во II веке является уже протестант, личность сильная, энергическая и гениальная, Марцион. Последователь апостола Павла, отрешившийся от всего прошедшего иудаизма, человек не буквы, а духа, он имел огромное влияние, и его школа жила до VI столетия. Он понял то, что и до сих пор христиане не поняли,— что Христом снимается

Иегова, так, как Юпитер и пр., что понятие бога, сопрягаемое с Иеговою, противуречит Христу. Итак, во втором столетии существует зародыш протестантизма, являвшийся беспрерывно в разных формах, мнимо подавленный, гнетомый и, наконец, восторжествовавший в Лютере. Тертуллиан — западный католик, в нем пуническая кровь карфагенца очистилась римским законоведением, но осталась африканская; пламенный и практический, он нисколько не похож на трансцендентальных отцов восточных. Восточная церковь всегда глубже и шире занималась догматами и не переходила в жизнь. Католицизм, более односторонний, восполнялся жизнию, на которую имел сильнейшее влияние, и недостаток его отвлеченного принципа стирается полнотою исторического развития. Это два сына евангельской притчи, из которых один зовущему отцу сказал: «Не пойду»— и пошел, а другой: «Пойду» — и не пошел в виноградник. Надобно заметить, что в первые три века учение евангельское и самые основные положения были далеки от всякой твердой и ограниченной догматики, напротив, все вопросы обсуживаются, решаются разно, ум борется с догматом, ищет примирения. Ориген, например, совершенно свободен в своих философски религиозных писаниях. Марцион принимает евангелие за людьми записанные предания и не связывается буквой.

10. В третьем веке уже ярко обозначается характер римской церкви. Вместо распущенности, спекулятивности Востока является энергическая односторонность, из духовной академии выходит в юридически развивающуюся церковь. Видны сильные корни и eine mächtige Tatkraft [1]. Римский первосвященник без всякого права, кроме высокой иерархической мысли и римской почвы, напитанной своим царственным призванием, втесняет свою власть братьям; они ее сносят, возражая, но покоряясь тому законному насилию, которое присуще внутренней силе, власти. Киприан карфагенский, душою иудейский аскет, все западное духовенство тянет к жидовству. Слепая вера в догматы, казуистика в соподчиненных вопросах, фанатизм, деятельность неутомимая, страстная восторженность — вот характер западных отцов; все сочинения их исполнены практического

[1] могучая энергия (нем.).— *Ред.*

христианства, а не теологических тонкостей, это люди буквы в догмате — но люди живые в жизни. Один грек Дионисий завелся между латинским духовенством — и тот написал теорию логоса, послужившую основанием Никейского изложения.

В споре донатистов, в начале III века, впервые христиане отдают временной власти на решение свой спорный вопрос. Константин сначала удивлен, но, верный царской натуре, тотчас берется за решение. Период гонений полон предметов для драм и сцен; тем важнее это, что и у нас рассказы о мучениках возможны, хотя они и столько же *возмутительны*, как отрывки из истории французской революции. Великое одушевление, заставлявшее их так смело становиться против власти, несмотря на то что и они знали текст апостола Павла, служащий опорой всем незаконным властям. Восточные отцы перенесли в свою религию неоплатонизм и софистику эллинскую так, как западные — государственное понятие о единстве и мощном устроении.

12. La destinée terrestre de l'homme est la gestion de son globe... tous les procédés sociaux sortis de l'arsenal philosophique, lois et systèmes, reposent sur des bases essentiellement fausses, puisqu'ils sont contradictoires entre eux, variables et flottants... L'organisation de la Commune est la pierre angulaire de l'édifice social, quelque vaste et quelque parfait qu'il soit.— V. Considérant, «Destinée sociale»[1].

15. Вчера письма от наших из Берлина*, едут обратно к концу августа; опять соберется старая семья друзей, давно не видались. Хотелось бы поскорее передать все пережитое и их послушать.

17. La morale n'est qu'une science mensongère et pédante, qui affiche depuis 3000 ans la prétention de conduire les hommes a la vertu et aux bonnes mœurs avec ses dogmes absurdes de mo-

---

[1] Земная будущность человека — в управлении земным шаром... все общественные средства, вышедшие из арсенала философии, законы и системы покоятся на основах глубоко ошибочных, потому что они взаимно противоречивы, изменчивы и зыбки... Организация Коммуны есть красугольный камень общественного здания, как бы оно ни было обширно и совершенно.— В. Консидеран, «Социальная будущность» (франц.).— *Ред.*

dération et de répression de passions, qu'il faut — au lieu de vouloir les *comprimer* — trouver les moyens *d'utiliser* et de satisfaire. Nous attaquons la morale, précisément parce qu'elle est impuissante à conduire les hommes au bien etc. V. Consid⟨érant⟩[1].

Его сочинение несравненно энергичнее, полнее, шире по концепции и по исполнению всего вышедшего из школы Фурье. Разбор современности превосходен, становится страшно и стыдно. Раны общественные указаны, и источники их обличены с беспощадностью.

Государь был в Лондоне*, видел свободный народ и свободное God save the queen[2], шумное и не из-под палки. Пишут, что общество попечительное о поляках хотело дать бал 10 июня, пока г⟨осударь⟩ в Лондоне; он послал им какую-то вспомогательную сумму, но леди Сомерсет возвратила ее с благодарностью. Островский был арестован во все время пребывания г⟨осударя⟩ — вот и habeas corpus*. Зачем он ездил — внутреннее ли беспокойство влечет к перемене места или политические виды? В новом журнале, который начал выходить с дня объявления свободы книгопечатания в Саксонии для книг свыше 20 листов («Wigand's Vierteljahresschrift»), замечательная статья о войне*; там для Германии европейская война представлена якорем спасения, и именно война с Россией. Может, и для нас война принесла бы что-нибудь. Об эманципации не говорят. На днях в «Московских ведомостях» был указ сенатский по делу о засеченном крестьянине,— 42 пучка розог сломали об него, он умер. Курская уголовная палата не признала помещика виновным и, между прочим, заключает, что «люди одних лет с умершим крестьянином выносят несравненно сильнейшие наказания». Каков цинизм! Но хорош и сенат: он очень осно-

---

[1] Мораль — это лживая и педантическая наука, которая вот уже 3000 лет претендует вести людей к добродетели и добрым нравам при помощи нелепых догм воздержания и подавления страстей, надо же стремиться не *подавлять* их, а *находить им применение* и удовлетворять их. Мы нападаем на мораль именно потому, что она бессильна вести людей к благу и т. д.— В. Консидеран (франц.).— *Ред.*

[2] боже, храни королеву (англ.).— *Ред.*

основательно разобрал всю гнусность действий уголовной палаты и велел ей сделать выговор — в то время как и закон и здравый смысл заставляют удалить от должностей чиновников, явным образом пристрастных. В pendant[1] к этой ужасной истории еще в здешнем сенате было дело о помещике, сославшем своего дворового человека на поселение для того, чтоб воспользоваться значительным капиталом, принадлежавшим дворовому человеку,— тот подал на него просьбу, и дело дошло до сената; обер-секретарь полагал, что помещик должен выдать сосланному деньги. Сенат и министр юстиции решили напротив, но этого мало: обер-секретарю за его мнение, с законом не согласное, велено сделать выговор. Случаи такого грабежа редки в прошедшем, не этим способом помещики эксплуатировали крестьян. Прежде существовала не выраженная в законе связь между владельцем и крестьянином. Теперь из этой непосредственности одна часть выходит к сознанию формального права своего и к желанию воспользоваться им; это превосходно, потому что другая половина не отстанет и поймет разом всю несообразную нелепость своего бесправия. Доказательством может служить уже и то, что дворовый подал просьбу. Они до сих пор не могут совершенно поверить в свое бесправие и никак не полагают, чтоб их собственность была собственностью барина, они даже иногда думают, что правительство в случае неправого с ними поступка защитит их! Побольше таких решений, и сенаторы, сходя в могилу, могут сказать: «И мы принесли свою лепту».

В Силезии бунтуют работники*, ломают машины, бросают изделия etc., etc. Семья вырабатывает там в неделю 16 Gute Gr⟨oschen⟩[2], из которых в последнее время уменьшили еще 2! И после этого фурьеристы неправы, что обличили меркантилизм и современную индустриальность, как сифилитический шанкер, заражающий кровь и кость общества! Купцы сказали просившим работникам прибавки: «Если хлеб дорог, ешьте сено!» Месть бунтовавших очевидна, они жгли векселя, выбрасывали бумаги, деньги, портили товар и не крали.

26. Опять в *Покровском*. Дождь, дурно, серо,— а кругом

---

[1] соответствии (франц.).— *Ред.*

[2] 16 грошей (нем.).— *Ред.*

поля, лес и тишина. Я ужасно люблю тишину; я счастливее в деревне; вероятно, целый год или годы надоело бы жить в деревне, но полгода я готов. Я устаю от шума, от людей, от слухов, от невозможности сосредоточиться, устаю от неестественности городской жизни, мне становится невыносимым дом против моих окон, улица, habitués [1] этой улицы, которых поневоле, наконец, заметишь. Дочитываю V. Considérant — 1 том; хорошо, чрезвычайно хорошо, но не полное решение задачи; в широком и светлом фаланстере их тесновато, это устройство одной стороны жизни — другим неловко.

29. В Вигандовом журнале статья Иордана* об отношении всеобщей науки к философии весьма замечательна. Критика, снявшая религию, стоя на философской почве, должна идти далее и обратиться против самой философии. Философское воззрение есть последнее теологическое воззрение, подчиняющее во всем природу духу, полагающее мышление за prius [2], не уничтожающее в сущности противуположность мышления и бытия своим тождеством. Дух, мысль — результаты материи и истории. Полагая началом чистое мышление, философия впадает в абстракции, восполняемые невозможностью держаться в них; конкретное представление беспрерывно присуще; нам мучительно и тоскливо в сфере абстракций,— и срываемся беспрерывно в другую. Фил〈ософия〉 хочет быть отдельной наукой, наукой мышления und darum zugleich Wissenschaft der Welt, weil die Gesetze des Denkens dieselben seien mit den Weltgesetzen. Dies muß zunächst umgekehrt werden: das Denken ist nichts Anderes als die Welt selbst, wie sie von sich weiß, das Denken ist die Welt, die als Mensch sich selbst klar wird [3]. А потому нельзя наукою мышления начинать и из нее выводить природу. Фил〈ософия〉 — не отдельная наука, на место ее должно быть соединение всех ныне разрозненных наук.

---

[1] Здесь: обитатели (франц.).— *Ред.*

[2] первоначальное (лат.).— *Ред.*

[3] и тем самым наукой о мире, ибо законы мышления якобы те же, что и законы мироздания; это надо прежде всего перевернуть: мышление — не что иное, как сам мир, каким он сознает себя, мышление — это мир, познающий себя в человеке (нем.).— *Ред.*

Июль.

1. Der Mut der Wahrheit, Glauben an die Macht des Geistes ist die erste Bedingung des philosophischen Studiums; der Mensch soll sich selbst ehren und sich des Höchsten würdig achten. Das verschlossene Wesen des Universums hat keine Kraft in sich, welche dem Mute des Erkennens Widerstand leisten könnte, es muß sich vor ihm auftun und seinen Reichtum und seine Tiefen ihm vor Augen legen und zum Genusse bringen.— Hegel's «Anrede an seine Zuhörer». 1818, Berlin[1].

К этому надобно только присовокупить, что такую же веру, твердую и непоколебимую, должно иметь и к природе, к этой вселенной, которая не имеет силы скрыть свою сущность перед духом, потому что она стремится раскрыться ему. Потому еще, что, открываясь ему, она открывается себе.

4. Писал статью для нового журнала (который будет ли — бог и Уваров знает) об натурфилософии*. По этому поводу прочитал или, лучше, пробежал Шиллера историю натурфилософии от Бэкона до Лейбница; скучная книга, хотя и есть интересные подробности. Какая необъятная разница с Фейербаховой историей! Потом попалась известная брошюра Фихте о назначении человека, я ее очень давно читал, лет 12 или больше тому назад. Не помню, в которую эпоху он писал, но странно удовлетвориться этим profession de foi как последним словом. Отвлеченное умозрение не спасает его от скептицизма, знание не удовлетворяет, он хочет деяния и веры (непосредственного и созерцательного начала). Но вера его приводит не к реальному, а идеалистическому миру; правда, этот духовный мир у него и здесь и jenseits[2], т. е. сфера духа Гегеля и

---

[1] Мужественное стремление к истине, вера в мощь духа есть первое условие философского исследования; человек должен чтить себя и считать себя способным достичь вершин. Нет такой силы в скрытой сущности вселенной, которая могла бы оказать сопротивление мужеству познания; она должна раскрыться перед ним, обнаружив свои деяния, глубины и свое богатство и дав воспользоваться ими. Гегель «Обращение к слушателям». 1818, Берлин (нем.).— *Ред.*

[2] по ту сторону (нем.).— *Ред.*

отчасти религиозная будущая жизнь, но в основе ему лежит какое-то странное желание быть неземною,— дань ли это времени или требование стоической, строго нравственной натуры? Он волю ставит выше деяния.

8. Прения о праве вскрытия писем в Лондоне. Там жаловались Маццини и какой-то поляк, что у них министерство читает письма. Возмутился гордый дух законности у порядочных англичан, дебаты кончились ничем, но высказанное велико и прекрасно. Между прочим, оппозиция заметила, что подлейшее в этом — запечатывание письма, что если нужно, то правительство должно делать открыто вскрытие и отмечать на письме, а иначе это подлое шпионство и фальшивый поступок. А у нас — боже мой — лучше и не оборачиваться.

9. «L'Alcade de Zalameya» Кальдерона*. Характер Pedro Crespo превосходен, Don Lope и Etimelle также, миф прекрасный и чрезвычайно драматический, особенно в третьем дне. Велик испанский плебей, если в нем есть такое понятие о законности,— вот он, элемент, вовсе не развитой у нас не токмо у мужика, но и у всех. У нас оскорбленный или снесет как раб, или отомстит как взбунтовавшийся холоп. Я смотрю здесь беспрерывно на низший класс, в всегдашнем соприкосновении с нами,— чего недостает ему, чтоб выйти из жалкой апатии? Ум блестит в глазах, вообще на десять мужиков, наверное, восемь неглупы и пять положительно умны, сметливы и знающие люди; их много клевещут с нравственной стороны, они лукавы и готовы мошенничать, но это тогда, когда становятся в противуположность нам. Иначе не может быть, мы явно и законно грабим их, сила не одинакая. Но когда они убедятся в человеке (и я имею гордость себя включать в это очень и очень ограниченное изъятие), тогда они поступают просто, даже наивно. Они не трусы — каждый пойдет на волка, готов на драке положить жизнь, согласен на всякую ненужную удаль, плыть в омуте, ходить по льду, когда он ломается, etc. А, видно, как Чаадаев говорит в своей статье*, чего-то недостает в голове, мы не умеем сделать силлогизм европейский. Эта община, понимающая всю беззаконность нелепого требования, не признающая в душе неограниченной власти помещика, трепещет и валяется в ногах его при первом слове!!

Memento mori! Разные memento стоят навсегда, как погребальные памятники в воспоминаниях. Иной раз идешь гулять и невзначай забредешь на кладбище — и сделается тяжело. Правда ли это, что в духе человеческом, как в море, ничего не пропало, что кануло в него, а хранится на дне и при первой буре готово всё выбросить, как упрек? Или только то хранится, что ядовито или жестко, а прекрасное, как эфирное масло, улетает, оставляя неопределенное благоухание? Многое горькое вспомнилось; нет примирения, видно, до гроба, а за гробом ни войны, ни мира — одна логика. Пусть тешатся другие.

10. Читаю Маржерета* и только что кончил Бера*. Бер очень туп, Маржерет мил, как француз и aventurier[1], притом много у него схвачено живо. И после всего этого не видеть необходимости петровского переворота? Нечто сильное бродит неустроенно и дико середь давящей, гнетущей и узкой государственной формы; как было не разбить этот пошлый сосуд народной жизни; как бы ни отречься, лишь бы отречься от этого мира местничества, нелепого патриархализма и совершенного неведения достоинства человеческого. Годунов, гениальный человек, падет жертвою династической нелепости, а больше переменчивости народного характера, бросающегося нелепо на все. Первый Димитрий, энергический воин, образованный, благородный юноша, падет за то, что ел телятину. Плут, совершенно в русском характере, староста-мошенник, Шуйский падет за то, что избран одной Москвой и что теряет сражения (тут есть хоть смысл), и в то же время пол-России стоит за грязного тушинского вора, представителя, пожалуй, не демократической, а кабацкой партии. Потом дума — думала, думала да и выбрала мальчика царем, и покорилась вся страна старику монаху— патриарху при тушинском воре и сделавшемуся в самом деле патриархом всероссийским. Между прочим, Маржерет говорит о веротерпимости русских, это почти была бы аномалия, если б в самом деле религия так сильно была вкоренена в народе. Правда, они строго уважали формы, а этот формализм всего склоннее к нетерпимости, но у нас и эта сторона жизни не имела глубоких корней.

---

[1] авантюрист (франц.).— *Ред.*

15. Wer gegen das Endliche zu ekel ist, der kommt zu gar keiner Wirklichkeit, sondern er verbleibt im Abstrakten und verglimmt in sich selbst — «Encycl.», I. T. § 92[1].

16. По поводу статьи перечитывал первую часть Гегелевой «Энциклопедии»; всякий раз подобное перечитывание открывает целую бесконечность нового, поправляет, дополняет, уясняет и самым убедительным образом показывает неведение или неполноту знания. Что сделала наука с обнародования Гегелем его философии, а она была обработана в 1818 году, т. е. 25 лет тому назад? Только научились его понимать и кое в чем поправили язык его, привыкнувший слишком к школьной глоссологии и, несмотря на всю мощь своего гения, к представлениям,— более ни шагу.

17. В «Allgemeine Zeitung» статья о новых открытиях по части палеонтологии*. Важное расширение к пониманию развития органической жизни. Агассис доказал разбором ископаемых рыб, что каждый геологический период имеет целое население свое, не сходное (кроме, разумеется, общих характеристик) ни с предыдущим, ни с последующим. Еще более, он открыл, что чем древнее период, где найдены рыбы, тем более неразвитому, фетальному состоянию соответствуют рыбы. Это напоминает теорию Жоффруа Сент-Илера о том, что высшие млекопитающие переходят в утробе матери главные фазы животного царства от инфузории до млекопитающего.

Открытия д'Орбиньи, рассматривавшего наиболее ископаемые беспозвоночные, ведут к тому же заключению. Но Эренберг с своими инфузориями еще ничего не открыл указывающего на соотношение их форм с периодами. Известно, что Эренберг доказал, что целые слои известняку и разных горнокаменистых слоев принадлежат чешуе инфузорий!

20. Кончил первое письмо об естествоведении*. Кажется хорошо, а впрочем, сначала все написанное кажется хорошо. Надобно перечитать через месяц или два. Вот беда журналистов и их сотрудников — они всё печатают сбрызгу и, вероятно,

---

[1] Кому конечное слишком претит, тот не достигает никакой действительности, а остается в области абстрактного и истлевает внутри себя.— «Энциклопедия», ч. 1, § 92 (нем.).— *Ред.*

дорого иной бы раз дали за право вырубить топором закрепленное типографским станком.

Начал вторую часть *Гфререра*, интерес поглощающий. Древний мир, умирая, утратил почти все человеческое достоинство; то, что было посеяно всеми цезарями, развилось при Диоклетиане. Диоклетиан делается царем в смысле восточном, в *нашем* смысле он отрезывается ото всех, он является мистическим лицом, божеством. В Риме воздух был не хорош для таких затей. Диоклетиан, живший в Никомедии, раз приехал в Рим, но и то ускакал в Равенну. Рим — это европейская почва! Новой, поглощающей всякую свободу власти надобно было новый город, свой Петербург,— Константин нашел его. Диокл⟨етиана⟩ монархия вполне развилась при Константине — гнусная, рабская, чиновничья, подлая; народ был до того обременен налогами, что толпами бежал с своих земель,— пытка, которой не смел Нерон et C^nie подвергать римских граждан, распространилась на всех в делах оскорбления величества. Восточные христиане и их духовенство утратило тогда благородство первых веков, оно стало в подлом отношении к власти и освободиться не могло впоследствии. Оно, как все *высшие натуры*, до того пренебрегало действительностью и до того жило в сфере теологических тонкостей, что не замечало своего подлого положения относительно власти. Константин принял благословение новой церкви и им окончательно укрепил отвратительное самодержавие свое. Евсевий рассказывает, что он смел называть себя «епископом вне церкви» и сам называет его всеобщим епископом. Его трон стоял в церкви возле епископского, он имел право входить в алтарь. Амвросий *Медиоланский*, возмущенный этим, велел первый трон Феодосия поставить вне хора. Константин распоряжался с церковью как хотел. Она молчала, греческая святая церковь, и встречала в 448 году императора Феодосия II словами: «Да здравствует император и первосвященник!» Никогда западное духовенство не падало до этой степени, римская почва осталась чиста; хорошо, что столица была перенесена. Зато византийские епископы богатели. За это они могли и Константина назвать равноапостольным. Гнусному порядку азиатского деспотизма в Римской ⟨империи⟩ принадлежит честь укрепления мужиков (coloni) в рабство. Бедные мужики

кабалили себя богатым собственникам земли, потому что не могли платить подати. Как же не византийская кровь перешла в наше государственное устройство? По плодам — корень. Да и по корню — плоды.

Чему удивилась (или теперь удивляется, в то время она и не думала ни о чем, кроме рабского повиновения) церковь учреждению синода и обер-прокурора? Это лежит глубоко в самом принципе восточной церкви. Императоры при соборах назначали одного или многих чиновников *для наблюдения за порядком.* Это так было со времен Константина. И эти-то решения соборов под явным влиянием временной власти принимают у нас за вдохновенные святым духом правила. Я не удивляюсь Юлиану Отступнику. Церковь представлялась ему с такой гнусной и подлой стороны, что он должен был отвернуться от нее. Евсевий советовал его умертвить, понимая, что такой человек не их. Спор с арианизмом весьма важен, и Гфререр его вовсе не понял. Если Христос не единосущен, не тождествен богу, не бог, то христианство падает в одну из тех религий, где соподчиняется богу его избранник, и монотеизм, ограниченный — вроде иудейского или магометанского, остается. Все дело христианства именно в том и состоит, что Христос-человек — Христос-бог, богочеловек. Но в самой борьбе сколько интриг, гадостей, как церковь стала подла, искательна! Люди помнили еще мученические гонения; были епископы, сидевшие в тюрьмах при Диоклетиане. И через несколько десятков лет — как они жалки, разумеется, исключая римское духовенство, папу и с ними Афанасия. Констанций приказал объявить исправленный символ и велел отрешить Афанасия — толпа рабов слушалась. Как величественны тут западные епископы! Пусть в них преобладала гордость — но в них мы видим людей.

Весьма может быть, что в теоретическом смысле восточные были несравненно выше западных; но их уклончивый, лукавый характер, их готовность унижаться перед властью покрывает их пылью. Лучший из них — Григорий Назианзин. Но и в нем нечего искать величия, колоссальности Афанасия, он один носил в себе идеи православия, и он осуществил ее, он исполнил Никейский собор. Замечательно, что Юлиан Отступник был полезнее своих предшественников для ортодоксии. Соборы вообще

нечисты, да и изложение их Гфререром тупо, он не понимает ничего в догматических спорах. Иоанн Златоуст сделал несчастный опыт греческую церковь поставить несколько независимее от власти — он умер в ссылке. Никон забыл его биографию. Конечно, греческая церковь иногда становилась посамобытнее, например, в Египте, при двух мерзавцах Теофиле и Кирилле (проклявший Нестора в Ефесе),—но и тогда она прислонялась к римскому папе, и этот Кирилл — один из ревностнейших поборников православия. Во втором Ефесском соборе, собранном против Флавиана Константинопольского, Диоскорид Александрийский ввел толпу вооруженных монахов, в шуме и драке переколотили всех не согласных ему архиереев. Флавиана он сам топтал ногами и избил его так, что он через три дни умер. И все, что было положено этим собором, утверждено императором и принято церковью. Один голос протестовал энергически, сильно и открыто — голос римского папы Льва I, он назвал этот собор latrocinium[1], и имя это осталось в народе. Но уступчивая восточная церковь не думала отстаивать своего собора: когда подул иной ветер из дворца, она в Халкидоне прокляла недавно принятое и благословила проклятое. И вот источник ее ортодоксии. Спор о двойной натуре Спасителя сам по себе чрезвычайно важен, но не он вовсе занимал благочестивых и вооруженных кулаками архиереев, а мелкие личности, ненависть и властолюбие без границ или ограниченное только страхом перед временною властью. Замечательно, что Феодор Мопсуестийский, доказывая, что Христос был истинно человек, говорит: «Что за польза была бы нам от страданий Христа, если он не имел человеческую душу,— это была бы комедия, а не истинная борьба и жертва,— зрелище, в котором победоносный исход был приготовлен» и пр. В этом замечании виден глубокий смысл истины Феодора; теологи доселе не понимают, что не токмо Христовы страдания, но вся история с их точки зрения выходит приготовленной комедией,— а если принять это, то надобно будет по совести сказать — прескверной, ибо как же объяснить миллионы миллионов страдавших всю жизнь, умерших в цепях, казненных... etc., etc. Пусть бы подумали теологи

[1] разбойничьей шайкой (лат.).— *Ред.*

о словах Феодора. Замечательно, что в африканской церкви, и всего более у донатистов, понятие об отношении государства к церкви и независимости последней было наиболее развито. Католицизм, отправляясь от великой мысли единства и поглощая государство, сам стал церковью и государством, византийская церковь скромно легла у подножия трона. Независимыми остались некоторые расколы — эти вечные протесты против иерархии и оцепенения. Когда к Донату пришли увещеватели от императора, он гордо отвечал: «Quid est imperatori cum ecclesia?»[1] Может, в сирийской церкви и иных отдельных и дальних епархиях было более независимости, нежели в средоточиях греческой церкви.

Спор пелагиан точно так же был витальный вопрос христианства, как арианизм. У них христианство превращалось в ифику[2]: без грехопадения, без августиновского понятия о благодати нет церкви, нет католицизма. В Августине и всем его учении виден уже сложившийся католик — принимая это слово в его обширном смысле; в тесном смысле, напротив, Августина католики отвергали, например, иезуиты. Спор пелагиан с католиками потому не мог кончиться, что истина решительно между обоими.

Сегодня *десять* лет после того, как я был взят и началась сначала тюрьма, потом ссылка, потом гонения, продолжающиеся поднесь!

23. Ужасное лето, холод, дожди, дожди и дожди. И прошлое лето было скверно. Печальная полоса земного шара — как мало и скудно дает она человеку. Пишут, что в Германии заметили астрономы пятно на диске солнечном и что от этого пятна зависят разные метеорологические перемены. Так или нет — все равно. Возможность очевидная. Кто поручится за то, что какая-нибудь перемена в солнце вызовет катаклизм во всю поверхность земного шара и тогда мы с зверьми и растениями погибнем и на наше место явится новое население, прилаженное к новой земле? Страшная вещь, а отвечать нельзя. Одно настоящее наше, а его-то ценить не умеем.

---

[1] «Что императору до церкви?» (лат.).— *Ред.*

[2] этику (греч.).— *Ред.*

27. Сегодня здешние крестьяне, испуганные страшным летом, видя хлеб и луга погибающими от дождей, служили молебен. Печально и с какою-то торжественностию шли они в церковь. Мне стало их вдвое жаль. И там им не будет расправы, не будет справедливости. Дети, они верят, что сила молитвы, сила воли и доверие на помощь божию поправит погубленное свирепой случайностью,— и обманутся!

29. В Праге и около работники продолжают войну с машинами*, в Тюбингене один *честный* и *трудолюбивый* мастеровой, несколько лет трудами своими кормивший 5 человек детей, и все едва выработывая хлеб насущный, наконец, приведенный в совершенное отчаяние безвыходностию положения и желая спасти от бедности детей, зарезал их! Пора же, наконец, опомниться людям, пора явиться религии, которая на хоругви своей поставит уничтожение беззаконных привилегий меньшинства.

Август месяц.

5. Вчера ужасная гроза застала нас в лесу. Страшные удары грома вслед за молниями, казалось, раздробят нас, дождь и град лился и сыпался. Как беспомощен и жалок человек в этих случаях! Один Саша радовался на то, что его мочит. Мы уныло и глупо смотрели, чем кончится. Как помириться с этой зависимостью?

6. Вторая гроза еще ужаснейшая, потому что была почти ночью. И в эту грозу бедный Корш с женой и малюткой был на дороге к нам. Мы дома жались все в одной комнате. Я ему был ужасно рад. Сегодня утром Natalie едва оправилась от грозы после неспанной ночи, вдруг опять сильное потрясение. Саша встал совсем здоровый и вдруг упал без чувств — вскоре он пришел в себя; не понимаю, что такое. Я не был тут в комнате, все это случилось при ней и на ее руках. Что это за страшный омут случайностей, в который вовлечена жизнь человека,— я иногда сознаю себя бессильным бороться с тупой, но мощной силой, во власти которой личность и все индивидуальное. Я здоровый и крепкий, что-то измучен, каково же ей, слабой?

8. Саше нездоровится с тех пор, как его застала гроза. Дороги страшны, 50 верст от Москвы — и нет средств в большом экипаже проехать. Я лишен воспитанием, а может, вслед-

ствие физического устройства, этой особой оборотливости в практической жизни, ловкости умно и догадливо устроивать все подробности du ménage[1]. Меня потому все такое сильно беспокоит. На то, чтоб середь беспрерывных ударов случайности иметь всегда твердость и мудрость корабельного капитана в бурю, надобно несравненно более силы характера, нежели на подвиги, которым обыкновенно удивляются, сделанным в минуты увлечения, вдохновения.

Человек живет минутами, светлыми полосами, между которыми темные, серые переходы, что-то мутное, если не совсем черное. Эти редкие мгновения исполняют то, что жизнь обещает, чего требует она, это ее истина, высшая действительность идеи, осуществляющейся всегда, во всякой эпохе человеческой истории. Для лиц только. Оно много, если б мы умели пользоваться. А то эти минуты летят неуваженные, а за ними туман, изморозь, сырость, мелочи длятся, длятся.

К⟨орш⟩ рассказывал, что по делу о книжке «Кавказские проделки»* граф Строганов получил бумагу от графа Орлова с повелением прислать Крылова с жандармом в Петербург. Строганов, не показывая Крылову предписания, отвечал графу Орлову, что у него жена больна и что он не может не исполнить этого предписания — буде же государь прикажет, готов выйти в отставку. Позволили Крылову приехать без жандарм⟨ов⟩. Что за нерусская черта! Честь и слава графу. A propos к графам и жандармам, дочитываю теперь «Consuelo»,— что за гениальное восстановление жизни высшего общества в половине XVIII века; как она постигнула двор Марии-Терезии, Фридриха! Что сказать об эпизоде маркграфини Бареитской с ее дочерью? А вербовщики короля-философа, кравшие людей, как торгующие неграми, без апелляции и надежды? Подобного во Франции не делалось, ни в Англии, это только возможно с немцами, и в Германии. Хорош анекдот, цитированный бароном Тренком, что, когда герцог Брауншвейгский удивлялся странным эволюциям Фридрихова войска, тот ему сказал: «Подивитесь тому, что середи его мы с вами безопасны». Да, этому можно дивиться. Я далек, чтоб исторических деятелей

[1] хозяйства (франц.).— *Ред.*

судить со сентиментальной точки зрения, но нельзя же и симпатии иметь к прозаически холодному ироническому бесчеловечью.

9. Читал Фейербаха о Лейбнице*. Одна Германия, беспрерывно спящая, имеет такие громадные пробуждения, как Лейбниц, Лессинг, Гёте. Что за гигантская деятельность, что за многосторонность,— всем занимается, со всеми в сношениях, обо всем хлопочет, всюду вносит свет своего гения, беспрестанно раскрыт, готов писать, объяснять, обдумывать. Монадология необходимо должна была быть изложена им. Спиноза, все пожертвовавший философии, видел только субстанцию, около которой кружится мир акциденций,— его субстанция должна быть единою. У Лейбница субстанций бездна〈?〉, монада — начало деятельности, движения, себя определяющая в различие с другими, живая именно в расчленении и в противуположности. Это переход в логике от единицы к многоразличию, это репульсия от себя. Из картезианского протяжения наука углубляется в субстанцию Спинозы; но эта субстанция определяется *силою* Лейбница,— силою живой, субстанциальной, но не единой, а душою атома, монады, которых бесчисленное множество. Монада есть идеальный атом предмета, сила материи, ее единство; «истинного единства невозможно найти в материи, как в страдательном, ибо все в ней куча частей, идущих в бесконечность,— а так как множество получает реальность только от истинных единств, то я прибег к атомам», понимая под ними силу, etc. Он очень близок к понятию — монада есть уже в некотором смысле понятие. Смутность представления материальности и материи как необходимая связь монад, как их среда, наконец живая связь всей вселенной, отражающейся, находящейся в соотношении с каждой монадой и наоборот — все это ставит Лейбница воззрение на природу несравненно выше Декарта, Бэкона и Спинозы. У него в каждой росинке блестит то солнце, которое одно на небе Спинозы.

14. Письмо от Белинского, с желчью и досадой писанное. Странный человек; он ищет любви, он полон нежности и, между тем, так раздражителен, так не *веротерпим*, что при малейшем разномыслии готов обругать человека. Я знаю его и люблю, но иной мог бы отвечать в квадрате колко, Белинский не остался

бы назади — и прекрасные отношения лопнули бы. Не так ли он разошелся с Аксаковым? Разумеется, он к мнениям Аксакова симпатии, наконец, не мог иметь; Аксаков свое москвобесие довел ad absurdissimum [1], но нельзя же было и порвать так холодно связи многих лет. Дружба должна быть снисходительна и пристрастна, она должна любить лицо, а не идею; идея — общий элемент сближения, она может дать товарища, единоверца, но дружба требует признание лица, а не всеобщей мысли его. Психологически занимательный вопрос, отчего приятель, любящий другого, любит непременно укорить его, радуется, старается доказать, выказать его маленький недостаток и готов, может быть, в то же время скрыть его пороки, пожертвовать собою, защищая его. Sonderbar! [2]

22. Деятельность должна иметь ограничение, чтоб не рассеяться,— вот призвание материи у Лейбница; материя ограничивает чистую монаду, она разделяет монады между собой, она страдательный предел деятельности и с тем вместе определенность ее. Монада беспрерывно стремится освободиться от материи, т. е. от частности к всеобщему. Деятельность, жизнь, душа и тело — ее необходимые полюсы, это мировой идеализм и мировая эмпирия; всеобщность, род — единичность и частность. Теодицея неудачна, задача невозможна, как ни разрешай ее. В религиозном воззрении доля произвола всегда возможна и велика, «наука невозможна там, где все возможно». Различие разума и безумия — стерто, где же опора науки? Воззрение людей во время Лейбница было еще сильно пропитано антропоморфизмом, субъективной телеологией. Лейбниц не мог отделаться от влияния среды, он для этого был слишком живой и увлеченный современностью человек. Он продолжал труд Спинозы, но он не имел силы отрешиться, как Спиноза, и с высоты напомнить христианскому миру «забытую им категорию отношения предмета к самому себе» (а не к человеку); наконец, я полагаю, Лейбниц не хотел слишком гертировать [3] понятия своего века, у него недоставало той *неподкупной*

---

[1] до нелепейшего (лат.).— *Ред.*

[2] Странно! (нем.).— *Ред.*

[3] задевать, от heurter (франц.).— *Ред.*

честности, которая была у Спинозы. Высшая честность языка не токмо бежит лжи, но тех неопределенных, полузакрытых выражений, которые как будто скрывают вовсе не то, что ими выражается. Напротив, она стремится вперед высказать, как понимает и предупреждает неистинное толкование. Впрочем, в те времена умели религии отводить скромный уголок, она жила там сама по себе, а наука занимала все остальное в душе, и они не ссорились. Декарт ходил пешком к Лоретской божьей матери просить ее на коленях помочь его скептицизму и никогда не подвергал религию разуму, то есть не хотел думать об ней. Даже материалисты, как Локк, были на свой манер религиозны — и все это в неспетости и противуречии, как у наших гегеле-православных славянофилов. Лейбниц, напротив, искал живого примирения, и ничего не выходило, кроме запутанности, затемнившей его прекрасное учение ученикам.

28. Несколько дней, прекрасно проведенных в симпатическом кругу друзей и хороших знакомых, приехавших сюда. К тому же и письма из Берлина*. Семейные дела Огарева никак не распутываются, что за фатум над ним! Нет, юность не прошла еще, подчас кажется, что есть элементы юности, которые умеют храниться не токмо при входе в мужество, но и с сединою. Дружба всегда была для меня великим поэтическим вознаграждением; не мечтательный, не сосредоточенный в себе, я искал наслаждения на людях, делил мысль и печаль с людьми. Дружба меня привела к любви. Я не от любви перешел к дружбе, а от дружбы к любви. И эта потребность симпатии, обмена, уважения и признания сохранилась во всей силе. Юношески билось сердце, когда я видел подъезжающие экипажи,— как искренно хотелось мне обнять добрых друзей, как полно оценил я их жертву! О, страшно вздумать охолодеть и перестать чувствовать в груди своей эти минуты безотчетной радости. Никакие опыты не дают права душе оттолкнуть все хорошее.

Кто из-за ошибки, из-за одного обмана плюнет на все, тот горд и безмерно самолюбив, нельзя теперь, как некогда, детски доверяться, детски играть,— это уродливое «Bettina will schlafen»[1], сказанное 40-летней m-me von Arnim*. Но есть

[1] «Беттина хочет спать» (нем.).— *Ред.*

кое-что, не бросаемое ни в каком случае в море, лучше утонуть самому.

А из Москвы пишут и говорят о мерзких интригах и происках*. Богатство, деньги — самый лучший оселок для человека. Патриотизм, смелая гордость, открытая речь, храбрость на поле битвы, услужливая готовность одолжить — все это легко встретить, — но человека, который бы твердо сочетал свою честь с практикой так, чтоб не качнуться на сторону 1000 душ или полумиллиона денег,— трудно. Собственность — гнусная вещь; сверх всего несправедливого, она безнравственна и, как тяжелая гиря, гнетет человека вниз; она развращает человека, и он становится на одной доске с диким зверем, когда корысть сбрасывает его с пьедестала исторического Standpunkt[1]. Оттого ни одна страсть не искажает до того человека, как скупость, несмотря на все то, что Байрон сказал в ее защиту*. Расточительность, мотовство не разумно, но не подло, не гнусно. Оно потому дурно, что человек ставит высшим наслаждением самую трату и негу роскоши; но его неуважение к деньгам скорее добродетель, нежели порок. Они не достойны уважения так, как и вообще все вещи: человек их потребляет, употребляет — и на это имеет полное право, но любить их страстно, то есть поддаваться корыстолюбию,— верх унижения. Христианство недаром так враждебно смотрит на собственность и на имущество, *точимое молью*. В роскошном уничтожении временное достигает цели — оно гибнет, доставивши наслаждение высшему существу. В скоплении, совсем напротив, человек начинает принадлежать вещи. Слово «недвижимое имение» выражает капкан, в котором пойман подвижной дух. Зверь — и тот уже освобожден от неподвижности, — человек возвращается к ней чрез гражданский порядок. Гегель, в молодости своей занимаясь французской революцией, когда она догорала, и разбирая политическое состояние человека, указывает превосходно на жалкое положение, в которое втолкнулись люди: «Es war eine Beschränkung auf eine ordnungsvolle Herrschaft über sein Eigentum, ein Beschauen und Genuß seiner völlig untertänigen kleinen Welt; und dann auch diese Beschränkung

[1] точки зрения (нем.). —*Ред.*

versöhnende Selbstvernichtung und Erhebung im Gedanken an den Himmel»[1]. Да, недвижимое имущество здесь и награда *там*. Это две цепи, на которых и поднесь водят людей. Но теперь *работники* принялись потряхивать одну из них, а другая давно заржавела от лицемерных слез пастырей о погибших овцах. Наши внуки увидят.

Зато как спокойно и с каким благородным сознанием смотрит человек на эти злобные, искажающие все хорошее в мелкой душе страсти — и равно торжествует, он ли победит или они ли победят. Нищеты я боюсь,— так устроен мир; особенно боюсь я в России, где одни деньги и дают право. Но далее того, что называют une position honnête[2], хлопотать не стану ни для себя, ни для детей.

30. «Hegel's Leben» Розенкранца*. Розенкранц ограниченный человек и плохой мыслитель, след., его рассказ плох и взгляд очень ограниченный, но книга важна выписками и приложениями. Жизнь Гегеля была жизнь и развитие его системы, она текла совершенно по-германски, по школам, гимназиям и университетам. Самое поэтическое отношение у него было с Гельдерлином, близости с Шеллингом я не вижу. Систему свою и первый раз Гегель набросал в 1800 году, ему было 30 лет (родился 1770). Прекрасный подарок на зубок XIX веку, тогда уж он с Шеллингом распался. Главный план и основное тогдашней системы не переменилось, но только развилось. Местами в приводимых отрывках язык напоминает мистическое влияние; пластичность выражений и образы меткие встречаются везде,— возражая Редкину, требующему, чтоб предметы наукообразного содержания излагались языком чистого мышления и пр. В тогдашнем опыте философии природы находится замечательное место о строении земного шара; расчленение оного (надобно заметить, что Гегель отделил земную планету

---

[1] «Они ограничились упорядоченным владением своим имуществом, тем, что могли любоваться и наслаждаться полностью покорным им мирком; а впоследствии и примирились с этим ограничением с помощью самоуничижения и возвышающих мыслей о небе» (нем.).— *Ред.*

[2] приличным положением (франц.).— *Ред.*

как всеобщий индивидуум ее элементарных процессов и как распадение — auseinanderfallen — внешнего смешения камней и земель) принимал он за результат безусловно прошедшего, которого они немым представителем и остались,— они теперь равнодушно стоят рядом, потерявши отношение свое, пораженные будто параличом. Мысль чрезвычайно важная; отсюда нельзя ли ждать когда-нибудь отгадки, для чего и как явилось вещество планеты простыми телами, что побудило сочетаться в известные горнокаменные породы, не был ли это опыт ожить всею планетой, так, как растения — опыт ожить всею поверхностью?.. В отделе «Geist»[1] Гегель тогда определил семейство индифферентностью рабства и свободы. «В естественном состоянии человек говорит женщине: ты плоть от плоти моей, в нравственном он говорит ближнему: ты дух от духа моего» — водворяя таким образом равенство отношений. Философия права того времени отвлеченна и полна схоластицизма, она не удовлетворяет широким основаниям и стремится оправдать существующее. Философия религии почти вполне понимаема им была так, как впоследствии. Абстрактность и формализм приводят его к результатам странным. Например, он находит необходимость дворянства как противуборства в форме повиновения, необходимость всех сословий, трусости купцов и пр. Воинам неубитым он вместо утешения предлагает спекуляции, чтоб вознаградить несчастие остаться в жизни и пр. В философии религии он ясно высказывает, что протестантизм — временная форма и что возможна новая религия, в которой дух на собственной своей почве, в величии собственного образа явится религией и философией вместе. Впоследствии он этот результат так просто не высказывал. 2 ноября 1800 г. писал он к Шеллингу о своей системе, где между прочим говорит: «Ich frage mich jetzt, welche Rückkehr zum Eingreifen in das Leben der Menschen zu finden ist» [2*].

В 1805 году Гегель, читая курс истории философии, определил себя относительно Шеллинга и Шеллинга относительно

---

[1] «Дух» (нем.).— *Ред.*

[2] «Я спрашиваю теперь себя, какой возврат к вмешательству в человеческую жизнь может быть найден» (нем.).— *Ред.*

науки так, как после они и остались. Замечательно, что вся Германия отстала от Гегеля и уже в наше время смекнула, в чем дело, да и то Шеллинг своим мистическим дурачеством сам привел к критике.

В Иене у Гегеля было очень мало слушателей — его решительно не понимали студенты. Там в 1806 окончил он свою Феноменологию (Розенкранц очень хорошо ее назвал Пургаторием), и когда французы взошли в Иену, он положил в карман рукопись и пошел искать пристанища у Габлера. Тут он видел Наполеона — diese Weltseele[1], как он говорит. «Странное чувство,— продолжает он,— видеть такое лицо: вот эта точка, сидящая на лошади, тут... царит миром». И прибавить следует: в толпе едва заметная фигура, бедный профессор несет в кармане исписанные листы, которые не меньше будут царить, как приказы Наполеона. Жизнь!

Гегель женился в 1811 году и писал в честь своей невесты очень незвучные, но зато очень основательные стихи. В жизни был великий филистер.

Сентябрь месяц.

3. Не знаю, счастие или нет великим людям, что передавать их жизнь всего чаще случается людям ограниченным. Лас-Каз, Эккерман, Розенкранц приносят в свое дело усердие и честность, но ни понятия, ни таланта. Другой иначе воспользовался бы жизнию Гегеля, он представил бы этого человека демоническим явлением, мыслию, поглотившею всю деятельность, но мыслию, носившею религию, науку, искусство, право будущего; у Гегеля внешней жизни не было, одно существование, — он жил в логике, в науке и довлел себе. У него не было друзей. Женившись 40 лет, он перед свадьбой писал к невесте диссертации об обязанностях брака; он отталкивал своим приемом, его улыбка была добродушие с иронией, он не умел говорить. И все это вместе характеризует его в десять раз более, нежели натяжки Розенкранца представить его деятельным ректором, прекрасным приятелем, мужем. Гегель был величайший представитель переворота, долженствовавшего от α до ω провести новое сознание чело-

[1] эту мировую душу (нем.).— *Ред.*

вещества *в науке*, — в жизни он был ничтожен. К этому, само собою разумеется, много способствовало время, в которое он жил, и страна. Берлин, сверх того, имел на него влияние, в практическом мире Гегель был мещанин. Он не постыдился просить защиту прусского министерства против злой критики, помещенной в прусском журнале; по поводу неделикатной и почти подлой выходки против Фриза он советовал ограничить свободу печатания журнала. Наконец, его преподавание философии права — сколько принесло важной пользы и рассеяло пустую и всеобщую теоретическую демагогию, столько же сделало вреда, защищая с энергией существующее зло и ругаясь, как над величайшей пошлостью, над *прекрасной душой* юношеских порывов.

4. Пора ехать в Москву*, а смерть не хочется. Здесь жизнь как-то чище и благороднее. Действительного деяния, на которое мы бы были призваны, нет; выдыхаться в вечном плаче, в сосредоточенной скорби не есть дело. Что же мне делать в Москве? Быть тут — зачем? Два, три близких человека и толпа — глупая, гадкая. Когда я смотрю на бедных крестьян, у меня сердце обливается кровью, я стыжусь своих прав, стыжусь, что и я долею способствую заедать их жизнь, и этот стыд поднимает душу и не бесплоден: тут на бедной, жалкой скале я могу что-нибудь сделать. А та толпа вселяет презрение, она не голодна — она сыта и рада, что сыта. О, если б где-нибудь в теплом краю год, два пожить, пожить деятельно мыслию и сердцем, но без толпы. Мне даже люди выше обыкновенных в Москве начинают быть противны: этот суетный, 40-летний парень Хомяков, просмеявшийся целую жизнь и ловивший нелепый призрак руссо-византийской церкви, делающейся всемирной, повторяющий одно и то же, погубивший в себе гигантскую способность, и Аксаков, безумный о Москве, ожидающий не нынче-завтра воскресение старинной Руси, перенесение столиц и чорт знает что. Даже И. В. Киреевский странен при всем благородстве. Белинский прав. Нет мира и совета с людьми до того розными. A propos, в «Allgemeine Zeitung» выписка из статьи Белинского о «Парижских тайнах» *, и именно они напали на то, что меня остановило: у нас нельзя таким образом хвалить сытость (тем более, что и она очень апокрифна) и ругать революцию 30 года—

опять impasse[1], опять бросит он на себя подозрение в сервильности*.

Москва. 15. Давно приехал; но что-то не хотелось брать в руки журнал. Первая новость, которую я услышал,— происшествие на Лепешкинской фабрике*; какие-то гг. Дубровины отдали в кабалу 700 человек крестьян, оторвавши их от семейств и заставляя оставшихся в деревне стариков и детей обработывать барщину. *Пригонять* крестьян на работу — дело обыкновенное, — на дорогу и в разные места, преимущественно казенные; нелепость и даже беззаконность поступка очевидна. Крестьянин по закону работает только три дня на господина, а тут он для себя не может ничего сделать. Но благо они терпят, правительство молчит. Дубровинские крестьяне оказались не так нравственными, оставили работу и пошли толпою жаловаться к генерал-губернатору; он собирался ехать в деревню, откуда он управляет в теплую погоду губернией, и поехал, поручив разобрать какому-то адъютанту; тот, желая отличиться усмирением революции и найдя сопротивление, дал залп по голодной толпе, перебил несколько человек, и все взошло в порядок. Теперь прислан чиновник из министерства внутренних дел делать следствие. Благородное российское дворянство, нечего сказать! В Новегороде выборные чиновники до того напакостили, что государь велел новгородскому дворянству объявить и просил дать знать, что он «с горестью видит, что дворянство не умеет пользоваться правами, ему дарованными, и, буде впредь оно не исправится, он отнимет права». Что за люди, а впрочем, они потому и не умеют пользоваться, что права дарованы, и дарованы тогда, когда об них и в голову не приходило. В pendant. А суд парламента освободил О'Коннеля. Великая страна,— благоговеть надобно перед этой высокой, святой правомерностию. Это событие всемирное, важность его неисчислима. «О'Коннель против королевы» — и англичане, враги, пэры, аристократы, всё подчинили закону, и великое, пластическое, плутарховское лицо агитатора снова явилось середь Дублина, с тою же речью, с тем же видом. Истинно доблестная личность —

---

[1] тупик (франц.).— *Ред.*

его не удивила, не ошеломила свобода, он вышел из тюрьмы готовым на труд, вооруженным, его первое слово было в пользу репиля*, он требует, чтоб судили пристрастных судей и смеется над юриспрудендией attorney general [1]. Бедные, жалкие славянофилы! Ну, что же Англия-то не проваливается, или в Европе, в запустевающем Западе остались две, три жилы, полные здоровой кровью? И не эта ли кровь недавно в монархической Пруссии раздалась при закладе Кенигсбергского университета почти над ухом самого короля, клавшего первый камень?* Святая почва Европы, благословенье ей, благословенье!

Кончил Розенкранцеву книгу. Нет ничего смешнее, что до сих пор немцы, а за ними и всякая всячина, считают Гегеля сухим логиком, костяным диалектиком вроде Вольфа, в то время как каждое из его сочинений проникнуто мощной поэзией, в то время как он, увлекаемый (часто против воли) своим гением, облекает спекулятивнейшие мысли в образы поразительности, меткости удивительной. И что за сила раскрытия всякой оболочки мыслью, что за молниеносный взгляд, который всюду проникает и все видит, куда ни обернул бы взор! Взглянул ли на хитрость, он говорит: «Хвала хитрости, она женственность воли, ирония безумной силы. Она не плутовство — она совместима с чрезвычайной открытостью. Величие поступков (das Betragen [2]) состоит в том, чтоб своей открытостью заставить других показаться такими, какими они есть; такая открытость перехитрит без интриги». Стыд, что такое стыд? «Das Trennbare, so lange es vor der vollständigen Vereinigung noch ein Eigenes ist, macht den Liebenden Verlegenheit. Es ist eine Art von Widerstreit zwischen der völligen Hingebung, der einzig möglichen Vernichtung, der Vernichtung des Entgegengesetzten in der Vereinigung und der noch vorhandenen Selbstständigkeit. Jene fühlt sich durch diese gehindert. Die Liebe ist unwillig über das noch Getrennte, über ein Eigentum. Dieses Zürnen der Liebe über Individualität ist die *Scham*. Sie ist nicht Zucken des Sterblichen, nicht eine Äußerung der Freiheit, sich zu erhalten, zu bestehen. Bei einem Angriff ohne Liebe wird ein liebevolles Gemüt

---

[1] генерального прокурора (англ.).— *Ред.*

[2] поведение (нем.).— *Ред.*

beleidigt. Seine Scham wird zum Zorn, der jetzt nur das Eigentum, das Recht verteidigt. Wäre die Scham nicht eine Wirkung der Liebe, die nur darüber, daß etwas Feindseliges ist, die Gestalt des Unwillens hat, sondern ihrer Natur nach selbst etwas Feindliches, das ein angreifbares Eigentum behaupten wollte, so müßte man von den Tyrannen sagen, sie haben am meisten Scham; so wie von Mädchen, die ohne Geld ihre Reize nicht preisgeben, oder von den eiteln, die durch sie fesseln wollen. Beide lieben nicht. Ihre Verteidigung des Sterblichen ist das Gegenteil des Unwillens über dasselbe. Sie legen ihm in sich einen Wert bei, sie sind schamlos. Ein reines Gemüt schämt sich der Liebe nicht, es schämt sich aber, daß diese noch nicht vollkommen ist. Sie wirft es sich vor, daß noch eine Macht, ein Feindliches ist, welches der Vollendung hinderlich»[1]*.— И пр. Таких мест чрезвычайно много. Я читаю теперь его историю философии, — что за изложение! Софисты, Сократ, Аристотель, — да это такие, высоко художественные, оконченные восстановления, перед которыми долго останавливаешься, пораженный светом. И все это сухой логик!

---

[1] «Возможность раздельного существования смущает любящих, пока оно еще свойственно им, до полного соединения. Это своего рода противоречие между тем, чтобы отдаться полностью,— этим единственным возможным уничтожением, уничтожением противоположного в соединении,— и еще имеющейся самостоятельностью. Эта последняя препятствует первому. Любовь досадует на рознь, на то, что еще есть какая-то собственность. Любовь, гневающаяся на индивидуальность, и есть *стыд*. Он — не дрожь плоти, не выражение стремления к свободному существованию, к самосохранению. При покушении без любви любящая душа оскорбляется. Стыд ее превращается в гнев, который защищает тогда лишь собственность, право. Если бы стыд не вызывался любовью, словно бы разгневанной одним лишь наличием чего-то враждебного, но был бы сам по себе, по своей природе, чем-то враждебным, стоящим на страже собственности, на которую покушаются, то о тиранах пришлось бы сказать, что у них стыда больше всех, как и у девушек, отдающих свои прелести лишь за деньги, или у тщеславных, стремящихся очаровать ими. Ни те, ни другие не любят. Чувство, которое заставляет их охранять плоть, противоположно тому, которое протестует против существования этой плоти самой по себе. Они придают этой стороне своей личности значение, они бесстыдны. Чистая душа не стыдится любви, она стыдится того, что любовь еще не совершенна. Она упрекает себя за то, что есть еще сила, враждебное начало, препятствующее соединению» (нем.).— *Ред.*

17. Оттого, что мы глубоко, непримиримо распались с существующим, оттого ни у кого нет собственно практического дела, которое было бы принимаемо за дело истинное, вовлекающее в себя все силы души. Отсюда небрежность, nonchalance[1], долею эгоизм, лень и бездействие. Вот среда, благоприятная для развития! Чем больше, чем внимательнее всматриваешься в лучших, благороднейших людей, тем яснее видишь, что это неестественное распадение с жизнию ведет к идиосинкразиям, к всяким субъективным блазням. Beatus ille, qui procul negotiis [2]* может с головою погрузиться в частную жизнь или в теорию. Не всякий может. И эти-то немогущие вянут в монотонной, длинной агонии, плачевной и, главное, убийственно скучной. В юности все еще кажется, что будущее принесет удовлетворение всему, лишь бы добраться поскорее до него, но nel mezzo del cammin di nostra vita [3]* нельзя себя тешить — будущее нам лично ничего не предвещает, разве гонения усугубленные и опять скуку бездействия. Будут ли наши дети счастливее? Всякий раз, как я вижу Чаадаева, например, я содрогаюсь. Какая благородная, чистая личность, и что же — в этой жизни тяжелая атмосфера северная сгибает в ничтожную жизнь маленьких прений, пустой траты себя словами о ненужном, ложной заменой истинного дела и слова. Хорошо, кому это по натуре, как Хомякову,— он родился для византийско-петербургского порядка дел.

Жизнь без сильных искушений, несчастий так же неполна, как беспрестанно подавляемая несчастиями. Вечное горе делает скрытным, недоверчивым, наконец, повергает в совершенное безучастие к себе и к окружающему, и в этом оно похоже на счастие, никогда не возмущавшееся; благородная натура не потеряет симпатий своих ни в том, ни в другом случае, но они остаются в какой-то непроявляемой Innerlichkeit[4]. Вообще жизнь для полного развития требует событий; в ином хранится бездна возможностей, о которых он и не подозревал и которые никогда

---

[1] беспечность (франц.).— *Ред.*

[2] Блажен, кто в стороне от дел (лат.).— *Ред.*

[3] на середине нашего жизненного пути (итал.).— *Ред.*

[4] Здесь: глубине (нем.).— *Ред.*

не дойдут до одействотворения, не будучи вызваны внешними условиями; наоборот, теоретически можно увериться в таких силах своих, которых вовсе нет. Беда нашего века вообще в расторжении теоретической жизни и практической — исключая, впрочем, Англию. У греков было не так, оттого жизнь их (в своих пределах, разумеется) была виртуознее и лучше. Между прочим, мы себя раздражаем беспрерывно мечтами, этим суррогатом действительных страстей. Один никого не любит, а влюблен теоретически, хочет жениться во что бы ни стало, другой выдумывает другую мнимую муку и носится с нею; всё это одинаким образом свидетельствует о совершенном недостатке истинных, всепоглощающих занятий,— деятельность теоретическая недостаточна.

23. Объяснение с Д. П.*, omni casu[1] его поступок благороден: ничем не понуждаемый, он сам пришел ко мне, чтоб подробно и, как кажется, открыто изложить причину своего образа действий относительно наследства. Гордость, аристократические понятия на первом плане. Старику* это — достойное наказание за целую жизнь эгоизма и непоследовательности убеждениям, когда только замешивалась корысть, за его неуважение к человеку, за его скрытную двуличность.

Мы расстались не без уважения друг к другу; я совершенно прямо говорил о моих отношениях, мне нечего прятать: все, что я делаю, я могу делать всенародно, особенно в этом, т. е. финансовом отношении. А между тем он одному Д. П. верил насколько мог. И в этом продолжение казни. Au reste qui vivra verra[2]. Рано или поздно придется прямо и окончательно высказаться.

Все время штудировал Аристотеля в Гегелевой истории философии. Господи, вот талант-то! Я его считаю замыкателем греческой философии. Неоплатонизм не имеет того огромного сциентифического[3] значения, кажется мне, которое ему придают теперь и Гегель.

А впрочем, кто гигант — Аристотель или Греция? Гераклит

---

[1] при всех обстоятельствах (лат.).— *Ред.*

[2] Впрочем, поживем — увидим (франц.).— *Ред.*

[3] научного, от scientifique (франц.).— *Ред.*

за 500 лет до Р. Х. положил в основу —πάνταρεῖ[1]. А софисты — это бретеры диалектики.

30. Armance возвратилась. Что за странная, уродливая история! Я не обвиняю, не хочу обвинять; но не могу не видать безумия во всем и в них обоих. Конечно, Б⟨откин⟩ более виноват, нежели 18-летняя неразвитая, пылкая парижанка,— ему 35 лет, да и нрав не так порывист. Для чего же он женился? Для чего она шла за него, видя его рефлексию и пр.? Через 7 дней — в ссоре, через месяц в разлуке, и навсегда. Она оскорблена, страдает.

Неразвитость ее не резон — он должен был развить ее. Эгоизму бездна виднеется в этом пренебрежении к ближнему, что-то горасовское*. И зачем она приехала? Ей-ей, все безумие и одно безумие.

Бакунину префект в Париже велел выехать*— знай наших,— один испанский exaltado[2]* говорил, что Бакунин далеко ушел. В Цюрихе в тюрьме, и из Парижа выслан.

Октябрь.

3. Постоянно занимаюсь чтением Гегелевой истории философии и статьей*. Начал ходить к Глебову на лекции, читает прекрасно сравнительную анатомию и анатомию человеческого тела.

8. Продолжаю заниматься и оттого редко добираюсь до журнала. Надобно обратить побольше внимания на естественные науки, ими многое уясняется в вечных вопросах. Я отстал, десять лет почти вовсе не занимался ими.

15. На днях получил прекрасное письмо от Огарева*; несмотря на все странности, на все слабые стороны его характера, я решительно не знаю человека, который бы так поэтически, так глубоко и верно отзывался на все человеческое. Я совершенно примирился с ним, а то были минуты, в которые я негодовал, и очень. Женщина эта мучит его, преследует и не выпускает из рук добычи. Он ее не любит и между тем не может отвязаться от нее—психологическая задача. Долго ни он, ни Сатин не приедут,

---

[1] все течет (греч.).— *Ред.*

[2] мечтатель (исп.).— *Ред.*

и прекрасно для них, пусть надышатся европейским воздухом. А у нас подтверждение ездить по чинам, как Петр и Павел учреждали*; говорят еще, что право носить бобровые воротники предоставится только обер-офицерам. Чиновничество и византийский китаизм. Жене Юшневского не позволяют возвратиться через 19 лет*. Я чрезвычайно рад, что попал опять на естественные науки; надобно чем-нибудь заглушить все, что остается от энергии, — кругом туман, и конца ему не видать. Итак, кажется, мы начинаем делаться прошедшим! Вот и упования. Здесь особенно скучны эти славянофилы, опять сделались мне противны, они, сверх тупости, хитры, коварны — исключая, разумеется, двух, трех. Их представитель — «Маяк», непечатавший нагло свое позорное и невежественное profession de foi*.

Разрешения на журнал нет *; это, кажется, последняя мечта, и та не сбудется. Стыдная жизнь; иногда бывает так тяжело, так тяжело, что апатия овладевает всем существом и хотел бы только есть и пить.

21. Переговоры о наследстве etc. Удивительную мощь дает человеку неуважение денег или, по крайней мере, когда в нем есть известные убеждения, которые он ставит выше денег. Разумеется, в том случае, когда это неуважение происходит не от ноздревской бессчетности, а, напротив, соединено с полным сознанием важности денежных средств. Я отказался от Покровского, чтоб не быть причиною ссор и дальнейшей запутанности. Отказ с моей стороны выкажет всех. Дм. Павл. странно судит, исполнен предрассудков — но прямо обвинить его еще не могу, напротив, много дельного и *шляхетно* благородного. Но что делает старик, боже мой! боже мой! Как страшно прав Гоголь, говоря: забирайте теплые и святые чувства с собою из юности, без них старость страшит хуже могилы, на могиле хоть есть надпись, а в бесчувственных чертах старости ничего не прочтешь*. Эгоизм все вытравливает с летами — если только неэгоистические, человечественные стороны так слабы, что могут вытравиться. Нет, такой старости не желаю, лучше умереть в разгаре жизни, нежели живому пережить себя.

29. Анатомия со всяким днем открывает мне бездну новых фактов, а с ними мыслей, взглядов etc. на природу. Много знают натуралисты, а во всем есть *нечто*, чего они не знают, и это нечто

важнее всего, что они знают. Об этом именно я много писал в своей статье*. А propos, я уверен, что зоогностическая классификация Кювье и новейших зоологов не удержится. Почему инфузории помещены ниже полипов? Потому что малы; вообще беспозвоночные худо размещены у Кювье: моллюски вслед за позвоночными, но есть моллюски чрезвычайно бедно организованные, все безголовые; articulata[1] не ниже высших моллюсков. Дело в том, что прямолинейно нельзя расположить никакого царства природы: она разбрасывается и по множеству направлений достигает высших типов. Де-Кандоль давно предлагал классификацию представлять в том виде, как географические карты. Читал Либиха органическую химию — много хорошего, но много и гипотетического.

Ноябрь месяц.

2. Вчера в плохом французском спектакле* я был взволнован плохою пьесой и всего более плохою публикою. Пьеса очень неважная, из нынешних сентиментальных и моральных французских пьес, где музыка играет в местах лирических, а человек бредит наяву в местах патетических. Но не в этом дело. На сцене был представлен старик-музыкант, не евший, бедный, которого хозяин дома выгоняет на улицу, у которого отнимают последнюю утеху — старое фортепиано; старик просит, умоляет оставить ему инструмент; строго исполняющий закон и защищаемый им propriétaire[2] не слушает. Сцена страшная, вопиющая против современной общественности. Сцена, производящая тупую боль, щемление и до отвратительной степени верная, ежедневная, ну возмутительная, наконец. Я посмотрел на кресльі, я поднял глаза на ложи. По сытому выражению лица видно было, что они голодного не разумеют. Что с ними надобно сделать, чтоб они начали понимать, чтоб у них сердце, сверх приливов и отливов крови, еще имело бы какое-нибудь содержание?

Гагарин-католик сделался иезуитом, он хочет натурализироваться во Франции и потом, сделавшись священником, возвратиться в Россию. Всякое убеждение, заставляющее человека

---

[1] членистые (лат.).— *Ред.*

[2] собственник (франц.).— *Ред.*

противоречать всем временным, особенно русского, почтенно не само в себе, а в человеке. Au reste[1], все это невозможно: его на границе схватят или не пустят в Россию, или он без вести исчезнет. И за что идет он, понукается на мученичество — из-за идеи мертвой, погибшей? Русский, развивающийся до всеобщих интересов, готов схватиться за всякий вздор, чтоб заглушить только страшную пустоту.

9. Читал гётевские сочинения по части естествоведения; что за исполин, — нам следить невозможно за всем тем, что им сделано, и как? Поэт не потерялся в натуралисте, его наука точно также поэзия жизни, реализма, с таким же пантеистическим характером и с тою же глубиною. Теоретическим мыслителем, диалектиком он не был. Между прочим, он в предисловии к «Metamorphosen der Pflanzen» говорит о незаметном переломе, как человек сначала с юными силами беспрерывно расширяет область своего ведения и мало-помалу переходит к хранению нажитого, и уж нет того стремления к новому. И мы скоро перейдем в эту фазу, да только что хранить? Мы пали под бременем века и страны, у нас будущности нет, из прошлого вынесли любовь к людям и скептицизм. Ученые убеждения слабы, бедны; набирать их поздно. Жизнь, если не пересечется нелепой случайностью, представляет монотонную и однообразную иеремиаду негодований на окружающее, повторений; та же невозможность писать то, что хочешь, и неспособность писать то, что можно. «Это наказание людей, выходящих из современности своей страны». Такие сентенции хороши в философии, а на деле скверны — а кто нас вывел из современности, разве можно было найтиться в подобных страшных обстоятельствах, не потеряв человеческого достоинства?

Грановский написал диссертацию о Винете и Волине, где он доказывает, что Винета славянских преданий никогда не существовала и пр.* Такова дикая нетерпимость славянофилов, что они хотят возвратить диссертацию, что, вероятно, примеру не имеет, и готовы преследовать Грановского как лицо. Преследовать за Винету — это делает маленькое указание: если б эти люди получили власть в руки, что бы они сделали

[1] Впрочем (франц.).— *Ред.*

со всеми не покоряющимися их варварским мнениям,— они показали бы, что такое цензура вселенского народа и что такое кроткая сила слова православной церкви. Теперь они ликуют и не нарадуются вести, что «Отечественные записки» запрещены*, а через кого, как не через Погодина и Шевырева? И Грановского журнал отчего не позволяют,— я уверен, что по их гадким доносцам и происках.

9. Толки и переговоры с Иваном Васильевичем насчет участвования нашего в «Москвитянине»*. Я сначала сказал, что так как определенная и весьма большая разница в наших убеждениях очевидна, но тем не менее нельзя отрицать личных симпатий, искреннего уважения к его лицу, то, я полагаю, лучше было бы подождать книжку-другую журнала и потом посмотреть, возможно ли нам участвовать. Беспристрастие есть своего рода неопределенность и апатия, личное уважение есть тоже личность, вредная делу. Сверх того, Иван Васильевич не дошел до последней точки москвизма, но вся его партия щеголяет дикими и исключительными антигуманными мыслями. Хомяков согласился со мною и присовокупил, что он не дал бы статьи Грановскому. Я заметил ему, что, проводя ту же консеквентность, Грановский не взял бы и не поместил бы ее. Многосторонность симпатий nous éparpillent[1]; надобно резко и определенно обозначить, в чем наша мысль, и прямо высказать делом и словом невозможность общения с противуположным мнением.

Жалкие и парадоксальные мнения отчаянных славянофилов не так бы бесили, если б они были только нелепы, а то они нечеловечественны и противны. На похоронах Погодиной в лютеранской церкви они держали себя неблагопристойно,— я просил Хомякова вспомнить, как он рекомендовал поступить с иностранцем, который бы не снял шляпы в проходе сквозь Спасские вороты.

Потом толки о Гагарине. Хомяков находит наглым и дерзким до невероятности намерение его возвратиться сюда проповедовать католическим пастором, натурализовавшись французом. —«Ну, да если он убежден чисто и благородно, что католицизм есть единая дверь ко спасению...»—«Да как же он отказался

[1] рассеивает нас (франц.).— *Ред.*

от отечества?»— Не от отечества, а для своего спасения от каторги принял он вид француза. Этого он понять не мог. — «Если б, — говорит он,— англичанин сделал подобный поступок...»— Ну, что же, был бы кругом виноват, потому что в Англии его защищал его закон и пр.

20. Более и более расхожусь с славянами, кажется, их удивил прямой язык, мой тон у Свербеева*. Потому думаю, что меня все спрашивают, как было, что было, главное, как я решился сказать поэту-лауреату берегов Неглинной*, «что и не поместят его статьи в наш журнал». И Аксаков становится скучен от фанатизма московщизны. Мой разговор за неделю тому назад озлобил и удивил многих; когда люди начинают сердиться, они дозволяют всплыть многому, что лежит на дне души и в чем неохотно себе сознаются. Из манеры славянофилов видно, что если б материальная власть была их, то нам бы пришлось жариться где-нибудь на лобном месте.

29. Нет человека, который был бы менее меня подвержен всякого рода Grübeleien; но подчас душа вдруг стесняется каким-то ужасом; трепещет перед грозными возможностями, и за этими минутами следует печальная полоса, от которой долго не отделываешься; черные грезы с какой-то подробностию втесняются, одно хуже другого. Шаткость всего святейшего и лучшего в жизни может свести с ума. А то, чего утратить нельзя, не сытит вполне.

Встретил, в числе слушателей Глебова, одного замечательно умного молодого человека* и с горестью наглазно измерил, сколько свободного и благородного задавили в нас опыт и гонения. Этот молодой человек открыто, прямо говорит свои убеждения, не кастрируя каждую мысль, не оглядываясь воровски. Я перенесся в те времена, когда я, студент, отдавался также увлечению свободной смелой речи. И теперь бывают такие минуты, но потом спохватишься, вот что скверно. Хитрить, искажать мысль, заставить догадаться... конечно, «это ирония der brutalen Macht[1]», но громкая, открытая речь одна может вполне удовлетворить человека. Упрекают мои статьи в темноте,— несправедливо, они намеренно затемнены. — Грустно!

[1] грубой силы (нем.).— *Ред.*

3. Наконец, я достал брошюру Прудона «О собственности»*. Прекрасное произведение, не только не ниже, но выше того, что говорили и писали о ней. Разумеется, для думавших об этих предметах, для страдавших над подобными социальными вопросами главный тезис его не нов; но развитие превосходно, метко, сильно, остро и проникнуто огнем. Он совершенно отрицает собственность и признает владение индивидуальное, и это не личный взгляд, а вывод логический и строгий, которым он развивает невозможность, преступность, нелепость права собственности и необходимость владения. Очень кстати к этой брошюре заключение отчета министра Киселева, помещенное в газетах. Это министерство тоже не признает собственности, ни даже владения; в то время как стон со всех сторон России поднимается до Москвы и Петербурга, этот человек имеет медный лоб говорить, что ропот крестьян происходит от их непривычки к правильному управлению и порядку, что их благосостояние растет, что учреждения не требуют коренных изменений, что стоит им развиваться в том же духе, и заключает, наконец, тем, что встречаемые им неудовольствия — необходимые следствия переворота, вроде испытания людям, идущим на исполнение святой воли г⟨оспода⟩. С каким негодованием лет через 50 будут читать такую колоссальную ложь и такое бесстыдство, и никто не смеет уличить, ответить, по крайней мере раскрыть глаза!

4. Писал к Самарину*. Не мог, да и не хотел удержаться, чтоб не написать ему вполне мое мнение о славянах, об этой пустоте болтовни, узком взгляде, стоячести и пр. Ему из Петербурга по воспоминанию, издали долго не отделаться от них; я не полагаю, чтоб мое письмо на него подействовало, но пусть же он услышит и другую сторону. Он один из них может, кажется, еще спастись*. История с диссертацией Грановского послужила на пользу, все сняли перчатки и показали настоящий цвет кожи. Грановский отказался от всякого участия в «Москвитянине».

10. Славянофильство имеет подобное себе явление в новой истории западной литературы. Появление национально-романтической тенденции в Германии после наполеоновских войн — тенденция, которая находила слишком всеобщею и

космополитическою науку и мысль, шедшие от Лейбница, Лессинга до Гердера, Гёте, Шиллера. Как ни естественно было появление неоромантизма, но оно было не более как литературное и книжное явление без симпатии масс, без истинной действительности; не трудно было угадать, что через десять лет об них забудут. Точно такое же положение занимают славянофилы. Они никаких корней не имеют в народе, они западной наукой дошли до своих национальных теорий, это болезнь литературная и больше никакого значения не имеющая. Они вспоминают то, что народ забывает, и даже о настоящем имеют вовсе не сходное мнение с народным. Недавно я слышал, как они говорят о нравственной и кротко-семейной жизни нашего сельского духовенства, о влиянии этих добрых отцов семейства на крестьян — от donc[1], кто когда-нибудь живал в деревнях или говорил с крестьянами хоть на большой дороге, тот знает истину такой идиллии.

«Зачем иностранцы нас не понимают, зачем смотрят враждебно, зачем мало занимаются нами etc.?» Да зачем мы сами не более 15 лет стали заниматься собою как самобытными, да зачем, начавши собою заниматься, вывели одни нелепости? Заниматься кем-нибудь тогда только можно, когда он стоит этого. Европа очень занимается нашей силой, потому что она в ней видит мощного раба под влиянием розги и бича, который готов на время разрушить великие плоды веков; Европа tacitement[2] стоит под одним знаменем от Кенигсберга до Дублина, разногласия их — частные вопросы, но есть лабарум*, около которого все народы готовы были бы соединиться (исключая, может, часть Австрии).

С другой стороны, они видят знамя, прямо противуположное,— написавшее яркими буквами «самодержавие»; они должны ненавидеть стан врагов и тот народ, который готов идти на гибель народам.

11. Когда при возрождении наук явилась древняя гуманная цивилизация, весь средневековый мир испытал то, что русское государство испытало при принятии западной цивилизации. Иная, вполне развитая мысль внедрялась в Европу като-

---

[1] между тем (франц.).— *Ред.*

[2] молчаливо (франц.).— *Ред.*

лическую и сочеталась с нею,— к нам так явилась мысль европейская.

14. Вчера в 10 минут двенадцатого родилась малютка*. Страдания были велики, но веры больше, нежели те раза. Рождение малютки — потрясающий религиозно-физический акт, люди со слабыми нервами не могут присутствовать при страданиях женщины; очень вероятно, я вовсе не подвержен нервным припадкам, но и то чувствую, что еще немного — и волнение сделается не по груди, т. е. сильнее сознания. Особенно минута рождения, первого крика — как будто что-нибудь обрывается в груди, может, это магнетическое соотношение с родильницей. Итак, дочь! Мне хотелось дочь; если наша семья не уменьшится, останется так, как есть, пожалуй, и не увеличится — она как-то теперь цела, замкнута. Надобна была девочка, чтоб в ней повторилась мать, чтоб был элемент des Weiblichen[1], мягкости, кротости. Если б я мог быть счастлив в одном домашнем счастии, если б я имел эгоизм людей, называемых добрыми отцами семейств, я был бы вполне счастлив. И теперь, когда черные мысли о безвыходности, о бездейственности, о утрате всех упований найдут на душу, одно утешение — семья и двое, трое друзей. Оно врачует — это правда, но врачевание есть само по себе акт скорбный и пр.

Сегодня 19 лет знаменитому 14 декабря.

16. Давно, а может и никогда, я не испытывал такого кроткого чувства спокойного обладания счастием очага своего, как ныне. Правда, торжественна была минута рождения Саши, но наша неопытность повергала нас в беспрерывный страх. Этот страх только развился от несчастных случаев, и когда родился Николенька, я ничего не надеялся, я был уверен, что он не останется жив... Совсем напротив теперь,— я твердо верил, и вера сбылась. Вся обстановка теперь как-то тихо, прекрасно покойна. Такими днями, полосами в жизни человек должен дорожить; проклятое невнимание наше к настоящему делает то, что мы только умеем воспоминать утраченное. Конечно, мудрено оттолкнуть страшную мысль возможностей, случайностей;

---

[1] женственности (нем.).— *Ред.*

зачем смотреть вперед, предвидеть чего нет, что может не быть, это своего рода Grübeleien, от которых я не так свободен, как от романтических. Идеалисты выводят из этой шаткости благ необходимость пренебрежения ими. Конечно, сфера идей не зависит от случайности, и исключительное погружение в частности гибельно, но нельзя же опять выйти из своей кожи для того, чтоб существовать только как мысль. Не токмо блага жизни шатки, но сама жизнь шатка; малейшее неравновесие в этом сложном химизме, в этой отчаянной борьбе организма с своими составными частями — и жизнь потухла; однако из этого не следует, что лучше не родиться или, родившись, зарезаться, чтоб не подвергнуться случайностям. Все прекрасное нежно, это цветы, которые мрут от каждого холодного ветра, в то время как суровый стебель крепнет, но зато он и не благоухает и не имеет ярких лепестков. Жизнь в высшем проявлении слаба, потому что вся сила материальная была потрачена, чтоб достигнуть этой высоты; мускулы можно резать, члены отнимать, а до мозга нельзя грубо прикоснуться. Таковы блага любви,— ими надобно упиваться, отдаваться им, жить в них, ловить, ценить каждое мгновение. Nur wenn er glühet, labet der Quell[1]*. Августин говорит, что человек не может быть целью человека,— страшные удары смерти ежедневно доказывают это; тот, кто все положил на одну голову, для кого нет бога, кроме этого лица, подвергается грозной случайности, безумию, самоубийству. Но что это *все*, как оно принято, в каких пределах? Мать, стенающая у гроба единственного сына и молящаяся о душе его, этим актом показывает, что не все для нее было в сыне. Но кое-что, и кое-что многое, должно лежать на людях, должно иметь целью их, иначе холод и запустенье посетит душу, эгоизм или монашество — один выход. Что за стертое и дерзко скупое лицо, которое оттого ⟨способно⟩ заморить в своей душе потребность любви, что предмет его любви может умереть, изменить и пр. Конечно, могут быть выродки, то есть люди, не чувствовавшие вовсе этой потребности, — другое дело: глухим никто не рекомендует слушать Сальви. Ловить настоящее, одействотворить в себе все возможности на блаженство — под ним я разумею

[1] Источник освежает, когда пылает (нем.).— *Ред.*

и общую деятельность, и блаженство знания так же, как блаженство дружбы, любви, семейных чувств, — а там что будет, то будет, на мне ответственности не лежит; тот ответит, кто скрыл талант в землю, чтоб его не украли. Талант — мы берем его со стороны его развития, как великую возможность деятельности для других; но зарыть талант не только можно для других, но то же преступление человек может сделать относительно себя.

Разве не глупый поступок сделает тот, который, страстно любя музыку, не пойдет ее слушать, имея на то возможность? Мне всегда казались противны и смешны люди, из какой-то экономии ощущений отказывающиеся от лучших даров жизни,— на это имеют право одни безумные религиозники, для них самоотвержение, ненужное и подавляющее самые естественные потребности,— потеха. Такое прекрасное лицо, как Григорий Назианзин, писал к Василию Великому: «Помнишь ли, как мы тогда роскошествовали лишениями?» Стало, все страсти, разврат, обжорство имеют полное право... нет, не стало. У низкого человека низкие желания, но человек должен быть высок; поднимаясь, он поднимает свою страсть, а поднимаясь, она проходит великое чистилище. Страсти низкие большей частию сильны потому, что хорошие сгнетены, или, лучше, они сами по себе хороши, но низки от сгнетения. Отчего многие из людей развитых охотно выпьют стакан благородного вина и, может, один на тысячу пьет мертвую чашу, а в несчастных классах, на которых груди стоит безобразное здание нашей общественности, наоборот? Отчего во всех слоях общества есть женщины увлекавшиеся, падавшие, как говорят, а публичные домы снабжаются только низшими классами? Неужели эти бедные жертвы гнусной несправедливости так легко попали бы в свое ремесло, если б они имели воспитание? Чем больше разовьется человек, тем чище сделается грудь и тем труднее будет его уверить, что белое — черно, что все естественное — преступно, что все доставляющее истинное наслаждение должно быть избегаемо. Есть несчастная распущенность, которая, как и вообще слабость характера, унижает человека; такой человек следует уже не разуму, не сознанию, а одним естественным влечениям, и тогда он становится ниже человеческого достоинства. Опять

та же статика. Все стороны, составляющие живой дух человека, должны слитно, гармонически участвовать в его деянии[1], иначе выйдет односторонность; физически это очень понятно, потому что в физическом мире царят драконовы законы, жесткие и кровавые; пусть в крови недостанет одной из существенных составных частей — смерть за эту неполноту,— то негодно, что неполно. Но на эту тему можно написать целую тетрадь. Возвращаюсь. Это чувство d'une béatitude tranquille[2] давно мною не чувствовалось так; святые, прекрасные месяцы моей владимирской жизни были ярче, потому что мы были юнее, но есть и поэзия возмужалости, так, как есть юное в совершеннолетии; теперь отчетливее, реальнее то, что было тогда лучезарнее и мечтательнее. За день до рождения Наташи я как-то превосходно настроился, с каким-то Sehnsucht[3] хотел видеть Грановского и Корша, то есть всех, по ком у меня здесь может быть Sehnsucht; на душе было легко, юное вспомянулось. Итак, да благословится же на жизнь этот младенец, пусть она будет как ее братья, а главное как ее мать. В Николеньке есть что-то женское, — что за бесконечная кротость в его детских чертах, что за мило-доброе и вечно смеющееся лицо!

17. Языков написал какие-то ругательные стихи на Чаадаева, Грановского и Герцена!* Or donc Грановского он никогда не видал, меня раз. Я не читал это произведение славянофильских наущений Хомякова и оскорбленного самолюбия поэта, некогда нравившегося, теперь выжившего из ума, отсталого. Мы не курили ему фимиама, не считали за счастие разделять его томную беседу. Наконец, «Отечественные записки» недавно в прекрасной и ловкой статье оценили его по заслугам*. Признаюсь, мне

---

[1] Вспомнил мысль, резко высказанную Павловым (студентом). Он называет всемирный процесс химизмом, двуначальный химизм неорудной природы и многоначальный — орудной; так что последний результат — мышление и человек. Человек — высшее равновесие и взаимодействие составных радикалов, малейшее неравновесие — он животное, ряд неравновесий — ряд животных; прочность покупается степенью понижения, например, амфибии, устранение слабости дает крепость, приближающую к минералу, и пр.

[2] спокойного блаженства (франц.).— *Ред.*

[3] страстным желанием (нем.).— *Ред.*

хотелось бы прочесть для того, чтоб убедиться еще в одной черте этой котерии: я почти уверен, что тут есть невольный доносец. А Аксаков написал премилые стихи*, отказываясь от Дмитрия Коптева и Вигеля. Это свой круг стариков, изживших все бедное умственное достояние, непризнанных, отсталых, с ненавистию встречающих каждую мысль, пиетисты, доносчики, злые самолюбия, оскорбленные притязательности; тут Глинка, Лихотин, Сушков и юный летами, но старый подлостью Коптев. Это замкнутая котерия бездарности, догнивающие остатки чего-то загнившего прежде зрелости. О, милая Москва, да еще вельтмановская котерия с Нееловым, Рабусом, Сангленом!

Мне прежде казался Иван Васильевич несравненно оконченнее Петра Васильевича,— это не так. Петр Васильевич головою выше всех славянофилов, он принял один во всю ширину нелепую мысль, но именно за его консеквентностию исчезает нелепость и остается трагическая грандиозность. Он жертва, на которую пал гром за его народ, за ту национальность, которая бичуется теперь. Но Иван Васильевич хочет как-то и с Западом поладить; вообще он и фанатик и эклектик, — фанатик, чтоб быть полным, именно должен не быть эклектиком, иначе то, что придает ему силу, резкость, как паяльная трубка, усиливающая огонь, сгибая его на одну сторону, сглаживается, эмусируется, и выходит нечто неопределенное. Бездушному Хомякову все идет: и эта многосторонность публичных женщин, и это лукавство, предательски соглашающееся, и этот смех, которым он встречает негодование. Но Киреевский должен бы был быть оконченнее.

18. Наши личные отношения много вредят характерности и прямоте мнений. Мы, уважая прекрасные качества лиц, жертвуем для них резкостью мысли. Много надобно иметь силы, чтоб плакать и все-таки уметь подписать приговор Камиля Демулена!*

27. «Г⟨осударь⟩ не соизволил разрешить господину Грановскому издавать журнал»*. Вот вам и деятельность! Как глупо, нелепо таким образом гнать всякую мысль и как непоследовательно; может ли профессор быть терпим на кафедре, если он подозрителен как журналист? И на что у них отвратительнейшая цензура, если и она не гарантия, что ничего прямого, ясного не

проскочит; а для косвенного, скрытого всегда есть пути. Состояние совершенного бесправия, горячечное состояние какой-нибудь Испании*, например, по крайней мере заставляет прощать бесправие в вихре, в борьбе партий, в взаимной опасности; а здесь отобрали кучку бессильных и бьют их сколько душе угодно, опираясь на огромную кучу оторопелых или слабоумных. Во имя чего? — Иной раз кажется, бежал бы, спасая себя и детей. Говорят, что готовится указ* о том, чтоб дети дворян с 10 лет ходили в публичные школы; таково безобразное положение наше, что нет гнусности, которая не представляла бы пользы, и наоборот. Правительство берет эту меру, вероятно, только для того, чтоб с 10 лет в корне души задавить все благородное, чтоб возрастить себе поколение подлых илотов; все слишком энергическое прежде 14 лет успеет попасть в Сибирь, за дерзость, за оторванную пуговицу. Такое публичное воспитание будет равнозначительно сплющению черепных костей при рождении младенцев, употребляемое некоторыми дикарями в Африке. Но оно будет полезно вовсе в другом смысле — оно вытащит из нор провинциальных барчонков, оно спасет их от отцов и матерей, оно отучит их с 12 лет развращать горничных и бить слуг; оно в них может заронить мысль. Плетью гонят нас к просвещению, плетью наказывают слишком образованных — вот безобразнейшая сторона демократического уравнения, производимого равным лишением прав.

К этой нивелировке принадлежит и то, что министр внутренних дел, искореняя сифилитическую болезнь, велел свидетельствовать всех девушек, определяющихся в услугу, берущих адресные билеты и пр. Это уже нивелировка позора: между публичной девкой и скромно ведущей себя мещанкой в чем же разница,— те же руки бесстыдно и, вероятно, с приправою острот, грубо, нагло будут свидетельствовать тех и других. Каждый сифилитический, явившись в больницу, обязан сказать, от кого он занемог, и тотчас полиция обязана освидетельствовать указанную особу: итак, последний мерзавец может доставить позор свидетельства всякой девушке, на которую он зол. Да после откроется истина — положим. Но разве у нас общественное мнение так образовано, что оно сумеет понять, что тут гнусно собственно и кто гнусен? Нет, оно ошельмует бедную жертву.

Толкуют о новом указе об эманципации. Толки основаны на пропущенной статье в «Journal de Francfort»*. Хоть бы это! И чего они боятся, если хотят; кого — уж не помещиков ли? Дворцовую аристократию — ее деньгами, звездами можно утешить.

30. Языков написал еще два стихотворения*: одно против нас же, другое против Чаадаева, более оскорбительное и подлое, нежели первое,— гадкая котерия, стоящая за правительством и церковью и смелая на язык, потому что им громко отвечать нельзя. Они, кроме Аксакова и Киреевских, не имеют тени гуманности и благородства. И что за сумбур в голове у этих людей! Недавно я вытеснял на чистую воду Хомякова из-за леса фраз, острот, анекдотов, которыми он уснащает свою речь, и он вывертывался старыми понятиями идеализма, битыми мистическими представлениями.

ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ СОРОК ПЯТЫЙ ГОД

Январь месяц.

3. Кажется, в частном отношении, жизнь моя, наконец, потекла поспокойнее. Прошлый год был тих. А какая пестрая и богатая эффектными положениями жизнь, как много для воспоминания — едва теперь я начинаю объективно смотреть на это былое. 10 лет тому назад я новый 1835 год встретил в тюрьме. Только десять лет — и что с тех пор событий! Уж десять лет, а кажется — вчера только или очень недавно!

В самый Новый год длинное письмо Огарева*—он развивается и притом как-то одинаково со мной, с нами. Впрочем, сверх близости души, одна атмосфера современной мысли обнимает нас.

6. Казнь Чеха* как-то тупа, король плакал — а велел казнить. Министры умоляли казнить его тайком утром. В Шпандау отрубили ему голову и объявили афишами. Чех выдержал характер до последней минуты и, след., остался победителем. Не понимаю, как такие простые вещи, как ненужность казней, вред их не бросаются в глаза правительствам. Еще в Испании, где все метется в каком-то опьянении, понятно, что Нарваэз казнит своих врагов, так как его самого, очень может быть, казнят завтра. Но тут спокойно, gemütlich und romantisch[1], отрубить голову при современных понятиях — глупо, безрасчетно даже, потому что человек твердый реабилитируется казнию и обращает к себе симпатии. Еще глупее, ежели прусские министры-доктринеры, Эйхгорн-историк, например, думает остановить будущих охотников до стрельбы этим средством;

[1] спокойно и романтически (нем.).— *Ред.*

неужели вся история на всякой странице не говорит им, что не токмо ни одного фанатика никогда не останавливала казнь, но даже людей, увлеченных случайной страстью? Тут проглядывает совсем иное — месть, просто месть, жажда крови дерзкого, который даже не раскаялся, не дал случая показать милосердия на себе, потому что не просил его.

Два наказания только могут остановить человека — это угрызение совести и общественное мнение; без уважения к себе от самого себя и от ближних человек жить не может, никакие казни не могут сравниться с постоянным сознанием своей гнусности и справедливости презрения от других. Человек готов на всякую епитимию, он будет на лобном месте просить прощение, пойдет в иное место (т. е. сам сошлет себя), только чтоб примириться с собою, ибо в раздоре этом он задохнется.

Разумеется, совесть и общественное мнение в неразвитом народе сливаются в религиозной нравственности, в велениях свыше; критериум, внешний закон заменяет недостаток сознания о добре и зле, о человечественном и нечеловечественном. Отчего русский крестьянин один на дороге не ест скоромного, в то время как за нарушение поста он наказан не будет, а березу на большой дороге срубит, хотя сам знает, что за это его накажут розгами, плетьми? Есть переходные полосы государственной жизни, где религиозная и всякая идея нравственности теряется, как, например, в современной России, но и тут, если совесть некоторых молчит, общественное мнение, слабое, неразвитое, все же отталкивает безусловно гнусное. Отчего нигде, никогда в обществе не бывает полицейских чиновников, — если переодетые шпионы, пользуясь анонимностью, и являются, то явных нет. Наказание — совершенная нелепость в развитом государстве, и в будущем будут удивляться, как правительство вступало в соревнование с каждым злодеем и делало такую же мерзость над ним, которую он сделал, с тем различием, что он был более или менее вынужден обстоятельствами, а правительство — так, без всякой нужды. Казни — это абсолютные преступления, поэзия преступлений. Но где же истинное, непогрешающее мерило того, что хорошо, и того, что дурно для человека? В самом понятии человека, развивающегося в истории, в историческом моменте, в среде, в которой

он вырос; хорошо все то, что развивает слитно родовое и индивидуальное значение человека; дурно, если индивидуальное, феноменальное совершенно поглощает общечеловеческое, дурно, если тело совершенно задавит дух, — но наказывать (scilicet[1] в развитом государстве) и за это нельзя, такие люди будут презираемы, а дело положительных законодательств — чтоб эти отрицательные люди не могли положительно вредить, как безумные, как дураки, как животные. Критериум добра и зла всегда есть в человеке, как бы он ни выражался под влиянием исторической эпохи,— человек, который отрицает его, дурачится, лжет. Стоит слушать формальные фразы говорящего, и ясно увидишь, как он понимает вместе с своим народом или кастой добро и зло. Слово «честь» разве не было на устах Цезаря Борджиа, ненарушимость обета разве и им не принималась в основу договора и пр.? Но он нарушал их. В этом то и доказательство, что он индивидуальную волю свою, удовлетворение страсти ставил выше всеобщего понятия о нравственности своего времени. Ну, как же не наказать его? Во-первых, он и не был наказан, —il était trop haut placé[2], чтоб быть наказанным, а если б он был менее высоко поставлен, то он не мог бы сделать всего того, что он сделал, и тогда суд был бы иной над ним. Зачем же гражданское общество было еще на той жалкой степени развития, что не могло провести своих же понятий о чести, о христианских обязанностях и пр., а во всех проявлениях жизни было непоследовательно, путалось в противуречиях? Зачем оно имело таких преступников, которых не достигал закон, и такой закон, который разил чаще всего не по преступникам? В наше время, на западе Европы можно себе представить плантатора, злодея работников, мужа-варвара, развратника, убийцу, вора— но не Цезаря Борджиа; ну, что сделал бы такой Цезарь, — купил бы журнал, ругал бы противников в фельетоне, подкупал бы голоса и, может, вышел бы фродюлезно[3] на дуэль. Вот насколько современная Франция и Англия стоят выше тогдашней Италии. Если же представить себе будущую общественную форму,

---

[1] разумеется (лат.).— *Ред.*

[2] он занимал слишком высокое положение (франц.).— *Ред.*

[3] обманным путем, от frauduleusement (франц.). — *Ред.*

когда вопрос о голоде и обжорстве, о наготе и пышности приведется в порядок, когда невозможно будет остаться без воспитания никому,— ни сыну богача, ни сыну нищего,—когда самое значение слова «богач» будет бессмысленно по ненужности,— сколько изменится в нравственном быту того класса, который теперь фурнирует maximum преступников — плебса! Тогда образцовые кнуты будут не нужны, я думаю.

7. Кстати, к наказаниям. Вот случай, рассказанный Тучковым. В Пензенской губернии какой-то помещик, великий злодей, страшно тяжел пришелся крестьянам; молодой крестьянин сказал односельцам, что он намерен избавить их от «отца общины»,— те перепугались суда, последствий и пр. Молодой человек сказал, что всё возьмет на себя, что лишь бы они о нем молились богу, что никому не достанется. Таким образом, он отправился на плотину, через которую помещик должен был идти, и à la G. Tell стал его ждать; когда тот пошел, он побежал ему навстречу, схватил его вперехват — и вместе в омут. Оба утонули. Это античный героизм. Полагаю, что такого человека смертная казнь in spe[1] не очень остановила бы. При всей неразвитости русского его останавливает «на миру будет стыдно»; он уважает мнение своей общины; боится он помещика — это другое, это рабство, он ему повинуется, оскорбляясь, а там он признаёт.

10. Славянофилы, наконец, более и более являются узенькими людьми раскола. Стихи Языкова с доносом на всех нас привели к объяснениям, которые, с своей стороны, чуть не привели к дуэли Грановского и Петра Киреевского,— я в душе ненавижу не принцип дуэлей, а нелепость смертной казни за оскорбление этого принципа, однако делать было бы нечего. После всего этого, наконец, личное отдаление сделалось необходимым. Аксаков торжественно расстался с Грановским и мною — видно было, что ему жаль, он благороден, чист, но односторонен, ограничен в своем расколе. Мы дружески сказали друг другу, что служим иным богам и что потому должны разойтиться один направо, другой налево; уважение ему как характеру я не могу отказать.

---

[1] в будущем (лат.).— *Ред.*

Они, может, оба Киреевские уносят личное уважение, а остальные — чорт с ними! Самарин не думаю, чтоб их был.

Странная Русь: из нее высшими плодами являются или люди, опередившие свое время до того, что, задавленные существующим, они бесплодно умирают по ссылкам, или люди, опертые на прошедшее, никакой симпатии не имеющие в настоящем и так же бесплодно влачащие жизнь.

13. Иван Висильевич Павлов рассказывал, как были приняты студентами мои статьи в «Отечественных записках»,— признаюсь, мне было очень весело слышать, большей награды за труд не может быть. Юноши тотчас оценили, в чем дело, и гурьбою ходили в кондитерские читать. Грановский пользуется между студентами чрезвычайным авторитетом, для них — мера, к которой прикидывают других профессоров.

17. История химии Дюма—чрезвычайно замечательная книга. Химия — настоящая опора эмпирии, важность ее теперь только начинают чувствовать. Без химии нет физиологии, нет, след., и естественных наук. Естественные науки доселе имели чрезвычайно шаткую основу, потому что они занимались одной морфологией, а не тем, *что* изменяется в ней. Сам гигантский гений Гёте не постигнул этой важности химизма, и его метаморфоза растений — одна морфология. Новая химия идет не далее конца XVIII столетия, т. е. не далее Лавуазье. Он сказал: материя вечная, утратиться ничего не может, все видоизменяется, ничего не пропадает — и пошел, с весами в руках, следить за химическими процессами. Эта мысль, руководившая им, конечно, не менее важна, как открытие кислорода; он посадил химию на ту базу, с которой стоило ей органически развиваться, по крайней мере расти фактами и наблюдениями, ожидая возможности перейти от грубой эмпирии к эмпирии спекулятивной.

27. Отправляю письмо к графу Орлову о разрешении въезда в Петербург*; это проба, как они смотрят на меня; если пустят, можно будет проситься в чужие края.

Февраль.

8. Два первых письма об естествоведении отправил Краевскому*. Занимался третьим; кажется, изложение греческих фило-

софов удачно, особенно софистов и Сократа. Послал диатрибу на «Москвитянин»*, — делать нечего, пусть их сердятся.

Говорят, что в Пруссии скоро издастся конституция*; вот там своя эмансипация, а об нашей и говорить перестали; факт важный. Адресы, которые готовятся послать из рейнских провинций, дышат силой и решительным радикализмом, они требуют народного представительства, свободы книгопечатания и эманципации жидов. К языку этих адресов почтенный прусский король не привык.

12. Барер говорит, что Мирабо сказал однажды Барнаву: «Barnave, tu as les yeux froids et fixes, il n'y a pas de divinité en toi...»[1]* В этом выражении, как и в многих того времени, ярко отозвалось то время энергии в словах и делах, которое имело свой язык, свой романтизм, свою поэзию. В наше время никто не скажет подобного замечания и так сильно.

14. Сегодня Глебов вскрывал живую собаку. В первые минуты зрелище страшное, отвратительное — но потом интерес поглощает все другое; вот она, пульсация артерии, вот нервы, производящие судороги при прикосновении и, наконец, сердце, еще горячее, еще бьющееся; я положил на него руку — есть что-то торжественное в этом святотатственном прикосновении к тайнику жизни. Она жила полчаса; последнее время, кажется, уже была в онемении, но легкая пульсация и перистальтические движения кишок продолжались. При вскрытии груди, когда воздух коснулся легких, собака стала кашлять. Великая мистерия жизни; это таинство не падет, оно более и более вселяет благочестивого уважения к себе.

A propos к сравнительной анатомии и к зоотомии, славянофилы жестоко освирепели, «Отечественные записки» им пришлись солоно.

20. Странное, нелепое предчувствие тревожит, мучит меня. Темный фатум царит над нами и делает чорт знает что, из безразличного поступка развивает чудовищный результат; человек спокойно спит, а он путает, путает нити, и он прежде, нежели что-нибудь почувствует, сознает, вовлечен в безвыходное положение.

---

[1] «Барнав, у тебя холодные и пристальные глаза, в тебе нет божества...» (франц.).— *Ред.*

Где свобода? — Не знаю отчего, а что-то тяжело на душе.

23. Третьего дни Грановский защищал свою диссертацию о Иомсбурге и Винете. Это было публичным и торжественным поражением славянофилов и публичной овацией Грановского. Нападки были деланы с невероятной дерзостью, с цинизмом, грубым до отвратительности; Грановский отвечал тихо, спокойно, кротко, вежливо, улыбаясь; нравственно оппоненты были уничтожены им. Но толстая шкура их не поняла бы этого. Другой голос посильнее осудил их. Грановский был встречен громом рукоплесканий, каждое слово Бодянского награждалось всеобщим шиканием. Изъявления эти были так сильны и энергически, что никто и не подумал останавливать их. Сверх дерзости в выражениях, гнусные проделки Шевырева, Бодянского и других были известны всей публике, на них смотрели с омерзением. Когда кончился диспут и граф Строганов поздравил Грановского, раздались «Vivat! Vivat!», продолжавшиеся с четверть часа. На лестнице потом увидели как-то опять Грановского — и новые рукоплескания; даже перед университетом собралась толпа студентов, ожидавшая его выхода, но ее уговорили разойтись. Этот день торжества Грановского да вместе с тем торжества всего университета. Университет доказал, что он имеет и мнение и голос. Нам доказал он, что его симпатии далеки от славянофильства. Хвала студентам! Вчера за обедом я предложил первый тост за здоровье студентов Московского университета. Славяне огорчились и как-то не находятся, — au reste[1] благородные из них были против всех проделок, а подлые выдумают в свое оправдание несбыточные мерзости, что это интрига etc., и по своим котериям будут нас вдвое ругать. Сегодня видел Петра Васильевича — чудный человек!

Славянофилы постоянно набрасывают на нас смешной и жалкий упрек, что мы ненавидим Россию; да из которой же стороны наших слов, дел, мнений это видно? Неужели из того, что мы страдали, а они нет? Что мы становились в оппозицию, которая только могла нас вести в ссылку, а они нет? Дело, кажется, просто, и одна узкая нетерпимость их могла взвести на нас пошлое обвинение. Мы разно поняли вопрос о современности, мы раз-

[1] впрочем (франц.).— *Ред.*

ного ждем, желаем,—разве это мешает нам быть столько же патриотическими? Да, в наш патриотизм входит общечеловеческое, и не токмо входит, но занимает первое место — а у них разве христианство, какое-нибудь суздальское явление. Из этого никак не следует, чтоб мы протянули друг другу руки, — нет, но не следует и того, чтоб вся монополь любви к отечеству принадлежала им и они имели бы право нас упрекать в ненависти к России. У больного два врача: один думает его лечить от геморроя, другой от чахотки; быть может, что они оба неправы, — однако где же достаточная причина считать того или другого отравителем? Они могут ни в чем не соглашаться, но цель их остается та же — желание излечить больного. Им нужно былое, предание, прошедшее — нам хочется оторвать от него Россию; словом, мы не хотим той Руси, которой и нет, т. е. допетровской, а той новой Руси они совершенно не знают, они отрицают ее— так, как мы отрицаем древнюю.

26. На днях получил письмо от Самарина*. Удивительный век, в котором человек до того умный, как он, как бы испуганный страшным, непримиримым противуречием, в котором мы живем, закрывает глаза разума и стремится к успокоению в религии, к квиетизму, толкует о связи с преданием. Письмо его подействовало на меня грустно. Сегодня писал ему ответ, в нем я сказал ему: «Encore une étoile qui file et disparaît![1] Прощайте. Идите иной дорогой; как попутчики, мы не встретимся, это наверное»*. Да как это ему не стыдно принадлежать к этим запакощенным славянофилам?

28. Студенты приготовили было новый аплодисмент Грановскому при первой лекции. Инспектор* просил его как-нибудь предупредить, он предупредил по-своему: взошедши на кафедру, он сказал, стоя, à peu près[2] так: «Милостивые государи! Позвольте мне благодарить вас за 21 февраля; этот день скрепил наши отношения неразрывными узами, я получил от вас самую прекрасную, самую благородную награду, какую только может получить преподаватель в университете, — вполне чувствую ее и еще с большею ревностью посвящу жизнь мою Московскому

---

[1] «Вот еще одна звезда падает и исчезает!» (франц.).— *Ред.*

[2] приблизительно (франц.).— *Ред.*

университету. Позвольте мне обратиться к вам с просьбой: я осмеливаюсь просить вас, милостивые государи, не изъявлять более наружным образом вашего сочувствия, мы слишком близки друг к другу, чтоб нужны были такие доказательства; не потому я прошу вас об этом, что считаю опасными для вас или для себя такие изъявления, я знаю, что это не остановило бы вас,—а потому что они излишни после того изъявления вашей симпатии, которое останется на всю жизнь мою лучшим воспоминанием. Зачем наружные знаки, вы и я принадлежим к молодому поколению, мы имеем общее, прекрасное дело: посвятим занятия наши серьезно изучению, служению России—России, вышедшей из рук Петра I, равно удаляясь от пристрастных клевет иноземцев и от старческого, дряхлого желания восстановить древнюю Русь во всей ее односторонности». Студенты, разумеется, не аплодировали, с благоговением и молчанием выслушали они превосходные слова. Во всем, что делает Грановский, есть какая-то стройная грация; какое удивительное благородство и уменье притом остановиться в необходимых пределах!

Шевырева готовятся принять свистками или ошикать, если он будет говорить, т. е. выговаривать студентам. Это было бы хорошо, но за это можно уехать бедным юношам на Кавказ, а потому лучше было бы им, т. е. всем студентам, решительно не ходить на его публичные лекции.

Бедный Крюков умирает. Еще одним светлым, прекрасным человеком меньше в нашем круге[1].

«De la création de l'ordre dans l'humanité» того Прудона, который писал о собственности. Книга эта, вышедшая около двух лет тому назад,— чрезвычайно замечательное явление. Во-первых, надобно, читая Прудона, как П. Леру и других французов философствующих, беспрерывно помнить, что у них есть свои странные мысли и приемы, des niaiseries[2], иллогизмы и пр. Сквозь это надобно пробиться, надобно это принять за дурную привычку, которую мы терпим в талантливом человеке, и идти далее; поверхностных читателей того и гляди отстращают

[1] Анекдот Крюкова о личном боге*.

[2] глупости (франц.).— *Ред.*

такие выражения. Прудон решительно поднимается в спекулятивное мышление, он резко и смело отделался от рассудочных категорий, прекрасно выводит недостаток каузальности, субстанциальности и снимает их своими сериями, т. е. понятием, расчленяющимся на все свои моменты и снятым разумением как тотальность.

Бездна ярких мыслей. Например, говоря о Кантовых необходимых координатах мышления, о времени и пространстве, он ставит рядом с ними необходимость человеческого воззрения, видит каждый предмет не единичностью, а звеном ряда, а принадлежащим, отнесенным к целому порядку явлений. Для него чувственная достоверность сама в себе носит очевидное свидетельство своей истины etc. Выходя везде к конкретным приложениям, он превосходен в иных местах, самая лучшая часть — это его доказательства невозможности религии в грядущем; вывод его смел, энергичен и силен, он заключает словами прекрасно благородными: вспомним, как религия благословением своим встречала нас при рождении и как молитвами провожала тела наши; сделаем для нее то же — похороним ее с честью, вспоминая ее благодеяния человечеству. Он считает философию также прошедшим моментом. Религия — откровение причины, философия — наука причины (явным образом несправедливо); метафизика, наука об сериальных отношениях, одна останется с частными науками. Да почему же это метафизика? Если он под философией разумеет исключительный идеализм, дело другое, но где же право, разве он в Спинозе и в Гегеле и в самом Канте (которого он изучал, кажется) не видел больше своего определения?

Март месяц.

2. Большое письмо из Берлина*, вести о парижских*, письма из Петербурга etc., etc. Между прочим, статья Бакунина в «La Réforme»* — вот язык свободного человека, он дик нам, мы не привыкли к нему. Мы привыкли к аллегории, к смелому слову intra muros[1], и нас удивляет свободная речь русского — так, как удивляет свет сидевшего в темной конуре. Огарев пишет о

[1] между стен (лат.).— *Ред.*

том, что нельзя жить дома, да мы знаем это получше его. Слабость, что ли, надежда ли — а что-то да держит. Будем думать да думать, да почти ничего не делать, а жизнь будет идти да идти.

5. Вчера в 9 часов утра умер Крюков. Еще одно светлое существование кануло в прошедшее, прежде нежели что-нибудь успело совершить. Я виделся с ним накануне; он был в полном сознании, держал мою руку, говорил, что любит нас всех,— смерти, кажется, не предвидел; он был страшно худ, однако выражение лица было прекрасно, взгляд светел, покоен и кроток. Вчера сняли маску с него. Ох, что-то тяжелое в воздухе нынешнего года, какая-то плита на груди.

7. И схоронили его. Студенты несли до кладбища. В церкви было видно, сколько ценили его; величаво и благородно быть так отпету не попами, а толпою друзей и почитателей. Я устал от этих дней, как-то горечь переполнила душу. А впрочем, надобно свыкнуться с смертью, надобно настолько уморить в себе ячность, чтоб не бояться смерти,— хорошо, но как примириться с смертью друга... мыслию, что все люди смертны, а так как NN — человек, то и он смертен? Пиетисты кричат теперь, что Крюков обратился, но, по несчастию, он последнее время был только короткие минуты в сознании, а остальные в полусумасшествии. А как противен весь пародиальный тон самой церемонии, это официальное хладнокровие попов, этот серьезный вид при каких-то бесцельных нелепостях,— наконец, как это все длинно! То ли дело кружок друзей, горестных, убитых, молча опускающих в могилу тело товарища.

12. Gieb ihm ein Gott zu sagen, was er leidet[1]*. Сказанное слово устремляет яд вон из души. Та эпоха страшна в горести, в опасении, когда нет слова, нет силы сказать, когда человек боится себе сказать, признаться. А между тем высказанное слово— полуисполненное опасение, начало его осуществления вне нас. Я истерзан здоровьем Наташи, и я, я снова способствовал ее болезни, а если более, нежели болезни? Что за проклятая ничтожность характера, что за преступная распущенность!

14. Мне бывает тягостно смотреть на близких мне друзей,— я чувствую, что я хуже их нравственно, что я слаб, готов всегда

---

[1] Внуши ему бог высказать то, что он переживает (нем.).— *Ред.*

увлечься всяким побуждением. Могут ли, должны ли они любить меня? Любовь, впрочем, к человеку есть личность, предубеждение, несправедливость, пристрастие. Справедливость мне обязан оказать квартальный, если он исполнит свой долг; дружба — не суд, дружба любит всего человека, а не один какой-нибудь элемент его; любовь к одному элементу далеко не дружба; я могу с восторгом слушать Листа, поклоняться его способности, но не быть с ним другом; уважать в человеке одни умственные способности можно, но тогда лицо его делается лишним, так с нами симпатизирует и книга, — дружба не осуждает, но оплакивает. Но в этом-то и вся страшная карательная сила ее. Человек может только наказывать сам себя, и беспощаднее инквизитора нет, как совесть: не нравственные должны корить падшего, а падший должен сознавать свою ничтожность перед ними. Это страшное чувство; мне бывает до того тяжело смотреть иногда на Грановского, что слезы навертываются на глазах.

17. Майкова поэма «Две судьбы». Много прекрасных мест, много раз он умел коснуться до тех струн, которые и в нашей душе вибрируют болезненно. Хорошо отразилась в нем тоска по деятельности, наша чуждость всем интересам Европы, наша апатия дома etc., etc. Цензура петербургская гораздо снисходительнее. Да что ни делай правительство, а однажды привитая мысль зажглась и обращается по жилам,— чуть маленькое отверстие, огонь выбивает; цензоры устают —деятельная мысль сотен голов ни на минуту не устает.

25. Три года тому назад начат этот журнал в этот день. Три года жизни схоронены тут — или не то что схоронены, а прикреплены во всей мимолетности; перечитывая, все оживает как было, а воспоминание, одно воспоминание не восстановляет былого, как оно было; оно стирает все углы, всю резкость и ставит туманную среду.

Ну, аминь.

1845. Июнь. С. Соколово

19. Три месяца пролежал новый журнал, и ни одной строки не хотелось писать. Что же, жизнь стала пуста, обстановка ее бесцветна? — Нет. Но последнее время было тихо,

о теоретических занятиях писать редко хочется, да если и хочется — в статьях, а не здесь.

Продолжал писать статью об истории философии для «От. зап.» и по этому поводу познакомился ближе с Бэконом. Систематиков можно не читать, например, Декарта; по самому короткому изложению можно его знать от доски до доски (т. е. гулом); Бэкон непременно требует изучения,— у него вовсе нежданно встречаете почти на каждой странице поразительно новое и резкое. Живя опять вдали от людей, они как-то становятся всякий раз доступнее к изучению, к пониманью... Об этой теме после.

Октября 3. Более шести месяцев прошло, и я не заглядывал в журнал, и не писал в него, и не завел другого. Не от внутренней пустоты, а так, жизнь шла довольно тихо. Все более и более уравновешивается, но есть и печальные стороны, и я удерживался иной раз писать, чтоб под влиянием первых минут не написать с тою резкостью, которая после сделается противною.

На первом плане скитанье Огарева и все вести, приходящие об этом скитанье, ибо он сам не пишет. Вера в способность его ко всему прекрасному и высокому не может потрясена быть во мне, но что же в одной возможности, когда же наступит пора дела, что за противуречие между жизнью rentier[1], бесцельной, без занятий, и этими *слезами* симпатии всему прекрасному? Я не токмо не против заграничной жизни, но допускаю в известных случаях экспатриацию, но не для того, чтоб жить там праздному и проживать все свое состояние пошло,— такое употребление богатства в наше время преступно. Да и такая жизнь за границей — безнравственное бегство. Видно, пора перестать слишком много класть на голову индивидуальностей. Ох, Спиноза прав!

29 ок⟨тября⟩. И на последнем листе повторится то же, что было сказано на первом. Страшная эпоха для России, в которую мы живем, и не видать никакого выхода. На первом плане несчастная, бедная Польша; первый свободный шаг должен состоять в примирении, нет, более — в просьбе, чтоб она простила Россию за то, что сделано ее руками, но волею одного

[1] рантье (франц.).— *Ред.*

человека. Мы потеряли уважение в Европе, на русских смотрят с злобой, почти с презрением. Россия становится представительницей всего ретроградного, материальной силой, употребляемой для того, чтоб остановить течение европейского развития; да и как же иначе смотреть на нее? В то время, как в самой Пруссии движение эманципационное приобретает более и более характер величественный, у нас издается свод уголовных законов, в котором смерть за слово, за неосторожное выражение,— кнут разменен на плети, у нас заводят майораты, усиливают дворянство, то есть утрачивают те выгоды, которые мы имели перед Европой, те выгоды, о которых Бентам писал к императору Александру, когда он воцарился, что ему легче, нежели какому-нибудь монарху, дать дельные законы, потому что предрассудки римско-феодальные не мешают... И, как эти три года, так пройдут годы еще и еще, и мы состаримся и яснее увидим, что жизнь потеряна.

DUBIA

СОСТАВ РУССКОГО ОБЩЕСТВА

Петербург — шляпа России и, разумеется, треугольная. Москва — сердце, испорченное аневризмою от беспрестанных воздыханий; провинция — туловище, просыпающееся после буйного похмелья с желанием почесать голову и спросонья принимающее шляпу за голову.

Клеветники говорят, что у этого животно-растения голова находится в Нерчинске.

I

Петербург бредит наукою, но не учится, как чиновник. У Петербурга душа на Западе, воображение на запятках у первой новизны, а голова в распоряжении у парижского парикмахера. В Петербурге просвещение заменено газовым освещением, и в то же самое время в нем нет религии, а только одна веротерпимость. В Петербурге церкви — аренды попов и оселки, на которых пробуются таланты архитекторов. В будни звон к обедне — барабанный призыв к должностям; в праздник — повестка к визитам и ничегонеделанию. В Петербурге нравственную потребность составляют гауптвахты. Петропавловская крепость есть осьмой вселенский собор, где изменяются и образы мыслей и образы мыслителей. В день Петербург не принадлежит себе: это — труп, в форменном мундире, восседающий над финскими гранитами или без очей бегающий по финским гранитам. К вечеру Петербург, как сурок к весне, возвращает все свои отсутствующие способности, садится за преферанс, на выигрыш, и никогда не проигрывает, как чиновник. В ночь Петербург, улелеянный вином и покупными наслаждениями, спит всей своей массой до 9 часов утра. Вельможные развратники боятся оргий, как потери мест, и развратничают тайно, засыпая следы свои грудами золота. Они с 9 до 1-го часу пополудни занимают свой ум практическою философиею и этою золотою порою техническими орудиями копают могилы для своих приятелей и, по всем правилам дипломатической медицины,

уложив их себе под ноги, воют о скоропостижно усопших, как наемные плакальщицы. Наконец, у Петербурга пять благоприобретенных добродетелей: он перед начальником — щенок; перед подчиненным — волк; с женщинами — евнух; перед искусством — раб и только перед рабом — господин.

II

Москва, вечно заботящаяся о недостатках своего незаконнорожденного сына — маркиза-С.-Петербурга, только ждет железной дороги, чтобы лично удостовериться в этих нелепых слухах и умереть от ужаса на берегах Невы. В настоящее же время первопрестольная Москва занимается сплетнями, которые известны в Москве под фирмою очистительной критики. Далее, Москва под колокольный звон молится о прегрешениях русского мира, а за свои собственные накладывает на себя посты и, во всю длину их, изнуряется стерляжьею ухою на шампанском и чахнет за православною кулебякою с фаршированною осетриною. Потом, перед сварением пищи, смеется за повестями Гоголя, которые она выменяла на дураков, арапчонков и карлиц; потом, для сварения пищи, дремлет под диспуты отставных профессоров; потом просыпается для преферанса, чтобы проиграть и никогда не выигрывать, как свободная помещица.

III

Провинции и сплетничают и молятся по своим святцам; провинции не отрываются от науки жить для науки мыслить; провинции приезжают в Москву для распродажи спелых дочерей, а в Петербург — промотать лишние деньги или для повершения казусных дел, из-под козырька которых они видят только актеров на сцене, бронзу за стеклами магазинов и толкотню на Невском проспекте. Вследствие этого воззрения провинции делают только визиты по-петербургски, кушают по-московски, важничают по-азиатски, а пьют, спят и курят по вольности русского дворянства. Провинции думают только за преферансом и бранятся с своими партнерами за то, что они заставляют их думать.

IV

В России свободная наука еще не отделена от еретичества.

V

В литераторах видят людей чужой планеты.

VI

На художника смотрят, как на помпейский горшок; не знают, для какого он создан употребления.

VII

Русское купечество униженно ступает с гривны на рубль, с рубля на сотни, с сотен на тысячи и только приостанавливается на миллионах. Жизнь купеческая заключена в коммерции, как светильня в плошке; ум зарыт в барышах, словно орехдвойчатка в кожаной кисе. Благородные занятия — жирный стол, крепкий сон и парная баня; душевные потребности — преферанс, толкование снов и ворожба на кофейной гуще; необузданные страсти — жирные лошади, такие же жены и золотые медали, которые покупают стотысячными пожертвованиями на богадельни; светобоязнь — наследственный недуг, от которого не лечат.

VIII

Мещанство ведет мелкие торги на крупные обманы и, еще не читая ничего, кроме надписей на кредитных билетах, уже лакомится преферансом и локчет сладкий раствор всех пороков, созданных теневою стороною просвещения.

IX

Крестьяне продают свои гигантские труды на медные деньги, которые тотчас же проматывают на воду, приправленную сомнительным спиртом.

X

Монахи представляют своими особами жирных устриц, приросших к подножию монастырей и, на своем допотопном наречии, увещевают мирян обратиться на путь истинный; а народ, девять веков слушая эту проповедь, думает об истинном пути, как о пятом колесе в колеснице, и возит на всех четырех припасы для иноческой трапезы.

XI

Монахини занимают такое же положение в России, как гермафродиты в мире физическом.

XII

Чиновники — воплощенные ящики Пандоры, из которых, XIV-классными отверстиями, выползают все гадости на

Северную землю и, запирая народную деятельность, слепят воскресающие умы.

XIII

На Руси одни попы, холопы и нищие, ничего не делая, пожирают труды делателей и, в возмездие, возвращают проценты навозом, над разложением которого ровно три четверти столетия трудится в Петербурге Вольно-экономическое общество; и еще не решено, что для России полезнее: попы, холопы и нищие или навоз от попов, холопов и нищих.

XIV

Военная каста. У русского солдата одна воля — неволя; одна прогулка — побег; один ответ — спина, и одно убеждение — что жизнь его, как медная пуговица, не имеющая срока, принадлежит казне. Офицеры — боги Олимпа в первых веках после принятия христианской веры, когда статуи Юпитеров, Марсов и Аполлонов Бельведерских назывались болванами.

XV

Вот ревижские души России; но у нас есть женщины, и не без характера.

Первых четырех отделов, т. е. крестьянки, мещанки, купчихи и попадьи, — это самки, которые носят плотоядных детей и выкармливают плотоядных рабов.

На этом 30-миллионном рассаднике бронзируются женщины-аристократки, так характеристически прозванные хамократками. Это — жалкие недоростки в духовных началах и недоноски в физических оконечностях. Наши дамы в России — иностранки, в Западной Европе — чужеземки и только в Париже признаны под собственным именем орангутанок.

Париж, с бесчувствием хирурга, целое столетие под пыткою русского мороза, рядит наших дам, как мраморных статуй, в газ и блонды, отчего наши барыни гибнут тысячами, как осенние мухи; а наблюдательный Париж по числу безвременных могил определяет количество первоклассных дур в России.

В остальном наши дамы самоцветны, как суздальские гравюры. Они в литературных беседах — невежды; в ничтожных разговорах — умницы; в семействе — деспотки; в девичьей — тиранки; в спальне — тартюфки; в гостиной — кокетки; в будуаре — наложницы у первого случая; а в модных магазинах — служанки. Наши дамы в искусстве имеют понятие о батистовых цветах; в хозяйстве — о розгах, которыми очищаются падшие горничные; в изделиях — мастерицы приготовления оленьих рогов, которыми украшают головы своих комолых мужей.

Дети этих автоматок — несчастные вешалки, на которых выставляются все модные покрои платья, и они же — созвездия неизбежного штата, составленного из телохранительниц-гувернанток и душегубителей-гувернеров. Это задний план. На авансцене — фаланга учителей, с профилями всей Европы и всех цветов шарлатанства. Потом эти же самые дети — суть новенькие альбомы с белыми страницами, в которые все эти вышеписанные гг. наставники пишут самые отвратительные фантазии, глупо-отступнические идеи и самые подлейшие пасквили на все, что носит на себе вид России. Заметьте, что эти маленькие щенки растут и делаются бульдогами, с правом грызть все, что носит на себе название русского.

XVI

Среднее сословие дворян есть бьющая артерия, где еще не застыла горячая кровь России; в них сходятся все благородные чувства души, и только от них расходятся законы благоразумного приличия. Одна страсть, подражание хамократии, убивает это мыслящее сословие, от которого наше отечество должно ожидать всех прекрасных начал, в их детях и братьях.

XVII

Наконец, чиновницы — куклы на самодельных пружинах, и потому они приседают, когда должно стоять; спрашивают, когда надо отвечать; и смеются, когда следует плакать. Чиновницы выкрали из высшего круга длинные хвосты для метения тротуаров, а из среднего сословия — жеманство, которое у них заменяет ум.

Гигантская ватага чиновниц удовлетворяет страстям всего русского царства. Она, с ведома и без ведома законных супругов, вносит в свои семейства детей всех сортов и родов, начиная от министров, архиереев и оканчивая целовальничьими и монашескими; и вся эта пригуль, выросшая на собственных кормах или беззаконных пенсиях, в мужестве занимает вакантные места архиереев, целовальников, монахов и министров.

ВАРИАНТЫ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В разделах «Варианты» и «Комментарии» приняты следующие условные сокращения:

1. Архивохранилища

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Москва.

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии Наук СССР. Ленинград.

ЦГАОР — Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства. Москва.

ЦГЛА — Центральный Государственный литературный архив. Москва.

2. Печатные источники

БиД III — А. И. Герцен. Былое и думы, том третий, Лондон, 1862.

ГМ — журнал «Голос минувшего».

Изд. Павл.— Сочинения А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной в семи томах. Издание Ф. Павленкова. СПб., 1905.

K_1 — «Колокол», 1857. Издание первое.

Л (в сопровождении римской цифры, обозначающей номер тома) — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке. П., 1919—1925, тт. I—XXII.

МГЛ — газета «Московский городской листок».

ОЗ — журнал «Отечественные записки».

ПАССЕК — Т. П. Пассек, «Из дальних лет», СПб., 1878—1886.

Псб. — «Петербургский сборник», СПб., 1846.

РС — журнал «Русская старина».

С — журнал «Современник».

СТАТЬИ И ФЕЛЬЕТОНЫ
1841 — 1846

«МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ»

Стр. 33

2–12 *Вступительный абзац:* Печатая в первый раз ∞ добросовестности к прошедшему. — *в списках ЦГЛА и ЦГАОР отсутствует.*

15 *Слова:* на береге Волхова — *в списке ЦГАОР отсутствуют.*

19 *Вместо:* о рождении, после которого так скромно жили, что — *в списке ЦГАОР:* рожденья, далее которого все так скромно, тихо, мрачно, что

20 *После:* жили — *в списке ЦГЛА:* наши предки

24 *Вместо:* о настоящем России — *в списке ЦГАОР:* о настоящей России

25 *Слова:* в ту и другую сторону — *в списке ЦГАОР отсутствуют.*

26 *Вместо:* живет — *в списке ЦГАОР:* идет

28 *Вместо:* части планеты — *в списках ЦГЛА и ЦГАОР:* части земной планеты

Стр. 34

9 *Слова:* положим, замечательная — *в списке ЦГАОР отсутствуют.*

10 *Вместо:* Итак, о городе настоящего, о Петербурге.— *в списках ЦГЛА и ЦГАОР:* Итак, о Петербурге.

12 *Вместо:* удивительная вещь — *в списках ЦГЛА и ЦГАОР:* удивительный город

14 *Вместо:* без занятий — *в списках ЦГЛА и ЦГАОР:* без дела

15 *Вместо:* гражданских — *в списке ЦГЛА:* гражданственных

19 *Вместо:* отнять место — *в списке ЦГАОР:* отнять какое угодно место

25 *Вместо:* дóма — *в списке ЦГАОР:* они

33 *Вместо:* Это, впрочем, новое — *в списке ЦГАОР:* И вот снова

35 *Вместо:* этот — *в списке ЦГАОР:* это

Стр. 35:

4 *После:* диких — *в списке ЦГАОР:* для них

После: исключительной — *в списке ЦГАОР:* отталкивающей

5 *Вместо:* из могил — *в списках ЦГЛА и ЦГАОР:* из забытых могил

9 *Вместо:* двинуть — *в* K_1 *и списках ЦГЛА и ЦГАОР:* вдвинуть

10 *После:* ненужность — *в списке ЦГАОР:* и неизбежность

13 *Вместо:* прежний — *в списке ЦГЛА:* первый

17 *Вместо:* значила — *в списке ЦГЛА:* значит

19 *Вместо:* не умевшего — *в списке ЦГАОР:* не успевшего

26 *Вместо:* уродовала — *в списке ЦГАОР:* утрировала

Стр. 36

2 *Вместо:* гораздо хуже — *в списках ЦГЛА и ЦГАОР:* хуже

3 *Вместо:* разбудит — *в списке ЦГЛА:* возбудит

[7] *Вместо:* не предвидится! — *в списках ЦГЛА и ЦГАОР:* не предвидится! Но к делу.
[8] *Слова:* и каждый в особенности — *в списке ЦГАОР отсутствуют.*
[9] *Вместо:* Петербург любить нельзя, а я чувствую — *в списке ЦГЛА:* Выехав из него, я жалел только одну Тальони. Я Петербурга не люблю, а чувствую (*в списке ЦГАОР — то же, но без слова:* только).
[13] *Вместо:* в тесноте петербургской — *в списке ЦГЛА:* в Петербурге, *в списке ЦГАОР:* в тесноте Петербурга
[15] *Вместо:* надоест — *в списках ЦГЛА и ЦГАОР:* надоедает
[25] *Вместо:* богатого села — *в списках ЦГЛА и ЦГАОР:* губернского города
[29] *Вместо:* двор, семиэтажные домы, гвардия — *в списке ЦГАОР:* семиэтажные домы, двор, часовые
[33] *Вместо:* сотни тысяч — *в списках ЦГЛА и ЦГАОР:* тысячи

Стр. 37

[2] *Вместо:* стук *суеты суетствий* — *в списке ЦГЛА:* стук, суета суетствий
[10] *Вместо:* собою — *в $К_1$ и списке ЦГЛА:* судьбою
[17] *Вместо:* умным — *в списке ЦГЛА:* литературным
Вместо: книжная — *в списке ЦГЛА:* литературная
[19] *Вместо:* Там издаются журналы — *в списке ЦГЛА:* Там журналы, там книги
[21] *Вместо:* Гоголь принадлежал более к Петербургу, чем к Москве — *в списке ЦГЛА:* Гоголь принадлежит более Петербургу, нежели Москве

Стр. 38

[2] *Вместо:* одни и есть мощи: это домик Петра — *в списке ЦГЛА:* одни есть мощи — это домик Петра и его крест‹?›
[3] *Вместо:* всех — *в списке ЦГЛА:* почти всех
[9] *Вместо:* старыми — *в списке ЦГЛА:* старинными
[16] *Слова:* никому не радуется — *в списке ЦГЛА отсутствуют.*
[20] *Вместо:* где сила и в ком — *в списке ЦГЛА:* где сила и в ком власть
[23] *Слово:* только — *в списке ЦГЛА отсутствует.*
[27] *Вместо:* умилялась — *в $К_1$ и списке ЦГЛА:* умилилась

Стр. 39

[5] *Вместо:* верноподданным — *в списке ЦГЛА:* сыщиком и подлецом
[8] *Вместо:* искать мест — *в списке ЦГЛА:* искать места
[11] *Вместо:* Белинский, проповедовавший в Москве народность и самодержавие — *в списке ЦГЛА:* Бакунин, проповедующий в Москве православие, народность и самодержавие
[13] *Вместо:* самого Анахарсиса Клоца — *в списке ЦГЛА:* Гобера и Клаца
[37] *Вместо:* не оставляет их — *в списке ЦГЛА:* не останавливает их

Стр. 40

[1] *Слово:* утром — *в списке ЦГЛА отсутствует.*
[3] *Вместо:* в вечном тумане и инее, иначе смотрит — *в списке ЦГЛА:* в вечном тумане и не иначе смотрит.
[4] *Вместо:* в этом инее — *в списке ЦГЛА:* в инее и тумане
[5] *Вместо:* неприязненный — *в списке ЦГЛА:* неприятный
[6] *Вместо:* Художник — *в списке ЦГЛА:* Знаменитый художник
[6–7] *Вместо:* для кисти своей — *в списке ЦГЛА:* для великой кисти
[20] *Вместо:* Петербург — *в списке ЦГЛА:* По Петербург
[21] *Вместо:* серальные — *в списке ЦГЛА:* крайние
[30] *Слова:* а потом Анну Леопольдовну, а потом Иоанна Антоновича — *в списке ЦГЛА отсутствуют.*

Стр. 41

[1] *Слова:* так часто — *в списке ЦГЛА отсутствуют.*

[2] *Вместо:* Задавленный тяжкими сомнениями — *в списке ЦГЛА:* Мрачный, несчастный, задавленный многими сомнениями
[3] *После:* к отчаянию — *в списке ЦГЛА:* к скептицизму и злой иронии
[5] *Слово:* даже — *в списке ЦГЛА отсутствует.*
[6] *Слова:* честного человека — *в списке ЦГЛА отсутствуют.*
[7] *Вместо:* проклясть — *в списке ЦГЛА:* проклинать
[19] *Вместо:* вы отдаете — *в списке ЦГЛА:* ты отдаешь
[22] *Слова:* за нас — *в списке ЦГЛА отсутствуют.*

Стр. 42
[3] *Вместо:* взойдут — *в списке ЦГЛА:* подойдут.

НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ И ВЛАДИМИР-НА-КЛЯЗЬМЕ

Стр. 46
[1] *Вместо:* ездит раза три в год и за целую треть накрещивает — *в списке ЦГЛА:* ездит два раза в год и за целую половину накрещивает

Стр. 48
[17] *Вместо:* меньше — *в списке ЦГЛА:* ниже

КАПРИЗЫ И РАЗДУМЬЕ

I. По поводу одной драмы

Стр. 51
[16] *Вместо:* грозной — *в ОЗ:* грязной
[23] *Вместо:* переживая — *в ОЗ:* переживает

Стр. 54
[37] *Слова:* к тому же она — *в ОЗ отсутствуют.*

Стр. 55
[8] *Вместо:* не утопилась, как все думали, а — *в ОЗ:* не утонула, а
[34] *Вместо:* начнет — *в ОЗ:* не начнет

Стр. 56
[1] *Вместо:* переступил — *в ОЗ:* преступил

Стр. 60
[13] *Вместо:* судьба — *в ОЗ:* цель

Стр. 61
[22] *После:* его обязанностей— *в ОЗ:* в нравственном и специальном смысле

Стр. 69
[29] *Вместо:* на престоле — *в ОЗ:* и на престоле

Стр. 70
[10] *После:* personne? — *в ОЗ:* («Севильский цырюльник»)

Стр. 71
[13] *Вместо:* романтическое воззрение — *в ОЗ:* романическое воззрение
[36] *Вместо:* мечтательно вздыхающим безнадежно — *в ОЗ:* мечтательно вздыхающим, страдающим безнадежно

II. По разным поводам

Стр. 74
[15] *Вместо:* воспитанием — *в Псб:* так называемым воспитанием

III. Новые вариации на старые темы

Стр. 92
[11] *Вместо:* к подвластности — *в С:* к умственной подвластности

Стр. 93
[7] *Вместо:* которого бы они не превратили—*в С:* которое бы мы не превратили
[31] *Вместо:* человек — *в С:* он

Стр. 94

[12] *После:* sapiens — *в С:* Linn.

Стр. 95

[4] *После:* детям — *в С:* безусловно

[20] *Вместо:* жертв, потому — *в С:* жертв; тут есть contradictio in adjecto, потому

Стр. 97

[13] *Вместо: Минин начал своевольно великое дело восстания против чужеземного порабощения — в С:* Минин начал *своевольно* великое дело восстания против чужеземного порабощения

[16] *Слова: разумное ∾ достоинства — в С без курсива*

[20] *Вместо:* благо мы унаследовали — *в С:* а унаследовали

Стр. 98

[12] *Вместо:* испарению каменных стен — *в С:* воздуху каменных стен

«МОСКВИТЯНИН» О КОПЕРНИКЕ

Стр. 103

[21] *Вместо:* истории его! Неужели — *в ОЗ:* истории его! он даже о ней понятия не имеет! И неужели

Стр. 107

[2] *Вместо:* темный — *в ОЗ:* томный

[3] *Вместо:* ни туп. Фихте — *в ОЗ:* ни туп; шваб Кювье был толст, но не туп. Фихте.

[29] *Вместо:* просьбе напечатать — *в ОЗ:* просьбе — непременно напечатать

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ г. ВЁДРИНА

Стр. 110

[7] *Вместо:* закатил сивухи с перцем, славно! — *в ОЗ:* закатил сивухи с перцем — славно огорчило!

[15] *Вместо:* Очень сожалеем — *в ОЗ:* Примечание: очень сожалеем

[18] *После:* читателями — *в ОЗ:* Кстати о русских путешественниках. Вот что рассказывает о себе один из них, г. Греч, в 170 № «Северной пчелы»: «Голландская медленность и хладнокровие были причиною, что омнибус, на котором повезли нас из гостиницы на станцию, опоздал несколькими минутами. Мы, т. е. человек двенадцать несчастных странников, не успели стащить своих пожитков с крыши омнибуса, длинный поезд промелькнул мимо глаз наших и оставил нас еще часа на два в Амстердаме. Досадно до крайности! *Я не мог удержаться от древнего восклицания, которым на Руси выражаются всякие движения душевные. Два молодые человека в толпе рассмеявшись и подошли ко мне. «Вы, сударь, русский?»* — спросили они оба вдруг по-немецки. *«Виноват, грешен.* А вы?» Оказалось, что они русские немцы, один из Риги, другой житель московский.»

Не знаем, как вы, читатели, но мы находим этот анекдот в глубоко знаменательным и поучительным...

УМ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ

Стр. 116

[10] *Вместо:* в его литературных обзорах — *в РС:* в литературных обзорах «Маяка»

[16] *Вместо:* петербургской журналистики — *в РС:* журналистики

[17] *Вместо:* подробное рассмотрение — *в РС:* параллельное рассматривание

Стр. 117

[7] *Вместо:* найдутся — *в РС:* пойдут

[11] *Вместо:* рассматривает — *в РС:* рассматривал

[21] *Вместо:* устройство — *в РС:* управление

[30] *Вместо: нравственную* семейную Германию,— *в РС:* нравственно-семейную Германию;

Стр. 118

[1] *Вместо:* взгляды — *в РС:* интересы

[25] *Вместо:* язык — *в РС:* народ

[29] *Вместо:* благодатного — *в РС:* благополучного

[31–32] *Вместо:* но издавал, больше *общинно*, исторические труды; а Ф. В.— *в РС:* но и издавал больше *общинно*-исторические труды, а Фаддей Венедиктович

[35] *После:* цель — *в РС:* трудов

[36] *Вместо:* ознакомить — *в РС:* знакомить

Стр. 119

[21] *Вместо:* нравственно-сатирического существования — *в РС:* нравственно-сатирическим существованиям

[28] *Вместо:* и одного «Маяка». — *в РС:* и сего одного, «Маяка».

[32] *Вместо:* журит — *в РС:* корит

[35] *Вместо:* Не слыхал, что ли?— *в РС:* Не видал, что ли? Не слыхал, что ли?

[35–36] *Вместо:* говорит... И пойдет, и пойдет.— *в РС:* И пойдет.

Стр. 120

[1] *Вместо:* то за радикальный образ мыслей, то за либерализм — *в РС:* прерадикальный образ мыслей, т. е. либерал

[7] *Вместо:* никогда — *в РС:* нигде

[11] *Вместо:* именем — *в РС:* заглавием

[15] *Вместо:* скрытен, напротив; он в сердце *доносит* — *в РС:* скрытен: как можно! он в сердце доносит

[16] *Вместо:* попусту болтать — *в РС:* так болтать

[20–21] *Слова:* и в первый раз затягивает подтяжку — *в РС отсутствуют.*

[24] *После:* «Димитрия Самозванца» — *в РС:* Посвящаю Виссариону Григорьевичу Белинскому, другу четы московской и петербургской четы не врагу.

ИСТИННАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ЭМАНЦИПАЦИЯ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОТ ЗЛЕЙШИХ ВРАГОВ ЕГО

Стр. 128

[5] *Вместо:* для спокойствия, пора людей приблизить к великому отдохновению на лаврах!— *у Пассек:* для спокойствия людей, пора приблизить их к величавому отдохновению на лаврах.

[9] *Вместо:* все равно на чем бы то ни было отдыхать — на лаврах или на миртах!— *у Пассек:* отдыхать на лаврах или на миртах — все равно?

[24] *Вместо:* жизни — *у Пассек:* жизни нашей

[26] *Вместо:* не слыхал. Кто из нас не был — *у Пассек:* не слыхал: они раздавались во тьме ночной и неизвестно было, отчего на другой день рушились браки, брались решительные стороны для других — словом, переменялась жизнь. Кто не был

[28] *Слово:* раздражен — *у Пассек отсутствует.*

[28] *Вместо:* нежданными преследованиями тайных врагов? — *у Пассек:* сильными, жгучими страданиями от сих врагов?

Стр. 129

[1] *Вместо:* Но на каком коне я могу ускакать от них?..— *у Пассек:* Но где этот конь?

[3] *Вместо:* напомнить еще не забытые вами жгучие страдания; например, представить, как — *у Пассек:* напомнить грозное явление маленьких врагов

[20] *Вместо:* достоинство...— *у Пассек:* достоинство, несмотря на дворянскую грамоту, которую вы, вероятно, имеете.

[28] *Вместо:* critiques — *у Пассек:* hérétiques

[31] *После:* задумчивым — *у Пассек:* и благочестивым

[34] *Вместо:* Дантее~Но вот вы — *у Пассек:* Данте не знал этого мучения, а то не мог бы пропустить его. Вы

Стр. 130

[3] *Вместо:* на подушку. Тут~сломя голову...—*у Пассек:* на подушку, русские тараканы, капитальные, основательные, мирно и тихо идут, а за ними и жалкие пруссаки, рыженькие, бегут со всех сторон.

[7] *Слова:* хуже: они нравственно вредны — *у Пассек отсутствуют.*

[9] *Вместо:* рассвет — *у Пассек:* свет

[10] *Вместо:* на которого заспанные глаза — *у Пассек:* на заспанные глаза которого

[19] *Вместо:* приветливость — так~шубе от молей.— *у Пассек:* приветливость, etc...

[25] *Вместо:* определенных — *у Пассек:* призванных

[28] *Вместо:* победа была его, и он однажды, довольно наевшись — *у Пассек:* однажды он, довольный, наевшись

[36] *Вместо:* сторона у реки, разорить и ту.— *у Пассек:* сторона, и ее разорить.

Стр. 131

[1] *Вместо:* маститый — *у Пассек:* мудрый

[2] *Слова:* и ел одни хвостики фараоновой мыши — *у Пассек отсутствуют.*

[3] *Вместо:* Старец — *у Пассек:* Старик

[5–7] *Вместо:* и нареченный жених~очень длинна.— *у Пассек:* и близкий родственник фараоновой мыши, нареченный супруг Ибиса etc. etc.

[7] *После:* тайну — *у Пассек:* плод всей его жизни

[11] *Вместо:* набрали — *у Пассек:* накрали

[12] *Вместо:* сродственника — *у Пассек:* представителя

[13] *Вместо:* Камбиз тут же велел—*у Пассек:* Камбиз, пораженный, велел

Слова: по этапам — *у Пассек отсутствуют.*

[22] *Вместо:* падал на 2800 футов — *у Пассек:* падал с высоты 2800 футов

[26] *Вместо:* в воздухе — *у Пассек:* на небе

[26–27] *Слова:* на поход против мух, комаров, блох и проч.— *у Пассек отсутствуют.*

[29] *Вместо:* посыпьте — *у Пассек:* посейте

[30] *Вместо:* теперь побледнеют — *у Пассек:* и да побледнеют

[31] *Вместо:* Некоторые — *у Пассек:* NB. Некоторые

[32] *Вместо:* по столам и потом запер комнату — *у Пассек:* по стенам и окнам, и запер комнату

[34] *Вместо:* найти только что вышедший из типографии нумер журнала— *у Пассек:* найти № «Москвитянина»

«МОСКВИТЯНИН» И ВСЕЛЕННАЯ

Стр. 133

[2–4] *Эпиграф в ОЗ отсутствует.*

[20] *Вместо:* сумма читателей никогда не занимала — *в ОЗ:* сумма читателей, большинство никогда не занимало

Стр. 138

[18] *Вместо:* отвлеченные — *в ОЗ:* односторонние

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЧЕСТИ

Стр. 151

[14] *Вместо:* самоуправство — *в С:* самоубийство

Стр. 154

[29] *Вместо:* или одиноким — *в С:* и одиноким

[32] *Вместо:* понимает он — *в С:* поймет он

[37] *После слов:* Aesthetik T. II — *в С:* Romantische Kunst-Ehre

Стр. 157

[25] *Вместо:* и что же он в самом деле один?—*в С:* а что же он значит один?

Стр. 158

[1] *Вместо:* разрезывает — *в С:* разрывает

[9] *Вместо:* дошли до смешного — *в С:* до смешного развились

Стр. 160

[4] *Вместо:* не национальное, человеческое?— *в С:* не национальное, а человеческое?

Стр. 161

[7] *Вместо:* стремилась и от всего земного — *в С:* стремилась освободиться и от всего земного

Стр. 162

[28] *Вместо:* современные вопросы симпатий и антипатий — *в С:* современные вопросы, симпатии и антипатии

Стр. 164

[13] *После:* верит — *в С:* suum cuique!

Стр. 166

[7] *Вместо:* мог не отдаваться — *в С:* не мог отдаваться

Стр. 169

[18] *Вместо:* рабом — *в С:* робок

СТАНЦИЯ ЕДРОВО

Стр. 177

[1] *К заглавию в МГЛ подзаголовок:* (Рассказ Искандера).

[2–21] *Текст:* В 1842 году ∞ против *обоих! — в МГЛ отсутствует.*

Стр. 178

[32] *Вместо:* увидевши — *в МГЛ:* вероятно, увидевши

Стр. 179

[8] *Вместо:* должно быть, едет — *в МГЛ:* едет

Стр. 181

[34] *Вместо:* иностранцы — *в МГЛ:* иностранцев

Стр. 182

[6] *Слова:* и за то, что солгал — *в МГЛ отсутствуют.*

[25] *Вместо:* дела — *в МГЛ:* делишки

Стр. 183

[1] *Вместо:* бывавших — *в МГЛ:* бывающих

Стр. 185

[5] *Вместо:* Александринского театра — *в МГЛ:* Александринского

Стр. 186

[14] *Вместо:* 1703—*в МГЛ:* 1702

Стр. 188

[6] *Вместо:* на Петербург она не косилась — *в МГЛ:* в литературной своей деятельности на Петербург она не косилась

[12] *Вместо:* сильных преследований не только — *в МГЛ:* сильных потрясений не токмо

Стр. 189

[13] *Вместо:* дружных отношений — *в МГЛ:* дружеских отношений

[27] *Вместо:* черные — *в МГЛ:* закоптелые

[37] *Вместо:* обстройка — *в МГЛ:* отстройка

Стр. 190

[8] *Вместо:* решительностью — *в МГЛ:* решимостью

[27] *Вместо:* великой эпохи — *в МГЛ:* великой драмы или великой эпопеи

Стр. 191

[24] *Вместо:* соответствующих — *в МГЛ:* им соответствующих

Стр. 193

[5] *Вместо:* изящным — *в МГЛ:* изящнейшим

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ «ЗА РУССКУЮ СТАРИНУ»

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ПД)

Стр. 194

[11] *После:* записках».— *было:* При этом

[12] *После:* трату слов,— *было:* необходимую, как мне кажется, во-первых, я должен по совести

Стр. 195

[9] *После:* нумере— *было:* это придает ему романтический интерес

[17] *После:* пер. Мерзлякова).— *было:* Но одним гневом ничего не сделаешь

[29] *После слова:* третьим?— *было:* Потом

[33] *После слова:* что — *было начато:* мы можем его удостоверить и притом

Стр. 196

[16] *Вместо:* племянники — *было:* пансионеры

[33] *Вместо:* поклонением — *было:* желанием

Стр. 197

[1] *После:* тому назад.— *было:* Такой упрек историку очень похож на то, если б зоологу сказали, что он хочет возвратиться в состояние обезьяны. Что за противники!

[3] *После:* сделать — *было начато:* только

[10–11] *Вместо:* понятиям — *было:* быту

[16] *После:* вероятно — *было:* но неизвестных

[17] *После:* противники;— *было:* как можно их смешивать

[19] *Вместо:* историк — *было:* занимающийся историей

[22] *После:* любовью — *было:* к истине

Стр. 198

[1] *Вместо:* не закрыты — *было:* открыты

[5] *После:* решений.— *было начато:* Я просто полагаю, что вопрос

[6] *После:* непониманья? — *было:* Для чего нам с таинственным видом указывать, что на Западе многое падет и рушится, в то время, как всякий европейский журнал кричит об этом?

[7] *После:* потом?»— *было:* Воля «Москвитянина», но эти средства нехороши; так же нехорошо, как упрекать «От. зап.», что они ставят Тургенева и Майкова на одну доску с Лермонтовым (чего они, впрочем, не делают) и с какой-то неустрашимостью на той же странице поставить Хомякова и Языкова рядом с Державиным и Карамзиным. Можно любить талант гг. Языкова, Хомякова, ценить их стихи очень высоко, но есть же известное чувство приличия, скромности, по которой нельзя из личного уважения ни друга, ни брата поставить на одну доску с Гёте и Шиллером. В этом есть что-то провинциальное; вы в [провинц.] губ⟨ернском⟩ гор⟨оде⟩ непременно найдете какого-нибудь Бербендовского или Перхуновского, сочиняющего стихи и которого соседние барышни считают вторым Пушкиным или который сам, запрятав

ДНЕВНИК 1842—1845

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ПД)

Стр. 221
[20] *Вместо:* В Германии молодые гегелисты — *было:* В Берлине гегелисты

Стр. 255
[3] *Вместо:* Пилатом и Брутом,— *было:* Пилатом и Катоном

Стр. 259
[33] *Вместо:* мрачное расположение — *было:* мрачные рубежи

Стр. 261
[29] *Вместо:* ригоризмом своим — *было:* высотой своей

Стр. 314
[32] *Вместо:* представлению — *было:* примирению

Стр. 319
[1] *Вместо:* Колумба для философии — *было:* Колумба Нового Света
[9] *Вместо:* Человечество — *было:* Дух

Стр. 323
[18] *После:* новый год.— *было:* Дай-то бог.

Стр. 324
[12] *Вместо:* профессоров — *было:* славянофилов

Стр. 330
[73] *Вместо:* Лессинга — *было:* Лейбница

Стр. 349
[27] *Вместо:* формы — *было:* идеи

Стр. 405
[1] *После:* особенно — *было:* по Гегелю

КОММЕНТАРИИ

Второй том собрания сочинений А. И. Герцена содержит статьи и фельетоны 1841—1846 годов, написанные до отъезда за границу в 1847 году, а также дневник 1842—1845 годов. Из сочинений Герцена этого периода в том не входят философские циклы «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы», составляющие III том настоящего издания, и беллетристика, включенная в IV том.

Произведения, помещенные в настоящем томе, характеризуют напряженную идейную работу Герцена в 40-е годы, когда передовая русская мысль начала упорные поиски правильной революционной теории. Герцен явился одним из виднейших участников этих исканий.

Большое место в статьях и фельетонах 40-х годов занимает полемика с представителями реакции, с течениями общественной мысли, враждебными освободительному движению.

Тексты печатаются большей частью по последнему прижизненному изданию — «Былое и думы», т. III, Лондон, 1862. Произведения, не вошедшие в это издание, воспроизводятся по первопечатным журнальным или газетным публикациям. По автографам печатаются дневник 1842—1845 годов и незаконченная статья «Несколько слов по поводу статьи „За русскую старину“». Наиболее существенные поправки, внесенные в принятые за основу тексты по другим источникам, оговорены в комментариях.

В отношении фельетонов «Москва и Петербург», «Ум хорошо, а два лучше» и некоторых других наряду с вариантами, содержащимися в авторизованных источниках, учтены также варианты, содержащиеся в списках, которые, вероятно, восходят к 40-м годам.

Вслед за открывающей том статьей «Рассказы о временах меровингских» печатается сделанный Герценом перевод первого из названных рассказов О. Тьерри, впервые опубликованный в «Отечественных записках» (1841) и в собрания сочинений не включавшийся.

По причинам, разъясненным в комментарии, фельетон «Состав русского общества», в отличие от издания под редакцией М. К. Лемке, отнесен к произведениям, принадлежность которых А. И. Герцену сомнительна. Из статей Герцена 40-х годов остается неизвестным очерк «Крайности сходятся», упомянутый в заметке 1849 г. «Вместо предисловия или объяснения к сборнику» (см. т. VI настоящего издания). Отнесение этого заглавия к какому-либо из известных произведений Герцена представляется затруднительным.

СТАТЬИ И ФЕЛЬЕТОНЫ

РАССКАЗЫ О ВРЕМЕНАХ МЕРОВИНГСКИХ

Впервые опубликовано в *ОЗ*, 1841, № 2 (ценз. разр. 1 февраля 1841 г.), отд. II, стр. 45—63, по тексту которых и печатается. После текста статьи Герцена, перед началом переведенного им «Рассказа первого» Тьерри, подпись — *Искандер*. Рукопись неизвестна.

---

14 декабря 1840 г. Белинский писал В. Боткину: «Насчет исторических статей взяты меры,— и Герцен уже переводит из книги Тьерри о Меровингах и будет обрабатывать другие вещи в этом роде. Его живая, деятельная и практическая натура в высшей степени способна на это» (В. Г. Белинский. Письма, т. II, СПб., 1914, стр. 190).

«Рассказы о временах меровингских» Тьерри («Récits des Temps mérovingiens») стали появляться во Франции с 1833 г., в 1840 г. они вышли отдельным изданием, в двух томах. Собрав эти рассказы, Тьерри предпослал им «Рассуждение об истории Франции» («Considérations sur l'histoire de France»), которое и упоминает Герцен. На русском языке перевод рассказов вышел в 1848 г. («Рассказы о временах Меровингов», СПб.).

Огюстен Тьерри рассматривал в своих работах прошлое Франции под углом зрения борьбы буржуазии против дворянства. В завоевателях-франках он видел предков феодальной аристократии, в порабощенных галло-римлянах — предков буржуазии. Об интересе Герцена еще в 30-х годах к сочинениям Тьерри, к изображению в них классовой борьбы в Европе свидетельствуют варианты статьи «Двадцать осьмое января» (см. т. I наст. изд.). В России «Рассказы о временах меровингских», дававшие яркую картину быта и нравов феодалов-завоевателей, могли служить пропагандистским целям русского просветительства.

Предисловие Герцена к переведенному «Рассказу» Тьерри отражает поиски исторически обоснованного пути к будущему, характерные для русской передовой мысли 40-х годов.

Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы», говоря о развитии передовой общественной мысли конца 1830-х и начала 1840-х годов, в частности, отмечал, что «внимание г. Огарева и его друзей», т. е. прежде всего Герцена, «было занято историею<...> и так как в последнее время главным театром исторического развития была Франция, то они интересовались преимущественно ее историею» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., Гослитиздат, т. III, 1947, стр. 216).

Стр. 22. ... *Здесь ∞ образчик языка того времени...* — Эта фраза принадлежит Герцену. Далее он приводит сноску, сделанную Тьерри и содержащую цитату из Венанция Фортуната (ср. «Récits des Temps mérovingiens», Paris, 1840, т. I, стр. 338).

МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ

Впервые опубликовано в «Колоколе», л. 2 от 1 августа 1857 г., без подписи. Печатается по тексту второго издания л. 2 «Колокола». Текст второго издания отличается от первого стилистическими разночтениями. Рукопись неизвестна.

В отличие от даты, указанной при публикации этого фельетона (1842), Герцен ранее («Полярная звезда на 1855») в примечании к фельетону «Новгород Великий и Владимир-на-Клязьме» относил «Москву и Петербург» к 1841 г. Вероятно, это объясняется тем, что в 1855 г. в распоряжении Герцена не было списка комментируемого произведения.

В *ЦГЛА* хранится список неизвестного происхождения, имеющий ряд разночтений с текстом «Колокола». Некоторые разночтения этого списка свидетельствуют о том, что он, возможно, восходит к редакции 1842 г.: в этом списке нет вступления, написанного в 1857 г. перед публикацией статьи; о Гоголе здесь, в отличие от текста 1857 г., еще говорится в настоящем времени, а не в прошедшем («Гоголь принадлежит более Петербургу, нежели Москве») и др. (см. варианты).

В *ЦГАОР* («пражская коллекция») в тетради, озаглавленной «Сочинения Герцена. СПб., 1857», имеется (в разделе «Рукописные сочинения Герцена, ходившие по рукам до появления его лондонских книжек») незаконченный список этой статьи (до слова «характер»—стр. 37, строка 6). Часть вариантов этого списка совпадает с вариантами списка *ЦГЛА*, что также свидетельствует о том, что оба они, вероятно, восходят к тексту 1842 г. Фамилия Белинского была, повидимому, обозначена лишь буквой «Б», ибо в списке *ЦГЛА* «Б» расшифровано как Бакунин. Все это дает основание предположить, что статья подверглась перед напечатанием в «Колоколе» некоторой правке. Это ни в коей мере не противоречит утверждению Герцена, что он «оставил статью так, как она была»,— в этих словах речь идет о содержании ее, а не о частных исправлениях.

В России фельетон не мог быть напечатан по цензурным причинам, однако распространялся в многочисленных списках. В конце 40-х годов он был популярен среди петрашевцев (см. «Дело петрашевцев», т. III, М.— Л., 1951, стр. 60 и др., а также воспоминания А. П. Милюкова — *РС*, 1881, № 3, стр. 698).

В *ГМ*, 1917, № 1, опубликован доклад цензора Коссовича (август 1893 г.) по вопросу об издании полного собрания сочинений Герцена. Здесь среди статей «неудобных безусловно» назван комментируемый фельетон (стр. 291). В России фельетон с цензурными купюрами впервые был напечатан в *изд. Павл.*, т. IV.

Сопоставление Москвы и Петербурга давало в 30—40-х годах XIX века богатый материал для постановки вопроса об исторических путях развития России и русской национальной культуры. Тема эта разрабатывалась в ряде статей того времени. Особенно большую роль сыграла статья Н. В. Гоголя «Москва и Петербург» (1836), впервые опубликованная в 1837 г. под названием «Петербургские записки 1836 года».

В своем сатирическом фельетоне Герцен критикует и высмеивает барскую Москву и бюрократический Петербург, причем почти не затрагиваются прогрессивные стороны русской действительности, отразившиеся в жизни и быте обеих столиц. Белинский в статье «Петербург и Москва» (1845) возражал против некоторых утверждений Герцена, которые могли быть истолкованы как отрицание великой исторической роли Петербурга в прошлом и будущем, отрицание прогрессивных тенденций в его развитии. Белинский не называл Герцена, но полемика его направлена

против некоторых образов и положений комментируемого фельетона (см. В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IX, 1910, стр. 219 и др.). Следует, однако, иметь в виду, что мысли Герцена, вызвавшие возражения Белинского, представляли собою в большей степени сатирическое заострение критики императорского Петербурга, нежели оценку исторической роли последнего.

Стр. 33. *...усевшись на береге Волхова...*— Имеется в виду ссылка Герцена в Новгород.

Стр. 37. *...характер стоячести, который навел бы уныние на самого отца Иоакинфа.*— Имеется в виду Н. Я. Бичурин (в монашестве Иакинф) — автор работ: «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение» (СПб., 1840) и «Статистическое описание Китайской империи» (СПб., 1842) и др. В то время Китай часто ошибочно рассматривался как пример «стоячести», исторической неподвижности.

Стр. 39. *Полевой в пятый день по приезде в Петербург сделался верноподданным...*—Н. А. Полевой вскоре после закрытия правительством в 1834 г. издававшегося им в прогрессивном духе журнала «Московский телеграф» переехал в Петербург и перешел в лагерь реакции. Развернутую оценку деятельности Н. А. Полевого см. в работе «О развитии революционных идей в России» (т. VII наст. изд.).

Белинский, проповедовавший в Москве народность и самодержавие, через месяц по приезде в Петербург заткнул за пояс самого Анахарсиса Клоца.— Речь идет о преодолении Белинским в самом начале 40-х годов мучительного кризиса, «переходной болезни», по выражению Герцена,— так называемого «примирения с действительностью» (ср. «Былое и думы», гл. XXV).

... как арестанты в «Fidelio»...—Имеется в виду опера Бетховена (д. II, картина 1).

Стр. 40. *Художник, развившийся в Петербурге ∞ это вдохновение Петербурга!* — Имеется в виду картина К. Брюллова «Последний день Помпеи» (1833). Ср. герценовские оценки этой картины в дневнике 1842 г., запись от 22 сентября.

...похороны Петра III и похороны Павла I. — Намек на дворцовые перевороты, во время которых эти императоры были убиты.

Стр. 41. *...есть фатум, который за нас избирает место жительства...*— Намек на ссылку Герцена в Новгород.

НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ И ВЛАДИМИР-НА-КЛЯЗЬМЕ

Печатается по тексту «Полярной звезды на 1855», кн. I, издание второе, 1858, стр. 212—218 (в «Содержании» названо: «Новгород и Владимир»). Впервые опубликовано в первом издании «Полярной звезды на 1855», без подписи. Рукопись неизвестна.

В *ЦГЛА* хранится неполный список (отсутствует один лист) этого фельетона Герцена, имеющий незначительные расхождения с текстом «Полярной звезды», восходящие, повидимому, к тексту 1842 г. (см. варианты).

Фельетон не мог быть по цензурным причинам напечатан в России и распространялся в многочисленных рукописных списках.

В вышеупомянутом докладе цензора Коссовича среди статей «неудобных безусловно» назван комментируемый фельетон (стр. 291). Впервые, с цензурными искажениями, он был напечатан в России в *изд. Павл.*, т. IV.

По своему характеру и проблематике это произведение близко к написанному в тот же период новгородской ссылки фельетону «Москва и Петербург».

Стр. 43. *...в той книжке «Полярной звезды», в которой помещен рассказ о моей новгородской жизни.*— В «Полярной звезде на 1855» напечатаны были «Отрывки из третьего тома „Записок Искандера“» («Былое и думы»), в том числе гл. X «Новгород» (см. гл. XXVII окончательного текста «Былого и дум»).

Стр. 47. *...два Ивана Васильевича да один Алексей Андреевич.*— Иван III, Иван IV и А. А. Аракчеев.

...его любовницы. — Настасьи Минкиной, жившей в селе Грузино Новгородской губернии и в 1825 г. убитой крепостными за ее жестокость (ср. гл. XXVII «Былого и дум»).

КАПРИЗЫ И РАЗДУМЬЕ

Печатается по тексту *БиД* III, стр. 109—188 (где впервые были объединены в одном цикле три статьи, первоначально опубликовавшиеся каждая отдельно в 1843—1847 годах) со следующими исправлениями:

Стр. 60, строка 19. *Вместо:* он — оно (по *ОЗ*).

Стр. 83, строка 36. *Вместо:* троит — строит.

Стр. 85, строка 27. *Вместо:* делать — делал (по *Псб*).

Стр. 98, строка 32. *Вместо:* мирилась — ширилась.

В этом цикле Герцен стремится свои революционные и материалистические идеи, теоретически разработанные им одновременно в циклах статей «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» (см. т. III наст. изд.), распространить на «сферу личных отношений», на «частную жизнь нашу» и «ежедневную мелочь», на «психологический быт», на вопросы морали и этики. Герцен указывает на необходимость «расчистки человеческого сознания от всего наследственного хлама», от психологии и привычек, воспитанных эксплуататорским обществом.

Борьба Герцена за подъем чувства личности, чувства собственного достоинства, за «разумные отношения» людей, и его критика, направленная против лицемерия, хищничества и угнетения, господствовавших в частном, семейном быту крепостнического и буржуазного общества, были глубоко плодотворны с точки зрения задач, стоявших перед передовой русской интеллигенцией того времени. Постановка затронутых Герценом проблем в плоскости частного быта давала ему возможность в подцензурной печати подчеркнуть главное — необходимость борьбы против давящего на личность политического гнета царизма. Вместе с тем в постановке этих вопросов чувствуются слабые стороны мировоззрения Герцена, присущие ему утопические и просветительские представления о характере «обновления» личной и общественной жизни.

Постепенно в этом цикле Герцен от анализа личных и семейных отношений («По поводу одной драмы») переходит к вопросам о духовной цельности человека («По разным поводам») и о роли личности в общественной жизни и борьбе («Новые вариации на старые темы»).

В «Новых вариациях на старые темы» содержатся положения, получившие развитие в теории «разумного эгоизма» Чернышевского. Там же, говоря о Минине (эзоповский характер этого примера очевиден), Герцен особенно ясно подчеркнул революционное значение своей этики и морали.

Цикл «Капризы и раздумье» представляет интерес и как отражение противоречий личной, семейной жизни самого Герцена. Будучи в этом отношении теснейшим образом связан с соответствующими дневниковыми записями, цикл этот предвещает проблематику ряда глав «Былого и дум», особенно их пятой части.

В 40-е годы появление комментируемых статей было горячо встречено Белинским и передовой общественностью и чрезвычайно враждебно лагерем реакции (см. ниже). Позднее, в связи с выходом (анонимно) в Москве в 1870 г. сборника «Раздумье (Новые вариации на старые темы)», включающего этот цикл, Н. В. Шелгунов, подробно характеризуя последний, писал о Герцене: «... он‹...› в наше время—человек нашего поколения‹...› он всегда наш, всегда с молодыми, только умейте понимать его...» (Н. В. Шелгунов. Сочинения, т. II, СПб., 1904, стр. 428).

I. По поводу одной драмы

Впервые напечатано в *ОЗ*, 1843, № 8 (ценз. разр. 31 июля 1843 г.), отд. II, стр. 96—112, с подписью — *Ис—р*. Рукопись неизвестна. Текст лондонского издания отличается от первопечатного единичными разночтениями стилистического характера и четырьмя авторскими сносками.

Непосредственным толчком для написания статьи явились размышления по поводу виденной в театре драмы Арну и Фурнье «Преступление, или Восемь лет старше», отраженные в дневнике — в записи от 13 сентября 1842 г. Пьесу эту Белинский называл «прекрасной» (Полн. собр. соч., т. IX, 1910, стр. 279).

Статья была закончена в октябре 1842 г. (см. запись в дневнике от 16 октября). Герцен предназначал ее для «альманаха Грановского», мысль об издании которого не была осуществлена. Статья была напечатана в *ОЗ* со следующим примечанием редакции: «Разные причины замедлили присылку в „Отечественные записки“ четвертой статьи о „Дилетантизме“, которая, вероятно, напечатается осенью. Извиняясь перед читателями и редакцией, И—р препровождает это Grübelein как entre-mêts, которыми он искупает свою неаккуратность».

Стр. 49. *1842*.— Год опубликования статьи Герценом указан ошибочно (см. выше).

Стр. 50. *Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu!*— Цитата из комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (д. I, явл. 7).

Стр. 55. *...большой слушатель*.— Намек на организованную III отделением систему шпионажа; сам Герцен, находившийся, как бывший политический ссыльный, под особым полицейским надзором, имел все основания опасаться, что каждое сказанное им и подслушанное неосторожное слово могло иметь для него новые тяжкие последствия (ср. главу XXVI «Былого и дум»).

Стр. 58. *...хор дьяволов, как в «Роберте»*...— Имеется в виду опера Мейербера «Роберт-дьявол».

Стр. 60. *...диссертация Ретшера о Гёте*вом *«Wahlverwandschaft»*...— «Die Wahlverwandschaften von Goethe in ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung, ihrem sittlichen und künstlerischen Werte nach entwickelt» помещена в книге «Исследования по философии искусства» («Abhandlungen zur Philosophie der Kunst». Abt. II, Berlin, 1838). Ср. отзыв Герцена об этой работе в его письме к Огареву от 11—26 февраля 1841 г.

Стр. 61. *...Прудоновой «De la Justice»*.— Имеется в виду книга Прудона «De la Justice dans la Révolution et dans l'Eglise...» (1858). Ср. «Былое и думы», гл. XLI.

Стр. 65. *Не засмеяться ли им, пока*...— Из «Евгения Онегина» Пушкина (глава VI, строфа XXVIII).

Стр. 69. *...исполинский талант гениальной женщины?*— Речь идет о Жорж Санд.

Стр. 70. *Mais pourquoi lui donnerait-on*— Из «Севильского цирюльника» Бомарше (д. 2, явл. 15).

II. По разным поводам

Впервые напечатано под заглавием «Капризы и раздумье» как самостоятельная статья в *Псб* (цензр. разр. 12 января 1846 г.), стр. 203—222. Подпись — *Искандер*. Рукопись неизвестна. Текст лондонского издания отличается от первопечатного единичными разночтениями стилистического характера; здесь также впервые появляется заглавие этой статьи, как части единого цикла «Капризы и раздумье»,— «По разным поводам».

Написана статья, повидимому, в конце 1845 г.: 10 октября 1845 г. Некрасов просил Н. Х. Кетчера поторопить Герцена с окончанием этой статьи (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, Гослитиздат, т. X, 1952, стр. 45).

В своей рецензии на «Петербургский сборник» В. Г. Белинский, охарактеризовав эту статью как «род заметок и афористических размышлений о жизни, исполненных ума и оригинальности во взгляде и изложении», привел из нее довольно большой отрывок (см. В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, 1914, стр. 229—232).

Реакционная критика, видя революционные тенденции освещения Герценом семейных и личных отношений и выступая, по существу, с политическим доносом, обвиняла его в возбуждении ненависти против насилия и произвола (см. «Москвитянин», 1846, № 2, стр. 189).

Стр. 73. *Чудак называл их фуэросами...* — Так назывались права и привилегии, предоставленные народам Пиренейского полуострова во времена феодализма, просуществовавшие с VIII вплоть до XIX века, несмотря на то, что они к тому времени давно устарели и потеряли свое реальное значение.

Стр. 74. *...по методе Жакото...*— В основе предложенного французским педагогом метода преподавания лежал принцип самодеятельности учащихся, развития их памяти и мышления, помогающих той «расчистке человеческого сознания», о которой писал Герцен.

Стр. 76. *...отшельников степей фиваидских...* — В III — V веках византийские христианские отшельники селились в развалинах бывших египетских храмов в пустынной местности, где раньше находился город Фивы.

Стр. 78. *...Was sich in dem Kämmerlein...* — Несколько перефразированная цитата из стихотворения Гёте «Die Spinnerin».

...мещанин во дворянстве очень удивился, узнавши, что он сорок лет говорит прозой.— См. комедию Мольера «Мещанин во дворянстве» (д. II, явл. VI).

Стр. 79. *...судьи отравили юриспруденцией г-жу Лафарж...*—В 1840 году в Париже по обвинению в отравлении была осуждена Мария Лафарж. Улики против нее носили крайне спорный характер и мнения экспертов и других специалистов, в частности, упоминаемых далее Герценом врача Орфила и естествоиспытателя Распайля, резко расходились между собою.

Курций бросился в пропасть...— По преданию, когда на Форуме открылась пропасть и жрецы предсказали, что ее может заполнить лишь лучшее в Риме, Курций, воскликнув, что храбрость и оружие — лучшее достояние Рима, бросился в пропасть с оружием, на коне.

III. Новые вариации на старые темы

Впервые напечатано в качестве самостоятельной статьи в *С*, 1847, № 3 (цензр. разр. 28 февраля 1847 г.), отд. II, стр. 21—31, с подзаголовком «статья первая», отсутствующим в лондонском издании. Подпись — *Искандер*. Рукопись неизвестна.

Лондонское издание воспроизводит (за исключением четвертой главы, напечатанной в нем впервые) с единичными стилистическими разночтениями текст *С*. В ряде подстрочных примечаний Герцен проводит сличение сохранившейся рукописи с искаженным цензурой текстом *С*. Введены также и другие примечания, которых не было в тексте журнала.

Статья «Новые вариации на старые темы», как и «По разным поводам», относится к числу первых произведений Герцена, в которых выкристаллизовался жанр лирически окрашенных, тематически и проблемно многосторонних, богатых и художественными образами и теоретическими обобщениями «писем», получивший яркое развитие в дальнейшем творчестве писателя. Такие произведения отличаются известной самостоятельностью составляющих их главок, при проблемной цельности и целеустремленности как каждого из них, так и всего цикла в целом.

В этой связи следует отметить упоминание в письме Белинского к Герцену от 2 января 1846 г. «статейки „О пристрастии“» (В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 88). До последнего времени комментаторы этого письма считали упоминаемую Белинским статью неизвестной. Между тем весьма вероятно, что критик имел в виду или «Новые вариации на старые темы» в целом или же четвертую главку этой статьи — первоначально, возможно, имевшую самостоятельный характер,— где благородное «пристрастие», вдохновленное патриотическими и революционными идеалами, противопоставлено антипатриотизму и равнодушию, типичным для западнической космополитической интеллигенции.

Стр. 86. *...безвыходными противоречиями, которыми Кант завершил свое учение и из-за которых вдали виднелись улыбающиеся черты его учителя, Юма.*— В отличие от агностицизма субъективного идеалиста Д. Юма, считавшего вопрос о существовании объективной реальности неразрешимым, Кант признавал существование мира вещей вне нашего сознания, непознаваемых «вещей в себе». Однако и по Канту попытки разума выйти за пределы субъективного опыта неизбежно приводят к неразрешимым противоречиям. Герцен и имеет в виду то, что Кант, в сущности, стоит на позиции агностицизма, как и Юм.

Стр. 87. *Баратынский превосходно назвал предрассудок обломком древней правды.*— Имеется в виду стихотворение Баратынского — «Предрассудок! он обломок давней правды...», впервые напечатанное в *ОЗ* (1841).

Стр. 88. *Блажен, говорит Пушкин, кто, хладный ум угомонив...*— См. заключительную строфу седьмой главы «Евгения Онегина» (ср. запись в дневнике от 9 февраля 1844 г.).

...трудно становится долго продержаться Колоссом Родосским— одна нога на берегу, другая на другом...— Для пояснения своей мысли об искусственности философского дуализма Герцен привлекает образ Колосса Родосского — бронзовой статуи более 32 метров высотой, воздвигнутой в начале III в. до н. э. у греческого острова Родос. Ноги этой статуи, согласно преданию, стояли на разных берегах у входа в гавань.

«*Будь то или другое*»,— *как говорил Иоанн.*— Развивая мысль о необходимости решительного выбора между выводами передовой науки и отсталыми идеалистическими и романтическими воззрениями, Герцен для иллюстрации своих положений ссылается на библейское «Откровение Иоанна Богослова», где говорится о диаметрально противоположных путях, открытых перед «праведниками», с одной стороны, и «нечистыми»— с другой.

Стр. 89. *Беранже говорит, что муза его прекапризная...*— Герцен цитирует стихотворение Беранже «Отказ» («Le refus»). См.: П.-Ж. Беранже. Полн. собр. песен, изд. «Academia», 1936, т. II, стр. 40.

Свобода, это ж, монсиньор,—
Маньячка чести с давних пор:
В припадках ярости дурея,
В салоне ль, в городе ль она
Завидит кончик галуна —
И ну кричать: «Долой ливрею!»

Стр. 92. ...*сказал Кент*...—Герцен приводит слова графа Кента из трагедии Шекспира «Король Лир» (акт I, сцена 4).

Стр. 94. ...*homo sapiens!*—В «Современнике» затем следовало *Linn.*— очевидно, сокращенное «Линней». Ср. в статье «Публичные чтения г-на профессора Рульс» критику Герценом взглядов Линнея на человека (наст. том, стр. 143).

Стр. 95. ...*Лютер сам казнился*.—Герцен имеет в виду политическую и идейную эволюцию Лютера, которая привела его в лагерь князей.

Стр. 96. ...*die feste Burg*.— Из 46 псалма (библ.), переведенного Лютером.

Стр. 98. «*Мы всем нашим образованием*...»— Герцен цитирует «Энциклопедию философских наук» Гегеля (Логика, часть первая, § 31) по полн. собр. соч. Гегеля (т. VI, 1840). Немецкий текст дает основание исправить в этой цитате «мирилась» на «ширилась».

Стр. 99. *L'ami du genre*... — Из комедии Мольера «Мизантроп» (д. I, явл. 1).

...*простодушный Гомер думает*...—Герцен имеет в виду песнь четырнадцатую («Обманутый Зевс») «Илиады» Гомера.

Стр. 100. ...*Афины в Берлине, Афины в Мюнхене*...— Герцен иронизирует по поводу попыток правящих кругов и буржуазии Пруссии и Баварии преувеличить культурную роль Берлина и Мюнхена в то время, придать этим городам значение культурных и художественных центров мира. Баварский король Людвиг I называл Мюнхен «вторыми», или «немецкими Афинами».

Стр. 101. ...*мюнхенская пинакотека*... — картинная галлерея. ...*гиссенская лаборатория*...— лаборатория университета в г. Гиссене, которую в течение 26 лет возглавлял Либих.

«МОСКВИТЯНИН» О КОПЕРНИКЕ

Впервые опубликовано в *ОЗ*, 1843, № 11 (ценз. разр. 31 октября 1843 г.), в отд. «Смесь», стр. 56—58, без подписи. Печатается по тексту *БиЛ* III, стр. 191—197, где этот фельетон помещен в разделе «Статьи полемические». Рукопись неизвестна. В текст внесено следующее исправление:

Стр. 107, строка 11—12. *Вместо:* инструменту; названному paralacticum,— инструменту, названному paralacticum; (по тексту *ОЗ* и статьи С. П. Победоносцева в «Москвитянине», которую Герцен цитирует).

В фельетоне (сам Герцен охарактеризовал его как «журнальную шутку»; см. письмо к Н. Х. Кетчеру от 18 ноября 1843 г.) высмеивается статья С. П. Победоносцева в № 9 «Москвитянина» за 1843 г. «Николай Коперник. (Голос за правду)». Победоносцев был литератором-ремесленником, выступавшим в журналах с многочисленными мелкими статьями на самые различные темы; в области точных наук он был совершенным профаном. Герцен и разоблачает вопиющее невежество автора и редакторов «Москвитянина», попытку представить Коперника сторонником религиозных воззрений и ноповщины, отделить его от научного развития человечества. Здесь в фельетонной форме он коснулся темы, научно разработанной им еще в студенческие годы (см. «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника», т. I наст. изд.).

Фельетон Герцена пользовался большой популярностью у современников. Вскоре после выхода номера *ОЗ*, 15 ноября 1843 г., Т. Н. Грановский сообщал Н. Х. Кетчеру об успехе статьи («Т. Н. Грановский и его переписка», М., 1897, т. II, стр. 459). В своем обзоре «Русская литература в 1843 году» В. Г. Белинский называет комментируемый фельетон среди других «„более или менее замечательных статей“ „Смеси“ „Отечественных записок“» (В. Г. Белинский Полн. собр. соч., т. VIII, 1907, стр. 415). На «знаменитую историю *Коперника*, или *Копырника*, или Покорника» в «Москвитянине» ссылается Белинский и в своей рецензии 1845 г. на «Лексикон философских предметов» А. Галича (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, СПб., 1914, стр. 304). Любопытно, что С. П. Победоносцев считал автором фельетона В. Г. Белинского (Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, СПб., 1893, т. VII, стр. 80).

Стр. 103. *...за помещение Коперника в число Walhalla's Genossen.*— По словам С. П. Победоносцева, баварцы «по поводу трехсотлетнего юбилея знаменитого астронома... провозгласили его сыном Германии и поместили в свою Валгаллу», что побудило польских ученых «отозваться за правду» («Москвитянин», 1843, № 9, стр. 108—109).

Стр. 107. *...Каков сюрприз после точки с запятой!* — Повидимому, Герцен высмеивает беспорядочную, явно страдающую недостатком логики манеру изложения Победоносцева.

В 10 № ∞ Ред. ⟨«*Отечественных записок*»⟩. — Следует думать, что это примечание принадлежит самому Герцену. Надо отметить, что грубейшие фактические ошибки, допущенные в «Москвитянине», действительно произошли не по вине корректора, а, как сознавался сам Победоносцев, по его собственной «рассеянности» (Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. VII, стр. 80).

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ г. ВЁДРИНА

Впервые опубликовано в *ОЗ*, 1843, № 11 (ценз. разр. 31 октября 1843 г.), в отд. «Смесь», стр. 58—60, без подписи. Печатается по тексту *БиД* III, стр. 215—218, где этот фельетон-пародия помещен в разделе «Статьи полемические». Рукопись неизвестна.

Фельетон представляет собой пародию на путевой дневник М. П. Погодина «Год в чужих краях», в течение 1843 г. печатавшийся в «Москвитянине» (в 1844 г. вышел отдельным изданием) и вызвавший многочисленные сатирические отклики. Ср., например, рецензию молодого Некрасова в «Литературной газете», 1843, № 42, на «Молодик» (Харьков, 1843), где также был напечатан «Отрывок из путевых записок М. Погодина» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. IX, 1950, стр. 112—113).

Пародия Герцена сразу же после ее появления сделалась чрезвычайно популярной; об этом упоминает сам Герцен в письмах Кетчеру от 18 ноября и 2 декабря 1843 г.; ему же сообщает Грановский 15 ноября 1843 г.: «Давыдов в восторге от записок Вёдрина, говорит, что, читая эту статейку жене своей, он невольно принял тон Погодина... Вообще Коперник и Вёдрин произвели эффект» («Т. Н. Грановский и его переписка», М., 1897, т. II, стр. 459).

В. Г. Белинский в обзоре «Русская литература в 1843 году» называет «Записки Вёдрина» среди других более или менее замечательных статей «Смеси» *ОЗ* (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII, 1907, стр. 415). Упоминая комментируемую пародию и фельетон «„Москвитянин“ и вселенная», Белинский пишет Герцену 2 января 1846 г. о том, как высоко он ценит его «фельетонный» талант (В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 88).

О популярности этого фельетона-пародии среди современников свидетельствует и косвенное упоминание о нем в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (см. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, М., 1947, стр. 77).

О путевых записках Погодина см. также в фельетоне Герцена «„Москвитянин“ и вселенная» и в «Былом и думах» (гл. XXX).

ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ г. ГРАНОВСКОГО

Впервые опубликовано в «Московских ведомостях», 1843, № 142 от 27 ноября, стр. 857—858, за подписью: *А. Герцен*, по тексту которых и печатается. Рукопись неизвестна.

Как показывает запись в дневнике Герцена от 26 ноября 1843 г., первоначальный текст вызвал возражения со стороны попечителя Московского учебного округа С. Г. Строганова, в ведении которого находилась цензура, что и повлекло за собой некоторые изменения, которые Герцен вынужден был сделать в статье.

Статья явилась откликом на начавшееся 23 ноября 1843 г. чтение Т. Н. Грановским курса публичных лекций по истории средних веков. Лекции эти, как о том свидетельствуют многочисленные отзывы современников, имели большое общественное значение. Публичность лекций превращала университетскую кафедру Московского университета, являвшегося одним из центров не только науки, но и общественной мысли того времени, в трибуну, непосредственное воздействие которой выходило далеко за рамки студенческой аудитории. Вслед за лекциями Грановского начались лекции других профессоров, в частности К. Ф. Рулье (см. в наст. томе статью «Публичные чтения г-на профессора Рулье»).

При всей умеренности просветительских воззрений Грановского его лекции пропагандировали «постоянный, глубокий протест против существующего порядка в России» («Былое и думы», гл. XXIX), они косвенно ставили вопрос об исторических путях развития России и содержали в замаскированной, эзоповской форме полемику с идеологами реакции.

Сам Грановский писал за несколько дней до начала лекций Н. Х. Кетчеру: «Я надеюсь<...> высказать моим слушателям en masse такие вещи, которые я не решился бы сказать каждому поодиночке. Вообще хочу полемизировать, ругаться и оскорблять. Елагин сказал мне недавно, что у меня много врагов<...> источник вражды в противуположности мнений. Постараюсь оправдать и заслужить вражду моих „врагов“» («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 459). А в письме к Кетчеру от начала декабря 1843 г., после четвертой лекции курса, Грановский отмечает: «Шевырева я уже несколько раз выводил на сцену: я указывал на него, когда говорил о людях, отрицающих философию истории, я говорил о нем по поводу риторов IV и V века, по поводу язычников староверов» (там же, стр. 460).

С. П. Шевырев, внешне признавая достоинства курса лекций Грановского и его популярность среди слушателей, выступил с критикой лекций («Москвитянин», 1843, № 12), содержащей в себе также скрытую полемику и со статьей Герцена.

К оценке лекций Грановского Герцен неоднократно возвращается в своем дневнике (см., в частности, записи от 28 ноября, 1, 11, 21 декабря 1843 г.).

Стр. 111. *Г-н Грановский, года три тому назад оставивший скамьи лучших германских университетов...*— После окончания Петербургского

университета, с 1837 до осени 1839 г. Т. Н. Грановский находился в командировке в Берлине для подготовления к профессорской деятельности.

С т р. 114. *Надеюсь, что г. Грановский не подаст на меня в суд челобитную, как Шеллинг на Паулуса.*— Имеется в виду судебный процесс Шеллинга против Паулуса, обнародовавшего без разрешения Шеллинга его лекции, читанные в Берлинском университете в 1841—1842 гг.

С т р. 115. *...великий генуэзец...*— Христофор Колумб.

УМ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ

Впервые опубликовано в *БиД* III, стр. 208—214, в разделе «Статьи полемические», по тексту которого и печатается. Рукопись неизвестна.

Работа Герцена над этим произведением восходит к концу 1843 г. В письме от 2 декабря 1843 г. к Н. Х. Кетчеру Герцен сообщает, что он «было написал „Два литератур. брака" (Греч и Булг., Погод. и Шевырев), но много просто личностей, а потому сжег». Однако позднее Герцен с теми или иными видоизменениями восстановил эту злую сатиру на реакционную журналистику. В известном нам по лондонскому изданию тексте есть строки, которые могли быть написаны не ранее конца 1844 г.: здесь говорится о публичных лекциях по истории древней русской словесности, читанных Шевыревым в Московском университете в конце 1844 и начале 1845 года.

В 1845 г. Герцен сделал попытку напечатать этот фельетон. В письме от 6 августа 1845 г. И. И. Панаев сообщает В. Г. Белинскому о статье Герцена «о Шевыреве, Погодине, Булгарине и Грече, которую он отдал Некрасову в альманах» («В. Г. Белинский и его корреспонденты», М., 1948, стр. 219).

10 октября 1845 г. Н. А. Некрасов в письме Н. Х. Кетчеру просил его передать Герцену, «чтоб он привез или прислал статью „Ум хорошо, а два лучше", адресуя на Белинского» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, стр. 45), по статья не была напечатана по цензурным причинам.

Именно этот, присланный Белинскому и Некрасову текст мог быть известен Добролюбову, который в своей рецензии на «Историю русской словесности» Шевырева («Современник», 1859, № 2) ссылается на замечание «одного писателя» (т. е. Герцена) о том, что лекции Шевырева о русской словесности рассматривают литературу *«преимущественно того времени, когда ничего не писали»* (Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., Гослитиздат, т. 2, 1935, стр. 444).

В России комментируемое произведение впервые было напечатано М. И. Семевским в *РС*, 1871, № 11, стр. 528—532, за подписью W, в качестве статьи, отнесенной к 1846 году и посвященной В. Г. Белинскому. Автор статьи не был указан по цензурным причинам.

Можно предположить, что источником текста, опубликованного в *РС*, является статья, присланная в 1845 г. Белинскому, или список с нее.

Текст *РС* отличается от текста *БиД* III в основном разночтениями стилистического характера. Лишь в отдельных случаях разночтения имеют смысловое значение. Так, например, в тексте *РС* говорится, что Греч «публично читал в Петербурге поэзию грамматики <...> доказывая, как счастлив должен быть тот *народ* (в *БиД* III — *язык*), который так хорошо, как мы, спрягает глаголы» (см. варианты).

С т р. 116. *«Маяк» ∞ издается одним г. Бурачком...*— До 1842 г. «Маяк» издавался С. А. Бурачком совместно с П. А. Корсаковым.

...знаком ∞ с мечом, не только с одним, но и с двумя...— Намек на участие Булгарина сначала в кампании 1806—1807 гг. в рядах русской армии, а затем, в 1812 г., в рядах армии Наполеона.

С т р. 117. ... *г. Гёте упоминает о г. Шевыреве*...— Шевырев был бегло упомянут Гёте как автор критического разбора второй части «Фауста». Разбор этот послал Гёте сам Шевырев (см. Н. Б а р с у к о в. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. II, стр. 180).

...*г. Шеллинг спрашивает о философских статьях г. Погодина*...— Погодин, вспоминая свое посещение Шеллинга (1825), сообщал, что последний расспрашивал его о положении философии в России (см. Н. Б а р с у к о в. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. IV, стр. 326).

Грек, по прекрасному выражению «Москвитянина», рассматривает Европу в полицейском отношении...—Герцен имеет в виду отзыв Шевырева о «Письмах с дороги» Н. И. Греча, в «Обозрении словесности русской за 1842 год» («Москвитянин», 1843, № 10): «У Греча есть свой взгляд на Италию<...> мы бы назвали этот взгляд полицейским<...> Греч путешествовал в Италии по части порядка, чистоты и опрятности».

Степан Петрович любит Италию, поющую октавы...—Намек на статью Шевырева «О возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение» («Телескоп», 1831, ч. III) и на его перевод седьмой песни «Освобожденного Иерусалима» Тассо, на примере которого (перевода) Шевырев пытался доказать возможность введения итальянской октавы в русское стихосложение. Белинский в обзоре «Русская литература в 1841 году» (Полн. собр. соч., т. VII, 1907, стр. 31) резко отозвался об этом переводе.

...*Михаил Петрович — западных славян, потому что он их считает восточными*.— Имея в виду связи Погодина с чешскими научными кругами, стоявшими в стороне от активной национально-освободительной борьбы, Герцен иронизирует по поводу попыток московского реакционного профессора искать в Чехии поддержку самодержавию.

С т р. 118. ...«*Историю*» *Н. И. Греча*.— Речь идет об изданной Гречем в 1843 г. «Древней истории», переводе книги К. Беккера.

Фаддей Венедиктович ∞ невский Коцебу...— См. такое же сравнение Булгарина с доносчиком и предателем Коцебу в фельетоне «„Москвитянин“ и вселенная».

Греч публично читал в Петербурге поэзию грамматики... — Лекции эти были изданы в 1840 г. в виде «Чтений о русском языке».

Погодин ∞ идет от происхождения Руси до X века...— Как свидетельствует историк С. М. Соловьев, слушавший лекции Погодина в Московском университете в 40-х годах, последний строил свой курс таким образом, что прочитывал обе свои диссертации, т. е. «О происхождении Руси» (1824) и «О летописи Нестора» (1834); «после этого времени оставалось уже немного; это остальное время Погодин проводил в том, что приносил Карамзина и читал из него разные места» («Записки Сергея Михайловича Соловьева». изд. «Прометей», Петроград, стр. 55—56).

Погодин ∞ издавал, больше о б щ и н н о, исторические труды...— Ядовитый намек на эксплуатацию М. П. Погодиным сотрудничавших с ним литераторов и молодых ученых. О широко известных в 40-х годах фактах такого рода сохранился ряд свидетельств в мемуарах и письмах. Так, например, С. М. Соловьев рассказывает в своих воспоминаниях, что Погодин на лекциях в Московском университете развивал «свою любимую тему, что *молодые люди* самолюбивы, не хотят бескорыстно трудиться на стариков» («Записки Сергея Михайловича Соловьева», изд. «Прометей», Петроград, стр. 56—57).

...*Греч издал формулярные списки всех русских авторов*...— Имеется в виду «Опыт краткой истории русской литературы» Греча (1822), содержащий в основном библиографический материал.

...*Булгарин составил книгу о России*...— Речь идет о книге Булгарина «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях» (6 ч., СПб., 1847), являющейся по существу переводом книги дерптского профессора Н. А. Иванова.

С т р. 120. *...люблю я радушное приветствие Ф. В-ча пирожнику...* — Рекламный характер фельетонов Булгарина, писавшихся часто по заказу торговцев, неоднократно отмечался в публицистике 40-х годов.

О ПУБЛИЧНЫХ ЧТЕНИЯХ г-на ГРАНОВСКОГО

Впервые опубликовано в «Москвитянине», 1844, № 7 (ценз. разр. 5 июля 1844 г.), в отд. «Московская летопись», стр. 167 за подписью: *А. Г.* и с примечанием: «Первое было помещено в 142 № „Московских ведомостей" 1843 года», по тексту которого и печатается. К статье был дан подзаголовок «Сообщено», указывавший на то, что статья эта являлась для редакции «Москвитянина» материалом, не отражавшим ее собственные взгляды. Рукопись неизвестна.

Еще в декабре 1843 г. Герценом была написана вторая статья о лекциях Грановского, которую, однако, тогда напечатать не удалось (см. запись в дневнике от 17 декабря 1843 г.) и рукопись которой неизвестна. Комментируемая статья либо написана заново, либо представляет собой существенно переработанную редакцию статьи, написанной в декабре 1843 г.: в отличие от последней она посвящена уже окончанию лекций Грановского (последняя лекция состоялась 22 апреля 1844 г.; р. запись в дневнике Герцена от 24 апреля).

22 апреля был дан в честь его обед в доме С. Т. Аксакова, распорядителями на котором были Герцен, Ю. Ф. Самарин и С. Т. Аксаков (ср. письмо Герцена к Кетчеру от 27 апреля 1844 г.); присутствовал на этом обеде и Шевырев (ср. «Литературные воспоминания» И. И. Панаева, Гослитиздат, 1950, стр. 203—205). «Примирение,— как замечает И. И. Панаев,— на этом обеде‹...› со стороны большинства было, может, искренно, но непродолжительно. Полемика‹...› сделалась еще ожесточеннее прежнего» (там же, стр. 205). Ср. также «Былое и думы», гл. XXX.

Некоторые современники считали, что в этой статье Герцен протягивал «руку славянской партии, предлагал мир на честных условиях» (П. В. Анненков. Литературные воспоминания, Л., 1928, стр. 328).

В статье получили известное отражение иллюзии и надежды Герцена на поддержку славянофилами, особенно К. Аксаковым и Ю. Самариным, таких выступлений прогрессивно-просветительского характера, какими являлись лекции Грановского (ср. запись в дневнике от 28 ноября 1843 г., в которой Герцен отмечает, что «славянофилы не яростные тоже довольны» его первой статьей о лекциях Грановского). На деле участие славянофилов в чествовании Грановского было со стороны этой реакционной группировки, и в первую очередь ее вождя Хомякова, одной из демагогических и лицемерных попыток поддерживать связи с передовой интеллигенцией и тем самым приобретать репутацию прогрессивного общественного течения.

Вообще в статье Герцена положительному отношению «московского общества» к лекциям Грановского придавалось чрезмерное значение. Позднее Герцену пришлось убедиться в том, что в значительной своей части московское дворянское общество видело в выступлении Грановского лишь модную новинку и впоследствии не менее бурно приветствовало лекции Шевырева (ср. письмо Герцена Кетчеру от 17 февраля 1845 г.). С другой стороны, Герцен в своей статье не имел возможности высказать критические соображения о некоторых положениях и сторонах философии истории Грановского (в дневнике Герцен критически отозвался об идеалистических чертах, присущих этой философии; см. запись от 28 ноября 1843 г.).

Всем этим и объясняется отзыв Белинского в письме к Герцену от 26 января 1845 г.: «По моему мнению, стыдно хвалить то, чего не имеешь права ругать: вот отчего не понравились мне твои статьи о лекциях Грановского» (В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 86).

Стр. 123. *...Живо представлялся мне ∞ отказать в грусти падшему...*— См. «Гамлет, принц датский» Шекспира (акт V, сцена 2).

Стр. 125. *Dich stört nicht im Innern...*— Ср. запись в дневнике от 18 января 1844 г.

Стр. 127. *Грановский обещает напечатать свои чтения...*— Этот курс публичных лекций, как и другие, напечатан не был. Сохранилось несколько записей слушателей курса (хранятся в Государственном Историческом музее).

ИСТИННАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ЭМАНЦИПАЦИЯ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОТ ЗЛЕЙШИХ ВРАГОВ ЕГО

Впервые опубликовано в *ОЗ*, 1844, № 11 (ценз. разр. 30 октября 1844 г.), в отд. «Смесь», стр. 64—67, без подписи, по тексту которого и печатается. В примечании от редакции указывалось: «Мы получили пресмешной пуф, и не английский, а московский, который передаем нашим читателям». Рукопись неизвестна.

Т. П. Пассек в своих «Воспоминаниях», ошибочно отнеся упоминаемый ею эпизод ко времени первого приезда Герцена из Владимира в Москву, т. е. к 1838 году, сообщает, что написание этой шутливой заметки (текст которой ею приводится) явилось результатом просьбы К. И. Зонненберга (см. о нем «Былое и думы», гл. V), которому не удавалось распродать случайно приобретенную им партию пиретрума. Текст объявления был готов «через час», и «дня через три эта реклама явилась, кажется, в „Инвалиде", потом была перепечатана в „Пчеле"».

Можно думать, что в воспоминаниях Пассек приведена рукописная редакция текста, подвергшаяся перед печатанием стилистической, а быть может, и вызванной цензурными соображениями правке. Так, например, после слов «маленькая компания черных акробатов‹...› торопится обидеть вас‹...› уничтожить ваше человеческое достоинство...» в тексте Пассек, вместо многоточия, читаем: «несмотря на дворянскую грамоту, которую вы, вероятно, имеете». Вместо упоминаемого в конце журнального текста «только что вышедшего из типографии нумера журнала»— у Пассек прямо назван «Москвитянин» и т. п. (см. варианты).

Следует подчеркнуть, что Герцен сумел и этой шутке-рекламе придать политическую заостренность.

Стр. 129. *«Коня мне, коня, полцарства за коня!»*— Из «Ричарда III» Шекспира (акт V, сцена 4).

ПИСЬМО ПЕРВОЕ О «МОСКВИТЯНИНЕ» 1845 года

Впервые опубликовано в *ОЗ*, 1845, № 2 (ценз. разр. 31 января 1845 г.), в отд. «Смесь», стр. 133, без подписи, по тексту которого и печатается.

В письме от 24 декабря 1844 г. А. А. Краевскому Герцен, перечисляя материалы, которые он мог бы прислать редакции «Отечественных записок», указывал, в частности: «Письма из провинции» — о каждом № «Москвитянина». Комментируемая ироническая заметка и написана в плане реализации этого замысла ежемесячных отзывов о «Москвитянине». Примечание от редакции *ОЗ* предпослано в журнале самой заметке.

В письме Краевскому от 19 января 1845 г. Герцен пишет: «„Москвитянина" еще нет; стало, всего лучше напечатайте»,— и далее комментируемый текст.

«МОСКВИТЯНИН» И ВСЕЛЕННАЯ

Впервые опубликовано в *ОЗ*, 1845, № 3 (ценз. разр. 28 февраля 1845 года). отд. «Смесь», стр. 48—51, за подписью: *Ярополк Водянский* (намек на О. М. Бодянского, профессора Московского университета по кафедре истории и литературы славянских народов, близкого к славянофилам). Печатается по тексту *БиД* III, стр. 198—207, где этот фельетон помещен в разделе «Статьи полемические», с исправлением (по *ОЗ*): «в личном себялюбии» (стр. 133, строка 27) на: «в алчном себялюбии».

В письме к Н. Х. Кетчеру от 30 марта 1845 г. Герцен писал о том, «как изуродована статья Водянского в „Отечественных записках“». О каких искажениях идет речь, установить не представляется возможным, так как рукопись статьи неизвестна, а текст первой публикации почти совпадает с текстом *БиД* III.

Комментируемая статья—вторая из обещанных Краевскому ежемесячных статей о «Москвитянине» (см. примеч. к «Письму первому...»). Рассматривая первую книжку «обновленного» «Москвитянина» за 1845 г. и отдавая должное литературным достоинствам статьи И. В. Киреевского, ставшего в это время во главе журнала (ср. отзывы Герцена о Киреевском в дневнике от 23 ноября 1842 г. и 10 января 1845 г.), Герцен показывает, что идеологические позиции «новой» редакции «Москвитянина» принципиально не отличаются от воззрений ее старого руководителя — М. П. Погодина. Ср. статью Белинского «Литературные и журнальные заметки», *ОЗ*, 1845, № 5, где великий критик также ссылается «на статью г. Ярополка Водянского» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XIII, Л., 1948, стр. 180 — 186).

К концу 1844—началу 1845 г. относится разрыв Герцена со славянофилами (об отношении Герцена к ним в дальнейшем см. комментарий к работе «О развитии революционных идей в России» в т. VII наст. изд.). Внешним поводом послужили не напечатанные тогда, но распространявшиеся в обществе стихотворения Н. М. Языкова, направленные против Герцена, Грановского, Чаадаева: «Константину Аксакову», «К не нашим» и «К Чаадаеву» (ср. запись в дневнике Герцена от 10 января 1845 г. и главу XXX «Былого и дум»).

Комментируемый фельетон был написан в начале февраля (ср. запись в дневнике от 8 февраля 1845 г.: «Послал диатрибу на „Москвитянин“»). Сравнивая стихотворения Языкова с сочинениями Коцебу и «автора „Выжигиных“», т. е. Ф. В. Булгарина, Герцен намекает на то, что они носят характер политического доноса.

Полемическую меткость герценовского фельетона характеризует отклик некоего озлобленного врага передовой печати, который считал, что за язвительные сарказмы над «Москвитянином» надобно «под благовидным предлогом остановить издание „Отечественных записок“ *навсегда*» (Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. VIII, стр. 21).

Стр. 133. *Западное государство можно выразить такою дробью* $^{10}/_{10}$, *а наше десятичною.*— Эпиграф взят из упоминаемой Герценом статьи Погодина «Параллель русской истории с историей западных государств, относительно начала». Сравнивая «отношения» «государя к государству» на Руси и на Западе, Погодин пишет: «Феодалы западные основали многие владения, малые государства, из коих отвлеченно состояло одно большое, а у нас было *одно* малое государство. Западное государство можно выразить такою дробью $^{10}/_{10}$, а наше десятичною».

Стр. 134. *...раздора между Причардом и капитаном Брюа.*— Представители Англии (Причард) и Франции (Брюа) боролись в первой половине 1840-х годов за сферы влияния на архипелаге Таити.

... *к пузеизму*...— Это, обладающее шутливым оттенком, словообразование имеет в виду крайне реакционное течение в английской церкви, тяготевшее к католицизму. Во главе этого течения стоял Э. Пьюзи — его сторонников в русской печати того времени называли пуссеистами.

Стр. 135. ...*г. Лихонин, переводивший Шиллерова «Дона Карлоса», кажется, прямо с испанского, и переводивший прекрасные стихи графини Сарры Толстой на вовсе не существующий язык*...— Имеются в виду издания: 1) «Дон Карлос, инфант Испании. Драматическое стихотворение Фридриха Шиллера. Перевод М. Лихонина — 1828». М., 1833; 2) «Сочинения в стихах и прозе» гр. С. Ф. Толстой. Перевод с немецкого и английского», М., 1839.

Издатель «Маяка» со в своем несравненном отчете...— В дневниковой записи от 15 октября 1844 г. Герцен называет «Отчет „Маяка" за пять лет» (1844, № 9, и отд. книжка осенью того же года) «позорным и невежественным profession de foi» журнала.

...*теологическую его часть*...— «Москвитянина» открывался, как и прежде, отделом «Духовное красноречие», где в № 1 было напечатано «Слово» митрополита Филарета, сказанное при освящении храма в Чудовом монастыре.

Стр. 136. ...*Рассказ г. Языкова*...— «Сержант Сурмин».

Об этом стихотворении ∞ *в V части «Былое и думы»*.— В главе XXX «Былого и дум» Герцен, говоря о стихотворении «Не наши», имеет в виду стихотворения Языкова «Константину Аксакову», «К не нашим» и «К Чаадаеву».

.сам г. Погодин очень верно изложил, как новая жизнь побеждала в Европе феодальную форму, и даже заглянул в будущее. — Герцен имеет в виду рассуждение Погодина о том, что в наше время «низшее сословие‹...› готовится на Западе к борьбе с средним и высшим вместе», причем «предтечей этой борьбы» Погодин считает сен-симонистов, социалистов, коммунистов, полагая, что они «соответствуют энциклопедистам, представившим пролог к французской революции», т. е. революции 1789 г. Погодин призывает «образумиться» своих «знаменитых современников», «которые с таким ожесточением не хотят уступить одного часа из двенадцати‹...› и вешают равнодушно на аптекарских весах капли‹...› пота и крови» («Москвитянин», 1845, № 1, отд. «Науки», стр. 3). Верный слуга и апологет самодержавия, Погодин позволял себе порою демагогические выходки против западноевропейского буржуазного порядка. Это обстоятельство и использовал Герцен для намека на правоту социалистических идей.

...*примером о шарах*...— Герцен высмеивает следующие утверждения и «сравнения» Погодина: «на Западе все произошло от завоевания» ‹галлов франками›, а «у нас» «от призвания, беспрекословного занятия и полюбовной сделки». «Вот два шара‹...› совершенно равные. Положите их на одно место, рядом, ударьте их с одинакою силою.— но случись одной линии, какому-нибудь легкому неприметному склонению разделить толчок,— шары понеслись в разные стороны, и через несколько времени вы видите их в беспредельном между собою расстоянии. Ничтожная разница в первом толчке, изменяя направление, решает их судьбу и переносит на противоположные точки».

Стр. 138. ...*публичных чтений Шевырева*...— В ноябре 1844 г. Шевырев начал курс публичных лекций, являвшихся попыткой с университетской кафедры противопоставить лекциям Грановского охранительную точку зрения. Ироническую характеристику этих лекций см. в фельетоне «Ум хорошо, а два лучше».

...*лирическое письмо, подписанное цифрами*...— Статья В. А. Панова, подписанная: «З. 16».

... статья о Стефенсе ... — Выдержкам из автобиографии этого ученого была предпослана вступительная статья без подписи, принадлежавшая перу И. В. Киреевского.

Стр. 139. *«Хроника русского в Париже»* — была напечатана без подписи; автором ее является А. И. Тургенев.

...пастор Зедергольм очень долго не издаст второй части своей «Истории философии». — В первой книге «Москвитянина» за 1845 г. было помещено письмо Зедергольма, в котором он просит публику «подать руку помощи» и раскупить первую часть его «Истории философии», так как издатель не хочет печатать следующие части до распродажи первой. Герцен считал эту новость очень «утешительной», ибо справедливо расценивал Зедергольма как невежественного дилетанта, спекулировавшего на том интересе к философской литературе, который среди некоторой части московского дворянского общества носил характер модного увлечения (ср. дневниковую запись Герцена о Зедергольме от 23 ноября 1842 г.).

ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ г-на ПРОФЕССОРА РУЛЬЕ

Впервые опубликовано в «Московских ведомостях», №№ 147 и 148 от 8 и 11 декабря 1845 г., стр. 952 и 961—962, за подписью: *И—р*, по тексту которых и печатается. В подзаголовке указано: «Сообщено». Рукопись неизвестна.

Первая лекция публичного курса чтений К. Ф. Рулье «Об образе жизни животных», о котором идет речь в статье Герцена, была прочитана 22 ноября 1845 г. в здании Московского университета. Лекции с демонстрацией животных в зоологическом музее университета продолжались и в 1846 г. Следовательно, статья Герцена написана на основе лишь первых лекций.

Текст этого публичного курса Рулье напечатан не был. Программа его, дающая некоторое представление о круге вопросов, затронутых Рулье, обнаружена в делах министерства просвещения и опубликована в томе II «Научного наследства» (изд. АН СССР, М., 1951, стр. 650—655). Сравнение этой программы с рукописью «Обзор явлений образа жизни животных», занимающей три толстые тетради, заполненные записями Рулье и его учеников (ныне хранится в отделе рукописей Библиотеки им. А. М. Горького Московского университета), позволяет думать, что эта рукопись и есть текст тех лекций, начало которых слушал А. И. Герцен.

Герцен в своей статье дал непревзойденный для того времени анализ основных направлений в мировой биологической науке и путей ее дальнейшего развития. Он глубоко вскрыл главный порок сравнительно-анатомического, описательного направления Кювье, к которому примыкало подавляющее большинство биологов мира. Герцен показал, что это направление является метафизическим, что в его основе лежит противоречащее действительным отношениям в природе представление об органическом мире не как «о несущемся потоке, стремительном процессе», а как о чем-то, что, так или иначе раз возникнув, вечно остается неизменным, постоянным, застывшим. Герцен вскрыл, что трудность преодоления этих ошибочных представлений связана с тем методом изучения организмов, который принят большинством биологов, с тем, что биологи ограничиваются анатомо-морфологическим изучением органических форм. Он указал, что изучить тело животного еще не значит изучить живое существо, ибо животное, вырванное из его связей с окружающим миром, вне его отношений с ним, есть труп, и поставил задачу перейти от морфологического

описания организмов к раскрытию физиологических процессов, определяющих существование и развитие живых форм. Тем самым был намечен тот путь, который в дальнейшем привел к коренному перевороту в представлениях об органическом мире.

Вся статья проникнута диалектическим взглядом на природу, идеей исторического развития органического мира и в этом отношении, наряду с работами Рулье, она является после «Философии зоологии» Ламарка одним из самых ярких в мировой литературе достижений эволюционной мысли до Дарвина.

По содержанию статья непосредственно примыкает к «Письмам об изучении природы», развивает и углубляет важнейшие положения материализма и диалектики, высказанные особенно в первом из этих писем — «Эмпирия и идеализм». Герцен развивает идею единства и материальности мира, отвергает широко распространенное в то время дуалистическое противопоставление «веществу» (материи) — «силы» как особого, не зависящего от материи начала и т. д. В статье находят дальнейшее развитие идеи Герцена о единстве общих законов существования органического и неорганического мира, которыми проникнуто письмо «Эмпирия и идеализм», о необходимости и возможности познать сущность физиологических процессов, определяющих все проявления жизни, и раскрыть тот неоспоримый для Герцена факт, что в их основе лежат химические и физические превращения вещества, — факт, который дает в руки биологу власть над живым телом. Но в то же время с тонкостью диалектика Герцен подчеркнул, что органические процессы не могут быть полностью сведены к механике, физике и химии, что они сохраняют свои особенности, качественное отличие от процессов, протекающих в неорганической природе.

Мысли Рулье о психической деятельности животных, как продукте исторического развития организмов в определенных условиях жизни, Герцен обобщает до важнейших положений материализма о естественном возникновении сознания человека в процессе развития природы, о соответствии психической деятельности степени развития мозга, о качественном отличии психической деятельности животных от мышления человека. С полной определенностью Герцен формулирует здесь мысль о физиологической основе психики и, далеко опережая современное ему естествознание, ставит перед естествоиспытателями задачу — раскрыть конкретные физиологические процессы, лежащие в основе психической деятельности, показать постепенное историческое развитие, завершившееся возникновением сознания, мышления человека. Лаконичная по форме, исключительная по глубине и пониманию проблем науки о жизни статья «Публичные чтения г-на профессора Рулье» являлась крупным вкладом в дальнейшее развитие материализма, философии естествознания, указывала новые пути для научного познания природы. Она прозвучала призывом к единству материалистической философии и естествознания и сама была блестящим примером плодотворности этого единства.

Замечание Герцена о том, что его мысль о значении естествознания для воспитания «мощного умственного развития» не нова, не вполне точно. Действительно, и на Западе и у нас высказывалось нечто, на первый взгляд, подобное взгляду Герцена. Такого рода мысли можно встретить, например, в речи «О русском просвещении» (М., 1832) профессора М. А. Максимовича, под влиянием которого Герцен, еще будучи студентом, написал свои первые работы. Но обычно, говоря о значении естествознания для умственного развития людей, это умственное развитие понимали отвлеченно, только как совершенствование логического мышления, и лишь в редких случаях имели в виду использование достижений естествознания для обоснования материалистических представлений о мире. Герцен же понял глубокое, неразрывное единство передового естествознания и материалистиче-

ской философии и показал значение естествознания для выработки материалистического мировоззрения.

Комментируемая статья показывает, что между научными воззрениями Герцена и Рулье существовала значительная теоретическая близость.

Уже в 1841 г. в своей работе «Сомнения в зоологии как науке» Рулье отверг и плоский эмпиризм и идеалистический рационализм. Он резко критиковал идеалистическую натурфилософию Шеллинга и ее русских последователей. Он на протяжении всей своей научной деятельности боролся с метафизическими представлениями о природе и был, несомненно, одним из выдающихся биологов-эволюционистов первой половины XIX века.

Есть основания думать, что Герцен был хорошо знаком с трудами Рулье. Работа Рулье «Сомнения в зоологии как науке», в которой он поставил ряд основных вопросов философии естествознания и рассматривал их в том же духе, в котором впоследствии решал их Герцен, будучи опубликована в «Отечественных записках» (1841, т. XIX, отд. II, стр. 1—13), не могла остаться неизвестной Герцену. Как показывает комментируемая статья, Герцен знал также и другие работы Рулье.

С т р. 143. *...зоогностическая ошибка...*— Зоогнозия — по терминологии первой половины XIX века—отдел зоологии, в котором рассматривается анатомическое и морфологическое строение животных.

С т р. 146. *Неизвестный, молодой естествоиспытатель напал...*— Речь, повидимому, идет о выступлении Кювье от имени своего и Жоффруа Сент-Илера в мае 1795 г. (Флореаль III-го года Республики) в Национальном музее естественной истории с критикой линнеевской классификации и провозглашением необходимости перестройки систематики животных на широкой сравнительно-анатомической основе.

С т р. 148. *...голова ∽ особое развитие нескольких позвонков.*— Мнение о том, что череп произошел путем преобразования нескольких верхних шейных позвонков (позвоночная теория происхождения черепа) было чрезвычайно распространено в XIX веке. Герцен, как и Рулье, вслед за большинством ученых ошибочно принял это мнение за научно обоснованную теорию.

...опыт глубокой классификации другого...— Герцен, повидимому, имел в виду мысль Окена о расположении органических форм в системе в виде «древа», в которую, однако, Окен и другие натурфилософы не вкладывали еще отчетливого представления о действительном родстве форм.

С т р. 149. *...брань против Распайля.*— Имеются в виду нападки на Распайля за его демократические взгляды в статье Булгарина «Журнальная всякая всячина» («Северная пчела», № 243, 27 октября 1845 г.).

С т р. 150. *...известного своими важными заслугами по части московской палеонтологии...*— В первый период своей научной деятельности (с 1840 примерно по 1848) Рулье создал ряд классических исследований по геологии и палеонтологии Подмосковного бассейна, не утративших своего научного значения до сих пор.

В одной из следующих статей...— Намерение написать о взглядах Рулье Герцен высказал и в письме от 23 декабря 1845 г. А.А. Краевскому. Однако это намерение осталось неосуществленным.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЧЕСТИ

Впервые статья опубликована в *С*, 1848, № 3 (ценз. разр. 29 февраля 1848 г.), стр. 28—44, за подписью: *Искандер*. Печатается по тексту *БиД* III, стр. 247—285, со следующими исправлениями по *С:*

С т р. 155 строка 15. *Вместо:* все общее — всеобщее.

С т р. 160, строка 33. *Вместо:* патрона — патроната.

Рукопись неизвестна. Не пропущенная цензурой глава IV впервые была напечатана в *БиД* III. Текст последнего отличается от текста *С* несколькими мелкими разночтениями, преимущественно стилистического характера.

Статья была написана в конце 1843 г. Дневниковая запись от 22 сентября 1843 г. является как бы отражением первоначального замысла, получившего свое развитие в статье. В письме П. Х. Кетчеру от 18—19 ноября 1843 г. Герцен сообщает уже о том, что «статья о дуэли признана всеми за *непомести́тельную*, хотя всем нравится» и потому ее прислать для публикации в «Отечественных записках» нельзя.

11 декабря 1845 г. Герцен предлагает А. А. Краевскому для *ОЗ* «статью о дуэли (в историческом смысле)», которую, как он сообщает, «писал для одного сборника, но, он, вероятно, окончится сборами». О каком сборнике идет речь — не установлено. Однако и в 1845 г. статья не была напечатана, а авторская датировка (октябрь 1846 г.) указывает на доработку статьи в 1846 г.

По своей проблематике статья примыкает к циклу «Капризы и раздумье». Но здесь Герцен сосредоточивает свое внимание на исторических условиях, объясняющих развитие понятия чести и положение личности в феодальном и буржуазном обществе, в ряде случаев отправляясь при этом от наблюдений и мыслей Монтескье в его «Духе законов». Продолжение статьи, обещанное в самом конце ее, не было Герценом написано. Можно думать, что запрещение цензурой главы IV статьи «Новые вариации на старые темы» и главы IV комментируемой статьи показало Герцену полную невозможность развить свои мысли на материале современности. Впоследствии некоторые положения и формулировки статьи, как и вышеупомянутой дневниковой записи от 22 сентября 1843 г., отозвались в главе «1852» V части «Былого и дум», где Герцен касается вопроса о дуэли в связи со своим конфликтом с Гервегом.

В 1853 г. эта статья привлекла к себе внимание юного Добролюбова (Полн. собр. соч., т. VI, 1939, стр. 382).

С т р. 151. ... *1848* — В *БиД* III дата первоначальной публикации указана ошибочно — 1847.

Il me serait bien difficile...— Герцен цитирует письмо XC из «Lettres persanes» Шарля Монтескье, где представления о чести, характерные для феодальной Франции, противопоставляются воззрениям, господствовавшим в этом вопросе на Востоке. Здесь же Монтескье касается вопроса о дуэли.

С т р. 152. *...писано о поединках, начиная с Брантома...*— Имеются в виду мемуары П. Брантома: «Жизнь славных мужей и крупных полководцев французских», «Жизнь славных мужей и крупных полководцев иностранных», «Жизнь славных женщин» и «Жизнь галантных дам», рисующие картину придворной жизни конца XVI в.

С т р. 154. *«Основа чести может быть нравственна и необходима...»*— Герцен цитирует «Лекции по эстетике» Гегеля (третий отдел второй части, глава 2, раздел «Честь»).

С т р. 157. *...изгнанный Измаил...*— По библейскому преданию, у Авраама был сын Измаил от рабыни Агари. Когда жена Авраама Сарра родила ему сына Исаака, она выгнала Агарь и Измаила и они заблудились в пустыне.

С т р. 160. *...дуэль между Горациями и Куриациями.*—По преданию, три римских юноши-близнеца из патрицианского рода Горациев победили

в единоборстве трех альбанских близнецов Куриациев, что привело к подчинению города Альба-Лонга Риму. Предание отражает, повидимому, исторические события, относящиеся к VII веку до н. э., т. е. ко времени начинавшегося возвышения Рима.

Стр. 161. *...братственная община, о которой говорит евангелист Лука в «Деяниях»*.— Имеется в виду гл. 2 «Деяний святых апостолов» (библ.), написанных от лица Луки, где отразились социальные устремления раннего христианства, этой, по выражению Энгельса, «религии рабов и вольноотпущенных» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 2, 1936, стр. 409). У Герцена же представление о раннем христианстве носит идеалистический характер.

Стр. 164. *...события времен Жакри...*— Герцен говорит о крестьянских восстаниях во Франции в период Столетней войны (1337—1453), известных в истории под названием «Жакерии».

...смелости среднего состояния...—Речь идет о требованиях представителей так называемого «третьего сословия» на Генеральных штатах Франции 1614—1615 гг.

...в 1787 году Сиэс издал свою брошюру...—Изданный в начале 1789 года памфлет Сийэса «Qu'est ce que le tiers-état?» («Что такое третье сословие?») являлся манифестом политических требований французской буржуазии накануне революции.

Стр. 168. *Зачем Монтескье отделил честь от добродетели?*— Монтескье рассматривал добродетель как принцип демократического, а честь как принцип конституционно-монархического государства («Дух законов», гл. III—VIII).

Стр. 169. *...в зале Jeu de Paume.*— В этом зале депутаты Национального собрания Франции от третьего сословия дали 20 июня 1789 года клятву не расходиться до тех пор, пока не будет выработана конституция.

Стр. 172. *...северного путешественника...*—Имеется в виду Петр I.

СТАНЦИЯ ЕДРОВО

Впервые (без вступления, с незначительными вариантами) за подписью «Искандер» опубликовано в *МГЛ*, 1847, № 57 (11 марта), стр. 227—229, и № 58 (12 марта), стр. 231—233. Печатается по тексту *БиД* III, стр. 219—245, со следующими исправлениями по *МГЛ:*

Стр. 184, строка 14. *Вместо:* так бы несколько строгое — так бы, несколько строчек.

Стр. 189, строка 5. *Вместо:* не-петербургской — петербургской.

Стр. 191, строка 1. *Вместо:* материалах — материях.

Рукопись неизвестна.

В основу второй половины этого произведения положен в приспособленной для подцензурной печати форме фельетон 1842 года «Москва и Петербург». В фельетоне содержится ряд недвусмысленных сатирических замечаний по адресу славянофилов, в частности К. Аксакова, автора водевиля «Почтовая карета», представленного впервые в Москве 24 апреля 1846 г.

В. П. Боткин в письме П. В. Анненкову от 20 марта 1847 г. писал: «...когда увидите его ⟨Герцена⟩, скажите ему, что Аксаков вопиет богу и людям на статью его „Станция Едрово“» («П. В. Анненков и его друзья», СПб., 1892, стр. 534).

Следует отметить, что в этом фельетоне 1846 г., написанном после появления статьи Белинского «Петербург и Москва», почти отсутствуют мотивы фельетона 1842 г. «Москва и Петербург», вызвавшие полемические замечания великого критика.

Попрежнему критикуя бюрократический Петербург и барскую Москву, Герцен теперь, полемизируя со славянофильской концепцией, подчеркивает прогрессивные стороны Петербурга как «нового города», идущего «вперед до нынешнего дня», и высмеивает идеализацию Москвы славянофилами.

Стр. 177. *Nel mezzo del camin...*— Первая строка песни первой «Ада» из «Божественной комедии» Данте.

Стр. 178. *...между двух великих центров, из которых один в середине, а другой с краю...* — т. е. между Москвой и Петербургом.

...Шиллерову резигнацию...— Стихотворение Шиллера «Resignation».

«*Мартин Чазельвит*»— роман Ч. Диккенса (1844); перевод этого романа был в том же году напечатан в *ОЗ*.

Стр. 188. *И перед младшею столицей...*— Из «Медного всадника» А. С. Пушкина.

Стр. 189. *Так вихорь дел забыв...*— Из стихотворения А. С. Пушкина «К вельможе» (1830).

Стр. 190. *...явится грозным Маяком.*— Здесь название крайне реакционного славянофильского журнала служит для обозначения славянофильства как направления. Герцен иронизирует по поводу попыток славянофилов найти исторические корни славянофильства в патриотическом движении эпохи Отечественной войны 1812 г. На самом деле славянофильство было реакцией на рост русского освободительного движения, на проникновение революционных идей во все более широкие общественные слои и выкристаллизовалось лишь в самом начале 40-х годов.

НЕЗАКОНЧЕННОЕ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ «ЗА РУССКУЮ СТАРИНУ»

При жизни Герцена напечатано не было. Печатается по черновому автографу (*ПД*). Эта полемическая статья, относящаяся к 1845 г. и являющаяся откликом на статью М. П. Погодина «За русскую старину» («Москвитянин». 1845, № 3, отд. «Смесь», стр. 27—32), закончена не была. Впервые опубликована в *ЛХХII*, стр. 152—156.

«За русскую старину» Погодина — ответ на статью Е. Ф. Корша в «Московских ведомостях» (1845, №№ 25—27) — «Бретань и ее жители»; по позднейшему свидетельству Погодина, прочитанная еще до опубликования в кругу славянофилов статья «За русскую старину» была признана «торжественно настоящею profession de foi славянофилов» («Гражданин», 1873, № 13, стр. 415).

Именно так, в связи с обострением к этому времени борьбы со славянофилами, и воспринималась статья Погодина Герценом. Поэтому, оговаривая в самом начале, что «ни прямо, ни косвенно не участвовал(...) в статье о Бретани» и отнюдь не придавая ей сколько-нибудь большого значения, Герцен считает прежде всего необходимым разоблачить реакционную историческую концепцию Погодина, особенно попытку последнего представить допетровскую эпоху, как время «патриархальной свободы».

Полемика с утверждениями статьи «За русскую старину», как с «верхом мистической бессмыслицы», содержится также в напечатанной в № 8 *ОЗ* за 1845 г. статье Белинского о «Словенском сборнике Н. В. Савельева-Ростиславича» (см. В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IX, 1910, стр. 467).

Комментируемый черновой набросок ответа Погодину не подвергся окончательной обработке, вероятно, в связи с невозможностью провести

такого рода статью через цензуру. Едва ли было осуществлено и высказанное в статье намерение Герцена послать это возражение в редакцию «Москвитянина».

Стр. 195. *Любовь Элизы и Армана...*— Из «Графа Нулина» А. С. Пушкина.

...подстрочное замечание...— Имеется в виду начало статьи Е. Ф. Корша: «Благосклонный читатель, если вы заглядывали в простодушно-затейливые хроники среднего века (понятно, что мы разумеем здесь хроники только Западной Европы; Средний век не существовал для нашей Руси, потому что и Русь не существовала для него)...»

Стр. 196. *...сам автор признался, что до 31 страницы и 4 строки все это была шутка.*— Здесь имеются в виду следующие слова Погодина (после нескольких страниц, содержащих в себе «теоретические рассуждения» о своеобразии «среднего века» на Руси и преимуществах «русского духа»): «Оставя шутки, я должен заключить это объяснение о том, как понимаю я, и некоторые друзья мои, наше время касательно науки».

Стр. 197. *...мастерски представленные г. Майковым в лице графа...*— Имеются в виду «Две судьбы» А. Н. Майкова; ср. запись в дневнике Герцена от 17 марта 1845 г.

Стр. 198. *...Для чего же тонкий намек на кошихинский прогресс...*— Герцен разоблачает клеветническую попытку Погодина сопоставить взгляды передовых людей того времени, высоко ставивших значение деятельности Петра I, видевших отсталость допетровской эпохи, описанной в работе Котошихина «Россия в период царствования Алексея Михайловича», с фактами биографии самого Котошихина, изменившего родине.

ДНЕВНИК 1842—1845

Печатается (за исключением записи от 19 июня 1845 г.) по автографу (*ПД*). Этот автограф — тетрадь в зеленом кожаном переплете, на 133 листах,— поступил в 1913 г. в Библиотеку Академии наук от редактора женевского издания сочинений Герцена Г. Н. Вырубова (см. «Отчет о деятельности имп. Академии наук по физико-математическому и историко-филологическому отделениям за 1913 год». СПб., 1913, стр. 42), а в 1931 г. был передан в *ПД*.

На первом листе рукописи рукою А. И. Герцена запись: «Дневник с 25 марта 1842 Новгород». На обороте этого листа рукою Н. А. Герцен запись: «Да будут все страницы этой книги и всей твоей жизни светлы и радостны! Желание сердца простого, исполненного любви к тебе. Новгород 18 $\frac{25}{III}$ 42».

В конце дневника, под текстом, приписано: «О Павлове поляки <?> *<1 нрзб.>* крестьян»; ниже — карандашом: «Перечитал в Лондоне 24 июня 1858». На 3-й странице обложки сверху незаконченная запись:

«Стр. 100 о Белинском
103 о засеченном крестьянине
123».

Дневник 1842—1845 годов впервые был опубликован в томе I женевского издания сочинений Герцена (1875), где, как и в последующих изданиях, при воспроизведении автографа было допущено большое число грубых ошибок, искажающих смысл ряда записей.

Запись от 19 июня 1845 г. воспроизводится по автографу, хранящемуся в *ЛБ*. Впервые она опубликована в *ЛIV*, отдельно от всего остального текста дневника. Запись сделана на обороте листа из альбома, подаренного Н. А. Герцен А. И. Герцену. На лицевой стороне — следующая дарственная надпись:

«Марта 25

В 1842 году я желала, чтоб все страницы твоего дневника были светлы и безмятежны; прошло три года с тех пор, и, оглянувшись назад, я не жалею, что желание мое не исполнилось: и наслаждение и страдание необходимо для полной жизни, а успокоение ты найдешь в моей любви к тебе, в любви, которой исполнено все существо мое, вся жизнь моя.

Мир прошедшему и благословение грядущему!

Мне хочется еще поблагодарить тебя. Ты понимаешь это чувство, во всем широком, святом его значении... Прими его от меня за все то, что ты дал мне. Это может казаться лишним, но это не лишнее; отчего же...» Далее текст оторван.

Ход работы Герцена над дневником 1842—1845 годов рисуется следующим образом. Начиная с 25 марта 1842 г. и кончая 25 марта 1845 г., Герцен регулярно вносил свои записи в тетрадь. К этому моменту в ней осталась незаполненной лишь последняя страница. Характер записи от

25 марта 1845 г. говорит о том, что ею Герцен намеревался заключить тетрадь. В этот же день Н. А. Герцен подарила Герцену новую тетрадь с вышеприведенной надписью.

Дневник после 25 марта 1845 г. возобновлен не был,— запись от 19 июня 1845 г. оказалась единственной. Лишь в октябре 1845 г. Герцен в старой тетради сделал запись, как бы подводящую итог тому трехлетию, которое в этом дневнике получило свое отражение.

Дневник А. И. Герцена за 1842—1845 годы представляет собой материал, имеющий первостепенное значение для истории русской общественной мысли, культуры и литературы 40-х годов XIX века.

Прежде всего, дневник глубоко и всесторонне отражает идейное развитие самого Герцена в эти годы. По своему характеру это — беседа автора с самим собою по всем вопросам общественной жизни, которые его волновали в то время.

В центре дневника вопросы о судьбах родины, о самодержавно-крепостническом гнете и путях борьбы с ним, о взаимоотношении народа и передовых людей, об идейной жизни русского общества. Все эти вопросы рассматриваются под углом зрения исторического опыта России, Западной Европы и Америки, и особенно уроков политической современности.

По своему идейному содержанию дневник свидетельствует о росте и укреплении революционно-демократических и материалистических элементов в мировоззрении Герцена, об упорных поисках им революционной теории.

Сознавая свою принадлежность к поколению дворянских революционеров, которые, как указывал В. И. Ленин, были страшно далеки от народа, Герцен с величайшей горечью и болью ощущал оторванность от народных масс. Он доходил даже до утверждения, что передовые люди находятся «вне народных потребностей» (21 апреля 1843 г.), ибо народ политически пассивен. Однако чем дальше, тем все громче звучит в дневнике вера в будущую историческую активность народных масс, в грядущее их сближение с передовыми людьми. Герцен жадно ловит известия о взрывах народного гнева, о крестьянских волнениях. Он еще не мог видеть революционного народа, но уже приходит к выводу, что «вера в будущее своего народа есть одно из условий одействотворения будущего» (5 марта 1844 г.).

Под «одействотворением будущего» Герцен разумеет революционную борьбу с самодержавием, пути и средства к которой он ищет постоянно, обдумывая в этих целях уже и возможность «экспатриации» (3 октября 1845 г.), т. е. политической эмиграции.

Чрезвычайно знаменательно, что уже в 1845 г. Герцен ставит вопрос о политической ответственности передовых русских людей за судьбу угнетаемой царизмом Польши и указывает на «примирение», т. е. на тесную связь и дружбу свободной России и свободной Польши (см. запись от 29 октября) как на одну из важнейших задач, стоящих перед русскими революционерами.

Вместе с тем уже в дневнике 40-х годов ясно звучат критические ноты по отношению к реакционно-романтическим, обращенным к прошлому, мессианистским настроениям, проявившимся в парижских лекциях Мицкевича. Герцен глубоко верил в творческие силы родного народа, он видел в «славянизме» «истинную и прекрасную сторону» — «верование в будущее» (12 февраля 1844 г.). Но, мечтая о том, чтобы русские и другие славянские народы вступили на путь революционной борьбы, Герцен решительно возражал против попыток идеализации политической роли этих народов в те годы. Поэтому он тут же отмечал с горечью: «Славяне везде рабы...» В этих словах сказалась неудовлетворенность русского революционера положением славянских народов в то время.

Дневник освещает место и роль Герцена в тех процессах политической дифференциации, которые в это время происходили в русской действительности, в идейно-литературной борьбе эпохи. Крепнет единство взглядов Герцена и Белинского, чьи последовательные революционно-демократические воззрения оказали на автора дневника большое влияние; полемика и борьба Герцена со славянофилами приводят его в то время к разрыву всякого рода отношений с ними, как с пособниками самодержавной монархии и православной церкви; заостряется критика политических и философских взглядов либералов-«западников», этих «западно-либеральных голов» (27 апреля 1844 г.) с их антипатриотизмом, низкопоклонством перед буржуазной Европой и идеализмом.

Большой интерес представляет историческая концепция, развитая Герценом в «Дневнике» и получившая впоследствии более подробное обоснование в «Письмах об изучении природы» и «С того берега». Герцен считает, что буржуазное общество, в частности в том виде, как оно осуществилось в Соединенных Штатах, принципиально, качественно от феодального общества не отличается. «...царство среднего сословия было все же продолжение феодального социализма, которого высшее развитие в Америке...» (18 июня 1843 г.). Слово «социализм» здесь у Герцена, повидимому, означает социальный строй общества. Аналогичное словоупотребление см. в пятом из «Писем об изучении природы» (т. III наст. изд.).

Дневник позволяет уяснить, каким сложным было в мировоззрении Герцена сплетение революционно-просветительских и утопически-социалистических идей.

Герцену, борцу против самодержавия и крепостничества в России, были идейно близки традиции французского просветительства и якобинства, традиции критики феодализма, абсолютизма, религии и церкви; в революции 1789 г. он видел «действие со стороны масс» (10 июля 1843 г.). С другой стороны, Герцен разделял глубокое разочарование западноевропейских утопических социалистов, вызванное утверждением господства буржуазии в Западной Европе, и видел исторически обусловленную ограниченность просветительства; ряд записей в дневнике посвящен критике основ собственнического строя Западной Европы, буржуазной эксплуатации как «сифилитического шанкера, заражающего кровь и кость общества» (17 июня 1844 г.).

Вместе с тем Герцен уже отмечает отвлеченность и надуманность представлений Фурье и сен-симонистов о путях к социалистическому будущему (см. запись от 24 марта 1844 г.) и пытается в самой действительности, в историческом развитии общества найти элементы и тенденции, ведущие вперед, хотя и остается сам на почве исторического идеализма.

В дневнике отразилась постепенная выработка Герценом материалистических воззрений на природу. В 1842 г. еще сказывались преодолевавшиеся Герценом колебания в сторону идеалистических представлений об абсолютном «божественном» духе (записи от 22 октября и 18 ноября 1842 г.). Позднее же (29 июня 1844 г.) Герцен формулирует последовательно материалистический вывод: «дух, мысль — результаты материи и истории».

Философские записи Герцена в дневнике имеют большое значение для истории создания его классических работ «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» (см. т. III наст. изд.).

Дневник знакомит со всем обширным кругом интересов Герцена, носившим энциклопедический характер, о чем свидетельствуют, в частности, записи о прочитанных им книгах. Герцен был в курсе всех последних достижений как русской, так и западноевропейской науки (в области истории, философии, эстетики, естествознания), литературы и публицистики.

Получила отражение в дневнике и личная жизнь Герцена, то «частное», которое служило ему вместе с тем материалом для «общих» размыш-

лений о морали и этике современного ему общества, их прошлом и будущем.

Мучительная тяжесть существования под гнетом самодержавия, сознание невозможности открытой политической борьбы, к которой Герцен стремился всем своим существом, нередко вызывали у него приступы отчаяния, глубочайшего пессимизма, наложившие свой отпечаток на ряд страниц дневника. В одну из таких минут Герцен присоединился к полным горечи словам прорицательницы Кассандры из стихотворения Шиллера о том, что «заблуждение — это жизнь» (26 мая 1843 г.). Однако по существу Герцен выступает здесь как критик либеральных и идеалистических заблуждений, свойственных многим из близко стоявших к нему людей; они тешились иллюзиями и жили ими, сам же Герцен предпочитал прямо смотреть в лицо смертельной опасности, нести «крест трезвого знания», как сказано в «Дилетантизме в науке».

Дневник Герцена являлся также и творческой лабораторией писателя, где зрели идеи и образы, замыслы, получившие осуществление как в эти же годы, так и много позднее. Так, ряд изложенных здесь теоретических положений Герцена был развит в «Дилетантизме в науке» и «Письмах об изучении природы», некоторые наблюдения были использованы в повести «Кто виноват?», характеристики замечательных современников превратились в «Былом и думах» в художественные портреты. Ряд записей дневника уже представляет собой художественные заготовки для будущих герценовских творений.

Наконец, дневник является своеобразной панорамой общественной и идейной жизни тех лет. Дифференциация дворянской интеллигенции, различные течения в ее среде, подъем оппозиционных настроений, еще очень робкие признаки демократизации культурной жизни, такие общественные события, как публичные лекции Грановского, связи Герцена с различными общественными слоями, а также и многое другое получает здесь глубокое освещение.

1842

С т р. 201. *Вчера получил весть о кончине Михайла Федоровича Орлова.*— О М. Ф. Орлове см. также в главе VIII «Былого и дум».

С т р. 202. ...*«чело, как череп голый»*... — Из стихотворения Пушкина «Полководец».

С т р. 203. *В Вятке жил сосланный грузинский князь*... — Соломон Иванович *Додашвили* (Додаев-Магарский), грузинский просветитель-революционер, автор ряда исторических и философских сочинений. В декабре 1832 г., за участие в противоправительственном заговоре, он был арестован и в 1834 г. сослан в Вятку. Додашвили умер от чахотки в Вятке 20 августа 1836 г.

Временный налог Пиля делает эпоху.— В 1842 г. в Англии по инициативе премьер-министра Роберта Пиля был введен всеобщий подоходный налог (сроком на три года). Это нововведение оживленно обсуждалось всей европейской печатью.

Получил весть о кончине Карла Ивановича Кало...—О камердинере дяди Герцена, Карле Ивановиче Кало, которого Герцен называл «единственным приятелем своего детства», см. в главе I «Былого и дум».

С т р. 204. *Господи, какие невыносимо тяжелые часы грусти*...— Эту запись от 4 апреля 1842 г., так же как и другие записи из дневника, Герцен процитировал, с некоторыми изменениями, в главе XXVIII «Былого и дум» (см. комментарии к тому IX наст. изд.).

Gut verloren...— Герцен приводит стихотворение Гёте (без названия), опустив вторую и третью строки.

Стр. 205. *Одна мать, потерявшая всех детей своих...*— Герцен имеет в виду свою новгородскую знакомую — Л. Д. Филиппович, о которой см. в главе XXV «Былого и дум».

...монархия limitée par des chansons.— Несколько измененное выражение Э. Скриба, характеризовавшее монархию Бурбонов.

Писал к Дубельту, чтоб уведомить его об отставке.— Письмо к управляющему III отделением Л. В. Дубельту от 8 апреля 1842 г. В этом письме Герцен объяснял, что выходит в отставку вследствие болезни жены.

Стр. 206. *Nein, das sind keine leere Träume.*— Неточная цитата из стихотворения Гёте «Надежда». У Гёте: Nein, es sind nicht leere Träume.

Начав, что будет, не знаю.— Речь идет о цикле статей «Дилетантизм в науке» (см. т. III наст. изд.).

...лекции Вильмена.— «Курс французской литературы XVIII века», читанный в «Collège de France».

«*Le patriarche ne veut pas se départir...*»— Приводимые Герценом слова Гримма о Вольтере цитируются им по лекциям Вильмена. Под «вознаграждающим мстителем» Гримм разумел бога.

Стр. 207. *Et mes mains ourdiraient les entrailles du prêtre...*— Двустишие Дидро из «Элевтероманов, или Одержимых свободой» цитируется Герценом по лекциям Вильмена.

Стр. 209. *...вышел указ...*— Герцен комментирует здесь содержание указа от 2 апреля 1842 г., выработанного секретным комитетом по крестьянскому вопросу под председательством кн. И. В. Васильчикова.

... в среднем положении между крепостными и помещичьими.— Повидимому, Герцен подразумевает под «помещичьими» тех крестьян, которые на основании указа от 20 февраля 1803 г. перешли на положение «свободных хлебопашцев», выполняя вместе с тем определенные повинности в пользу помещиков.

Дней пять занимался статьей...— Первая статья из цикла «Дилетантизм в науке».

Рейхель — новгородский знакомый Герцена, чиновник Новгородской казенной палаты. Жена Герцена писала о нем Ю. Ф. Куруте: «...сосед наш Рейхель — неоцененный человек, художник, юноша в пятьдесят лет, неограниченной доброты, путешествовавший лет двадцать и неистощимый в рассказах, с большим образованием и познаниями; он посещает нас почти ежедневно, и для бедного Александра это истинный клад» («Русская мысль», 1889, № 6, стр. 16—17).

Урок от Германа.— Личность Германа установить не удалось. Упоминаемые письма Герцена к Герману и ответные письма последнего неизвестны. Недоразумение между ними остается необъясненным.

Стр. 210. *Святая Германдада* — союз городов и крестьянских общин в Испании, организованный в 1476 г. и ставивший своей целью борьбу с насилиями феодалов. Впоследствии «Святой Германдадой» назывались жандармские отряды по охране дорог. Герцен, как и многие его современники, ошибочно связывал «Святую Германдаду» с инквизицией.

...основал поэму...— Герцен имеет в виду трилогию Эдгара Кине «Прометей» (1838).

Стр. 211. *Гёте представил того Прометея, Эсхилова.*— Драматический отрывок Гёте «Прометей».

Бедный Астраков...— О Н. И. Астракове, оказавшем Герцену деятельную помощь при «похищении» им невесты в 1838 г., см. в главе XXIII «Былого и дум».

Стр. 212. *...светлые дни...*— 8 мая 1838 г. Герцен увез из Москвы к себе во Владимир свою невесту; 9 мая состоялась его свадьба.

...с богом, в дальнюю дорогу...— Строка из «Похоронной песни Иакинфа Маглановича» Пушкина («Песни западных славян»).

...вторую статью о дилетантизме.— «Дилетанты-романтики». Напечатана в мартовской книжке *ОЗ* за 1843 г.

Переписывался с Денном о здоровье жены.— Письма Герцена к доктору Денну, как и ответные письма последнего, неизвестны.

...двоих детей я уже лишился по милости гонений.— См. об этом в записи Герцена от 9 декабря 1842 г.

Стр. 213. *Он намерен разойтись с нею.*— Речь идет об Огареве и его жене Марии Львовне.

Писал к Дубельту...— В письме к Дубельту от 6 июня 1842 г. Герцен просил, в связи с предстоящим празднованием «серебряной свадьбы» царя, разрешить ему переезд в Москву. 14 июня Николай I на ходатайство о переводе Герцена наложил резолюцию: «Не заслуживает того» (*ЛIII*, стр. 67).

Стр. 214. *Он привез «Мертвые души» Гоголя...*— Имеется в виду Огарев. «Мертвые души» вышли в свет около 20 мая 1842 г. в Москве.

Стр. 216. *...гонец из Петербурга от Огарева.*— Письмо Огарева к Герцену, о котором идет речь в записи, неизвестно.

Прислали черновую.—В письме к императрице, подписанном Н. А. Герцен, заключалось ходатайство о разрешении Герценам переехать в Москву. Эта просьба возымела действие. 3 июля 1842 г. царь наложил резолюцию на письме Н. А. Герцен: «В Москве жить может, но сюда не приезжать и оставаться под надзором полиции» (*ЛIII*, 67—70).

...Соллогуб... — В своих позднейших воспоминаниях В. А. Соллогуб подробно рассказал о своем участии в хлопотах по облегчению судьбы Герцена (см. В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.— Л., 1931, стр. 300—301).

...письмо от Дубельта, и вновь отказ.— Ответ Дубельта, извещавшего Герцена о резолюции Николая I от 14 июня 1842 г. (см. выше примеч. к стр. 213).

Через четыре дня будет 8 лет.— 24 июня 1834 г. состоялась студенческая пирушка с пением антимонархических песен. В ней участвовало несколько знакомых Герцена и Огарева. Они были арестованы, а затем аресту подверглись Огарев и Герцен (см. об этом в главе XII «Былого и дум»).

Мне нужны были деньги...— В «Былом и думах» Герцен описал, по-видимому, этот эпизод с содержателем гостиницы купцом Гибиным, однако приурочил его к несколько более позднему времени — к моменту своего отъезда в Москву (глава XXVII).

Стр. 218. *Когда тонул дощаник на Волге...*— См. «Былое и думы», глава XIII, и автобиографический отрывок конца 30-х годов, т. I наст. изд., стр. 255.

Таков ли был я, расцветая?..— Герцен цитирует «Отрывки из Путешествия Онегина» Пушкина.

Письмо от графа Бенкендорфа к моей жене...— Это письмо неизвестно.

Стр. 219. *Я увлекался...*— Об увлечении Герцена служившей в его доме горничной и вызванных этим осложнениях в его отношениях с женой см. в IV части «Былого и дум».

Стр. 221. *В Германии молодые гегелисты...*— Герцен, вероятно, имеет в виду выступления так называемых «левых гегельянцев» в их органе «Deutsche Jahrbücher».

Стр. 222. *Повесть — нет.*— Речь идет о первой части романа «Кто виноват?», начатого Герценом во время новгородской ссылки, в 1841 г.

...Трензинской в «Отечественных записках»...— Герцен говорит здесь о своем автобиографическом произведении «Еще из записок одного молодого человека», напечатанном в августовской книжке *ОЗ* за 1841 г. (см. т. I наст. изд. — «Записки одного молодого человека»). *Трензинский* — один из центральных персонажей этого произведения.

М.— П. П. Медведева, о которой см. в главе XXI «Былого и дум».

Стр. 224. «*А что ∞ сделает государство?..*» — Герцен цитирует в неточном переводе статью «Два мнения о разладе между церковью и наукой (Христианство и антихристианство)», напечатанную в №№ 8—9 «Deutsche Jahrbücher» от 11—12 января 1842 г. за подписью «Философ».

«*Se muove!*» — Изречение, приписываемое Галилею.

Стр. 225. ...*à la Selin*...— А. И. Селин, вскоре сделавшийся мужем сестры Н. А. Герцен — Екатерины Александровны (см. примеч. к стр. 305). Ф. И. Буслаев в книге «Мои воспоминания» (М., 1897, стр. 40) характеризовал Селина как человека, склонного к оригинальничанью и позерству.

Стр. 227. *Небольшая драма*...— Пьеса О. Арну и Н. Фурнье «Преступление, или Восемь лет старше», переведенная С. П. Соловьевым и поставленная в бенефис И. В. Самарина 11 сентября 1842 г. в московском Большом театре. В спектакле принимал участие М. С. Щепкин. Впечатления от этой пьесы легли в основу статьи Герцена «По поводу одной драмы» (включена впоследствии в цикл «Капризы и раздумье»; см. наст. том, стр. 49). Переводчик пьесы, С. П. Соловьев, по просьбе Герцена, прочел ему весь свой перевод — см. об этом в его воспоминаниях («Русский архив», 1873, № 2, стр. 153—154).

Стр. 229. «*Последний день Помпеи*»— знаменитая картина К. П. Брюллова (1833). В своей позднейшей характеристике «Последнего дня Помпеи» Герцен отмечал, что это произведение, изображающее людей, которых уничтожает «дикая, бессмысленная, беспощадная сила, против которой всякое сопротивление невозможно»,— навеяно петербургской атмосферой николаевского царствования («Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле», 1851, т. VII наст. изд. — Ср. также в статье «Новая фаза русской литературы», т. XVII наст. изд.).

На фронтоне Исаакиевской церкви будет барельеф... — Упоминаемый Герценом горельеф «Встреча Исаакия Далматского с императором Феодосием» (бронза) известного скульптора И. П. Витали был помещен на западном фронтоне Исаакиевского собора в Петербурге.

Положение Шеллинга истинно трагическое, как выразился Руге.— Герцен имеет в виду следующие слова о Шеллинге, заключающие рецензию Арнольда Руге на брошюру Ф. Энгельса «Шеллинг и откровение»: «Судьба его, хотя она и заслужена, все же является для него великим несчастием. Более того. Если она целиком исполнится, она так своеобразна, что мы во всей истории не найдем ничего ей подобного» («Deutsche Jahrbücher», № 128 от 31 мая 1842 г.).

Стр. 230. *Маргейнеке поступил с доброй целью для Бруно Бауэра*...— Имеется в виду брошюра немецкого богослова, правого гегельянца Ф. Маргайнеке: «Введение к публичным лекциям о значении гегелевской философии в христианской теологии. С приложением особого мнения о критике Б. Бауэром евангельской истории», Берлин, 1842 («Einleitung in die öffentlichen Vorlesungen über die Bedeutung der Hegelschen Philosophie in der christlichen Theologie. Nebst einem Separatvotum über B. Bauers Kritik der evangelischen Geschichte. Von Dr. Philipp Marheineke»). Вызвано было это «особое мнение» запросом прусского министра исповеданий, просвещения и врачебных дел ко всем богословским факультетам — по поводу книги Бруно Бауэра «Критика евангельской истории у синоптиков». Маркс писал по этому поводу А. Руге 9 июля 1842 г.: «Старый Маргайнеке счел, невидимому, необходимым раскрыть документально перед всем светом всю импотенцию старогегельянства. Его votum — позорный votum» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. I, 1938, стр. 504).

Стр. 233. «*Grübeln по поводу одной драмы*...»— Окончательное название этой статьи — «По поводу одной драмы». См. примеч. к стр. 227.

...бенефиса Самойлова... — Описка: пьеса «Преступление, или Восемь лет старше» шла в бенефис И. В. Самарина (см. примеч. к стр. 227).

...альманах Грановского.— Предполагавшийся альманах Грановским выпущен в свет не был, и статья «По поводу одной драмы» была напечатана в августовской книжке *ОЗ* за 1843 г.

...повесть известного графа Ф. В. Ростопчина.— «Ох, французы!— наборная повесть из былей, по-русски писанная» гр. Ф. В. Ростопчина помещена в октябрьской книжке *ОЗ* за 1842 г.

...два портрета мои Витберговой работы.— Оба портрета Герцена работы А. Л. Витберга воспроизводятся в наст. изд.

С т р. 234. *...M. Gros, philosophe franco-germanique...*— Повидимому, речь идет о знакомом Герцена и Грановского, враче Ново-Екатерининской больницы в Москве — *В. Гро* (см. упоминание о нем в сб. «А. И. Герцен. Новые материалы», М., 1927, стр. 19).

С т р. 235. *...ist Lohn, der reichlich lohnet...* — Из баллады Гёте «Певец».

Вчера в восьмом часу утра умер Вадим.— В. П. Пассек; см. о нем в главе VI «Былого и дум».

С т р. 237. *...Чернышевых в самом деле, а не военного министра...*— Е. Г. Черткова была родной сестрой декабриста гр. З. Г. Чернышева. На это Герцен и намекает здесь, противопоставляя ей однофамильца, военного министра А. И. Чернышева, верного слугу Николая I.

С т р. 238. *Симоново* — Симонов монастырь в Москве.

С т р. 239. *Письмо от Сатина из Ганау.*— Изложение содержания и отдельные цитаты из этого письма Н. М. Сатина к Герцену см. в статье П. В. Анненкова «Идеалисты тридцатых годов» («Вестник Европы», 1883, № 4, стр. 531—532).

...я писал к Огареву...— Цитируемое Герценом письмо его к Огареву остается неизвестным.

К.— Н. Х. Кетчер.

С т р. 240. *...доносы «Москвитянина» повергают в тоску.* — В своей ожесточенной борьбе с «Отеч. записками» редакция реакционного «Москвитянина» неоднократно прибегала к открытым доносам в печати, сигнализируя правительству об опасности, которую представляла для существующего строя деятельность Белинского и его единомышленников. Герцен пишет здесь под впечатлением одного из самых грубых выступлений «Москвитянина» в этом духе: октябрьская книжка этого журнала открывалась большим стихотворным обращением М. А. Дмитриева «К безыменному критику», т. е. Белинскому. Этот бездарный пасквиль являлся прямым политическим доносом на великого революционного демократа.

С т р. 241. *Пассеков альманах.*— После смерти Вадима Пассека его приятелями (главным образом из реакционного лагеря) был издан в пользу семьи покойного альманах «Литературный вечер» (1843).

...статью «К характеристике неоромантизма».— Имеется в виду, вероятно, статья «Дилетанты-романтики».

Анекдот с графом Про...— Об обстоятельствах высылки из России путешественника шевалье Про, к которому в качестве попутчика был навязан полицейский чиновник, Герцен подробно рассказывает в главе XXXIII «Былого и дум».

...разговор Конарского с кн. Долгоруким за час до смертной казни.— Известный польский революционер Ш. Конарский был казнен в Вильне 27 февраля 1839 г. О его разговоре перед казнью с виленским генерал губернатором кн. Н. А. Долгоруким сведений найти не удалось.

Вчера сосед мой в театре...— 9 ноября 1842 г. в московском Большом театре шел балет «Киа-Кинг» и водевиль «мельничиха в Марли, или Племянник и тетушка».

«*Вильгельм Телль*».— Опера, проникнутая освободительными настроениями, на сцену императорских театров допущена быть не могла. Поэтому

«Вильгельм Телль» Россини был поставлен по новому, измененному либретто Р. М. Зотова, под названием «Карл Смелый».

Scène de la vie privée... — Название одного из циклов «Человеческой комедии» Бальзака — «Scènes de la vie privée» («Сцены из частной жизни»).

С т р. 242. *Письмо от Белинского.*— Это письмо Белинского к Герцену, как и ряд других его писем к Герцену за 1842—1845 гг., неизвестно.

С т р. 243. *Розенкранца статья...*— Герцен цитирует здесь и ниже статью Карла Розенкранца «Из жизни Гегеля (Гегель и Гёльдерлин. Теологические и исторические занятия Гегеля)» из альманаха Роберта Прутца «Литературно-историческая карманная книжка» («Literarhistorisches Taschenbuch») на 1843 г.— у Герцена ошибочно: на 1842.

С т р. 246. *Писал статью о специализме в науке.*— Речь идет о статье «Дилетанты и цех ученых», помещенной в майской книжке *ОЗ* за 1843 г.

С т р. 248. *В Барселоне провозгласили республику.*— 13 ноября 1842 г. в Барселоне вспыхнуло революционное восстание. 3—4 декабря 1842 г. оно было жестоко подавлено артиллерийским огнем правительственных войск, уничтожившим значительную часть города.

...родился малютка, вечером 5 умер.— Сын Герцена — Иван.

...übergreifende Subjectivität... — Этот немецкий философский термин Герцен в последней статье из цикла «Дилетантизм в науке» переводит: «перехватывающая личность» (см. т. III наст. изд.).

С т р. 250. *... старый дом...*—Дом в Москве, в Б. Власьевском переулке (ныне уже не существующий), принадлежавший отцу Герцена и описанный в «Былом и думах», а также в известном стихотворении Н. П. Огарева.

С т р. 253. *Вчера Гр. говорил о своих семейных отношениях — тоже недурны.*— О ком здесь идет речь — неясно. Буквами Гр. Герцен обычно обозначал Т. Н. Грановского.

С т р. 254. «*Diplomatische Geschichte der Polnischen Emigration*» von ***r. Stuttgart, 1842 — сборник документов различных группировок польской эмиграции за 1831—1842 гг. на немецком и французском языках.

Язык их манифеста 1840 тверд.— Герцен имеет в виду подписанный 1135 членами польского демократического общества манифест, провозглашавший необходимость борьбы с поработителями Польши.

1843

С т р. 256. *Огарева недоставало...*— Огарев в это время находился за границей.

«*Deutsche Jahrbücher*» *запрещены в Саксонии.*— Поводом для запрещения газеты явилась помещенная в ее первом номере за 1843 г. статья А. Руге «Самокритика либерализма».

...крупные слова между королем прусским и Гервегом.— Репрессии, обрушившиеся на печать в Пруссии, были вызваны открытым письмом поэта Г. Гервега к прусскому королю. Гервег резко протестовал в этом письме против запрещения ввозить в Пруссию журнал, который он предполагал еще только издавать. Письмо это было напечатано в «Лейпцигской газете», и в результате ввоз ее в Пруссию был полностью запрещен.

...Клейнмихель, министр инженерный, велел посадить двух цензоров на гауптвахту...— В восьмой книжке журнала «Сын отечества» за 1842 г. была напечатана повесть П. Ефибовского «Гувернантка», где встречалось упоминание о фельдъегере, который «побрякивает шнурами и крутит усы, намазанные фиксатуаром», и «прапорщике строительного отряда путей сообщения с огромными эполетами, высоким воротником и еще высшим галстуком». Граф Клейнмихель, главноуправляющий путей сообщения и публичных зданий, заявил царю, что офицеры чувствуют себя оскорблен-

ными этими выражениями. Вследствие этого цензоры А. В. Никитенко и М. С. Куторга по приказу царя были посажены на гауптвахту.

...издатели ∞ переедут в Цюрих, Женеву... — После запрещения «Deutsche Jahrbücher» А. Руге переехал в Париж, где вместе с К. Марксом начал выпускать (в 1844 г.) журнал «Deutsch-französische Jahrbücher».

...статья француза Jules Elysard... — Под псевдонимом Жюль Элизар скрывался М. А. Бакунин, о чем Герцен вскоре узнал. См. примеч. к стр. 265. Статья Бакунина «Реакция в Германии» была помещена в №№ 247—251 «Deutsche Jahrbücher» от 17—21 октября 1842 г.

Стр. 258 *...удивленный человек предается вымершему принципу.*— Этим мыслям Герцен дал впоследствии художественное воплощение в повести «Долг прежде всего» (см. т. VI наст. изд.).

Стр. 260. *...Клейнмихель велел посадить на гауптвахту двух цензоров...*— См. примеч. к стр. 256.

Стр. 262. *Grâce, grâce — grâce pour toi-même.*— Из оперы Д. Мейербера «Роберт-дьявол» (текст Э. Скриба и Ж. Делавиня, 1831).

Стр. 264. *...растает каскада.*— Речь идет о поэме Мицкевича «Дзяды», в частности об «Отрывке», входящем в третью часть поэмы и состоящем из стихотворений: «Дорога в Россию», «Пригороды столицы», «Петербург», «Памятник Петру Великому», «Смотр войска» и «Олешкевич». Все эти стихотворения дышат непримиримой ненавистью к самодержавию.

A une mère polonaise.— Герцен приводит здесь во французском, очень неточном переводе известное стихотворение Мицкевича «Матери-польке» («Do matki Polki»). Перевод этого стихотворения с польского оригинала см. в первом томе собр. сочинений Мицкевича (М., 1948, стр. 185—186).

Стр. 265. *Весть об Jules Elysard.*— Из этой записи явствует, что Герцен к этому времени успел узнать, что Жюль Элизар — псевдоним М. А. Бакунина.

Начал статью о формализме...— Статья «Буддизм в науке», напечатанная в декабрьской книжке *ОЗ* за 1843 г.

«Die Jüdin»— «Жидовка», опера Ф. Галеви, либретто Э. Скриба (1835). В письме к К. С. Аксакову от 11 февраля 1843 г. Герцен отмечал, что в этой опере он любит либретто больше музыки.

Граф Строганов обещал написать к Б⟨енкендорфу⟩...—На ходатайство графа С. Г. Строганова — о разрешении Герцену отправиться с больной женой на несколько месяцев в Италию Николай I ответил отказом (*ЛН*, стр. 154—155).

Письмо от Огарева.— Письмо Огарева к Герцену от 21 января (2 февраля) 1843 г. из Рима («Русская мысль», 1889, № 12, стр. 1—6).

Стр. 266. *Письмы от J. Elysard'a и от Белинского.*— Эти письма Жюля Элизара, т. е. М. А. Бакунина, и Белинского неизвестны.

...другой...— В. Г. Белинский.

«Siècle» — ежедневная французская буржуазная газета.

Стр. 267. *...Прудоновых брошюр.*— К этому времени вышли следующие брошюры Прудона: «Что такое собственность. Изыскания о принципе права и государства» («Qu'est-ce que la propriété. Recherches sur le principe du droit et du gouvernement», 1840); «Письмо к г. Бланки о собственности» («Lettre à M. Blanqui sur la propriété», 1841); «Предупреждение собственникам, или Письмо к г. Консидерану о защите собственности» («Avertissement aux propriétaires, ou Lettre à M. Considérant sur une défense de la propriété», 1842).

...расширить свободу книгопечатания...— Слух о предложении министра народного просвещения С. С. Уварова расширить в России свободу книгопечатания оказался совершенно ложным.

Стр. 268. *«Ein gutes Herz...»*— Двустишие-эпиграмма А.-Г. Кестнера, примененная здесь Герценом для иронической характеристики кн. Д. В. Голицына.

...моя статья о романтизме.— «Дилетанты-романтики».

Стр. 270. *Вторая статья...*— См. предыдущее примечание.

Стр. 273. *Taceamus... humus!*..— Иронически-пародийное использование известной студенческой песни «Gaudeamus igitur juvenes dum sumus» («Итак, возрадуемся, пока мы юны» — лат.).

Прусский король является без маски...— Прусский король Фридрих-Вильгельм IV, вступивший на престол в 1840 г., начал свое царствование обещанием всякого рода реформ, в том числе и свободы печати. Однако репрессии, обрушенные им вскоре на радикальную прессу (см. примеч. к стр. 256), явились первыми признаками его реакционной политики.

...баварский выдерживает роль, которую играл всю жизнь...— Людвиг I Баварский, царствовавший с 1825 по 1848 г., установил в Баварии реакционный режим. Его претензии на литературство и увлечения искусством были едко высмеяны Г. Гейне в стихотворении «Lobgesänge auf König Ludwig» («Похвальная песня королю Людвигу»), напечатанном в журнале К. Маркса и А. Руге «Deutsch-französische Jahrbücher», 1844.

«Walhalla's Genossen» («Товарищи по Валгалле») — название книги Людвига I Баварского — сборник биографий различных деятелей, бюсты которых были установлены в сооруженной им «Валгалле». Эта книга вышла в 1842 г. в Мюнхене. В №№ 257—259 «Deutsche Jahrbücher» от 28—31 октября 1842 г. была помещена на нее большая рецензия.

...Walfischhalle's Gunsten...— Герцен приводит здесь каламбур, основанный на сходстве слов Walhalla (см. предыдущее примечание) и Walfischhalle (т. е. галерея китов).

Стр. 274. *...статья какого-то Lèbre...*— Статья А. Лебра «Современный кризис немецкой философии».

Стр. 276. *Сегодня я читал какую-то статью о «Мертвых душах»...*— Статья екатеринославца Н. Д. Мизко, помещенная в апрельской книжке *ОЗ* за 1843 г.: «Голос из провинции о поэме Гоголя „Похождения Чичикова, или Мертвые души“».

Письмо от Огарева...— Письмо Огарева из Рима от 16/28 марта 1843 г. («Русская мысль», 1889, № 12, стр. 7—12).

Стр. 277. *Граф Строганов писал еще к гр. Бенкендорфу...*— В своем письме к А. Х. Бенкендорфу от 16 марта 1843 г. С. Г. Строганов осведомлялся, может ли Герцен получить разрешение на заграничную поездку (*ЛН*, стр. 154—155).

Lago Maggiore — озеро в Северной Италии.

Письмо от Строганова...— Письмо Строганова к Герцену от 16 апреля 1843 г. («Звенья», VIII, 1950, стр. 89).

Стр. 279. *Она сказала на концерте Листа новость.*— 27 апреля 1843 г. в московском Большом театре состоялось выступление Ф. Листа. На этом концерте Н. А. Герцен сообщила мужу о своей беременности.

Стр. 280. *Прием Листа у Павлова...*— Торжественный обед в честь Ф. Листа был дан в доме писателя Н. Ф. Павлова. С тостами выступили хозяин дома, С. П. Шевырев и сам Лист. Подробное описание этого обеда напечатано в «Москвитянине», 1843, № 5, стр. 322—326.

Стр. 281. *...четвертую статью...*— «Буддизм в науке».

Третья статья... — «Дилетанты и цех ученых».

Стр. 282. *Скоро будет Белинский...*— Белинский приехал в Москву в середине июня 1843 г.

Шиллер бесконечно прав...— Герцен приводит слова Кассандры из одноименного стихотворения Ф. Шиллера:

Nur der Irrtum ist das Leben,
Und das Wissen ist der Tod,—

т. е. «только заблуждение — жизнь, знание же — смерть». См. вступительную заметку к дневнику.

С т р. 283. *«Записка об Останкине».*—О какой «Записке об Останкине» говорит здесь Герцен, не установлено. *Останкино* — подмосковное имение гр. Шереметевых.

С т р. 285. *...утонул Матвей.*—О смерти слуги Герцена Матвея см. в главе XXVIII «Былого и дум».

Писал к его матери.— Письмо Герцена к матери Матвея неизвестно.

С т р. 289. *История Боткина...*— Об отношениях В. П. Боткина с француженкой Арманс Рульяр, ставшей его женой, см. в «Былом и думах»: «Эпизод из 1843 года».

С т р. 295. *«И океан не смоет елея с чела моего».*— Вольная передача слов Ричарда II из одноименной трагедии Шекспира: «Not all the water in the rough rude sea can wash the balm from an anointed king» («И все воды сурового, бурного океана не могут смыть елея с короля-помазанника»—акт III, сцена 2).

С т р. 296. ... *перехватывающей личности.*— См. примеч. к стр. 248.

С т р. 298. *...Лессингово воспитание человечества...*— Герцен имеет в виду книгу Г.-Э. Лессинга «Воспитание рода человеческого» («Die Erziehung des Menschengeschlechts», 1780).

С т р. 299. *...Августов...*— Август (Фридрих) — курфюрст саксонский и король польский, отличавшийся изнеженностью, ленью и страстью к роскоши.

С т р. 300. *Фил.*— новгородский знакомый Герцена, генерал В. И. Филиппович. Вероятно, он приехал к Герцену со своей женой, о которой см. выше, в примеч. к стр. 205.

С т р. 301. *Письмо от Огарева...*— Письмо от 16—17 июня (н. ст.) 1843 г., адресованное Герцену, Н. Х. Кетчеру, В. П. Боткину и Т. Н. Грановскому («Русская мысль», 1890, № 3, стр. 4—10).

Bagni di Lucca — курорт в Италии.

С т р. 303. *Жаль, что оно продано.*— Имение Васильевское, принадлежавшее отцу Герцена, в 1835 г. было продано Н. П. Голохвастову.

С т р. 304. *Baco, ab Ver‹ulamo›.* — Неточная цитата из «Нового органона» Ф. Бэкона (LXVIII афоризм из «Афоризмов об истолковании природы и царстве человека»).

С т р. 305. *Эпизод свадьбы страшен.*— Е. А. Захарьина (сестра Н. А. Герцен), нарушив обещание, данное ею влюбленному в нее брату Герцена — Егору Ивановичу, вышла замуж за А. И. Селина.

«Ego,—говорит он,—non praesumo...»—Цитируются слова Спинозы из послания его к Альберту Бургу.

С т р. 307. *«Homo liber...»* — Б. С п и н о з а. «Этика, доказанная в геометрическом порядке», ч. IV, теорема 67-я.

«Beatitudo... ipsa virtus...» — Начало 42-й теоремы из части пятой той же книги.

Спор о дуэли.— Эти размышления о дуэли явились отправной точкой при создании Герценом статьи «Несколько замечаний об историческом развитии чести», написанной в 1843 г. и впоследствии подвергшейся переделке (см. комментарий к этой статье в наст. томе).

Новость об покушении в Польше...— 7 сентября 1843 г., при въезде Николая I в Познань, в коляску военно-походной канцелярии было произведено несколько выстрелов. Это вызвало ряд репрессий по отношению к прогрессивным польским деятелям.

...другая в «Journal des Débats...»— В парижской газете «Journal des Débats» от 8 октября 1843 г. (н. ст.) была перепечатана корреспонденция «Аугсбургской газеты» из Варшавы — о многочисленных арестах в Польше в связи с обвинением в заговоре против императора. Сообщения об арестах в Польше были помещены и в следующих номерах газеты.

С т р. 308. *Schlosser приводит место...*— Цитируемое здесь (неточно)

письмо Рейнгольда к отцу приведено в примечаниях к четвертой главе третьего тома «Истории XVIII века» Шлоссера.

С т р. 309. *3 сентября в Афинах...*—Вооруженное восстание в Афинах, в результате которого король Оттон I был вынужден дать конституцию.

...движение в Италии.— Движение так называемой «Молодой Италии», возглавлявшееся Д. Мадзини, в частности восстание «итальянского легиона» в Болонье.

А нам, славянам, предстоит молчание...—Герцен ссылается на слова Мицкевича, произнесенные им 6 декабря 1842 г. во вступительной лекции к «Курсу славянской литературы», читанному им в «Collège de France».

Вчера проводили Кетчера в Петербург...— Н. Х. Кетчер переехал в Петербург для службы в медицинском департаменте; в 1845 г. он окончательно возвратился в Москву.

С т р. 311. *...очень консеквентны.*—В автографе — «очень консеквенты».

...IV том Кюстина.— Выпедшая в 1843 г. в Париже книга маркиза де-Кюстина «Россия в 1839 году» («La Russie en 1839»), в которой излагались его впечатления от путешествия по России и резко осуждалось самодержавие.

С т р. 312. *...Александра* — Александра I.

...взятие француза Pernet...— В заключительной части своей книги Кюстин подробно описывал историю молодого французского адвоката Луи Перне, арестованного в Москве в 1839 г. и после вмешательства самого Кюстина высланного из России.

С т р. 313. *Вчера «Fenella»—∽ увлекла меня сильнее обыкновенного.*— «Фенелла, или Немая из Портичи» — опера Даниэля-Франсуа Обера, либретто Эжена Скриба и Жермена Делавиня, в которой изображено восстание неаполитанцев против испанских поработителей в 1647 г. Эта опера, поставленная в Брюсселе 25 августа 1830 г., явилась сигналом к революции, начавшейся сразу же после ее представления.

«*Вильгельм Телль*»— опера Джакомо Россини, либретто Ипполита Би и Виктора Жуи (1829). См. выше примеч. к стр. 241.

Письмо из Ганау...— Повидимому, письмо Огарева, начатое им 29 сентября 1843 г. Адресовано Герцену, Т. Н. Грановскому, Н. Х. Кетчеру и Н. А. Герцен («Русская мысль», 1890, № 8, стр. 1—18).

«*Die Kommunisten in der Schweiz...*» — В июне 1843 г. в Цюрихе был арестован известный социалист-утопист Вейтлинг. При обыске был конфискован его труд «Евангелие бедного грешника» и ряд других рукописей и документов. Правительством в связи с этим была назначена специальная комиссия для расследования деятельности коммунистов в Швейцарии. Доклад этой комиссии, составленный профессором И.-К. Блюнчли, и имеет в виду Герцен. Ф. Энгельс писал по поводу этого доклада в газете «New moral world»: «Доклад был составлен доктором Блюнчли, фанатическим сторонником аристократии и христианства, и напоминает поэтому больше партийный донос, нежели хладнокровный официальный доклад. Коммунизм выставляется в нем крайне опасным, подтачивающим существующий порядок и разрушающим священные узы общества» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. II, 1931, стр. 404—405).— См. об этом также в статье Герцена «Michel Bakounine», т. VII наст. изд. В результате Вейтлинг был подвергнут тюремному заключению и выдан затем баденским властям. Предположение Герцена, что подобной же участи подвергнется и Бакунин, упоминания о котором сохранились в письмах, захваченных у Вейтлинга, не оправдалось: Бакунин арестован не был и продолжал оставаться в Швейцарии до начала 1844 г.

С т р. 314. *Недавно секли инженерных юнкеров...*— Шесть учащихся Корпуса путей сообщения, осмеливавших и грозивших выгнать из класса грубо обращавшегося с ними учителя-офицера, подверглись жестокой экзе-

куции и были по этапу отправлены на Кавказ, для несения солдатской службы.

Кетчерово письмо...— Упоминаемое письмо Кетчера к Герцену неизвестно.

С т р. 316. *Писал сегодня статейку...*— Статья Герцена о первой лекции Грановского: «Публичные чтения г. Грановского (письмо в Петербург)» была напечатана в «Московских ведомостях», № 142 от 27 ноября 1843 г. См. ее в наст. томе, стр. 111.

С т р. 318. *Пора приниматься за вторую статью.*— Вторая статья— «О публичных чтениях г-на Грановского (письмо второе)» напечатана была значительно позднее. См. ее в наст. томе, стр. 121, и комментарий к ней.

...письмо из Петербурга.— Письма к Герцену за декабрь 1843 г. неизвестны. Вероятно, речь идет о письме Н. Х. Кетчера.

Белинский женился...— На Марье Васильевне Орловой 12 ноября 1843 г.

С т р. 319. *...моя четвертая статья...*— Статья «Буддизм в науке», напечатанная в декабрьской книжке *ОЗ* за 1843 г.

С т р. 320. *...гнусных обвинениях ∽ напечатанных в «Москвитянине».*— В 12-й книжке «Москвитянина» за 1843 г. была помещена статья С. П. Шевырева «Публичные лекции об истории средних веков г. Грановского (письмо в губернию)». В этой статье, являвшейся прямым политическим доносом, он утверждал, что Грановским «почти все школы, все воззрения, все великие труды, все славные имена науки были принесены в жертву одному имени, одной системе, односторонней, скажем даже одной книге, от которой отреклись многие соученики творца этого философского учения», т. е. Гегеля.

С т р. 321. *...Proudhon говорит...*— Эту мысль Прудон развивает в главе III своей книги «Что такое собственность» (см. примеч. к стр. 267).

...IV том L. Blanc.— Книга Луи Блана «История десяти лет» («Histoir de dix ans»).

...в истории с герцогиней Беррийской!— Вдова герцога Беррийского Мария-Каролина в 1832 г. пыталась поднять восстание в Вандее в пользу своего сына. Была арестована и политически скомпрометирована правительством Луи-Филиппа. В книге Луи Блана подробно описывается этот эпизод.

Cloître de St.-Méry — старинный монастырь в Париже, вблизи которого во время народного восстания 6 июня 1832 г. происходили ожесточенные бои правительственных войск с последними группами восставших; после поражения повстанцев там же состоялся их массовый расстрел.

«*Европеец*»— журнал, издававшийся И. В. Киреевским и начавший выходить в Москве в 1832 г. Программная статья И. В. Киреевского «Девятнадцатый век» послужила поводом для запрещения журнала после выхода в свет второго номера, так как правительство усмотрело в ней «неблагонамеренность» и проповедывание «конституционного образа правления».

С т р. 322. *На генерала Киселева...*— Неточная цитата из послания Пушкина «Орлову» (1819). У Пушкина:

На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова...

...родился мальчик...— Сын Герцена — Николай.

С т р. 326. *...об определении бывшего дерптского профессора Мадай к Нассаускому герцогу...*— Речь идет об инциденте, происшедшем в Дерптском (ныне Тартуском) университете в конце 1842 г., когда К.-Х. Ульман, защищая права самоуправления университета, демонстративно отказался от должности ректора, после чего студенты преподнесли ему серебряный кубок и исполнили, по принятому обычаю, под его окнами серенаду. Это вызвало, по приказанию министра народного просвещения С. С. Уварова, специальное расследование, в результате которого на Дерптский университет был обрушен ряд репрессивных мер, в том числе увольнение и высылка Ульмана из Дерпта. Несколько профессоров, среди которых были Бунге и Мадаи, в знак протеста покинули Дерптский университет. Упоминаемая Герценом статья Мадаи «События в Дерпте в ноябре 1842 г.» была напечатана в №№ 172 и 173 «Allgemeine Zeitung» от 21 и 22 июня 1843 г.

С т р. 327. *Лишь бы не возвратились прошлогодние сцены.*— См. запись Герцена от 16 января 1843 г.

Самарин возвратился...— Ю. Ф. Самарин возвратился в то время из поездки по восточной России.

...удивительное место из Гёте об Америке...—Герцен цитирует стихотворение Гёте «Соединенным Штатам». Цитата, о которой идет речь, была приведена в статье, посвященной военно-морскому флоту Соединенных Штатов Северной Америки, в № 11 «Allgemeine Zeitung» от 11 января 1844 г.

С т р. 328. *Gottes ist der Orient...*— Цитата из «Западно-восточного дивана» Гёте.

...писать целую статью.— Этого намерения Герцен, повидимому, не осуществил.

С т р. 329. *Письмо от Кетчера.*— Это письмо неизвестно.

Булгарин писал к князю Волконскому...— Герцен излагает здесь донос Булгарина, адресованный председателю петербургского цензурного комитета кн. Г. П. Волконскому. Полностью донос Булгарина напечатан в книге М. К. Лемке «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.», СПб., изд. 2-е, 1909, стр. 286—288.

С т р. 330. *Читаю письма Форстера...*— Письма Форстера Герцен, вероятно, читал в лейпцигском издании 1843 г.

С т р. 331. *...потому что оно...*— В автографе «потому что она» (повидимому, описка). Герцен несомненно имел здесь в виду III отделение, а не всю «собственную» канцелярию царя.

С т р. 332. *Стократ блажен, кто предан вере...*— Из заключительной строфы седьмой главы «Евгения Онегина» Пушкина.

С т р. 333. *Collège de France* — высшая школа в Париже.

С т р. 340. *Гречева защита государя против Кюстина...*— Издатель реакционной «Северной пчелы» Н. И. Греч, находившийся летом 1843 г. за границей, выпустил, с одобрения царя и III отделения, брошюрки на французском и немецком языках, в которых старался опровергнуть высказывания автора книги «Россия в 1839 г.» — де-Кюстина, направленные против царя и русского правительства.

Лабинский показал более такту...— Герцен имеет в виду французскую брошюру чиновника министерства иностранных дел Ксаверия Лабенского «Слово по поводу книги г-на де-Кюстина „Россия в 1839 г.“» (Париж, 1843), в которой он делал попытку опровергнуть ряд фактов, описанных де-Кюстином.

С т р. 342. *...Дочитал Мицкевича лекции.*— Стенограмма парижских лекций Мицкевича «Курс славянской литературы» («Cours de littérature slave»).

С т р. 343. *«Гений (?) на совершение».*— Мицкевич цитирует поэму С. Гарчинского «Деяния Вацлава» («Wacława dzieje»). Первое издание

этой поэмы было подготовлено самим Мицкевичем (Париж, 1833). Стих: «броситься в колесницу...» («Wskoczy w rydwan wyroków i zajmie siedzenie»)— был вставлен в корректуре самим Мицкевичем, о чем он сообщил автору в письме от 6 мая 1833 г.

...трагический дух графа в «Comédie infernale». — «Comédie infernale» («Небожественная комедия») — произведение польского писателя С. Красинского. Главным персонажем этого сочинения является поэт-мечтатель граф Генрих, который в погоне за ложными призраками разбивает свою собственную жизнь и жизнь своей семьи. Мицкевич посвятил разбору этого произведения четыре лекции в своем курсе славянских литератур.

Превосходные рассказы Михайла Семеновича...— Устные рассказы великого русского актера М. С. Щепкина о различных его жизненных впечатлениях легли в основу некоторых произведений Гоголя, Некрасова, В. Соллогуба и др. «Сорока-воровка» Герцена и эпизод о секретаре уездного суда в «Былом и думах» (глава XIII) также построены на материале рассказов Щепкина.

С т р. 347. *Никто ранее 25 лет не может ехать за границу...*— Герцен излагает содержание указа Николая I о паспортах от 15 марта 1844 г.

С т р. 349. *Замечательная статья в 3 последних №№ «Московских ведомостей»...*— В №№ 42—45 «Московских ведомостей» от 6—13 апреля 1844 г. была помещена анонимная статья «Освобождение негров во французских колониях», в которой довольно прозрачно проводилась аналогия между рабством негров и крепостным правом в России. Эта статья вызвала шумные толки в обществе и привлекла к себе внимание III отделения.

С т р. 351. *Литераторы, товарищи, друзья приготовили обед...*— Торжественный обед в честь Грановского состоялся 22 апреля 1844 г. в доме С. Т. Аксакова. Устроителями обеда были Герцен, С. Т. Аксаков и Ю. Ф. Самарин. Обед этот, сопровождавшийся примирительными тостами, вызвал резкое возмущение со стороны Белинского. См. выше комментарий к статье «О публичных чтениях г-на Грановского».

С т р. 353. *Бакунин горько выразился...*— В статье «Реакция в Германии» (см. примеч. к стр. 256).

...старого друга...— Н. Х. Кетчера.

«Галатея»— бесцветный журнал, издававшийся в Москве С. Е. Раичем в 1829—1830 и в 1839—1840 гг. Герцен, Грановский и Корш собирались приобрести его у издателя. Однако они вскоре отказались от своего намерения и сделали безуспешную попытку получить право на издание нового журнала. См. примеч. к стр. 386 и 397.

...перехватывающая личность.— См. примеч. к стр. 248.

С т р. 354. *Огромное письмо, вроде диссертации, от Белинского.*— Ни цитируемое письмо Белинского, ни ответ на него Герцена неизвестны.

Ив. Павл.— Иван Павлович Галахов, отправлявшийся за границу через Петербург и доставивший Белинскому письмо от Герцена.

С т р. 355. *Эшлея предложение...*— Проект английского филантропа Антони-Эшли Шефтсбери о сокращении рабочего дня.

Новые постановления об экзаменах...— В № 63 «Московских ведомостей» от 25 мая 1844 г. было опубликовано утвержденное царем новое «Положение о производстве в ученые степени», регламентировавшее порядок сдачи экзаменов на ученые степени и защиту диссертаций.

С т р. 356. *Вчера Самарин защищал свою диссертацию.*— Магистерская диссертация Ю. Ф. Самарина «Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники».

С т р. 358. *Вчера письма от наших из Берлина...*— Письмо Огарева, Сатина и И. П. Галахова из Берлина, от 30 мая/11 июня 1844 г., напеча-

танное в «Русской мысли», 1890, № 9, стр. 5—13. В этом письме Сатин сообщил Герцену, что они возвратятся к 26 августа.

С т р. 359. *Государь был в Лондоне...*— Николай I пробыл в Англии, в гостях у королевы Виктории с 20 по 27 мая 1844 г.; целью его поездки было установление контакта с английским правительством по вопросам восточной политики.

...habeas corpus...— начальные слова английского закона о неприкосновенности личности (1679), согласно которому арест в течение 24 часов должен быть санкционирован судьей.

...замечательная статья о войне...— В первой книжке журнала Отто Виганда «Wigand's Vierteljahrsschrift» за 1844 г. была помещена статья «Ближайшая война» (без подписи), в которой давался анализ политического состояния Европы и пропагандировалась война против самодержавной России.

С т р. 360. *В Силезии бунтуют работники...*— Восстание силезских ткачей началось 4 июня 1844 г. Непосредственным поводом для него явилось резкое снижение заработной платы фабрикантом Цванцигером, заявившим рабочим на их жалобу, что у них нехватает денег даже на покупку картофеля: «Если у вас нет ничего другого, можете жрать траву, так как она отлично уродилась в этом году». Восстание силезских ткачей было жестоко подавлено правительственными войсками.

С т р. 361. *Статья Иордана.*— Название статьи Вильгельма Иордана в первой книжке «Wigand's Vierteljahrsschrift» за 1844 г.: «Философия и всеобщая наука, вступление в критику философии вообще».

С т р. 362. *Писал статью для нового журнала...*— Речь идет о «Письмах об изучении природы». Издание журнала царем разрешено не было.

С т р. 363. *«L'Alcade de Zalameya» Кальдерона...*—Главный герой пьесы Кальдерона «Алькальд из Саламеи» («El Alcalde de Zalamea»), с которой Герцен ознакомился во французском переводе,— старый испанский крестьянин Педро *Крисло* — человек исключительно честный и справедливый. Выбранный на должность алькальда (мэра и судьи), он законным порядком предает суду и казнит капитана дона Альвара д'Атайде, дворянина, обесчестившего его дочь. Полковник дон *Лопе ди Фигероа* и маркитантка *Эстимелле* (Искра) — второстепенные персонажи пьесы. «Алькальд из Саламеи» разделен автором не на акты, а на «дни» — первый, второй и третий.

...Чаадаев говорит в своей статье...— Имеется в виду первое «Философическое письмо» Чаадаева.

С т р. 364. *Читаю Маржерета...*— Книга французского капитана Жака Маржерета, служившего в личной гвардии Бориса Годунова и Лжедимитрия I (1607): «Состояние российской державы и великого княжества Московского, с присовокуплением известий о достопамятных событиях, случившихся в правление четырех государей с 1590 года по сентябрь 1606».

...кончил Бера.—Речь идет о сочинении «Состояние Русского государства при правлении царей Федора Ивановича, Бориса Годунова, обоих Димитриев, Василия Шуйского и ныне выбранного польского королевича Владислава с 1584 по 1613 г.». Автором этой книги был К. Буссов; в течение долгого времени она приписывалась перу М. Бера.

С т р. 365. *...статья о новых открытиях по части палеонтологии.*— Речь идет о статье С.-V. «О некоторых новых палеонтологических работах», помещенной в №№ 193 и 194 «Allgemeine Zeitung», от 11 и 12 июля 1844 г.

...первое письмо об естествоведении.— Первое из «Писем об изучении природы».

С т р. 370. *В Праге и около работники продолжают войну с машинами...*—В 1844 г. в Праге и других городах Чехии произошли крупные восстания рабочих. Рабочие уничтожали машины, в которых видели главный

источник своих бедствий. Австрийское правительство жестоко расправилось с восставшими, приказав войскам открыть огонь по демонстрации голодающих рабочих.

Стр. 371. *«Кавказские проделки»*.— Книга Е. П. Лачиновой «Проделки на Кавказе», вышедшая в свет в начале мая 1844 г. под псевдонимом *Хамар-Добанов*. В этой книге описываются в самом неприглядном виде похождения офицеров кавказской армии. По приказанию Николая I книга была немедленно конфискована, цензор Н. И. Крылов отстранен от должности и подвергнут восьмисуточному аресту.

Стр. 372. *Читал Фейербаха о Лейбнице*.— Сочинение Л. Фейербаха «Изложение, развитие и критика философии Лейбница» («Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibniz'schen Philosophie», 1836).

Стр. 374. *...письма из Берлина*.— Письмо Огарева и Сатина из Берлина от 22 августа (н. ст.) 1844 г.— «Русская мысль», 1890, № 10, стр. 9—12.

«Bettina will schlafen».— Известное восклицание писательницы Беттины фон-Арним, автора нашумевшей книги «Переписка Гёте с ребенком». Беттина фон-Арним щеголяла инфантильностью даже в пожилом возрасте.

Стр. 375. *...о мерзких интригах и происках*.— Повидимому, Герцен имеет в виду интриги родственников его отца при составлении последним завещания.

...Байрон сказал в ее защиту.— Имеются в виду строфы III—XII песни двенадцатой «Дон-Жуана» Байрона.

Стр. 376. *«Hegel's Leben» Розенкранца*.— Герцен предполагал написать разбор этой книги для «Отечественных записок» (см. его письмо к А. А. Краевскому от 24 декабря 1844 г.).

Стр. 377. *«Ich frage ∽ ist»*.— Герцен цитирует (не совсем точно) письмо Гегеля к Шеллингу по упомянутой выше книге К. Розенкранца, стр. 143.

Стр. 379. *Пора ехать в Москву...*— Герцен в это время находился в Покровском.

...в «Allgemeine Zeitung» выписка из статьи Белинского...— В № 239 буржуазно-либеральной аугсбургской «Allgemeine Zeitung» от 26 августа 1844 г. была частично перепечатана корреспонденция из лейпцигской «Газеты для элегантного мира»: «Эжен Сю в России». В этой корреспонденции разбиралась и подробно цитировалась известная статья Белинского о «Парижских тайнах» Эжена Сю, помещенная в апрельской книжке *ОЗ* за 1844 г. Отмечая «природное остроумие» Белинского, газета привела выдержку из характеристики французской революции 1830 г., сделанной Белинским, сопроводив саркастическим комментарием следующие строки Белинского: «У нас в России, где выражение „умереть с голоду" употребляется только гиперболически, потому что в России не только трудолюбивому пролетарию, но и отъявленному лентяю и нищему невозможно погибнуть от голода, у нас многим покажется едва вероятным, что в Англии и Франции голодная смерть бедняков не только не невозможное, но даже не необыкновенное происшествие». Именно это высказывание и имеет в виду Герцен. См. «Лит. наследство», т. 56, 1949, стр. 471—496.

Стр. 380. *...опять бросит он на себя подозрение в сервильности*.— Герцен подразумевает здесь статьи Белинского, написанные критиком в период его «примирения с действительностью» в 1839—1840 гг.

...происшествие на Лепешкинской фабрике...— Подробности о волнениях «кабальных рабочих» на бумагопрядильной фабрике Лепешкина летом 1844 г. см. в сборнике «Рабочее движение в России в XIX веке», т. I, М., 1951, стр. 93 и 663—666.

Стр. 381. *Репиль* (repeal)—лозунг, выброшенный в начале 1840-х гг. О'Коннелем, об отмене унии Ирландии с Англией. О'Коннель подвергся судебным преследованиям со стороны английского правительства.

...при закладке Кенигсбергского университета... — 30 августа (н. ст.)

1844 г. в Кенигсберге отмечалось трехсотлетие университета и состоялась закладка нового здания.

С т р. 382. *Das Trennbare, so lange...*— Герцен цитирует заметку Гегеля «Die Liebe und die Scham», опубликованную К. Розенкранцем в его биографии Гегеля (Berlin, 1844, S. 499—500).

С т р. 383. *Beatus ille...*— Гораций, «Эподы», II, 1.

...nel mezzo del cammin di nostra vita...— Первый стих «Божественной комедии» Данте («Ад»).

С т р. 384. *Д. П.* — Голохвастов. Подробную характеристику Голохвастова и, в частности, описание переговоров с ним по поводу наследства см. в главе XXXI «Былого и дум».

Старику... — отцу Герцена.

С т р. 385. *...что-то горасовское.*— Горас (Орас) — герой одноименного романа Жорж Санд, трусливый, самодовольный фразер, в котором, как неоднократно отмечал впоследствии Герцен, воплотились типичные черты французского буржуа. См. запись от 13 августа 1842 г.

Бакунину префект в Париже велел выехать...— Слух о высылке М. А. Бакунина из Парижа оказался ложным.

...один испанский exaltado...— «Экзальтадо» называли испанских радикалов. О ком здесь говорит Герцен — установить не удалось.

...статьей.— Одно из «Писем об изучении природы».

...прекрасное письмо от Огарева...— Письмо от Огарева, с припиской Н. М. Сатина, от 1/13 сентября 1844 г., отправленное 10 октября 1844 г. («Русская мысль», 1891, № 6, стр. 1—8).

С т р. 386. *...ездить по чинам.*— Герцен имеет в виду правительственную регламентацию количества лошадей, выездной прислуги и пр. в соответствии с чином владельца экипажа.

Жене Юшневского не позволяют возвратиться.... — Жена декабриста А. П. Юшневского — Мария Казимировна (рожд. Круликовская), последовавшая за мужем в Сибирь, возбудила после его смерти ходатайство о разрешении возвратиться в Россию, но получила отказ. Право покинуть Сибирь ей было предоставлено только в 1855 г., после смерти Николая I.

profession de foi.— «Отчет „Маяка современного просвещения, искусства и образованности“ за пять лет», напечатанный в сентябрьском номере журнала за 1844 г. и вышедший отдельной книжкой.

Разрешения на журнал нет...— См. примеч. к стр. 353 и 397.

Старик — отец Герцена, И. А. Яковлев.

Как страшно прав Гоголь...— Излагаются строки из VI главы первого тома «Мертвых душ».

С т р. 387. *...писал в своей статье.*— Первое из «Писем об изучении природы».

Вчера в плохом французском спектакле...— 1 ноября 1844 г. в московском Малом театре французской труппой были представлены пьесы: «Деревенский муж» Бейяра и Жюля де Вайи, «Бедный Жак» братьев Коньяр и «Три польки», соч. Дюмануара, Кармуша и Сиродэна. Герцен излагает содержание пьесы «Бедный Жак».

С т р. 388. *Грановский написал диссертацию...*— Защита Грановским магистерской диссертации «Волин, Иомсбург и Винета», в которой он доказывал, что славянский город Винета никогда не существовал,— состоялась 21 февраля 1845 г. С. П. Шевырев и другие реакционные профессора пытались сорвать защиту диссертации, однако Грановский с блеском отразил все нападения своих противников. Этот инцидент явился одним из поводов для разрыва Герцена и Грановского со славянофилами.

С т р. 389. *...«Отечественные записки» запрещены...*— Слух о запрещении «Отечественных записок», с провокационными целями распространявшийся редакцией «Москвитянина», оказался ложным.

Толки и переговоры с Иваном Васильевичем...— С января 1845 г. «Москвитянин» перешел под редакцию И. В. Киреевского, намеревавшегося реорганизовать журнал (Киреевский сделал попытку привлечь к участию и Герцена). Однако справиться с изданием он не сумел, и вскоре журнал снова возвратился в руки Погодина и Шевырева.

Стр. 390. *...мой тон у Свербеева.*— У Д. Н. и Е. А. Свербеевых был известный литературный салон, посещавшийся как славянофилами, так и их противниками, в том числе Герценом.

...поэту-лауреату берегов Неглинной...— Так Герцен иронически именует здесь А. С. Хомякова.

...замечательно умного молодого человека...— Вероятно, Герцен имеет в виду Ивана Васильевича Павлова.

Стр. 391. *...достал брошюру Прудона «О собственности».*— Об этом сочинении см. выше, в примеч. к стр. 267.

Писал к Самарину.—Это письмо Герцена к Ю. Ф. Самарину неизвестно.

Он один из них может, кажется, еще спастись.— Это предположение Герцена не оправдалось: Ю. Ф. Самарин до конца жизни оставался одним из самых воинствующих славянофилов. Как явствует из письма Самарина к К. С. Аксакову (от начала 1845 г.), он считал, что разрыв с Герценом «был необходим» и что их «согласие никогда не было искренно» (Ю. Ф. Самарин. Соч., т. XII, М., 1911, стр. 159).

Стр. 392. *...лабарум...* — знамя римских императоров (с IV века).

Стр. 393. *...родилась малютка.*— Дочь Наталья (Тата).

Стр. 394. *Nur wenn er glühet...*— Из «Пуншевой песни» («Punschlied») Шиллера.

Стр. 396. *Языков написал какие-то ругательные стихи...*— В 1844 г. Н. М. Языковым было написано три стихотворных доноса, направленных против Герцена, Чаадаева и Грановского: «Константину Аксакову», «К не нашим» и «К Чаадаеву». См. о них в главе XXX «Былого и дум».

«Отечественные записки» недавно ⌒ оценили его по заслугам.— Речь идет об анонимной рецензии на «56 стихотворений Н. М. Языкова», помещенной в ноябрьской книжке *ОЗ* за 1844 г. и характеризовавшей Языкова как поэта, муза которого «состарилась, не возмужав».

Стр. 397. *...Аксаков написал премилые стихи...*— Стихотворение К. С. Аксакова «Союзникам», в котором он отрекался от идейной близости с «гнилыми союзниками», с «непрошенными защитниками» России — Ф. Ф. Вигелем, М. А. Дмитриевым и др. (см. «Сочинения К. С. Аксакова», т. I, Пг., 1915, стр. 41—42).

...приговор Камиля Демулена! — Смертный приговор Демулену был вынесен революционным трибуналом по требованию Робеспьера.

«Г⟨осударь⟩ не соизволил разрешить господину Грановскому издавать журнал».— См. примеч. к стр. 353 и 386.

Стр. 398. *...горячечное состояние какой-нибудь Испании...*— Герцен имеет в виду гражданские войны, происходившие в Испании в 1830—40-х гг.

Говорят, что готовится указ...— Этот указ издан не был.

Стр. 399. *...о новом указе ⌒ статье в «Journal de Francfort».*—Речь идет о корреспонденции, помещенной в № 333 газеты «Journal de Francfort» от 2 декабря 1844 г., в которой сообщалось, что Николай I освободит крепостных и что 1845 год «будет в России отмечен событиями высочайшей важности».

...еще два стихотворения...— См. примеч. к стр. 396.

1845

Стр. 400. *...длинное письмо Огарева.*— Письмо Огарева к Герцену от 19/31 декабря 1844 г. («Русская мысль», 1891, № 7, стр. 19—21).

Казнь Чеха...— Речь идет о бургомистре г. Сторкова Генрихе-Людвиге Чехе, совершившем 26 июня 1844 г. покушение на прусского короля Фридриха-Вильгельма IV. 14 декабря того же года он был казнен.

Стр. 404. *Отправляю письмо к графу Орлову...*— Письмо Герцена к шефу жандармов А. Ф. Орлову от 27 января 1845 г. 27 марта Орлов доложил царю о ходатайстве Герцена, отметив, что он беспрерывно получает «хорошие о надворном советнике Герцене отзывы от лиц, заслуживающих доверия», и испрашивал со своей стороны дозволение ему въезда в Петербург с тем, чтобы и там был учрежден за Герценом полицейский надзор. 1 апреля царь дал разрешение на приезд Герцена в Петербург, но на ограниченное время. 2 апреля Дубельт известил об этом Герцена (*ЛН*, стр. 456).

Два первых письма об естествоведении отправил Краевскому.— Первые два из «Писем об изучении природы» были напечатаны в *ОЗ*, 1845, № 4.

Стр. 405. *Послал диатрибу на «Москвитянин»...*— Фельетон Герцена «„Москвитянин“ и вселенная» появился в мартовской книжке *ОЗ* за 1845 г.

Говорят, что в Пруссии скоро издастся конституция...— Этот слух не соответствовал действительности.

Барер говорит, что Мирабо сказал однажды Барнаву... — Эти слова Мирабо о Барнаве Герцен цитирует по «Мемуарам» Барера, т. IV, Париж, 1844.

Стр. 407. *На днях получил письмо от Самарина.*— Это письмо Ю. Ф. Самарина к Герцену неизвестно.

...я сказал ему ∞ мы не встретимся, это наверное.— Герцен цитирует, с небольшими неточностями, свое письмо к Самарину от 27 февраля 1845 г.

Инспектор.— Инспектором Московского университета был в это время П. С. Нахимов.

Стр. 408. *Анекдот Крюкова о личном боге.* — Эти слова написаны Герценом на полях.

Стр. 409. *Большое письмо из Берлина...*— Письмо от 2—10 февраля 1845 г. (н.ст.), отправленное Огаревым Герцену с оказией («Русская мысль», 1891, № 7, стр. 26—36).

...вести о парижских... — В это время находились в Париже М. А. Бакунин, В. П. Боткин, Н. И. Сазонов, Н. Г. Фролов.

...статья Бакунина в «La Réforme»...— В парижской газете «La Réforme» от 27 января 1845 г. было помещено большое открытое письмо Бакунина к редактору, в котором он объяснял причины, заставляющие его стать эмигрантом. Давая беспощадную характеристику русскому самодержавию, он высказывал предположение о возможности в скором времени революционного взрыва в России.

Стр. 410. *Gieb ihm ein Gott zu sagen, was er leidet...*— Неточная цитата из эпиграфа к «Элегии» Гёте («Trilogie der Leidenschaft»).

DUBIA

СОСТАВ РУССКОГО ОБЩЕСТВА

Печатается по одному из списков, хранящихся в *ЦГЛА*, за подписью: *Герцен*, с учетом также списков: 1) хранящегося в *ЦГАОР* («Пражская коллекция») в переплетенной тетради, озаглавленной «Сочинения Герцена. СПб., 1857» — во второй ее части («Рукописные сочинения Герцена, ходившие по рукам до появления его лондонских книжек»); 2) хранящегося в *ЦГЛА* второго списка этой статьи. Кроме того, был принят во внимание текст, опубликованный М. Цявловским в *ГМ*, 1916, № 7—8, стр. 247—252, по списку из собрания рукописей И. Е. Забелина, с датой: «Брайтон, 15 мая 1853». Список этот, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, не имел заглавия и подписи автора. М. Цявловский дал статье заглавие «Петербург — Москва,— провинция...» и высказал предположения: 1) что, «судя по содержанию, она не могла быть напечатана в России и представляет собою одно из тех довольно многочисленных произведений на русском языке, которые распространялись в рукописном виде»; 2) что «это копия с какого-нибудь заграничного издания».

Впервые опубликовано в *ЛIV* по списку из архива семьи Герценов с указанием, что статья эта относится к числу «совершенно несомненно им ⟨Герценом⟩ написанных произведений».

Список, с которого статья была напечатана в *ЛIV*, ныне находится в *ЦГАОР* (см. выше). Эта писарская копия отличается рядом грубых и явных искажений. Так, «туловищем» России в ней названо правительство, в то время как в других списках, в полном соответствии с внутренней логикой статьи, этим туловищем является провинция. О «женщинах-аристократках» в списке *ЦГАОР* говорится, что это — «жалкие ростки в духовных началах и в физических оконечностях». Эта сумбурная фраза в других списках читается следующим образом: «Это — жалкие недоростки в духовных началах и недоноски в физических конечностях». Таким образом, этот список никак не может считаться авторизованным — он был, повидимому, прислан Герцену в Лондон из России в конце 50-х годов, как на то указывает пометка «СПб. 1857» (см. выше). Сопоставление комментируемой статьи с другими произведениями Герцена в идейном и стилистическом отношении приводит к выводу о том, что авторство Герцена является мало вероятным. Статья эта, носящая памфлетный характер, содержит такого рода саркастические, лишенные притом горечи и боли, упоминания об угнетенном русском крестьянстве и о русских женщинах, которых нет в других произведениях Герцена.

В пользу авторства Герцена говорит лишь данная в статье высокая оценка среднего дворянства как «бьющей артерии, где еще не застыла

горячая кровь России...». Однако указание на то, что из среднего дворянства «расходятся законы благоразумного приличия», едва ли может принадлежать Герцену, ценившему прежде всего революционные традиции передовых людей, принадлежавших к дворянству. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что в мемуарном и эпистолярном наследии Герцена и его современников не сохранилось никаких указаний или упоминаний, которые давали бы основание считать его автором этой статьи.

В силу всех этих соображений статья и помещается в разделе «Dubia».

Время написания статьи точно не установлено. Однако содержащееся в ней упоминание, что железная дорога между Москвой и Петербургом еще не была построена (строительство ее закончилось в 1851 г.), свидетельствует о том, что комментируемый памфлет относится к 40-м годам. Дата, указанная в списке, опубликованном М. Цявловским, вероятно, имеет в виду лишь момент снятия копии.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН [1]

А. В.— см. Вельтман А. Ф.
Август Кай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э.— 14), первый римский император — 66
Август (Фридрих II — Сильный) (1670—1733), курфюрст саксонский и польский король — 299, *472*
Августин св. (Sanctus Aurelius Augustinus) (354—430) епископ из Гипона (Сев. Африка), христианский богослов — 369, 394
Аврелий, Марк Аврелий Антонин (121—180), римск. император в 161—180 гг., философ-стоик — 263
Агассис (Агассиц) (Agassiz) Луи Жан Рудольф (1807—1873), американский естествоиспытатель (швейцарского происхождения), противник Дарвина — 365
Адам (библ.) — 161
Адольф (Вильгельм Август Карл Фридрих) (1817—1905), герцог Нассауский, зять вел. кн. Михаила Павловича — 325, 326, *475*
Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860)—61, 177, 245, 257—260, 311, 354, 373, 379, 390, 397, 399, 403, *450*, *458*, *470*, *480*
— «Почтовая карета» — 177, 458
— «Союзникам» — 397, *480*
Александр I (1777—1825), император — 48, 312, 340, 413, *473*
Александр Македонский (356—323 до н. э.) — 127
Александра Федоровна (1798—1860), императрица, жена Николая I — 216
Алексей Михайлович (1629—1676), царь — 342, 348
Альмавива, граф и графиня, действ. лица в пьесах «Севильский цырюльник», «Женитьба Фигаро» и «Преступная мать» Бомарше (см.).
«Альмагеста», соч. Птоломея (см.)
Альфиери (Альфьери, Alfieri) Витторио, гр. (1749—1803), драматург, поэт — 113
Альфонский Аркадий Алексеевич (1796—1869), хирург, ректор Московского ун-та с 1842 по 1848 г.— 330
Амвросий Медиоланский (ок. 335—397), архиепископ миланский с 375 г., писатель, противник ариан и язычников — 366
Андрей Боголюбский (ок. 1111—1174), князь владимирский — 46
Анна Иоанновна (1693—1740), императрица — 40
Анна Леопольдовна (1718—1746), правительница России в 1740—1741 гг.— 40
Анненков Павел Васильевич (1812—1887) — 318, *450*, *458*, *468*
Антоний Марк (83—30 до н. э.), римск. политический деятель и полководец — 66, 160
Апис (миф.) — 131
Аполлон Бельведерский (миф.)—420

[1] О составе и характере указателей к отдельным томам настоящего издания см. в томе I подстрочное примечание на стр. 538. В указатель к данному тому не введены имена, упоминаемые в герценовском переводе первого из «Рассказов о временах меровингских».

Аракчеев Алексей Андреевич, гр. (1769—1834) — 47, 48, 441
Аранда Педро-Пабло, гр. (1718—1799), испанский государственный деятель, дипломат — 308
Аристид (ок. 540—467 до н. э.), афинский политический деятель и полководец — 244
Аристотель (384—322 до н. э.) — 119, 147, 154, 155, 160, 382, 384
Арним фон Беттина (Элизабет), рожд. Брентано (1785—1859), нем. писательница — 69, 83, 374, *478*
— «Переписка Гёте с ребенком» («Goethes Briefwechsel mit einem Kinde») — 374, *478*
Арну О. (Arnould), соавтор Н. Фурнье в пьесе «Преступление, или Восемь лет старше» («Huit ans de plus»)
— «Преступление, или Восемь лет старше» (Huit ans de plus) — 49—72, 227, 228, 467, 468; Генриетта — 53—56, 58, 59, 64—66, 227, 228; Полина — 54, 55, 58, 59, 64, 65, 227, 228; Эмиль — 53—59, 64—66, 227—228; доктор — 53, 55, 64, 65, 227, 228
Аскольд и Дир, полулегендарные личности, по начальной летописи киевские князья IX века — 44
Астраков Николай Иванович (1809—1842), друг Герцена — 211, *465*
Астраковы — 238
Афанасий (ок. 295—373), архиепископ александрийский, возглавлял борьбу с арианством — 367
Афродита (миф.) — 66
Ахилл, главный герой эпоса «Илиада» (см. Гомер)

Базедов (Basedow) Иоганн Бернард (1723—1790), нем. педагог — 303
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 175, 210, 211, 264, 375, *478*
— «Двое Фоскари» («The two Foscari») — 210, 211; дож Венеции (Франческо Фоскари, «старик Фоскари») — 211; Марина — 211
— «Дон Жуан» — 375, *478*
— «Каин» — 211
Бакунин (Jules Elysard) Михаил Александрович (1814—1876) — 256, 257, 265, 266, 270, 313, 353, 385, 409, 427, *439*, *470*, *472*, *476*, *479*, *481*
— «Реакция в Германии» — 256, 257, 353, *470*, *476*
Балланш Пьер Симон (1776—1847), франц. философ эклектик — 342
— «Опыт социальной палингенезии» («Essais de palingénésie sociale») — 342
Бальзак Оноре (1799—1850)
— «Сцены из частной жизни» (Scènes de la vie privée») — 241, *469*
Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — 87, *444*
— «Предрассудок! Он обломок давней правды» — 87, *444*
Барейтская маркграфиня и ее дочь, действующие лица в романе «Консуэло» Ж. Санд (см.)
Барер де Вьезак Бертран (1755—1841), председательствовал в Конвенте во время суда над Людовиком XVI — 405, *481*
— «Мемуары Барэра, члена Конвента, Комитета общественного спасения и представителей, опубликованные г-дами Карно и Давидом (Анжуйским)» — («Mémoires de B. Barère, membre de la Convention, du Comité du Salut public et de représentants, publiés par MM. Hippolyte Carnot et David (d'Angers) — 405, *481*
Барклай де Толли Михаил Богданович (1761—1818) — 314
Барнав Антуан Пьер Жозеф (1761—1793), якобинец, затем роялист; казнен по приговору Революционного трибунала — 405, *481*
Бартоло, действ. лицо в комедии «Севильский цирюльник» Бомарше (см.)
Баторий Стефан (1533—1586), польский король в 1576—1586 гг. — 339
Бауэр Бруно (1809—1882), нем. философ-идеалист — 230
Баярд (Bayard) Пьер дю Террайль (ок. 1476—1524), полководец, имя которого употребляется как нарицательное («рыцарь без страха и упрека») — 159

«Бедный Жак», пьеса бр. Коньяр (см.)
Бекон — см. Бэкон
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 39, 242, 245, 246, 266, 276, 277, 282, 289, 291, 317, 318, 354, 355, 372, 373, 379, 427, 430, *438—446*, *448—452*, *459*, *461*, *469—471*, *474*, *476—478*
— «Парижские тайны» Э. Сю — 379, *478*
Беляев Козьма Васильевич, знакомый Герцена по Вятке — 322
Бём (Böhme) Яков (1575—1624), нем. философ-мистик — 305, 306
Бенкендорф Александр Христофорович, гр. (1783—1844) — 205, 218, 265, 277, 331, *466*, *470*, *471*
Бентам Иеремия (1748—1832), англ. буржуазный правовед, создатель теории утилитаризма — 66, 413
Бер Мартин (Martinus Bäer) (XVI—XVII вв.), лютеранский пастор в Москве, родом из Нейштадта; в 30-х гг. XIX в. в книге Н. Г. Устрялова «Сказания современников о Димитрии Самозванце» под его именем печаталась московская хроника, автором которой был Конрад Буссов — 364, *477*
— «Берова летопись. Летопись московская с 1584 года по 1612» («Chronicon Moscoviticum, continens res a morte Joannis Basilidis Tyranni, omnium, quos sol post natos homines vidit, immanissimi et truculentissimi, an Christi 1584—1612»)—364, *477*
Беранже Пьер Жан де (1780—1857)—89, *444*
— «Отказ» («Le refus») — 89, *444*, *445*
Бербендовский — 433
Беррийская герцогиня, Мария Каролина (1798—1870), глава Вандейского восстания (1832), окончившегося поражением монархистов — 321, *474*
Бетховен, Людвиг Ван (1770—1827) — 39, 266
— «Героическая симфония» («Simphonia heroica») — 266
«Фиделио» («Fidelio») — 39, *440*
Би (Bis) Инполит Луи-Флоран (1789—1855), французский драматург, автор (совместно с Жуи) либретто оперы Россини «Вильгельм Телль» — 313, *473*
Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792—1870), киевский, подольский и волынский генерал-губернатор в 1837—1852 гг.— 331
«Библиотека для чтения», ежемесячный журнал; издавался в Петербурге (1834—1864). Редакторы в первые два года издания Сенковский и Греч, а с 1836 г. один Сенковский — 116, 331
Бирон Эрнст Иоганн, герцог (1690—1772) — 40, 347
Бирон (рожд. Трейден) Бенигна Готлиба, герцогиня — 40
Бичурин Никита Яковлевич, в монашестве отец Иакинф (Иоакинф) (1777—1853), русский востоковед, синолог; жил в Китае и описал его нравы — 37, *440*
Блан (Blanc) Жан Жозеф Луи (1811—1882) — 284, 287, 288, 321, *474*
— «История десяти лет» («L'Histoire de dix ans») — 284, 287, 288, *474*
«Ближайшая война» см. Виганд О.
Блюнчли Иоганн Каспар (1808—1881), швейцарский юрист, реакционер — 313, *473*
— «Коммунисты в Швейцарии по обнаруженным у Вейтлинга бумагам...» («Die Kommunisten in der Schweiz, nach den bei Weitling vorgefundenen Papieren. Wörtlicher Abdruck des komissionellberichtes an die H. Regierung Standes»)— 313, *473*
Боде (Бот) Жан Жак, издатель «Temps»—321
Бодянский Осип Максимович (1808—1877), один из основателей славяноведения в России— 406
«Божественная комедия», поэма Данте (см.)
Бомарше (Beaumarchais) Пьер Огюстен Карон де (1732—1799)— 52, 65, 70, 231, 232, *442*

— «Севильский цырюльник» («Barbier de Séville») — 52, 70, 231, 232, *442*; Альмавива граф — 52, 231, 232; Бартоло — 70, 232; Розина — 70, 232
— «Безумный день, или Женитьба Фигаро («Свадьба Фигаро») («Le mariage de Figaro»)— 52, 231, 232; Альмавива графиня — 231, 232; Сюзанна (Сусанна) — 231, 232; Фигаро — 231, 232; Херубим (Керубино)—231
— «Преступная мать, или Второй Тартюф» (La mère coupable») 65, 66, 231, 232; Альмавива граф — 65, 66, 231, 232; Альмавива графиня — 65, 66, 231, 232; Кавалер Леон (Леон) — 231, 232; Сюзанна (Сусанна) — 231; Флорестина — 232; Херубим (Керубино) — 231, 232
Бонаротти — см. Буонаротти
Бонапарт — см. Наполеон I Бонапарт
Борджиа Цезарь (Чезаре) (ок. 1476—1507) — 171, 402
Борис Годунов (1551—1605), царь — 334, 364, *477*
Боссюэт (Боссюэ) Жан Бенинь (1627—1704), франц. епископ, придворный проповедник — 296
Бот — см. Боде
Боткин Василий Петрович (1811—1869) — 219, 265, 275, 289, 290, 317, 385, *438*, *458*, *472*, *481*
Боткина (рожд. Рульяр) Арманс (Armance) — 385, *472*
Браге Тихо (1546—1601) — 107
Брамбеус барон — см. Сенковской О. И.
Брантом Пьер де Бурдейль, барон (1540—1614), франц. мемуарист — 70, 152, *457*
Брауншвейгский герцог, Карл Вильгельм Фердинанд (1735—1806), прусский фельдмаршал — 371
Брауншвейгский герцог, действ. лицо в романе «Консуэло» Ж. Санд (см.)
Брут Марк Юний (85—42 до н. э.)— 255, 434
Брюа, франц. морской офицер, представитель Франции на острове Отаити — 134, *452*
Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — 193, 299, 427, *440*, *467*
— «Последний день Помпеи»— 229, *440*, *467*
Булгарин Фаддей Венедиктович (Венедиктович) (1789—1859) — 116—120, 136, 240, 329, 430, *448—450*, *452*, *475*
— «Выжигины» («Иван Выжигин» и «Петр Иванович Выжигин») — 136, *452*
— «Дмитрий Самозванец» — 120, 430
— «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях» — 118, 119, *449*
Буленвилье (Boulainvilliers) Анри, гр. (1658—1722), франц. историк, идеолог дворянства — 9
«Булочная, или Петербургский немец», водевиль П. А. Каратыгина (см.)
Бунге Фридрих Георг (1802—1897), проф. истории права в Дерптском университете — 325, *475*
Буонаротти Филипп-Мишель (Филиппо-Микеле) (1761—1837), франц. революционер, итальянец по происхождению, автор книги о «Заговоре равных» Бабефа—321
Бурачек Степан Анисимович (1800—1876), издатель и редактор реакционного журнала «Маяк» — 116, *448*
Бурбоны — франц. королевская династия — 284, *465*
Буфетчик в гостинице в Новгороде — 217
Бэкон (Baco, ab Ver⟨ulamo⟩) Фрэнсис, лорд Веруламский (1561—1626)—140, 141, 147, 303—306, 362, 372, 412, *472*
— «Новый Органон»—303, 304, *472*
Бэр Карл Максимович (1792—1876), русский академик, натуралист — 149
— «История развития животных» («Über Entwicklungsgeschichte der Tiere») — 149
Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707—1788), знаменитый франц. естествоиспытатель — 145, 146, 206, 208, 270
Бюше (Buchez) Филипп Жозеф (1796—1865), автор (совместно с Ру Лавернем) многотомной «Парламентской истории французской революции» — 8

Вагнер Мориц (1813—1887), нем. биолог, географ, путешественник — 149
Вадковский Федор Федорович (ок. 1800—1844), декабрист —341
Валентин Габриэль Гюстав (1810—1883), физиолог, проф. Бернского ун-та — 149
«Валленштейн», драматическая трилогия Ф. Шиллера (см.)
Варвинский Осип Васильевич(1811—1878), проф. Московского ун-та, врач — 330
Варнгаген фон Энзе (Varnhagen von Ense), рожд. Левин-Маркус («Рахель») Рахиль Антония Фредерика (1771—1833), нем. писательница, хозяйка литературного салона в Берлине — 63, 69
— «Переписка» («Briefwechsel»). Портретная галлерея знакомых Рахели и ее переписка («Galerie v. Bildnissen aus Rahels Umgang und Briefwechsel»)—63
Василий Великий (329—378), архиепископ кесарийский, противник ариан — 395
«Введение к публичным лекциям о значении гегелевской философии», брошюра Маргейнеке (см.)
Вёдрин, псевдоним М. П. Погодина (см.)
Вейтлинг Вильгельм (1808—1871), нем. утопический коммунист, организатор групп «Союза справедливых» в Швейцарии — 313, 314, *473*
Вельтман (А. В.) Александр Фомич (1800—1870), писатель, историк и археолог — 47, 397
— «О господине Новгороде Великом» —47
Венанций Гонорий Клементиан Фортунат (530—600), епископ пуатьесский, галло-романский поэт—22, *438*
— «Век и ум», стихотворение М. Лихонина (см.)
Вергилий Публий Марон (70—19 до. н. э.) —178
Вертер, действ. лицо в «Страданиях молодого Вертера» Гёте(см.)
Виганд Отто (1795—1870), лейпцигский издатель радикальной литературы — 359, 361, *477*
— «Wigand's Vierteljahrschrift»— 359, 361
— «Ближайшая война» — 359, *477*
Вигель Филипп Филиппович(1786—1856) — 397
Виктория (1819—1901), королева Великобритании с 1837 г.—380, *477*
Вильберфорс (Уилберфорс, Wilberforce) Уильям (1759—1833), англ. общественный и политический деятель; провел в Парламенте закон об отмене торговли невольниками в английских владениях — 97
Вильгельм III Оранский (1650—1702), король Англии с 1689 г.— 296
Вильгельм Оранский (1533—1584), деятель нидерландской буржуазной революции — 206
Вильгельм Оранский, действ. лицо в трагедии «Эгмонт» Гете (см.)
«Вильгельм Телль», драма Ф. Шиллера (см.)
«Вильгельм Телль», опера Россини (см.)
«Вильгельм Телль», либретто к опере Россини Ипполита Би (см.) и В. Жуи (см.)
Вильмен (Вильмэн) (Villemain), Абель Франсуа (1790—1870), франц. критик и литературовед, профессор Сорбонны — 206, *465*
— «Курс французской литературы XVIII века» («Cours de littérature française, tableau du XVIII siècle) — 206, 465
Витали (Виталий) Иван Петрович (1794—1855), скульптор 220, 229, *476*
— «Встреча Исаакия Далматского с императором Феодосием» — 229, *467*
Витберг Александр Лаврентьевич (1787—1855) — 233, 238, *468*
Витгенштейн, Петр Христианович, гр. (1768—1842), фельдмаршал русской армии — 38, 189
«Волин, Иомсбург, Винета» — диссертация Т. Н. Грановского (см.)
Волконский Григорий Петрович кн. (1808—1882), председатель Цензурного комитета — 329, *475*

Вольтер (Аруэ) Франсуа Мари (1694—1778) — 91, 127, 206—208, 301, 302, *464*
Вольф Христиан (1679—1754), нем. философ-идеалист —381
«Восемь лет старше...», пьеса Арну (см.) и Фурнье (см.)
«Восточные письма» — см. Монтескье, «Персидские письма»
Вронский (Гене) Юзеф (1778—1853), польский математик, мистик — 352
«Встреча Исаакия Далматского с императором Феодосием», барельеф Витали для Исаакиевского собора в Петербурге (см.)
Вьельгорский (Вильгорский) Михаил Юрьевич (1788—1856), придворный Николая I, композитор, хозяин аристократического музыкального салона — 218
«Выжигины», романы «Иван Выжигин» и «Петр Иванович Выжигин» Ф. Б. Булгарина (см.)

Габлер, Георг (1786—1853), нем. философ, гегельянец, проф. Берлинского ун-та — 378
Гагарин Иван Сергеевич, кн. (1814—1882), дипломат; с 1843 г. монах иезуитского монастыря во Франции — 257—259, 387, 389
Гакстгаузен — см. Якстгаузен
«Галатея», еженедельный журнал, издававшийся С. Е. Раичем в Москве с 1829 по 1830 г. и в 1839—1840 гг.— 353, *476*
Галахов Иван Павлович (1809—1849), дворянский интеллигент, близкий к кружку Герцена — Огарева — 354, 358, *476*
Галеви Жак Франсуа Фроманталь (1799—1862), франц. композитор — 265, 313, *470*
— «Жидовка» («Die Jüdin»)— 265, 313, *470*
Галилей Галилео (1564—1642) — 103, 105, 107, 225, *467*
Галлус (Галл) (Gallus) Мартин (XI—XII вв.), польский средневековый хронист — 335
«Гамлет, принц Датский», трагедия Шекспира (см.)
Ганимед (миф.) — 100
«Гаргантюа и Пантагрюэль», произведение Фр. Рабле (см.)
Гарчинский Стефан (1805—1833), польский поэт романтик, друг Мицкевича — 343, *475*
— «Деяния Вацлава» («История Вацлава») («Wacława dzieje»)— 343, *475*
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — 61, 98, 107, 154, 173, 229, 230, 243, 244, 246, 247, 250, 251; 254, 256, 274, 305, 311, 317—319, 324, 327, 349, 350, 355, 362, 365, 374—379, 381, 382, 385, 409, 434, *457*, *474*, *479*
— «Введение в философию истории» — 318, 319
— «История философии» — 382, 384, 385
— «Лекции по эстетике» («Эстетика») («Vorlesungen über die Aestethik»)— 154, 156, 355, 431, *457*
— «Любовь и стыд» («Die Liebe und die Scham») — 179, 381, 382, *479*
— «Обращение к слушателям» («Anrede an seine Zuhörer») — 362
— «Теологическое рассуждение, писанное в 1794 году» — 244
— «Феноменология духа» («Феноменология») — 378
— «Энциклопедия философских наук» («Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundnisse»)—98, 349, 355, 365, *445*
Гейман Родион Григорьевич (1802—1865), русский химик, профессор Московского ун-та — 139
— «Чтения общей химии, приложенной к фабричному и заводскому делу» («Химия») — 139
Гелдерлин (Hölderlin) Иоганн Христиан Фридрих (1770—1843), немецкий поэт — 171, 376
Генриетта, действ. лицо в пьесе «Восемь лет старше» Арну и Фурнье (см.)
Генрих VIII (1491—1547), король Англии с 1509 г. — 168
Генрих, граф, действ. лицо в «Небожественной комедии» Красинского (см.)
Георг III (1738—1820), король Англии с 1760 г.— 326
Гера (миф.) — 100
Гераклит Эфесский (ок. 530—470 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист — 384

Гервег Георг (1817—1875), немецкий поэт — 256, *457*, *469*
Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — 114, 303, 392
Герман, знакомый Герцена — 209, *465*
Герцен Александр Иванович
— «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника»— *455*
— «Былое и думы» — 136, *440*, *442*, *447*, *450*, *451*, *453*, *457*, *464—469*, *472*, *476*, *478*
— «Двадцать осьмое января» — *438*
— «Дилетантизм в науке».—Статья первая — 209, 222, 233, *441*, *465*
— «Дилетанты-романтики»— 212, 241, 254, 268, 269, *466*, *468*, *471*
— «Дилетанты и цех ученых» — 246, 254, 281, *469*, *471*
— «Буддизм в науке» — 265, 281, 319, *470*, *471*, *474*
— «Долг прежде всего» — *469*
— «Записки одного молодого человека» — 222, *466*
— «Записка об Останкине» —283, *472*
— «К характеристике романтизма» — см. «Дилетанты-романтики»
— «Кто виноват?» — 222, *466*
— «Новая фаза русской литературы»—*467*
— «О пристрастии» — *444*
— «О развитии революционных идей в России» — *440*, *452*
— «Письма об изучении природы» — 362, 365, 387, 404, 412, *441*, *455*, *463*. *477*, *479*
— «Русский народ и социализм. Письмо к Мишле» — *467*
— «Сорока-воровка» — *476*
Герцен Александр Александрович («Саша») (1839—1906), сын А. И. Герцена — 237, 248, 270, 273, 285, 286, 304, 310, 317, 324, 330, 370, 393
Герцен Егор Иванович (1803—1882), брат А. И. Герцена — 306, *472*
Герцен Иван (1842), сын А. И. Герцена — 248, 249, *469*
Герцен Наталья Александровна («Тата») (1844—1936) — дочь А. И. Герцена — 393, *480*
Герцен (рожд. Захарьина) Наталья Александровна (1817—1852) — 211, 212, 216—218, 221, 233, 235, 237, 248, 252, 260—263, 268—272, 274—280, 282, 283, 290, 304, 316, 317, 322, 323, 325, 327, 330, 346, 370, 396, 410, *461*, *462*, *469*
Герцен Николай Александрович («Коля») (1843—1851), сын А. И. Герцена — 322—324, 327, 346, 393, 396
Гёте (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 60, 83, 85, 101, 106, 113, 117, 124, 148, 187, 204, 209, 211, 227, 298, 300, 303, 327, 330, 356, 372, 388, 392, 404, 433, *443*, *448*, *465*, *467*, *475*, *481*
— «Добро потеряешь — немного потеряешь» («Gut verloren, etwas verloren») — 204, *464*
— «Западно-восточный диван» («West-Östlicher Divan») — 328, *475*
— «К Соединенным Штатам» («Den Vereinigten Staaten») — 125, 327, *450*, *475*
— «Надежда» («Hoffnung) — 206, *464*
— «Певец» («Der Sänger») — 235, *468*
— «Переписка Гёте с Шиллером»— 330
— «Прометей» («Prometheus») — 211, *465*
— «Пряха» («Die Spinnerin») — 78, *443*
— «Родственные натуры» («Die Wahlverwandschaften») — 60, 68, 227; архитектор—68; Эдуард—68
— «Страдания молодого Вертера» («Die Leiden des jungen Werthers») — 68, 83, 228; Вертер — 68, 83, 228; Шарлотта — 68
— «Трилогия страсти» («Trilogie der Leidenschaft»); «Элегия» («Elegie») — 410, 481
— «Эгмонт» («Egmont») — 85; Эгмонт—85, 206; Оранский—85, 206
— «Метаморфозы растений» («Metamorhosen der Pflanzen»)— 388
Гибин, купец — 216, *466*
Гидра лернская (миф.) — 101
Гизо (Guisot) Франсуа Пьер Гильом (1787—1874) — 117, 135, 196, 289, 291
— «История английской революции от царствования Карла I

до Карла II» («Histoire de la Révolution d'Angleterre depuis l'avénement de Charles I jusqu'à l'avénement de Charles II»)—291
Глебов Иван Тимофеевич (1806—1884), русский физиолог и анатом—385, 390, 405
Глинка Федор Николаевич (1786—1880), поэт — 135, 397
Гобер — 427
Гоголь Николай Васильевич(1809—1852) — 37, 196, 214, 220, 221, 386, 418, 427, *439*, *466*, *471*, *476*, *479*
— «Мертвые души»— 196, 214, 220, 221, 276, *466*; капитан-исправник—196; Манилов — 220, 221; Ноздрев — 220, 386; Плюшкин — 220; Собакевич — 220; Чичиков — 214, 220
— «Ревизор» — 38, 53, 267; Хлестаков — 38, 267
«Год в чужих краях», путевые записки М. Погодина (см.)
Голанд (Holland), Константин (род. в 1798 г.), оперный и драматический актер, с 1833 г. служил в Петербургской немецкой труппе; пользовался огромным успехом в роли Фиорелло («Фенелла»)— 313
Голицын Дмитрий Владимирович, кн. (1771—1844), московский генерал-губернатор с 1820 г.— 267
«Голос за правду», статья С. П. Победоносцева (см.)
«Голос из провинции о поэме Гоголя „Похождения Чичикова, или Мертвые души"», статья Н. Д. Мизко (см.)
Голохвастов Дмитрий Павлович (1796—1849), двоюродный брат А. И. Герцена — 384, 386, *472*, *479*
Голубинский Федор Александрович (1797—1854), протоиерей, профессор Московской духовной академии — 327
Гольбах Поль Анри (1723—1789)— 206, 208, 302
Гомер — 68, 100, 113, 220, *445*
— Илиада — 100, 220, *445*; Ахилл — 85; Зевс — 100, *445*
Горас (Орас), действ. лицо в романе «Орас» Ж. Санд (см.)
Горацио, действ. лицо в трагедии «Гамлет» Шекспира (см.)
Гораций Флакк (65—8 до н. э.) — «Эподы» — 383, *479*
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — 116
— «Эликсир дьявола» («Elixier des Teufels») — 116; Медардус— 116
Гракхи, Тиберий (163—132 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.)— 69, 242
Грановская (рожд. Мюльгаузен) Елизавета Богдановна (1824—1857) — 275, 289, 318, 325
Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — 111—115, 121—127, 233, 253, 259, 275, 289 316—320, 322—324, 326, 341, 350, 351, 353, 388, 389, 391, 396, 397, 403, 404, 406—408, 411, *446—447*, *450—453*, *468*, *472—474*, *476*, *480*
— «Волин, Иомсбург, Винета»— 388, 391, 406
Граф (Генрих), действ. лицо в «Небожественной комедии» Красинского (см.)
Греч Николай Иванович (1787—1867) — 116—120, 275, 329, 340, 341, 429, *448*, *449*, *475*
— «Древняя история» — 118, *449*, *475*
— «О книге маркиза де Кюстина „Россия в 1839 году"» («Examen de l'ouvrage de M. le marquis de Custine, intiiulé „La Russie en 1839"»)—340, *475*
— «Опыт краткой истории русской литературы» — 118, *449*
— «Письма с дороги» — 117, *449*
— «Чтения о русском языке» — 118, *449*
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 44
— «Горе от ума» — 53
Григорий Назианзин (Богослов) (ок. 329 — ок. 389), патриарх константинопольский — 367, 395
Григорий Турский (Георгий Флоренций Григорий) (538—594), епископ, автор труда «История франков» — 10, 11
Григорович Виктор Иванович (1815—1876), специалист по славянской филологии — 259
Гримм (Grimm) Фридрих-Мельхиор, барон (1723—1807), литератор и дипломат — 207, *465*
Гро В. (Gros) —234, 235, *468*

Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769—1859) —144
— «Космос» — 144
Гус Ян (1369—1415) — 95
Густав Адольф II (1594—1632), король Швеции — 152
Гфрёрер (Gfrörer) Август Фридрих (1803—1861), нем. историк, католик — 344, 347, 356, 366—368
— «Всеобщая история церкви» («Allgemeine Kirchengeschichte») — 344, 347, 356

Дант (Данте) Алигьери (1265—1321) — 129, 134, 177, 178, 220, 383, 431, *459*, *479*
— «Божественная комедия» — *479*; «Ад» («Inferno») —129, *459*
Дарий Истапс (Дарий I Гистапс, Дарьявуш), персидский царь (522—486 до н. э.) из династии Ахеменидов — 159
«Две судьбы», поэма А. Н. Майкова (см.)
«Двое Фоскари», историческая драма Байрона (см.)
Де Мулен — см. Демулен
Де-Кандоль (De Candolle) Огюстен Пирам (1778—1841), швейцарский ботаник — 387
Декарт (Descartes) (лат. форма Cartesius, Картезий) Рене (1596—1650) —306, 372, 374, 412
Делавинь Жермен (1790—1868), франц. водевилист, соавтор либретто Скриба к операм «Фенелла» и «Роберт-Дьявол» — 313, *473*
Делавинь Казимир Жан Франсуа (1793—1843), франц. поэт и драматург — 245
Демулен Камилл (1760—1794)— 397, *480*
Денн, доктор — 212, *466*
Державин Гавриил Романович (1743—1816) — *439*
«Десятилетние исторические труды», соч. О. Тьерри (см.)
«Деяния Вацлава», поэма С. Гарчинского (см.)
«Дзяды», поэма А. Мицкевича (см.)
Дидро Дени (1713—1784) — 82, 206—208, *465*
— «Элевтероманы, или Одержимые свободой» — 206, 207, *465*
Диккенс Чарльз (1812—1870) — 178, *459*
— «Мартин Чазельвит» («Жизнь и приключения Мартина Чазельвита») — 178, *459*
Димитрий Самозванец — см. Лжедмитрий
Диоклециан (Диоклетиан) Гай Аврелий Валерий (ок. 245—313), римский император с 284 по 305 г., первый установил неограниченную монархию, жестокий гонитель христиан — 161, 366, 367
Дионисий (Великий) Александрийский (ум. в 264/5 г.), епископ александрийский, ученик и последователь Оригена (см.)— 358
Диоскорид (Диоскор) Александрийский (ум. в 464 г.)— племянник Кирилла Александрийского (см.), его преемник в борьбе с «еретиками» — 368
Дир — см. Аскольд и Дир
Дмитриев Михаил Александрович (1796—1866), писатель, поэт, консерватор —135, 244—245, *480*
«Дмитрий Самозванец», роман Ф. Булгарина (см.)
Дмитрий (Димитрий), царевич (1582—1591) — 38
Добантон Луи Жан Мари (1716—1800), франц. врач, сотрудник Бюффона (см.) — 146
Додашвили Соломон Иванович (Додаев-Магарский) (1805—1836), грузинский просветитель-революционер, сосланный в Вятку— 203, *464*
«Дож», действ. лицо в «Двое Фоскари» Байрона (см.)
Долгорукий Николай Андреевич, кн. (1792—1847), виленский генерал губернатор — 241, *468*
Донат (IV в.), епископ карфагенской церкви, именем которого называли себя «донатисты» —369
«Дон Жуан» Байрона (см.)
«Дон Кихот» Сервантеса (см.)
«Дон Карлос, инфант Испанский» Шиллера (см.)
«Дон Карлос, инфант Испании. Драматическое стихотворение Фридриха Шиллера. Перевод М. Лихонина» (см.)
Д. П. — см. Голохвастов Д. П.
Драшусов Владимир, журналист, редактор «Московского городского листка» — 177

Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), управляющий III отделением — 205, 213, 216, 275, *465*, *466*, *481*
Дубровины, помещики Калужской губернии — 380
«Дух законов» Монтескье (см.)
Дюма Жан Батист Андре (1800—1884), франц. химик — 149, 404
— «Лекции по химической философии» («Leçons sur la philosophie chimique») — 404
Дюпон де л'Ер (Dupont de l'Eure), Жак Шарль (1767—1855), министр юстиции во Франции в 1830 г.— 287

Евангелие—224
«Евгений Онегин» — см. Пушкин А. С.
«Европеец», ежемесячный журнал, издавался в Москве И. В. Киреевским в 1832 г.— 321, *474*
Евсевий кесарийский (ок. 264—340), епископ Кесарии Палестинской, историк раннехристианской церкви — 366, 367
Екатерина II (1729—1796), императрица—40, 69, 308, 312, 328, 340
Елагина (рожд. Юшкова, в первом браке Киреевская) Авдотья Петровна (1789—1877), племянница В. А. Жуковского, в доме которой собирались литераторы и ученые — 242, 244, 245
Елена Павловна (Фредерика Шарлотта Мария) (1806—1873), великая княгиня, жена вел. кн. Михаила Павловича — 325, 326
Елизавета (Тюдор) (1533—1603), королева Англии с 1558 г.— 291
Елисавета Петровна (1709—1761), императрица — 40

Жакото Жан Жозеф (1770—1840), франц. педагог — 74, *443*
Желябужский Иван Афанасьевич (1638—1709), дипломат, автор известных записок о петровском времени — 139
«Жидовка», опера Галеви (см.)
«Жидовка», либретто оперы Галеви Э. Скриба (см.)
Жорж Дандэн, действ. лицо в комедии Мольера (см.)
«Жорж Дандэн, или Одураченный муж», комедия Мольера (см.)
Жорж Санд (G. Sand) (псевдоним Авроры Дюдеван) (1804—1876)— 69, 222, 290, 371, 385, 442, *479*
— «Консуэло» («Consuelo») — 371; Барейтская маркграфиня — 371; Мария-Терезия — 371; Тренк— 371; Фридрих II — 371
— «Горас» («Орас») («Horace»)— 222, 223, *479*; Горас— 222, 223, 385, *479*; Ла-Равиньер — 223; Марта — 223
Жоффруа де Сент Илер (Geoffroy de Saint-Hilaire) Этьен (1772—1844), франц. естествоиспытатель — 148, 365, *456*
Жуи (Jouy) Виктор Жозеф Этьенн (1764—1846), франц. драматург, соавтор либретто Ипполита Би к опере Россини «Вильгельм Телль» — 313, *473*
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — 135

«Завоевание англичан норманами», соч. О. Тьерри (см.)
Занд Жорж — см. Жорж Санд
Заремба Яков, духовное лицо, друг отца Коперника — 105
Захаржевский Яков Васильевич (1780—1860), начальник царскосельского дворцового управления — 41
Захарьина Е. А.— см. Селина Е. А.
Захарьина Н. А. — см. Герцен Н. А.
Зевс (миф.) — 100, 210, 211
Зедергольм Карл Альбертович (1789—1867), пастор —139, 246, *454*
— «История древней философии, приспособленная к понятию каждого образованного человека» («История философии»)— 139, *454*
Зедергольм, жена К. А. Зедергольма — 246
Земеринг (Sömmering) Самуэль Томас (1755—1830), нем. анатом — 333
Зендавеста (миф.) — 130
Зерноевич, действ. лицо черногорской легенды, упоминаемой Мицкевичем (см.)

Зонненберг Карл Иванович (ум. после 1862 г.), гувернер Герцена — 131

Иббен — см. Монтескье, «Персидские письма»
Ибис (миф.) — 131, 431
Иван III Васильевич (1440—1505), великий князь московский — 47, 48, *441*
Иван IV Васильевич (Грозный) (1530—1584), царь — 47, 48, 187, 339, 355, *441*
Игорь (ум. в 945 г.), великий князь киевский — 44
«Известная книга» — см. Тиссо
Иегова (библ.) — 207, 357
«Из жизни Гегеля», соч. Розенкранца (см.)
«Изложение, развитие и критика философии Лейбница», соч. Л. Фейербаха (см.)
Измаил (библ.) — 157, *457*
«Илиада» — см. Гомер
Император — см. Феодосий I
Иоакинф — см. Бичурин
Иоанн (Иван VI) Антонович (1740—1764) — 40, 427
Иоанн (Богослов) (библ.) — 88, 347, *444*
— «Откровение Иоанна Богослова» — 88, *444*
Иоанн Златоуст (ок. 347—407), архиепископ константинопольский — 368
Иордан Вильгельм (1819—1904) — нем. писатель и общественный деятель — 361, *477*
— «Философия и всеобщая наука, вступление в критику философии вообще» («Die Philosophie und die Allgemeine Wissenschaft, ein Beitrag zur Kritik der Philosophie überhaupt») — 361, *477*
Иосиф — см. Флавий Иосиф
Иосиф I (Габсбург) (1678—1711), с 1705 г. римско-германский император—299
Исаакий Далматский (ум. 383), игумен Далматской обители; его имени был посвящен Исаакиевский собор — 229
Искандер, псевдоним Герцена — *432*, *438*, *441*, *443*, *454* («И-р»), *456*, *458*
«История десяти лет», соч. Луи Блана (см.)
«История древней философии...» Зедергольма (см.)
«История естественных наук», соч. Кювье (см.)
«История натурфилософии от Бэкона до Лейбница», соч. Шиллера (см.)
«История новой философии от Бэкона до Спинозы», соч. Л. Фейербаха (см.)

К.— см. Кетчер Н. Х.
«К вельможе», стих. Пушкина (см.)
«К не нашим», стих. Языкова (см.)
«К Соединенным Штатам», стих. Гёте (см.)
«К Чаадаеву», стих. Языкова (см.)
«Кавказские проделки» — см. «Проделки на Кавказе»
Калиостро Алессандро, гр. (Джузеппе Бальзамо) (1742—1795), итальянский авантюрист — 189
Казимир — см. Перье
«Каин», поэма Байрона (см.)
Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681) — 363, 477
— «Саламейский алькад» («L'Alcade de Zalameya») — 363, *477*; Дон Лопо (Don Lopo) — 363, *477*; Этимелла (Etimelle) — 363, *477*; Криспо (Pedro Crispo) — 363, *477*
Кало Карл Иванович (ум.в 1842 г.), камердинер Л. А. Яковлева — 203, 464
Камбиз (начало VI века до н. э.), древне-персидский царь — 130, 131, 431.
Кампер (Camper), Петр (1722—1789), голландский анатом, предшественник Кювье (см.)—147
Кампиони Сантин Петрович, скульптор — 236
Канкрин Егор Францевич (1774—1854), министр финансов при Николае I — 326
Кант Иммануил (1724—1804) — 86, 114, 298, 305, 409, *444*
«Капитан Сурмин» — см. Языков Н. М., «Сержант Сурмин»
Капфиг (Capefigue) Жан Баптист Онорэ Раймонд (1802—1872) франц. публицист и историк — 8
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — 37, *433*, *449*

Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879)
— «Булочная, или Петербургский немец» — 185; Карлуша — 185
Кардан (Hieronimus Cardanus, по итал. Girolamo Cardano) (1501—1576), итал. математик, философ и врач — 120
— «Автобиография» («De vita propria») — 120
«Карл Смелый» — см. Россини
Карл Великий (742—814), франкский король с 768 г., с 800 г. император — 166, 297
Карл I (Стюарт) (1600—1649), король Англии с 1625 г.— 292, 293
Карл II (Стюарт) (1630—1685), король Англии с 1660 г. — 293
Карл X (граф д'Артуа) (1757—1836), король Франции с 1824 по 1830 г.— 284
Карл VI Иосиф Франц («соперник») (1685—1740), последний из дома Габсбургов, с 1711 г. римско-германский император—299
Карл Моор, действ. лицо в драме «Разбойники» Шиллера (см.)
Карлуша, действ. лицо в водевиле «Булочная...» П. Каратыгина (см.)
Каррель (Carrel) Арман (1800—1836), франц. публицист, революционер — 9, 293, 294, 321
— «История контрреволюции в Англии» («Histoire de la contre-révolution en Angleterre») — 293
Кассандра — см. Шиллер, «Кассандра»
Катерина, горничная в доме Герценов — 219, *466*
Катон Младший, Марк Порций Утический (95—46 до н. э.), вождь республиканской партии, во время гражданской войны покончил с собой, узнав о победе Цезаря — 159
Катон Старший, Марк Порций (234—149 до. н. э.) — 76
Кент, действ. лицо в трагедии «Король Лир» Шекспира (см.)
Кеплер Иоганн (1571—1630) —103, 107
Кеппен Петр Иванович (1793—1864), академик, географ и этнограф — 108
Кестнер (Kästner) Авраам Готгельф (1719—1800), нем. математик и поэт — 267, 268, *470*
«Доброе сердце» («Ein gutes Herz») — 267, 268, *470*
Кетчер («К») Николай Христофорович (1806 — 1886), друг Герцена, член его кружка — 239, 248, 275, 276, 286, 309, 314, 318, 324, 329, 353 355, *443*, *446*, *447*, *473*, *474*
Кине (Quinet) Эдгар (1803—1875), франц. историк, писатель, политический деятель — 210, 211, *465*
— «Прометей» — 211, 212
Киприан (Фасций Цецилий) Карфагенский (ум. в 258 г.), епископ карфагенский с 248 г., богослов— 357
Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — 136, 137, 242, 244, 245, 258, 273, 274, 281, 311, 321, 353, 354, 379, 389, 397, 399, 404, *452*, *454*, *474*, *480*
— «Девятнадцатый век»— 321, *474*
— «Жизнь Стефенса» — 138
— «Обозрение современного состояния словесности» — 137
Киреевский Петр Васильевич (1808—1856) — 242, 244, 309, 311, 354, 397, 399, 403, 404, 406
Кирилл Александрийский (ок. 376—444), патриарх Александрии, председательствовал на III Вселенском соборе, осудившем Нестория, инспирировал убийство женщины-философа Гипатии — 368
Киселев Павел Дмитриевич (1788—1872), министр госуд. имуществ с 1837 по 1856 г.— 322, 326, 391, *474*
Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869), главноуправляющий путей сообщения и публичных зданий, приближенный Николая I — 256, 260, 320, 326, 349, *470*
Клеопатра (69—30 до н. э.), египетская царица — 67, 127
Клоц (Клоотс) (Cloots) Анахарсис (настоящее имя Жан Батист) (1755—1794), политический деятель французской буржуазной революции, пропагандист идеи всемирной республики — 39, 427
Козегартен Вильгельм — 281
Козловский Петр Борисович, кн.

(1783—1840), печатался в «Современнике» Пушкина — 331
«Колокол», повременное издание Герцена и Огарева, выходившее в Лондоне и Женеве (1857—1867)— 177
Колосс Родосский, статуя III в. до н. э. — 88
Колумб Христофор («великий генуэзец») (1451—1506) — 115, 319
Кольбер Жан Батист (1619—1683), министр Людовика XIV — 296
Конарский Шимон (Симон) (1808—1839), польский революционер, казнен в Вильне за организацию революционного общества — 241
Консидеран (Considérant) Виктор (1808—1893), франц. социалист-утопист — 358, 359, 361
— «Социальная будущность» («Destinée sociale»)— 358, 359
Константин (ок. 274—337), римский император в 306—337 г., сторонник христианства — 358, 366, 367
«Константину Аксакову», стих. Языкова (см.)
Констанций II (317—361), римский император — 367
Коньяр — 387. *479*
— «Бедный Жак» — 387, *479*
Коперник Николай (1473—1543)— 103—107, *446*
Коптев Дмитрий Иванович (1821—1867), литератор — 397
Кордэ Шарлотта (1768—1793) — 85
Корнелия (II в. до н. э.), по преданию мать Гая и Тиберия Гракхов — 69
«Король Лир», трагедия Шекспира (см.)
«Король» (стр. 326) — см. Георг III
«Король-философ» — см. Фридрих II
Корш Александр Евгеньевич(1845—1898) — 370
Корш Евгений Федорович (1810—1897), редактор «Московских ведомостей», западник — 318, 370, 371, 396
— «Бретань и ее жители» — 194, *460*
Корш (рожд. Рейссиг) Софья Карловна (1822—1889), жена Е. Ф. Корша — 370
«Космос», труд А. Гумбольдта (см.)
Котельников, персонаж устных рассказов М. С. Щепкина (см.)
Кошихин (Котошихин) Григорий, Карпович (ок. 1630 — ок. 1667), подьячий в посольском приказе, бежавший в Швецию; автор книги о государственном устройстве и быте России в XVII в.— 40, 139, 198, 342, *460*
Коцебу (Kotzebue) Август-Фридрих Фердинанд (1761—1819), нем. реакционный писатель — 52, 118, 136, *449*, *452*
Краевский Андрей Александрович (1810—1889), редактор «Отечественных записок» — 245, 404, *451*, *452*, *456*, *457*, *477*, *480*
Красинский Зыгмунт (Сигизмунд) (1812—1859), польский поэт, националист — 343, *476*
— «Небожественная комедия» («Comédie infernale», «Nieboska Komedja») — 343, *476*; Граф Генрих — 343, *476*
Криспин, действ. лицо в комедии «Криспин, соперник своего господина» Лесажа (см.)
Кромвель Оливер (1599—1658)— 291, 294, 297
Крылов Никита Иванович (1807—1879), профессор Московского ун-та по кафедре истории, цензор — 241, 371, *478*
Крылова, жена Н. И. Крылова — 371
Крюков Дмитрий Львович (1809—1845), филолог, профессор римской словесности и древностей в Московском ун-те — 408, 410, *481*
Ксенофонт (ок. 430—354/5 до н. э.), древнегреческий историк и философ — 147
Ксеркс (V век до н. э.) — древнеперсидский царь — 157, 158, 211
Кузень (Кузен) (Cousin) Виктор (1792—1867), франц. философ-идеалист, эклектик — 8, 127
«Курс славянской литературы» — см. А. Мицкевич
Курций Марк, герой древнеримской легенды — 79, *443*
Куторга Михаил Семенович (1809—1886), историк, цензор — 256, 260, 470
Кучина — см. Пассек Т. П.

Кювье (Cuvier) Жорж (1769—1832)— 145—147, 287, *454*, *456*
— «Животное царство» («Règne animal») — 146
— «История естественных наук» («Histoire des sciences naturelles») — 145
— «Палеонтография» — 147
Кюстин (Custine) Адольф, маркиз (1790—1857), франц. литератор, путешественник; был в 1839 г. в России — 311—313, 315, 331, 340, *473*
— «Россия в 1839 году» («La Russie en 1839»), ч. 1 — 315, *473*
— «Россия в 1839 году» («La Russie en 1839»), ч. 4—311, 313, *473*

Лабенский Ксаверий Ксаверьевич (1800—1855), русский дипломат— 340, *475*
— «Слово по поводу книги г-на де Кюстина „Россия в 1839 году“» («Un mot sur l'ouvrage de M. Custine „La Russie en 1839“»)— 340, *475*
Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794) — 404
Лама (в Казани) — лицо неустановленное — 327
Ламеттри (Ла Метри) Жюльен Офрэ (1709—1751), франц. врач и философ-материалист — 268
Ла-Равиньер, действ. лицо в романе Ж. Санд «Горас» (см.)
Лас-Каз (Las Cases) Огюст Эммануэль. гр. (1766—1842), приближенный Наполеона, написал его биографию — 101, 378
Лафайет де (La Fayette) Мари Жан Поль, маркиз (1757—1834), политический деятель; участвовал в борьбе американцев за их независимость; позднее либерал-монархист — 83, 297
Лафарж (рожд. Капелль) Мария Фортюнэ (1816—1852) — 79, *443*.
Лачинова Екатерина Петровна (псевдоним — Е. Хамар-Добанов) — 371, *478*
— «Проделки на Кавказе» — 371, *478*
Лебр А. — 274, 275, *471*
— «Современный кризис немецкой философии» («Crise actuelle de la philosophie allemande»)— 274, 275, *471*
Лев I Великий, римский папа с 440 по 461 г.— 368
Легран, владелец ресторана в Петербурге — 190, 192
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1715/16) — 362, 372, 374, 392, 434, *477*
«Лейпцигская газета»— см. «Zeitung für die elegante Welt»
«Лекции по химической философии» Дюма (см.)
«Лекции по эстетике» Гегеля (см.)
Ленский — см. Пушкин, «Евгений Онегин»
Лео Генрих (1799—1878), нем. буржуазный историк, консерватор— 113
Лепешкин, купец, владелец бумагопрядильной фабрики в Москве—380, 478
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 221, 433
Леру (Leroux) Пьер (1797—1871), франц. мелкобуржуазный социалист-утопист — 8, 408
— «Новая энциклопедия» — 8
— «Опровержение эклектизма, в котором дается истинное определение философии...» («Refutation de l'eclectisme où se trouve exposée la vraie definition de la philosophie...»)—8
Лесаж (Le Sage) Ален Рене (1668—1747), франц. сатирик, романист
— «Кришпин — соперник своего господина» — 98; Кришпин — 98
Лессинг Готгольд Эфраим (1729—1781) — 208, 298, 300, 303, 330, 372, 392, 434, *472*
— «Воспитание рода человеческого» — 298, *472*
Лжедмитрий I (ум. в 1606 г.) — 364, *477*
Лжедмитрий II (Тушинский вор) (ум. в 1610 г.)—364
Либих (Liebig) Юстус (1803—1873)—149, 387, *445*
Линней Карл (1707—1778)—143—146, 444
Лир, действ. лицо в трагедии «Король Лир» Шекспира (см.)
Лист Ференц (1811—1886) — 279, 280, 411, *471*

«Литературный вечер», московский альманах «Памяти Пассека», изд. в 1843 г.— 241, *468*
Лихонин Михаил Николаевич (1802—1864), переводчик и стихотворец — 104, 135, 397, *453*
— «Век и ум» — 104
— «Дон Карлос, инфант Испании. Драматическое стихотворение Фридриха Шиллера. Перевод М. Лихонина—1828»—135, *453*
Лихтенберг Георг Кристоф (1742—1799), нем. физик и писатель-сатирик, издавал вместе с Форстером журнал — 330
Локк Джон (1632—1704), англ. философ-сенсуалист, дуалист — 374
Лудвиг-Филипп (Луи-Филипп) (1773—1850), король Франции в 1830—1848 гг. —284, 287, 294, 309, 321, *474*
Лука-евангелист (библ.) — 161, 344, *458*
— «Деяния святых апостолов»— 161, *458*
Лукреций Кар (98—55 до н. э.) — 67, 209, 218
— «О природе вещей» («De rerum natura») — 67, 218
Людвиг I Баварский (1786—1868), король Баварии — 273, *471*
— «Товарищи по Валгалле»(«Walhalla's Genossen») — 103, 273, *471*
Людовик (Людвиг) XI (Валуа) (1423—1483), король Франции— 168, 169
Людовик (Людвиг) XIV Великий (1638—1715), король Франции— 169, 172, 208, 295, 296, 299
Людовик (Людвиг) XV (1710—1774), король Франции — 302
Людовик (Людвиг) XVI (1754—1793), король Франции — 292
Лютер Мартин (1483—1546) — 95, 96, 115, 230, 357, *445*
— Псалом Лютера «Die feste Burg...»— 96, *445*

М.— см. Медведева П. П.
Мабли (Mably) Габриель Бонно, де (1709—1785), аббат, франц. утопический коммунист — 9
Магдалина (библ.) — 202
Мадай Карл Отто (1809—1850), профессор уголовного права в Дерптском ун-те — 325, 326, *475*
— «События в Дерпте в ноябре 1842 г.» — 325, 326, *475*
Мадзини — см. Маццини
Мажанди (Magendie) Франсуа (1783—1855), франц. естествоиспытатель — 149
Майендорф (Мейендорф) Александр Казимирович (1798—1865) —326
Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — 197, 411
— «Две судьбы» — 197, 411
Макиавелли (Machiavelli) Никколо ди Бернардо (1469—1527) — 171
Макс Пикколомини, действ. лицо в драматич. трилогии «Валленштейн» Шиллера (см.)
Максим, действ. лицо в черногорской легенде, упоминаемой А. Мицкевичем (см.)
Манилов, см. «Мертвые души» Гоголя
Марат Жан Поль (1743—1793) — 348
Маргейнеке (Маргайнеке) Филипп-Конрад (1780—1846), нем. богослов, правый гегельянец — 230
— «Введение к публичным лекциям о значении гегелевской философии в христианской теологии. С приложением особого мнения о критике Б. Бауэром евангельской истории» — 230, *467*
Маржерет (Margeret) Жак (XVI—XVII в.), франц. авантюрист — 189, 364, *477*
— «Состояние российской державы и великого княжества Московского с присовокуплением известий о достопамятных событиях, случившихся в правление четырех государей с 1590 года по сентябрь 1606» — 189, *477*
Марина, действ. лицо в исторической драме «Двое Фоскари» Байрона (см.)
Мария Магдалина (библ.) — 202
Мария (библ.) — 69
Мария-Терезия (1717 — 1780), эрцгерцогиня австрийская—371
Мария-Терезия, действ. лицо в романе «Консуэло» Жорж Санд (см.)
Маркевич Николай Андреевич (1804—1860), украинский писатель и историк — 331

— «История Малороссии» — 331
Мармье Ксавье (1809—1892), франц. писатель, путешественник — 221
Марс (миф.) — 420
«Марсельеза», французская революционная песня (автор — Руже де Лиль); с 1887 г. государственный гимн Франции — 313
Марта, действ. лицо в романе «Горас» Ж. Санд (см.)
«Мартин Чазелвит», роман Ч. Диккенса (см.)
Марфа (библ.) — 69
Марфа-посадница (Марфа Ивановна Борецкая; XV в.) — 48
«Марфа-Посадница», рассказ М. П. Погодина (см.)
Марцион (Маркион) (II в.), философ, гностик — 356
Матвей Савельевич, слуга Герцена — 285, 286, *472*
Маццини (Мадзини) (Mazzini) Джузеппе (1805—1872), итальянский революционер — 321, 363, *473*
«Маяк» («Маяк современного просвещения и образованности»)— ежемесячный, крайне реакционный журнал, издававшийся в Петербурге С. А. Бурачком и П. А. Корсаковым в 1840—1841 гг. и одним Бурачком в 1842—1845 гг.— 116, 119, 134, 135, 190, 386, 429, 430, *448*, *453*, *459*
— «Отчет Маяка современного просвещения, искусства и образованности за 5 лет» — 135, 386, *453*, *478*, *479*
Медардус, действ. лицо в романе «Элексир дьявола» Т. А. Гофмана (см.)
Медведева Прасковья Петровна («М.») (ум. в 1860 г.), вятская приятельница Герцена — 222, *467*
Медведевы, знакомые Герцена— 238
Медуза (миф.)—282
Мейербер Джакомо (Якоб Либман Бер) (1791—1864), композитор— 58, *470*
— «Роберт-Дьявол»—58, 262, *442*, *470*
Мельхиседек, архимандрит — 238
«Мемуары Барэра...» — см. Барэр
Меншиков Александр Сергеевич, кн. (1787—1869), начальник Морского штаба, фаворит Николая I— 326
Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — 195
— «Освобожденный Иерусалим» Тассо, перевод Мерзлякова — 195
Меровинги, франкская королевская династия (481—769) — 7, 10
«Мертвые души», поэма Гоголя (см.)
Местр (de Maistre) Жозеф, гр. (1753—1821), идеолог феодально-монархической контрреволюции — 342
Меццофанти Джузеппе (1774—1849), кардинал, известный полиглот — 117
«Мизантроп», комедия Мольера(см.)
Мизко Николай Дмитриевич (1818—1881) — 276, *471*
— «Голос из провинции о поэме Гоголя „Похождения Чичикова, или Мертвые души“» — 276, *471*
Минин (Сухорук) Кузьма Захарьевич (ум. в 1616 г.)—97, 119, 429
Минкина (Настасья Наложница), Настасья, фаворитка Аракчеева — 47, 48, *441*
Мирабо Оноре Габриель (1749—1791) — 203, 230, 405, *481*
Митридат (Мифрадат) VI Евпатор Дионис Великий (132—63 до н. э.), понтийский и босфорский царь— 75
Михаил Федорович («мальчик») (1596—1645), царь с 1613 г., основатель династии Романовых—364
Мицкевич Адам (1798—1855) — 263, 309, 315, 333, 335, 338, 342, 343, *470*, *473*, *476*
— «Дзяды» («Dziady) — 263—265, *470*
— «К польской матери» («A une mère polonaise», «Do matki Polki»)—2, 264, 265, *470*
— «Курс славянской литературы» («Cours de la littérature slave»)— 309, 333, 335, 338, 339, 342, 343, *473*, *475*; Зерноевич — 339; Максим — 339
Мишле Жюль (1798—1874), франц. историк — 8
Моисей (библ.)—303
Молох (библ.) — 321
Мольер Жан Батист (Поклен) (1622—1673) — 50, 99, *442*, *443*

— «Жорж Данден, или Одураченный муж» — 50, *442*; Жорж Данден — 50, *442*
— «Мещанин во дворянстве» — 267, *443*
— «Мизантроп» — 99, *445*
Монтескье Шарль Луи де Секонда (1689—1755) — 151, 168, 208, 246, 301, 302, *457*, *458*
— «Дух законов» («Esprit des Lois») — 168, *457*, *458*
— «Персидские письма» («Восточные письма») («Lettres persanes») — 151, *457*; Иббен (Ibben) — 151; Узбек (Usbek)— 151
Моор Карл, действ. лицо в драме «Разбойники» Шиллера (см.)
Мордвинов Александр Николаевич (1792—1869), управляющий III отделением в 30-х годах XIX в.— 205, 322
Морошкин Федор Лукич (1804—1857), профессор Московского ун-та по кафедре права — 235, 341, 342
— «Речь об уложении царя Алексея Михайловича и о последующем его развитии» — 341
Мортье (Mortier) Эдуард Адольф Казимир, герцог (1768—1835), франц. маршал, губернатор Москвы в 1812 г.— 189
«Москвитянин», славянофильский журнал, издававшийся М. П. Погодиным — 37, 103—107, 116, 117, 119, 132—139, 194, 195, 197, 198, 240, 246, 319, 320, 353, 389, 391, 405, 431, 433, *447*, *448*, *450—452*, *468*, *471*, *474*, *479*, *481*
«Московский городской листок», ежедневная газета, издававшаяся В. Драшусовым в 1847 г.— 177
«Московские ведомости», ежедневная газета, издававшаяся с 1756 года Московским университетом — 194, 247, 316—319, 349, 359, *447*, *450*, *459*, *474*, *476*
«Московские губернские ведомости», еженедельная газета, издававшаяся в 1838—1894 гг.— 138
Мостлин (Местлин) (Möstlin) Михаэль (1550—1631), профессор математики и астрономии, учитель Кеплера, защитник учения Коперника — 107
Муммол (Ennius Mummolus) Еоний (Энний) (ум. в 585 г.), франкский военачальник — 11

Наполеон I Бонапарт (1769—1821)— 35, 36, 77, 120, 175, 188, 189, 296—298, 378, *448*
Нарваэз дон Рамон (Narvaez) (1800—1868), испанский государственный деятель — 400
Нарышкина Наталья Кирилловна (в замуж. Романова) (1653—1694), царица, мать Петра I — 348
Нассауский герцог — см. Адольф
Нахимов Платон Степанович, инспектор Московского ун-та — 407, *481*
Неелов Николай Дмитриевич, литератор — 397
Ней (Ney) Мишель (1769—1815), франц. маршал — 189
Немезида (миф.) — 127, 269
Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37—68), римский император — 366
Нестор (1056 — ок. 1114), монах Киево-Печерского монастыря, автор сказаний и «Житий» — 335
Нестор (Несторий) (ум. в 451/2 г.), архиепископ константинопольский — 368
Нибур (Niebuhr) Бартольд Георг (1776—1831), нем. историк древнего Рима и Греции — 170
Никитенко Александр Васильевич (1804/5—1877), цензор, автор известных мемуаров—256, 260, *470*
Николай I (1796—1855), император — 216, 277, 329, 340, 346, 359, 371, 380, 397, 412, 413, *465*, *466*, *468—470*, *472*, *476—479*, *481*
Никон (Никита) (1605—1681), патриарх московский и всея Руси, пользовался огромной властью при царе Алексее Михайловиче, но в конце жизни был выслан— 368
«Новая энциклопедия», изд. П. Леру (см.)
«Новый органон», соч. Ф. Бэкона (см.)
Ноздрев — см. «Мертвые души» Гоголя
Ньютон Исаак (1642—1727) — 83, 103, 106, 107

«О возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение», статья С. Шевырева (см.)
«О некоторых новых палеонтологических работах» статья С. V. (см.)
«О Пруссии и ее владычестве в отношении политических и религиозных преимуществ в новых провинциях», статья Гюстава де Файи (см.)
«О справедливости в революции и религии», книга Прудона (см.)
«Об образе жизни животных», книга Рулье (см.)
Обер (Auber) Даниель Франсуа (1782—1871), франц. композитор — 313, *473*
— «Фенелла, или Немая из Портичи» («Fenella») — 313, *473*
«Обозрение словесности русской за 1842 г.», статья Шевырева (см.)
«Общественный договор», соч. Руссо (см.)
Огарев Николай Платонович (1813—1877)—213, 214, 216, 218, 225, 239, 240, 256, 265, 272, 276, 277, 280, 282, 283, 301, 324, 358, 374, 385, 400, 409, 412 *438*, *442*, *463*, *466*, *468—472*, *478—480*
Огарева (рожд. Рославлева) Марья Львовна (ок. 1817—1853)—213, 239, 240, 272, 383, 385, *466*
Одюбон (Audubon) Джон Джемс (1780—1851), американский орнитолог — 146
Окен (Oken) Лоренц (1779—1851), нем. натурфилософ — 148, *456*
О'Коннель (O'Connel) Даниель (1775—1847), ирландский политический деятель — 380, *478*
Октавиан — см. Август
Олег (IX—X вв.), великий князь киевский — 44
Олозага Дон Салюстиано (de Olozaga) (1803—1873), испанский государственный деятель — 326
Онегин — см. «Евгений Онегин» Пушкина
«Опыт краткой истории русской литературы», соч. Н. И. Греча (см.)
«Опыт социальной палингенезии», соч. Балланша (см.)
д'Орбиньи Альсид Дессалин (1802—1857), франц. геолог и палеонтолог — 365
Оранский — см. Вильгельм Оранский
Ориген (ок. 185—ок. 254), раннехристианский (александрийский) богослов и философ — 357
Орлов Алексей Федорович, гр. (1786—1861), с 1844 г. начальник III отделения — 371, 404, *481*
Орлов Михаил Федорович (1788—1842), декабрист — 201—203, 220
Ормузд (миф.) — 130, 131
Орфила (Orfila) Матео (1787—1853), франц. врач, профессор медицины и токсикологии — 79, *443*
«Освобождение негров во французских колониях», анонимная статья в «Московских ведомостях» — 349, *476*
«Освобожденный Иерусалим», соч. Торквато Тасса в перев. Мерзлякова (см.)
Оссиан — легендарный герой шотландских преданий III в.; в XIX в. под его именем вышли поэмы Макферсона — 68
Остерман Иван Андреевич, гр. (1725—1804), дипломат, государственный канцлер при Павле I—93
Островский Антон Ян (1782—1845), польский писатель — 359
«Отелло», трагедия Шекспира (см.)
Отелло, действ. лицо в одноименной трагедии Шекспира (см.)
«Отечественные записки», ежемесячный журнал. С 1839 по 1868 г. редактор А. А. Краевский; в 1840—1845 гг. журналом фактически руководил В. Г. Белинский — 7, 119, 132, 194, 222, 233, 241, 245, 246, 268, 275, 276, 281, 317, 319, 329, 389, 396, 404, 405, 412, *445*, 451, *452*, *456*, *457*, *478—480*
«Отказ», стих. Беранже (см.)
«Откровение Иоанна Богослова»—см. Иоанн
«Отрывки из путешествия Онегина» — см. Пушкин
«Отрывок из путевых записок», соч. М. Погодина (см.)
«Отчет „Маяка"... за 5 лет»— см. «Маяк»

«Ох, французы!» — наборная повесть из былей, по-русски написанная Ростопчиным Ф. (см.)

Павел, «апостол» (библ.) — 101, 347, 356, 358
Павел Диакон (Варнефрид) (ок. 720—800), средневековый историк — 339
— «Лангобардские рассказы» — 339
Павел I (1754—1801), император — 40, 314, 340, 347, 386, *440*
Павел III (Александр Фарнезе), римский папа в 1534—1549 гг., Коперник посвятил ему свое сочинение «Об обращении небесных сфер» — 106
Павлов Иван Васильевич, студент Московского ун-та в начале 40-х годов, друг М. Е. Салтыкова — 390, 396, 404, *480*
Павлов Николай Филиппович (1805—1864), писатель — 280, *471*
Павлова (рожд. Яниш) Каролина Карловна (1810—1894), поэтесса и переводчица — 265
Пандора (миф.) — 419
Панов Василий Алексеевич (1819—1849), славянофил — 138, *453*
«Параллель русской истории с историей западных государств, относительно начала», статья Погодина (см.)
«„Парижские тайны" Э. Сю», статья В. Г. Белинского (см.)
«Парижские тайны», роман Эж. Сю (см.)
Паскаль Блез (1623—1662) — 77
Пассек Вадим Васильевич (1808—1842), университетский товарищ и член кружка Герцена начала 30-х годов; затем отошел от передовых кругов — 235—238, *467*
Пассек Татьяна Петровна, рожд. Кучина («Темира») (1810—1889), двоюродная сестра Герцена, жена В. В. Пассека — 236—239, *451*
Паста Джудита (Юдифь) (1798—1865), итальянская певица — 217
Паулус Генрих Эбергарт Готлиб (1761—1851), нем. теолог, ученик Гегеля — 114, *447*
«Переписка Гёте с ребенком», книга Беттины фон Арним (см.)
«Переписка Иоганна Георга Форстера» — см. Форстер
«Переписка Шиллера с Гёте» — см. Гёте
Перне (Pernet) Луи, франц. адвокат, живший в Петербурге — 312, *472*
Перовский Лев Алексеевич (1792—1856), министр внутренних дел с 1841 по 1852 г. — 326
Перье (Perrié) Казимир (1777—1832), франц. банкир, государственный деятель июльской монархии — 284
Перу, владелец кондитерской в Москве — 131
Перхуновский — 433
Петр, «апостол» (библ.) — 356
Петр I («северный путешественник») (1672—1725), император — 34, 35, 38, 44, 45, 47, 84, 137, 186, 188, 195, 196, 241, 263, 288, 299, 300, 312, 337—339, 341—343, 348, 349, 386, 408, 427, *458*
Петр III Федорович (1728—1762), император — 40, *440*
Пилат Понтий (библ.) — 255, 434
Пиль (Peel) Роберт (1788—1850), премьер-министр Англии в 1830 и 1841—1846 гг.— 135, 203, *464*
Пинетти, фокусник — 189
«Письма об истории Франции», соч. Ог. Тьерри (см.)
«Письма с дороги», соч. Н. Греча (см.)
Пифия (миф.) — 104
Платон (ок. 427—347 до н. э.) — 119, 230
Плиний Гай Секунд Старший (23—79) — 140, 144, 208, 229
Плутарх (ок. 50 — ок. 135) — 116, 213, 286, 380
Плюшкин — см. «Мертвые души» Гоголя
Победоносцев Сергей Петрович (1816—1850), литератор—103—107, *446*
— «Голос за правду (Николай Коперник)», статья в «Москвитянине» — 103—107
«Побочная дочь Альмавивы» — см. Флорестина
Погодин Михаил Петрович («Вёдрин») (1800—1875)—108, 109, 110, 116—120, 133, 134, 136, 137,

194—198, 320, 389, *447*, *448*, *449*, *452*, *453*, *459*, *460*, *470*, *480*
— «За русскую старину» — 194—198
— «Марфа-Посадница» — 120, 195
— «Отрывок из путевых записок»— 134
— «Параллель русской истории с историей западных государств, относительно начала» — 120, 133, 136, 137, *452*
— «Путевые записки» — 108—110, 120
Погодина (рожд. Вагнер) Елизавета Васильевна (ум. в 1847 г.), жена М. П. Погодина — 389
Пожарский Дмитрий Иванович, князь (1578— ок. 1641) — 119
Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — 39, *440*
Полина, действ. лицо в пьесе «Восемь лет старше» Арну и Фурнье (см.)
«Полководец», стих. Пушкина (см.)
«Полубезумный меланхолик» — см. Филипп V
«Полярная звезда», сборники, издававшиеся Герценом в Лондоне в 1855—1869 годах, с 1856 г.— совместно с Огаревым — 43, 177, *439*, *441*
Помарэ (Помара) IV Аймата (1822—1877), королева Таити — 134, 135
Помбаль Себастиан Хозе де Карвальо, маркиз (1699—1782), португальский государственный деятель — 308
Попов, московский домовладелец — 134
«Последний день Помпеи», картина Брюллова (см.)
Поссевин Антоний (1533—1613), итальянский дипломат, иезуит, был в России и написал о ней книгу — 189
«Похоронная песня Иоакинфа Магдановича» — см. Пушкин
«Почтовая карета», водевиль К. С. Аксакова (см.)
Прево (Prévost) Антуан Франсуа д'Экзиль, аббат (1697—1763), франц. писатель
— «Manon Lesco» («Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut», «Manon Lescaut») — 225, 226; Manon — 225, 226
«Предрассудок! Он обломок давней правды», стих. Баратынского (см.)
«Прикованный Прометей», трагедия Эсхила (см.)
Причард, английский консул на острове Таити — 134, *452*
Про де, французский путешественник — 241, *468*
«Проделки на Кавказе», роман Хамар-Дабанова (см.)
«Прометей», драматич. отрывок Гёте (см.)
«Прометей», трилогия Кине (см.)
Прометей (миф.) — 157, 211
Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809—1865) — 61, 267, 320, 321, 391, 408, 409, *442*, *470*, *474*, *479*
— «О справедливости в революции и религии» («De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise») — 61, *442*
— «Создание порядка в человечестве, или Принципы политической организации» («De la Création de l'ordre dans l'humanité ou Principes d'organisation politique») — 408
— «Что такое собственность, или Изыскания о принципе права и государства» («Qu'est-ce que la propriété ou Recherches sur le principe du droit et du gouvernement») — 320, 321, 391, *470*, *474*, *480*
Пруц (Прутц) Роберт (1816—1872), нем. литератор — 243, 246, *469*
— «Литературно-историческая карманная книжка на 1843 г.» («Пруцов Альманах») («Literarhistorisches Taschenbuch») — 243, 246, *469*
Психея (миф.) — 60
Птоломей Клавдий (2 в.) — 106
— «Альмагеста» (или «Амальгест») — 106
«Публичные лекции об истории средних веков г. Грановского...», статья С. Шевырева (см.)
«Пушшевая песня», стих. Ф. Шиллера (см.)
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 37, 85, 88, 189 220—221, 263, 322, 332, 343, 433, *444*, *459*, *464*, *465*, *474*, *475*
— «Граф Нулин» — 195, *460*

— «Евгений Онегин» — 65, 88, 195, 220, 221, 332, 442, 444, 475; Ленский — 85, 220, 221; Татьяна — 85; Онегин — 85
— «К вельможе» — 188. *459*
— «Медный всадник» — 188, *459*
— «Орлову»— 322, *474*
— «Отрывки из путешествия Онегина» — 218, *466*
— «Похоронная песня Иоакинфа Магдановича» — 212, *465*, *466*
— «Полководец» — 202, *464*
«Путевые записки», соч. М. Погодина (см.)
«Пчела» — см. «Северная пчела»
«56 стихотворений Языкова», рецензия в «Отечеств. записках»— 396, *480*

Рабле Франсуа (ок. 1483—1553) — 140
— «Гаргантюа и Пантагрюэль» — 140; Гаргантюа — 140
Рабус Карл Иванович (1800—1857), посредственный русский живописец — 397
«Разбойники», драма Ф. Шиллера (см.)
Расин Жан (1639—1699) — 113
Распайль (Raspail) Франс Винсент (1794—1878), франц. естествоиспытатель и политический деятель (республиканец — радикал) — 79, 149, *443*, *456*
Рахель — см. Варнгаген фон Энзе
«Реакция в Германии», статья М. Бакунина (см.)
Редкин Петр Григорьевич (1808—1891), профессор Московского ун-та, юрист — 331, 352, 376
— «Юридические записки» — 331
Рейнгольд Карл Леонгард (1758—1823), нем. философ, популяризатор Канта — 308, 309, *473*
Рейнгольд, отец Карла Рейнгольда — 308, 309, *473*
Рейхель Александр Казимирович— 209, *465*
Ретшер (Ротшер) Генрих Теодор (1803—1871), нем. критик, автор работ по эстетическим вопросам, гегельянец—60, *442*
- «Родственные натуры» Гёте в их всемирно-историческом значении, рассматриваемые с точки зрения нравственной и художественной ценности» («Die Wahlverwandschaft von Goethe in ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung, ihrem sittlichen und künstlerischen Werte nach entwickelt») — 60, *442*
«Речь об уложении царя Алексея Михайловича...» Ф. Морошкина (см.)
Рихтер Михаил Вильгельмович (р. в 1799 г.), врач-гинеколог, доктор медицины, профессор Московского ун-та — 248, 249
«Ричард II», трагедия Шекспира (см.)
«Ричард III», трагедия Шекспира (см.)
Ришелье Арман Эммануэль Дюплесси, герцог (1766—1822) — 152, 169
«Роберт-Дьявол», опера Джакомо Мейербера (см.)
«Роберт-Дьявол», либретто к опере Э. Скриба (см.) и Ж. Делавиня (см.)
Робеспьер Максимилиан Мари Исидор (1758—1794) — 91, 208, 242, 297, 348, 397, *480*
Родде—321
Розенкранц Иоганн Карл Фридрих (1805—1879), нем. философ, ученик и последователь Гегеля — 243, 244, 376, 378, 381, *469*, *479*
— «Из жизни Гегеля» («Hegel's Leben»)—243, 244, 376, 378, 381, *469*, *479*
Ролан (де Ла Патьер) Манон Жанна Флипон (1754—1793), деятельница французской революции, жирондистка; гильотинирована по приговору Революционного трибунала — 69
Ромео, см. трагедию «Ромео и Джульетта» В. Шекспира
Росси (в замужестве Касциа) (Сассіа) Жуана (1818—1892), итальянская певица; в 1830—40-х годах с большим успехом пела в Париже и Милане — 217
Россини Джоакино Антонио (1792—1868) — 241, *469*, *473*
— «Вильгельм Телль» — 241, 313, *468*, *473*
— «Карл Смелый» — 241, *469*
«Россия в историческом, статистическом, географическом и лите-

ратурном отношениях», издание Булгарина (см.)
Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826) — 233, *468*
— «Ох, французы! — наборная повесть из былей, по-русски писанная» — 233, *468*
Ротек Карл-Венцеслав фон Роденеер (1775—1840), нем. историк и политический деятель — 100
Ротшер — см. Ретшер
Руге Арнольд (1802—1880), нем. радикальный публицист, младогегельянец — 229, *467*, *469*
Рулье Карл Францович (1814—1858), русский естествоиспытатель — 140—150, *447*, *454*, *456*
— «Об образе жизни животных» — 140—150, *454*
Рульяр см. Боткина А.
Руссо, Жан Жак (1712—1778) — 120, 173, 174, 207, 208, 302
— «Общественный договор» («Contrat social») — 173, 174
— «Эмиль, или О воспитании» — 208
«Рыцарь Тогенбург», баллада Ф. Шиллера (см.)
Рюрик, легендарный великий князь русский — 44

Савиньи Фридрих Карл (1779—1861), юрист, глава реакционной «исторической школы права» — 170
Сальви Лоренцо (1810—1887), итальянский оперный певец — 394
Салтыков Петр Семенович (ум. в 1772 г.), фельдмаршал — 277
Самарин Иван Васильевич (1817—1885), русский драматический артист — 233, *468*
Самарин Юрий Федорович (1819—1876), славянофил — 311, 314, 327, 354, 356, 391, 404, 407, *450*, *475*, *476*, *480*, *481*
— «Стефан Яворский и Феофан Прокопович, как проповедники» — 356, 476
Самойлов Василий Васильевич (1813—1887), русский драматический артист — 233, *467*
Санглен де Яков Иванович (1776—1864), начальник тайной полиции при Александре I — 314, 397
Сатин Николай Михайлович (1814—1873), литератор, друг юности Герцена — 239, 324, 358, 374, 385, 390, *468*, 476—479
«Свадьба Фигаро» — см. «Женитьба Фигаро»
Свербеев Дмитрий Николаевич (1799—1876), московский барин; оставил воспоминания о Герцене — 390, *480*
Свербеева (рожд. кн. Щербатова) Екатерина Александровна (ум. в 1892 г.), жена Д. Н. Свербеева — 390, *480*
«Северная пчела», ежедневная газета, издававшаяся Ф. Булгариным и Н. Гречем (1825—1864) — 116, 119, 134, 429, *451*
«Северный путешественник» — см. Петр I
«Севильский цырюльник», комедия Бомарше (см.)
Селина (рожд. Захарьина) Екатерина Александровна, сестра Н. А. Герцен — 305, 306, *467*, *472*
Селин Александр Иванович, шурин А. И. Герцена — 225, 305, 306, *467*, *472*
Сен-Жорж, владелец петербургского ресторана — 192
Сен-Жюст Антуан Луи (1767—1794) — 99, 208
Сенека (4 год до н. э.— 65), римский философ, стоик — 76, 113, 160
Сенковский Осип Иванович («Барон Брамбеус») (1800—1858), редактор «Библиотеки для чтения», беспринципный журналист, востоковед — 116, 331
Сервантес Мигель де Сааведра (1574—1616)
— «Хитроумный идальго дон Кихот Ламанчский» — 167; Дон Кихот — 167
«Сержант Сурмин», стих. Н. Языкова (см.)
Сигизмунд II Август (1520—1572), польский король, последний из династии Ягеллонов — 339
Сикст V (Феличе Перетти) (1521—1590), римский папа — 84
Сиэс (Сийес, Sieyès) Эммануэль Жозеф (1748—1836) — 164, 173, 203, 213, *458*
— «Что такое третье сословие?» («Qu'est ce que le tiers état?») — 164, *458*

Скандербег (Георгий Кастриота) (1403—1468), албанский патриот — 339
Сковорода Григорий Саввич (1722—1794), украинский философ — 118
Скотт Вальтер (1771—1832) — 7, 237
Скриб Эжен (1791—1861), франц. драматург — 265, *465*, *470*
— «Жидовка», либретто оперы Галеви — 265, 313
— «Роберт-Дьявол», либретто (совместно с Ж. Делавинем) оперы Мейербера — 262
— «Фенелла, или Немая из Портичи», либретто (совместно с Ж. Делавинем) оперы Обера — 313
«Слово о полку Игореве» — 138, 335
«Слово по поводу книги г-на Кюстина „Россия в 1839 г.“», книга Кс. Лабенского (см.)
Собакевич — см. «Мертвые души» Гоголя
Собесский Ян (1624—1696), король польский — 339
«События в Дерпте в ноябре 1842 г.», статья Мадаи (см.)
«Современный кризис немецкой философии», статья А. Лебра (см.)
Сократ (ок. 469—399 до н. э.) — 95, 116, 382, 405
Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882), писатель-беллетрист, зять М. Ю. Виельгорского — 216, 218, *466*, *476*
Сомерсет, леди — 359
«Соперник» —см. Карл VI.
«Состояние Российской державы и великого княжества Московского с присовокуплением известий о достопамятных событиях...», соч. Маржерета (см.)
«Сочинения в стихах и прозе гр. С. Ф. Толстой. Переводы с немецкого и английского» — см. Толстая С. Ф.
Софокл (ок. 496 — ок. 406 до н. э.)— 113
«Союзникам», стих. К. С. Аксакова (см.)
Спиноза Барух (Бенедикт) (1632—1677) — 78, 89, 208, 306, 307, 372—374, 409, 412, *472*
- «Этика, доказанная в геометрическом порядке» — 307, *472*
Сталь де Гольстейн Луиза Жермен (1766—1817) — 69, 312
«Старый друг» — см. Кетчер
Степан Петрович — см. Шевырев
«Стефан Яворский и Феофан Прокопович, как проповедники», диссертация Ю. Самарина (см.)
Стефан Баторий — см. Баторий Стефан
Стефенс (Стеффенс) Генрих (1773—1845), нем. писатель, философ и естествоиспытатель, уроженец Норвегии — 138, *454*
«Страдания молодого Вертера», роман Гёте (см.)
Строганов Сергей Григорьевич, гр. (1794—1882), в 40-х годах попечитель Московского учебного округа — 245, 246, 265, 267, 277, 316, 317, 319, 324, 326—328, 331, 371, 406, *447*, *470*, *471*
Струэнзе, Иоганн Фридрих, гр. (1731—1772), датский государственный деятель, обладал диктаторской властью — 308
Стурдза Александр Скарлатович (1791—1854), чиновник министерства иностранных дел, реакционный публицист — 135
Сульт, Никола Жан де Лье (1769—1851), франц. маршал — 117
Сусанна — см. Сюзанна
Сушков Николай Васильевич (1796—1871), стихотворец и драматург — 397
«Сущность христианства», соч. Л. Фейербаха (см.)
Сципион Африканский Публий Корнелий Младший Эмилиан (185—129 до н. э.) — 72
Сю Эжен (1804—1857) — 379
— «Парижские тайны» — 379
Сюзанна (Сусанна), действ. лицо в комедиях «Севильский цырюльник» и «Женитьба Фигаро» Бомарше (см.)

Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord) Шарль Морис (1754—1838) — 124, 287, 295, 296
Тальони Мария (1804—1884), танцовщица — 279, 427
Татьяна — см. Пушкин «Евгений Онегин»
Тассо Торквато (1544—1595) — 195

— «Освобожденный Иерусалим» в переводе А. Мерзлякова — 195
Тацит Корнелий (ок. 54 — ок. 117) — 7, 124, 166, 337, 338
Телль Вильгельм, легендарный национальный герой Швейцарии — 403
«Темира» — см. Пассек Т. П.
Теофиль — см. Феофил
Терепция (I век до н. э.), жена Цицерона — 128
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160—ок. 230), один из первых христианских теологов, проповедник, писатель — 357
Тимур (Тамерлан) (1336—1405) — 169
Тиссо (Tissot) Симон-Андрэ (1728—1797), швейцарский врач — 68, 119
— «Онанизм» («Onanisme», «известная книга») — 68
Титан (миф.) — 210, 211
Тифон (миф.) — 104
Тихо Браге — см. Браге Тихо
«Товарищи по Валгалле» («Walhalla's Genossen»), сборник биографий, составленный Людвигом I Баварским (см.)
Товианский Андрей (1799—1878), польский мистик, глава религиозной секты — 352
Тогенбург — см. Ф. Шиллер, «Рыцарь Тогенбург»
Толстая Сарра Федоровна (1821—1839) — 135, *453*
— «Сочинения в стихах и прозе» — 135, *453*
Тредьяковский Василий Кириллович (1703—1769) — 118
Тренделенбург Фридрих Адольф (1802—1872), нем. философ, выступал с критикой Гегеля и Канта — 350
Трепзинский, действ. лицо в повести «Записки одного молодого человека» Герцена (см.)
Тренк, барон, действ. лицо в романе «Консуэло» Ж. Санд (см.)
Тренк Фридрих, барон (1726—1794), прусский авантюрист; был в Париже во время французской революции, гильотинирован — 371
Трубецкая (рожд. Лаваль) Екатерина Ивановна (ум. 1854), жена декабриста — 340
Туллия (ок. 78—45 до н. э.), дочь Цицерона — 128
Тургенев Александр Иванович (1785—1846), брат декабриста, друг Пушкина, Вяземского, Чаадаева; собрал в заграничных архивах ценные документы по русской истории — 139, 242, 273, *454*
— «Хроника русского в Париже» — 139. *454*
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 433
Тучков Алексей Алексеевич (1799—1878), сосед Огарева по имению, был близок к декабристам, позднее к кружку Герцена—Огарева — 268, 403
«Тушинский вор» — см. Лжедмитрий II
Тьерри Огюстэн (Огюстин) (1795—1856) — 7, 8, 9, 10, *438*
— «Десятилетние исторические труды» («Dix ans d'études historiques») — 7, 8, 9, 10, *438*
— «Завоевание Англии норманнами» («Histoire de la conquête de l'Angleterre par des Normands») — 7
— «Письма об истории Франции» («Lettres sur l'Histoire de France») — 7
— «Рассуждения об истории Франции» («Considérations sur l'Histoire de France») — 10
— «Рассказы о временах меровингских» («Récits des temps mérovingiens») — 7 10, *438*

Уваров Сергей Семенович, гр. (1786—1855), министр народного просвещения, реакционер выдвинул формулу «православие, самодержавие и народность» — 267, 326, 362, *475*
Узбек (Usbek) — см. Монтескье, «Персидские письма»
«Уложение» царя Алексея Михайловича, свод законов, составленный в 1640 г. — 124, 341
Ульман Карл Христиан (1793—1871), профессор богословия в Дерптском ун-те — 325, *475*

Фаддей Венедиктович — см. Булгарин Ф. Б.
Файи де Густан

— «О Пруссии, сочинение неизвестного О Пруссии и ее владычестве в отношении политическом и религиозном, преимущественно в новых провинциях» («De la Prusse par un inconnu. De la Prusse et de sa domination sous les rapports politiques et religieux...»)— 233
Фалес из Милета (VI век до н. э.), родоначальник греческой материалистической философии —133
Фейербах Людвиг (1804—1872)— 49, 362, 372, *478*
— «Изложение, развитие и критика философии Лейбница» («Darstellung, Entwickelung und Kritik der Leibnitzschen Philosophie») — 372, *478*
— «История новой философии от Бэкона до Спинозы» («Geschichte der Neuen Philosophie von Bacon bis Spinosa», «Фейербахова история») — 362
— «Сущность христианства» («Das Wesen des Christentums») — 49
Фемистокл (ок. 525—461 до н. э.), афинский политический деятель — 159
«Фенелла ...», опера Д. Обера (см.)
Фенелон Франсуа де Саменьяк де ла Мот (1651—1715), франц. писатель, мистик, автор знаменитых «Похождений Телемака»— 296
«Феноменология духа», труд Гегеля (см.)
Феодор Мопсуестский (ок. 350—428), епископ мопсуестский (М. Азия), проповедник, писал по религиозным вопросам — 368, 369
Феодосий I Великий (346—395), римский император с 379 г.—229, 366
Феодосий II Младший (род. в 401 г.), восточно-римский император в 408—450 гг.— 366
Феофил (Теофиль) (ум. в 412 г.) — богослов, честолюбивый и алчный деятель восточно-христианской церкви — 368
Фигаро, действ. лицо в комедиях «Севильский цырюльник» и «Женитьба Фигаро» Бомарше (см.)
Филарет (Федор Никитич Романов (1553—1633), патриарх всероссийский, отец царя Михаила Федоровича — 364
Филарет (1782—1876), митрополит московский — 319, 327
Филемон и Бавкида (миф.) — 116
Филипп II (1528—1598), король Испании с 1555 г.— 85, 168
Филипп II, действ. лицо в «Дон Карлосе» Шиллера (см.)
Филипп IV Красивый («французский король») (1285—1314), король Франции; возбудил инквизиционный процесс против богатого рыцарского ордена тамплиеров, закончившийся сожжением преследуемых в 1310 г.,— 341
Филипп V («полубезумный меланхолик») (1683—1746), герцог Анжуйский, испанский король, боролся за «испанское наследство»— 298
Филиппович В.— 300, *472*
Филиппович Ларисса Дмитриевна (рожд. Гарденина) (ум. в 1868 г.)— 205, *465*
«Философ» (псевдоним) — 224, 225, *467*
— «Два мнения о разладе между церковью и наукой» — 224, 225, *467*
«Философия и всеобщая наука, вступление в критику философии вообще», статья Иордана (см.)
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — 107, 114, 298, 362
— «Назначение человека» («Die Bestimmung des Menschen»)— 362
Флавиан Константинопольский (ум. в 449 г.), архиерей — 368
Флавий Иосиф (р. 37), римско-иудейский историк — 344
Флетчер Джилз (1548—1611), англичанин; в конце XVI века был в Москве и написал книгу о России — 189
Флорестина, действ. лицо в «Преступной матери» Бомарше (см.)
Флуран (Flourens) Жан Пьер (1794—1867), франц. физиолог, ближайший сотрудник Кювье— 143
Фокс (Fox) Чарльз Джемс (1749—1806), министр иностранных дел Англии, сторонник французской революции — 326

Фортинбрас, действ. лицо в трагедии «Гамлет» Шекспира (см.)
Форстер Иоганн Георг (1754 — 1794), нем. писатель и революционер, депутат Майнца в Конвенте 1793 г.— 330—333
— «Переписка»— 330—333
«Фоскари» (Франческо Фоскари, «дож», «старик Фоскари»), действ. лицо в исторической драме «Двое Фоскари» Байрона (см.)
Франклин Вениамин (Бенджамин) (1706—1790) — 172
Франциск I (1494—1547), французский король, при котором Бретань была присоединена к Франции (1532)—195
Франческо Фоскари — см. Фоскари
Фрауенштедт Юлий (1813—1878), нем. философ — 304, 305
— «Лекции Шеллинга в Берлине» («Schellings Vorlesungen in Berlin») — 304, 305
Фредегонда (VI в.), франкская королева, вторая жена Гильперика —11
Фридрих II (1712—1786), прусский король — 75, 208, 277, 299, 300, 302, 308, 371
Фридрих II, действ. лицо в романе «Консуэло» Ж. Санд (см.)
Фридрих Вильгельм IV (1795—1861), прусский король с 1840 г. —256, 273, 329, 381, 400, 471, 481
Фриз Яков Фридрих (1773—1843), нем. философ — 379
Фролов Николай Григорьевич (1812—1855), географ, переводчик «Космоса» Гумбольдта — 216, *481*,
Фролова, сестра Н. Г. Фролова — 216
Фруассар, французский летописец XIV столетия — 10
Фукидид (ок. 455 — ок. 396 до н. э.) — 100
Фукье Тенвиль Антуан-Кантен (1746—1795), общественный обвинитель Революционного трибунала в период якобинской диктатуры — 348
Фурнье — см. Арну О.
Фурье Шарль (1772—1837), франц. социалист-утопист — 345, 346
Фуше Жозеф (1759—1820) — 296
Хамар-Дабанов, псевдоним Е. П. Лачиновой (см.)
Хлестаков — см. «Ревизор» Гоголя
Хозрева-Мирза (ум. в 1875 г.), внук персидского шаха; возглавлял посольство в Россию в 1829 г., после гибели Грибоедова — 38
Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — 133, 136, 250—252, 255, 273, 281, 317, 333, 353, 356, 379, 383, 389, 390, 396, 397, 399, 433, *480*
Христос Иисус (библ.) — 160, 211, 219, 224, 303, 308, 344, 345, 347, 356, 357, 367, 368
«Хроника русского в Париже», очерки А. И. Тургенева (см.)

Цезарь Гай Юлий (100—44 до н. э.) — 160
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — 128, 160

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — 202, 220, 226, 257, 258, 316, 339, 363, 383, 396, 399, *452*, *477*, *480*
— «Философическое письмо» (1-е) — 363, *477*
Чернышев Александр Иванович, кн. (1786—1857), член следственной комиссии по делу декабристов, военный министр при Николае I — 237, *468*
Чернышев Захар Григорьевич (1796—1862), декабрист — 237, *468*
Черткова (рожд. Чернышева) Елизавета Григорьевна, гр. (1805—1858) — 236, 237, *468*
Чех (Schech) Генрих Людвиг (ум. в 1844 г.), бургомистр. г. Старкова; казнен за покушение на жизнь Фридриха Вильгельма IV —400, *481*
Чингисхан (ок. 1155—1227) — 169
«Чтения о русском языке», лекции Н. И. Греча (см.)
«Чтения общей химии, приложенной к фабричному и заводскому делу», книга Р. Г. Геймана (см.)
«Что такое собственность, или Разыскания о принципе права государства», книга Прудона (см.)
«Что такое третье сословие», соч. Сийеса (см.).

Шарлотта, действ. лицо в романе «Страдания молодого Вертера» Гёте (см.)
Шартрский архиерей — 203
Шатобриан Франсуа Огюст Рене (1768—1848) — 342
Шевалье, владелец московского ресторана — 192
Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — 116—118, 134, 137, 258, 320, 389, 406—408, *447*, *448*, *450*, *471*, *474*, *480*
— «Публичные лекции об истории средних веков г. Грановского (письмо в губернию)» — 320, *474*
— «Обозрение словесности русской за 1842 г.» — 116, *449*
— «О возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение» — 116, *449*
Шекспир Вильям (1564—1616) — 85, 295, *445*
— «Гамлет, принц Датский» — *451*; Гамлет — 49, 123; Горацио — 123; Фортинбрас — 123
— «Король Лир» — 92, *445*; Кент 92, *445*; Лир — 92
— Макбет — 278
— Отелло — 97
— «Ричард II» — 295, *472*
— «Ричард III» — 129, *451*
— Ромео — 85; Юлия (Джульетта) — 85
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — 114, 117, 229, 274, 298, 304, 305, 350, 376—378, *447*, *448*, *456*, *467*, *478*
Шефтсбери («Эшлей») Антони Эшли Купер, гр. (1801—1885), английский общественный деятель, член парламента — 355, *476*
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — 52, 85, 106, 107, 114, 135, 178, 187, 208, 282, 298, 300, 303, 330, 362, 392, 433, *459*, *463*, *471*
«Валленштейн» (Wallenstein» — 68, 85; Макс Пикколомини — 68, 85
— «Вильгельм Телль («Wilhelm Tell») — 68; Телль — 68
— «Дон Карлос, инфант испанский» («Don Karlos Infant von Spanien») — 85, 135, *453*; Дон Карлос — 85; Маркиз Поза — 85; Филипп II — 85
— «История натурфилософии от Бэкона до Лейбница» («Geschichte der Naturphilosophie von Bacon bis Leibnitz») — 362
— «Кассандра» («Kassandra») — 282, *463*, *471*
— «Пуншевая песня» («Punschlied») — 394, *479*
— «Письма об эстетическом воспитании человечества» («Briefe von der ästhetischen Erziehung der Menschheit») — 114, 298
— «Разбойники» («Die Räuber») — 68; Карл Моор — 68
— «Резигнация» («Resignation») — 178, *458*
— «Рыцарь Тогенбург» (Ritter Togenburg») — 71, 228
Шлегель Фридрих (1772—1829), идеолог романтического движения в Германии — 68, 134, 166
Шлоссер Фридрих Христофор (1776—1861), нем. историк — 298, 302, 303, 308 309, *472*, *473*
— «История XVIII столетия» («Geschichte des XVIII Jahrhunderts») — 298, 302, 303, 308, 309, *472*, *473*
Штур Петр (Peter Feddersen) (1787—1851), нем. историк — 336 — «Untergang der Naturstaaten») — 336
Шуйский Василий Иванович (1552—1612), царь —364

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — 343, *467*, *476*
— Устные рассказы Щепкина — 343; *476*; Котельников — 343

Эгмонт Ламораль, гр. (1522—1568), принц Гаврский, нидерландский политический деятель, прототип Эгмонта Гёте — 206
«Эгмонт» («Egmont»), трагедия Гёте (см.)
Эдуард, действ. лицо в романе «Родственные натуры» Гёте (см.)
Эйхгорн Иоганн Альбрехт Фридрих (1779—1856), прусский государственный деятель и историк, крайний реакционер — 400
Эккерман Иоганн Петер (1792—1854), секретарь Гёте, автор книги «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни» — 101, 187, 378

«Электероманы, или Одержимые свободой», соч., Дидро (см.)
«Элексир диавола», роман Э. Т. А. Гофмана (см.)
Эмиль, действ. лицо в пьесе «Восемь лет старше» Арну и Фурнье (см.)
«Эмиль, или О воспитании», труд Жан Жака Руссо (см.)
«Энциклопедия философских наук», труд Гегеля (см.)
Эпиктет (ок. 50—138), древнегреческий философ стоик — 143
«Эподы» Горация (см.)
Эренберг Христиан Готфрид (1795—1876), нем. ботаник и зоолог — 365
«Эстетика» — см. Гегель, «Лекции по эстетике»
Эсхил (525—456 до н. э.) — 52, 210, 211, *465*
— «Прикованный Прометей» — 52, 210, 211, *465*
«Этика, доказанная в геометрическом порядке», соч. Спинозы (см.)
Эшлей — см. Шефтсбери

Юлиан Отступник (331—361), римский император в 361 г., защитник язычества — 367
Юлия (Джульетта), действ. лицо в трагедии «Ромео и Джульетта» Шекспира (см.)
Юм Давид (1711—1776) — 86
Юпитер (миф.) — 207, 210, 357, 420
«Юридические записки», сборники, издававшиеся П. Г. Редкиным и К. К. Яневичем-Яневским в 1841—1842 и в 1859 г. — 351, 352, 376
Юшневская (рожд. Круликовская) Мария Казимировна (р. 1790), жена декабриста — 386, *479*
Юшневский Алексей Петрович (1786—1844), декабрист — 341, 386, *479*

Ягеллоны, польско-литовская королевская династия — 339
Ягужинский Павел Иванович, гр. (1683—1736), генерал-прокурор, приближенный Петра I — 348
Языков Николай Михайлович (1803—1846) — 135, 136, 396, 399, 403, 433, *452*, *453*, *480*
— «К не нашим» — 136, 396, 399, 403, *452*, *453*, *480*
— «К Чаадаеву» — 399, *452*, *453*, *480*
— «Константину Аксакову» — 399, *452*, *453*, *480*
— «Сержант Сурмин» — 136, *453*
Якоби Фридрих Генрих (1743—1819), нем. философ, деист — 330, 331
Яков II (Иаков II) (Стюарт) (1633—1701), герцог Йоркский, король Англии в 1685—1688 гг. — 293, 294
Яковлев Иван Алексеевич (1767—1846), отец Герцена — 219, 222, 241, 242, 250, 384, 386, *472*, *478*, *479*
Яковлев Лев Александрович («сенатор», «дядюшка») (1763—1839), дядя Герцена — 241
Якстгаузен (Такстгаузен) (Haxthausen) Август, барон (1792—1866), прусский юнкер, много писавший по экономическим вопросам — 281, 282
Ян Собесский — см. Собесский Ян
Янус (миф). — 80, 113
«Ярополк Водянский», псевдоним Герцена — *452*

«L'Alcade de Zalameya», пьеса Кальдерона (см.)
«Allgemeine Zeitung» («Allgemeine Literaturzeitung») — («Всеобщая газета») — ежедневная газета, выходила в Аугсбурге с 1797 г. — 325, 327, 365, 379, *475*, *478*
Armance — см. Боткина А.

Baco de Ver(ulamo) — см. Бэкон
Blanc L. — см. Блан Луи
«Börsenhalle» — 325, 326
«Briefwechsel» — см. Варнгаген фон Энзе

C. V. — 365, *477*
— «О некоторых новых палеонтографических работах» — 365, *477*

Carrel Armand — см. Каррель
«Comédie infernale», поэма Э. Красинского (см.)
Considérant Victor — см. Консидеран
«Considérations sur l'histoire de France», диссертация Ог. Тьерри (см.)
«Consuelo», роман Ж. Санд (см.)
«Conversation's Lexicon» («Толковый словарь»), нем.— 106
«Crise actuelle de la philosophie allemande», статья Лебра (см.)
Cuvier — см. Кювье

«De la création de l'ordre dans l'humanité ou Principes d'organisation politique» соч. П. Ж. Прудона (см.)
«De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise», соч. П. Ж. Прудона (см.)
«De la Prusse par un inconnu», статья Г. Файи (см.)
«Déclaration des droits de l'Homme» («Декларация прав человека»)— 336
Delavigne Casimir — см. Делавинь, Казимир.
«Deutsche Jahrbücher» («Немецкие ежегодники») — литературно-философский журнал, издаваемый с 1838 г. О. Вигандом, с 1841 г. А. Руге и Эхтемайером. Орган левых гегельянцев — 223, 224, 256, *466*, *470*
«Destinée sociale», соч. Консидерана (см.)
«Diplomatische Geschichte der Polnischen Emigration von 1831» («История дипломатии польской эмиграции»), соч. *** ра — 254, *469*
Dupont de l'Eure — см. Дюпон де л'Ер
Don Lope, действ. лицо в пьесе «L'Alcade de Zalameya» Кальдерона (см.)

Ein Philosoph (Философ) (псевдоним). — «Zwei Vota über das Zerwürfnis zwischen Kirche und Wissenschaft. II. Christenthum und Antichristentum. («Два мнения о разладе между церковью и наукой. II. Христианство и Антихристианство — 224, 467

«Eugen Sue in Russland» («Эжен Сю в России»), статья в «Лейпцигской газете» (см.)
Etimelle, действ. лицо в пьесе «L'Alcade de Zalameya» Кальдерона (см.)
«Entwicklungsgeschichte der Tiere» соч. Бэра (см.)

«Fidelio» («Фиделио»), опера Бетховена (см.)

G. Tell—см. Телль В.
«Ceschichte des XVIII Jahrhunderts» труд Шлоссера (см.)
George Sand — см. Жорж Санд
Gros — см. Гро
Guisot — см. Гизо

«Hegel's Anrede an seine Zuhörer» — см. Гегель
«Histoire de X ans» — см. Блан Луи
«Histoire de la contre-révolution en Angleterre» — см. Каррель
«Histoire de la Révolution d'Angleterre depuis l'avénement de Charles I jusqu'à l'avénement de Charles II» см. Гизо
«Histoire des Sciences Naturelles, соч. Кювье (см.)
«Horace», роман Жорж Санд (см.)

«Journal de Francfort» («Франкфуртская газета») — политическая и литературная газета монархического направления, с 1839 по 1856 г. редактор Дюран — 399, *480*
«Journal des Débats» («Дебаты»), ежедневная газета консервативного направления; основана в Париже в 1789 г.— 307, *472*
«Die Jüdin», опера Галеви (см.)
Jules Elysard, псевдоним М. А. Бакунина (см.)

«Die Kommunisten in der Schweiz nach den bei Weitling vorgefundenen Papieren...»— см. Блюнчли И. К.

Lamettrie — см. Ламеттри
Lèbre — см. Лебр

«Manon Lescaut», роман А.-Ф. Прево (см.)
Marmier — см. Мармье
«La mère coupable», пьеса Бомарше (см.)
«Metamorphosen der Pflanzen», соч. Гёте (см.)

«Palingénésie sociale», соч. Балланша (см.)
Pedro Crespo, действ. лицо в пьесе «L'Alcade de Zalameya» Кальдерона (см.)
Pernet — см. Перне Луи
«La Presse» («Пресса»), газета, издававшаяся в Париже с 1842 г.—329

«La Réforme» («Реформа»), газета буржуазно-либерального направления, издававшаяся в Париже с 1832 г.—409
«Réfutation de l'eclectisme où se trouve exposée la vraie définition de la philosophie...», соч. П. Леру (см.)
«Règne animal», соч. Ж. Кювье (см.)
«Resignation», стих. Шиллера (см.)
Reuter, пастор — 348
«Révolution d'Angleterre Charles I» —см. Гизо
«Revue des Deux Mondes» («Обозрение Старого и Нового Света»), двухнедельный литературно-политический журнал либерального направления, издаваемый в Париже с 1829 года — 10, 274
«Revue Encyclopédique» («Энциклопедическое обозрение»), издававшееся в Париже в 1820—1835 гг.; до 1831 г. редактор — Жюльен, после 1831 г. — Л. Карно и П. Леру — 8
«Revue Indépendante» («Независимое обозрение»), издававшееся в Париже в 1841—1848 годах П. Леру, Ж. Санд. и Л. Виардо —224

«Scènes de la vie privée», романич. цикл Бальзака (см.)
Selin — см. Селин
«Siècle» («Век»), ежедневная политическая газета либерального направления, основана в Париже в 1836 г.— 266
«Simphonia eroica», произв. Бетховена (см.)

«Untergang der Naturstaaten», соч. Штура (см.)

«Walhalla's Genossen» — см. Людвиг I, Баварский
«Wigand's Vierteljahresschrift»— см. Виганд

«Zeitung für die elegante Welt» («Газета для элегантного мира»), издавалась в Лейпциге — 256, *469*
—«Eugen Sue in Russland» (Эжен Сю в России») — 256, *469*
«Zwei Vota über das Zerwürfnis zwischen Kirche und Wissenschaft. II. Christentum und Antichristentum», статья в «Deutsche Jahrbücher» за подписью «Ein Philosoph» (см.)

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. И. Герцен. Рисунок К. Рейхеля, 1842 г. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина 4

Несколько слов по поводу статьи «За русскую старину». Первый лист рукописи (черновой автограф Герцена). Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР 194

Дневник. Страница рукописи (автограф Герцена). Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР 256

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
52	2 сн.	Spießbürgerlichkeit	Spießbürgerlichkeit
67	18 св.	друга от друга	друг от друга
181	18 св.	присовокуплением	с присовокуплением
265	9 св.	о философии	о формализме
287	12 сн.	социализма <?>	социализма
304	2 сн.	тогда как	так же, как
385	1 св.	πάνταρεῖ	πάντα ῥεῖ

На стр. 256 заголовок «**Тысяча восемьсот сорок третий год**» с подзаголовком «Москва, 1 января» (вместо «**1843 год**»—см. вклейку к стр. 257) взят с заглавного листа рукописи дневника Герцена за указанный год.

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Варианты	Комментарии
СТАТЬИ И ФЕЛЬЕТОНЫ			
Рассказы о временах меровингских	7	—	438
Москва и Петербург	33	426	439
Новгород Великий и Владимир-на-Клязьме	43	428	440
Капризы и раздумье	49	—	441
I. По поводу одной драмы	49	428	442
II. По разным поводам	73	428	443
III. Новые вариации на старые темы	86	428	443
«Москвитянин» о Копернике	103	429	445
Путевые записки г. Вёдрина	108	429	446
Публичные чтения г. Грановского	111	—	447
Ум хорошо, а два лучше	116	429	448
О публичных чтениях г-на Грановского (Письмо второе)	121	—	450
Истинная и последняя эманципация рода человеческого от злейших врагов его	128	430	451
Письмо первое о «Москвитянине» 1845 года	132	—	451
«Москвитянин» и вселенная	133	431	452
Публичные чтения г-на профессора Рулье	140	—	454
Несколько замечаний об историческом развитии чести	151	432	456
Станция Едрово	177	432	458
Незаконченное Несколько слов по поводу статьи «За русскую старину»	194	433	459
ДНЕВНИК 1842—1845	199	—	461
1842 г.	201	434	464
1843 г.	256	434	469
1844 г.	324	434	475
1845 г.	400	434	480
DUBIA			
Состав русского общества	417	—	482

Варианты	423—434
Принятые сокращения	425
Комментарии	435—483
Указатель имен	484
Список иллюстраций	514

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. П. ВОЛГИН (главный редактор), И. И. АНИСИМОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, А. М. ЕГОЛИН (зам. главного редактора), Б. П. КОЗЬМИН, (зам. главного редактора), С. А. МАКАШИН, В. А. ПУТИНЦЕВ, З. В. СМИРНОВА, Е. В. ТАРЛЕ, Д. И. ЧЕСНОКОВ, А. Б. ШАПИРО, Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ.

*

Тексты подготовили: *М. Я. Блинчевская* (статьи и фельетоны) и *Л. М. Добровольский* (дневник). Комментарии составили: *М. Я. Блинчевская* (статьи и фельетоны), *С. Р. Микулинский* («Публичные чтения г-на профессора Рулье»), *Л. Р. Ланский* (Дневник).
Переводы иноязычных текстов редактировали *Е. А. Гунст* (франц.), *Н. Г. Елина* (итал.), *О. Н. Михеева* (нем.), *К. П. Полонская* (лат. и греч.). Указатель имен составила *Э. Г. Герштейн*.

Редактор тома Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ

*

Редактор издательства *А. И. Корчагин*
Переплет и титул художника *А. П. Радищева*
Технический редактор *Е. В. Зеленкова*
Корректор *В. К. Гарди*

*

РИСО АН СССР № 9-4В. Т-03593. Издат. № 587.
Тип. заказ № 451. Подп. к печ. 9/IX 1954 г.
Формат бумаги 60×92¹/₁₆. Бум. л. 16,12.
Печ. л. 32,25+3 вклейки.
Уч.-изд. 28,7+3 вкл. (0,3 уч.-издат. л.)
Тираж 25 000

Цена по прейскуранту 1952 г. 15 р.

2-я тип. Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский пер., д. 10

А.И.
ГЕРЦЕН

II